Л. Н. ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫХ

МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО

Н. К. ГЕЯ

С. А. МАКАШИНА (редактор тома)

С. И. МАШИНСКОГО

А. С. МЯСНИКОВА

В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

Л. Н.
ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

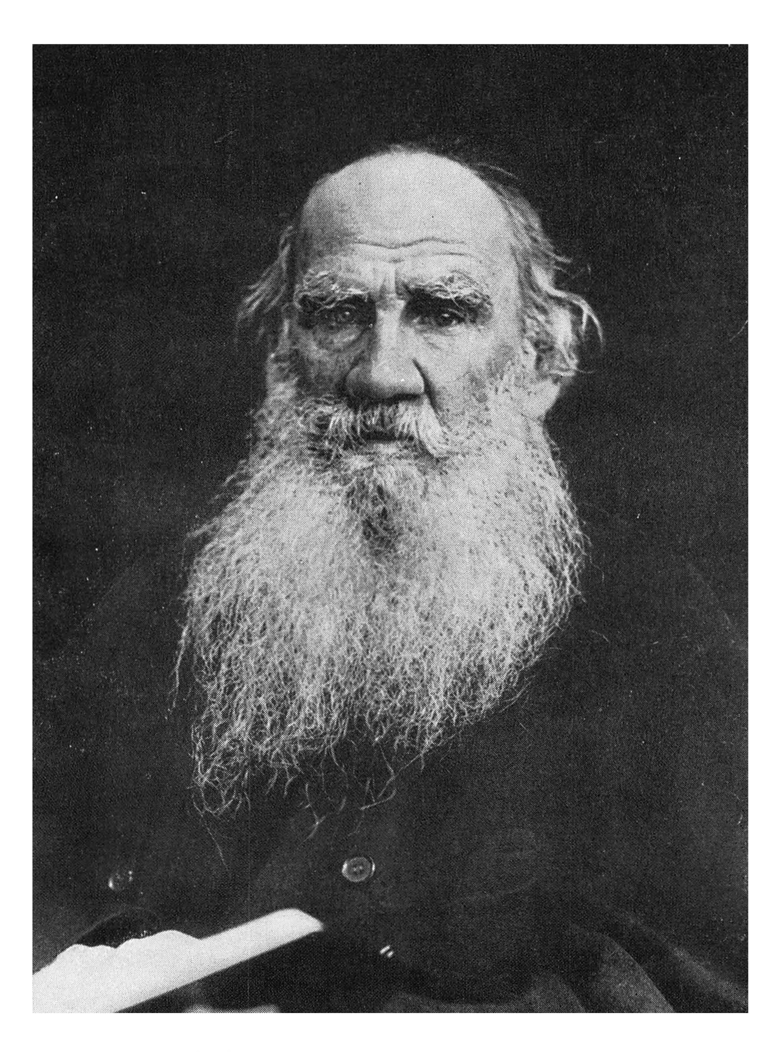
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

8Р1
Т 53

Составление, подготовка текста и комментарии
Н. М. ФОРТУНАТОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{70202\text{-}385}{028(01)\text{-}78}$ 57-78



Л. Н. Толстой. 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова.
(Любимая фотография Л. Н. Толстого.)

„ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО...” ТЕАТР ТОЛСТОГО

А. В. ЖИРКЕВИЧ

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

20 декабря 1890 г.

Наконец-то я увиделся со Львом Николаевичем Толстым!

Только сегодня ночью я приехал из Ясной Поляны, где провел время с десяти часов утра до половины двенадцатого ночи. Пользуясь тем, что не все время в Ясной Поляне я был с Толстым и его семьей, я делал наедине карандашом заметки в мою дорожную записную книжку и теперь, вернувшись в Москву, по этим записям и по памяти восстанавливаю мои беседы с Толстым. Вот разговоры с ним об искусстве и литературе.

Толстой: Во всяком произведении должны быть три условия для того, чтобы оно было полезно людям: а) новизна содержания, б) форма, или, как принято у нас называть, талант, и в) серьезное, горячее отношение автора к предмету произведения [1]. Первое и последнее условия необходимы, а второго может и не быть [2]. Я не признаю таланта, а нахожу, что всякий человек, если он грамотен, при соблюдении двух других указанных мною условий может написать хорошую вещь. Я собирался вам на эту тему писать огромное письмо, но я знал, что оно разрастется в целую статью, и очень рад, что могу теперь переговорить с вами лично [3]. Для примера я укажу на известных наших писателей. Достоевский — богатое содержание, серьезное отношение к делу и дурная форма. Тургенев—прекрасная форма, никакого дельного содержания и несерьезное отношение к делу. Некрасов — красивая форма, фальшивое содержание, несерьезное отношение к предмету, и т. д.

Современная литература вся основана на прекрасной форме и на отсутствии новизны в сюжете. Прочтите Евгения Маркова, Максима Белинского[4], Антона Чехова и др. Форма доведена до совершенства. А кому какую пользу принесет все их писанье!.. Они все выработали путем навыка известный слог, набили, так сказать, перо — и им пишется легко. Но где же то *новое*, что должно двигать общество, указывать ему на его недостатки, открывать ему глаза на новое явление духовного мира, на новый путь нравственного усовершенствования? Этого нового у них нет! Все наши современные писатели описывают очень интересно и по большей части цинично любовь, женщин, разные случаи жизни... Но где *идея* в их произведениях? Прочтешь их и спрашиваешь: «Зачем человек писал все это, тратил время, работал? Ответ готов: или для славы, или для материальной выгоды. И то и другое ужасно и гадко. Живое слово есть средство, с которым обращаться, как с вещью, нельзя. Не верьте поэтам, когда они станут говорить вам, что пишут ради «искусства для искусства». Нет! Или корысть, или желание, чтобы о них говорили, ими двигают. Я сам писал много, и если говорю вам это, то потому, что сам я грешил прежде желанием, чтобы обо мне говорили. На мой взгляд, разные юбилеи так называемых «маститых поэтов» — позор для русского имени. Например, известный вам *Фет*. Человек пятьдесят лет писал только капитальные глупости, никому не нужные, а его юбилей был чем-то похожим на вакханалию:[5] все старались его уверить, что он пятьдесят лет делал что-то очень нужное, хорошее... И он сам в это верит. В этом-то весь комизм таких юбилеев.

Я: Но стихотворения Фета доставляют удовольствие, отвлекают человека от мрачной обстановки современной действительности...

Толстой (гневно перебивая меня): Это и худо! Во-первых, ничто не должно отвлекать человека от жизни. Он должен жить, и жить осмысленно. Во-вторых, кого надолго отвлекут стихи? Я, конечно, говорю про душевно нормального человека. Да! стихами можно принести удовольствие и стать забавой для толпы, вроде какого-нибудь паяца, фокусника, гипнотизатора. Но не унизительно ли кривляться для толпы, кувыркаться перед нею на умственной трапеции?

Я: Отчего же, Лев Николаевич, падает наша литература?

Толстой: Конечно, первая причина — цензурные условия. Цензура вычеркивает у нас все то, что ярко, что ново, что движет мысль, и оставляет одно бесцветное, ненужное. Пока цензура занята таким непохвальным делом — не стоит писать. Я это как-то говорил и Короленко и Златовратскому (они были вместе у меня) [6]. Те, конечно, на меня обиделись. Имеет сейчас успех брошюрка, рукопись. Но если у вас нет имени, вас и читать не станут.

Я: Но наша критика...

Толстой (опять с пылом перебивая меня): У нас не критика, а безобразие! Все критики преклоняются перед красивой формой и перед всяким содержанием, лишь бы оно было *ново*. Но новизну надо понимать в связи с пользою. Я иначе этого и не признаю [7]. Содержание же, как я вам уже писал, должно быть такое, чтобы писатель вел за собою толпу. То есть я вижу, положим, зло, страдаю от него, переживаю его и вот — создаю вещь, где указываю на это зло, которого большинство, кроме меня, не видит. Вот это и есть то, что нужно [8]. Обратите внимание на плодовитость наших молодых писателей. Эта легкость писанья прямо указывает на умственный разврат, на отсутствие серьезного отношения к делу.

Разве темы, посредством которых я могу раскрыть глаза обществу, встречаются так часто? Разве человек может так часто переживать вновь открытое им и неизвестное еще миру содержание события, жизни т. д.? И критика наша — умственный разврат: она поощряет эту легкость писанья, эту проституцию мысли, слова и чуть не носит на руках какого-нибудь Фета, Полонского. В этом саморазвращении критики опять-таки играют роль два двигателя: корысть или жажда популярности — поверьте моему опыту. Какой-нибудь Евгений Марков пишет для гонорара, какой-нибудь Скабичевский хвалит его, пишет о нем статьи для гонорара же,— благо платят в газетах и журналах за всякое исписывание бумаги. Следовательно, вот и вторая причина упадка литературы: наша критика. Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — ее опишут, и т. д. Но разве это искусство? А где же *одухотворяющая мысль,* делающая бессмертными истинно великие произведения человеческого ума и сердца,— хотя бы Евангелие? И как легко дается это писание «с натуры»! Набил себе руку — и валяй! Так и многие

наши поэты. Ну, например, хоть ваши «Картинки детства»! [9] Кому нужны ваши типы? Что вы ими сказали нового, кого двинули на доброе?

Я: Но, Лев Николаевич, у каждого бывает своя молодость. Ведь и вы написали «Метель», «Детство и отрочество». Отчего же вы не признаете за каждым права молодости?

Толстой: Кто вам это сказал? Я всегда любил, уважал и понимал молодежь и снисходительно отношусь к молодости. Но есть же ведь для чего-нибудь на свете *опыт,* так называемый исторический опыт. Ведь прошлые поколения передают нам нравственное и умственное наследство для того, чтобы мы им пользовались с толком, чтобы двинулись дальше, и именно с той, последней, ступеньки, которую они нам прочно укрепили. А вы считаете нужным, чтобы всякий человек начинал свой духовный подъем непременно с самого подножия горы, а не с последней проложенной его предками ступеньки. Тогда и прогресс был бы немыслим. Напротив того, вы видели недостатки молодости ваших предков, и они вам в этом отношении оставили хорошее наследство. Воспользуйтесь же им и не повторяйте их ошибок. Я вполне понимаю молодость. Но обществу-то что за дело до *вашей* молодости, до *ваших* увлечений и ошибок! Впрочем, вся наша так называемая «классическая литература» может быть названа молодостью. Пушкин, Лермонтов, Гоголь — все это умерло, как пало, в ту минуту, когда талант их креп, когда они могли подарить миру действительно капитальные, поразительные вещи... [10] И что это была за гениальная молодость! Но Гоголь, например, погиб как раз в ту минуту, когда стал осознавать, что шел по ложному пути «искусства для искусства», и написал свою «Исповедь», которая указывает на иное обращение его к жизни [11]. Пушкин стал уже переходить к прозе и, наверное, бросил бы стихи, если бы не умер.

Я: Но отчего же большинство наших лучших прозаиков начинают стихами?

Толстой: А в этом и сказывалась их молодость. Но нам смешно писать стихами только во имя молодости, оправдываясь увлечением молодости, в то время как мы уже созрели настолько, что видим весь комизм втискивания мысли в стихотворные рамки [12].

Я: Однако песни, стихи всегда были достоянием народа. У нас масса народных песен.

Толстой: Так что же из этого? И это указывает лишь на увлечения молодости. Киргиз до сих пор поет потому, что он первобытный, еще дикий человек. Русский мужик стоит на низкой ступени умственного развития. Припомните, что эпохи миннезингеров, менестрелей, бардов, баянов были эпохами умственного застоя. Песни, по мере того как появлялась умственная интеллигенция, отходили из высшего класса к народу, и когда этот народ умственно мужал, они теряли у него значение. Прежде без песен не обходился ни один акт жизни европейских народов. А теперь ходят по деревням и городам, у нас и в Европе, собирать песни, чтобы они не исчезали совершенно. Пушкин был, как киргиз...

Я: Но отчего же не писать стихи, если они даются легко?

Толстой: Вот уж этому не могу поверить! Взгляните на рукописи Пушкина, на «Демона» Лермонтова, который указывает на гениальные задатки его автора и который — не что иное, как живой пример отсутствия здравого смысла. Пушкиным все до сих пор восхищаются. А вдумайтесь только в отрывок из его «Евгения Онегина», помещенный во всех хрестоматиях для детей: «Зима. Крестьянин, торжествуя...» Что ни строфа, то бессмыслица! А между тем поэт, очевидно, много и долго работал над стихом. «Зима. Крестьянин, торжествуя...» Почему торжествуя»? — Быть может, едет в город купить себе соли или махорки. «На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя...» Как это можно «чуять» снег?! Ведь она бежит по снегу — так при чем же тут чутье? Далее: «Плетется рысью как-нибудь...» Это «как-нибудь» — исторически глупая вещь. И попала в поэму только для рифмы [13]. Это писал великий Пушкин, несомненно, умный человек, писал потому, что был молод и, как киргиз, *пел* вместо того, чтобы *говорить* ⟨...⟩.

Я: Но что же, Лев Николаевич, делать? Неужели же бросить писанье?

Толстой: Конечно, бросить! Я это всем говорю из начинающих. Это мой обычный совет. Не такое теперь время, чтобы писать. Нужно дело делать, жить примерно и учить на своем примере жить других ⟨...⟩. Знаете ли что. Я заметил, изучая историю литературы, следующее: литература подобна волнам моря. В море волна подымается. Затем образуется углубление — и опять подымается волна. В истории литературы это опускание

и подымание также чередуется. Подыманию волны соответствует изящество, выработка формы, опусканию — глубина содержания. Теперь у нас эпоха торжества формы. Весь склад общественной жизни этому способствует. Но я верю, что это продолжится недолго. Наступит снова истинное торжество литературы — глубина содержания. А там опять восторжествует форма — и литература пойдет на площади забавлять толпу, как она делает это теперь. Не думайте, что подобное явление только в литературе. Нет! Все роды искусства подойдут под мой взгляд: музыка, живопись. И в них форма и глубина содержания чередуются. Слияние этих двух моментов бывает очень редко, и делают его гении.

Я: Неужели и современная живопись, Лев Николаевич, по-вашему, бессодержательна?

Толстой: А вы думаете, что нет?

Я: Вот, например, Репин.

Толстой: Я знаю, что вы дружны с Репиным; но это не помешает мне сказать вам правду. У Репина техника доведена до великого совершенства. Но у него, в его картинах, нет идей, двигающих общество вперед. Его «Иоанн Грозный», «Царевна Софья», «Не ждали» — все это хорошо, поразительно, даже страшно правдиво написано. Но в этих картинах схвачен только известный психологический момент, то есть сделано опять-таки писанье с натуры, которое мы видим и в современной литературе. Но если вам страшно за Иоанна Грозного и жаль его, то что же другое вы вынесете из созерцания этой картины Репина? Толкнет ли она вас вперед? Ведь мы и без Репина знаем из истории, что и в Иоанне, как во всяком человеке, жили и зверь и существо, способное мучиться угрызениями совести [14]. Однажды, помню, Репин показывал мне свою картину «Крестный ход в лесу» [15]. Видимо, самому Репину картина нравилась. А я спрашиваю его: «Вы человек православно верующий?» — «Что вы! — говорит. — За кого вы меня принимаете?» — «Ну, значит, вы хотели посмеяться над суеверной, невежественной толпой?» — «И не думал». — «Так зачем вы писали эту картину?» — «Знаете ли, — говорит Илья Ефимович, — тут световые пятна так хорошо падали на толпу...» Эти «световые пятна» — лучшая иллюстрация того, что я сказал: Репин, видимо, не преследовал здесь никакой идеи, а погнался за световыми эффектами. И это крупный самородок, который с его тех-

никой мог бы дать нам чудеса искусства! Крамской уже выше Репина. «Христос» Крамского — великая вещь. Я понимаю этого Христа и вижу в нем глубокую мысль [16]. А взгляните на большинство наших художников. Для чего они пишут? Конечно, для публики, как современные литераторы. Картины их покупаются, а я ни за что не повесил бы у себя всех этих Шишкиных, Клеверов, Маковских и т. п. Они не будят мой ум, а только чувство, раздражают глаз и не забрасывают в душу никакого тревожащего совесть луча... А «Христос» Крамского забрасывает туда этот луч, и повесьте у себя эту картину — она вечно будет тревожить вашу душу. А у Репина все построено на грубом эффекте, на поразительной технике. И вот он создал две-три талантливых вещи и не идет далее... Да! Эпоха наша — эпоха поклонения не духу, а форме, и *цензура везде, во всем* — одна из причин того, что мысль наша робко спряталась и дремлет [17]. Но настанет, настанет еще время, когда станут снова поклоняться духу! Видели ли вы картину Ярошенко — арестанты смотрят из-за решетки тюремного вагона на голубей? [18] Какая чудная вещь! И как она говорит вашему сердцу! Вам жалко этих бедняков, лишенных людьми по недоразумению света, воли, воздуха, и этого ребенка, запертого в вонючий вагон. Вы отходите от картины растроганный, с убеждением, что не надо лишать человека благ, данных ему богом... Вот как должен действовать на вас художник. Картины Ге тоже проникнуты идеей, и я отхожу от них с желанием добра, с сочувствием к ближнему. Если бы не цензура, и наши художники создали бы великие вещи. Но как писать, если знаешь заранее, что придет полицейский и выбросит с выставки твою картину? Для этого надо многое: и личное мужество, и средства, и святое поклонение правде. И что сталось с Крамским? Он начал писать портреты, как единственные вещи, которые можно писать без цензуры и которые дают доход. Талант его видимо угасал [19]. То же и Репин и многие другие.

Я: Но когда же писать? Тогда ли, когда есть на то потребность, или надо засаживать себя за труд? Мне, например, корреспондент «Нового времени» Молчанов говорил, что знал лично Дюма и Золя, которые признавались ему, что каждый день засаживали себя на известное количество часов за работу. Они говорили Молчанову, что

при таком способе, написав десять посредственных вещей, им удавалось написать одну хорошую.

Толстой (гневно перебивая меня): Ради бога, не слушайтесь разных Молчановых, Золя, Дюма! Писать так, как писали Дюма, Мопассан и другие французские романисты, не стоит. Это опять-таки и во Франции та же история, что с нашей литературой: торжество формы над глубиной содержания. Мопассан выработал себе слог — и ему ничего не стоит засадить себя и писать, как пишет писарь. Два, три, пять часов, по заказу. А вы послушайтесь меня. Когда вам хочется писать — удерживайте себя всеми силами, не садитесь сейчас же. Советую вам это по личному опыту. Только тогда, когда невмоготу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть — садитесь и пишите. Наверное напишете что-нибудь хорошее.

Я: Я всегда жалел, что у меня слабая память, что я не могу заранее мысленно набрасывать весь план работы. Всеволод Крестовский говорил мне, что он заранее все обдумывает и потом уже садится записывать.

Толстой: Оттого-то у Крестовского все его сочинения и выходят никому не нужными. Память тут не нужна, и незачем наизусть намечать планы. Надо, чтобы созрела мысль, созрела настолько, чтобы вы горели ею, плакали над ней, чтобы она отравляла вам покой. Тогда пишите. Содержание придет само. Знаете ли вы, что я очень часто сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается ⟨...⟩. Как можно связывать себя узкими рамками плана? Мне приходилось иногда начинать литературную работу и при описании какой-нибудь подробности брать эту подробность, обращая ее в отдельный труд, обратив в подробность первоначальное главное.

Я: Но если ждать такой потребности писанья, о которой вы говорите, то можно ничего не написать!

Толстой: И отлично сделаете. Хотя знаете ли что, на мой взгляд, человек и может написать что-нибудь истинно порядочное только лет под сорок — пятьдесят, то есть тогда, когда духовный мир его определится. А до той поры в нем все еще бродит и страсти командуют ⟨...⟩. Только лет десять назад глаза мои открылись на мир божий, и я стал понимать жизнь. С этой минуты я и сделался серьезным писателем, то есть под старость, почти стоя одною ногою в могиле. В духовной жизни человека есть нейтральная точка, став на которую он сра-

зу увидит всю правду и ложь жизни. Это все равно, как в шаре есть центр. Если вы хотите видеть всю комнату хорошо, то должны стать посредине, а не смотреть на нее из-под дивана, стоящего у стены. И вот я нашел эту точку 〈...〉.

Я: Но вы все-таки остались великим художником слова!

Толстой: Только не в вашем смысле «искусства для искусства». Если я и теперь иногда обрабатываю форму, то для того, чтобы содержание моих взглядов было легче всеми понято. Много говорят и кричат о художественности моей «Крейцеровой сонаты». А я там дал место этой художественности ровно настолько, чтобы ужасная правда была видна яснее 〈...〉.

12 сентября 1892 г.

Я приехал в Ясную Поляну в отсутствие хозяев. Вечером Лев Николаевич вместе с сыном Львом и дочерью Татьяной вернулся из Бегичевки, где помогал голодающим [20]. Вскоре приехала из Москвы и Софья Андреевна.

Толстой стал рассказывать мне и другим, его встретившим, о тех тяжелых сценах, которые видел он в местах голодовки, где устраивал народные столовые. По поводу этих столовых он ездил в Тулу, к губернатору. Однако, когда я стал его расспрашивать, он махнул рукою и сказал: «Тут ничего не расскажешь! Надо самому все видеть на месте» 〈...〉.

13 сентября.

Начался разговор о художнике Ге, пишущем картину «Распятие Христа» [21] (у Ге Христос распят на особом, низком кресте, упирается пальцами ног в землю). По замечанию Льва Николаевича, так именно и должно было быть в действительности. Я рассказал Толстому о том, как Брюллов поступил со своим натурщиком, чтобы написать распятие. Мне передавал художник М. Е. Меликов, учившийся у Брюллова, что тот привязывал веревками к кресту голого натурщика, чем вызывал страдания последнего, зато щедро платил ему. Толстой возмутился. Ге, по его словам, пользуется моментальной фотографией с натурщика, привязанного на непродолжительное время к кресту.

Я напомнил Толстому об Апухтине. Лев Николаевич получил от него письмо [22], но не дочитал его до конца (Апухтин укорял Толстого в отпадении от православия, в измене культуре и т. п.). Толстой бранил Апухтина и как человека и как поэта. Он говорил: «У Апухтина расплывчатые образы. Стих его не сжат, не выкован. Ни одного истинно поэтического сравнения. Все выдумано» 〈...〉.

Толстой поймал меня на том, что, по его предложению, я не смог прочесть наизусть ни одного стихотворения Апухтина. Это будто бы служит доказательством того, что муза Апухтина не оставляет памятного впечатления. Когда я привел ему содержание стихотворения, в котором смерть матери констатируется тем, что она остается бесчувственной, когда ей на грудь кладут ее ребенка, Толстой с негодованием воскликнул: «Какая бессмыслица! Какая риторика! Где же здесь поэзия?.. Все выдумано! Все заранее сочинено!» 〈...〉

14 сентября.

С утра гулял по яснополянскому парку. Лев Николаевич посылал человека искать меня. По его просьбе написал прошение двум крестьянам в съезд уездных земских начальников. Крестьяне приговорены к тюремному заключению за мошенничество и с улыбками сознались мне в том, что действительно сплутовали. В тот же день я сообщил Льву Николаевичу, что ведь крестьяне-то виноваты. Он ответил: «И я в этом не сомневаюсь. Но виноваты не они, а обстановка. Ведь этот немец, с которого они хотели вторично взять деньги, изнурял их работою под землей, тянул из них все силы 〈...〉.

Т. А. Кузминская, несмотря на мои просьбы, начала при Толстом разговор о моем рассказе «Против убеждения» [23]. Ей, видимо, захотелось сделать мне неприятность, так как она знала уже, что рассказ мой Толстому не понравился. Лев Николаевич сказал, что он был возмущен этим рассказом. «Позвольте мне объяснить...» — начал было я. «Никаких оправданий! — отрезал Толстой.— Если бы ваш герой засек солдата, то это было бы лучше. Такие личности, как выведенный вами офицер, на все способны». Я заметил, что офицер вовсе не мой герой, но что я не желаю продолжать этот разговор, видя, что он, Лев Николаевич, заранее предвзято не хочет выслушать моих объяснений. Тогда он сказал с улыб-

кой: «Ну, объясняйтесь! Я пошутил...» Когда же я изложил ему цель рассказа — поднять, в цензурных рамках, вопрос о телесных наказаниях в войсках,— он заметил: «Ну, тогда надо было и написать яснее, а не размазывать. Лучше уж совсем не писать 〈...〉».

Вот замечание Толстого о себе:

«Я поставлен в исключительные условия. Мне кривить душой не приходится». Это было сказано им по поводу моего рассказа «Против убеждения», к которому он еще раз вернулся, объясняя резкость своего мнения об этом произведении 〈...〉.

— Нельзя откладывать своего нравственного исправления, нельзя все чего-то ждать. Я, как и вы, ведь каждую минуту могу умереть. Я тороплюсь окончить статью против войны [24], так как могу сегодня же умереть, а я сознаю, что не высказал еще всего того, что лежит на душе, на совести. Нельзя ждать и откладывать 〈...〉.

— Серьезный писатель должен писать так, чтобы иметь в виду только то, что его прочтут уже после его смерти 〈...〉.

— Я задумал уже давно новый, огромный роман вроде «Войны и мира». В «Войне и мире» отдельные лица ничего не значат перед стихийностью событий. В моем новом романе мне хотелось доказать, что никакими усилиями правительств и отдельных лиц не заглушить общечеловеческих начал, лежащих в каждом человеке. Например, границы государства — явление искусственное. Русский мужик не признает этих границ, как не признает народностей. Веротерпимость всегда в нем существует, как ни оттеняй религию от религии. Я, между прочим, хотел вывести в романе русского переселенца, который дружит с башкиром 〈...〉 [25].

15 сентября.

Вот несколько высказываний Толстого о живописи и литературе, записанных мною в этот же день:

— Я не признаю картинных галерей. В них разбрасываешься, впечатление меркнет. Я предпочитаю им книжку с иллюстрациями, которую можно спокойно перелистывать дома, лежа на кровати.

— По моему мнению, все же лучшей картиной, которую я знаю, остается картина художника Ярошенко «Всюду жизнь»— на арестантскую тему.

— Сколько потрачено бесполезно Репиным времени, труда, таланта для такой бессодержательной картины, как его «Запорожцы». А зачем?

— Мои произведения всегда стоили и до сих пор стоят мне огромного труда. Бывают случаи, что я до пяти, десяти раз переделываю одну и ту же страницу или фразу [26]. Многое зависит и от настроения: сегодня мне удаются обобщения, но от внимания ускользают мелочи; а завтра, просматривая то, что было написано мною накануне, я дополняю текст рукописи именно подробностями.

— Время поэзии у нас прошло. Но в прозе есть выдающиеся таланты. Таким я считаю, например, Чехова, Потапенку [27], Марию Крестовскую (что за чудная вещь ее «Именинница»!). Короленко мне не нравится [28].

— Между поэтами есть люди с талантами: Фофанов, Фет. У Минского иногда попадаются недурные стихи. Но и у Фофанова, и у Фета, Полонского чувствуется какая-то незаконченность, порою деланность.

— Возьмите хотя бы из «Евгения Онегина» Пушкина то место из дуэли, где есть рифмы «ранен» и «странен был томный вид его чела». Эти рифмы «ранен» и «странен» так и кажется, что существовали от века [29].

— Апухтина, Алексея Толстого, Голенищева-Кутузова я не могу назвать истинными поэтами: все у них выдумано, стих растянут, а не сжат; нет удачных сравнений. Совсем другое, например, Тютчев. Когда-то Тургенев, Некрасов и К° едва могли уговорить меня прочесть Тютчева [30]. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта.

— Стихотворения многих современных поэтов я иначе не зову, как «ребусами». Ну что такое, например, писатель Мачтет, который признается многими за талант!

— По моей градации идут сначала дурные поэты. За ними посредственные, недурные, хорошие. А затем — бездна, и за ней — «истинные поэты», такие, как, например, Пушкин.

Лев Николаевич поразил меня в этот вечер своей памятью. Он наизусть читал многие стихотворения Пушкина, Тютчева (например, «Как океан объемлет шар земной»). В стихотворении Пушкина «Телега жизни» два нецензурных слова, там находящиеся, он изобразил комичным мычанием ⟨...⟩.

16 сентября.

После завтрака я, Лев Николаевич, две его старшие дочери, дочь Саша и два сына-подростка по инициативе самого Льва Николаевича отправились на прогулку, которая тянулась почти без отдыха с двенадцати до пяти часов. День стоял чудный, осенний, и Лев Николаевич был в отличном настроении духа. «Ну, уж и заведу же я вас в такие места,— говорил он нам,— только держитесь!» И действительно, завел верст за восемь от дома, в густой лес; приходилось ползать по оврагам, переходить ручьи. При переходе через один ручей по кладке, перенося Сашу Толстую, я провалился в воду по колена и промочил ноги, но девочку спас от холодной ванны. Лев Николаевич сначала от души смеялся над этим происшествием, заметив мне: «Вы спасли меня от простуды! Я только что хотел вступить на кладку, раньше вас, и провалился бы». Но затем всю дорогу он волновался, боясь, что я простудился, и поэтому не давал нам подолгу отдыхать, чтобы мои ноги не остыли, и все говорил: «Простудитесь! А жена ваша скажет потом, что это я виноват со своею прогулкою».

Что за неутомимый ходок Лев Николаевич! Мы все чуть не падаем от изнеможения, а он идет вперед легкой, ровной походкой, шутя преодолевает овраги и косогоры. Всю дорогу он прошел без шапки, которую держал в руках (в этой белой, мягкой фуражке он удивительно похож на один из портретов Репина). Его широкоплечая, сутулая, все еще мощная фигура, большая, характерная голова с лысинкой и торчащими волосами, большие некрасивые руки, которыми он на ходу размахивает, палка в руке — все это мне почему-то напоминало (когда посмотришь на Толстого сзади) фигуру какого-нибудь одичавшего лесного человека, бредущего по трущобе ⟨...⟩.

Во время прогулки Толстой несколько раз брал детей за руки и бежал с ними по лесу, по полю. Когда мы проходили вдоль лесной просеки, тянувшейся версты три, поперек ее лежало несколько больших упавших деревьев. Толстой вздумал сам через них перескакивать и увлек в эту забаву и других. Глядя на скачущего Льва Николаевича, я удивлялся, сколько в нем еще сил, энергии, живости, бодрости тела и духа. Лес в окрестностях Ясной Поляны, по-видимому, прекрасно знаком Толстому, полон для него воспоминаний из эпохи детства и

молодости. Во время прогулки он указывал мне разные места: в одном он когда-то стрелял молодых тетеревей, взлетавших над низкой порослью, теперь обратившейся в молодую рощу, в другом подстреливал вальдшнепов, в третьем подкарауливал диких коз. Лес, по его замечанию, состарился так же, как и он сам. «В моей молодости,— говорил мне Толстой,— вот на этом месте были низкие дубовые кусты, и вальдшнепы, поднявшись перед охотничьей собакой, тянули чуть не над землею,— стрелять их было легко, приятно. А теперь здесь уже целая роща».

На обратном пути мы с Львом Николаевичем говорили о той нужде, о той темноте, наконец, о той беспомощности, которые встречаются у русских крестьян по деревням. Когда мы проходили через какую-то деревню, Толстой сказал: «Не хотите ли, кстати, посмотреть, что делается у крестьян, когда к ним в хаты забирается повальная болезнь? В этой деревне сейчас больны натуральной оспой мой близкий знакомый крестьянин и члены его семьи. Все беспомощно лежат вповалку. Я посылал за фельдшером, посылаю сюда из имения то, что может облегчить страдания. Мне надо навестить их. Зайдемте». Но я побоялся заразы и не вошел в избу. С ним зашла только Мария Львовна. А мы, остальные, продолжали путь к Ясной Поляне. Через час вернулся и Лев Николаевич с дочерью, наскоро помылся и явился к чаю в том же самом костюме, в каком гулял, не приняв никаких мер против возможности занести своим близким заразу.

Вот отрывки моих разговоров с Толстым во время прогулки и дома. Записываю опять только его слова:

— 〈...〉 В литературе два сорта художественных произведений. Первый сорт — когда писатель-художник творит то, чего никогда не было. Но каждый, прочтя его труд, скажет: «Да, это правда!» Второй сорт — когда писатель-художник верно, удачно копирует то, что есть в действительности. Настоящий литературный талант творит произведения первого сорта. В живописи то же самое.

— Эмиль Золя — талант, но не говорит ничего своего. Его «Разгром» — вещь слабая. Я читал критику де Вогюэ в «Revue des Deux Mondes». Он упрекает Золя, что он, показав, благодаря каким порокам была поражена Франция, не указал, какими доблестями победила ее Германия. Да разве можно говорить о «доблестях» в армии,

убивающей, жгущей, насилующей, разоряющей? Моя статья против войны укажет на эти доблести в надлежащем их свете [31].

— Я русской критики на мои сочинения не читаю. Разница между западноевропейской критикой и критикой русской громадная. На Западе критик, прежде всего, дает себе труд добросовестно прочесть ваше сочинение, усвоить себе ваши взгляды — и тогда уже критикует его. К подобной критике нельзя относиться иначе, как с уважением, хотя бы с нею и не соглашался. В России же критик, не дав себе труда вникнуть в вашу работу, вообразит себе, что вы говорите то-то и то-то, и, составив себе ложное понятие о вашем труде, пишет уже критику на это свое ложное понятие, серьезно думая, что критикует ваше сочинение, а не самого себя.

Я заметил Толстому, что общество до сих пор не понимает его «Крейцеровой сонаты». На это Лев Николаевич сказал: «Не понимает не потому, что она написана неясно, а потому, что точка зрения автора слишком далека от общепринятых взглядов».

По желанию Льва Николаевича, я подробно изложил ему сюжет моей новой повести (возрождение проститутки Таньки Рыжей под влиянием беременности). Он одобрил, сказав: «Формой вы владеете. Сюжет очень хорош. Вполне уверен, что вы напишете хорошую вещь» [32].

«Вы бы написали свою военно-судебную исповедь,— сказал мне Лев Николаевич,— было бы и интересно и поучительно».— «Что же тут будет поучительного?» — спрашиваю я. «А прежде всего польза для вас самих. Это явится для вас своего рода дневником. Писать же дневники, как я знаю по опыту, полезно прежде всего для самого пишущего. Здесь всякая фальшь сейчас же тобой чувствуется. Конечно, я говорю о серьезном отношении к такого рода писанию» 〈...〉.

И. Я. ГИНЦБУРГ

ИЗ ПРОШЛОГО

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В 1891 году я вылепил первую мою статуэтку с натуры; это была статуэтка Владимира Васильевича Стасова, который остался доволен моей работой и подал мне мысль поехать к Л. Н. Толстому и вылепить его статуэтку. Стасов сам вызвался помочь мне в этом деле и написал Софье Андреевне Толстой, прося ее переговорить со Львом Николаевичем и разрешить мне приехать в Ясную Поляну. Скоро последовал ответ от Софьи Андреевны: она согласилась на мой приезд [1].

Поехал я в Ясную Поляну не совсем здоровым, притом меня сильно смущала предстоящая работа. Мне было известно, что Толстой не любит позировать и что известному портретисту Крамскому стоило большого труда сделать его портрет [2].

С тяжелым чувством приехал я в Ясную Поляну. Не помню, почему я был в дороге две ночи, и приехал усталый на третий день, часам к девяти утра [3]. На большом стеклянном балконе не было никого, кроме гувернантки-англичанки, разливавшей чай. Я заметил в углу балкона завернутый бюст и обрадовался, что, кроме меня, кто-то еще работает здесь [4].

Вошел Лев Николаевич. Он подошел ко мне близко, точно наступая на меня, и, подав мне руку, сказал:

— Вы — Гинцбург; вас ожидали еще вчера.

Я оробел, не зная, что сказать. Тогда Лев Николаевич, пристально посмотрев на меня своими умными, проницательными глазами, мягким голосом прибавил:

— А глину для работы вы привезли?

Мне показалось, что он это сказал нарочно, желая вывести меня из состояния смущения, которое, конечно, не ускользнуло от него.

— Привез, но небольшой кусок,— ответил я весело, почувствовав его доброту и сердечность. Мне сделалось легко, точно камень, который всю дорогу давил меня, сразу свалился. Я показал Льву Николаевичу кусок глины.

— Мало, мало, этого не хватит. Как же вы, приезжаете и не привезли побольше глины! Впрочем, я знаю в поле одно место, где прекрасная глина; после обеда я вас свезу туда, и мы накопаем много глины, а пока отдохните, наливайте себе сами кофе или чай, что хотите.

Лев Николаевич сказал это, торопливо допивая свой кофе, стоя у стола. Задав мне еще несколько вопросов о здоровье Стасова, Толстой ушел.

Явился И. Е. Репин, и я очень обрадовался, увидав здесь своего старого хорошего знакомого. Он показал мне начатый бюст Толстого, над которым он работал по вечерам.

— А вот сейчас я пойду писать Льва Николаевича в его рабочей комнате; пойдемте вместе. Вы начнете статуэтку. Хотите?

— Я устал с дороги, и голова болит,— пробовал я отказываться.

— Смотрите, не откладывайте,— настаивал Репин,— вы знаете, где мы теперь находимся. Ведь мы на четвертом бастионе.

Я послушался и пошел за ним.

Толстой уже сидел в своей комнате у окна и писал. Меня поразила обстановка, в которой он работал: старинный подвал напоминал средневековую келью схимника; сводчатый потолок, железные решетки в окнах, старинная мебель, кольца в потолке, коса, пила,— все это имело какой-то таинственный вид. Толстой, в белой блузе, сидел, поджав ногу, на низеньком ящике, покрытом ковриком, напоминая в этой обстановке сказочного волшебника. Он удивленно на нас посмотрел, когда мы вошли, и сказал:

— Работать пришли? Прекрасно. Так ли я сижу?

Мы начали устраиваться. Я уселся возле Репина, который уже кончил свой портрет. Меня восхитила эта работа: обстановка комнаты, свет, падающий из окна, да и сама фигура Льва Николаевича были написаны с

удивительною правдивостью и мастерством. (Картина эта находится в настоящее время в Третьяковской галерее.)

Признаться, мне очень трудно было работать; опасение произвести шум заставляло меня сидеть на одном месте и не шевелиться, а между тем для работы над круглой статуэткой необходимо двигаться и наблюдать натуру со всех сторон. Мне казалось, что наше присутствие стесняло Льва Николаевича; временами он отрывался от работы и вопросительно смотрел на нас, вероятно, забывая, почему мы возле него сидим.

— Я вам мешаю? — спросил он.

— О, нет, — отвечал Репин, — это мы вам мешаем.

— Нет, — сказал Лев Николаевич, только я забываю, что вы меня пишете, и оттого, кажется, меняю позу; у меня такое чувство, точно меня стригут.

Несмотря на все неудобства, я, однако, успел во время этого первого сеанса кое-что сделать и рад был, что работа уже начата.

После обеда Лев Николаевич пошел с нами в поле и указал нам место, где была глина. Вместе с нами он копал глину, и мы привезли домой целый мешок. Сыновья Толстого, Андрей и Михаил Львовичи, разулись и целый день месили эту глину. Через день глина была готова, и я принялся за работу. Работал я одновременно с Репиным, у которого бюст был уже значительно подвинут в работе. Сеансы происходили на большом балконе, днем, после обеда.

Я начал очень большой бюст, и размеры его всех смущали; находили, что это некрасиво, но Репин сказал мне:

— Ничего не меняйте, размер прекрасный; надо, чтобы остался большой бюст Льва Николаевича [5].

Во время сеансов кто-нибудь из домашних читал вслух; помню, что читали тогда биографию Спинозы, и Лев Николаевич слушал с особенным интересом и делал замечания, а когда потом читали «Тружеников моря» Виктора Гюго, то он даже расплакался.

Иногда на балконе собирались гости, с большим интересом следившие за ходом наших работ и сравнивавшие их. Центром всего, конечно, был Лев Николаевич; все, что говорилось, казалось мне, говорилось для него и ради него. Работали мы, таким образом, два раза в день: утром в кабинете, а днем на балконе. Случалось, что Лев Николаевич уставал, а Софья Андреевна жаловалась:

— Левушка, тебя, кажется, художники замучат; ты от них очень устал.

Признаться, мы в самом деле преследовали Льва Николаевича: и вне сеансов мы всё его наблюдали. Он это замечал, и это стесняло его. В особенности много занимался им Репин: он везде его зачерчивал. Мне совестно было помимо сеансов беспокоить Льва Николаевича, и я в свободное время рисовал обстановку его рабочей комнаты, дом и окрестности Ясной Поляны.

Лев Николаевич писал тогда «Царство божие внутри вас» и в разговорах все затрагивал те вопросы, которые он излагал в этом произведении [6]. Но случалось, что он беседовал со мною и об искусстве. Особенно памятен мне один разговор, во время прогулки. Он меня расспрашивал об академии, которая тогда только что обновилась новым составом профессоров. Его интересовала в этом деле роль передвижников.

— Ведь Владимир Васильевич Стасов всегда ратовал за передвижников и старую академию очень ругал; почему же он теперь против вступления передвижников в академию?

Я рассказал тогда Льву Николаевичу всю историю новой академии и изложил взгляд Стасова на то, что талантливым художникам не следует идти в педагоги.

— Что же, пожалуй, он прав,— сказал Толстой.

От вопроса об академии мы перешли к более общим вопросам искусства и, в частности, скульптуры.

— Вы меня извините,— сказал Лев Николаевич,— вот вы скульптор, а я скульпторов не люблю, и не люблю их потому, что они принесли много вреда искусству и людям; они занимаются тем, что вредно. Они наставили по всей Европе памятников, хвалебных монументов людям, которые были недостойны и человечеству вредны. Все эти полководцы, военачальники, правители только одно зло делали народу, а скульпторы их воспевали, как благодетелей. Но главная неправда та, что, увековечивая их, скульпторы представляли многих из них не в том виде, в каком они на самом деле были. Людей слабых, выродившихся и трусливых они представляли всегда героями, сильными и великими; человека малого роста, рахитичного они представляли великаном с выпяченною грудью и быстрыми глазами,— все ложь и неправда. Скульпторы находились на жалованье у сильных мира и угождали им. Такого

позора и в такой степени мы не видим ни в одном искусстве.

Однако я заметил на наших сеансах, что Толстой очень интересовался нашей работой: он очень внимательно следил за ходом лепки и делал различные замечания. «Кажется, очень хорошо, — часто говорил он Репину после сеансов. — Не знаю, что еще будете делать, — даже кислоту передали». А раз, во время чтения какой-то книги, он попросил у меня воску и, глядя на меня, вылепил мой бюстик. Меня поразило, что он так верно схватил общую форму моей головы [7].

Вторую статуэтку Толстого я вылепил в 1897 году [8]. Никого из художников тогда не было в Ясной Поляне, и я работал один. Лев Николаевич был очень занят, и мне совестно было просить его позировать, но Татьяна Львовна, увлекавшаяся живописью (она сама писала красками), просила за меня отца. Сперва я вылепил по фотографиям, сделанным специально для меня Софьей Андреевной с разных сторон, статуэтку, которую я показал Льву Николаевичу; затем Лев Николаевич стал мне позировать. Работали мы в мастерской Татьяны Львовны, которая находилась в деревянном флигеле возле конюшен. Часто Татьяна Львовна читала вслух те вещи, которые нужны были Льву Николаевичу по ходу его работы (он тогда писал «Что такое искусство?»). Кроме Татьяны Львовны, почти никто не бывал в мастерской, и работать было очень удобно 〈...〉.

Третью статуэтку Толстого я сделал в 1903 году, в августе месяце. Я был тогда в Ясной Поляне с Владимиром Васильевичем Стасовым [9]. Лев Николаевич только что оправился от тяжелой болезни, которую он перенес зимой. Я не думал, что удастся что-нибудь вылепить на этот раз: не хотелось мне Льва Николаевича беспокоить. Но раз как-то, рассматривая коллекцию фотографий, снятых со Льва Николаевича Софьей Андреевной, я был поражен двумя фотографиями, на которых Толстой был изображен в кругу своей семьи, сидящим в кресле, в обычной своей позе. Фотографии показались мне такими удачными, что я задумал сделать по ним скульптурный набросок и попросил их у Софьи Андреевны на некоторое

время. И вот, в то время, пока Стасов был занят писанием, я набросал статуэтку Толстого по фотографиям и по памяти. А вечером, когда Стасов беседовал со Львом Николаевичем, я отправился к себе в комнату и, отрезав голову со статуэтки, наткнул ее на палочку и принес наверх, где и стал ее доканчивать, глядя на Льва Николаевича.

— Что вы там делаете? — спросил Лев Николаевич, от взора которого не ускользало ничто из того, что делалось вокруг него.

Я показал.

— Уж вы меня так знаете, что, кажется, наизусть смогли бы меня вылепить.— И его более не стесняли мои наблюдения.

Однако с натуры мне не пришлось работать над этой статуэткой: мне все же не хотелось беспокоить Льва Николаевича, и я ограничился только зачерчиванием его с натуры, а потом часто работал по впечатлению, наблюдая, как он сидит. Впрочем, один сеанс, и довольно долгий, Лев Николаевич мне дал, но я сам плохо им воспользовался, и вот по какой причине.

Стасов попросил Толстого, чтобы он на прощанье прочитал нам что-нибудь из его новых, еще не напечатанных произведений. Толстой согласился и тут же, назначив вечер, обратился ко мне:

— А вот вы в это время лепите статуэтку, когда я буду читать.

Я обрадовался этому, хотя знал, что Толстой во время чтения, вероятно, будет сидеть не в той позе, которая у меня была уже намечена.

Читал Лев Николаевич не в большой зале, как обыкновенно, а в одной из комнат Софьи Андреевны,— комната очень уютная, с портретами работы Крамского, Серова и Репина, но небольшая; она не могла вместить в себе всех слушателей, и некоторым пришлось устроиться у самых дверей. Я должен был поместиться недалеко от Льва Николаевича. Это было слишком близко, и я не видел всей его фигуры, притом лампа с абажюром бросала слишком большие тени на те места, которые мне более всего следовало проверить по натуре. Но я решил хоть кое-как использовать сеанс и приготовился к работе.

Лев Николаевич начал читать. Это был рассказ «На балу». И вот, Лев Николаевич, со свойственными ему мастерством и художественностью, открывает перед

нашими глазами изумительную картину бала, и мы точно в действительности видим освещенную залу, слышим разговоры танцующих и чувствуем вместе с гостями, наблюдающими танцы,— ничто не ускользает от беспощадного взора художника, который показывает нам все с невероятной ясностью. Иллюзия так велика, что я делаюсь невнимательным к своей работе, не вижу статуэтки и чувствую, что я точно нахожусь где-то в другом месте. Лев Николаевич замечает мою рассеянность и вопросительно на меня смотрит, словно упрекает меня в том, что я не работаю; я делаю вид, что продолжаю работать.

Лев Николаевич подробно останавливается на танцующих: молодой барышне-красавице, ее отце — элегантном, любезном офицере, и молодом человеке, который ухаживает за барышней; мы слышим разговор молодых людей, видим, как молодой человек все более и более увлекается своей дамой и в конце бала окончательно влюблен. Все разъезжаются по домам, но молодой человек бродит по улицам и грезит о будущем счастье и о близком свидании. Все передано так психологически верно и с такими деталями, что, кажется, сам автор переживает это увлечение своего молодого героя. Мне делается немного смешно, и я замечаю, что и мои соседи улыбаются, всем както странно, что Лев Николаевич так долго останавливается на любви молодого человека.

Но вдруг автор делает неожиданный поворот, точно, после тихой поэтической мелодии, он сразу ударяет в барабан, и мы все вздрагиваем. Молодой мечтатель, бродя по улицам, наталкивается на страшную сцену: прогоняют сквозь строй провинившегося солдата. Автор, не дав молодому человеку отдохнуть и очнуться от сладких впечатлений бала и наступившей затем ночной тишины, ведет его и нас на плац, где развертывается картина, исполненная великого ужаса. Мы слышим свист и стоны, видим доктора, осматривающего истязаемого человека, и слышим распоряжения и крик разъяренного, озверевшего офицера, того самого офицера, который накануне так мило танцевал, который и теперь чертами лица и своими жестами сильно напоминает красавицу дочь, сладкую мечту молодого героя.

Я, конечно, бросил работу. На этот раз не одни глаза мешали мне работать; руки мои дрожали, и я боялся, что, дотронувшись до статуэтки, я сомну ее.

Статуэтка эта так и осталась неоконченным наброском.

Но она мне дороже других работ, она живо напоминает мне тот вечер, когда чувства и мысли Толстого взволновали меня так, что заставили забыть и себя и свою работу.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Всякий раз, когда я бывал в Ясной Поляне, я стремился разрешить вопросы, которые настойчиво предлагали мне друзья, интересовавшиеся Толстым.

— Правда ли,— спрашивали меня,— что Толстой живет в богатой обстановке, что у него есть лакей, что все в его доме веселятся, хорошо едят?.. И если это правда, то как это примирить с тем, что Толстой проповедует?

Признаться, одно время и меня смущали эти вопросы, смущали не столько по существу, сколько тем, что эти суждения были у всех на языке и, следовательно, затрудняли, затемняли ясное и верное понимание идей Толстого.

Однако, когда я приезжал в Ясную Поляну, мне никогда не удавалось разрешить эти вопросы, не удавалось потому, что я был так поглощен самим Толстым, что не мог уделить много времени и внимания изучению и наблюдению обстановки, в которой жил писатель. Слишком обаятельна была сама личность этого гения-мудреца, чтобы можно было долго останавливаться на том, что, по существу, особенной роли не играет. И только когда я возвращался из Ясной Поляны и перебирал в памяти все, что я там видел (я был там раз десять), я находил огромный материал для решения тех вопросов, которые одно время так мучили людей, в сущности, мало проникшихся глубиной мысли Толстого. Я понял наконец, что только в силу поверхностного постижения личности Толстого, только издалека, когда не видишь и не слышишь самого Льва Николаевича, некоторые действия и поступки его могли показаться противоречивыми и не соответствующими его убеждениям. Но кто видел Толстого и наблюдал его живую, восприимчивую натуру, тот мог убедиться, что все, что издалека казалось противоречивым, на самом деле было только мыслью в движении, неустанной и напряженной работою мысли.

Вероятно, как и многие другие, я приехал в Ясную Поляну в первый раз с готовым представлением, с определенной меркой суждения о том, как должен себя держать мудрец-философ, как должен жить гений, написав-

ший «Войну и мир» и «Царство божие внутри вас». Толстой, казалось мне, должен быть угрюм, всегда серьезен, задумчив, несколько рассеян, строг к себе и еще строже к окружающим. Что, если он заметит мою обычную веселость, мое легкомыслие? Чтобы скрыть свои недостатки, я должен стараться быть серьезным в присутствии Толстого. Придется, конечно, отказаться от многих удовольствий, которые сулит жизнь в деревне.

Однако, в первый же день моего приезда в Ясную Поляну, я убедился, что все мои опасения были напрасны: днем, после работы, Лев Николаевич пришел к нам на балкон и, увидев, что мы сидим без дела, сказал: «Что это вы точно скучаете? Пойдемте в теннис играть. Кто со мной? А вы играете? — обратился он ко мне.— Нет? Жалко!.. Ну, пойдемте, так посмотрите». Во время игры Лев Николаевич был чрезвычайно весел, горячился и волновался за себя и за своих партнеров. «Ай, ай, как я плохо отдал!» — закричал он детски-наивно своим мягким голосом. «Молодец Саша!» — крикнул он в другой раз, когда его младшая дочь сделала удачный удар. Глядя на Льва Николаевича, мне досадно стало, что я не играю и не могу разделить с ним его веселье. «Теперь пойдемте гулять, я покажу вам новую дорогу в лес»,— сказал Лев Николаевич. Мы пошли. Толстой время от времени останавливался и оглядывался кругом: была чудесная погода, и видно было, что природа радовала его, что он наслаждался ею, точно давно не был в этих местах. «Вот этот лес, какой он густой и прекрасный; когда-то я сам эти березки насадил; а вот там дорога в сосновый лес, туда прекрасно ездить верхом. А вы катаетесь верхом и купаетесь? — обратился он ко мне.— Вот завтра поедем купаться».

На следующий день, гуляя в лесу, я встретился там со Львом Николаевичем, который был верхом на лошади. «Что вы один гуляете? Поедемте купаться!» И, подав мне руку, он усадил меня на свою лошадь, одной рукой поддерживая меня, а в другой держа повода. Нельзя сказать, чтобы мне очень удобно было сидеть на гриве лошади. В купальне мы застали Репина. Толстой обрадовался ему, потом, быстро раздевшись, прыгнул в воду и исчез. «Как он плавает, точно двадцатилетний юноша!» — восхищался Репин, уже вышедший из воды и принявшийся обтираться полотенцем. «Что вы делаете! — испуганно воскликнул Толстой, появившийся в купальне с другой сто-

роны.— Вы портите все купанье. Надо обсушиваться на солнце, на воздухе. А вы тряпкой обтираете все то, что дала прелестная вода. Посмотрите, как купаются звери и птицы: они всегда обсушиваются на солнце». На Репина подействовали эти аргументы, и он бросил полотенце.

Известно, что Толстой почти до конца своей жизни любил ездить верхом; прежде он катался на велосипеде, любил играть в городки и в теннис. Лев Николаевич далеко не чуждался веселых настроений вообще. Он смеялся от души, когда ему рассказывали что-нибудь остроумное и веселое, и сам любил рассказывать. Так, например, он рассказал однажды следующее:

Два важных сановника, купаясь в реке, поссорились. Один из них выскочил на берег, напялил на голое тело мундир и, приняв важную позу, стал возражать своему противнику. Тогда и другой, в свою очередь, поспешил к берегу и на голую шею повесил свой орден. В таком виде оба продолжали перебранку. Рассказал также Лев Николаевич, как он утратил веру в генеральский чин. В детстве он думал, что генеральство отмечается исключительно мундиром. Но вот раз, когда он, еще мальчиком, был с отцом в бане, он слышал, как один голый величал другого голого «превосходительством». «Откуда он знает, что это генерал?» — подумал маленький Толстой — и с тех пор разуверился в генеральском мундире 〈...〉.

Если я не мог предположить, отправляясь в первый раз в Ясную Поляну, что приму там участие во всевозможных развлечениях, то всего неожиданнее было для меня то, что в первый же вечер я сам сыграл активную роль в этих развлечениях. Утомительная дорога, волнение перед свиданием с Толстым, работа в его кабинете вместе с Репиным, обед за общим столом с совершенно незнакомыми людьми, прогулки в обществе Льва Николаевича, разговоры об искусстве — все это требовало напряжения всего внимания: я боялся что-нибудь пропустить, хотел все запомнить. Естественно, что к вечеру я почувствовал себя очень утомленным, и потому во время чая, улучив минутку, когда все были чем-то заняты, я незаметно спустился вниз, в мою комнату, и прилег отдохнуть.

Но вот неожиданно открывается дверь, и в комнату входит Лев Николаевич. «Вы уже спать собираетесь?

Ведь еще рано! А я вот зашел к вам, чтобы попросить вас показать нам ваши мимические представления. Я только что получил письмо от Стасова. Он просит, чтобы вы нам это непременно показали».

Я пробовал отказываться, но Лев Николаевич настаивал: «Пойдемте наверх, там все вас ждут».

Пришлось подчиниться, и я пошел с ним в зал. Мне стало немного жутко: общество мне было мало знакомо, а главное — тут был сам Лев Николаевич, перед которым, казалось мне, стыдно было показывать такие пустяки, которыми я обыкновенно развлекал своих товарищей. «Льву Николаевичу это очень нравится, не робейте»! — шепнул мне Репин и, взяв меня за руку, усадил меня посреди стола, предложив всем гостям рассесться против меня. Лев Николаевич стал против меня в обычной своей позе, заложив руки за пояс, и уставился на меня своими умными, серьезными глазами. Все ждут, надо решиться, и я, овладев собою, стал изображать портного, который кроит, вдевает нитку в иголку, шьет и утюжит. Слышу громкий смех Льва Николаевича,— он так заразительно смеется, что за ним хохочут все, и я сам начинаю смеяться. «Левушка,— говорит Софья Андреевна,— ты мешаешь»,— и Лев Николаевич отходит в сторону. Он не смеется больше, но я вижу, как он глазами и ртом повторяет мою мимику. Это меня смешит, но придает мне больше смелости, и я показываю весь свой репертуар [10].

На следующий день утром, выйдя в сад, я услышал, как кто-то повторяет мой вчерашний рассказ об ученике, отвечающем урок. Оглядываюсь — это Лев Николаевич, увидевший меня в окно и зовущий меня к себе таким не совсем обычным способом.

Прошло несколько лет. Я приехал в Ясную Поляну после того, как Лев Николаевич перенес тяжелую болезнь. Он мне показался тогда значительно постаревшим. Расспрашивая меня о некоторых знакомых и художниках, он коснулся некоторых вопросов искусства и вдруг спросил: «А сегодня покажете нам?» — «Неужели вы не забыли и вам не надоело то, что вы столько раз видели?» — заметил я. «Нет, то, что интересно, можно долго смотреть. А вот если вам не хочется показывать, то посмотрите сперва, какие вещи нам покажет мой приятель «Су-

нер» *. Как интересно и талантливо он изображает животных! Посмотрите, и вам самому захочется показать нам ваши сценки».

Действительно, то, что показал нам Сулержицкий, было так курьезно, смешно и талантливо, что все от души хохотали. Походкою, движениями рук и ног Сулержицкий так изображал слона, а затем рыбу, что мы точно в действительности видели этих различных и ничем не походящих на человека животных.

— Что,— сказал Лев Николаевич, продолжая смеяться,— не правда ли, талантливо? [11]

Конечно, пришлось и мне показывать свое.

Толстому исполнился уже тогда 81 год. Разумеется, простой потребностью в развлечении и желанием отдохнуть нельзя объяснить этого маленького пристрастия Льва Николаевича к забавам и невинным шуткам. Вечно занятый своими глубокими идеями, глядевший своими проницательными глазами в глубь времени, он, вместе с тем, страстно любил наблюдать и окружавшую его живую жизнь. Мельчайшие подробности, мельчайшие черты в характере собеседника не ускользали от его острого взора,— взора не судьи, не критика, а художника, всегда влюбленного в разнообразную и сложную природу человека. И, беседуя с кем-нибудь, он не только чувствовал и изучал своего собеседника, но видел и замечал все то, что делалось вокруг.

— Что вы тут читаете, что вы рассматриваете? — спрашивал обыкновенно Лев Николаевич того, кто, отделившись от собравшегося общества, углублялся в чтение или рассматривал какие-нибудь картинки.

Это ощущение радости жизни не мешало, конечно, Толстому работать, не мешало ему предаваться своим глубоким размышлениям о смысле жизни и о смерти.

Еще большее соответствие я находил между его идеями добра и любви и его личным отношением к окружающим, к семье, к друзьям и посетителям. Он верил в духовную силу людей, но относился терпимо к их человеческим слабостям, а иногда невольно поощрял эти слабости. Мне часто приходилось наблюдать, как Льву Николаевичу бывали неприятны предложение или просьба какого-нибудь приезжего гостя. В первый момент Толстой,

* «Сулером» Толстой называл покойного режиссера Московского Художественного театра Л. Сулержицкого. (*Прим. И. Я. Гинцбурга.*)

со свойственными ему прямотой и искренностью, категорически отказывал; но, подумав и решив, что эта неприятность имеет для него не столько принципиальное значение, сколько чисто личное или что его отказ причинит горе или неудобство другому, Лев Николаевич тут же соглашался ⟨...⟩.

Насколько Лев Николаевич был непреклонен, резок и бесповоротен в основных вопросах, на которых он строил свое мировоззрение, настолько же он бывал уступчив, в высшей степени предупредителен и деликатен, когда это касалось его личных удобств (всегда готовый отказаться от них) и удобств других (всегда готовый удовлетворить их).

Эта благодарная борьба со своими страстями, личными удобствами и желаниями, в интересах других, была в нем постоянно. Этим и объясняется то кажущееся участие, которое Лев Николаевич принимал в житейской обстановке, мало соответствовавшей его личным требованиям к жизни. Боязнь лишить кого-нибудь невинного удовольствия и причинить кому-нибудь неудобство заставляла его терпеть неприятности самому и испытывать даже горе. Меня поразило (когда я был в первый раз в Ясной Поляне в 1891 году), что, в то время как внизу, в своем рабочем кабинете, Лев Николаевич обдумывал свои мировые идеи, над ним, в зале, беспрестанно гудела балалайка, а иногда раздавался топот танцующих.

Только такая всеобъемлющая душа, как душа Толстого, могла охватывать задачи, касающиеся блага всего человечества, и гуманно и просто разрешать мелкие вопросы, касающиеся каждого отдельного человека. Кто имел счастливую возможность лично знать этого мудреца, кому удалось наблюдать Толстого в его частной жизни, тот понимает, что все, казавшееся противоречивым, на самом деле выражало огромное богатство и ширину натуры гениального художника, к которому неприложимы обычные мерки и поверхностные суждения ⟨...⟩.

СТАСОВ У Л. Н. ТОЛСТОГО

I

Вместе с Владимиром Васильевичем Стасовым мы приезжали в Ясную Поляну несколько раз. Оставались мы там по нескольку дней. Особенно запомнился мне

наш последний совместный приезд. Это было в 1904 году, в середине августа [12] ⟨...⟩.

Приехали мы под вечер, прямо к обеду. Лев Николаевич и Софья Андреевна выскочили из-за стола и обнялись со Стасовым. Нас усадили обедать. Стасов сел рядом с Софьей Андреевной, а я — между Львом Николаевичем и каким-то незнакомцем.

— Вы не знаете его? Это художник Орлов, — отрекомендовал мне моего соседа Лев Николаевич.— Вы, вероятно, видали его работы.

И тут же более тихим голосом сказал мне:

— Это замечательный художник.

— Начались оживленные разговоры, и все с особенным вниманием слушали интересные рассказы Стасова о наших приключениях во время путешествия. Стасов был в ударе и рассказывал так интересно, что все дружно смеялись.

— Смотрю я на вас и любуюсь вами, — сказал ему Лев Николаевич. — Какой вы бодрый, веселый и юный еще.

Лев Николаевич начал шутить и, в свою очередь, рассказал нам смешной анекдот.

После обеда разбрелись — одни писать, переписывать и корректировать новые вещи Толстого, а другие по своим делам. Мы со Стасовым остались со Львом Николаевичем.

— Что вы теперь, Лев Николаевич, пишете? — спросил его Стасов.

— Да вот работаю над большим календарем с изречениями [13], кончаю другие вещи, пишу и о Шекспире. Не знаю, напечатают ли это теперь. Пускай это появится после моей смерти, и уже потом меня ругают и бранят [14].

И он начал излагать свой, уже известный теперь взгляд на Шекспира. Осторожно и мягко пробовал Стасов защищать Шекспира от жестоких порицаний Толстого, но Лев Николаевич не только не смягчал своих нападок, но всякий раз еще сильнее их выражал. Признаться, я опасался, чтобы спор не обострился. Мои опасения разделял и находившийся в комнате П. А. Сергеенко. Насколько я понял тогда, Лев Николаевич ставил Шекспиру в вину главным образом то, что Шекспир не любил простого народа, что он сочувствовал тенденциям высших классов и что вообще Шекспир был поклонником аристократии [15].

— Я читал в подлиннике новеллы, откуда Шекспир черпал свои сюжеты, и все это не так. В этих новеллах чрезвычайно много действительно интересного и правдивого, а Шекспир не так воспользовался этим ценным материалом. Многое очень важное и красивое он пропустил.

Однако спор не принял угрожающих размеров, и мы перешли на другие темы.

Поздно ночью, когда мы ушли к себе, Стасов заметил:

— Какой Лев Николаевич бодрый, веселый и юный еще! А насчет Шекспира я ему еще выскажу мое мнение. Пусть он знает, что я не могу согласиться с ним.

Мы спали в той комнате, которая когда-то была рабочей комнатой Толстого. В этой комнате я в первый раз лепил Льва Николаевича в 1891 году. Сводчатый потолок, в который вбиты железные крючки, маленькие окна с железными решетками, старинная мебель — все это, как и в первый раз, произвело на меня глубокое впечатление.

II

Утром, не успели мы еще одеться, как прибежал Лев Николаевич, бодрый, веселый.

— Ну, как спали? Не беспокоили ли вас мухи? А я припомнил имя автора, о котором вчера рассказывал вам, — обратился Лев Николаевич к Стасову.

По своему обыкновению, Лев Николаевич, выпив утром кофе, уходил к себе работать, и уж так до вечера трудно было с ним поговорить. Урывками он появлялся и днем, но не надолго.

После чая Лев Николаевич собрался верхом в город. Стасов восхищался кавалерийской посадкой Толстого и с особенным удовольствием рассматривал его лошадь.

— Как сидит-то на лошади! Настоящий кавалерист!

После обеда Толстой снова беседовал со Стасовым, причем Лев Николаевич прочел вслух некоторые места из Герцена.

— Что это был за острый и глубокий ум! — сказал Лев Николаевич. — Как он верно и метко поражал врагов своих. От его талантливого пера жутко приходилось его противнику. А помните, как он в немногих словах отметил характер двух императоров?[16]

И Лев Николаевич стал наизусть цитировать Герцена. Стасов весь сиял от восторга. Он, в свою очередь, при-

помнил некоторые мысли и изречения великого публициста [17].

Точно вперегонку, эти два старца хвастали знанием и пониманием Герцена, и приятно было видеть, как на этом они совершенно сошлись. Заговорили о новейших писателях, и Лев Николаевич заявил, что он особенно любит Чехова, а о других он отозвался так:

— В сущности все теперь прекрасно пишут. Уменье писать удивительное; у всех красивый, художественный слог.

— Как он любит Герцена! — сказал мне Стасов, когда мы спустились вниз. — Да, Герцен и Толстой — крупнейшие величины; в моей жизни я не знал никого выше этих двух гениев.

Стасов еще долго не мог успокоиться: все припоминал слова Толстого.

— Все, что я вижу и слышу здесь, так важно, так ценно, что хотелось бы еще долго оставаться здесь. Знаете ли, что я придумал? Ведь мы решили послезавтра уехать. Так вот, я завтра попрошу Льва Николаевича, чтобы он прочел нам что-нибудь из своих новых вещей. Помните, в прошлом году я просил, и он исполнил. Как он читает! Помните? Божественно хорошо!

III

На следующий день, во время утреннего кофе, Стасов изложил Льву Николаевичу свою просьбу.

— Хорошо, вечером, во время чая, прочту, — сказал Лев Николаевич.

Этот последний день Лев Николаевич почти все время после завтрака провел с нами. Мы втроем гуляли в парке, и Лев Николаевич рассказал нам главное содержание повести «Хаджи-Мурат» и других своих новых вещей.

— Надо торопиться кончать и некоторые другие работы, — вдруг, остановившись, сказал Лев Николаевич, глядя вниз; а затем, подняв свои глаза на Стасова и посмотрев на него своим добрым и глубоким взглядом, сказал: — Да, Владимир Васильевич, нам надо приготовиться теперь. Нас скоро ожидает приятный конец.

— Какой? — спросил Стасов.

— Да вот, смерть. Я уверен, и вы ее ждете.

— Черт бы ее побрал! — воскликнул Стасов. — Мерзость, пакость, да еще готовиться к ней! Я часто плохо

сплю, ворочаюсь в постели, как подумаю, что придется умереть.

— Однако вы чувствуете же старость, приближение конца?

— Ничего не чувствую, ни в чем себе не отказываю, как прежде, и надеюсь, что и вы, Лев Николаевич, ни в чем себе не отказываете. Вот, ездите верхом, играете в лаун-теннис...

Стасову было тогда восемьдесят лет. Его мощная, крупная фигура дышала жизнью, энергией и здоровьем. Он шел быстро, держа шляпу в руках, так как всегда чувствовал жар в голове. Толстой хотя был моложе Стасова, но казался старше.

«Как различны их взгляды на жизнь, — подумал я,— но как одинаково они ее любят и ценят!»

Лев Николаевич стал спрашивать меня, что я делаю, над чем теперь работаю.

— А лепите вы животных?— спросил он меня.

— Лепил, но мало.

— Какое это чудное искусство и какое важное! В особенности если выразить то сочувствие, которое люди должны бы питать к животным. Я видел замечательную картину, которая убедила меня, как высоко бывает искусство, когда оно выражает любовь, все равно, в ком эта любовь ни проявилась бы. Собака стоит на берегу с поджатым хвостом и смотрит вдаль, где виден удаляющийся корабль. Страшная тоска и боль чувствуется во всей фигуре собаки, которая оставлена своим хозяином. Впечатление очень сильное, и чувство жалости к животному неотразимое.

Я рассказал Льву Николаевичу, что недавно я видел в Париже, в «Салоне», скульптурную группу «Друзья». Обезьяна ищет у собаки. Собака прижалась к своему другу, и ей так приятно, что она зажмурила глаза и вся съежилась. Чувство дружбы поразительно выражено в этом произведении искусства. Льву Николаевичу это так понравилось, что, придя домой, он со всеми поделился моим рассказом.

IV

Мы, продолжая прогулку, подошли к забору сада.

— Стойте, — сказал Лев Николаевич, — тут в кустах должен быть проход. Отсюда мы ближе попадем в сад.

И, расправив кусты, он показал мне довольно глубокий ров.

— Осторожно!— предупредил Лев Николаевич. — Темно, а подъем наверх очень крутой.

С трудом взобрался я наверх и предложил руку Льву Николаевичу, чтобы помочь ему.

— Нет, не надо. Я привык. Каждый день взбираюсь таким путем.

И молодецки, как юноша, спрыгнул он вниз и с особенною легкостью взобрался наверх. Мы вышли на большую аллею. Стало светлее.

— Эта самая старая аллея, любимое место моих предков. Тут бабушка и дедушка гуляли.

После чая мы с нетерпеньем ждали обещанного. Лев Николаевич принес из своей комнаты тетрадку. Стасов сел возле него. Софья Андреевна, все еще больная, сидела в своем углу у круглого столика и что-то вышивала. Другие сидели в противоположном углу зала и занимались наклеиванием изречений для календаря, над которым работал тогда Толстой. Я сел возле Льва Николаевича, намереваясь зачертить его во время чтения.

Лев Николаевич начал читать отрывок из «Воскресения», с первых же слов захватывающим образом подействовавшего на нас [18]. Моментами повествование было до того потрясающим, что я должен был перестать рисовать. Карандаш вываливался из моих рук. В зале было гробовое молчание, и все, затаив дыхание, слушали рассказ о генерал-губернаторе, читающем просьбу о смягчении участи несчастного заключенного. Дальше идет целый ряд сцен, бесконечно правдивых и бездонно глубоких по мысли. Лев Николаевич точно в действительности водил нас по тюрьмам, открывал перед нами камеры одиночного заключения и показывал нам живые картины живой и трепетной жизни. И когда он кончил, мы еще долго сидели как бы в оцепенении.

— Четвертая часть еще не готова, — прервал тишину Лев Николаевич.

Было уже поздно, и мы, поднявшись с места, разошлись, не чувствуя больше в этот вечер нужды в каких бы то ни было посторонних разговорах.

— Вот что мы получили, — сказал Стасов, когда мы спустились вниз.

Его глаза были полны слез.

— Ах, что мы услышали, что мы услышали!— с глубоким вздохом повторил он.

Я долго не мог заснуть. Все мерещились мне бессмертные образы, созданные гением Толстого. Мой сосед тоже не спал. Я слышал, как он ворочался в постели и тяжело и часто дышал.

Рано утром голос Стасова разбудил меня.

— Вы не спите? Вот о чем я думаю: я ночью плохо спал, все думал о нашем Льве. Я хочу сказать, просить, чтобы мы остались еще на один день. Жалко мне уезжать. Хочу его еще видеть и слышать. Увидимся ли еще когда-нибудь в другой раз? Это, вероятно, последний раз, что я приехал.

— Вряд ли он прочтет нам опять, — возразил я.

— А может быть, он еще скажет что-нибудь такое, что так важно и интересно.

Вошел лакей и передал нам книги.

— Лев Николаевич просит взять их с собою, — сказал он.

Мы порешили уехать; уложились и пошли наверх, где нас ждал Лев Николаевич. Скоро пришла и Софья Андреевна, которая все еще чувствовала себя плохо. Стали прощаться. Стасов был взволнован. Он говорил отрывистыми фразами.

— Да, да, больше не увидимся, может быть, — вздыхая, повторял он как бы про себя.

Я не мог больше видеть прощания этих друзей, которые, может быть, никогда уже не встретятся больше, и отошел в сторону [19].

— Приезжайте, приезжайте зимою!— закричал еще раз, уже с лестницы, Лев Николаевич.

Когда мы выехали из усадьбы, Стасов, глубоко вздохнув, сказал:

— Жалко, жалко, что мало виделся с ним. Но, кажется, мы все-таки вовремя уехали: графиня больна, да и остальные скоро разъедутся... А вот — где Лев Николаевич будет лежать,— сказал грустным голосом Стасов, указав на церквушку, старинную усыпальницу предков Толстого [20].

Точно в ответ на это послышалось рыдание. По другую сторону дороги двигалась деревенская похоронная процессия.

ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Сытая лошадка, запряженная в тряский тарантасик, высланный за мною на станцию, подвезла меня в сумерки к живописной, хорошо всем известной по снимкам яснополянской усадьбе, к небольшому каменному дому, и на веранде, заплетенной диким виноградом, я сейчас же увидела Толстого. Он вышел встретить меня и, поздоровавшись, быстрым шагом пошел впереди меня по деревянной лестнице в верхний этаж дома. У меня кружилась голова от волнения, и в глаза металась разорванная на спине, еще не зачиненная блуза и стоптанные туфли Толстого. В крошечной проходной гостиной, освещенной по-вечернему, он предложил мне сесть, подождать графиню и стал расспрашивать о здоровье Лескова и о моих последних свиданиях с ним [1] ⟨...⟩.

Обвеянная мировою славою, необычайно сложная жизнь толстовской семьи, со всеми ее глубочайшими внутренними противоречиями, столкновениями различных характеров и мировоззрений, вспышками человеческих страстей, со всеми ее порядками и беспорядками, с беспрерывною сменою разнородных посетителей, — в своем обычном течении представляет какое-то художественное чудо: она кажется такою простою, цельною, легкою, даже жизнерадостно-вольною. Оттого и чувствуешь себя в этой семье, как в среде самых обыкновенных милых русских помещиков средней руки. Великий писатель, мыслитель-моралист живет своими идеями не только у себя в кабинете, но — ежечасно, ежеминутно — у всех на глазах, не переставая быть в то же время непосредствен-

ным, общительным человеком, страстно любящим жизнь — живую, органическую жизнь, со всеми ее обычными проявлениями, каковы бы они ни были и как бы он ни судил о ней в своем неустанно работающем разуме. Многолетнее единоборство его духа с властно захватывающей его стихией жизни словно не истомило его.

Он всегда поражал меня неистощимою душевною молодостью, впечатлительностью ко всему, что вошло в круг его внимания, свежим юмором в отношении ко многим явлениям жизни.

Я так ясно вижу его перед собой, когда он сидит за длинным обеденным столом, жует хлеб уже беззубым ртом, рассказывает что-нибудь и смеется:

— А вот Владимир Сергеевич [2] привозил ко мне зачем-то поэта Величко. Удивительный поэт!.. Стихи мне читал — про весну... «Опять запели трясогузки»... Очень это мило: трясогузки... [3]

Кто-то сообщает, будто в газетах говорят о предполагаемом съезде толстовцев [4]. Толстой весело подмигивает одному из присутствующих «толстовцев» (их почему-то прозывали в Ясной Поляне, конечно, и в глаза, — *темными*): [5]

— Вот отлично!.. Явимся на этот съезд и учредим что-нибудь вроде Армии спасения. Форму заведем — шапки с кокардой. Меня авось в генералы произведут. Маша портки синие мне сошьет... [6]

Мне много раз приходилось говорить с Толстым с глазу на глаз о серьезных, волнующих, религиозных, нравственных и общественных вопросах, или о современной литературе, или об общих знакомых — Лескове, Владимире Соловьеве, Стасове, — и всегда, после первой минуты понятного стеснения, я испытывала в разговоре с ним странную легкость, бо́льшую даже, чем в разговоре с громадным большинством «обыкновенных» людей. Я думаю, что это общее впечатление всех тех, кому он дорог в основных течениях его духа и кому удалось видеть его при естественных для него условиях, — не насилуя его настроений и хода его мыслей, как это иногда невольно делают люди, приехавшие к нему на очень короткое время и жаждущие услышать от него как можно больше суждений на самые ответственные темы.

Чуть ли не на следующий день по моем приезде в

Ясную Поляну он предложил мне прогуляться с ним, и мы пошли по большому яблочному саду, потом вдоль каких-то канав, мимо огородов. Мне было необходимо говорить с ним о «Северном вестнике», чтобы просить его об участии в нем, но это было стеснительно, и я молчала. Он заговорил сам, стал расспрашивать о мотивах, побудивших меня взяться за это дело, и о том, на какие средства я его веду ⟨...⟩.

Во всех таких беседах меня поражала его манера говорить, его язык — энергичный, отрывистый, образный, богатый оттенками и выражениями, не исключая обычных «интеллигентских» выражений и галлицизмов, которые никогда почти не встречаются в его письменной речи.

Это различие между устным и письменным языком Толстого долго заставляло меня задумываться. Кто не знает его манеры, особенно в статьях, громоздить одно придаточное предложение на другое, как бы закручивая спиралью основную мысль фразы и не стесняясь повторением одних и тех же относительных местоимений и наречий. Эту его особенность хорошо сознают и члены его семьи. Я помню, однажды Татьяна Львовна, сидя над рукописью его сочинения «Царство божие», вдруг сказала:

— Смотрите пожалуйста, какой язык вдруг пошел! Что за оказия?... Папа́ ведь обыкновенно пишет совершенно невозможным образом, а тут — вы послушайте... Аа! вот в чем дело! Это его цитата из Вогюэ [7]. Ну, тогда все ясно. Папа́ ведь отлично переводит.

И действительно, в переводах Толстого язык бывает легок, жив, энергичен, как в чисто-художественных его описаниях и в устной речи. Его бесчисленные корректурные помарки на переводе «Дневника Амиеля» пленяли всех в нашей редакции тонкостью оттенков и гибкостью оборотов [8].

Язык Толстого, со всеми его характерными неправильностями, всегда великолепен, когда он говорит или пишет из своей художественной природы, когда он видит перед собою то, что пишет, когда он непосредственен, стремителен в своих настроениях. Но когда он говорит от разума или от рассудка, на темы, которые кажутся ему особенно важными и ответственными, стараясь быть особенно добросовестным в передаче своей

мысли, он точно побеждает при этом огромные трудности; он точно отбивается и отгораживается в это время от подступающей к нему со всех сторон образной, красочной, чувственно-восхитительной стихии жизни, которая повлекла бы его полную сил и страстей художественную душу по иным путям, прочь от всего того, что он раз навсегда признал единственно важным и достойным человеческого назначения.

Я помню, как мы говорили с ним однажды о западноевропейских анархистах-бомбистах и он, возмущаясь их доктриною, вдруг сказал:

— А все-таки они мне гораздо милее всяких либералов. Сумасшедшие, конечно, но, по крайней мере, натура есть.

Он задумался, усмехнулся, покачал головой и проговорил, точно разговаривая с самим собою:

— Севастопольские гранаты мне вспомнились... Как она, бывало, летит мимо, воет, дух захватывает... И вдруг треснет где-нибудь поблизости... Хорошо!..

Это «хорошо» было сказано с таким заразительным чувством, что я вдруг представила себе своеобразную прелесть этой минуты, — когда граната разрывается на поле сражения, — и засмеялась 〈...〉.

Толстой горяч и нетерпелив. Когда ему нужно быть терпеливым, это, очевидно, стоит ему страшных усилий. Он старается справиться с собою, и тогда даже устный язык его становится таким же тяжелым, как в его философских писаниях. Ему бывает трудно доказывать людям то, что дух его созерцает уже как самоочевидное. Я помню, например, как он однажды в Москве с необыкновенным терпением, стараясь не раздражаться непонятливостью собеседника, излагал одному своему прежнему знакомому, старому светскому человеку, приехавшему откуда-то с Ривьеры, сущность своих религиозных и нравственных воззрений. Он говорил медленно, слово за словом, точно напряженно вертя ручку туго двигающегося колеса от какой-то машины. Когда гость ушел, я сказал Толстому:

— И охота это вам, Лев Николаевич, растолковывать свои идеи такому господину. Разве он понял что-нибудь?

— А вы думаете, не понял? — живо ответил он, встал, встряхнулся, рассмеялся, потом опять стал серьезным:

— Сначала-то я из вежливости: он первый ведь начал про это, а потом... Не знаю, право, как тут быть... думается, все-таки нужно объяснять людям в таких случаях.

Горячность, нетерпеливость, страстность Толстого дают себя чувствовать и в тех случаях, когда что-нибудь безотчетно не нравится его реалистически-художественной натуре, и в тех случаях, когда что-нибудь резко противоречит его нравственным воззрениям. Точно так же и завоевать его симпатии можно как с непосредственно-художественной, так и с идейной стороны его существа. В этих случаях он способен иногда не замечать обратной стороны подкупившего его явления.

Так, ему нравится иногда, за моральную тенденцию, какой-нибудь рассказ, и он уже не обращает внимания на его художественную негодность. А между тем я помню, с каким увлечением он говорил о нашумевшем в то время романе «Трильби» [9–10], в котором его могла привлекать только легкая искрящаяся живость повествования. Золя отталкивал его своим мировоззрением — и он с досадой назвал его один раз «просто бездарным дураком» [11], а Ибсен, очевидно, раздражает его своими художественными приемами. Он терпеть не может его и раз, сердясь, уверял меня, что совершенно не понимает его.

Я пробовала возражать ему. Он упорно твердил:

— Нет, нет, ничего в нем не понимаю.

— И про «Нору» вы то же скажете?.. [12] Ведь это уж совсем простая, реалистическая вещь.

— И про Нору... Нисколько не лучше ⟨...⟩.

В кажущихся непоследовательностях Толстого есть своя психологическая последовательность, коренящаяся в его двойственной природе и ее непрерывных борениях. И потому часто самая эта его непоследовательность художественно и человечески подкупают душу.

Я помню, как однажды в Москве, в то время, когда Толстой задумывал свой труд об искусстве и в разговорах возмущался известными видами музыки, я услышала, находясь в нижнем этаже у лестницы, как сверху раздались звуки вальса.

— Послушайте! — сказала Татьяна Львовна, прервав нашу беседу. — Знаете, кто это играет? Папа. Это вальс

его собственного сочинения [13]. Но он очень стесняется этого.

Я видела его также играющим на рояле со скрипкою Крейцерову сонату. Лицо его, несколько приближенное к нотам, было строго и светло-серьезно.

В эти минуты он не боролся с Бетховеном [14].

Один раз Лев Николаевич и покойный Н. Н. Ге, живший в то время в Москве и постоянно сидевший у Толстых, предложили мне пойти вместе с ними в Третьяковскую галерею. Помню их обоих перед «Распятием» Васнецова, которое оба очень не одобряли. Патетический реалист Ге только что написал свое нашумевшее тогда «Распятие», которым Толстой страстно увлекался [15]. Стоя перед Васнецовым, Ге говорил, указывая на ангелов с большими крыльями:

— Нет, вы мне скажите, зачем тут птицы-то, птицы-то эти! — Толстой уже не слушал его и, отойдя, с интересом рассматривал, не помню уже — чью, мрачную небольшую картину, изображавшую какую-то сцену в крестьянской избе. Но всего больше нравились ему, собственно, пейзажи, и я не могу забыть его восторга перед картиной, кажется, Дубовского, изображавшей иссиня-черную, низко нависшую над землею грозовую тучу [16].

— А! вот хорошо!.. Что хорошо, то хорошо! — повторял он, отходил от картины и снова возвращался.

Наверное, такое же чувство восторга вызывает в нем настоящая грозовая туча в Ясной Поляне с окружающими ее полями на холмах и старыми, уходящими за горизонт засеками.

Воспоминания опять переносят меня туда, в поэтическую Ясную Поляну, где жизнь великого человека кажется обыкновенно тихою и простою, где я столько раз видела его довольным и смеющимся.

Вспоминается день рождения Толстого, 28 августа, ровно шестнадцать лет тому назад [17]. Был чудесный солнечный день. Деревья, окружающие поляну с цветником перед домом, стояли, не шевелясь, уже тронутые золотом, и дикий виноград у веранды заалел. Мы с Марьей Львовной собирали в букеты осенние цветы, чтобы поставить их на стол, и она напевала протяжную народную песню. В доме и во флигеле были гости: Кузминские и несколько «темных»: кажется, милый,

умный П. И. Бирюков, напоминавший мне, в миниатюре, своими прозрачными глазами, торчащими бровями и бородой Бога-Саваофа в храме Христа Спасителя, и смуглолицый, молчаливый Попов [18]. После обеда приехали из своего имения Фигнер с женой, Медеей Фигнер, тульский губернатор Зиновьев с дочерьми и еще другие гости. Вечером Фигнер пел арию Ленского и цыганские романсы, по просьбе Татьяны Львовны, а потом Фигнер с Медеей пели дуэт: «Далеко, далеко»... И Толстой так наслаждался пением. Позже играли в petite-jeux и много смеялись. Наконец гости разъехались, а домашние еще долго не расходились, обмениваясь впечатлениями.

Помню, кто-то стал забавно передавать претенциозные замечания одного из уехавших, который и в доме Толстого не смог отделаться от обычного самодовольства и ломанья. Толстой остановил:

— Ах, братцы, нехорошо это у нас выходит: принимаем гостей, услаждаемся, а как они со двора — начинаем злословить!.. Неблагородно выходит!

Все на минуту притихли, но потом кто-то сказал:

— Да как же быть, когда этакий ломака. Ведь смешно!

Засмеялись, заговорили было о другом, но скоро вспомнили еще одно изречение ломаки. Толстой опять остановил. Но в сторонке вдруг невольно заговорили о том же.

— Как, опять?.. — воскликнул со смехом Толстой. — Ну, видно, не совладать... Валяй его в три кнута, ребята!..

И все хохотали до упаду, уже не над гостем, а больше сами над собой и бог знает еще над чем...

В последний раз я была в Ясной Поляне зимой в 1897 г. Было тихо в яснополянском доме: графиня с младшими детьми жила в Москве. Снежные сугробы лежали кругом, мороз трещал на дворе, в небольших комнатах казалось особенно уютно и хорошо разговаривалось... Я уезжала с вечерним поездом. Татьяна Львовна провожала меня, и Льву Николаевичу захотелось самому отвезти нас на станцию. Помню его в старом

нагольном тулупе, в круглой барашковой шапке, нахлобученной на уши, с быстро заиндевевшими усами и бородой, на облучке маленьких саней. Времени до поезда было немного, Лев Николаевич шибко подгонял лошадку, и мы неслись, ныряя по ухабам, через перелески, подле какого-то чуть видного в сумраке оврага, и смеялись, и дразнили Льва Николаевича, что он непременно вывернет нас в овраг и что он слишком любит русское авось. А он отшучивался и быстро мчал нас к мигающим в темноте станционным огням...

В. Ф. ЛАЗУРСКИЙ

ДНЕВНИК

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

14 июня 1894 г.

Лев Николаевич с Николаем Николаевичем Страховым сидели в углу залы, у круглого стола, где барышни играли в скучную игру, которая называлась хальма, а дамы работали. Лев Николаевич расспрашивал Страхова о журнальной полемике между Розановым и Владимиром Соловьевым [1] (начала не слыхал). Разговор перешел на поэтов.

— Стихов не понимаю и не люблю, — сказал Лев Николаевич, — это какие-то ребусы, к которым нужно давать разъяснения.

— А вы сами когда-то увлекались Фетом, — заметил Страхов.

— То было время; тогда стихи имели смысл, а теперь нет. Да, в сороковых годах он писал милые, хорошие вещи, из которых я многие знаю наизусть; а в последних нет ни поэзии, ни смысла. Ну-ка, у кого ноги быстрые, принесите Фета.

Быстрые ноги оказались у Татьяны Львовны. Она принесла два тома нового издания стихотворений Фета [2], и Лев Николаевич стал их перелистывать.

— Слушайте, — начал он читать:

Говорили в древнем Риме,
Что в горах, в пещере темной,
Богоравная Сивилла,
Вечно юная, живет,
Что ей все открыли боги,
Что в груди чужой сокрыто,
Что таит небесный свод.

Только избранным доступно
Хоть не самую богиню,
А священное жилище
Чародейки созерцать...
В ясном зеркале ты можешь,
Взор в глаза свои вперяя,
Ту богиню увидать.

Неподвижна и безмолвна,
Для тебя единой зрима
На пороге черной двери, —
На нее тогда смотри!
Но, когда заслышишь песню,
Вдохновенную тобою, —
Эту дверь мне отопри!

— Ну, что это? не понимаю; почему черная дверь, а не пунцовая? А ну, кто это поймет, тому двугривенный дам.

АЛМАЗ

Не украшать чело царицы,
Не резать твердое стекло,
Те разноцветные зарницы
Ты рассыпаешь так светло.

Нет! За прозрачность отраженья,
За непреклонность без конца,
Ты призван разрушать сомненья
И с высоты сиять венца.

— Если алмаз, как вы говорите, обозначает возлюбленного, то как же он может сиять в венце царицы? на голову он ей сядет, что ли? Ну-ка, Николай Николаевич, вы специалист по этой части, объясните! Э, вижу, сами не понимаете [3].

Графиня стала рассказывать о Фете, о его процессе творчества, как сам он говорил: «Он не сочинял, а ходит, и вдруг является».

— Ну уж, скорей чудесам Иверской поверю, чем этому, — сказал Лев Николаевич. — Все сочиняют. Может быть, что-нибудь явится — настроение, мысль, а все остальное сочиняют. И зачем пишут? Еще повесть таксяк; когда отупеешь, можно читать, а стихи — это какой-то умственный разврат.

Все, впрочем, относились к словам Льва Николаевича как-то несерьезно, да и он говорил полушутя ⟨...⟩.

Николай Николаевич хотел взять к себе книжку с рассказами Чехова «Нахлебники» [4]. Я попросил ее себе, чтобы прочесть здесь. Лев Николаевич сказал: «Ну что ж, прочтем вместе; присядьте» ⟨...⟩.

— Недурно, — заметил Лев Николаевич по окончании чтения. — Только несколько небрежно разговоры сделаны. Я помню, вы, Николай Николаевич, давно выделили Чехова из числа других, когда и книжками он еще не выходил. Действительно талантлив. Да уж больно легко стали писать; технику разработали, техникой и щеголяют.

17 июня.

⟨...⟩Лев Николаевич пригласил меня держать с ним корректуру сделанного для «Северного вестника» перевода «Дневника Амиеля» [5] ⟨...⟩.

Лев Николаевич — превосходный знаток французского языка. Monsieur (так здесь называют француза-гувернера) говорит, что любит очень с ним разговаривать, так как граф употребляет настоящие французские выражения. Читая французский текст для исправления кому-то заказанного и дурно исполненного перевода, все глубоко понимает и делает ясным. Фразы, которые ему кажутся неуместными, опускает (очень редко), но для добросовестности велит ставить многоточия. Для того чтобы удачнее подобрать соответствующие русские слова и выражения в передаче трудного отвлеченного языка, призывал на помощь Н. Н. Страхова. Были приняты два моих слова. Мои знания языка, моя способность углубляться и понимать — ничто, какая-то детская погремушка перед громадной паровой машиной ⟨...⟩.

18 июня.

Разговаривая за вечерним чаем о Мопассане, Лев Николаевич сказал:

— Я не могу себе вообразить теперь хорошего беллетриста; лишь только проявится талант, сейчас его зазывают во все редакции и заваливают деньгами. Поневоле писать начинает наскоро и портится, когда платят до четырехсот рублей за лист! Григорович говорил мне,

что ему платили пятьсот рублей за лист. А лист можно продиктовать в два часа. Я сам писал лист в рабочую упряжку, то есть часов от десяти до трех, когда в хорошем расположении ⟨...⟩.

20 июня.

⟨...⟩Вечером я читал рассказ Стриндберга («Русская мысль», май) «Муки совести». Лев Николаевич внимательно слушал и рассказ похвалил, сказав, что разобрано основательно. Смотрели вместе художественный альбом «Figaro» последнего салона. Лев Николаевич вообще отзывается о картинах похвально — о технике, выражении лиц. По поводу хромолитографированной одной заметил, что через каких-нибудь лет двадцать, мы можем надеяться, нам будут прекрасно воспроизводить картины в красках. Посмеялся лишь над «вдохновением», которое является в виде дебелой, мускулистой женщины-гения, парящей у стула молодого, задумчиво сидящего поэта. Осудил картину «Император и папа», где Наполеон, как мальчишка, стоит в задорной позе, сказав, что это не в духе Наполеона. Сам взял разобрать на рояле присланную кем-то «Rapsodie des steps». Читает ноты довольно бегло и перебирает своими огромными пальцами довольно быстро. Проигравши, сказал:

— Вот так рапсодия! Самая пошлая музыка.

21 июня.

Косил с Львом Николаевичем. Он давал мне урок косьбы. Косит сам замечательно хорошо, ровно и гладко. Рассказывал при этом, что сегодня у него был очень утомительный посетитель, какой-то тульский обитатель, сын бедного чиновника, нервный, почти больной, бывший студент; написал сочинение о необходимости физического труда, хочет напечатать. Лев Николаевич говорит, что оно очень прочувствовано; вредные последствия жизни, лишенной возможности физического труда, видно, написаны с натуры; но при всем том страшно растянуто.

— Живя в глуши, ничего не знает, думает, что он первый говорит эти вещи. Вообще, молодые писатели часто грешат тем, что пишут все, что бродит у них в голове. Мало иметь мысли, нужно их привести в порядок, из сотни выбрать одну, наиболее яркую, просеять их.

Вечером увидел, что я читаю статью Гольцева о Чехове [6] («Русская мысль», май), и говорит:

— Вот это очень смешной факт. Гольцев почему-то вздумал, что ему нужно писать о вопросах эстетики; сам юрист, не занимается этими вопросами, не любит, не имеет чутья, а пишет и говорит ⟨...⟩.

По поводу известия о том, что Пантелеев намерен издавать в переводе европейских классиков, Лев Николаевич высказался, что всегда этому чрезвычайно сочувствовал, сам делал попытки и считает это делом не легким. Нужно переводить не все, а только лучшее. Но тут приходится брать на себя ответственность, что́ считаешь лучшим, что́ нет. Что ж делать, нужно.

— У нас существует педантический взгляд, что раз переводить, то нужно переводить все; и что же в конце концов? Все и стоит на полке, и никто его не читает. Всего никто не будет перечитывать. Вы не читали, Николай Николаевич, всего Гете? Я прочел все сорок два тома. Из них тома четыре, не больше, следует набрать. По моему мнению, это должны взять на себя профессора западной литературы [7]. А то занимаются каким-нибудь специальным вопросом. Вот Стороженко все с своим Шекспиром [8] ⟨...⟩.

22 июня.

Начался день веселым завтраком. В комнату ворвалась толпа мальчиков и барышень, которые стали дурачиться. Веселье их было так заразительно, что Лев Николаевич, появившись в дверях зала, также выкинул коленце и вступил с па мазурки. Все захохотали еще больше, а он сам даже покраснел от смеха ⟨...⟩.

23 июня.

Вечером по поводу «Распятия» Ге завязался разговор о наших художниках [9]. Я сказал, что люблю больше всех Поленова. Мария Львовна выше всех ставит Ге, требует прежде всего глубокий мысли (в христианском смысле), красоту считает ни к чему. Вошел Лев Николаевич. Она и ему на меня донесла, что я, мол, «Христа и грешницу» [10] выше всех картин ставлю.

— Да, Поленов красив, но бессодержателен, — сказал Лев Николаевич. — Правая сторона этой картины

написана очень хорошо — сама грешница, евреи; левая никуда не годна: лица банальные, Христос у него — какой-то полотер, а апостолы плохи; сзади — декорация.

Подсел Николай Николаевич. Разговор перешел на статью Николаева о Тургеневе [11]. Лев Николаевич сказал:

— Я помню, Тургенев произвел на меня сильное впечатление «Записками охотника». Потом я слушал «Рудина»; он читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это — Тургенев, и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь. Потом пошли плохие вещи. Иногда прорывались превосходные, цельные, несочиненные.

Николай Николаевич, со своей всегдашней манерой, стал спрашивать относительно разных тургеневских вещей. Лев Николаевич отлично помнит все. Выше всех он ставит «Довольно» и статью «Гамлет и Дон-Кихот». Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты) [12]. Хотел читать на тургеневском празднике, но ему «запретили» [13]. Высоко ставит «Живые мощи» [14].

— «Новь» мне, представьте, понравилась; [15] «Пунин и Бабурин», «Колосов» — это бог знает что такое; «Вешние воды» — это к тому же разряду: [16] все выдуманное, хотя хорошо выдуманное. Критики, — иному некогда, другой не любит, — все валят в кучу; а ведь нужно различать двух Тургеневых: один там, под землею на десять футов, а другой сверху. Я часто удивлялся, как Тургенев, такой умный, изящный, образованный, мог писать такие глупости. Иногда он писал, как... ну, как Немирович-Данченко [17], еще хуже... как Мачтет, самый плохой Мачтет [18]. Средние таланты пишут ровнее; высоко не залетают, но и особенно низко не спускаются; Писемский, например; даже Гончаров. Вот Пушкин, впрочем, почти всегда на высоте стоит. Лермонтов — в печатных произведениях. А вот мой враг — Шекспир, которого я терпеть не могу...

— За что? — вырвалось у меня.

— За то, что все считают обязанностью превозносить его и почти никто не читает. Вот ваш приятель Стороженко при слове «Шекспир» всеми членами на караул делает, а у него много дрянного есть.

Об описаниях природы у Тургенева говорил: «Они удивительны; ничего лучшего ни в одной литературе не знаю»[19]. Восхищался его манерой, не выписывая подробно всего, дать понять несколькими штрихами.

24 июня.

После обеда отправились гулять по шоссе: Лев Николаевич, Страхов и я. Разговор, сначала не клеившийся, сделался оживленным, когда Лев Николаевич наскочил на интересующую его теперь больше всего тему о национализации земли и о проекте Генри Джорджа:[20]

— Владение землей так же незаконно, как и владение душами. Кто держит у себя источник питания, тот держит в своей зависимости неимущих. Для меня это теперь понятно с поразительной ясностью. А сколько нужно еще времени, чтобы эта мысль вошла в общее сознание! Я сам жил двадцать лет, не сознавая этого. Вот Генри Джордж лет тридцать как ясно и просто выяснил все, и о нем как-то не слышно, и какие-нибудь Янжулы[21] его опровергают. Вчера я видал: лежит у дороги женщина, спит, ее рука завязана веревкой, на которой привязана пасущаяся лошадь. Очевидно, устала, а боится упустить лошадь: сделает потраву — штраф. Совсем стеснили мужика, шагу ступить некуда. Ведь это страшное зло. Ну, опровергайте меня!..

Но мы с Николаем Николаевичем не показывали желания опровергать. Я всегда в таких случаях молчу и слушаю, а Николай Николаевич — эстетик и философ, и все это для него далекие материи, хотя по мягкости сердечной он поддакивает и соглашается с Львом Николаевичем. Скоро он перевел разговор на декадентов. Лев Николаевич знаком с ними, читал Бодлера, Метерлинка;[22] говорит, что некоторые вещи у них не лишены интереса и своеобразной красоты; но вообще называет это движение болезненным и радуется, что оно у нас не прививается. «Ведь прочти произведение в таком роде нашему мужику и скажи ему, что это написано серьезным и умным человеком, он расхохочется: разве может умный человек заниматься такими вещами? А ведь вот занимаются же».

Николай Николаевич спросил, какого мнения он о Чайковском.

— Так, из средних[23].

Я спросил о Рубинштейне.

— Тоже, хотя Чайковский оригинальнее Рубинштейна. Этот — хороший исполнитель, переиграл массу хороших вещей, и у него постоянно в собственных произведениях являются воспоминания, отзвуки чужого. Много все они пишут фальшивого, выдуманного. Вообще, если говорят, что искусству нужно учиться, это уже вступают на опасную дорожку. Возьмите вы, например, роман Вальтер-Скотта, даже Диккенса и прочтите его мужику; он поймет. А приведите его слушать симфонию Чайковского или Брамсов разных, он будет слышать только шум.

26 июня.

С инженером Берсом ходили после обеда на место, где крестьяне берут песок [24]. Лев Николаевич очень озабочен тем, что при их системе подкопов может случиться обвал и произойти несчастье. Поэтому повел инженера, чтобы тот ему рассказал, как снять верхний пласт, чтобы открыть песок, и сколько это приблизительно будет стоить. Тот вычислил расходы рублей в восемьдесят. Лев Николаевич уже хлопочет о копачах ⟨...⟩.

27 июня.

Сегодня утром у меня завязался разговор с Николаем Николаевичем. Не помню, с чего заговорили о Скабичевском. Николай Николаевич сказал, что его «Историю русской литературы» не читал, так как за Скабичевским не признает ровно никакого критического таланта и литературного значения. Я стал возражать и указывать заслуги Скабичевского. Лев Николаевич подсел к своей похлебке и скоро вмешался. Он также не читал «Историю русской литературы», но знает Скабичевского по статьям.

— Я принимался его читать и бросил: ничего не понимаю. Вот скоро переведут статью Мэтью Арнольда с английского [25]. Он прекрасно говорит: задача критика — выделять все выдающееся из подавляющей массы написанного. А они привязываются к случаю, чтобы высказывать свои мысли. Да и мысли самые банальные. Судят же обо всем сплеча. Чтобы критиковать, нужно

возвыситься до понимания критикуемого, и в этом уже важная заслуга. А у них выходит так, как прекрасно сказал мой приятель Ге: «Критика — это когда глупые судят об умных» [26].

— А потом пишут историю того, как глупые судили об умных, — вставил Николай Николаевич.

Я заметил, что имя Писарева здесь упоминают с насмешкой. О Златовратском Лев Николаевич сказал: «Читал, что-то глубокомысленное; видно, добрый человек, но путаница в голове страшная». Михайловского Николай Николаевич называет «умным человеком», Буренина «талантливым», и, по-видимому, здесь все согласны с этим. Имя Мачтета — синоним полной бездарности, Немировича-Данченко — чего-то пустопорожнего, никому ни для чего не нужного 〈...〉.

28 июня.

Лев Николаевич 〈...〉 стал расспрашивать газетные подробности о новом президенте Казимире Перье и о чикагских беспорядках рабочих [27]. Подошел приезжий родственник (муж сестры графини) [28] и, послушав, стал ужасаться этими волнениями.

— Что ж тут удивительного? — спокойно сказал Лев Николаевич. — Естественно, что после долголетнего угнетения начинают бунтовать. Вот у нас был царский проезд [29]. Это бог знает, что такое. Мужиков отрывают от работы, заставляют их неделю дежурить у дороги и хоть бы копейку заплатили. Я высчитывал: пусть, считая по пятидесяти копеек в день, пришлось бы заплатить десять тысяч за весь проезд. Ведь это пустяки для казны, а между тем они избавились бы от перекрестной руготни, которой осыпают царя по всему пути. Я уже просто избегал заводить с мужиками разговор об этом. А кто виноват? Эти сукины дети, которые состоят в свите. Я говорил Зиновьеву [30]. Это такая бестактность! Они вызывают неудовольствие 〈...〉.

— Это просто забывчивость с их стороны, — пытался оправдать родственник.

— Какое забывчивость! Просто думают, что с мужиком так и нужно поступать. Ведь он собака, животное какое-то.

Вечером барышни стали петь у рояля. Лев Николае-

вич очень любит старинные романсы с терциями и квинтами. Минорного не любит. «Минор с мажором — хорошо». Аккомпанировал нам «Тучи черные» для голоса со скрипкой; немножко грубо, но верно.

29 июня.

За обедом Лев Николаевич сказал:

— А я нет-нет да и почитаю Шопенгауэра. Сегодня читал насчет музыки. Очень хорошие есть замечания[31]. Вот насчет оперы он так пишет, как и я думаю. Я терпеть не могу оперы и, кроме скуки, в ней ничего не испытываю.

30 июня.

⟨...⟩ Лев Николаевич стал спрашивать, нет ли свежих газетных известий о рабочем движении в Чикаго.

— Сказать вам по правде, я не только не опечален этим, я радуюсь. Все ругают анархистов и считают их за зверей, и никто не хочет понять, что анархизм — естественное следствие современного порядка вещей. Ведь анархист убивает Карно[32] не потому, например, что шуба у него хорошая. Он прямо говорит, что делает это для того, чтобы заставить всех обратить внимание на ненормальность современного положения вещей. До тех пор пока будут держать громадные войска; до тех пор пока богатые будут угнетать бедных; до тех пор пока будут учить, что Христос воскрес и улетел на небо и там сидит и так далее, — до тех пор будет существовать и анархизм. А вы как думаете? — обратился Лев Николаевич ко мне.

— Я думаю, что вы прописываете слишком жестокое лекарство.

— Ну вот, и вы принадлежите к безнадежным в этом отношении в настоящем положении. Всякий говорит: я не хочу никого обижать, лишь бы у меня была чашка кофе, сигара и жена в шелковом платье; и никто не хочет подумать, что вся эта обеспеченность основана на грабеже других.

— Но какую же роль должно при этом играть правительство? — стал говорить Николай Николаевич. — Оно или должно отказаться от власти, или принять меры.

— Да, принять меры, но какие? — опять начал Лев

Николаевич. — Конечно, при нынешнем положении вещей оно прежде всего позаботится об увеличении войск и усилении власти; но если бы оно хотело действительно излечить болезнь, оно должно приняться за реформу современного строя, за национализацию земли и так далее. Право, странно. Стоит правительству лишь прислушаться к тому, что говорят кругом, чтобы понять окружающие нужды. Но разве об этом заботятся правительства? Наше правительство о чем заботится? О сохранении власти quasi-романовской династии и власти тех придворных, которые их окружают, а относительно другого всего — для них хоть трава не расти. Мне говорят: но как же выйти из такого положения? Я не знаю пути. Я знаю только, что вот эта проторенная дорожка ведет в пропасть, но я не знаю другой дороги; нужно искать, нужно проторить другую дорожку, а где — это покажет сама жизнь. А у нас все верят, что так и должно быть, как есть, лишь немножко нужно полечить. Человек пьет, курит, развратничает и спрашивает доктора, какие ему нужны пилюли, чтобы быть здоровым. То же и в деле воспитания детей. Систематически развращают их и потом призывают воспитателя, чтобы он исправил. Часто Сонечка говорит мне: «Укажи же мне другой путь воспитания». Я не знаю другого пути, но я знаю только, что этот безобразен и что нужно его изменить.

1 июля 1894 г.

От завтрака до вечера был князь Абамелик, армянского происхождения, миллионер, владелец 980 000 десятин земли и четырех чугунолитейных заводов в Пермской губернии. У него небольшое имение в Тульской губернии. Красив, много путешествовал, состоит главным попечителем Лазаревского института восточных языков, племянник министра Делянова, во французской Академии наук премирован за открытие какой-то сирийской надписи. Чего еще нужно? Он ездит в Ясную Поляну для поддержания знакомства, но его здесь не любят. Лев Николаевич говорит:

— Всякий раз стараюсь говорить с ним дружелюбно, но в конце концов начну говорить резко. Это настоящий тип петербуржца во вкусе нынешнего правительства. Кажется образованным, а между тем все это нахватано

отовсюду лишь для того, чтобы оправдывать свое положение. Полнейшее непонимание самых элементарных понятий гуманности.

У князя на заводах было уже два бунта рабочих, усмиренных самыми крутыми мерами, и он рассказывает об этом с самодовольством. Говорят, что Лев Николаевич по этому поводу имел с ним энергичный разговор. «Ну, и досталось князю», — передавал потом доктор Флеров ⟨...⟩.

2 июля.

После обеда мы косили с Львом Николаевичем и тремя мужиками в саду. Солнце стало заходить, мужики ушли, и мы остались одни. Лев Николаевич перестал косить; облокотившись на косу и смотря на горизонт, стал припоминать стихотворение Фета, где описывается наступление ночи:

Летний вечер тих и ясен,
Посмотри, как дремлют ивы!
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью [33].

— Это превосходно, здесь каждый стих — картина ⟨...⟩.

Вечером я хотел играть с гувернанткой мисс Уэльш сонату Моцарта, но она рано легла спать, и за нее сел играть Лев Николаевич. Он очень любит Моцарта и, разбирая, часто повторяет: «Как это мило!» Первую сонату мы сыграли еще сносно. Но вторую было разбирать труднее. «Ну, больше не будем, — сказал Лев Николаевич, обращаясь к сидевшим за столом, — сам знаю, что мучительно». Если какая-нибудь часть не идет, он говорит: «Ну, это пощадим». И мы оставляем.

Мы уселись за стол, и завязался длинный разговор о литературе. Николай Николаевич спросил, какого мнения Лев Николаевич о Глебе Успенском.

— Талант очень узкий и односторонний, — отвечал Лев Николаевич. — Утомительно однообразен. Вечно один и тот же язык. По моему мнению, Николай Успенский гораздо талантливее Глеба. У того был юмор, неко-

торые картинки были чрезвычайно живо схвачены[34]. У Глеба есть еще один крупный недостаток, который свойственен всей этой компании — Щедрину и их критикам. Все они что-то не договаривают, скрывают от читателя; как маленькие дети: знаю, да не скажу. Что им мешает? Цензура, что ли, — уж этого не могу сказать.

Я спросил, как ему нравится Щедрин.

— Слишком длинно и утомительно. Вот эти последние еще лучше: «Пошехонская старина» и другие[35].

— Неужели вам не нравятся его сказки или «Господа Головлевы»?

— Некоторые сказки — да, другие — не выдержаны; например, про карася[36], вообще аллегорические. «Господ Головлевых» забыл. Самая лучшая мерка — это переводы на иностранный язык. Щедрина пробовали переводить — ничего не выходит[37]. Читает иностранный читатель и ничего не понимает.

Похвалив очень Слепцова, сказав, что его совершенно напрасно забыли, и воскликнув по этому поводу: «Вот наша критика!», Лев Николаевич обратился ко мне. «Я противоречу всем вашим литературным понятиям», — сказал он, улыбаясь.

Из молодых Лев Николаевич признает талант лишь за Гаршиным (указывает его «Ночь», «Глухарь», «Два художника» и др.) и Чеховым. Короленко он недолюбливает. Возмущается его повестью «В дурном обществе»: «Так фальшиво, выдумано; сказка — не сказка, бог знает, что такое». «Сон Макара» ему не нравится. Но больше всего смеется он над Короленко за то, что тот написал в «Светлом воскресении», как бежал острожник через освещенную ярко луной стену. Он говорит: «Когда я открою такую штуку у писателя, я закрываю книгу и больше не хочу читать».

У него есть в памяти несколько таких курьезов из Печерского, Салиаса; у Немировича-Данченко, по его словам, сколько угодно найдете. Попадаются даже у Мопассана (в каком-то рассказе прежде чем срубить дерево, лезут на него, чтобы обрубить сучья[38]). Тут же он вспомнил, что читал по-французски рассказы и биографию одного талантливого молодого испанского писателя. Служанка этого писателя рассказывает, что была раз очень удивлена тем, что он ночью вдруг выскочил в окно и стал лить воду в колодец. Он писал в это время, и ему нужно было описать звук падающей воды.

— Вот это писатель! — прибавил Лев Николаевич. — Нужно знать то, о чем пишешь, и совершенно ясно видеть это перед глазами.

Разговор перешел на иностранных писателей.

— Да, нам, старикам, можно говорить об этом. Сколько мы пережили! При мне выступил Eugène Sue, наделавший много шума, пустивший в ход слово «пауперизм» («Les mystères de Paris») [39–40]. Потом Alexandre Dumas-père. Я помню, когда был семнадцати лет, ехал в Казанский университет, купил на дорогу восемь томиков «Monte-Cristo» [41]. До того интересно, что не заметил, как дорога окончилась. Тогда вся большая публика увлекалась им, а я принадлежал к большой публике. Но он очень талантлив, как и сын. В 1862 году я читал «Les misérables» Виктора Гюго и восхищался [42]. Это один из лучших романов. Однако, заметьте, французы воздают ему какие почести и в то же время всегда немного пощипывают.

Николай Николаевич стал говорить, что хотя у Гюго есть много преувеличений, но это только преувеличения, а не выдуманные черты. Лев Николаевич согласился с этим и стал перечислять целый ряд типов из В. Гюго, которые до того оригинальны и ярко написаны, что никогда не могут быть забыты.

— Вот у Золя, — прибавил он, — никогда так не выйдет, несмотря на то, что он выписывает очень старательно. Я «Паскаля» [43] так и не одолел, хотя перечитал почти все его романы. Для «Посредника», для переводов, мне пришлось перечитать много всякого старья. «Векфильдского священника» Гольдсмита я с удовольствием прочел; сказки Вольтера скучны; Руссо могу перечитывать.

4 июля.

Когда мы после обеда косили, Лев Николаевич припомнил вчерашний разговор:

— Что это вы все задираете Николая Николаевича? А я нарочно прочел сегодня лист Данилевского [44], где он говорит, что мы хороши, а Европа нехороша. Николай Николаевич защищает его, и это его слабая сторона. Это у него старые предания о совместной работе с Достоевским и славянофилами. Он — друг Данилевского.

— В чем же его главная сила? — спросил я о Николае Николаевиче. — В тонком художественном чутье?

— Отчасти в этом. А главное, он очень осторожен и имеет то, что китайцы называют «уважением» (у них это особенная духовная способность — уметь уважать). Он всегда сумеет взглянуть на предмет с наиболее выгодной его стороны и осветить ее. Но вообще он не блестящий талант; это я должен сказать, хоть и очень его люблю.

5 июля.

⟨...⟩ Когда собирались у крыльца, подъехал Миша[45] на своей Вяточке. Стали смеяться над этой нескладной лошадью.

— Это ублюдок верблюда и цыпленка, — сказал Лев Николаевич, — но она мне нравится: в ней плоть немощна, но дух бодр; и, кроме того, в ней есть что-то человеческое. Это, наверное, заколдованный принц.

И Лев Николаевич рассказал арабскую сказку из «Тысячи и одной ночи», где принц был обращен колдуньей в лошадь. Он очень любит и высоко ценит арабские сказки; говорит, что в старости уже неловко, а молодым людям обязательно следует их читать: гораздо поучительнее, чем, например, статья «Что такое либерализм» из «Русского обозрения»[46] (ее читал Николай Николаевич).

Вечером заговорили о классиках. Николай Николаевич вспомнил, что Ренан жаловался на то, что образованные люди из французов бросают совсем древних, когда отделываются от них после школы. Лев Николаевич сказал, что такая же жалоба есть у Шопенгауэра на немецкую молодежь.

— Я помню, с каким наслаждением читал я «Анабазис» Ксенофонта, когда учился по-гречески. Это прелестное произведение. Но что становится в школах предметом изучения, то сразу делается противным. Приходит простое сравнение в голову: человеку не хочется есть, а его насильно кормят. И я думаю, что это справедливая кара, которую несут образованные классы. Они считают себя такими умными, а на самом деле они забивают себя. Я уверен, что средний мужик умнее сред-

него барина; то есть ум я понимаю в смысле знания того, что действительно нужно для жизни. Я думаю, что у нас правильно идет лишь первоначальное образование ⟨...⟩.

7 июля.

⟨...⟩ К обеду приехал Тернер, лектор английского языка при Петербургском университете, писавший о Толстом и русской литературе и читавший о тех же предметах лекции в Кембридже ⟨...⟩.

Разговаривали по-английски, но Лев Николаевич с трудом объясняется на этом языке, хотя, когда читает, очень хорошо понимает оттенки языка. На днях мисс Уэльш переводила на английский язык его письмо [47]. Лев Николаевич работал вместе с ней и одобрял или отвергал предлагаемые ею английские выражения.

Прекрасно он говорит, что слова двух разных языков нигде вполне не покрывают друг друга, и наглядно показывал это соотношение на двух ладонях, прикрывая одной другую больше то с одной, то с другой стороны.

Так как Лев Николаевич чувствовал себя весь день не совсем здоровым, то в своей комнате он прочел июньскую книжку «Русской мысли». Содержание ее не показалось ему интересным, но особенно посмеялся он над повестью Мачтета «Пять тысяч».

— И зачем приняли это и напечатали? Я часто получаю от молодых авторов гораздо лучше. Во-первых, сюжет самый невероятный, чего никогда быть не может. Все действующие лица говорят одним и тем же языком, и притом таким языком, каким никто никогда не говорит. Наконец, все действующие лица ведут себя как раз противно тому характеру, который хотел им приписать автор.

8 июля.

⟨...⟩ Лев Николаевич подсел к нам в ту минуту, когда Тернер жаловался, что русские не имеют обыкновения рядом с русским начертанием иностранной фамилии в скобках обозначать подлинную фамилию, так что нередко иностранцу трудно догадаться, о ком тут идет речь. Лев Николаевич согласился с этим и стал говорить об английском начертании и убийственном своею произвольностью произношении. Возмущает его манера неко-

торых молодых английских писателей, при передаче народной речи, коверкать слова так, что иностранец уже совсем ничего не понимает. «У нас эта манера, к сожалению, также прививается: пишут «тыща» вместо «тысяча».

Николай Николаевич на это заметил, что он всегда восхищался манерой Льва Николаевича при передаче народного говора достигать этого не извращением слов, а употреблением известных типических, свойственных изображаемому классу выражений, и припомнил разговор казака из «Войны и мира».

— Да, они всегда говорят так, — сказал Лев Николаевич и продолжал: — Достигать такими средствами эффекта, это все равно, что на картине изображать эполеты сусальным золотом. Нужно достигнуть иллюзии, а не изображать так, как есть.

Разговор стал переходить на английских писателей. По поводу какого-то англичанина, который расхваливает очень англичан, Лев Николаевич повторил, как и часто повторяет, что ему всегда это отвратительно. Напротив, если кто начнет горячо осуждать недостатки своего народа, тогда он говорит: «Какой он милый, как я его люблю; вот это настоящий патриот». За это, между прочим, он очень любит Диккенса. Кто-то упомянул Карлейля. Тернер пришел в движение и сказал, что это его любимый писатель и что он имеет громадное влияние в Англии. Лев Николаевич на это сказал, что лично он никогда не мог увлечься Карлейлем и «не понимает его» (его любимое выражение).

— Я не могу точно передать своих впечатлений, но мне всегда казалось, что я знаю заранее, что он скажет. Как будто бы близко возле хорошего, а не хорошее. Потом это его увлечение героями, аристократизм и презрение к массам — это отвратительно.

Николай Николаевич при этом вспомнил, что Карлейль в эпоху движения за освобождение негров писал против освобождения, так как, по его мнению, эта глупая толпа нуждалась в руководителях.

— Ну, вот видите! — сказал Лев Николаевич.

В этот день Лев Николаевич не обедал, а сидел под деревом, рядом с обедавшими, и читал «Русскую мысль». Дочитав в «Семействе Поланецких» Сенкевича до того места, где у одного действующего лица оказалась

«родинка на веке» (вероятно, ошибка переводчика), он объявил об этом во всеуслышание и закрыл книгу [48]. После обеда уселись вокруг него, и Лев Николаевич еще раз по поводу Сенкевича распространился о губительности для таланта большого гонорара. По его мнению, Сенкевич — талант хоть не слишком большой, но в своем кульминационном произведении «Без догмата» был очень хорош [49]. Дальше все идет хуже и хуже. Последние главы «Поланецких» интересного не представляют. Очевидно, характеры исчерпаны, и автор бесконечно будет комбинировать. «У героини заболели зубы, я сейчас смотрю дальше, что из этого будет — оказывается, ничего; герой ушиб ногу, и опять ничего. Это автор дает черты реализма» ⟨...⟩.

Вечером среди привезенной со станции корреспонденции увидели французский журнал «La Plume», который, как оказалось, был прислан редакцией потому, что в нем была статейка о русской цивилизации в отношении к западной и о Толстом, как самом великом писателе России. Лев Николаевич стал читать ее вслух. Статейка совершенно глупая и пустозвонная. Объявив Россию варварско-азиатской страной, а Толстого обер-варваром, автор предупреждает, чтобы берегли западную цивилизацию. Лев Николаевич очень смеялся и в самых бойких местах говорил: «Ишь, как он раскуражился».

9 июля.

⟨...⟩ В полученных книжках журналов Лев Николаевич прочел что-то, подтверждающее отзывы Репина о заграничном искусстве (в «Неделе») [50], и это повело к разговору о новом искусстве. Лев Николаевич стал говорить о новых композиторах:

— Я их решительно не понимаю. Был у меня Танеев, играл свой квартет, и для меня все в нем — и аллегро и скерцо — все шум, и только. Они, правда, толкуют об этом, находят одно лучше, другое хуже; но что же это за музыка, которая доставляет удовольствие лишь тем, кто ее делает? Я, конечно, не беру на себя смелость судить об этом, но я много слышал, сам играл, занимался, и на меня эта новая музыка не производит ровно никакого впечатления. Вот Глинка — другое дело, здесь и мелодия и все.

10 июля.

За обедом Лев Николаевич обратился ко мне:

— А я получил от вашей знакомой, Фоминой, письмо. Она прислала мне книжку Марселя Прево [51]. Пишет, что перевела уже около половины; думает, что роман этот будет иметь нравственное значение; просит меня написать к нему предисловие; говорит, что она хочет издать его для дохода, пока муж пишет диссертацию. Я прочел роман: грязный и безнравственный. Хочу в письме к ней дать понять как-нибудь в вежливой форме, что она дура.

В продолжение обеда он несколько раз обращался ко мне с вопросами относительно Фоминой; говорит, что он целый день думает о письме к ней.

Возвратившись домой около десяти часов вечера, застали Николая Николаевича читающим книгу В. Розанова о Достоевском [52]. Мы подсели и стали слушать. Чтение книги Розанова, как условились Страхов с Львом Николаевичем, будет продолжаться и в следующие дни. Поэтому я думаю, что мнение Льва Николаевича о Достоевском дальше обрисуется рельефно. Теперь, между прочим, он говорил, что Достоевский — такой писатель, в которого непременно нужно углубиться, забыв на время несовершенство его формы, чтобы отыскать под ней действительную красоту. А небрежность формы у Достоевского поразительная, однообразные приемы, однообразие в языке.

11 июля.

⟨...⟩ Слушали чтение «Учителя словесности» Чехова из «Русских ведомостей» [53]. Когда Лев Николаевич окончил чтение и стали обмениваться впечатлениями, Лев Николаевич сказал, что рассказ ему нравится. В нем с большим искусством в таких малых размерах сказано так много; здесь нет ни одной черты, которая не шла бы в дело, и это признак художественности. При этом он сделал несколько замечаний о Чехове вообще. Для Льва Николаевича это человек симпатичный, относительно которого можно всегда быть уверенным, что он не скажет ничего дурного. Хотя он и обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого и не может потому учить. Он вечно колеблется

и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо.

Вечером читали вслух из июльской книги «Северного вестника» «Эшафот» Виктора Гюго [54]. Лев Николаевич нашел перевод несколько прозаическим, но в общем довольно хорошим. Относительно же самого произведения сказал, что он его раньше не знал, но что это превосходная вещь (против смертной казни). У него есть почти все сочинения Гюго, кой-чего недостает. Перечитывал он все, что достал. Признает в нем много странных вещей, но все искупается высотой содержания. «И теперь пигмеи вроде Бурже подсмеиваются над ним; ведь Гюго — гигант в сравнении с ним».

12 июля.

⟨...⟩ Когда Николай Николаевич по поводу Сони из «Преступления и наказания» Достоевского сказал, что это совершенная выдумка, что просто стыдно читать об этой Соне, Лев Николаевич сказал:

— Вот как вы строго судите, и верно. Я считаю в «Преступлении и наказании» хорошими лишь первые главы; это шедевр. Но этим все исчерпано; дальше мажет, мажет.

По поводу «Нови» опять повторил раньше высказанный им взгляд, что «Новь», вопреки общему мнению, — лучшая вещь Тургенева, лучше «Рудина» и других его романов; что она отличается цельностью, верно рисует время и верно изображает типы.

13 июля.

После обеда за разговором кто-то упомянул Лескова, и графиня спросила Льва Николаевича, нравится ли ему он. Тот отвечал, что, по его мнению, некоторые места у Лескова превосходны (стал припоминать названия вещей и сцены из них), но основной его недостаток — искусственность в сюжетах, языке, особенные словечки. Он даже при личном свидании с Лесковым «осмелился ему это высказать», но тот отвечал, что иначе писать не умеет.

Вечером Лев Николаевич, возвратившись с длинной

прогулки пешком (ходил в деревню за делом), был в добром настроении и разговорился. Чертков получил письмо от Эртеля, с которым он в дружбе, и это послужило поводом к разговору об Эртеле.

— Странно у нас как-то выдвигают,— сказал Лев Николаевич.— Теперь выдвинули Чехова и Короленко, а там все остальное безызвестное. А по моему мнению, Эртеля скорее нужно было бы выдвинуть, чем Короленко. Это, несомненно, талантливый человек, живой. Сначала он писал, рабски подражая Тургеневу, все-таки очень хорошо. Потом явилась самостоятельная манера. Есть прекрасные места (Лев Николаевич стал припоминать) [55]. Он любит лошадей, знает их и прекрасно описывает. Только это талант, который не знает, зачем живет.

Николай Николаевич опять вспомнил Засодимского и Златовратского, и Лев Николаевич опять по поводу Златовратского сказал, что решительно не понимает, откуда он получил такую популярность: «Это, верно, объясняется тем, что он, как и Мачтет, был, кажется, пострадавшим. По крайней мере, он был близок с некоторыми революционерами» ⟨...⟩.

18 июля.

⟨...⟩ Говоря об образовании народа, Лев Николаевич, между прочим, вспомнил, что в период увлечения школой у него была мысль устроить «университет в лаптях» [56]. Хотели доставлять возможность желающим крестьянам учиться (по силам и в пределах знаний учащего персонала) разным наукам. Лев Николаевич помнит, что в числе желающих было несколько взрослых, и они с удивительной быстротой и жадностью учились, например, алгебре. На замечание графини, что это ни к чему не повело бы, так как такой мужик сейчас же ушел бы из деревни, Лев Николаевич сказал, что в том и задача «университета в лаптях», чтобы не отрывать, как делает учительский институт, мужика, а дать деревне образованного человека в их же среде. Проект этот разрушился о формализм министерства. На запрос Толстого министерство народного просвещения прислало программы занятий, со строгим разграничением часов и сообщением, что за всем будет следить инспектор. Тогда Лев Николаевич остыл к «университету в лаптях».

19 июля.

Вечером на утверждение Льва Николаевича было представлено два списка для издания «Посредника»: 1) Николай Николаевич выбрал около десяти стихотворений Фета для проектируемого сборника из русских поэтов; 2) Касаткин с Татьяной Львовной [57] составили список картин русских художников для дешевых лубочных изданий. Что касается Страхова, то Лев Николаевич огорчил его. Он утверждал все стихотворения описательные, так как эти особенно любит и ценит у Фета; но отвергал все с неясными порывами и стремлениями, воспеваниями чего-то полуясного,— этих он не любит. Отвергал также стихотворения анакреонтического рода, сверкающие античной красотой, говоря, что эта красота слишком условна.

В картинах он настаивал, чтобы брали больше из Маковского; хвалил мальчика с калачом [58], говорил, что это трогательно и глубоко, настаивал, чтобы брали картины с поэтическими сюжетами. «Самосжигателей» Мясоедова забраковал. О Максимове и его «Разделе» [59] говорил, что он кажется знатоком народа лишь для интеллигенции, а на самом деле он, как Печерский [60] в литературе, народа и его быта не знает.

В этот же вечер пересматривали полученные Татьяной Львовной альбомы снимков с картин лондонской академической выставки и Парижского салона. Лев Николаевич удивлялся технике картин и изяществу выполнения гравюр. Однако по поводу картины, изображающей, как полк конных гусар под Ватерлоо, внезапно налетев на пропасть, низвергается в нее, он пожалел о массе бесполезно потраченного труда. Смеялся над всякими аллегорическими и мифологическими картинами и утверждал, что сам никогда не мог запомнить, кто была Психея и кто у кого вышел из головы в полном вооружении. «А тут еще имена: сегодня замечу Юнону, а завтра она оказывается Герой, да еще волоокой».

20 июля.

⟨...⟩ Вечером Лев Николаевич прилег на диван. К нему подсел Николай Николаевич и заговорил о каком-то неизвестном еще рассказе, который Лев Николаевич дал ему прочесть. Мало-помалу стали подсаживаться другие, и

образовалась группа. Графиня в стороне просматривала Фета и читала вслух те стихотворения, которые ей особенно нравились или были новы для нее.

В параллель к одному стихотворению Фета Лев Николаевич вспомнил стихотворение Тютчева и стал говорить о нем. «По моему мнению, Тютчев — первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин. Вот видите, какие у меня дикие понятия,— сказал он, обращаясь ко мне.— А у вас как Тютчев считается?» Я отвечал, что совсем мало с ним знаком, что он мало встречается в библиотеках. Николай Николаевич стал говорить об изданиях его стихотворений. Лев Николаевич рассказал, что с Тютчевым его познакомили Некрасов[61] («ему нужно отдать справедливость: хоть у самого в стихах не было нисколько поэзии, а ценить умел»), Дружинин и др., которые составили первый сборник стихотворений Тютчева[62]. Я стал расспрашивать о последующих сборниках. «А потом он стал писать вздор, чепуху такую, что ничего не поймешь — эти славянофильские стихотворения». Николай Николаевич рассмеялся. «Это для меня сказано,— пояснил он нам.— Но ведь среди этих есть превосходные», — обратился он к Льву Николаевичу. «Все вздор»,— шутливо, но упорно твердил тот...

— Так не забудьте же Тютчева достать,— сказал Лев Николаевич, когда я с ним прощался.— Без него нельзя жить.

21 июля.

Сегодня я достал из библиотеки Тютчева, сидел в зале и читал. Лев Николаевич подходил ко мне, указывал те, которые ему особенно нравятся, а о славянофильских говорил: «Это вздор».

Вечером Лев Львович заговорил об Островском. Николай Николаевич спросил, был ли с ним лично знаком Лев Николаевич.

— Как же, я с ним почему-то был на «ты». Помню, в последнее время пришел к нему, он после болезни, с коротко остриженной головой, в клеенчатой куртке, пишет проект русского театра. Это была его слабая сторона — придавать себе большое значение: «я, я». Он и разговор постоянно наводил на эту тему. Островский был окружен всегда своим кружком поклонников, которые

превозносили его, и потому говорить с ним было довольно трудно.

Из пьес Островского Лев Николаевич особенно любит «Бедность не порок», называет ее веселой, сделанной безукоризненно, «без сучка и задоринки». Хваленой «Грозы» не понимает;[63] и зачем было изменять жене, и почему нужно ей сочувствовать, тоже не понимает. Жадова[64] находит сделанным слишком по рецепту, «с ярлычком». Высоко ставит у Островского совершенное знание языка действующих лиц.

Лев Львович о Гончарове высказал мнение, что из русских писателей он, как человек, был из лучших.

— Да, но он был до мелочности щепетилен, обижался, завидовал, что ли. Это смешное его обвинение Тургенева, что будто бы тот его обкрадывал, называл Лизой свою героиню, когда у него была Лиза, и так далее[65].

Стали считать года. Лев Николаевич сказал, что он считает себя зажившимся. Он помнит за шестьдесят лет. На его глазах картина жизни изменилась до неузнаваемости.

— Меня всегда занимал вопрос, что сказали бы, например, самые умные римляне эпохи Сенеки, если бы собрать их и спросить, что произойдет в будущем. Наверное, ничего не угадали бы. Они говорили бы, что цирк разовьется до совершенства, или что-нибудь в этом роде. Трудно, невозможно предвидеть.

23 июля.

⟨...⟩ Богуславский вступился за обряд ⟨...⟩. Говорит медленно, как бы выжимая мысли из головы, и, в конце концов, разряжается банальностью. Лев Николаевич стал выказывать признаки нетерпения. Когда Богуславский произнес: «Я думаю, вы признаете, что обряды нужны для масс», Лев Николаевич заявил ему: «Для каких масс? я сам масса». Богуславский стал говорить что-то о гипнотизирующем действии обрядов, на что Лев Николаевич привел слова Шарко, что загипнотизировать можно лишь к дурному поступку, но не к хорошему.

«Но вот что меня занимает, — продолжал глубокомысленный собеседник, — ведь слово не вполне передает мысль, значит, идеи будут искажены». Лев Николаевич,

недоумевая, к чему все это, сказал, что Тютчев говорил: «Мысль изреченная есть ложь», а Гете говорил: «Что я пишу, то хуже того, что я говорю; что я говорю, то хуже того, что я думаю». Богуславский глубокомысленно кивал головой, а относительно слов Гете изволил заметить, что это очень и очень интересно.

Стали прощаться и расходиться по комнатам. Я с Николаем Николаевичем пошли через сад и стали ходить по аллее, делясь своими впечатлениями, очень нелестными для нового человека. Скоро вышел Дунаев и с ним Лев Николаевич, тоже оживленно разговаривая о нем, окликнули нас в темноте, и мы пошли вместе.

— Кто это такой? — спросил я Льва Николаевича.

— Нет, я вас спрошу, кто это такой и зачем он приехал сюда.

— Это самодовольный дурак,— решительно отрапортовал я.

— Ого, я и не думал, что вы такой сердитый, — сказал Лев Николаевич и стал рассказывать, что этот математик явился к ним в Москве в тот самый час, как им нужно было уезжать, очень нетактично задерживал их, стал читать свое какое-то сочинение по высшей математике. «Я ничего не понял, но мне показалось, что там есть что-то хорошее. Теперь опять явился неведомо зачем».

Прощаясь с нами, Лев Николаевич еще повторил: «Так я и не знал, что вы такой сердитый». При этом он рассказал; как говорил Писемский: «Человек — это дробь, у которой заслуги числитель, а мнение о себе — знаменатель. Отсюда происходит, что люди с небольшими заслугами, но с большою скромностью очень приятны; а люди даже с заслугами, но и огромным самомнением крайне неприятны».

25 июля.

⟨...⟩ Лев Николаевич заговорил на всегда волнующую тему — о контрасте людей праздных, утопающих в роскоши, болеющих от излишеств, и забитых работою, бедностью и недостатком во всем. Он глубоко верит, что это не будет продолжаться вечно, что, подобно тому, как постепенно уничтожено рабство, крепостничество и т. д., и эта зависимость одних людей от других будет прекращена ⟨...⟩.

27 июля.

После обеда сидели и говорили о том о сем. Вдруг Лев Николаевич обратился ко мне:

— Я вам завидую: вам придется жить в новую эпоху и переживать такое время, какое мы переживали в эпоху освобождения крестьян.

— В каком же отношении это время будет новым? — спросила графиня.

— Земельной собственности не будет.

— Ну, это еще не скоро настанет.

— Нет, скоро, уже есть признаки ⟨...⟩.

29 июля.

Здесь очень интересуются процессом анархиста Казерио, убившего президента Карно[66]. Просматривая полученные газеты, Лев Николаевич только это и ищет. Мужественное поведение Казерио вызывает одобрение; отказ правительства допустить в печать объяснения Казерио, где он высказывает свое profession de foi *, как анархиста, возмущает Льва Николаевича:

— Какое малодушие со стороны правительства! Они прямо показывают этим, что боятся растущей силы. Если анархисты — дикие звери, так почему же нам нельзя читать их бред?

30 июля.

Много говорили о картине Ге[67]. Чертков говорит, что если картину увезут в Англию, то и там ведь люди. Но Лев Николаевич высказывает надежду и какое-то предчувствие, что она останется в Москве.

— Не может быть, чтобы Третьяков оставил это так. Я писал к нему задирательные письма[68], и он должен, по крайней мере, обидеться и ответить мне в таком тоне. Наконец, мало ли в Москве есть богатых людей, которым некуда девать капитал. Хоть и страшно произнести это слово, но я надеюсь, что со временем будет основан музей Ге, где будут собраны его работы.

Лев Николаевич говорит, что, работая и отдыхая теперь в мастерской, он все больше и больше всматрива-

---

* точка зрения (*франц.*).

ется в «Распятие» Ге и все больше проникает в мысль художника.

— Чтобы написать такую вещь, нужно предположить, по крайней мере, тридцатилетнюю подготовительную работу, а барыня какая-нибудь подойдет с лорнетом и хочет оценить ее в тридцать секунд. Я даже начинаю примиряться с разбойником. Прежде я не видел там ничего, кроме выражения физического ужаса. Теперь я проникаю глубже.

После обеда, по настоянию Льва Николаевича, устроили «концерт». Начали со столь любимых им сонат Моцарта. Скрипку играл я, рояль — Катерина Ивановна Баратынская, весьма изрядная музыкантша. Потом стали играть в четыре руки «Крейцерову сонату», первую часть, которую собственно имел в виду Лев Николаевич в своем рассказе [69]. Лев Николаевич играл вторую партию, хотя несколько грубо и с погрешностями 〈...〉.

31 июля.

〈...〉 Лев Николаевич в прежних книжках «Вестника Европы» отыскал письма Тургенева к Аксакову [70], очень обрадовался и стал читать вслух. Письма относятся ко второй половине пятидесятых годов. «Мое время», — говорил Лев Николаевич. Он останавливался на объяснении упоминаемых Тургеневым мест и лиц, радовался блестящему изложению, восхищался его критическими замечаниями; по поводу его характеристики современной французской литературы повторял: «Удивительно хорошо!» 〈...〉.

1 августа.

〈...〉 Вечером Лев Николаевич сообщил, что от нечего делать он взял оставленную мною на столе майскую книжку «Русской мысли», и так как там ничего не было интересного, то принялся читать статью Гольцева о Чехове [71]. Находит в ней интересными лишь выписки из Чехова; все же остальное, по его мнению, сделано крайне бездарно и неумело. О Гольцеве, как человеке, Лев Николаевич отзывается, что он симпатичный, исполнен хороших намерений и мыслей.

2 августа.

⟨...⟩ Стали говорить вообще о русских либералах, и Лев Николаевич заявил, что «подлее русских либералов он ничего не знает» ⟨...⟩. У нас сделалось обычаем, почти обязанностью ругать правительство за все его поступки. Но, стоит только правительству позвать нас, мы застегнемся в мундир и явимся; ругаем правительство, и у того же правительства просим места.

— Я знаю один случай. Три московских профессора (имен я не хочу называть) говорили что-то либеральное студентам. Об этом узнал попечитель Капнист. Всем известно, что Капнист — пьяница и дурак. Но, когда он позвал трех профессоров-либералов, они надели мундиры, поехали, ждали в передней. Он сделал им выговор, и они сами об этом потом рассказывали ⟨...⟩.

4 августа.

⟨...⟩ Сегодня графиня, убирая книги после Страхова в шкафы, спросила, можно ли унести и Тютчева. Я воспользовался этим случаем, чтобы обратиться к Льву Николаевичу за разъяснением его фразы, сказанной когда-то, что Тютчев для него выше Пушкина.

— Я перечитывал Тютчева,— сказал я,— многое превосходно; но все-таки я не могу понять, почему же он выше Пушкина? Ведь Пушкин несравненно шире Тютчева.

— Зато Тютчев глубже его.

— Итак,— продолжал я,— нужно измерить глубину одного и широту другого, чтобы определить, кто из них выше. Задача нелегкая!

Лев Николаевич улыбнулся:

— То есть как выше? Ведь и Немирович-Данченко широк: у него и поэмы, и стихи, и что вам угодно. Это не трудно. Сила Пушкина, по моему мнению, в лирических его произведениях, и главным образом в прозе. Его поэмы — дребедень и ничего не стоят. А Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина. Правда, у Пушкина нет таких пошлых патриотических стихотворений, как у Тютчева, хотя и у него «Клеветникам России» и другие.

5 августа.

Лев Николаевич вышел к завтраку с новой книжкой «Русского обозрения». Там печатаются письма Аксаковых к Тургеневу [72].

Лев Николаевич начал говорить об Аксаковых:

— Как они самоуверенны, а в сущности, они не оставили после себя никакого следа. Литературная известность отца раздута, у него было лишь среднее дарование. Константин из них был самым интересным. Иван был талантливее, но Константин был чистая, благородная натура [73]. Он сорока лет умер девственником, а когда руку подает, как Тургенев выражался, словно дверью защемит. Но мне всегда неприятно было в них то, что все у них делалось напоказ. И православие их, которое стояло в связи с славянофильской системой, было напоказ. Тургенев был гораздо искреннее. Он был неверующим, но когда одна барыня заставляла его «Отче наш» читать, он и «Отче наш» читал, и делал все это простосердечно и искренно. За это он был всегда ближе мне ⟨...⟩. Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать последовательно: «Фауст», «Довольно» и «Гамлет и Дон-Кихот». Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина [74].

6 августа.

К вечеру пришли посетители: студент-медик, бывший учитель здесь [75], и ординатор Благоволин, оба — снегиревские ученики [76]. Рассказывали о всяких операциях и других медицинских чудесах. Лев Николаевич стал их «задирать». По его мнению, медицина лишь тогда может быть названа благодетельной, когда станет популярной. Но пока она служит лишь богатым классам, то черт с ней. Это какой-то возмутительный, безнравственный порядок, при котором богатая купчиха, имеющая возможность выписать Шарко из Парижа, вылечивается, а жена ее дворника, страдающая такой же болезнью, даже в меньшей степени, умирает, так как никто к ней не придет на помощь. Если существует такого рода справедливость, то из-за этого можно бы повеситься. Поэтому ему какой-то голос подсказывает (хотя этого нельзя доказать статистикой), что медицинская помощь и для богатых классов уж не так благодетельна, как кажется ⟨...⟩.

9 августа.

⟨...⟩ Вечером стали вслух читать из «Северного вестника» статью П. Вейнберга о Жорж-Занд [77]. В первой части делался общий обзор предшествовавшего романа (Руссо, Сталь, Шатобриан и др.). Лев Николаевич в промежутках между чтением высказывал свои замечания. Руссо он читал с самых молодых лет и перечитывал все, даже его переписку [78]. Он его считает величайшим писателем и удивляется, как можно сопоставлять с его романами романы мадам Сталь, которая была, конечно, умной женщиной, но романы писала прескучные. «Это все прагматизм!» Шатобриана он пробовал много раз читать, но никогда не мог одолеть ни его «Рене», ни его «Духа христианства». Между прочим, очень хвалил Стендаля и находил, что Пушкин высказывал несправедливые о нем мнения («Записки Смирновой» в августовской книжке «Северного вестника») [79]. К Бальзаку он никогда не чувствовал особого влечения и все из него перезабыл [80].

10 августа.

⟨...⟩ Я спросил, какое впечатление производил на него Данте.

— Скука страшная: я несколько раз пытался его читать и никогда не мог окончить; читал и по-итальянски, когда учился итальянскому языку. Жаль, что некогда, хотелось бы почитать еще. Как это создаются иногда репутации! [81]

— А Боккачио?

— Боккачио лучше; по крайней мере, интересно, и живо рассказано. Я читал по-французски [82].

Потом стали вслух читать повесть Маркова из «Недели» [83]. Лев Николаевич сначала, пока шли описания и разговоры разных лиц четвертого класса в поезде, очень восхищался верностью изображения, а потом, когда на сцену явился старец с веригами, сказал, что этого старца Марков сочинил и что это отвратительно.

11 августа.

⟨...⟩ Вечером мы прочли вместе повесть Ольдена «Женитьба Кабуса» (перевод с немецкого) в августовской книжке «Северного вестника» [84]. Вещь эта всем

мало понравилась, хотя Лев Николаевич сказал: «Недурно». От повести, как и вообще от немецких повестей, несло особенным немецким духом, и я это высказал.

— Да,— сказал Лев Николаевич,— они имеют особенности. У меня явилась мысль, если бы я был помоложе, написать три романа — подделку под французский, немецкий, английский. Особенно удался бы мне английский 〈...〉.

12 августа.

〈...〉 Прочли вслух из «Русской жизни» фельетон Гарина «Наброски с натуры». Льву Николаевичу Гарин не нравится. Он причисляет его к тому же типу выдумщиков, как Немирович-Данченко и Мамин-Сибиряк. Прочтенный рассказ он нашел так себе: ничего особенно дурного (хотя об охоте на медведя заметил, что это все — вранье), но и хорошего ничего нет.

26 декабря, 1894 г., Москва.

〈...〉 Я сообщил, что «Русская мысль» приобрела себе в критики Скабичевского.

— Тупой и бездарный человек,— сказал Лев Николаевич [85–86] 〈...〉.

Лев Николаевич встал и вышел зачем-то из залы.

— А какое впечатление на вас произвела вся эта история с Александром Миротворцем? [87] — послышался его голос из другой комнаты.

Я отвечал неопределенно.

— Отвратительная история,— продолжал, входя и снова садясь за стол, Лев Николаевич.— После глупого, ретроградного царствования вдруг со всех сторон подымаются восхваления, самая бесстыдная ложь. И эта печальная студенческая история... Впрочем, почему же печальная? Это — единственное светлое явление во всей этой истории. Одна молодежь осмелилась высказать правду 〈...〉.

Я нарочно навел разговор на поведение профессора Ключевского и передал мнение профессора Стороженко, что он смотрит на его хвалительную лекцию [88] памяти Александра III как на долг вежливости по отношению к обласкавшей его семье царской [89].

Лев Николаевич ничего не сказал на этот счет, но высказал несколько мнений о Ключевском как профессоре, которые поразительно расходились с тем, что я привык думать и слышать от других. По его мнению, Ключевский — бездарный человек. Он читал в «Русской мысли» его исследование о боярской думе [90]. «Скучно, ни одной новой мысли, написано таким языком, что ничего не поймешь. Читал его лекции. Неприятно, всюду эти словечки, либеральная подковырка и ничего больше».

29 декабря 1895 г.

Был в первый раз на субботнем журфиксе у Толстых.

Лев Николаевич показал статью «Московских ведомостей», присланную Дунаевым, где Николаев [91] — доказывал, что самое христианское государство должно быть монархическим; отпустил несколько иронических замечаний по этому поводу; сел возле меня. Я неловко молчал. Спросил, читал ли я статью Арнольда [92] в «Северном вестнике» о задачах современной критики (перевод с английского).

— Не читал.

— Пожалуйста, прочтите. Я эту статью давно рекомендовал; теперь ее прекрасно перевели, но она прошла как-то незаметно. Я все рекомендую ее молодым людям. Автор в статье говорит о том, что подъем художественного творчества бывает тогда, когда критика соберет весь запас того лучшего, что сделано у других. В этом и должна быть задача критики ⟨...⟩. Критик должен быть всесторонне образованным человеком, знать литературу и древнюю, и западноевропейскую, и русскую. У Белинского есть хорошие места. Но если перевести и его и других русских критиков на иностранный язык, то иностранцы не станут читать,— так все элементарно и скучно. На Западе есть хорошие, серьезные критики, Сент-Бев, например, Лессинг, Карлейль; последний, правда, как бы из упорства, наперекор всем, носится с этим своим прославлением героев, вопреки и времени и христианству. Литература у нас была всегда выше критики. Хоть бы Пушкин — действительно европейски образованный человек.

Я заявил, что все-таки люблю Белинского, что при его описании, например, игры Мочалова дрожь проходит

по коже. Он обладал большим вкусом, и великая его заслуга, что он восхищался, например, Гоголем и других увлекал своим восторгом, в то время как другие, например Сенковский, Полевой, ругали Гоголя [93].

Лев Николаевич молчал, прислонившись к печке. Очевидно, он о многом говорит по старым общим воспоминаниям, к одностороннему усилению которых служат какие-нибудь ближайшие впечатления, например статьи Волынского [94]. Потом сам стал говорить, что кто-то ему в защиту Белинского приносил читать некоторые его места, и действительно хорошо, особенно из первого периода.

Толстовец Страхов, с которым я в этот вечер возвращался домой, сообщил, что сам слыхал от Льва Николаевича другое мнение о Белинском. Он разговаривал с одним фабричным о том, какие книги он читает, и, удивленный его выбором, спросил, по чьему совету он это делал.

— По рекомендации господина Белинского,— отвечал тот.

— Вот видите,— сделал заключение Лев Николаевич,— какое благотворное действие оказывает Белинский [95].

За чаем говорили о музыкантах: Гофмане, чешском квартете, Игумнове. Чешский квартет, который Лев Николаевич слушал из артистической комнаты Благородного собрания, изъявил желание поиграть у Льва Николаевича. Играли квартет Бетховена (из первых), Шуберта, Гайдна. От всего Лев Николаевич был в восторге: «Ясно, прозрачно». Квартет же Танеева между ними, по его мнению, похож на стихотворение, которое составлено из набора всяких слов без связи, но с соблюдением размера и рифмы. Игру Игумнова он находит безукоризненной. Тот был так любезен, что для него выучил прелюдию F-dur Шопена, бурную, которою его восхищал еще Н. Рубинштейн.

Лев Николаевич был на ученическом вечере консерватории, хвалит всех. Особенно ему понравился концерт Рубинштейна, к которому он питает сочувствие за искренность и задушевность. В Чайковском он находит иногда искусственность. Музыка Рубинштейна напоминает ему поэзию шестидесятых годов.

— В чем же сходство? — спросил я.— В шумливости, прямолинейности?

— Нет, нет, не могу выразить; быть может, это воспоминание молодости: в какой-то задушевности ⟨...⟩.

Толстовец полюбопытствовал узнать, по каким побуждениям Лев Николаевич ходил слушать «Короля Лира» [96].

Ответа, сказанного тихо, я не слыхал точно (вроде того, что есть потребность). Но, когда дальше они вдвоем стали говорить о Шекспире, я переменил место и подсел ближе.

Его мнение о Шекспире, «дикое», как говорит сам Лев Николаевич, давно интересовало меня. Он напал на «Короля Лира», находит много неестественных сцен и лиц, например сумасшествие Эдмунда, характер Кента. Недавно перечитывал «Ромео и Юлию». Сцена с аптекарем, к которому приходит Ромео за ядом, возмутительна по неестественности. Во всем видна небрежная работа актера, который спешит окончить пьесу, чтобы забавлять ею публику. Клоуны его возмутительны: это глумление над простым народом. В них виден автор-шут. Конечно, он умный, и многие сцены у него глубоки. Это не Шпажинский; но полной художественности у него нет; не видно, чтобы автор любил свое создание. Наконец, возмутительно его равнодушие, называемое объективностью. Отелло ли душит Дездемону, или убивают подряд несколько человек — ему все равно. Все это для него лишь занятные картины. Мольер художественнее Шекспира, Бомарше — и подавно. У Мольера, правда, нет такого разнообразия и глубины содержания, но зато всякая вещица хорошо отделана, художественна. Даже некоторые из первых вещей Островского художественнее некоторых шекспировских.

Гете как драматурга Лев Николаевич совсем не любит: так и видно, как сидел он и сочинял [97]. Шиллера ценит очень высоко и больше всего любит его «Разбойников» [98]. Хотя там все и приподнято, но это вечно — и Карл Моор и Франц Моор. Хороши и «Мария Стюарт» и «Орлеанская дева» — все ⟨...⟩.

По поводу моего учительства заговорили о преподавании словесности. Лев Николаевич находит, что мы занимаемся совсем не тем, чем нужно. Культурную историю должны читать не преподаватели словесности, а собственно историки, а то, чем они занимаются — разные войны, — этого совсем не нужно. Я стал допытываться, как же он провел бы курс литературы.

— Я, конечно, плохо знаю историю литературы,— отвечал, улыбаясь, Лев Николаевич, — но если вы хотите, то расскажу в общем.

Начал бы он с былин, которые очень любит и на которых надолго остановился бы, потом сказки, пословицы народные. Скучными вопросами о вариантах Киреевского, Рыбникова или о том, что богатыри, как говорит Бессонов, олицетворяли собой солнце и т. д., он не занимался бы, а выбрал бы самое лучшее и познакомил бы с ним. Потом из книжной словесности остановился бы, например, на таком превосходном стилисте, как протопоп Аввакум (Лев Николаевич очень удивился, когда я сказал ему, что у нас Аввакума совсем не включают в учебники). Далее («в этом я согласен с славянофилами»), весь период литературного хищничества, когда паразиты отбились от народа, и Ломоносова, несмотря на его заслуги, и Тредьяковского и т. д., пропустил бы совсем. Потом стал бы говорить о том, как с Пушкина до настоящего времени литература мало-помалу освобождалась от этого, хотя и теперь еще не вполне освободилась. Литература должна дойти до такой простоты, чтобы ее понимали и прачки и дворники [99]. На мои слова, что мы стараемся представить непрерывное развитие литературного дерева, взаимодействие писателей, как один развивался под влиянием другого и т. д., Лев Николаевич сказал, что, может быть, это и интересно, но все это ни к чему ⟨...⟩.

20 апреля 1896 г.

В субботу собралось у Толстых особенно много публики ⟨...⟩.

Интересен был разговор о вагнеровской музыке ⟨...⟩. Лев Николаевич был на последнем представлении «Зигфрида» и говорит, что такой отчаянной тоски и скуки давно не испытывал [100]. Во-первых, сюжет. «Известно, что из всех эпосов немецкий самый глупый и скучный». Вагнер в своем либретто еще больше испортил текст; музыка же его не представляет собой чего-нибудь цельного, имеющего центр, как должно иметь всякое художественное произведение, а есть только ряд иллюстраций на этот испорченный текст. Так и видно, как немец сидел и придумывал. Настоящей музыки нет, все условно. Птицы поют — играй на дудочке, выходит кто — труби

в трубы и т. д. Чувства меры нет: около получаса в одном месте дудочка играет. Слушаешь и не понимаешь, играют уже или еще строятся: то как будто в животе у кого-то забурчит, то дудочки перекликаются.

— Если бы у меня было время и я не был занят другими предметами, я написал бы об этом[101]. Я могу доказать, что это не музыка. Там, в театре, со мною сидели Танеев и другие специалисты, и они ничего не могли мне возразить. Для меня очень понятно, почему вагнеристы говорят с таким экстазом. Если хлеб хорош или вода хороша, я просто говорю, что это хорошо; тут нечего восторгаться. Но если приготовлено какое-нибудь странное кушанье, тут я буду из кожи лезть и восторгаться ⟨...⟩.

Лев Николаевич был на картинной выставке[102]. Поленовскую картину «Среди учителей» находит очень недурной: фигуры мальчика, старика-книжника, матери. Видно, что художник много думал над ней. По поводу касаткинских «Углекопов» говорил, что тот вечно чудит. Нельзя в живописи показывать то, что в темноте, так как живопись должна иметь дело с тем, что на свету. Обратил внимание на картину Орлова «Переселенцы», которая тронула его; особенно пьяненькая женщина, ласкающая детей. О последней картине я заметил, что она написана несколько грубовато, а, по моему мнению, в искусстве обязательна должна быть красота. Лев Николаевич предостерег меня от увлечения этим: красотой одной вопрос не исчерпывается. Но он также думает, что красота в искусстве должна быть для того, чтобы заставить обратить на себя внимание, притянуть и заставить вникнуть в смысл произведения. Так называемое тенденциозное искусство и теряет многое оттого, что часто бессильно в создании привлекательной формы. От этого терял и Ге, а Поленов обладает этим уменьем и привлекает к себе внимание.

19 апреля 1897 г.

У Толстого ждали Кони, которого Лев Николаевич просил прийти часов в десять, так как он сам был в этот вечер, по приглашению Сафонова, на репетиции оперы «Фераморс», которую ставили ученики консерватории[103]. Возвратившись домой раньше прихода Кони, он на вопросы присутствующих стал рассказывать, что мотивы

оперы Рубинштейна ему очень понравились, но сюжет и масса условностей в постановке, из-за которых все с ожесточением бьются и которые, в сущности, никогда не могут доставить удовольствия, показались ему слишком скучными. По обыкновению он отнесся ко всему этому с юмором. Но что больше всего неприятно подействовало на него, это грубое обращение Сафонова с учениками — исполнителями оперы: «ослы», «болваны», «идиоты» сыпались с его языка.

— Какая невоспитанность, какая грубость нравов! Я не знал, как подойти к нему потом и подать ему руку.

Явился Кони, с несколько обезьяньим лицом, с прекрасными в спокойной задумчивости глазами. Необыкновенная ясность мысли, точный, простой, употребляющий новые обороты язык, склонность и способность к остроумию.

Разговор перешел на Репина. Лев Николаевич в восторге от его картины «Дуэль», которая еще не появилась перед публикой [104]. Фигура умирающего, протягивающего руку убийце («простите»), по его словам, производит такое впечатление, что он заплакал перед ней, что с ним бывает редко. Другую картину Репина — «Искушение Христа» — он находит отвратительной, что он прямо и высказал художнику. Это совсем не дело Репина, и напрасно он за это взялся. Ге был замечательный человек в отношении религиозной живописи. В разговорах с ним Толстой уяснил себе этот предмет. Прямое дело Репина — такие картины, как «Дуэль». Лев Николаевич просил Кони зайти к Репину и сказать ему, что одна из фигур лишняя. «Я долго думал об этом, тогда не успел сказать, и потом меня это мучило. Мы с Репиным уважаем и любим друг друга, и он это поймет» ⟨...⟩.

Разговорившись о своей последней работе об искусстве [105], Лев Николаевич стал говорить, что это работа очень сложная, что у него около семидесяти выписок из разных сочинений. При этом он обратился ко мне с просьбой взять на себя труд сверить его изложение взглядов разных эстетиков и писателей с цитатами, на основании которых это изложение сделано. Он боится, как бы не стали говорить, что он неверно передал такое или такое место, а делать прямо выписки в тексте он не хотел бы: выйдет слишком громоздко. Я обещал зайти через неде-

лю, когда рукопись будет переписана рукой Татьяны Львовны, а он просил при проверке «быть построже».

Раньше еще, в начале разговора, я был сконфужен тем, что Лев Николаевич, как-то вскользь, в разговоре упомянул обо мне как о специалисте по русской литературе. Кони, «пользуясь тем, что он имеет удовольствие говорить со специалистом», несмотря на мой протест на слова Льва Николаевича, спросил, не знаю ли я, какая полная биография Никитина. Одна из присутствовавших дам прежде меня назвала Де Пуле, и я мог только прибавить, что она печатается при полном собрании сочинений Никитина [106]. Лев Николаевич при этом сказал, что он очень любит Никитина.

В тот же вечер говорили о новой повести Чехова «Мужики» [107]. Все, и в особенности Лев Николаевич, который признает за Чеховым громадный талант, поражены силой рассказа. В конце его какое-то место не пропущено цензурой. Но Лев Николаевич находит и односторонним талант Чехова, именно потому, что он производит такое удручающее впечатление.

14 февраля 1898 г.

⟨...⟩ За чаем он, полный интересов своего эстетического сочинения, говорил о том, что подбирает примеры из всемирной литературы для того, чтобы указать образцы истинного, по его мнению, искусства: 1) проникнутого христианским чувством, 2) объединяющего людей. Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера. О «Натане мудром» Лессинга еще подумает, перечитает [108].

Я говорил, что трудно приводить такие примеры, что сразу не сообразишь, что это значит — горстью черпать из моря, а он утверждал, что и черпать-то нечего. Спросил его, под влиянием только что прочитанной брошюры Вейнберга [109], что он думает о поэзии Гейне. Лев Николаевич отвечал, что причислить сочинения Гейне к истинным произведениям искусства он не может, скорей причислил бы их к дурному искусству. У Гейне безотрадный пессимизм и цинизм, глумление над всеми и над собой, не смягчаемое любовью, полная неспособность, «свойственная евреям вообще», понять дух христианства. Но тут же он прибавил, что недавно перечитывал Гейне и восторгался им, хотя объясняет это тем, что он сам испорчен нашими искаженными взглядами на искусство.

У Гейне удивительное остроумие, необыкновенная ясность ума, когда он характеризует разные философские направления, «как не охарактеризует ни одна история философии», чрезвычайно умные изречения.

Заговорили об отрицательных фактах биографии Гейне, и по этому поводу Сулержицкий сказал, что его обижало при чтении биографии Руссо его отношение к женщинам.

Лев Николаевич отвечал, что ему никогда это не казалось странным для Руссо. Он всегда был легкомыслен, то есть лучше сказать, до того глубокомыслен в том, что занимало его ум, что оказывался вполне беспомощным со своей наивностью в практической жизни и нуждался в ухаживании женщины ⟨...⟩.

Присутствовала, между прочим, какая-то графиня⟨...⟩. У нее Лев Николаевич брал журналы и книжки декадентские, чтобы «понюхать, как скверно пахнут». По этому поводу произошел разговор. Лев Николаевич только что пришел от Льва Поливанова и передавал его отзыв об «Искусстве»[110]. «И зачем Лев Николаевич упоминает о декадентах? — говорил Поливанов. — Что с ними возиться? Они уже погребены». Возражая на это, Лев Николаевич говорил, что напрасно так мало обращают внимания на декадентов, что это болезнь времени, и она заслуживает серьезного отношения.

Дальше был разговор довольно длинный вообще об искусстве, его идеалах (простота, общедоступность). Лев Николаевич охотно и много раз может повторять те мысли, которыми он занят в своей работе. Нового из этого разговора я ничего не вынес. За борт вылетели Шекспир, Данте, Бетховен, Грибоедов, как не общедоступные и потому не истинные.

— Не нужно бояться отбрасывать, — говорил на мое слезное заступничество Лев Николаевич. — Чем меньше останется, тем лучше.

По глазам моим он, верно, видел, что я не верю. После играл Гольденвейзер, и мы разошлись во втором часу ночи.

7 февраля 1899 г.

⟨...⟩ Состоялось трио. Играли Бетховена: довольно хороший скрипач Алмазов, виолончелист из учеников консерватории, рояль — Гольденвейзер, который превос-

ходно читает ноты. Потом пела романсы дочь Алмазова, сильный и довольно приятный голос.

Лев Николаевич, по обыкновению, принимал в музыкантах живейшие участие. Оставлял сейчас же разговор, как только начиналась музыка, усаживался отдельно где-нибудь в углу и слушал. Певица просящим голосом сказала, что она пропоет Чайковского «Травушку». Алмазов-отец по окончании говорил, что не может равнодушно слышать этот романс, так он его захватывает. А Лев Николаевич и до пения сказал, что не любит этих подделок под народные песни, и слушал одним ухом, и по окончании твердил с улыбкой: «Нет» ⟨...⟩.

14 февраля 1899 г.

В воскресение у Толстых был Суриков, художник; разговаривал с Львом Николаевичем. Я подсел к ним. Суриков рассказывал о Суворове, альпийский поход которого он взял сюжетом для своей последней картины [111], описывал его наружность, говорил о его семейных обстоятельствах, чудачествах, народном духе, о том, что из деятелей эпохи Екатерины народ помнит Суворова и Пугачева ⟨...⟩.

Графиня, между прочим, сказала, что мы несправедливо, пристрастно судим царственных лиц, и в пример привела покровительство Николая Павловича Пушкину. Я возразил, что обещание царя быть цензором поэта не было, как скоро оказалось, очень приятным для Пушкина; привел в пример отзыв Николая о «Борисе Годунове» («Лучше было бы сделать в форме романа, à la Вальтер Скотт») и ответ Пушкина: «Жалею, что не в силах переделать раз написанное». Этот ответ заинтересовал Льва Николаевича; он не знал его. Ему показалось забавным, что Николай Павлович, «этот болван, который до конца своей жизни никак не мог потрафить, где букву ять ставить, и, наконец, плюнул и стал писать совсем без ять», делал указания, как писать, «такому человеку, как Пушкин».

Я вспомнил, что у Левенфельда рассказывается, как Николай I, узнав, что на четвертом бастионе осажденного Севастополя находится молодой, подающий надежды писатель, велел его перевести в более безопасное место на фланг [112].

— Как же понять психологию этого покровительства

писателям? Или он хотел из них создать певцов своего царствования, как Екатерина Вторая? — спросил я.

— Просто, при дворе читают, хвалят. «А где он? Ах, под Севастополем! Ma chère, как опасно! Надо его перевести»,— отвечал, улыбаясь, Лев Николаевич.

Разговор перешел на студенческие беспорядки [113]. К Льву Николаевичу являлись студенты с просьбой написать в их защиту, принесли ему свои прокламации. Лев Николаевич перечитал их, говорит: «Скучно, написано по-мальчишески». Но в общем он сочувствует протесту студентов, хотя еще не ясно представляет себе, как помочь делу ⟨...⟩.

11 апреля 1899 г.

⟨...⟩ Заговорили о драматических опытах Буренина. Некоторые роли писаны им для известных актеров. Лев Николаевич возмущается этим обычаем; находит, что этот грех был и у Островского [114]. Островского он делит вообще на две половины. Первую ставит высоко, особенно «Свои люди — сочтемся». Его трогает конец этой пьесы, когда Большов падает с высоты своего величия, зритель жалеет его и негодует на жестокого Подхалюзина. Высоко ставит также «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется». Падение начинается, когда, из желания угодить либеральной критике, Островский стал писать «Доходное место» [115] и громить «темное царство». Жадова, этого студента-резонера, Лев Николаевич находит из рук вон плохим. Я передал рассказ (из «Русских ведомостей») очевидца, который наблюдал впечатление этой пьесы на фабричную публику. Она осмеяла Жадова за знаменитую сцену в трактире. «Все, мол, были плохи, а теперь сам хуже всех». Лев Николаевич нашел это вполне естественным. Неодобрительный отзыв его о «Грозе» известен [116]. Недавно с Софьей Андреевной видел он в театре «Горячее сердце» и ахал от невозможности сцен. Сцену объяснения городничего с просителями («А принеси законы!») находит хоть и смешной, но выдуманной [117] ⟨...⟩.

Я рассказал, что купил на вербах «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», в переводе Аверкиева [118], и зачитался ими. Лев Николаевич оживленно подхватил.

— Сколько стоит? Я читал по-немецки. Очень интересно ⟨...⟩.

6 апреля 1900 г.

Лев Николаевич повел в кабинет и показал гранки статьи «Новое рабство» [119]. Статью для «Северного курьера» еще будет переделывать. Там говорится о том, что на Казанской железной дороге грузовщики — хуже рабочей скотины, работают без перерыва по тридцати шести часов, зарабатывая рублей тридцать в месяц. Статья разрастается, он углубляется в этот вопрос.

За чаем были Лев Николаевич, Дунаев, Сергей Львович и я. Сергей Львович заспорил с отцом об изданном в Германии законе Гейнце против безнравственности. Лев Николаевич удивляется возмущению либеральной прессы против этого закона:

— Мы окружены насилиями, и люди работают по тридцати шести часов. Об этом молчат. А вздумало правительство умело или неумело запретить показывать на улице голых баб, и все закричали 〈...〉.

10 декабря 1900 г.

〈...〉 Был пианист Гольденвейзер, но почти не играл. Между ним и Сергеем Львовичем [120] зашел специальный разговор о гармонии русских песен. Лев Николаевич принимал в нем участие с пониманием, хотя специальных познаний в гармонии у него нет [121]. Восхищался хором балалаечников, который недавно слышал в одном знакомом доме 〈...〉.

Теперь Лев Николаевич занят Конфуцием [122]. Из Румянцевской библиотеки через Стороженко и при помощи каталожного ему доставили кучу английских книг о Китае. Он находит очень глубоким чтение Конфуция о том, что для счастья нужно устроить государство, личность, определить понятия добра и зла 〈...〉.

Очень был заинтересован статьей Буквы [123] («Русские ведомости», № 243) о международной выставке картин. Спрашивал, кто такой Буква, и соглашался с ним, что в современной живописи мало идейности.

Ге потому и стоит выше их, что у него много мыслей, что он даже разбрасывался, хватался то за одно, то за другое 〈...〉.

А. И. СУМБАТОВ

ТРИ ВСТРЕЧИ

Не могу последовательно и подробно описать те три встречи, какие у меня были со Львом Николаевичем.

Я помню, как он ходил, говорил, как будто он сейчас перед моими глазами ходит, останавливается, задумывается, улыбается, помню звук его голоса...

Но передать словами все обаяние его существа не могу.

Еще меньше могу связно рассказать то, о чем он говорил.

Общее впечатление у меня от моих трех встреч с ним такое: точно я попадал в ярко освещенное солнцем место, и этот свет моментально, без всякого усилия со стороны Льва Николаевича, вдруг — при каком-нибудь его слове, взгляде, улыбке — разрастался в ослепительное сияние, наполнявшее меня непередаваемым бессознательным счастьем...

Купаясь случайно в этих светлых лучах, я сначала старался запомнить слова Льва Николаевича — и ничего не выходило. Он сам был сильнее того, что он говорил, и не теми мыслями, которые он высказывал, а всем, чем он мыслил и говорил, он неотразимо и властно охватывал мое внимание...

Первый раз я приехал с визитом к графине Софии Андреевне (кажется, в 1898 г.) в ответ на ее любезное письмо о впечатлении, вынесенном ею от какой-то из моих пьес на сцене Малого театра [1].

Графини не было дома.

Я всегда — и до сих пор — испытываю совершенно неопределенный страх говорить и встречаться со Львом Николаевичем. Мне всегда казалось, что я врываюсь

в такую великую жизнь, от которой мы не должны отвлекать нашими личными интересами. У меня к нему то же сложное чувство, какое было у Николая Ростова к императору Александру I. Это для меня такой *единственный* человек в мире...

Не застав графиню, я почувствовал облегчение от смутного страха столкнуться с ним самим — с источником этого страха. И я уже шел к дверям, оставив карточки, когда из залы быстрой, легкой и удивительно молодой для семидесяти лет походкой вышел Лев Николаевич, собираясь на прогулку. Он был в полушубке и мягких валенках. Его глаза были еще моложе походки. Он меня узнал, вероятно, по театру, который он посещал в том сезоне, улыбнулся, протянул руку и ввел в зал...

Мы говорили час, никак не меньше. То есть я говорил то, что он хотел, чтобы я говорил. Ни одного из тех вопросов, которые я предполагал, превозмогши как-нибудь свою робость, дать на суд Льва Николаевича, я ему не задал. И не было нужды.

Глядя на это дорогое лицо, эту бесконечно любимую и близкую мне в душе голову, на всю его простую, полную настоящей человеческой жизни фигуру, я чувствовал, что всем этим своим целым он уже отвечал мне на большинство моих вопросов.

И я его не спрашивал, а любил. И эта любовь мне на многое ответила.

Но кое-что я все-таки помню из его слов. Он тогда начинал писать «Хаджи-Мурата» [2] и просил меня прислать ему книг о Кавказе. Я, конечно, все исполнил.

Воспользовавшись случаем, чтобы заговорить о театре, я спросил его, какая из пьес мировой литературы ему нравится больше других. Он ответил:

— «Разбойники» Шиллера. Театру нужно то, что просто и сильно, без завитушек...

Хорошо помню это выражение и сопровождавшую его улыбку.

Затем я спросил относительно его статьи об искусстве [3], о которой мне говорил Н. И. Стороженко.

— Это не статья, — ответил Лев Николаевич, — это все, что мне приходило последовательно в голову по поводу такой отрасли жизни, из которой всеми силами хотят делать одни — забаву, другие — ремесло. А между тем это так важно. Искусство по силе своего влияния почти равно религии (Лев Николаевич остановился в своих

мягких валенках, устремив на меня из-под густых бровей ни с чем не сравнимый взгляд, и в голосе его послышалась властная и почти суровая нота). А религия служит только вере, значит, самому высокому, что есть в душе. И как те религии, которые служат не вере, не душе, а чему-то другому, теряют свое значение, так и искусство, если оно преследует цели забавы для тех, кто им пользуется, становится неизбежно для тех, кто ему служит, ремеслом, требующим только технического совершенствования. И тогда оно является уже не благом, а злом ⟨...⟩.

Мне показалось тогда, что великий художник слишком низко ценит человечество, особенно культурное, полагая, что на его душу можно влиять только прямолинейными воздействиями добра и зла, между тем как красота сама по себе есть могучее оружие духа. Кажется, я тогда это и высказал, не зная еще, во что выродится искусство, и не предвидя того течения, которое оно приняло десять лет спустя после этой встречи [4]. Теперь я не сказал бы Льву Николаевичу того, что сказал тогда. И я решился указать ему на огромное значение чистой красоты в его собственных творениях, выразил надежду, всех тогда томившую, получить его новое свободно-художественное произведение.

— Вы охотник? — спросил Лев Николаевич, улыбаясь.

— Был когда-то, — ответил я.

— Так вы должны знать, что утром охотник обходит все кочки и болота в поисках, нет ли дичи. К вечеру же идет только в те места, где наверное может найти ее...

У меня сжалось сердце. Неужели уже наступил *вечер этого* охотника?

Почти час я слушал его ⟨...⟩.

Приехала графиня. И незабвенный час кончился. Лев Николаевич отправился на прогулку в том же тулупчике и мягких валенках, в которых все время ходил по зале.

Второй раз я видел Льва Николаевича в моей уборной в Малом театре, на репетиции «Власти тьмы» [5]. Он зашел в антракт на сцену к О. О. Садовской, исполнявшей, по его словам, роль Матрены «изумительно». Кто-то из администрации привел его в мою уборную, единственную из бывших свободной, так как я в пьесе не участвовал. Не ожидая такого посещения, я замер от

неожиданности, войдя в свою уборную. И теперь не могу вспомнить, кто с ним был и о чем говорилось. Помню только, что при моем входе он поднялся и спросил меня:

— Я не мешаю?

Что я ему отвечал, тоже не помню. Но его милая светлая улыбка до сих пор у меня перед глазами. Помню еще, что он как-то сурово вглядывался в большую гравюру, висевшую на стене, — снимок с какой-то английской картины, изображающей представление перед королем убийства Гонзаго в «Гамлете». Перед уходом Лев Николаевич подошел ближе, вгляделся в Гамлета и обернулся ко мне.

— Какое тут злое лицо у Гамлета! — сказал он.

— Да, мне тоже кажется, — ответил я. — Но мне нравится королева со своим тупым выражением и вот эти фигуры.

— А ведь Гамлет действительно зол, — сказал Лев Николаевич. — Ему кажется, что все мало, и все он себя за это упрекает, и все мучается тем, что не может убить, кого решил. А сколько он людей перебил зря!..

Лев Николаевич улыбнулся и вышел.

В третий и последний раз я видел Льва Николаевича у покойного А. П. Чехова, весной 1899 года [6]. Помню, тогда печаталось в «Ниве» «Воскресение».

Лев Николаевич вошел в маленький кабинетик Чехова. Антон Павлович тогда только что приехал из Крыма. Никаких особенных разговоров не было. Обменивались незначительными фразами. Чехов спросил между прочим:

— Много цензура вычеркнула из «Воскресения»? [7]

— Нет, ничего важного, — ответил Лев Николаевич и начал расспрашивать Чехова о Крыме.

Чехов, со своим полусерьезным видом, говорил, что ему там скучно.

— Отчего вы так сурово на меня смотрите? — вдруг спросил Лев Николаевич, обращаясь ко мне.

Чехов улыбнулся и сказал:

— Сумбатов не на вас хмурится, а на меня.

— За что?

— За то, что моя пьеса не идет в Малом театре.

— А отчего же она там не идет? — спросил у меня Лев Николаевич.

Я только что собрался рассказать ему всю сложную историю, почему пьеса Чехова («Дядя Ваня»), несмотря на усиленные настояния всей труппы и горячее желание тогдашнего управляющего московскими театрами В. А. Теляковского, все-таки ускользнула из Малого театра, — как Чехов, нахмурившись, сказал:

— Зарождается молодой театр ⟨...⟩, очень симпатичный. Я отдал пьесу ему ⟨...⟩ [8]. Ты на меня не сердись, — улыбнулся мне Чехов, не распуская своей характерной морщины между бровями.

Лев Николаевич поглядел на нас обоих и тоже улыбнулся.

В. М. ЛОПАТИН

ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

В 1889 году я был мировым судьею и жил в деревне, когда получил приглашение от графини Татьяны Львовны Толстой принять участие в исполнении на домашней сцене, в Ясной Поляне, еще нигде не напечатанной новой пьесы Льва Николаевича «Плоды просвещения» [1], в которой мне предназначалась роль мужика, «старика робкого и нервного», как характеризовала его в своем письме Татьяна Львовна. Это приглашение меня очень заинтересовало. Представлялась возможность проверить впечатления действительности в художественном творчестве такого глубокого знатока народной жизни, как Л. Н. Толстой. Изъявив свое согласие на участие в спектакле, я в назначенный день приехал вечером в Тулу, в дом Н. В. Давыдова, бывшего тогда прокурором тульского окружного суда, на репетицию пьесы. Отсюда, по окончании репетиции, многочисленная труппа, рассевшись в розвальни, двинулась в Ясную Поляну.

В морозную ночь мы весело мчались по гладкой дороге Крапивенского шоссе, мимо возвышавшейся по сторонам живописной чащи Козловской Засеки, и уже в поздний час, утомленные ездой и чистым морозным воздухом, радостно вошли в приветливо освещенный, уютный яснополянский дом.

Нас радушно встретили хозяева. Накрытый стол с обильным ужином ждал нас. Но на столе заметно отсутствовали признаки какого-либо хмельного питья, и последнее демонстративно заменял разлитый по графинам квас. Чувство, схожее с разочарованием, ощутилось про-

зябшими путниками. Но тут явилась на помощь предусмотрительность одного из путешественников, запасшегося из Тулы тем, чему не полагалось быть в Ясной Поляне. И вот мы, по очереди, сбегали потихоньку от глаз хозяина в переднюю и здесь, под лестницей, в уголке, согревали себя глотками водки, подавляя в себе чувство некоторого смущения и угрызения совести.

На следующий день, утром, мы должны были репетировать пьесу в присутствии Льва Николаевича. Когда, на репетиции в Туле, я впервые познакомился с пьесой, меня больше всего поразила необыкновенная верность изображения и яркая типичность трех мужиков, уполномоченных обществом на покупку земли. Эти три лица, с некоторыми вариациями, проходили перед моими глазами много раз в судебных процессах.

1) Краснобай-адвокат, 2) скупой на слова, строгий в поступках, домохозяин и 3) надежный старик — обычные представители крестьянского общества в томительных мужицких хлопотах и выжиданиях у начальства. В моем воображении ярко вырисовывался не только внешний образ третьего мужика, но и черты его характера, отражающие в себе привычную близость человека к естественным условиям жизни.

⟨...⟩ Началась репетиция. Внимательное наблюдение Льва Николаевича за моею игрою меня немножко смущало, но в то же время придавало энергию моему старанию дать в изображении мужика именно то, что мне казалось наиболее близким к внутренней правде его личности.

Я чувствовал, что это мне удается, и вскоре услышал смех Льва Николаевича, смех чисто русский, мужицкий, полный добродушнейшей искренности, а затем и слова одобрения. Разумеется, это меня обрадовало и одушевило. Я с усиленным вниманием стал следить за впечатлением, производимым на Льва Николаевича; и передававшееся моему настроению сочувствие его всему, что казалось самому мне естественным и правдивым в изображении 3-го мужика, рассеивало мою неуверенность и увлекало мое воображение. Я испытывал полное артистическое удовлетворение под обаянием тончайшей чуткости автора пьесы и каждой капельке правды в моей игре и, невольно освобождаясь от всего условного и ба-

нального, обычно вносимого актерами в исполнение бытовых ролей, особенно мужицких, сумел, казалось мне, дать образ правдивый.

На Льва Николаевича моя игра, видимо, произвела впечатление, превышавшее мои ожидания. Он ею был удовлетворен, и это удовлетворение выразилось в такой, почти детской, его радости, которая совершенно смутила меня [2].

Он смеялся до слез, оживленно делился своими суждениями с окружающими, ударял себя ладонями по бокам и добродушно, по-мужицки мотал головой.

Он подошел ко мне.

— Знаете ли, — сказал он, — я всегда упрекал Островского за то, что он писал роли на актеров, а теперь вот я его понимаю; если бы я знал, что третьего мужика будете играть вы, я бы многое иначе написал: ведь вы мне его объяснили, показали, какой он; надо будет изменить.

И Лев Николаевич взял рукопись и пошел ее переделывать [3].

Роль 3-го мужика была значительно пополнена словами и несколько изменена. Между прочим, деньги, которые, по первоначальной редакции, хранил у себя второй мужик, были переданы 3-му мужику, как самому надежному и горячему блюстителю общественных интересов; в последнем акте 3-й мужик уже падал второпях на пороге двери, врываясь в переднюю Звездинцева, а не ударялся лицом о косяк, как это было в первой редакции.

В тот же день, вечером, за чаем, беседуя о сценическом искусстве, Лев Николаевич так определял смысл и значение художественного творчества:

— Наблюдательность художника заключается в способности видеть в окружающей действительности те черты явлений, которые не затрагивают сознания других людей; он видит кругом себя то же, что и другие, но видит не так, как другие, и затем, воспроизводя в своем творчестве именно те черты действительности, которые другими не замечались, заставляет и других людей видеть предметы так, как он сам их видит и понимает [4].

Поэтому в каждом художественном произведении мы находим для себя нечто новое, поучаемся. Вот вы, — ска-

зал Лев Николаевич, — в изображении мужика даете тот самый образ, который каждый из нас видел в действительности, но вы сумели заметить и передать в нем то, чего нами не примечалось, и я сам увидел в этом образе нечто для себя новое...

В том же разговоре меня удивило и опечалило отрицательное отношение Льва Николаевича к Шекспиру[5]. Лев Николаевич утверждал, что люди, принадлежащие к так называемому высшему классу, восторгаются Шекспиром только потому, что считают нужным это делать, просто по общепринятому ходячему мнению о его гениальности, но не дают себе отчета, в чем же, собственно, мировое значение художественных произведений Шекспира; серьезно мыслящим людям чужд интерес к тому, что изображает Шекспир; его пьесы устарели: кому теперь какое дело, что кто-нибудь полюбил или разлюбил кого-нибудь; личные страсти, столкновения и интриги — все это не может уже захватывать души современного человека; от художественного произведения мы теперь требуем иного, требуем разрешения волнующих нас вопросов жизни, нового знания, поучения.

Такие взгляды на искусство шли совершенно вразрез с моими, и я стал возражать. Лев Николаевич горячо оспаривал меня. Но и тогда, как и во всех последующих разговорах в его присутствии, меня поразила та серьезность, с которою он считался с чужими мнениями, хотя бы эти мнения принадлежали человеку, перед которым Лев Николаевич стоял на недостигаемой высоте научных знаний и философской мысли.

К каждому собеседнику он относился, как к равному себе. Спорил он горячо, резко, но надо было видеть эту чистую, искреннюю радость, которой светились его глаза, когда он находил сочувствие в своем слушателе, или видел, что мысль его понята собеседником.

Мне ясно стало, до какой степени несправедливо распространенное в обществе мнение о том, что Лев Николаевич рисуется своими проповедями, что не проводит в свою жизнь своего учения, словом — делаемые ему упреки в его неискренности. Я вынес твердое убеждение в том, что каждое слово Толстого вытекает из глубины его сердца, что его проповедь — результат не только величайшей работы мысли, но и сильнейших душевных мук, тех мук, которые может дать человеку необъятная ширь воображения. И мне казалось, что в душе Льва

Николаевича совершается трагедия, что беспощадность самоанализа лишает его возможности найти удовлетворение в самом себе, что он не находит в самом себе того, что признает необходимым для человеческой жизни и чего требует от других, сознает в себе противоречие с непосредственным чувством, борется сам с собой; и в этом раздвоении — его страдание.

На следующий день была генеральная репетиция. Исполнение пьесы в общем было удачным. Покойная Мария Львовна Толстая с удивительной простотой и юмором исполняла роль кухарки. Звездинцева играл С. А. Лопухин, давая необыкновенно жизненный образ изящного, мягкого, увлекающегося, готового от увлечения даже прилгнуть, много пожившего барина, угнетаемого несдержанною нервозностью своей жены. Н. В. Давыдов с убедительностью произносил многословную речь на спиритическом сеансе и от души огорчался бестактностью присутствовавшей на сеансе молодежи, в роли профессора; да и все остальные роли проводились жизненно, весело и дружно.

Воодушевление исполнителей было полное. Лев Николаевич был доволен и весело подбадривал актеров своими меткими замечаниями. Как зритель, Лев Николаевич был необыкновенно приятен. Чувствовалось отношение к актерам участливое, доброжелательное, с оттенком той наивности, которая, как я замечал, свойственна впечатлительности старых людей, видавших русскую сцену в ее прошедшую славную эпоху господства величайших талантов. В его критике не было и тени той педантичной требовательности и той холодной строгости анатомического исследования игры актера, которые составляют отличительные свойства современной театральной критики и способны погасить в актере всякую искру увлечения. Он отдавался впечатлению доверчиво, всей полнотою души.

Генеральная репетиция прошла с полным успехом.

Наступил спектакль. Лев Николаевич был полон оживления. Он то приходил за кулисы и смотрел грим, восторгаясь удачной гримировкой или костюмом, то ходил по рядам публики и с увлечением рассказывал, как репетировалась пьеса и как кто играет. Увидев меня за кули-

сами в костюме и полном гриме, Лев Николаевич вышел в публику и объявил:

— Лопатин, как выйдет — всех уморит. Уморит, уморит!..— повторял он, хохоча до слез.

Такое предсказание до того меня смутило, что я несколько омрачнел. «Что же это со мной делает Лев Николаевич? — думал я.— Каково мне выходить на сцену при ожидании публики увидеть во мне нечто до того великолепное, что можно «умереть от смеха». И я играл уже не с тем подъемом, как на генеральной репетиции. Я даже высказал по этому поводу свою досаду Льву Николаевичу.

— Ну, да это для вас вышло не так,— ответил он,— а для нас-то так. По-моему — превосходно.

Так были сыграны в первый раз «Плоды просвещения», 30 декабря 1889 года[6–7].

С моим участием в первом представлении «Плодов просвещения» связано другое артистическое предприятие в доме Льва Николаевича, задуманное участниками яснополянского спектакля, два года спустя, когда Лев Николаевич и вся его семья переселились на зиму в Москву, в свой дом, в Хамовническом переулке.

При пробах грима на генеральной репетиции «Плодов просвещения» в Ясной Поляне я случайно приложил к своему лицу бороду, по складу своему напоминавшую бороду Льва Николаевича, и все присутствовавшие были крайне удивлены неожиданным сходством, получившимся у меня, с лицом Льва Николаевича. И вот, через два года, когда у молодого поколения Толстых явилось желание устроить на святках какую-либо святочную забаву, о сходстве моего грима с лицом Льва Николаевича вспомнили и решили устроить костюмированный вечер, на котором и изобразить посредством грима современных общественных деятелей, а в их числе и самого Льва Николаевича.

Воспроизведение двойника Льва Николаевича было поручено мне.

Участие в задуманной затее меня несколько смущало. Я опасался возможности произвести на Льва Николаевича неприятное впечатление изображением пародии на него же самого, да и, кроме того, не был уверен в самом успехе такого замысла. Могло получиться что-нибудь

очень нехудожественное. Тем не менее участвовать в затее я согласился. Татьяна Львовна добыла блузу и кушак Льва Николаевича. И вот у них во флигеле, вечером, вся наша компания оделась в соответствующие изображаемым лицам костюмы и загримировалась. У всех грим оказался удачным и, кажется, одним из лучших у меня.

Заранее была сделана по портрету Льва Николаевича борода, очень искусным гримером, известным Яшей Гремиславским (ныне гримером Художественного театра), им же были наложены по портрету Льва Николаевича черты лица, и получилось из моего лица нечто очень схожее с Львом Николаевичем [8].

Но, несмотря на все старания гримера, ни один парик не усиливал сходства моего лица с портретом Льва Николаевича, напротив, как бы схожи волосы парика ни были с волосами Льва Николаевича, сходство с ним моего лица париком убивалось. И я решил оставить свои собственные волосы.

Одевшись в блузу Льва Николаевича, надев его пояс и засунув руки за пояс, я со всей компанией направился в залу.

Тут были: известный профессор Захарьин (его изображал А. А. Федотов), Антон Рубинштейн (В. А. Маклаков), Владимир Соловьев (А. В. Цингер), Лев Лопатин (В. Е. Ермилов), И. Е. Репин (В. К. Молодзиевский), А. А. Брандуков (Д. П. Сухов).

Мы входили в залу постепенно. Первыми появились *Владимир Соловьев* и *Лев Лопатин.* Не все сразу заметили, что это маскарад 〈...〉.

Следующую пару составляли *Рубинштейн* и *Брандуков.* За ними вошли *Захарьин* и *Репин.*

Лев Николаевич стоял в дверях гостиной и с большим интересом смотрел на входящих. Последним вошел в залу я. Мое появление сначала произвело среди присутствовавших видимое смущение, но тотчас же сменившееся шумным одобрением.

Под шум аплодисментов я подошел ко Льву Николаевичу. Он подал мне руку. И вот, под общий громкий смех, общие аплодисменты и визг детей, два *Льва Толстых* жали друг другу руки. Сам Лев Николаевич разразился заразительным смехом и с добродушным любопытством начал осматривать меня.

— Блузу-то откуда вы взяли? — спросил он.

— Тайно похитили у вас 〈...〉.

Весь этот вечер Лев Николаевич был очень весел. Грим оказался настолько правдоподобным, что когда начали приезжать группы ряженых, а я стоял у лестницы и встречал приезжавших, то маски с благосклонным любопытством всматривались в меня и отдавали мне самый почтительный поклон, очевидно, принимая меня за подлинного Льва Николаевича. Я отвечал на поклоны, стараясь в манерах симулировать оригинал. И надо было видеть крайнее недоумение, когда гости тут же следом встречали другого Льва Николаевича.

Мне все-таки было неловко изображать собою подобие Льва Николаевича перед его собственными глазами. Но он, кажется, не находил ничего в этом неприятного для себя и сам восхищался удачною пародией на себя〈...〉.

В. Н. ДАВЫДОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКТЕРА

В конце восьмидесятых годов минувшего века, живя в Москве, я получил приглашение от московских студентов принять участие в устраиваемом ими концерте. Я согласился. Но мне не хотелось читать на студенческом вечере ничего избитого и банального. И моя мысль невольно остановилась на толстовской «Власти тьмы», которая ходила тогда по рукам и возбуждала всеобщий интерес, но была еще под запретом для исполнения на сцене [1].

Мне и засело в голову: нельзя ли прочитать на студенческом вечере какую-нибудь сцену из «Власти тьмы»?

Чтобы осуществить эту мысль, я и решил поехать ко Льву Николаевичу, жившему тогда в Москве, в Хамовническом переулке. Я хотел попросить у него разрешение на публичное исполнение некоторых сцен из «Власти тьмы» и как бы проэкзаменовать себя: так ли я выражаю в своем чтении замысел автора или не так.

Приехал я к обожаемому с детства писателю с большим душевным волнением и вошел в его дом прямо-таки с трепетом.

В передней меня встретил учтивый слуга и спросил: кто я и кого желаю видеть. Я сказал.

Слуга куда-то ушел, и через некоторое время вышел ко мне один из сыновей Льва Николаевича в юнкерской форме. Он тоже спросил меня, кто я и что мне нужно, и, получив ответы, тоже ушел куда-то.

Через минуту вышла жена Льва Николаевича, графиня Софья Андреевна, и подробно начала расспрашивать, с какой целью я приехал. Я все объяснил ей, как мог. Тогда она попросила меня к графу.

Сколько помнится, я прошел через зал, потом по узкому коридору, из которого по лестнице спустился вниз и очутился, наконец, в своеобразном кабинете великого писателя. Кабинет выходил в сад. Дело было зимою, и за окнами белел снег. Помню небольшую с низким потолком комнату, более чем скромно убранную, с небольшим письменным столом и широким клеенчатым диваном. Лев Николаевич сидел за столом в темной блузе, спиною к двери, и что-то писал. При моем входе он обернулся и приветливо встретил меня.

Меня поразили черты его лица. Блестящие, удивительно проницательные глаза, казалось, пронизывали насквозь и охватывали вас всего внутренно и наружно... Чудилось, что от Льва Николаевича не скроешься в своих прегрешениях, как от Саваофа.

Волнуясь и робея, я отрекомендовался. Лев Николаевич улыбнулся, и лицо его вдруг как-то особенно просияло, точно у ребенка. Именно такое милое лицо бывает у детей, когда они после слез вдруг улыбнутся: словно сквозь тучку солнышко проглянет и оживит вас.

— Очень рад видеть,— сказал Лев Николаевич, протянул мне руку и, не выпуская ее, начал поворачивать меня с веселой улыбкой.

— Покажитесь-ка, какой вы революционер?..

Слова эти относились к тому, что я оставил императорскую сцену и перешел в театр к Коршу. Тогда об этом немало говорили как о протесте с моей стороны [2].

Меня поразила эта фраза. Думаю: господи, когда же он успевает среди своих занятий интересоваться еще и нами, грешными, которые, в сущности, для него ничего особенного не представляют! Между тем он попросил меня сесть и спросил, чем может служить мне?

Я объяснил, в чем дело, что приехал просить у него разрешения на публичное чтение «Власти тьмы» и не согласится ли он позволить мне прочитать в его присутствии некоторые сцены.

Вначале я хотел прочитать разговор девочки Анютки с Митричем и просить Льва Николаевича сделать мне указания, если я прочту что не так.

Лев Николаевич охотно и мило согласился, устроил меня перед диваном, поставил передо мною маленький стол, а сам сел на диван, наискось против меня...

Начал я читать, сильно волнуясь. Но затем овладел собою. И дело пошло, кажется, глаже...

Читаю я и слышу, что среди чтения разговора Анютки с Митричем Лев Николаевич иногда как бы поддакивал мне и произносил одобрительно: «Гм, гм!»

Но когда я начал читать сцену с Никитой (где он ужасается совершенному им) и случайно взглянул на Льва Николаевича, то был потрясен увиденным: по его мнимо суровому лицу катились слезы. В одном месте он даже всхлипнул.

Это меня страшно взволновало, но вместе с тем и одушевило. Значит, я взял верный тон, иначе мое чтение не произвело бы на Льва Николаевича впечатления.

Когда я кончил чтение, Лев Николаевич, приветливый и растроганный, сказал:

— Хорошо... очень хорошо! Откуда вы так хорошо знаете тон русского крестьянина?

Я сказал, что очень люблю наш народ и его песни, которые я изучал на местах в дружеском общении с народом.

— Иногда, бывало, и чарку с ними выпьешь... Изучал я русскую песню и на посиделках... Таким образом я и познакомился с языком нашего народа,— сказал я.

— Да,— произнес Лев Николаевич,— очень, очень хорошо... Аким хорош... Матрена тоже. Но Анютка особенно. Она у вас очень превосходна. Если бы актриса сыграла ее наполовину так, как вы ее читаете,— я был бы очень доволен.

Эти слова очень ободрили меня.

— А вот Митрич,— сказал Лев Николаевич,— он у вас не тот... Не надо забывать, что Митрич побывал в солдатах и в городах, и у него уже иная манера говорить и другое понимание жизни, нежели у деревенских людей[3] ⟨...⟩.

— Лев Николаевич, не будете ли вы так добры, чтобы указать мне, как надо читать Митрича,— попросил я.

Он взял книгу и начал читать так просто, что даже не чувствовалось чтения, а казалось, что говорит сам Митрич. Лев Николаевич сумел взять столь ясный тон, что мне сразу стало понятно, в чем именно дело, как надо читать Митрича, и какая разница между ним, Акимом, Петром и другими. Я тут же сделал отметки, которые храню до сих пор, и был глубоко благодарен Льву Николаевичу за его указания ⟨...⟩.

В. Н. РЫЖОВА

ТОЛСТОЙ В МАЛОМ ТЕАТРЕ

Я познакомилась со Львом Николаевичем во время постановки в Малом театре пьесы «Власть тьмы», взятой Н. А. Никулиной для своего бенефиса. Можно представить мое волнение, когда я, получив такую ответственную роль, как Акулина, да еще характерную — бытовую, на которой мне пришлось впервые пробовать свои силы, да еще среди таких исполнителей, как Н. А. Никулина — Анисья, М. П. Садовский — Петр, Митрич — мой отец Н. И. Музиль, Матрена — О. О. Садовская, Аким — В. А. Макшеев, и только один Никита тоже молодой, тоже только что начавший свою карьеру в Малом театре — И. А. Рыжов.

С этой пьесой было много хлопот и шума, так как вначале власти не разрешали ее у нас играть, хотя она шла в Народном театре «Скоморох» у Черепанова [1].

К Льву Николаевичу ездили в Ясную Поляну и упросили его приехать в Малый театр и прочесть пьесу артистам [2]. Мы, все артисты, очень взволновались, когда узнали, что к нам приедет сам Л. Н. Толстой читать пьесу.

Чтение происходило в конторе театров на Большой Дмитровке. Собралась почти вся труппа, и чувствовалась во всех какая-то приподнятость, торжественность. Мы будем слушать и разговаривать с великим творцом «Детства и отрочества», «Войны и мира», «Анны Карениной». И вот он вошел — скромный, с какой-то тихой, стыдливой улыбкой на лице, и эта простота и скромность еще больше возвысили его в наших глазах. С первых же слов, прочитанных им, так ярко и так сочно стали вставать перед нами образы действующих лиц, а сцена

Анютки с Митричем произвела прямо потрясающее впечатление.

Мы сидели ошеломленные, очарованные его чтением. Исключительно он читал Акима — это знаменитое «тае» Акима он так разнообразно и так удивительно говорил, что в этом «тае» читались целые глубокие мысли.

После чтения все закидали его вопросами относительно своих ролей, и он так просто, как-то конфузясь, давал нам яркие черточки, одним словом обрисовывая характер, и сразу становилось ясно, чего он хочет, а главное «что надо», чтобы дать живой образ — живого мужика, а не трафарет.

Я с трепетом слушала и записывала каждое слово, относящееся к моей роли. Потом начались репетиции, на которых его просили присутствовать [3]. Поражала его простота, его необыкновенная деликатность и какая-то почти детская конфузливость. Он всегда приходил как-то незаметно в своей блузе и башлыке, пробирался тихонько в темный зрительный зал и смотрел, как мы репетировали. Бывал на репетициях и в сопровождении своей жены Софьи Андреевны и дочери своей Татьяны Львовны, которые были всегда с нами очень любезны и приветливы, давали нам ценные указания насчет бабьих нарядов, как их надо надевать, как повязывать головы по-бабьи и как повязывать их девушкам. Костюмы были привезены из Ясной Поляны.

Лев Николаевич был очень доволен исполнением своей пьесы. Я была бесконечно счастлива, когда получила похвалу из уст самого Льва Николаевича, что я даю настоящую деревенскую девку. Лев Николаевич окрылил и поддерживал меня в моем стремлении придать характерность роли Акулины — дать ее тупой и грубой, в то же время дать оправдание ее животной тупости, ее минутами почти звериной жестокости, которая могла родиться в придушенной атмосфере темноты и забитости.

И так во все время подготовки этой пьесы мне пришлось с ним встречаться на репетициях и беседовать, нет, вернее — слушать и впитывать его слова, его указания, потому что они были всегда глубоки, всегда ярки и необычайны.

Года через два мой отец, Николай Игнатьевич Музиль, ездил к Льву Николаевичу в Ясную Поляну, так как Лев Николаевич обещал отцу пьесу для его бенефиса.

Эта пьеса была «Живой труп». Но она оказалась еще неготовой, и отцу не пришлось ее поставить [4].

Я помню, как я была счастлива и горда, когда по возвращении из Ясной Поляны отец рассказывал о том, как он был у Льва Николаевича и как он его спросил:

— Ну, а что моя Акулина? Много ли она играет и как ее успехи?

Толстой был очень доволен, когда узнал, что Акулина вышла замуж за Никиту (И. А. Рыжова), и просил нам передать свое поздравление, пожелания нам счастья как в личной жизни, а также и на сцене.

Теперь, глядя на портрет Льва Николаевича, вспоминается день чтения пьесы, его необычайное мастерство не только гениального писателя, но и чтеца. Исключительное богатство интонаций, необыкновенная простота и образность речи, четкость, с которой он вычерчивал характеры его живых, настоящих крестьян.

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Приблизительно в это время ⟨1893 г.⟩ наш любительский кружок, Общество искусства и литературы, играл несколько спектаклей в Туле. Репетиции и другие приготовления к нашим гастролям происходили там же, в гостеприимном доме Николая Васильевича Давыдова, близкого друга Льва Николаевича Толстого. Временно вся жизнь его дома приспособилась к театральным требованиям. В промежутках между репетициями происходили шумные обеды, во время которых одна веселая шутка сменялась другой. Сам, уже немолодой, хозяин превратился в школьника.

Однажды, в разгар веселья, в передней показалась фигура человека в крестьянском тулупе. Вскоре в столовую вошел старик с длинной бородой, в валенках и серой блузе, подпоясанной ремнем. Его встретили общим радостным восклицанием. В первую минуту я не понял, что это был Л. Н. Толстой [1]. Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или холсте глаза Л. Н. Толстого, которые пронизывали душу и точно зондировали ее! Это были глаза то острые, колючие, то мягкие, солнечные. Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрытого — хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом, и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей

и светили. Но вот кто-то высказал интересную мысль,— и Лев Николаевич первый приходил в восторг; он становился по-молодому экспансивным, юношески подвижным, и в его глазах блестели искры гениального художника.

В описываемый вечер моего первого знакомства с Толстым он был нежный, мягкий, спокойный, старчески приветливый и добрый. При его появлении дети вскочили со своих мест и окружили его тесным кольцом. Он знал всех по именам, по прозвищам, задавал каждому какие-то непонятные нам вопросы, касающиеся их интимной домашней жизни.

Нас, приезжих гостей, подвели к нему по очереди, и он каждого подержал за руку и позондировал глазами. Я чувствовал себя простреленным от этого взгляда. Неожиданная встреча и знакомство с Толстым привело меня в состояние какого-то оцепенения. Я плохо сознавал, что происходило во мне и вокруг меня. Чтоб понять мое состояние, нужно представить себе, какое значение имел для нас Лев Николаевич.

При жизни его мы говорили: «Какое счастье жить в одно время с Толстым!» А когда становилось плохо на душе или в жизни и люди казались зверями, мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он — Лев Толстой! — И снова хотелось жить.

Его посадили за обеденный стол против меня.

Должно быть, я был очень странен в этот момент, так как Лев Николаевич часто посматривал на меня с любопытством. Вдруг он наклонился ко мне и о чем-то спросил. Но я не мог сосредоточиться, чтобы понять его. Кругом смеялись, а я еще больше конфузился.

Оказалось, что Толстой хотел знать, какую пьесу мы играем в Туле, а я не мог вспомнить ее названия. Мне помогли.

Лев Николаевич не знал пьесы Островского «Последняя жертва» и просто, публично, не стесняясь, признался в этом;[2] он может открыто сознаться в том, что мы должны скрывать, чтоб не прослыть невеждами. Толстой имеет право забыть то, что обязан знать каждый простой смертный.

— Напомните мне ее содержание, — сказал он.

Все затихли в ожидании моего рассказа, а я, как ученик, проваливающийся на экзамене, не мог найти ни одного слова, чтобы начать рассказ. Напрасны были мои

попытки, они возбуждали только смех веселой компании. Мой сосед оказался не храбрее меня. Его корявый рассказ тоже вызвал смех. Пришлось самому хозяину дома, Николаю Васильевичу Давыдову, исполнить просьбу Л. Н. Толстого.

Сконфуженный провалом, я замер и лишь исподтишка виновато осмеливался смотреть на великого человека. В это время подавали жаркое.

— Лев Николаевич! Не хотите ли кусочек мяса? — дразнили взрослые и дети вегетарианца Толстого.

— Хочу! — пошутил Лев Николаевич.

Тут со всех концов стола к нему полетели огромные куски говядины. При общем хохоте знаменитый вегетарианец отрезал крошечный кусочек мяса, стал жевать и, с трудом проглотив его, отложил вилку и ножик:

— Не могу есть труп! Это отрава! Бросьте мясо, и только тогда вы поймете, что такое хорошее расположение духа, свежая голова!

Попав на своего конька, Лев Николаевич начал развивать хорошо известное теперь читателям учение о вегетарианстве.

Толстой мог говорить на самую скучную тему, и в его устах она становилась интересной. Так, например, после обеда, в полутьме кабинета, за чашкой кофе, он в течение более часа рассказывал нам свой разговор с каким-то сектантом, вся религия которого основана на символах. Яблоня на фоне красного неба означает такое-то явление в жизни и предсказывает такую-то радость или горе, а темная ель на лунном небе означает совсем другое; полет птицы на фоне безоблачного неба или грозовой тучи означает новые предзнаменования и т. д. Надо удивляться памяти Толстого, который перечислял бесконечные приметы такого рода и заставлял какой-то внутренней силой слушать, с огромным напряжением и интересом, скучный по содержанию рассказ!

Потом мы заговорили о театре, желая похвастаться перед Львом Николаевичем тем, что мы первые в Москве играли его «Плоды просвещения» [3].

— Доставьте радость старику, освободите от запрета «Власть тьмы» и сыграйте! — сказал он нам [4].

— И вы позволите нам ее играть?! — воскликнули мы хором.

— Я никому не запрещаю играть мои пьесы,— ответил он.

Мы тут же стали распределять роли между членами нашей молодой любительской труппы. Тут же решался вопрос, кто и как будет ставить пьесу; мы уже поспешили пригласить Льва Николаевича приехать к нам на репетиции; кстати, воспользовались его присутствием, чтобы решить, какой из вариантов 4-го акта нам надо играть, как их соединить между собой, чтобы помешать досадной остановке действия в самый кульминационный момент драмы [5]. Мы наседали на Льва Николаевича с молодой энергией. Можно было подумать, что мы решаем спешное дело, что завтра же начинаются репетиции пьесы.

Сам Лев Николаевич, участвуя в этом преждевременном совещании, держал себя так просто и искренно, что скоро нам стало легко с ним. Его глаза, только что прятавшиеся под нависшими бровями, блестели теперь молодо, как у юноши.

— Вот что,— вдруг придумал Лев Николаевич и оживился от родившейся мысли,— вы напишите, как надо связать части, и дайте мне, а я обработаю по вашему указанию.

Мой товарищ, к которому были обращены эти слова, смутился и, не сказав ни слова, спрятался за спину одного из стоявших около него. Лев Николаевич понял наше смущение и стал уверять нас, что в его предложении нет ничего неловкого и неисполнимого. Напротив, ему только окажут услугу, так как мы — специалисты. Однако даже Толстому не удалось убедить нас в этом.

Прошло несколько лет, во время которых мне не пришлось встретиться с Львом Николаевичем.

Тем временем «Власть тьмы» была пропущена цензурой и сыграна по всей России. Играли ее, конечно, как написано самим Толстым, без какого-либо соединения вариантов 4-го акта. Говорили, что Толстой смотрел во многих театрах свою пьесу, кое-чем был доволен, а кое-чем — нет [6].

Прошло еще некоторое время. Вдруг я получаю записку от одного из друзей Толстого, который сообщает мне, что Лев Николаевич хотел бы повидаться со мною. Я еду, он принимает меня в одной из интимных комнат своего московского дома. Оказалось, что Толстой был неудовлетворен спектаклями и самой пьесой «Власть тьмы».

— Напомните мне, как вы хотели переделать четвертый акт. Я вам напишу, а вы сыграйте.

Толстой так просто сказал это, что я решился объяснить ему свой план. Мы говорили довольно долго ⟨...⟩.

Помню еще случайную встречу с Львом Николаевичем Толстым в одном из переулков близ его дома. Это было в то время, когда он писал свою знаменитую статью против войны и военных[7]. Я шел с знакомым, который хорошо знал Толстого[8]. Мы встретили его. На этот раз я опять оробел, так как у него было очень строгое лицо и глаза его спрятались за густые нависшие брови. Сам он был нервен и раздражителен. Я шел почтительно сзади, прислушиваясь к его словам. С большим темпераментом и жаром он высказывал свое порицание узаконенному убийству человека. Словом, он говорил о том, что написал в своей знаменитой статье. Он обличал военных, их нравы с тем большей убедительностью, что в свое время он проделал не одну кампанию. Он говорил не на основании теории только, а на основании опыта. Нависшие брови, горящие глаза, на которых, казалось, каждую минуту готовы были заблестеть слезы, строгий и вместе с тем взволнованно-страдающий голос.

Вдруг из-за угла скрещивающихся улиц, как раз навстречу нам, точно выросли из-под земли два конногвардейца в длинных солдатских шинелях, с блестящими касками, со звенящими шпорами и с шумно волочащимися саблями... Красивые, молодые, стройные, высокие фигуры, бодрые лица, мужественная, выправленная, вышколенная походка,— они были великолепны. Толстой замер на полуслове и впился в них глазами, с полуоткрытым ртом и застывшими в незаконченном жесте руками. Лицо его светилось.

— Ха-ха! — вздохнул он на весь переулок. — Хорошо! Молодцы! — И тут же с увлечением начал объяснять значение военной выправки. В эти минуты легко было узнать в нем старого опытного военного ⟨...⟩.

М. Ф. МЕЙЕНДОРФ

СТРАНИЧКА ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ

Было это в январе 1895 года. С моей младшей сестрой я была приглашена недельки на две к моему дяде Адаму Васильевичу Олсуфьеву, в его подмосковное имение, сельцо Никольское [1] 〈...〉.

Вдруг получаем мы письмо от двоюродной сестры; она пишет: «Не приезжайте. К нам хочет приехать Лев Николаевич Толстой; он приезжает к моему отцу, чтобы отдохнуть от поклонников, и поэтому во время его посещений мы уже никого не зовем». Надо сказать, что вся семья дяди была в самых дружеских отношениях с семьей Толстых. Легко понять наше огорчение, а затем и нашу радость, когда другое письмо от дяди гласило: «Приезжайте, только ведите себя просто, не как поклонницы, не лезьте с вопросами, не надоедайте».

И вот мы в старинной усадьбе, занесенной снегом и окруженной большим старинным парком с прочищенными дорожками.

Увидели мы Льва Николаевича вечером. Он только что вернулся с прогулки в кожухе, в высоких валенках, в меховой шапке, весь покрытый снегом. Надо сказать, что Толстой не любил гулять по прочищенным дорожкам. Худой, коренастый, всегда деятельный старик, он любил выйти за ограду сада и бродить по снегу, куда глаза глядят. Раз как-то мы, молодежь, задумали вечером пойти по его следам, но нам скоро пришлось отказаться от своего намерения: глубокие ямы в рыхлом снегу от его валенок были на таком большом расстоянии, что мы вернулись домой и объявили, что «нам не по силам идти по стопам Толстого».

Гостил он у дяди со своей старшей дочерью, Татьяной. Она помогала ему в то время готовить к изданию его небольшой рассказ «Хозяин и работник». Вот в чем состояла ее помощь. Отец давал ей тетрадку, испещренную помарками, добавлениями на полях, значками, указывающими, что читать раньше, а что позже, и она должна была переписать это в другую тетрадь для того, чтобы ему легче было перечесть свое сочинение и судить, что и где надо изменить. Затем он, редкие части оставляя, как есть, снова приводил все в тот вид, который свойственен черновикам ученических сочинений (при переписке специально для этих изменений оставлялась целая половина страницы). Татьяне приходилось просиживать за этой работой целые вечера, ибо работа эта повторялась не раз и не два, а три, четыре, а иногда и пять раз ⟨...⟩.

Вставал Лев Николаевич сравнительно рано ⟨...⟩. Само собой разумеется, мы с сестрой норовили встать к восьми часам, как бы поздно ни легли накануне, чтобы прийти пить чай одновременно со Львом Николаевичем. Но он чая не пил: ему готовилась жидкая каша — ячменная, овсяная или гречневая. Еще до этого завтрака Лев Николаевич убирал свою комнату; он не позволял этого делать ни дядиной прислуге, ни даже своей дочери. После завтрака он либо писал, либо шел гулять, а иногда предлагал и нам пройтись с ним.

Надо сказать, что обращение его с окружающими было самое простое, и нам легко было выполнить наше обещание, то есть вести себя не как поклонницы ⟨...⟩.

При нем поднимался самый оживленный, горячий обмен мнений, как это бывает в кругу молодежи. Лев Николаевич искренно интересовался мнением окружающих, вникал во все возражения, сам ставил вопросы, сам подчеркивал случаи, где ему трудно было решить, так ли надо поступить или иначе. Он думал вслух; он высказывал мысли, тут же приходившие ему в голову, в сыром виде; он не был уверен, что нашел лучшую формулировку их, и слова окружающих только помогали ему усмотреть, что он опустил или не договорил, или выразил неясно. С ним можно было спорить. Помню, как меня тогда приятно поразило, что он с интересом спорил не только с дядей, с тетей и с другими более взрослыми собеседниками, но и со мной и с моей младшей сестрой, имевшей на вид не более восемнадцати лет. Он оставался всегда художником-психологом и потому, быть мо-

жет, и интересовался каждым встречавшимся ему человеком. Да и мнением тех, кого он уважал, он интересовался. Как-то раз мне пришлось присутствовать при его разговоре с моей двоюродной сестрой. Он ничего не утверждал. Он говорил, как его мучают некоторые вопросы, как он желал бы найти на них ответы. Да! Толстой умел ставить вопросы! Ставил он их выпукло, ярко. Он сам их переживал. Переживал искренно, глубоко, мучительно. Он искал истину. Правда, давал он и ответы на свои вопросы, но сплошь и рядом эти ответы не удовлетворяли его самого ⟨...⟩.

Многие ставят в вину Толстому, что он сегодня скажет одно, а года через два, глядишь, говорит уже другое. Я лично ставлю ему это в заслугу; я вижу в этом его искреннее уважение к слушателю, желание живого общения с ним. Не виноват он, что люди, падкие на авторитеты, принимали всякое слово его за аксиому [2]. Поклонники его разносили его ответы, как непреложные истины; а он снова и снова возвращался к тем же самым вопросам, снова ставил их и искал нового их разрешения. И мы не должны останавливаться в нашем вечном стремлении искать разрешения этих вечных вопросов.

Как я уже сказала, здоровье у Льва Николаевича было крепкое, а натура деятельная. Он любил музыку. Он не был виртуозом фортепианной игры, но он любил подойти к инструменту, открыть легкие ноты, партитуру какой-нибудь оперы и, что называется, побренчать. Иногда он предлагал кому-нибудь из нас поиграть с ним в четыре руки. По поводу музыки не могу не упомянуть о сравнении, которым он поделился со мной во время утренней прогулки.

— Основание горы широко,— говорил он.— Широк и слой людей, способных понимать народную музыку, народную песню. Моцарт, Бетховен, Шопен стоят уже выше; их музыка сложнее, интереснее, ценителей ее тоже очень много, но все же не так много, как первых: количество их изобразится средней частью горы. Дальше идут Бах, Вагнер; круг их ценителей еще уже, как и уже верхняя часть горы.

В то время появилась уже новейшая музыка, в которой диссонанс как бы спорил с гармонией, создавая новую, своеобразную гармонию. Толстой ставил ее еще выше на своей горе, но затем не без юмора добавил:

— А в конце концов появится музыкант, который только сам себя и будет понимать [3].

У Льва Николаевича была особая способность двумя-тремя словами вызывать целое представление. Заговорили о молодости.

— Скажите пятнадцатилетней девушке,— сказал Толстой: — «Знаете ли, что вы завтра можете умереть?» — «Вот вздор какой!» — ответит она вам. Вот это — молодость.

Трудно более кратко и более ярко охарактеризовать молодость как непобедимое чувство силы и жизни.

Лев Николаевич, живший в северной России, с интересом слушал рассказы о юге. (Я выросла на Украине и знала тамошние условия жизни.)

Как-то я рассказала, как в семидесятых годах, когда наша семья поселилась в глухом имении Киевской губернии, из ближайшего местечка два раза в неделю приезжал к нам мясник; в восьми верстах жили наши знакомые, и им возил мясо другой мясник; они хвалили его мясо, и моя мать просила их прислать его к нам; но, несмотря на повторные предложения, мясник этот так и не появился у нас: оказалось, что мясники поделили между собой уезд и, чтобы не создавать конкуренции друг другу, не вторгались в чужой район. Лев Николаевич заметил:

— Это и в наших краях проделывают торговцы.

На следующий вечер, переписывая рукопись «Хозяина и работника» (мы с сестрой получили позволение помогать Татьяне Львовне в ее работе), я нахожу на полях следующую вставку, дополняющую характеристику Василия Андреевича Брехунова: «Между ним и уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого» ⟨...⟩ [4].

Едучи обратно в Петербург, я по поручению Льва Николаевича везла Н. Н. Страхову уже готовую к печати драгоценную рукопись «Хозяина и работника» [5].

В. Г. ЧЕРТКОВ

ЗАПИСИ

20 мая 1894 г.

Лев Николаевич.— Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность художественного произведения заключается не в единстве замысла, не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение [1]. В известные годы писатель может даже до некоторой степени жертвовать отделкой формы, и если только его отношение к тому, что он описывает, ясно и сильно проведено, то произведение может достичь своей цели.

1897 г.

Л. Н. — Я в отношении бумаги распроплюшкин. Мне все кажется, что на этом кусочке можно так много хорошего написать, что все-таки основание всему этому хорошему — бумага.

Конец мая — начало июня 1905 г.

По поводу просьбы артиста Артемьева и его товарищей о том, чтобы Л. Н. написал пьесу, с которой они могли бы ходить по русским деревням, давая ее в амбарах и проч., Л. Н. заметил:

— У меня сомнение относительно *нашего* искусства для народа. Не нам его учить. Он сам должен создать свое искусство [2].

— Но ведь ~~вот,~~ например, ваши народные рассказы они ценят.

— Да, но это я от них взял и им же отдал. Но скажу вам еще, что ведь сам я тоже частичка народа. Чего я не выношу — это желания интеллигенции поучать народ.

Июль 1906 г.

Л. Н.— Достоевский, да — это писатель большой. Не то что писатель большой, а *сердце* у него большое. *Глубокий* он. У меня никогда к нему не переставало уважение.

На вопрос, какое из произведений Достоевского он считает лучшим, Л. Н. сказал:

— Я думаю, что «Мертвый дом» лучшее, потому что цельное в художественном отношении [3]. А «Идиот» — прекрасно начало, а потом идет ужасная каша. И так во всех почти его произведениях.

Июль 1906 г.

По поводу своей статьи «О значении русской революции», во время ее писания [4], Л. Н. сказал мне:

— В конце все путаюсь: недостаточно ясно. Я пережил это «красноречие» в заключениях, но хочется закончить просто, но ясно.

— А вы теперь против того, чтобы обрабатывать конец статьи в сильное резюмирующее заключение?

— Да, да, к этому уже слишком привыкли. Знаете, как чувствуешь, читая, когда приближаешься к концу статьи: вот-вот сейчас начнется великолепный заключительный аккорд. Этого совсем не нужно, а чтобы все было ровно и одинаково хорошо, на каком месте, в середине ли, в конце ли, ни оборвать чтение.

Лето 1907 г.

Л. Н. — Не могу теперь заниматься художественным писанием. Чуткость, впечатлительность обострились. Материал в воспоминаниях есть. Но — совестно. Ну, представьте себе, начнешь писать: «Иван Иванович лежал на постели...» Никакого не было Ивана Ивановича. Совестно.

Июль 1907 г.

Лев Николаевич вошел и сказал:

— Сейчас прочел драму Наживина «В долине скорби» [5]. Нехорошо. Он спешит сам определить, что хорошо, что дурно. А читателю это не нравится. Читателю надо самому предоставить судить об этом. Из самого рассказа должно быть видно, что добро, что зло.

Сентябрь 1907 г.

Когда Л. Н. писал свое «Прощальное обращение для ясенковских парней» [6], он, как всегда со всякой своей письменной работой, исправлял ее, переделывал, оставался всем недоволен и опять и опять начинал писать сначала. Так как в это самое время для него накопился целый ряд домашних неприятностей, то, видя его утомление, я как-то заметил ему, что нет надобности так тщательно обрабатывать это обращение для наших парней, так как эти несколько человек и так поймут и будут благодарны за него. Он мне ответил:

— Нет, это так же важно, что пять тысяч человек или пять человек будут читать. Это — общение с человеческой душой.

Конец января 1908 г.

Л. Н.— Стихи — это все равно, что стал бы пахать и при этом делал бы танцевальные па [7].

13 августа 1908 г.

Л. Н.— В других искусствах есть примесь телесного, а в музыке нет телесного.

28 августа 1908 г.

После просмотра списка английских литераторов, подписавших юбилейный адрес Л. Н. [8]

Л. Н.— Не знакомы. Теперь нет таких писателей, которые стояли бы головой выше всех (Рескин, Карлейль), как было в конце прошлого столетия... Очень, очень благодарен всем этим милым лицам за их добрые чувства ко мне.

Август 1908 г.

Л. Н.— Хорошо было бы в литературных произведениях держаться музыкального способа выражения. Нет иронии, нет злого чувства, а добродушие, печаль.

Август 1908 г.

Л. Н.— С годами я начинаю чувствовать по отношению к незнакомым людям, как будто я их уже видел: они подходят под знакомые мне типы.

11 ноября 1908 г.

Л. Н. третьего дня говорил мне, что его теперь тянет писать художественное в драматической форме, так как здесь не требуется подробных описаний, а все в области психологии. Он меня спрашивал, извиняясь за пустяшность вопроса, говорю ли я когда-нибудь громко сам с собой. (Вероятно, ему хочется проверить, естественно ли это будет в драматической форме.)

4 декабря 1908 г.

На днях Л. Н. мне говорил о своем сне:

— Я видел сон, такой живой — драму о Христе в лицах. Я представлял себя в положении лиц драмы. Я был то Христос, то воин; но больше воин. Помню так ясно, как надевал меч. Удивительно это сумбурное сочетание, которое бывает во сне. Но впечатление на меня сделало сильное[9]. Это было бы очень хорошо изобразить то, что чувствовал Христос, умирая, как простой человек. Только можно это и не о Христе, а о другом человеке ⟨...⟩.

По поводу «Гардениных» Эртеля: [10]

— Новые писатели нас отучили от добросовестного, порядочного писания. А это есть добросовестное, порядочное писание.

13 декабря 1908 г.

Несколько дней тому назад Димочка[11] возил в Ясную свой граммофон, так как Л. Н. очень хотелось его послушать. Льву Николаевичу граммофон очень понра-

вился, а некоторые пьесы в особенности. Понравился ему очень итальянский романс, исполненный Карузо; он ценил в нем типичный итальянский характер. Вяльцевой маленький романс также ему понравился. Он улыбался одобрительно, а при окончании его, шутя, аплодировал. «Ora pro nobis»[12] ему особенно понравилось, и он просил повторить. Но больше всего ему понравился «Коробейник» Вари Паниной.

— Это, — говорил он,— первый сорт — народный. Какой-то, бог знает, древностью дышит [13].

А от народных песен хором и плясовых он был в восхищении. Хору он руками всплескивал и головой помахивал с наивно-веселой детской улыбкой на лице. А когда плясовую играли, он предлагал всем пуститься плясать, сказав:

— Если бы я один был, я непременно сам пустился бы. Без памяти хочется. Я вот при этом колене мысленно представляю себе па — возвращающиеся назад.

Когда ему предложили повторить «Казачка», он ответил:

— Да, как же, всегда это хорошо.

15 декабря 1908 г.

Л. Н. (про новое, декадентское направление в живописи):

— Удивительно в молодом поколении художников их самомнение, глупость, дерзость. И в наше время искусство было недостаточно серьезно, а им нужно, чтобы было еще безобразнее, безнравственнее, отвратительнее.

22 декабря 1908 г.

Вечером, слушая музыку — пение Философовой и игру Гольденвейзера, Л. Н. заметил про понравившуюся ему вещь Аренского:

— Cela coule de source *. Я люблю, когда чувствуешь, что он имеет что сказать и высказывает, как умеет, от души. А вот другие — чувствуешь, что выдумывают. Например, Брамс — начнет искренно, а потом вдруг начинает сочинять; и это сейчас расхолаживает.

---

* Это течет из родника *(франц.)*.

3 января 1909 г.

Читая «Семь повешенных» Леонида Андреева, Л. Н. изумлялся и возмущался фальши этой вещи [14]. Он прочел вслух несколько мест, как пример бессмыслицы изложения (между прочим, там, где вдруг неожиданно упоминается, и ни к селу, ни к городу, о перелетных птичках), и заметил с изумленным негодованием по поводу места *о времени:*

— Бессмысленный, отчаянный, беззастенчивый набор слов!

По поводу психологии приговоренных он сказал:

— Он описывает смело, сплеча самые трудные моменты. И, разумеется, все это навыворот. Совсем так не бывает.

Конец января 1909 г.

Л. Н. (про Анатоля Франса). — У него мимолетные личности живо обрисованы; а главные — недостаточно ясно. Описано прекрасно. Читая его, любуюсь [15].

Март 1909 г.

Л. Н. про свои писания заметил мне:

— Кое-как набрасываю. Так и надо набрасывать, потому что едва ли успею.

Середина марта 1909 г.

Л. Н. (о Викторе Гюго):

— Это один из самых близких мне писателей. И эти преувеличения, о которых так много говорят, я все это переношу от него, потому что чувствую его душу. Виктор Гюго душу свою вам раскрывает. А Андреевы — чувствуешь, что они стараются *тебя* удовлетворить, завлечь, заинтересовать, растронуть; но Гюго сам свою душу перед тобой раскрывает [16].

16 марта 1909 г.

Л. Н. пригласил к себе и долго беседовал с одним яснополянским крестьянином, старым своим приятелем [17], от которого ему, между прочим, хотелось получить

некоторые сведения из крестьянской жизни для своих задуманных работ. Общение с этим мужиком было Л. Н. очень приятно и полезно, как он потом, за обедом, говорил.

— Я ему стал читать отрывки из старого «Круга чтения», — говорил нам Л. Н., — и к стыду своему мне пришлось это переводить для него на русский язык,— так я за последние года отстал от них и их жизни. Это мои настоящие учителя; но уроками у них я последнее время очень манкировал.

28 марта 1909 г.

Про один из отделов нашего «Свода мыслей» [18] Л. Н. сказал:

— Мне нравится разрозненность. Видно, до чего с величайшими усилиями человек додумался. А так как он думал об этом в течение десятков лет, то читатель уже найдет для себя связь. Хорошо, что нет этой философской «системы».

4 сентября 1909 г.

Проезжая по Арбатской площади, Лев Николаевич заинтересовался новым памятником Гоголю [19]. Так как оставалось еще время, то я попросил извозчика подъехать к памятнику и предложил Льву Николаевичу сойти и поближе рассмотреть его (Лев Николаевич близорук, хотя замечательно хорошо видит на близком расстоянии и не носит очков). Подходя к памятнику, ему рассказали о замысле скульптора, желавшего изобразить Гоголя среди обыденной московской уличной жизни, пристально вглядывавшимся, опустив голову, в лица гуляющих по бульвару, стараясь мысленно проникнуть в их сердца.

— Ну, как же можно,— сказал Лев Николаевич,— браться за такую непосильную задачу: стараться посредством чугуна изобразить душу человека!

Лев Николаевич стал внимательно осматривать статую, и когда А. Б. Гольденвейзер подвел его к месту, с которого хорошо видно было выражение лица Гоголя, Лев Николаевич заметил одобрительно:

— Ах да, действительно отсюда хорошо видно. Да, выражение хорошее; понимаешь, что художник *хотел вложить* в лицо.

5 сентября 1909 г.

Л. Н.— «Багрова внука» [20] потому интересны, что он сам описывает свои впечатления. Нехорошо в беллетристике — описание от лица автора. Нужно описывать, как отражается то или другое на действующих лицах [21].

Перед обедом — разговор об искусстве. Я высказал, как рад был прочесть в его дневнике об искусстве: «В искусстве у творящего и воспринимающего становится общее «я» [22].

Л. Н.— Да, мне стало ясно более высокое значение искусства, чем я считал до сих пор: слияние в одно «я».

Я.— В искусстве это слияние может быть и в высоком и в низменном.

Л. Н. — Вот-вот. А в жизни по любви всегда в высоком только.

Я. — Но зато единение в искусстве доступно с такими, с которыми оно невозможно в духовном разумении.

Л. Н. (оживленно). — Это совершенно верно.

Л. Н.— Странное дело, какое отношение бывает к писателям. Виктор Гюго и Гейне, — несмотря на их приподнятость, они мне близки, а Гете мне чужд. Вторая часть «Фауста» — старческая любовь — что может быть отвратительнее?! Ах, простота — это несомненный признак настоящего, серьезного и нужного.

6 сентября 1909 г.

Привезли музыкальный инструмент миньон. Четыре вальса Штрауса особенно понравились.

7 сентября 1909 г.

Музыка. Льву Николаевичу больше всего понравился полонез Шопена As-dur № 7 в исполнении Падеревского. Этюды Шопена очень понравились. Также романс Рубинштейна в исполнении Гофмана [23].

8 сентября 1909 г.

Л. Н.— «И паутины тонкий волос блестит на праздной борозде». Мне особенно нравится «праздной». Особенность поэзии в том, что в ней одно слово намекает на многое [24].

Начало сентября 1909 г.

После слушания музыки на миньоне у нас Л. Н. однажды заметил:

— Я сегодня в первый раз заметил, что, слушая хорошую музыку, чувствуешь, как будто это ты сам себя все изображаешь: это все — я; нежный такой — это я...[25]

9 сентября 1909 г.

Когда Л. Н. провожал Софью Андреевну, подходя к платформе Крекшино[26], он почему-то вспомнил стих Тютчева: «Дыханьем ночи обожгло» и умилился.

— Это тютчевская манера, — заметил он, — выразить одним словом целый ряд понятий и контрастов: «морозом обожгло»[27].

Середина сентября 1909 г.

Л. Н. (за музыкой):

— Теперь бы что-нибудь веселенькое для перемены. Потом Andante Бетховена. А для закуски опять что-нибудь веселенькое. Сегодня я думаю, мне кажется, что веселый должен быть добрым, а добрый — веселым[28].

Середина сентября 1909 г.

Л. Н. — Я люблю Бетховена, но не очень. Как вам сказать? Он не Гайдн и он не Шопен. Нет той простоты и ясности; а с другой стороны, нет той краткости.

17 сентября 1909 г.

Л. Н.— Жду ясной, настойчивой потребности. Не могу уже, как прежде, заставлять, науськивать себя на художественное писание.

(Вчера вечером говорил, что нет потребности писать художественно.)

12 мая 1910 г.

Сегодня Л. Н. читал пролог «Анатэмы» Андреева и ужасался:

— Это что-то невозможное, совершенно декадентское.

А публике это-то и нравится. Им кажется, что если непонятно, то в этом-то и кроется самая мудрость. А между тем, когда мне Андреев рассказывал содержание, то выходило что-то хорошее 〈...〉[29].

24 мая 1910 г.

По поводу выраженной мной надежды, что Л. Н. возьмется теперь за художественные работы, он сказал:

— Я был бы очень рад, если бы мне удалось осуществить то, чего вы так от меня хотите, и написать художественное. У меня есть замыслы. Но нужна еще достаточная внутренняя потребность. Во всяком случае, ce n'est pas la bonne volonté gue manque *.

18 июня 1910 г.

Говорили о современных писателях:

— Куприн — настоящий художник, громадный талант. Поднимает вопросы жизни более глубокие, чем у его собратьев: Андреева, Арцыбашева и прочих... Но нет чувства меры. Знание и любовь развращенной городской среды, как у Семенова — крестьянской.

19 июня 1910 г.

Л. Н. — Необходимо (глупое слово) — вдохновение. Такие моменты, когда превосходишь себя вчетверо. Так и во всем, и в искусстве.

23 июня 1910 г.

Л. Н. — Я думаю, что музыкальные впечатления никак нельзя описывать. Чувствуешь и чувствуешь. Когда говоришь, что чувствуешь то-то и то-то,— это не то. Нельзя выразить. И лучше не пытаться.

Лето 1910 г.

Л. Н. (после баллады Шопена, сыгранной, кажется, в Ясной А. Б. Гольденвейзером, от которой Л. Н. был в восторге):

---

* это не от недостатка желания (*франц.*).

— Но это совсем не верно, что музыка изображает что-то. Просто — само по себе. Нельзя определить словами.

— Только выражение чувства?

Л. Н.— Нет, и этого не могу сказать. Просто — невозможно выразить словами действие музыки [30].

Лето 1910 г.

Л. Н. (после особенно тронувшего его исполнения А. Б. Гольденвейзером баллады Шопена):

— Когда играют, у меня всегда художественная жилка просыпается. Это совсем особенное, совсем особенное средство общения с людьми.

Лето 1910 г.

Л. Н. (про «Тита» Арвида Эрнфельда [31]*)*.— «Тит» — нехорошо. Выдумано, не живое. Слишком много картин, лиц, нагромождено. Но я к драматическим вещам очень строг. *(С грустью в голосе.)* А мне хотелось, чтобы понравилось.

7 октября 1910 г.

Я сказал Льву Николаевичу, что при хорошем духовном состоянии и пишется легко, и пишешь только то, что надо. Л. Н. заметил:

— Когда очень хорошо на душе, то так хорошо, что ничего и писать не хочется.

М. В. НЕСТЕРОВ

ИЗ КНИГИ «ДАВНИЕ ДНИ»

«...Вот уже третий день, как я в Ясной Поляне [1]. Лев Николаевич, помимо ожидания, в первый же день предложил позировать мне за работой, также во время отдыха. Через два-три часа я сидел в его кабинете, зачерчивал в альбом, а он толковал с Бирюковым (его историографом).

Из посторонних сейчас в Ясной нет никого. За неделю же до меня был Леруа-Болье [2] и нововременский Меньшиков, которому жестоко досталось от старика: за завтраком завязался спор, кончился он тем, что Лев Николаевич, бросив салфетку, вышел из-за стола, а Меньшиков в тот же день, не простившись, уехал из Ясной [3].

Старичина еще бодр: он скачет верхом так, как нам с тобой и не снилось, гуляет в любую погоду. Первый день меня, как водится, «осматривали»,— я же, не выходя из своей программы, молча работал, зорко присматриваясь ко всему окружающему. Нарушил молчание сам Лев Николаевич. Незаметно дошло дело до взглядов на искусство (беседовать с Львом Николаевичем не трудно: он не насилует мысли). Вечером разговор стал общим, и мне с приятным изумлением было заявлено: «Так вот вы какой!» Поводом к «приятному изумлению» было мое мнение о картине Бастьен-Лепажа «Деревенская любовь» [4]. Мнение же мое было таково: картина «Деревенская любовь» по силе, по чистоте чувства могла быть и в храме. Картина эта, по сокровенному, глубокому смыслу, более русская, чем французская. Перед картиной «Деревенская любовь» обряд венчания мог бы быть еще более трогательным, действенным, чем перед образами, часто бездушными, холодными. Бастьен-Лепаж поэтиче-

ским языком в живописи выразил самые чистые помыслы двух любящих, простых сердцем людей. Перед тем, как идти спать, чтобы «чем свет» ехать на поезд, прощаясь со всеми, я подал руку доктору Душану Петровичу Маковицкому, он задержал ее в своей, заметив у меня жар, поставил термометр, температура была 40! Еще днем, в холодную ветреную погоду, я с Бирюковым ходил гулять, дошли до того места, где была зарыта «зеленая палочка». Во время этой прогулки я, вероятно, простудился. Начались хлопоты, Лев Николаевич принес свой фланелевый набрюшник и какую-то теплую кофту. Набрюшник «великого писателя земли русской»! Благодаря заботам добрейшего Душана Петровича я хорошо заснул. Утром был я вне опасности, но меня оставили на несколько дней в Ясной [5], и я успел сделать несколько карандашных набросков с Льва Николаевича. Один из них, по его словам, своим выражением, мягкостью напоминал «братца Николиньку» [6]. Я рад, что сюда заехал. Живется здесь просто, а сам Толстой — целая «поэма». Старость его чудесная. Он хитро устраняет от себя «суету сует», оставаясь в своих художественно-философских грезах. Ясная Поляна — запущенная усадьба; она держится энергией, заботами графини, самого «мирского» человека.

Ясная Поляна, лето 1906 г.»

«Дома, на хуторе, все нашел в добром порядке, но еще я полон воспоминаний о недавнем прошлом. Расстались мы хорошо. Лев Николаевич сказал, что «теперь он понимает, чего я добиваюсь, сочувствует этому». Ему понятен стал мой «Сергий с медведем» [7], просил выслать ему снимки со старых и новых моих картин, с тех, что я сам больше ценю.

На прощание я зван был заезжать еще... Словом, конец был совсем неожиданный, и твои опасения, что в Ясной я «потеряюсь», не оправдались. Скажу больше: в Толстом я нашел того нового, сильного духом человека, которого я инстинктивно ищу после каждой большой работы, усталый, истощенный душевно и физически [8].

Толстой — великий художник и, как художник, имеет многие слабости этой породы людей.

Он вечно увлекается сам и чарует других многогранностью своего великого дара.

Хутор, лето 1906 г.».

«Я опять в Ясной, встретили радушно» [9]. В тот же день Лев Николаевич изъявил полную готовность мне позировать. На другой день начались сеансы, очень трудные тем, что обстановка часто отвлекает меня от дела. С приездом В. Г. Черткова из Телятинков все изменилось. Чертков предложил играть со Львом Николаевичем во время сеансов в шахматы.

Работаем на воздухе, около террасы. Лев Николаевич увлекается игрой, забывая, что позирует, тогда я предлагаю «отдохнуть»... Думаю написать с него голову и сделать абрис фигуры, остальное дописать по этюдам [10].

Портрет старику нравится, хотя он и говорит, что любит себя видеть более «боевым», для меня же, для моей картины он нужен сосредоточенным, самоуглубленным [11]. Фоном портрета будет служить еловая аллея, когда-то посаженная самим Толстым на берегу пруда, отделяющего деревню от усадьбы. Сейчас в Ясной гостят художница Игумнова, Сергеенко. Гости приезжают и уезжают. Лев Николаевич сообщил, что на завтра собирается в Ясную из Тулы экскурсия детей в тысячу человек!.. Наутро появилась экскурсия — школьники. Мальчики и девочки шли стройными эшелонами с флагами. С детьми шли их учителя, учительницы. Процессия продефилировала перед Толстым. День был жаркий, детям было предложено до чая выкупаться, и вся ватага с песнями, шумом повалила к пруду, туда же отправился и Лев Николаевич. Пошли и мы. Скоро сотни голов замелькали в воде. Тем временем около дома готовили столы, самовары к чаю. Предполагалось, что после дороги, купанья дети с большим аппетитом будут чаевничать (провизию они принесли с собой).

С шумом, смехом вернулась детвора с купанья. Лев Николаевич приехал верхом, и я видел, как 79-летний старик лихо вскочил на своего арабского коня.

Скоро стал накрапывать дождь, но он не смутил веселья, все чувствовали себя свободно. Время летело быстро, наступала пора собираться в обратный путь — в Тулу. Дети построились попарно и группами потянулись со своими значками мимо террасы, где стояли Лев Николаевич, Софья Андреевна, вся семья и мы, немногие гости. Дети махали значками, зорко вглядываясь, прощаясь с чудесным стариком. Он приветствовал каждую группу — ему шумно, весело отвечали и с песнями уходили из Ясной [12]. Фотографы неистово снимали эту необычай-

ную, даже для Ясной Поляны, картину. На другой день начались у нас обычные сеансы, прогулки, чтения, разговоры...

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

«⟨...⟩ Сеансы наши приближаются к концу. Лев Николаевич неизменно работает положенные часы, позирует, гуляет, ездит верхом, лихо перескакивает через канавы. Гуляя утром, заходит на пять — десять минут в мою комнату, такой бодрый, говорим о разном. Иногда, как бы невзначай, вопрошает: «Как веруешь?» От подобных бесед я ухожу. Надо же старику отдохнуть от постоянных разговоров о вере ⟨...⟩.

Лев Николаевич как-то рассказал мне о своей поездке в 1882 г. в Киев. Одетый простым богомольцем, в Лавре пришел он к «старцу», с намерением поговорить с ним о вере. Тот, занятый с другими богомольцами, не подозревая, что к нему обращается знаменитый писатель Л. Н. Толстой, ответил: «Некогда, некогда, ступай с богом». Таково неудачно кончилась попытка Толстого побеседовать о вере с лаврским старцем. Однако Лев Николаевич все же был утешен простецом-привратником. Тот ласково принял любопытствующего в своей сторожке в башне. Монах-привратник был отставной солдат, дрался под Плевной. Две ночи искателя веры Л. Н. Толстого в сторожке привратника ели блохи, вши, а он, Лев Николаевич, всем остался доволен, дружелюбно попрощался со своим знакомцем ⟨...⟩ [13].

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

«⟨...⟩ В один из сеансов Толстой рассказал мне с большим юмором, как он с Николаем Николаевичем Страховым был в Оптиной пустыни у старца Амвросия, как старец, приняв славянофила-церковника Страхова за закоренелого атеиста, добрый час наставлял его, а сдержанный Страхов терпеливо, без возражений слушал учительного старца... На мой вопрос, показался ли старец Амвросий Льву Николаевичу человеком большого ума, Лев Николаевич, помолчав, ответил: «Нет», прибавив: «но он был очень добрый человек» [14].

Как-то за вечерним чаем, разговаривая о портрете, мы незаметно перешли к искусству вообще. Лев Николаевич лучшим портретистом считал француза Бон-

на[15], написавшего портрет «Пастера с внучкой» (Крамской не любил Бонна). Лев Николаевич сказал, что он не понимает, не чувствует современной «яркой» живописи, он совершенно отрицает живопись «безыдейную», похвалил фра Беато Анжелико и почему-то досталось Рембрандту и Веласкезу. Я пытался отстоять двух последних, но безуспешно[16].

Разговор перешел на современную литературу, на Чехова, Горького, Леонида Андреева. Последнего Толстой заметно не любит, повторив, что не раз говорил о нем: «Леонид Андреев всех хочет напугать», прибавив, не без лукавства: «а я его не боюсь».

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

«Вот я и дома, портрет окончен[17]. Накануне отъезда из Ясной Лев Николаевич зашел ко мне с прогулки в открытую балконную дверь. Было утро, часов шесть. Я только что встал, мылся. Утро было ясное, погожее, на душе хорошо. В хорошем настроении был и Толстой. Ему хотелось поделиться мыслями, быть может, промелькнувшими во время прогулки. Поздоровались; он, как бы мимоходом, сказал: «А я вот сейчас думал, какое преимущество наше перед вами — молодыми (ему было 79, мне 45 лет). Вам нужно думать о картинах, о будущем; наши картины все кончены — и в этом наш большой барыш. Думаешь, как бы себя сохранить получше на сегодня.

Незадолго до моего отъезда Лев Николаевич спросил меня, читал ли я книжку Ромена Роллана о Микельанджело;[18] я отвечаю: нет. «Она у меня есть, мне прислал ее автор; не хотите ли послушать некоторые места из нее?» Я прошу. Толстой взял книжку, стал читать à livre ouvert, как бы смакуя красоту обоих языков. Прочел он несколько наиболее ярких страниц о великом художнике.

Наступил день отъезда. Лев Николаевич, прощаясь, уже стоя у экипажа, сказал: «Я рад был, истинно рад был узнать вас ближе». Все звали меня не забывать Ясную Поляну, приезжать еще[19].

Киев, осень 1907 г.»

«Я давно не писал тебе, зато сейчас я угощу тебя поездкой к другим Толстым, в Каргалык. Зимой, когда успех моей выставки в Питере определился, ее стал посе-

щать почти ежедневно гр. Дмитрий Иванович Толстой. Он однажды сказал мне: «Вероятно, «Святая Русь» попадет в Русский музей гораздо раньше, чем я думал, так как успех вашей выставки стихийный и с этим надо считаться». Тогда же он пригласил меня погостить летом в Каргалык. Местечко Каргалык находится недалеко от Белой Церкви, Киевской губернии. Оно принадлежало Ольге Ивановне Чертковой, по мужу тетке Владимира Григорьевича Черткова. Гр. Дмитрий Иванович Толстой женат на дочери Ольги Ивановны, «кавалерственной дамы» и проч. Вся семья проводит лето в Каргалыке ⟨...⟩.

Мне сообщили, что в парке я увижу молодых людей с их профессорами [20]. Отлично, посмотрим здесь, у других Толстых, экскурсию. Часов в 10 нас пригласили в парк, расположенный около дома. Выходим; площадка и ближние аллеи иллюминированы. Тут и экскурсанты с их руководителями, нас знакомят, приглашают ужинать. Хозяева, профессора и нас 2—3 гостей; садимся за центральный стол, молодежь размещается за малыми столами вокруг. Прекрасная сервировка, множество цветов, угощают изысканными яствами, отличные вина, но все это так мало гармонирует с усталыми лицами, скромными костюмами экскурсантов. Подают шампанское. О. И. Черткова произносит эффектный тост за своих молодых гостей. За них отвечают, благодарят ученые руководители.

Лица молодежи мало-помалу становятся, быть может, более оживленными, чем ожидала того хозяйка. Тут, среди сегодняшних ее гостей, быть может, многие принимали деятельное участие в недавних грозных событиях. Молодые гости зорко всматриваются во все, что окружает их, что проходит перед их глазами. Становится ясно, сколь бестактна была затея такого роскошного пира, пира после едва потухшего пламени первой Революции. Как неудачна вся эта игра в «политику» такой находчивой, остроумной в иных сферах О. И. Чертковой. Для меня торжество каргалыкских Толстых было особенно красноречиво: оно так мало походило на живое, увлекательное торжество яснополянских Толстых. Одно — искусственное, надуманное, другое — простое, естественное, полное жизни, веселости. Тут — иллюминация, роскошный ужин, шампанское, там — тысяча детей, купанье, яркое солнце, самовары, молодой, звонкий восторг и этот дивный гениальный старик!..

На другой день ученая экскурсия выехала в Киев, а разговоры о ней прекратились.

Я оставался в Каргалыке еще несколько дней. Тут, как и в Ясной Поляне, пытались заговаривать о вере... Тогда, после первой Революции, люди кинулись к вере. Таково было время, такова мода.

Однообразный, монотонный порядок жизни у каргалыкских Толстых был утомителен для меня. Огромный дом был полон довольства; люди, хорошо воспитанные, жили скучно, чисто внешней жизнью. Иное было в Ясной Поляне, там все клокотало около Льва Толстого — он собой, своим духовным богатством, великим своим талантом, помимо воли, одарял всех, кто соприкасался с ним. Контраст жизни тех и других Толстых был разительный.

Киев, осень 1907 г.»

П. А. СЕРГЕЕНКО

КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

Я впервые видел Л. Н. Толстого[1] и невольно приковался к нему взглядом. Он был в темно-серой фланелевой блузе с отложным просторным воротом, открывавшим при поворотах головы жилистую шею. От быстрой ходьбы на морозном воздухе он дышал учащенно, и его седые волосы спутались на висках влажными космами. Он имел бодрый, оживленный вид, держался прямо и двигался быстрыми, мелкими шагами, почти не сгибая колен, что напоминало движения человека, скользящего по льду. Он казался не моложе и не старше своих лет (тогда ему было 64 г.) и производил впечатление хорошо сохранившегося, энергичного крестьянина. И лицо у него было крестьянское: простое, деревенское, с широким носом, обветренной кожей и густыми нависшими бровями, из-под которых зорко выглядывали синевато-серые глаза.

Но выражение глаз его было необыкновенно и невольно привлекало внимание. В них как бы сконцентрировались все яркие особенности толстовской личности. И кто не видел, как вспыхивают и загораются эти глаза, как они приобретают вдруг какой-то сверлящий и пронизывающий характер, тот не может иметь полного представления о личности Л. Н. Толстого ‹...›.

Лев Николаевич был в отличном расположении духа. На его не закрытых усами и красиво очерченных губах поминутно скользила улыбка, сопровождаемая юмористическими вставками.

До знакомства с ним я, по его портретам, всегда считал Л. Н. Толстого человеком замкнутым в себе и несколько мрачным. Это неверно. Он очень общителен, разговорчив, любит шутку, высоко ценит юмор и охотно прибегает к нему ‹...›.

Через неделю после моей первой встречи с Л. Н. Толстым я воспользовался его приглашением и часов около восьми вечера поехал ⟨...⟩ в Долго-Хамовнический переулок ⟨...⟩.

Один из присутствующих коснулся последекабрьской освободительной эпохи и заговорил о братьях Аксаковых, Каткове, Грановском, Герцене и других, которых всех Л. Н. Толстой знал лично. При имени Герцена Лев Николаевич оживился и рассказал, как виделся с ним в Лондоне [2]. Установилось мнение, будто Л. Толстой не признает в Герцене литературного дарования. Это неверно. Напротив, именно литературный дар Герцена и ценит-то Л. Н. очень высоко. И когда вопрос коснулся этого, то в усталом голосе Льва Николаевича вдруг зазвучала горячая и юношески свежая нотка, появляющаяся всегда у него, когда он говорит о каком-нибудь истинном даровании или о прекрасном поступке.

— Если бы выразить в процентных отношениях,— сказал он,— влияние наших писателей на общество, то получилось бы приблизительно следующее: Пушкин 30%, Гоголь 15%, Тургенев 10%...

Л. Н. Толстой перечислил всех выдающихся русских писателей, кроме себя, и, отчислив на долю Герцена 18%, с убежденностью сказал:

— Он блестящ и глубок, что встречается очень редко [3].

К нашему столу подошел молодой художник. Лев Николаевич заговорил с ним об его работах и перешел на живопись, от которой требовал не букетов и амуров, а служения высшим запросам человеческого духа. Л. Н. скоро вошел в страстный тон и начал горячо говорить, быстро завязывая при этом и развязывая какой-то шнурок, попавшийся ему в руки. Кто-то упомянул о большой картине одного московского художника.

— Ну вот, хотя бы эта картина! — сказал, возбуждаясь, Лев Николаевич.— Кому нужна эта грубая мазня, от которой так и веет кнутом? Не выношу я подобных «рассейских» произведений. И зачем эти глупые рожи? Кто же этого не знает, что глупые рожи бывают на свете? А ведь искусство всегда должно говорить что-нибудь новое, потому что оно есть выражение внутреннего состояния художника и только тогда осуществляет свое назначение, когда художник дает нам нечто такое, чего никто еще раньше не давал и чего никаким иным

способом нельзя лучше выразить[4]. Вот «Христос перед Пилатом» Ге — это настоящее искусство, хотя картина и плохо написана. Но никто до Ге *так* не говорил этого, и никаким другим способом нельзя сказать это так, как сказал Ге своим замученным Христом и сытым, упитанным Пилатом[5]. И всегда и везде Христы и Пилаты были и будут именно такие. И посмотрите, как работает Ге над своими сюжетами! Он десятки лет изучает жизнь Христа, да не с внешней палестинской стороны, как другие, а с внутренней. Придешь, бывало, ночью к нему, а он сидит с своими взвихренными висками на диване и читает Евангелие. Да иначе и нельзя. Ведь искусство — огромное, могущественное средство 〈...〉.

Лев Николаевич 〈...〉 перешел на характеристику условий, создающих что-то вроде *лжеискусства,* которое людям вовсе не нужно.

— Нынче ведь, куда ни пойди,— сказал он,— в книжный магазин, в посудный, в ювелирный, везде искусство. И не какое-нибудь любительское искусство, а патентованное, с дипломами и золотыми медалями. Пойдите в театр — там опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задирает. И эта гадкая глупость не только не считается неприличным делом, а, напротив, возводится в нечто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится в газетах даже постоянное место, наряду с величайшими мировыми событиями. Некоторые же органы печати имеют еще для этого и постоянных ценителей, которые часто ночью, прямо из театра, едут в типографию и там немедленно, при грохоте машин, пишут свои впечатления, поспешая, дабы мир заутра мог уже знать, как именно вчера такая-то госпожа в таком-то театре ноги вверх задирала.

— Но все это, бог даст, просеется временем, и в результате получится добрая питательная мука,— заметил кто-то из присутствующих.

— Зачем же мне ждать? — возразил Лев Николаевич.— Я и теперь чувствую, что на моих зубах песок. Беда в том, что не видно конца этому, потому что с каждым днем ложь искусственно создается в лице различных музыкальных и художественных школ, уродующих тысячи молодых жизней[6]. Между тем без этих рассадников всякой фальши и рутины молодые жизни могли бы приносить пользу людям. И когда я вижу юно-

шу или девушку с дипломом или с медалью за выдающиеся успехи, то я уж знаю, что тут надо оставить всякую надежду. Передо мной исправно заведенная машина и только.

— Ну, хорошо, Лев Николаевич, — сказал один из собеседников,— допустим, что существующие в России музыкально-художественные учреждения действительно не приносят особенной пользы. Допустим это и мысленно уничтожим их. Какие же учреждения вы дадите нам вместо тех, негодных?

— Вот странная претензия! — удивленно проговорил Лев Николаевич, пожав плечами.— Это все равно, что ко мне пришел бы больной с... флюсом. Флюс стесняет его. Флюс ему в тягость. Я вылечиваю его от флюса. Тогда он обращается ко мне и спрашивает: «А что же вы дадите мне вместо флюса?» Да ничего не нужно вместо флюса.

Все рассмеялись 〈...〉.

От вопросов о жизни перешли на современную музыку. Лев Николаевич начал доказывать, что современная музыка не дает мелодий и идет к упадку. А все симфонические вечера с их накрахмаленными слушателями — только мода и фальшь. Если б у кого-нибудь хватило духу в минуту музыкального остолбенения заиграть вдруг на одном из симфонических вечеров камаринскую, то все сразу душою ожили бы. И это понятно почему: камаринская выражает известное состояние сердца, а современная музыка ничего не выражает, кроме скуки [7].

— Однажды мне в Оренбурге,— сказал Лев Николаевич,— пришлось слышать, как одна башкирка ехала верхом и пела. Я ничего не понял из ее слов. Но песня ее подействовала на меня, потому что она была непосредственным выражением ее души. И всякую чисто народную песню поймет другой народ. Современная же — порченая — музыка требует исключительных слушателей и существует только для сытых. Поэтому она меня и отталкивает.

— А Вагнер? А «Зигфрид»? — спросил кто-то из присутствующих.

Л. Н. Толстой нахмурился.

— Это даже и не музыка!

— А что же?

— Это — иллюстрация. «Трат-та-та!» — это значит барабанщик. «Ту-ту-ту!» — это уж непременно труба, и т. д. Высидеть несколько часов среди этих примитивных и однообразных звуков — своего рода пытка. Точно в доме умалишенных находишься. И когда попадется наконец несколько тактов настоящей музыки, то отдыхаешь, как в оазисе среди пустыни [8].

Один из присутствующих музыкантов начал возражать Льву Николаевичу:

— Но согласитесь, Лев Николаевич, что Вагнер увеличил средства оркестра и имел огромное влияние на современную музыку...

— Вот это-то и плохо, что он имел огромное влияние,— возразил горячо Лев Николаевич.— Это не движение музыки вперед, а вырождение ее, падение искусства. И вы меня извините, а я так уж решил про себя, что восхищаться Вагнером можно, только притупивши вкус к изящному. Зачем я буду есть хлеб с песком или за минутное музыкальное удовольствие платить целыми часами томительной скуки...

Через некоторое время он стал говорить спокойнее и, продолжая развивать свои мысли об искусстве, сказал, что в искусстве важно, чтобы *не сказать ничего лишнего*, а только давать ряд сжатых впечатлений. И тогда сильное место даст глубокое впечатление ⟨...⟩ [9].

Тяжелое впечатление производят на него еще и посетители, являющиеся к нему, чтобы завербовать его на какое-нибудь дело, противное началам его души. Нечто подобное испытывал он при посещении известного французского поэта Деруледа, явившегося ко Льву Николаевичу, чтобы соблазнить его идеей «реванша» [10]. В конце концов Л. Н. Толстой, обыкновенно относящийся к иностранцам с особенным радушием, не выдержал и на воинственную тираду Деруледа с горячностью ответил:

— Границы государств должны определяться не мечом и кровью, а разумным соглашением народов. И когда не будет людей, не понимающих этого, тогда не будет и войн.

При этом Л. Н. встал и в волнении вышел из комнаты.

Дерулед омрачился. Он не ожидал этого и по возвращении Льва Николаевича заявил, что считает его рассуждения искусственными и что первый встречный русский крестьянин наверно рассуждает иначе. И в доказательство своей правоты Дерулед предложил перевести на русский язык его воззвание первому встречному русскому крестьянину. Лев Николаевич согласился. Пошли гулять. Навстречу показался яснополянский мужик Прокофий. Лев Николаевич подзывает его и переводит ему патетическую речь Деруледа о том, что русские и французы — братья, но между ними стоит немец и мешает им обняться, а потому Дерулед предлагает Прокофию подать руку и жать масло из немца.

Прокофий внимательно выслушал, подумал и сказал:

— Нет, барин, пускай-ка будет лучше таким образом: вы, французы, значит, будете работать, и мы, русские, будем тоже работать. А после работы пойдем в трактир и немца с собою захватим.

Деруледа не удовлетворила эта комбинация 〈...〉.

Зимою в 1895-м году, когда он приступил к своей работе об искусстве, он одно время было попал в театральную полосу и посещал театры, беседовал с артистами и даже читал артистам Малого театра в театральной конторе свою пьесу «Власть тьмы».

Но через год он смотрел на это уже как на увлечение. И когда один знакомый начал соблазнять Льва Николаевича новою оперой, он, улыбаясь, сказал:

— Нет, нет! Это я только в прошлом году так выбрыкивал. Теперь уже окончательно спустился на дно.

Мне пришлось видеть его после представления *«Лира»* [11]. Он был недоволен проведенным вечером и сказал:

— Смотрел я на эти кривлянья и думал: а ведь со всем этим бороться нужно. Сколько тут рутины, загромождающей правду! Вот Пушкин сказал, что у Шекспира нет злодеев. Какой вздор! Эдмунд — чистый, форменный злодей.

Не удовлетворила его и «Власть тьмы» на сцене 〈...〉 [12–13].

— Очень уж стараются артисты быть натуральными. Этого не следует делать. Исполнители должны скрывать свои намерения. Обыкновенно, как только замечаешь, что тебя стараются разжалобить или рассмешить, сейчас же начинаешь испытывать совершенно противоположные

чувства. И исполнители во «Власти тьмы» не совсем таковы, какими я рисовал. Никита не щеголь, не форсун, а только отпрыск городской культуры. Аким не вещает, когда говорит, напротив, он напрягается, спешит и потеет от усилий мысли. Он должен быть нервен и суетлив.

Через некоторое время Лев Николаевич опять заговорил о «Лире» и, почувствовав аппетит, обратился к своим дочерям:

— Регана! Гонерилья! А не будет ли старому отцу овсянка сегодня?

К Шекспиру Лев Николаевич вообще относится без увлечения ⟨...⟩. Он никогда не цитирует его и не подкрепляет свою речь крылатыми мыслями, которыми так богат Шекспир. Между тем, например, из Гете Лев Николаевич довольно часто приводит по-немецки различные стихотворные отрывки, хотя в то же время и не принадлежит к его горячим почитателям, вполне разделяя мнение Гейне, что Гете *великий человек в шелковом сюртуке*. Однажды он более определенно отозвался о Гете и сказал, что Гете представляет собою редкий образец величайшего художника, но без того особенного *икса*, который придает незаменимое достоинство писателю. С произведениями Гейне Лев Николаевич познакомился настоящим образом только в последнее время и очень увлекался ими. В самой горячей беседе он иногда останавливался и, поднявши голову, мастерски прочитывал по-немецки какое-нибудь стихотворение Гейне, относящееся к беседе. Особенно нравится ему стихотворение «Lass die frommen Hypotesen...» [14].

Шиллера Льву Николаевичу тоже пришлось за последнее время реставрировать в своей памяти. Из Шиллера больше всего нравятся ему *«Разбойники»* своим молодым, горячим языком [15].

— *«Дон Карлос»* уже не то, — говорил он. — Главное же в *«Дон Карлосе»* меня отталкивает то, чего я никогда терпеть не мог, это — исключительность положений. По-моему, это все равно, что брать героями сиамских близнецов.

С Берне Лев Николаевич до последнего времени вовсе не был знаком и с большим удовольствием прочитал недавно некоторые из его статей ⟨...⟩.

О Викторе Гюго Лев Николаевич очень высокого мнения.

— Редко, очень редко в одном человеке,— как-то сказал он, — сочетается такой талант с такой силой чувства и духа, как у Виктора Гюго [16].

Но больше всех имел влияние на его духовный уклад Ж.-Ж. Руссо.

— Я так боготворил Руссо,— сказал однажды Лев Николаевич,— что одно время хотел вставить его портрет в медальон и носить на груди вместе с иконкой ⟨...⟩ [17].

Из русских писателей на Л. Н. Толстого имел наибольшее влияние Лермонтов [18]. Он до сих пор горячо относится к нему, дорожа в нем тем свойством, которое он называет *исканием*. Без этого свойства Лев Николаевич считает талант писателя неполным и как бы с изъяном. Роль писателя, по его мнению, должна включать в себя два обязательных свойства: художественный талант и разум, то есть ту очищенную сторону ума, которая способна проникать в сущность явлений и давать высшую для своего времени точку миропонимания.

Из русских современников Л. Толстого имел некоторое влияние на его литературную формацию Д. Григорович.

Не считая Григоровича крупным художником, Лев Николаевич признает, однако, за ним значительные заслуги как за изобразителем народной жизни [19].

— Произведения Григоровича,— как-то сказал Лев Николаевич,— в свое время сделали свое дело. В этом отношении значительная заслуга принадлежит и Тургеневу, который сумел в эпоху крепостных отношений осветить крестьянскую жизнь и отметить ее поэтическую сторону [20]. Но еще больше с этой стороны сделал Некрасов. У него было драгоценное качество — сочувствие к народу, которое всегда подкупает читателя.

К Некрасову, как к человеку, Лев Николаевич относится с симпатией и видимо признает его влияние на себя. Однажды кто-то спросил у Льва Николаевича, ясен ли для него Некрасов как человек.

— О, вполне, — ответил Лев Николаевич. — Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия [21]. Всегда он открыто говорил о своих делах и чувствах, доводя иногда даже как бы до некоторого цинизма свою откровенность ⟨...⟩.

Тургенева Л. Н. Толстой всегда считал человеком передовым, хорошо образованным и очень талантливым. Но его беллетристические произведения, за исключением *«Записок охотника»,* никогда не вызывали восхищения со стороны Л. Н. Толстого. По крайней мере, он сам не раз говорил об этом:

— Тургенев, как романист, мне никогда особенно не нравился, даже и во дни моей молодости. Иногда я даже удивлялся, как мог такой многосторонне образованный и талантливый человек, как Тургенев, писать такие незначительные вещи, как некоторые его повести ⟨...⟩.

— Не нравился мне и «Рудин» Тургенева, которым, помню, многие восхищались. Я слышал «Рудина» в чтении самого Тургенева. Он читал эту повесть как-то после обеда у Некрасова [22]. На чтении присутствовали: Анненков, Дружинин, Григорович, Некрасов, конечно, затем еще, кажется... кажется, Гончаров и Фет... Впрочем, хорошо не помню. Но помню, что и тогда мне не понравилось в повести Тургенева, что я всегда считал в нем слабой стороною, — это его романический элемент. Искусственно и ненужно все это. Вообще в этом отношении Тургенев был престранный человек. Во всякой красивой женщине он видел как бы ключ к величайшей премудрости. Вот ее, мол, надо послушать. В ней именно все то, что нужно человеку. Однажды он пресерьезно рассказывал мне, что одна графиня просила его быть верующим и взяла с него слово, что он будет непременно молиться богу. «И я молюсь теперь,— говорил Тургенев,— каждый день хоть немного, а возьму и помолюсь». А еще раз Тургенев рассказывал мне... — И Лев Николаевич вдруг рассмеялся.

— Вы только представьте себе,— сказал он,— фигуру Тургенева, стоящего, в виде наказания, в углу с колпаком на голове! А он уверял, что иногда именно это проделывает над собою, когда провинится в чем-нибудь. Возьмет будто бы высокий-высокий колпак, наденет на голову и поставит себя в угол. Поставит и стоит. Но все это мелочи, разумеется. Заслуги его все-таки велики. И его рассказы из народной жизни навсегда останутся драгоценным вкладом в русскую литературу. Я всегда высоко их ценил. И тут никто из нас с ним сравниться не может. Возьмите «Живые мощи», «Бирюка» [23] и другие. Все это бесподобные вещи. А его картины природы! Это настоящие перлы, недосягаемые ни для кого из писателей.

Однажды между Тургеневым и Л. Н. Толстым произошел очень характерный эпизод, быть может, отчасти послуживший сгущению той тени, которая лежала вообще между Тургеневым и Л. Н. Толстым.

В 1860 году Л. Толстой приехал в деревню к Тургеневу. Тот в это время кончил роман «Отцы и дети» [24] и придавал очень большое значение своему новому произведению, выразивши желание узнать о нем и мнение Л. Н. Толстого. Последний взял рукопись, лег в кабинете на диван и начал читать. Но роман показался ему так искусственно построенным и таким незначительным по содержанию, что он не мог преодолеть охватившей его скуки и... заснул.

— Проснулся я,— рассказывает он,— от какого-то странного ощущения и когда открыл глаза, то увидел удаляющуюся из кабинета гигантскую фигуру Тургенева.

Весь этот день между ними как бы висело что-то.

К Достоевскому Л. Н. Толстой относился, как к художнику, с глубоким уважением, и некоторые его вещи, особенно «Преступление и наказание» и первую часть «Идиота», Лев Николаевич считал удивительными [25]. «Иная, даже небрежная, страница Достоевского,— как-то сказал Лев Николаевич,— стоит многих томов многих теперешних писателей. На днях для «Воскресения» я прочел его «Записки из Мертвого дома». Какая это удивительная вещь!» [26]

Некоторых из писателей Л. Н. Толстой как бы вовсе не признает. К этому разряду относятся Мельников-Печерский, Помяловский, Решетников и некоторые из современных литераторов. Из писателей-народников Л. Н. Толстой всегда с оживлением говорит о Слепцове.

Из современных русских писателей Л. Н. Толстой наиболее любит А. Чехова, к которому относится всегда с особенной благожелательностью и считает его перворазрядным мастером по языку и колориту некоторых его рассказов. Он охотно и хорошо читает вслух рассказы А. Чехова, перечитывая по нескольку раз некоторые вещи. «Драму», «Злоумышленника», «Холодную кровь» и другие мелкие чеховские рассказы Л. Н. может читать и слушать сколько угодно [27].

Как-то пришел я к Толстым с новым рассказом А. Чехова «Душечка». За чаем заговорили о литературе. Я сказал о новом рассказе А. Чехова. Лев Николаевич спросил, читал ли я этот рассказ и как его нахожу.

Я сказал, что читал и нахожу его «ничего себе». Впрочем, я пробежал мельком рассказ и, может быть, составил о нем неверное мнение. Узнав, что рассказ А. Чехова со мною, Лев Николаевич оживился и предложил читать вслух «Душечку». С первых же строк рассказа он начал делать одобрительные вставки: «Как хорошо! Какой превосходный язык!» и т. п. И, прочитавши с большим мастерством «Душечку», Л. Н. обратился ко мне с недоумением:

— Как же это вы сказали «ничего себе»? Это просто перл. Как тонко схвачена и выведена вся природа женской любви! И какой язык! Никто из нас: ни Достоевский, ни Тургенев, ни Гончаров, ни я не могли бы так написать.

И Лев Николаевич начал с одушевлением цитировать некоторые места из «Душечки».

В это время пришли новые посетители к Толстым. Лев Николаевич поздоровался и сейчас же спросил:

— Читали «Душечку» Чехова?

— Нет.

— Послушайте, какая прелесть! Хотите?

И Лев Николаевич вторично прочел «Душечку», еще с бо́льшим мастерством ⟨...⟩ [28].

Небезынтересно, что мысль о небольших беллетристических эскизах, появившихся потом в печати под названием «Стихотворений в прозе», подал Тургеневу Л. Н. Толстой.

Однажды, когда зашла речь об усиленной работе над художественными произведениями, Лев Николаевич сказал:

— Никакою мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного лица. И пуговицу непременно надо изобразить. Но надо, чтобы и все усилия, и полуоторванная пуговица были направлены исключительно на внутреннюю сущность дела, а не отвлекали внимания от главного и важного к частностям и пустякам, как это делается сплошь и рядом. Какой-нибудь из современных писателей, описывая историю Иосифа с женой Пентефрия, наверно уж не пропустил бы случая блеснуть знанием жизни и написал бы: «Подойди ко мне,— томно произнесла жена Пентефрия, протягивая Иосифу свою нежную от арома-

тических натираний руку с таким-то запястьем, и т. д.[29]». И все эти подробности не только не осветили бы ярче сущности дела, но непременно бы затушевали ее. Самое же главное в искусстве — не сказать ничего лишнего ⟨...⟩.

Однажды мне пришлось узнать, как далеко идет его требовательность к себе. Зашла как-то речь о молоканах, не признающих, как известно, других книг, кроме религиозных. Говорили именно об этом, и один из присутствующих строго осуждал косность молокан ⟨...⟩.

Выслушав внимательно своего собеседника, относившегося неодобрительно к молоканам, чуждающимся светских книг, Лев Николаевич в раздумье проговорил:

— Да следует ли осуждать их за это? Как подумаешь иной раз, сколько лжи нагромождено в наших книгах, то затрудняешься сказать, где ее больше — в жизни или в книгах. И возьмешься иногда за перо, напишешь вроде того, что «Рано утром Иван Никитич встал с постели и позвал к себе сына»... и вдруг совестно сделается и бросишь перо. Зачем врать, старик? Ведь этого не было, и никакого Ивана Никитича ты не знаешь. Зачем же на старости лет ты прибегаешь к неправде. Пиши о том, что было, что ты действительно видел и пережил. Не надо лжи. Ее и так много.

При подобных этических требованиях нельзя, разумеется, писать каждый год по роману ⟨...⟩.

В другой раз мне пришлось слышать мнение Льва Николаевича об его работах во время прогулки по полю. Он на минуту замедлил шаги и сказал с оттенком горечи:

— Пишешь-пишешь всякие повести и рассказы, а как посмотришь на жизнь нашей интеллигенции и сравнишь ее с трудовою жизнью народа, то совестно делается, что занимаешься такими пустяками, как писание для интеллигенции. И хочется раз навсегда бросить все это ⟨...⟩.

Постоянное стремление Льва Николаевича к правдивости и ясности в своих произведениях берет у него много времени не только на самое писание, но и на подготовительную работу. Он старается найти в жизни подтверждение задуманным положениям и немедленно отбрасывает все выдуманное, если жизнь подставляет готовый эпизод. Так было с *Анной Карениной,* которую Л. Н. Толстой сначала не думал умерщвлять. Но вблизи

Ясной Поляны произошел аналогичный романический эпизод, причем несчастная героиня Анна бросилась под поезд [30]. Это натолкнуло Л. Н. Толстого на новую разработку вопроса и значительно изменило его первоначальный план ⟨...⟩.

«Крейцерова соната» возникла при следующих обстоятельствах. У Толстых гостили в Ясной Поляне художник И. Репин, актер Андреев-Бурлак [31], очень смешивший Льва Николаевича своими рассказами, и приехавшая из-за границы г-жа Г., которая однажды вечером сыграла сонату Крейцера с такой яркою выразительностью, что произвела на всех, и на Льва Николаевича в особенности, глубокое впечатление, под влиянием которого он сказал И. Репину:

— Давайте и мы напишем Крейцерову сонату. Вы — кистью, я — пером, а Василий Николаевич (Андреев-Бурлак) будет читать ее на сцене, где будет стоять и ваша картина.

Предложение это вызвало общее одобрение.

Через некоторое время Лев Николаевич, с присущею ему настойчивостью, взялся за работу, которая давно уже, вероятно, бродила в его голове... [32].

«Плоды просвещения» были написаны для домашнего спектакля в Ясной Поляне. Сначала пьеса состояла из двух действий и называлась «Исхитрилась». Но по мере того, как шли репетиции, в которых Лев Николаевич принимал деятельное участие, он исправлял и дополнял пьесу, соображаясь с составом действующих лиц. Во время спектакля некоторые исполнители доставили ему такое большое удовольствие своею игрой, что некоторые сцены навсегда запечатлелись в его памяти. Особенно восхитил его судебный следователь Л ⟨опатин⟩, исполнявший роль одного из мужиков.

— Приехал он,— рассказывает Лев Николаевич,— в Ясную и целый день ни с кем почти не разговаривал, все ходил понуря голову. Но на сцене превзошел всех и создал из своей маленькой роли нечто столь прекрасное, что я не мог даже предвидеть, создавая эту роль.

И, одушевляясь, по обыкновению, когда речь касалась истинного дарования, Лев Николаевич начал вспоминать игру старых московских актеров: Щепкина, Мартынова и других. О Мартынове он отзывался с особенным жаром.

— Это был великий артист, — сказал он, — сочетавший в себе три драгоценных качества: талант, ум и

способность к упорному труду. В пьесе А. Потехина «Чужое добро впрок не пойдет» Мартынов был так бесподобен, что я, тогда еще начинавший литератор, поднял клич, и мы устроили ему великолепную овацию» ⟨...⟩[33].

Будучи в хорошем настроении и находясь в кругу близких знакомых, он передает иногда свои впечатления в лицах и ярко оттеняет типические особенности каждого лица.

— Ну, давайте еще вспоминать о чем-нибудь,— говорит иногда Лев Николаевич и начинает рассказывать о своей молодости, о Кавказе, о своих охотничьих похождениях. Как однажды на Кавказе пьяница Ерошка, которого Лев Николаевич описал в «Казаках», прибежал к нему и сказал, что в станице появился волк, как Лев Николаевич схватил двухстволку и стал в указанном Ерошкой месте поджидать волка. Но было очень темно. И Лев Николаевич не заметил, как волк преспокойно перелез около него через забор. Только потом уж Л. Н. сообразил, что это волк, и выстрелил в него вдогонку. Но ружье дало осечку, и волк преблагополучно удалился. Один из слушателей по ассоциации идей вспоминает о том, как медведь душил Льва Николаевича, и спрашивает:

— Лев Николаевич, о чем вы тогда думали, когда на вас насел медведь?

— Когда там было думать? — возразил Лев Николаевич.— Ни о чем не думал. Старался только отвернуть свое лицо от медведя и больше ничего. Медведь ведь всегда норовит вцепиться в глаза, вероятно, чувствуя, что это самая заветная вещь у человека. И у всех, заеденных медведем, почти всегда на лбу кожа изгрызена. Это бывает потому, что всякий, желая защитить глаза, делает вот такое движение и невольно подставляет лоб. То же самое сделал и я, когда медведь повалил меня. Я сделал движение головой вниз, и челюсть его очутилась вот здесь, около лба. Тут, как видите, еще и шрам виден [34].

Кто-то из присутствующих спросил:

— Очень страшно было?

— Нет, не особенно. Самый большой страх я испытал только однажды, в 1853-м году на Кавказе. В этот день у нас была горячая схватка с горцами. Мы полу-

чили приказ выступить рано утром. Надо было обойти гористую площадь и подойти к неприятельской крепости. Но туман в этот день был так густ, что в нескольких шагах все уже сливалось, и мы только по звукам орудий догадывались, где наши действуют, а где неприятель. Я был фейерверкером, вынул клин и навел орудие по слуху. Трескотня в это время была ужасная. А это сильно возбуждает нервы, так что о смерти даже и не думаешь. Вдруг одно из неприятельских ядер ударило в колесо пушки, раздробило обод и с ослабевшей силой помяло шину второго колеса, около которого я стоял. Не попади ядро в обод первого колеса, мне, вероятно, было бы плохо. Сейчас же другое ядро убило лошадь. Тогда мы решили отступить и начали стрелять, что называется, «отвозом», то есть не отпрягая лошадей. Убитую лошадь надо было бросить. Обыкновенно отрезывают постромки. Но брат Николай, — это был удивительного присутствия духа человек, — ни за что не хотел оставить неприятелю сбруи. Я начал убеждать. Но тщетно. И пока не была снята с лошади сбруя, брат Николай продолжал отдавать распоряжения под выстрелами. Все это, однако, заняло значительное время. Мы страшно устали, подъем духа у нас стал заметно падать. Все отступая и отступая, мы начали уже думать, что находимся с другой стороны и вдали от неприятеля. Вдруг невдалеке от нас раздались неприятельские выстрелы. Тут я почувствовал такой страх, какого никогда не испытывал. С напряженным усилием мы опять начали отступать в сторону и только уже к вечеру, обессиленные и голодные, добрались, наконец, до казачьей стоянки. Казаки нас встретили по-товарищески, мгновенно раздобыли вина и зажарили козленка. Они ведь все это хоть из-под земли выкопают. И с каким наслаждением мы растянулись на траве у пылающего костра! Как вкусен был молодой козленок! 〈...〉.

После чаю возник общий разговор о музыке, о поэзии, о стихах. Одна из родственниц Толстых прочла своеобразной, певучей дикцией несколько модных стихотворений в символическом духе — с «лиловыми звуками» и «ноющими ароматами». Лев Николаевич стоял у рояля, засунув руку за пояс блузы, и с улыбкою слушал чтение; когда чтение кончилось, он засмеялся и сказал:

— Уж если набирать в рот всякие звучные слова и потом выпускать их, то вы читайте хоть Фета. У него все-таки есть поэзия и вкус.

И, поднявши немного голову, точно желая вызвать в памяти что-то полузабытое, Лев Николаевич выразительно прочитал одно из фетовских стихотворений, в котором поэт сравнивает звездное небо с опрокинутой урной [35].

Начали говорить о Фете.

Графиня Софья Андреевна хотела вспомнить одно из его стихотворений [36], посвященное ей и положенное на музыку, но не могла вспомнить.

Лев Николаевич сел за рояль и легким, свободным приемом сыграл этот романс. К роялю подошла в узорчатом шушуне старшая дочь Толстых, Татьяна Львовна, и спросила отца, не пожелает ли он ей аккомпанировать. Он охотно согласился. Она взяла в руки мандолину, оперлась о рояль, и они начали играть стройно и согласно 〈...〉.

ЭЛЬМЕР МООД

РАЗГОВОРЫ С ТОЛСТЫМ

Лет двенадцать назад (кажется, это было в 1888 году) мой зять доктор Алексеев предложил мне зайти с ним к Толстому, который написал предисловие к его книге о вреде пьянства (позднее изданное отдельной брошюрой под названием «Зачем люди одурманиваются?») [1]. Оказавшись за чайным столом как раз напротив Толстого, которого я тогда читал довольно мало, я осмелился заметить, что узнал о его отрицательном отношении к личному обогащению, и это мне очень интересно, потому что как раз для этого я и приехал в Россию.

Мы разговорились, однако беседа с Толстым не изменила моих взглядов. Я чувствовал за собой авторитет политической экономии и полагал, что достаточно мне полностью понять взгляды Толстого, чтобы указать ему его основные ошибки.

Вскоре нас прервали. Прощаясь, Толстой был со мной очень любезен и просил заходить к нему. Однако я не воспользовался его приглашением отчасти из-за своей застенчивости, отчасти оттого, что мне показалось неудобным учить Толстого политической экономии; да и сам он, думалось мне, вряд ли скажет мне что-либо новое в этой области.

Шли годы. Разговор с Толстым не выходил у меня из памяти, и хотя дело, в котором я был занят, процветало, напряжение и беспокойства коммерческой жизни с ее конкуренцией сказывались на моих нервах и здоровье. Я начал понимать, что политическую экономию нужно связывать с другими сторонами жизни, и стал внимательно читать позднего Толстого.

И вот я снова сижу за тем же чайным столом, но на этот раз испытываю совсем иные чувства. Я был убежден, что учение Толстого важно и содержит много истинного, но — почему он сам живет в комфортабельном доме? Почему он не проводит последовательно свое учение в жизнь? Со стыдом вспоминаю, что, не обращая внимания на гостей, я так без обиняков и спросил его об этом. Я искренне стремился к истине и, как часто бывает с людьми в таких случаях, забыл не только об условностях, но и о чувствах других. Толстой не ответил тогда на мои вопросы, но при прощании, хотя и не был уверен в моей искренности, снова просил меня заходить к нему. На этот раз я не замедлил воспользоваться приглашением. Наедине, в своем кабинете, Толстой многое объяснил мне (я говорю об этом в своей статье «Лев Толстой»)[2], и с того времени вплоть до своего отъезда из России я никогда не упускал случая получить от него указание или совет ⟨...⟩.

Помню, как-то раз Толстой, говоря о том, что одни люди влекутся к добру сердцем, а другие головой, заметил, что последний процесс в некотором отношении более безопасен. «Может статься, вы устанете и захотите вернуться назад, но, распутав клубок жизни, вы ясно видите, что назад идти некуда и вы должны идти вперед» ⟨...⟩.

Его мнения не были результатом случайных симпатий или антипатий, они были обусловлены его пониманием смысла и цели жизни. Никогда нельзя было предугадать, что он скажет, ибо даже на вещи, мне хорошо известные, его взгляды часто являлись для меня неожиданностью: но уж если он говорил, то обычно было легко понять, почему он думает так, а не иначе.

В разговоре с близкими ему по духу людьми связь между общими взглядами Толстого и его мнением по какому-нибудь конкретно обсуждаемому вопросу проступала особенно явственно, и беседа быстро переходила на большие жизненные проблемы. Он всегда старался поддерживать общий разговор, но с кем бы он ни говорил и какой бы вопрос ни обсуждался, каждый, кто с ним соприкасался, без труда видел эту последовательность мысли, о которой я упомянул. Литература, искусство, наука, политика, экономика, социальные проблемы, отношения полов и местные новости рассматривались им не в отрыве одного от другого, как это сплошь и рядом бывает, а как части одного стройного целого.

В хорошей шахматной партии, когда играет знаток, есть логическая последовательность между ходами, так что даже самые неожиданные ходы имеют свою определенную цель. В этом ее отличие от дилетантских партий, где ходы следуют один за другим случайно, лишь изредка перемежаясь удачными идеями. Подобное же различие существует и между беседой с человеком, обладающим ясным представлением о цели жизни, и беседой с людьми, совершенно несведущими в этом вопросе.

Не знаю, насколько эта особенность разговоров с Толстым будет видна в приводимых ниже отрывках из бесед с ним о книгах и писателях. Для многих людей первое впечатление от разговора с Толстым состоит в том, что он говорит совсем не то, что говорят другие, а следовательно, он эксцентричен, и я боюсь, что при попытке воспроизвести обрывки разговоров с ним мне будет легче передать необычность некоторых его мнений, чем их обоснованность.

Роман, говорит Толстой, как в Англии, так и во Франции в настоящее время стоит на гораздо более низком уровне по сравнению с тем временем, когда он был молод. Диккенс и Виктор Гюго были тогда в расцвете сил, а кого сегодня можно поставить рядом с ними? [3] Они сознательно брали жизненно важные темы и разрабатывали их так, что читатели проникались их чувствами. Они взывали к жалости, сочувствию и состраданию, были заступниками бедных и угнетенных и выражали свое негодование по поводу укоренившегося зла так, что затрагивали сердца людей.

Теперь же, по словам Толстого, писатели занимаются всякого рода социальными проблемами, психологическими исследованиями, точным копированием природы, этическими головоломками и псевдонаучными задачами, но в большинстве случаев не умеют писать о значительных вещах так, чтобы затронуть сердца читателей. Среди современных писателей-романистов, которых он читал, он более всего ценит Гемфри Уорд [4]. Она обычно знает, что хочет сказать, и всегда думает, прежде чем дать оценку той или иной вещи.

О «Грезах» Олив Шрейнер Толстой был невысокого мнения. Насколько я понял, его главное возражение состояло в том, что она ставит проблемы огромной

важности, не отдавая себе отчета в том, насколько они важны, и это мешает ей направить на верный путь тех, кого привлекает поэтичность ее манер и завидная склонность к добру. «Грезы» — это книга для тех, кто сам не обладает достаточно ясными и твердыми идеалами.

В то время Толстой не прочел еще «Рядового Питера Холкета», но мне кажется, хотя я и не могу утверждать это с полной достоверностью, что он прочел книгу впоследствии, и она произвела на него благоприятное впечатление [5].

О Золя Толстой отзывается с похвалой в одном отношении: мы все говорим о «народе», о его правах, о путях улучшения его жизни и т. д., а Золя действительно изобразил простых людей и показал нам — вот народ, о котором вы говорите!

С другой стороны, реализм Золя, поскольку он состоит в фотографическом описании массы деталей, не есть искусство, передающее чувства от одного человека, к другому. Надо уметь отделять существенное в жизни от незначительного, а не нагромождать непереваренные факты, и это в одинаковой степени относится и к художнику, и к человеку вообще.

Сенкевич, говорит Толстой, всегда интересен, но слишком окрашен католицизмом. В «Quo vadis» [6] христиане изображены слишком белыми, а язычники — слишком черными. На самом же деле эти две группы людей в какой-то мере смыкаются друг с другом, как это, несомненно, и имело место в реальной жизни, подобно тому, как в настоящее время преследуемые русские штундисты имеют много разновидностей и частично даже сливаются с православными ⟨...⟩.

Превыше всего Толстой ставит откровенность и ясность. Ошибки и заблуждения человека, который ясен и прост, могут быть гораздо более поучительными, чем полуправда людей, предпочитающих неопределенность. Выражать свои мысли так, чтобы тебя не понимали,— грех. Главный недостаток Уолта Уитмена состоит в том, что, при всем его воодушевлении, ему недостает ясной философии жизни. Может показаться, что он авторитетно и недвусмысленно высказывается по целому ряду жизненных вопросов, на самом же деле он стоит на перепутье двух дорог и так и не говорит, какой путь избрать [7].

Великая литература рождается тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство. Взять, например,

период освободительных движений, борьбу за освобождение от крепостного права в России и борьбу за освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, Уитьер, Лонгфелло, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер [8], а в России — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие, чье влияние на образованные круги русского общества, по мнению Толстого, было очень велико. Последующий период, когда люди были уже не способны приносить материальные жертвы ради нравственных целей, оказался бы полностью бесплодным, если бы некоторые писатели, воспитанные и сформировавшиеся в героическую эпоху, не продолжали ее великих традиций ⟨...⟩.

Толстой с большой похвалой отзывается о религиозных книгах Матью Арнольда. По его словам, существует ходячее мнение, что первое место в творчестве Арнольда занимает поэзия, однако правильнее было бы расположить все в обратном порядке. Религиозные сочинения Арнольда — лучшая и наиболее значительная часть его творчества. Насколько верно Толстой сформулировал это «установившееся мнение», подтверждается недавно опубликованной книгой об Арнольде профессора Сэнтсбери, в которой «Литература и догма», «Бог и Библия», «Комментарии к рождеству» и т. д. оцениваются как «неудачные книги», причем утверждается, что и «религия подобного рода никому не нужна».

Толстой считал, что статья Арнольда о его собственном, Толстого, творчестве содержит обоснованную и справедливую критику... [9]

Чтобы побудить Толстого признать достоинства стихотворений Арнольда, я отметил некоторые из них, такие, как «Часовня в Регби», «Другу-республиканцу», «Божественность», «Прогресс», «Революция», «Самостоятельность» и «Нравственность», и послал их Толстому. Через несколько дней он возвратил книгу, заметив, что все они очень хороши, жаль только, что не написаны прозой.

В поэзии Толстому вообще очень трудно угодить. Зачем, спрашивает он, люди затрудняют ясное выражение своих мыслей, обращаясь к такой сложной форме, заставляющей подбирать не те слова, которые лучше всего выражают мысль, а те, что диктуются рифмой и размером? Если то, что мы хотим сказать, можно

выразить в трех словах, зачем использовать пять? Если одно или два добавленных слова устранят возможность неправильного понимания, почему не добавить их? Люди написали в стихах много ценного, но в большинстве случаев они могли выразить то же самое и гораздо лучше в прозе. А как много никчемной чепухи читается только благодаря мастерству выражения!

Сходным образом дело обстояло и с красноречием. Однажды один из гостей Толстого заговорил об обаянии красноречия. «Да,— заметил Толстой,— но какая это опасная вещь? — и рассказал о том, как слушал в суде одного прославленного адвоката и как трудно было ему под влиянием продажного красноречия юриста остаться при своем мнении 〈...〉.

Толстой слишком правдив, чтобы не сказать тем, кто советуется с ним, своего действительного мнения об их произведениях, и вместе с тем слишком деликатен, чтобы обидеть их; так как его требования по отношению к самому себе и по отношению к другим очень высоки, он часто оказывается в затруднительном положении.

Помнится, однажды в Ясной Поляне он вышел к чайному столу, выставленному под открытым небом, и рассказал о своей встрече с одним старым отставным чиновником, который показал ему в кабинете свою длинную поэму. Толстой попросил его прочесть несколько стихов и, рискуя рассердить старика, вынужден был сказать ему, что он написал ужасный вздор. И действительно, судя по отдельным отрывкам, которые Толстой, смеясь, процитировал на память, стихи были из рук вон плохи. К счастью, посетитель оказался человеком довольно спокойным и только заметил: «Не может быть! Ведь я сочинял ее десять лет, и она так мне нравилась!» Он тут же распрощался и уехал, очевидно, нисколько не расстроенный приговором, вынесенным его детищу 〈...〉.

Как-то раз я спросил Толстого, чем, по его мнению, объясняется то, что Шекспира почитают величайшим из писателей во всех странах мира, в том числе и в России. Толстой объяснил это тем, что «образованное стадо», не имея ясного представления о цели и назначении жизни, весьма способно от души восхищаться писателем, близким ему в этом смысле, то есть писателем без основополагающего принципа, определяющего его отношение к миру. Своей великой славой Шекспир обязан тому, что

он — художник больших и разнообразных способностей, но еще в большей степени тому, что он разделяет со своими почитателями одну великую слабость: у него нет ответа на вопрос: «В чем смысл жизни?» [10]

Казалось бы, что может быть общего между Шекспиром и «Review of Reviews»? Однако в основе оценки Толстым этого журнала, данной им еще в 1897 году, лежит все та же концепция потребности человека в какой-то одной направляющей идее, пронизывающей произведение; при этом Толстой совсем не задавался целью сравнить «Review of Reviews» с другими журналами того времени, а скорее стремился показать, чего мы должны требовать от хорошей литературы. Один из гостей Толстого сказал, что «Review of Reviews» всегда вызывает у него головную боль, Толстой тут же ответил, что таким же образом журнал действует и на него, хотя он до сих пор не отдавал себе в этом отчета [11]. Мешанина фактов и всевозможных мнений, не пронизанных какой-либо последовательно проводимой идеей, вызывает умственное утомление. Читая даже оригинальные статьи, время от времени появляющиеся в журнале, невозможно разобраться в этой смеси патриотизма и христианства, тянущих каждый в свою сторону и считающихся одинаково похвальными. Совместны ли любовь к свободе и восхваление самодержцев? Любовь к миру и желание видеть карту Африки, окрашенную в красный цвет?..

Среди авторов, которые оказали большое влияние на Толстого или показались ему сколько-нибудь значительными, следует упомянуть Ж.-Ж. Руссо, Стендаля, Прудона, Ауэрбаха («Schwarzwälder Dorfgeschichten» *) и Шопенгауэра.

Толстой внимательно следит за всем, что выходит в свет на иностранных языках (особенно за короткими, ясно изложенными оригинальными работами, которые следовало бы, по его мнению, перевести на русский язык). Сплошь и рядом отобранные им книги не разрешают печатать в России. Если работа уже переведена, на пишущей машинке делается несколько копий и произведение распространяется в ограниченном количестве экземпляров. Таким образом предупреждается возможность того, что полиция полностью уничтожит его (а она

* «Шварцвальдские деревенские рассказы» *(нем.)*.

часто обыскивает квартиры людей, подозреваемых в пропаганде толстовства), и к тому же оно может быть напечатано в любой момент, как только цензура в России ослабит свою мертвую хватку. Несмотря на деятельность тайной полиции, которая выслеживает его друзей, высылает их, конфискует их бумаги, произведения, рекомендуемые Толстым, как правило, удается перевести на русский язык. Так было и с двумя работами, о которых пойдет речь ниже.

Очерк Торо «Гражданское неповиновение» Толстой выбрал как лучшее из всего созданного этим писателем. Великое достоинство этого очерка состоит в ясном утверждении человеческого права отказываться от подчинения или от какой бы то ни было поддержки правительству, которое поступает безнравственно...[12]

«Анатомия нищеты» Д. К. Кенворти[13], маленькая книжка по экономике, очень понравилась Толстому ясностью и лаконичностью изложения, глубоким проникновением в суть дела. Он считал, что последующие произведения Кенворти, хотя в них было много полезного, далеко уступают этой книге.

Среди книг, которые Толстой не советовал переводить, хотя и хвалил их, были, помнится, философские сочинения Шанкаракариа, переведенные на русский язык Верой Джонстон[14], и «О компромиссе» Джона Морлея. Толстой высоко ценил Морлея за его литературное мастерство...[15]

О романе Грант Аллена «Женщина, которая осмелилась» Толстой заметил, что, если автор хочет показать, как его героиня воплощается в действительность, он не должен убивать своего героя слишком рано. Конфликт возникает тогда, когда один из двух не желает сохранять верность, а другой все еще сохраняет ее. Убив одного из двух, вы уклоняетесь от решения проблемы[16] ⟨...⟩.

Очень нравился Толстому писатель Генри Джордж, особенно его книги «Социальные проблемы», «Прогресс и бедность», привлекавшие Толстого как своим предметом, так и формой изложения[17]. В середине нашего столетия великой проблемой в России была отмена крепостного права, а в Америке — уничтожение рабства. Другой великой проблемой было освобождение земли. Генри Джордж привлек к ней всеобщее внимание и со всей ясностью, оригинальностью и убедительностью высказался по этому поводу; его практический план разрешения этой проблемы при существующих политических условиях

казался Толстому вполне осуществимым и наилучшим из всех предложенных...

О Д. С. Милле Толстой как-то заметил, что ему больше всего нравится его «Автобиография». «Поразительно,— сказал Толстой,— как далеко пошел человек в поисках смысла жизни, как четко и ясно поставил этот животрепещущий вопрос и все же остановился, не найдя ответа». Милль спрашивал себя, был бы он счастлив, если бы проекты облагодетельствования человечества, над которыми он работал, осуществились, и откровенно признавался, что нет. Таким образом, он оказался лицом к лицу с вопросом: какова же тогда действительная цель моего существования? [18]

Однако Милль так и не нашел ответа на свой вопрос и жил с чувством, что радость жизни поблекла для него ⟨...⟩.

НА ГРАНИ
ДВУХ СТОЛЕТИЙ
„ВОСКРЕСЕНИЕ“

Л. О. ПАСТЕРНАК

КАК СОЗДАВАЛОСЬ «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Из моих воспоминаний о Толстом

Одному очень известному современному нашему писателю я много лет назад (кажется, в 1906 г.) подарил на память сделанный тогда мной офорт с моего же большого портрета Толстого. Портрет этот взят был мной несколько символично, монументально и суммарно: сам стихийный, Толстой — в стремлении вперед, наперекор бушующей стихии. Так приблизительно я его себе представлял. Писатель тут же прикнопил офорт к свободной стене; в каком-то возбуждении глядя на него в упор, сжал он в кулак правую руку и характерным движением снизу вверх, изображая проталкивающую силу, сквозь стиснутые зубы протяжно произнес:

— Ух!.. Как он клином вошел во всю литературу!..[1]

Это очень удачное и образное определение. Но Толстой клином вошел не только во всю литературу, но и во все человечество ⟨...⟩.

Ровно тридцать пять лет назад я в первый раз в моей жизни со стороны увидал Толстого[2]. Это мое первое от него впечатление я впоследствии и передал в вышеупомянутом портрете ⟨...⟩. Здесь я в общих чертах коснусь лишь некоторых эпизодов из периода создания Толстым романа «Воскресение».

Поистине на мою долю выпало особенное счастье: я не только жил в его время, не только встречался с ним и близко знал его, но и писал с него портрет, писал его в окружении семьи и друзей, делал наброски с него в разные моменты наших встреч, много иллюстрировал его произведения и т. д. Этот толстовский цикл моих

художественных работ, разбросанный по музеям, частным собраниям в России и за границей и особенно полно представленный в Толстовском музее в Москве,— это и есть, собственно, мои «мемуары» о нем, мемуары, выраженные пластическими средствами — кистью, красками, карандашом и т. д.[3] Но не все можно рассказать кистью. Кто прочтет на картине, что сказал Толстой, как отнесся к тому или иному явлению? Как кистью скажешь, что величайшим счастьем и незабываемым переживанием моей жизни было для меня то, что мне довелось одновременно и почти совместно с ним работать, когда он писал «Воскресение», а я тут же иллюстрировал его?

Имей я похвальную привычку вести дневник, несомненно, под датой одного из пасмурных октябрьских дней 1898 года значилась бы сделанная в волнении запись: «Сейчас заходила к нам Татьяна Львовна и передала: «Папá просит вас приехать в Ясную Поляну, — он написал новую повесть и хотел бы, чтобы вы иллюстрировали; и если вам можно, то, пожалуйста, не откладывайте. Папá хочет, чтобы вы скорее приступили к чтению рукописи. Он торопится с изданием повести, так как выручка с нее им предназначена для помощи переселяющимся духоборам; подробности он уж вам сам расскажет; телеграфируйте ему, когда вы порешите выехать, чтобы вам выслали лошадей на Засеку». Возможно ли! Давнишняя мечта! Не верится... Еду завтра же...»

Назавтра, устроив кое-как свои дела и протелеграфировав Льву Николаевичу, я выехал с ночным поездом в Ясную Поляну ⟨...⟩ [4].

На первой маленькой станции после Тулы—Козловке-Засеке, где надо было сойти с поезда и откуда ехали в Ясную, уже ждали меня лошади. Раннее, серое, непросыпающееся, холодное, сырое утро. Знакомый путь. Вниз, потом в гору. По сторонам не совсем еще опавшее золото осени. Весело бегут лошади. Невзирая на волнение, как всегда, зарисовываю характерные аллюры лошадей: равномерный галоп гнедой пристяжной, качающуюся и заметную лишь по крупу рысь коренного иноходца. Синий кафтан кучера. Надо непременно написать! Трудно зарисовывать,— подкидывает пролетку. Яснополянские знаменитые столбы-ворота. Еще веселее подъем по знаменитой аллее к дому. Еще большее волнение. Лихой поворот к крыльцу. Толстой на крыльце.

Несмотря на ранний час, Лев Николаевич уже поджидал меня на крыльце.

— Ну, вот и прекрасно, что приехали, благодарствуйте!

И опять, как каждый раз при виде дорогого, ласково и радостно встречающего очаровательного Льва Николаевича, в душе какое-то радостное волнение; и снова знакомое ощущение пожатия большой и мягкой, теплой руки.

— Ну, идемте наверх — вот, сначала позавтракайте.

И пока я внизу в знакомой передней снимал шубу, и пока мы по лестницам поднимались наверх в знаменитый белый зал-столовую, где в этот час обыкновенно шумел самовар для одних и приготовлен был для других горячий кофе («вы — кофе или чая?»), Толстой рассказывал мне о своих планах помощи духоборам и что он для этой цели вновь стал писать «художественное» [5] (так у Толстых назывались его художественные произведения, в отличие от религиозно-философских).

В этот раз меня поразили особенная бодрость, какой-то подъем у Толстого [6]. Так бывало с ним каждый раз, когда он давал волю скопившемуся заряду художественного творчества, которое он считал в последний период своей жизни грешным. Таким жизнерадостным, бодрым и веселым я видел его не раз; вместе с ним оживали и близкие его, особенно счастлива была Софья Андреевна; но в этот раз перемена в нем поразила меня особенно сильно.

В доме все еще спали; за завтраком, наливая мне чай, передавая подробности будущей нашей работы, Толстой был как-то нервен, пожалуй, даже нетерпелив. Это выразилось уже в том, как он поджидал меня на крыльце, и в том, как он хлопотал вокруг самовара и почти торопил с завтраком:

— Ну вот, позавтракайте и начните читать.

Особенно поразило меня (чего мне от Толстого никогда не приходилось слышать) то, что, коснувшись своей новой, видимо, увлекшей его повести (обыкновенно он очень неодобрительно отзывался о своих художественных произведениях), он вдруг стал очень серьезен и под конец сказал:

— Это — лучшее, по-моему, из всего, что я когда-либо написал. Я думаю, что вам понравится.

Я устроился внизу, где и прежде живал, и жадно набросился на чтение. «Воскресение» тогда не было еще

большим романом в трех частях, а сравнительно небольшой повестью, размером около трети разросшегося впоследствии романа. Уже с первых строк я почувствовал: ага! опять прежний, настоящий Толстой — «Войны и мира», «Анны Карениной» и т. д. И чем дальше я читал, тем больше приходил в восторг, тем больше вживался в изображенное и — как раньше в его прежних шедеврах — имел перед собой живую, захватывающую натуру, которая меня, как художника, всегда так влекла больше, чем к другим писателям, именно к Толстому. Помню я, как в первый же день, когда я едва успел прочитать несколько глав, Толстой, не скрывая естественного любопытства, тихо вошел ко мне и с добродушным выражением лица спросил:

— Не помешаю? Ну, как находите?

И по тому волнению и восторгу, который невольно сказался в моих словах и в моем лице, Толстому не трудно было удостовериться, что я искренно захвачен началом. Это появление у меня в комнате «автора» было трогательно и характерно для Толстого.

Дни проходили у меня за чтением рукописи и за моими заметками, а к обеду и вечернему чаю все домашние сходились в верхнем белом зале. Лев Николаевич имел обыкновение, гуляя со мной после чая по диагонали зала, расспрашивать меня о моих впечатлениях. Во время этих яснополянских прогулок шли у нас чрезвычайно интересные беседы и обмен мыслями и наблюдениями как из реальной жизни, так и из всего мною прочитанного. Мне удавалось нередко заинтересовать его моими личными наблюдениями и обрисовкой подмеченных мною особенностей во внешности и характере его персонажей, на что, в свою очередь, Толстой, с его удивительным юмором и живостью, рассказывал часто забавные вещи. Так, например, коснувшись намеченного мною изображения лихача Нехлюдова, мы разговорились о лихачах вообще — об этом чисто московском, своеобразном типе с их курьезной, характерной внешностью, грубой манерой обращения и т. д.

Толстой тут же рассказал следующий случай:

— Однажды ночью жена почувствовала себя плохо (это было, кажется, перед ее родами), и я, накинув впопыхах полушубок и какую-то шапку, побежал за доктором. По дороге ни одного извозчика; лишь на Пречистенке наткнулся на лихача. Я к нему: «Ну-ка,

братец, нельзя ли свезти меня поскорее туда-то». Не заметив во мне «барина», не трогаясь с места, он медленно повернул только в мою сторону голову (*тут Л. Н. изобразил этот поворот*), презрительно взглянул на меня через плечо и протяжно и строго процедил: «По силе дерево руби!..»

Но бывало также, что темы в эти прогулки касались, как я потом только понял, очень больных вопросов, часто, быть может, биографического характера. Помню, как, обмениваясь мыслями по поводу прочитанной утром одной из сложнейших сцен «Воскресения» — как Нехлюдов крадется к Катюше в ту памятную ночь, я стал наивно развивать свой взгляд на непростительные укоренившиеся взгляды в высшем обществе, по которым украсть платок сочтется за позорнейшее преступление, а украсть жизнь у соблазненной жертвы не только не зазорно, но, наоборот, создаст такому герою еще какой-то ореол — особливо у дам, что еще бессмысленнее, казалось бы. Нечто в этом роде, видимо, волнуясь и горячась, говорил я, в то время как Толстой, становясь все серьезнее и мрачнее, продолжал со мною шагать по зале, глядел на меня, не спуская глаз, тем особым, испытующим взглядом из-под нависших сдвинутых бровей, который как бы просверливает вас и видит насквозь... Мне даже стало жутко ⟨...⟩.

Так, днем за чтением рукописи, вечерами в беседах с Толстым, прошло несколько незабываемых дней. Увлечение мое прочитанным было так велико, я так живо представлял себе предстоявшую мне художественную работу, которая буквально меня заливала и за которую я хотел скорей взяться дома, что, не дочитав повести до конца (оставалось лишь то, что Толстой дописывал), не думая о предстоящих трудностях и об огромной ответственности, сломя голову решил — берусь! Что будет, то будет — и помчался домой делать первые эскизы, с намерением вскоре вернуться. Времени впереди было достаточно, чтобы успеть создать нечто большое и значительное ⟨...⟩.

Сделав первые эскизы, я помчался снова в Ясную дочитывать роман и заодно показать Толстому мои рисунки [7]. Тут, к моей понятной и великой радости, оказалось, что мои Нехлюдов и Катюша почти портретно передавали неизвестных мне людей, с которых писал и Толстой. Это придало мне еще больше бодрости. Толстой

был в этот приезд особенно весел и жизнерадостен и много шутил. Однажды мы оба сидели внизу, вошла Татьяна Львовна узнать у меня, что для меня приготовить к обеду (Софья Андреевна была в отъезде, и Татьяна Львовна заменяла ее по хозяйству). У Толстых готовили на два стола,— одни ели мясо, другим, как самому Льву Николаевичу, готовили вегетарианское. Лев Николаевич с обычным юмором стал советовать, что мне готовить, и под конец, смеясь, сказал:

— Вот что, Таня, ты вели Леониду Осиповичу (он в это время глядел вдаль — через окно, в парк) зажарить фазана...*

И, призадумавшись, протяжно произнес:

— Да! Когда-то и я был молодым... и Кавказ был молодой... и фазаны были молодые...

И, улыбаясь, обернулся, встал и ушел.

Когда я взялся дочитывать «Воскресение», я ужаснулся. Повесть неимоверно разрослась; хотя и с этим я мог бы к сроку справиться; но Толстой не унимался: раз начав дописывать, он не мог уже остановиться; чем дальше он писал, тем больше увлекался, часто переделывал написанное, менял, вычеркивал, и окончание отодвигалось все дальше и дальше. Тем временем началось уже печатание начала [8]. Техника доставления материала у меня лично была следующая: я готовил большие рисунки и первым делом показывал их Толстому. Немедленно же снимались с них копии, оригиналы посылались для репродукции в Петербург в «Ниву»; копии быстро отсылались для репродукции в Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие города, где печаталось «Воскресение» [9]. Толстой как-то особенно был со мною добр и ценил малейший мой набросок. Иногда мне удавалось вызывать в нем искренний, детский смех. Так, помню, он от души хохотал над рисунком «Закуска у Корчагиных», где генерал уплетает устрицы, или над изображением трех судей, особенно над бородатым, сидящим справа.

— Да вы злее меня!..— смеясь, заметил он.

Большинство же рисунков вызывало в нем очень серьезное и глубокое настроение.

Был и такой случай. Однажды я принес законченную иллюстрацию «После экзекуции». Толстой внимательно

---

* В средней России в деревне фазана достать немыслимо. (*Прим. Л. О. Пастернака.*)

рассматривал ее, не переставая произносить знакомую мне оценку моих рисунков: «Прекрасно, прекрасно!..», выговаривая это слово как-то особенно мягко-кругло. Вдруг голос его дрогнул... показалась слеза, другая... «Прекрасно...» — продолжал он уже взволнованным, еле слышным старческим голосом, не выпуская из рук рисунка... Потом, как бы спохватившись и ударив себя по лбу, вскрикнул:

— Да что я наделал!.. Я ведь телеграфировал Марксу (издателю «Нивы»), чтобы всю эту главу вычеркнуть! Что я наделал!.. Ну, ничего! Я сейчас буду телеграфировать, чтобы ее восстановили, и тогда этот рисунок обязательно надо поместить!

Услыхав это, я, конечно, наотрез отказался: было бы с моей стороны непростительным, чтобы из-за моей иллюстрации Толстой менял план своего творчества. Но Толстой настаивал на непременном и обязательном ее помещении.

— Ну, постойте,— сказал он,— я придумал: я в одном месте текста сделаю небольшое указание на предшествовавшую экзекуцию, и тогда этим оправдается помещение этого рисунка... Нет, нет, обязательно его надо поместить...[10]

И Лев Николаевич тотчас телеграфно отослал желанное добавление ⟨...⟩.

«Воскресение» разрасталось в большой роман. Конца не видно было.

— Когда же вы меня, Лев Николаевич, в Сибирь, наконец, сошлете? — спрашивал я, намекая на предполагавшееся им изображение Сибири и жизни ссыльно-каторжных.

— Скоро, скоро. Сейчас я очень занят отбрасываньем, отсеканьем (при этом рукою отсекал вправо и влево) нагроможденного; делаю то, что на вашем языке называется «в общем»...

В другой раз он жаловался мне, что работа у него идет плохо, что он «никак не может снова подняться на ту высоту», с которой опять работа пойдет легко.

Наконец, печатание «Воскресения» в периодических журналах закончилось; кончились все перипетии и испытания; началось печатание отдельных изданий; об успехе «Воскресения» и о сенсации, которую произвел этот роман, говорить не приходится; но и мой успех превзошел все мои ожидания,— о нем достаточно говорило в свое

время бесконечное количество статей, обширных фельетонов в русской и иностранной печати.

Успех мой исторически зафиксирован Толстым. Однажды мы сидели за вечерним чаем; Толстой из кабинета вынес и подарил мне только что полученную им из Лондона серию моих впервые хорошо репродуцированных иллюстраций.

— Ну, давайте проэкзаменуем вас; давайте ставить вам баллы; * вот за эту — пять с плюсом, за эту тоже пять с плюсом, за эту, пожалуй, пять...

И тут же ставились на рисунках баллы. За небольшим исключением, почти все рисунки получили высший балл. Вся эта коллекция с проставленными баллами, как исторический документ, хранится в Толстовском музее в Москве [11].

В заключение хочу еще привести очень характерное определение Толстым ценности и значения художественного произведения вообще. Когда появились первые репродукции с моих иллюстраций, я единственный, несмотря на восторг издателей и всеобщие похвалы, был в отчаянии, находя, что они совершенно исковеркали мои оригиналы, и готов был запретить их печатание и отказаться от участия. Однако, когда всюду пестрели уже рекламы о моем участии и началось уже печатание, отказ мой был бы сочтен за позорное отступление, за неспособность справиться с взятой на себя задачей; да и контракты не давали мне на это права. Помню, как Толстой, видя мое отчаяние и желая меня утешить, говорил:

— Не огорчайтесь, вы ведь потом выставите свои оригиналы, и их все увидят и оценят; помните, Леонид Осипович, что все на свете пройдет: и царства и троны пройдут; и миллионные капиталы пройдут; и кости, не только наши, но и праправнуков наших, давно сгниют в земле, но если есть в наших произведениях хоть крупица художественная, она одна останется вечно жить!..

* Толстой имел обыкновение прибегать к самому краткому и упрощенному способу оценки — ставить баллы. (*Прим. Л. О. Пастернака.*)

А. Ф. КОНИ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Большинство путешественников, посещавших Швейцарию, конечно, знает высокую гору на озере Четырех кантонов, с которой на высоте шести тысяч футов открывается удивительный вид на лежащую внизу равнину, изрезанную железными дорогами, на поэтический Люцерн, на зеленовато-голубые озера, обрамленные гордыми скалами, и на цепь Альп Бернского Оберланда. Величественным блистаньем их белоснежных вершин при восходе солнца ездят специально любоваться, проводя для этого ночь на вершине Риги, в гостиницах, устроенных на площадке, именуемой Риги-Кульм ⟨...⟩.

Но когда я посетил Риги-Кульм в последний раз летом, в начале прошлого десятилетия, произошло нечто необычное. Собравшиеся в очень раннее утро на вершине обменивались оживленными вопросами и замечаниями, в которых сквозила несомненная тревога по поводу чего-то, что должно было неминуемо, к общей печали, свершиться. Это *что-то* было напечатанное в вечерних газетах известие, что Лев Николаевич Толстой, бывший в это время тяжко болен, находится в безнадежном состоянии и что ежечасно надо ожидать его кончины [1]. И люди, съехавшиеся из разных стран,— немцы, англичане, испанцы и, в особенности, американцы, были удручены одним и тем же. Их, перед восходом вековечного светила, тревожила мысль о том, что, быть может, в это время уже закатилось духовное светило, лучами которого столь многие, чуждые ему по языку и по племени, надеялись осветить запросы неудовлетворенной души и смущенного сердца. И после великолепного зрелища, — заставившего некоторых, без сомнения, почувствовать то, что чувствовал

Кант, созерцая звездное небо, — за ранним завтраком продолжались разговоры о Толстом, причем, узнав, что я русский (и на этот раз единственный в отеле), многие обращались ко мне с вопросами о том, знаю ли я его лично и можно ли верить газетному известию,— и далеко не одно простое любопытство слышалось в их словах ⟨...⟩.

В ясное теплое утро 6 июня 1887 года я сел на станции Ясенки, Московско-Курской железной дороги, в присланную за мною рессорную тележку и направился в Ясную Поляну ⟨...⟩ [2].

Чувство смущения и некоторой досады на себя владело мною, покуда я ехал среди милых картин средне-русской природы. Я знал, что увижу Льва Толстого, и не мельком только, как было в 1863 году в Москве, в гимнастическом заведении (Бильо) на Большой Дмитровке,— проживу под одной с ним кровлей два или три дня и узнаю его ближе; и эта-то именно неизбежность короткого знакомства и вызывала во мне некоторое недовольство на свою поспешную готовность откликнуться на приглашение в Ясную Поляну. Я по опыту знал, что знаменитых или вообще пользующихся известностью людей лучше знать издали и рисовать себе их такими, какими они кажутся по всем деяниям и писаниям. В этом отношении мне не раз приходилось убеждаться, что и «тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Конечно, каждый раз в таком случае приходилось легко находить широкие «смягчающие обстоятельства», но я предпочел бы не видеть таких сторон в жизни и личных свойствах некоторых из этих людей, которые шли вразрез с составившимся о них отвлеченным, восторженным или умиленным представлением. Вот и теперь, думалось мне, я увижу человека, пред глубиной таланта, пред искренностью и глубокой наблюдательностью которого я издавна привык преклоняться, и, быть может, и даже весьма вероятно, увезу с собою другой образ со столь часто встреченными мною в других отталкивающими чертами самолюбования, недоброжелательного отношения к товарищам по оружию и фанатической нетерпимости к чужим убеждениям. Особенно в последнем отношении тревожила меня встреча с Толстым. Его мне часто рисовали ярым спорщиком и человеком, не допускавшим несогласия со своими этическими или религиозными взглядами, а я не люблю спорить, давно уже разделив убеждение, что мнения людей, создавшиеся самостоятельно,

похожи на гвозди: чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят. Соглашаться же безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось.

Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил А. М. Кузминский. Было еще очень рано. Лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку, а затем, уже в десятом часу, все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузминского. Во время общего разговора кто-то сказал: «А вот и Лев Николаевич!» Я быстро обернулся. В двух шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской «Илиады», творец «Войны и мира». Две вещи бросились мне прежде всего в глаза: проницательный и как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пытливой справедливости, чем ласкающей доброты,— одновременный взгляд судьи и мыслителя,— и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой «шапоньки» и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычайно просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце семидесятых годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков [3]. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и невольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь встретились после продолжительной разлуки.

После чая мы пошли гулять втроем, но Толстого постоянно останавливали различные лица из домашних и из окрестных жителей, так что в первый день я мог более ознакомиться с его обстановкой, чем с ним самим.

Жизнь в Ясной Поляне в это время отличалась большой регулярностью и, если можно так выразиться, разумным однообразием. Все, и в том числе Лев Николаевич, вставали для деревни довольно поздно, около

девяти часов утра. До одиннадцати продолжалось питье чая, иногда в несколько приемов, ввиду того, что в Ясной одновременно жили дети, молодежь, взрослые и старики. В одиннадцать часов Лев Николаевич шел к себе, читал почту и газеты и принимал посетителей, которые наезжали в Ясную ежедневно. Одни приносили действительно измученное сердце, терзаемое каким-нибудь роковым вопросом, ответа на который они жадно ждали от Толстого; другие, преимущественно иностранцы,— бескорыстное, но подчас назойливое любопытство; третьи — тщеславное намерение иметь основание похвастаться разговором с «великим писателем земли русской»; четвертые являлись просто просителями денежной помощи, представлявшими из себя целую гамму отношений к хозяину Ясной, начиная от застенчивой скромности и кончая напускной развязностью, иногда граничившею с вымогательством; пятые — корыстную любознательность репортеров и интервьюеров, которая сквозила в «беспокойной ловкости» их взгляда, как будто перелагавшего, в быстром соображении, каждую слышанную фразу или предмет обстановки в то или другое количество печатных строчек. Толстой сносил их всех без благодушной и услужливой чувствительности или безразличного сочувствия, но терпеливо и, где нужно, с серьезным участием, а жена его, Софья Андреевна, нередко простирала на приезжих свое хлебосольное гостеприимство. К часу все собирались завтракать, и вслед за тем Лев Николаевич уходил к себе, запирался и становился невидимым для всех до пяти часов, когда он выходил пройтись по деревне и по парку после усиленного труда за письменным столом. В шесть часов все обедали сытно и вкусно, причем хозяину подавались блюда растительной пищи. Полчаса после обеда проводились на террасе, выходящей в сад, за питьем кофе и курением. Приезжали знакомые из Тулы, приходили деревенские дети, чтобы играть под руководством детей Льва Николаевича или бегать с криками нескрываемого восторга на гигантских шагах. Лев Николаевич слушал детский шум и хохот, обменивался короткими фразами с окружающими и... курил папиросу самодельной работы! Тогда он еще позволял себе эту «слабость». После семи часов все общество поднималось и под его предводительством совершало обширную, более чем двухчасовую прогулку. В это время, то отставая от всех, то их опережая, Лев Николаевич вел оживленную беседу с кем-либо из

гостей или рассказывал что-либо той манерой, о которой я скажу ниже. Около половины десятого все возвращались к самовару, простокваше и легким закускам, и начиналась непринужденная общая беседа, иногда прерываемая желанием послушать пение молодежи, которая исполняла хором цыганские песни или знакомила нас с местными «частушками», вытесняющими, к несчастию, старую русскую песню. Лев Николаевич весело улыбался, прислушиваясь к тому, как молодые голоса выводили: «Били-били в барабан по всем городам», «Конфета моя леденистая, полюбила меня — молодца раменистого», «Наше сердце не картошка — его не выбросишь в окошко», «Дайте ножик, дайте вилку — я зарежу свово милку», «Стоит миленький дружочек — с выражением лица» и т. п. Около полуночи все расходились.

Все это происходило в обширном флигеле, уцелевшем от сгоревшего когда-то большого дома. На всем виднелись следы былого прочного довольства и зажиточности. Но все — и обстановка, и стены, и двери, и лестницы — было сильно тронуто временем и, очевидно, давно не знало эстетического ремонта. Мебель была старая, хотя и довольно удобная, но в небольшом количестве. Нигде не было никаких признаков роскоши и чего-либо похожего на разные bibelots и petits-riens *, которыми полны наши гостиные, и развешанные без всякой симметрии по стенам портреты предков довольно угрюмо выглядывали из старых и местами облезлых рам.

Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузминскими, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауэра. Тут же, у стены, в ящике лежали орудия и материалы сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время «Анна Каренина» и «Война и мир». У полок с книгами в этой части комнаты для меня была поставлена кровать. Здесь в течение дня работал Лев

* безделушки (*франц.*).

Николаевич. Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копошился в большей ее части, покуда я разделся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели. Так поступил и Толстой. Сел на краешек, начал задушевный разговор — и обдал меня сиянием своей душевной силы.

С тех пор все дни моего пребывания в Ясной проводились и оканчивались описанным образом. Иногда, простившись со мною, Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение, и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. «А какого вы мнения о Некрасове»? — спросил он меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и, во всяком случае, считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. «Он был, — продолжал я,— одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но *порочный* человек не всегда *дурной* человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые *хорошие люди* подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми низменной скупости и черствой расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинною добротою. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди — почти всегда пьяные люди, и пьяные люди — всегда добрые люди. Наконец, история нам оставила примеры «явных прелюбодеев», проникнутых глубоким человеколюбием и вне служения своим страстям явивших образцы гражданской доблести и глубины мысли. Выслушав это мнение,

Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на «краешек», сказал мне радостно: «Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил,— это различие необходимо делать!» И между нами снова началась длинная беседа на эту тему 〈...〉[4].

Меня, конечно, очень интересовало отношение Толстого к крестьянам, про которое ходило столько разнообразных и оригинальных слухов 〈...〉. Отношения между семьею графа и соседями были просты и естественны. Обитатели яснополянского дома были старыми и добрыми знакомыми, готовыми во всякое время прийти на помощь в болезни, несчастии и недостаче, — лечить и советовать, похлопотать и понять чужую скорбь. Все это, однако, совершалось без заигрыванья и заискиванья и без холодного, брезгливого исполнения долга по отношению к «меньшому брату». Таким же характером отличалось и обращение крестьян со Львом Николаевичем 〈...〉. В их глазах Толстой был не только участливый, но и сведущий человек. Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили: «Это мужик умственный, хотя и барин». В одну из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется, в Киев или в Оптину пустынь[5], — причем спутники считали его за *своего* и поэтому не стеснялись его присутствием,— с тонким юмором рассказывал мне про презрительные отзывы о «господишках», которые ему приходилось слышать в пути и на постоялых дворах 〈...〉. Иногда в беседе крестьян с ним звучали и задушевные нотки.

Эти беседы припомнились с особенной яркостью несколько лет спустя в Москве, когда мне пришлось присутствовать при небольшом споре Толстого по поводу смысла брака как начала семейной жизни. Нахмурив брови, слушал он, как при нем один из присутствующих говорил о *рискованном* браке знакомой девушки, вышедшей замуж за человека «без положения и средств». «Да разве *это* нужно для семейного счастья?» — спросил Толстой. «Конечно,— ответил стоявший на своем собеседник, — вы-то, Лев Николаевич, считаете это вздором, а жизнь показывает другое...» Толстой пожал плечами и, обращаясь ко мне, сказал: «Я понимаю семейное счастье иначе и часто вспоминаю мой разговор в Ясной Поляне, много лет назад, с крестьянином Гордеем Деевым. «Что ты невесел, Гордей, о чем закручинился?» — «Горе у

меня большое, Лев Николаевич: жена моя померла».— «Что ж, молодая она у тебя была?» — «Нет, какой молодая! На много лет старше: не по своей воле женился». — «Что ж, работница была хорошая?» — «Какое! Хворая была. Лет десять с печи не слезала. Ничего работать не могла». — «Ну так что ж? Тебе, пожалуй, теперь легче станет».— «Эх, батюшка Лев Николаевич, как можно легче! Прежде, бывало, приду в какое ни на есть время в избу с работы или так просто — она с печи на меня, бывало, посмотрит да и спрашивает: «Гордей, а Гордей! Да ты нынче ел ли?» А теперь уже этого никто не спросит...» — Так вот какое чувство дает смысл и счастье семье, а не «положение»,— заключил Толстой ⟨...⟩.

Однажды в саду, за послеобеденной беседой, зашел разговор о том, что самое тяжелое в жизни. Указывали на роль слепого случая, который разбивает все планы и так часто в корне подрывает целое существование. Один из приезжих случайных гостей, из тех «добрых малых», у которых слово иногда бежит впереди мысли, а не сопутствует ей, стал утверждать, что всего больше ему было бы тяжело материальное изменение его личного положения вроде внезапного разорения или потери службы, сопряженных с непривычными для него лишениями. В это время подошел Толстой и спросил, в чем дело. «Случайность не должна иметь значения в жизни, — сказал он, — надо жить самому, воспитывать детей и приготовлять окружающую среду так, чтобы для случайности оставалось как можно менее места. Для этого надо направлять всю жизнь к уничтожению в ней понятия о несчастии. Человек обязан быть счастлив, как обязан быть чистоплотным. Несчастье же состоит прежде всего в невозможности удовлетворять своим потребностям. Поэтому чем меньше потребностей у человека, тем меньше поводов быть несчастным. Тогда, когда человек сведет свои потребности к минимуму необходимого, он вырвет жало у несчастия и обезвредит последнее, и тогда в самом сознании, что им устранены условия несчастья, он почерпнет сознание счастья» ⟨...⟩ [6].

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил Толстой. Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям и наблюдениям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других

мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни ⟨...⟩. Совсем иным характером отличалось слово Толстого. За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно точно по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключались его цель и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, как от потока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно ⟨...⟩.

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в моем дневнике ⟨...⟩. Мне хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально выливалось из уст Льва Николаевича.

«В каждом литературном произведении, — говорил он,— надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника [7]. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного совершенства сам собою. У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви» ⟨...⟩.

«У современной критики (конец восьмидесятых годов) писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать pour le gros du public *. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда

* для широкой публики (*франц.*).

не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать» 〈...〉.

«Язык большей части русских писателей страдает массою лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц бледный и огромный» — что противоречит действительности, или — «сжатые зубы виднелись сквозь открытые губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писательниц. Чем они бездарней, тем они болтливей. Прочитав иногда несколько страниц такой болтовни, хочется сказать: молчала бы ты лучше, а то вот теперь все узнают, какая ты умница! Настоящий учитель литературного языка — Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно представить себе, каким языком каждое из них должно говорить».

«Природа лучше человека. В ней нет раздвоения, она всегда последовательна. Ее следует везде любить, ибо она везде прекрасна и везде и всегда трудится. Тургенев рассказывал, что, охотясь, он проводил иногда на опушке леса целую ночь без сна, прислушиваясь к тому, как природа работает ночью. И ему казалось, что она тяжело дышит и по временам в своем творческом труде говорит: «Уф! уф!» Самарские степи, например, днем, под палящим солнцем, однообразны и могут наскучить. Но какая прелесть ночью, когда земля дышит полною грудью, а над нею раскинут необъятный купол неба, и к нему несутся с земли нежные звуки, издаваемые жабами...»

«Человек, однако, все умеет испортить, и Руссо вполне прав, когда говорит, что все, что вышло из рук творца, — прекрасно, а все, что из рук человека, — негодно [8]. В человеке вообще нет цельности. Он роковым образом осужден на раздвоение: если в нем побеждает скот, то это нравственная смерть; если побеждает человечное, в лучшем смысле слова, то эта победа часто сопровождается таким презрением к самому себе и отчаянием за других, что

почти неизбежна смерть, и притом очень часто от собственной руки. Но бояться смерти не надо. Надо о ней думать как можно чаще: это облагораживает человека и часто удерживает его от падения. Но большинство смотрит не так. Обыкновенно, когда человек подымается над плоскостью обыденной жизни, он ясно видит с этой высоты вдали бездну смерти. Напуганный этим, он тотчас опускается в житейскую пошлость, — старается занять такое положение, чтобы не видеть этой бездны и готов сидеть все время на корточках, только бы забыть о ней. А ведь, в сущности, труднее понять, как *можно жить*, чем как *можно умереть*. То, что дается опытом жизни, чувствуется, но редко может быть доказано. Поэтому старые люди часто замыкаются в себе и уединяются. Но это не потому, что им нечего сказать, а потому, что молодость, которая не имеет чувства опыта, их не понимает».

«У нас легко раздают титул добрых людей и любят замалчивать ужасные общественные явления, после того как они перестали существовать, как будто они не могут повториться, только в другой форме. Так у нас началось замалчивание крепостного права и его ужасов, как только крестьяне были освобождены. И люди и отношения были покрыты забвением. Я знал, например, одного вице-губернатора, пользовавшегося всеобщею любовью и считаемого очень добрым. Он прекрасно вышивал по канве и был «душою общества», а между тем за ним считалось несколько засеченных насмерть крестьян. Вообще человеческая жестокость часто только лишь меняет формы или внезапно проявляется там, где ее никак нельзя было ожидать. В конце семидесятых годов один очень крупный сановник, слывший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными. «Я его, — прибавил, окончив этот рассказ, Толстой, — попросил больше меня не посещать» ⟨...⟩ [9].

Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям и рассказывать Толстому, как нередко я видел на практике осуществление справедливости мнения о том, что почти всякое прегрешение против нравственного закона наказывается еще в этой жизни на земле. Между этими воспоминаниями находилось одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича.

Когда я был прокурором Петербургского окружного суда, в первой половине семидесятых годов, ко мне в камеру однажды пришел молодой человек с бледным, выразительным лицом и беспокойными, горящими глазами, обличавшими внутреннюю тревогу. Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора, заведовавшего тюремными помещениями и отказавшего ему в передаче письма арестантке по имени Розалия Онни, без предварительного его прочтения. Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава и отступление от него не представляется возможным, ибо составило бы привилегию одним, в ущерб другим. «Тогда прочтите вы,— сказал он мне, волнуясь,— и прикажите передать письмо Розалии Онни». Эта была чухонка-проститутка, судившаяся с присяжными за кражу у пьяного «гостя» ста рублей, спрятанных затем ее хозяйкой — вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной, где сеанс животной любви оценивался чуть ли не в пятьдесят копеек. На суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с циническою откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую «мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока», но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на четыре месяца тюремного заключения. «Хорошо,— сказал я пришедшему,— я даже не буду читать вашего письма. Скажите мне лишь в самых общих чертах, о чем вы пишете?» — «Я прошу ее руки и надеюсь, что она примет мое предложение, так что мы можем скоро и перевенчаться».— «Нет, этого не может быть так скоро, ибо ей придется высидеть весь свой срок, и браки с содержащимися в тюрьме

разрешаются тюремным начальством лишь в исключительных случаях, когда один из брачущихся должен оставить Петербург и быть сослан или выслан на родину. Вы ведь дворянин?» — «Да»,— ответил он и на дальнейшие мои расспросы назвал мне старую дворянскую фамилию из одной из внутренних губерний России, объяснив, что кончил курс в высшем привилегированном заведении и состоит при одном из министерств, занимаясь в то же время частными работами». Вот видите,— сказал я,— после вашего бракосочетания Розалию пришлось бы перевести в отделение привилегированных по правам состояния женщин, а что они такое — вы сами можете себе представить. Между тем там, где она находится ныне, среди непривилегированных арестанток, устроены превосходно организованные работы, и к окончанию срока она будет знать какое-либо ремесло, что при превратностях судьбы ей может пригодиться. Притом же перевод ее в *господское* отделение неминуемо произвел бы дурное нравственное впечатление на содержащихся с нею вместе. Поэтому лучше было бы не настаивать на отступлении в данном случае от общего правила. Если она примет ваше предложение, я прикажу допустить вас до свиданий с нею без свидетелей и когда хотите». Он передал мне письмо и собирался уходить, когда я снова пригласил его присесть и, испросив его разрешения говорить с ним как честный человек и откровенно, вступил с ним в следующий разговор: «Где вы познакомились с Розалией Онни?» — «Я видел ее в суде». — «Чем же она вас поразила? Наружностью?» — «Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел». — «Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней?» — «Я дело знаю: я был присяжным заседателем по нему».— «Думаете ли вы, выражаясь словами Некрасова, «извлекши ее падшую душу из мрака заблужденья» [10], переродить ее и заставить ее забыть свое прошлое и его тяжелые нравственные условия?» — «Нет, я буду очень занят и, может быть, буду приходить домой только обедать и ночевать». — «Считаете ли вы возможным познакомить ее с вашими ближайшими родными и ввести ее в их круг?» Мой собеседник покачал отрицательно головой. «Но в таком случае она будет в полной праздности. Не боитесь вы, что прошлое возьмет над нею силу, на этот раз уже без некоторого оправдания в бедности и бесприютности? Что может между

вами быть общего, раз у вас нет даже общих воспоминаний? Ваша семейная жизнь может представить для вас, при различии вашего развития и положения, настоящий ад, да и для нее не станет раем! Наконец, подумайте, какую мать вы дадите вашим детям!» Он встал и начал ходить в большом волнении по моему служебному кабинету, дрожащими руками налил себе стакан воды и, немного успокоившись, сказал отрывисто: «Вы совершенно правы, но я все-таки женюсь». — «Не лучше ли вам, — продолжал я, — ближе узнать ее, устроить ей по выходе из тюрьмы благоприятные условия жизни и возможность честного заработка, а затем уже, увидев, что она сознала всю грязь своей прежней жизни и искренне вступила на другой путь, связать свою жизнь с нею навсегда? Как бы не пришлось вам раскаиваться в своем поспешном великодушии и начать жалеть о сделанном шаге! Ведь такое запоздалое сожаление, без возможности исправить сделанное, составляет очень часто корень взаимного несчастия и озлобления. Спасти погибающую в рядах проституции девушку — дело высокое, но мне не думается, чтобы женитьба была в данном случае единственным средством, и я боюсь, что приносимая вами жертва окажется бесплодной или далеко превзойдет достигнутые ею результаты. Не лучше ли сначала приглядеться к той, о ком мы говорим... Мне в качестве прокурора приходилось слышать в этом самом кабинете признания и заявления о совершающемся или имеющем совершиться преступлении, движущие побуждения к которому иногда были вызваны именно жертвами, напрасными с одной стороны и непонятными с другой...»

Мой собеседник очень задумался, молча и крепко пожал мне руку и ушел. На другой день я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за мой с ним разговор, говоря, что, несмотря на то, что я, по-видимому, немногим старше его, ему в моих словах слышался голос любящего отца, который совершенно прав в своих опасениях. Подтверждая, однако, свою твердую решимость жениться, он просил меня, в виде исключения, все-таки оказать своим влиянием содействие к тому, чтобы тюремное начальство не препятствовало ему немедленно венчаться с Розалией. Я не успел еще ответить на это письмо, как поступил ответ Розалии Онни, переданный смотрителем тюрьмы, в котором она без-

грамотными каракулями заявляла о своем согласии вступить в брак. А через день после этого я получил от моего собеседника крайне резкое и почти ругательное письмо, в котором он критиковал мое, как он выражался, «вмешательство в его личные планы». Не желая содействовать несчастию, к которому стремился этот нервно возбужденный человек, я, несмотря на это письмо, все-таки уклонился от участия в осуществлении его желания и твердо отклонил оказанное на меня в этом отношении давление со стороны дамского тюремного комитета и одной из великих княгинь, которую, по-видимому, разжалобил мой собеседник романическою стороною своего намерения. Между тем наступил пост и вопрос о немедленном браке упал сам собою. Мой собеседник стал видеться довольно часто с Розалией, причем в первое же свидание она должна была ему объяснить, что вызвана из карцера, где содержалась за неистовую брань площадными словами, которою она осыпала заключенных вместе с нею. Он возил ей разные предметы для приданого: белье, браслеты и материи. Она рассматривала это с восторгом, и затем все принималось на хранение в цейхгауз на ее имя. В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. Ее жених был, видимо, поражен известием об этой смерти, когда явился на свидание, — и в память Розалии пожертвовал подготовленное для нее приданое в пользу приюта арестантских детей женского пола. Затем он сошел с моего горизонта, и лишь через много лет его фамилия промелькнула передо мною в приказе о назначении вице-губернатора одной из внутренних губерний России. Но, быть может, это был и не он.

Месяца через три после этого почтенная старушка, смотрительница женского отделения тюрьмы, рассказала мне, что Розалия, будучи очень доброй девушкой, ее полюбила и объяснила ей, почему этот господин хочет на ней жениться. Оказалось, что она была дочерью вдовца, арендатора в одной из финляндских губерний мызы, принадлежавшей богатой даме в Петербурге. Почувствовав себя больным, отец ее отправился в Петербург и, узнав на амбулаторном приеме, что у него рак желудка и что жить остается недолго, пошел просить собственницу мызы не оставить его будущую круглую сироту дочь. Это было обещано, и девочка после его смерти была взята в дом. Ее сначала наряжали, бало-

вали и портили ей желудок конфетами, но потом настали другие злобы дня или она попросту надоела и ее сдали в девичью, где она среди всякой челяди и воспитывалась до 16-летнего возраста, покуда на нее не обратил внимание только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек — родственник хозяйки, впоследствии жених тюремной сиделицы. Гостя у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда оказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с негодованием вон... не родственника, как бы следовало, а Розалию. Брошенная затем своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала спускаться со ступеньки на ступеньку, покуда, наконец, не очутилась в притоне около Сенной. А молодой человек между тем, побывав на родине, в провинции, переселился в Петербург и тут вступил в общую колею деловой и умственной жизни. И вот в один прекрасный день судьба послала ему быть присяжным в окружном суде, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву своей молодой и эгоистической страсти. Можно себе представить, что пережил он, прежде чем решиться пожертвовать ей во искупление своего греха всем: свободой, именем и, быть может, каким-либо другим глубоким чувством. Вот почему так настойчиво требовал он осуществления того своего права, которое великий германский философ называет *правом на наказание*.

Глубокий и сокровенный смысл этого происшествия оставил во мне сильное впечатление. На мой взгляд, это было не простым случаем, а было откровением нравственного закона, было тем проявлением высшей справедливости, которая выражается в пословице: «Бог правду видит, да не скоро скажет»〈...〉.

Рассказ о деле Розалии Онни был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал мне, что ночью много думал по поводу его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне советовал написать этот рассказ для «Посредника» 〈...〉[11]. А месяца через два после моего возвращения из Ясной Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивает меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ? Я отвечал обращенной к нему горячею просьбою написать на этот сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое мо-

ральное влияние [12]. Толстой, как я слышал, принимался писать несколько раз, оставлял и снова приступал. В августе 1895 года, на мой вопрос, он писал мне: «Пишу я, правда, тот сюжет, который вы рассказывали мне, но я так никогда не знаю, что выйдет из того, что я пишу, и куда оно меня заведет, что я сам не знаю, что я пишу теперь». Наконец, через одиннадцать лет у него вылилось его удивительное «Воскресение» [13], произведшее, как мне известно из многих источников, сильнейшее впечатление на души многих молодых людей и заставившее их произвести по отношению к самим себе и к житейским отношениям нравственную переоценку ценностей.

Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенной яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей верстах в семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество [14]. Лев Николаевич предложил мне идти пешком и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: «Уйдем!» Мы так и сделали, удалившись, по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти назад пешком, ибо в этот день мы уже утром сделали большую полуторачасовую прогулку, причем Толстой, с удивительной для его лет гибкостью и легкостью, взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки, быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании «катков» (так называется в этой местности экипаж вроде длинных дрог или линейки). Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец мы заслышали вдалеке шум приближающихся «катков». Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: «Пойдемте, пожалуйста, пешком!» Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжествующе понес ее домой в руках, причем исходивший из нее сильный зеленоватый, фосфорический свет озарял его оживлен-

ное лицо. Он теперь точно стоит передо мною под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души.

Я пробыл в Ясной Поляне пять или шесть дней. В день отъезда, рано утром, мы вышли со Львом Николаевичем пешком на станцию Козлова-Засека и там сердечно простились. Я долго смотрел из окна удалявшегося поезда на его милую типическую фигуру с незабываемым русским мужицким лицом, стоявшую на платформе. Сердце мое было исполнено благодарностью судьбе, пославшей мне не одно близкое духовное общение с ним, но и сознание, что я увожу в моей душе его образ не только не потускневшим, но даже выше и краше, чем тот, который рисовался мне, когда между строк его великих произведений я старался разглядеть душу автора ⟨...⟩. Это чувство прошло нескоро, оставив во мне после себя ясное сознание, что, даже не во всем соглашаясь с Толстым, надо считать особым даром судьбы возможность видеться с ним и совершить то, что я впоследствии не раз называл *дезинфекцией души*.

После первого знакомства с Л. Н. Толстым между нами установились добрые и сочувственные личные отношения ⟨...⟩. Его отношение ко мне я могу объяснить лишь тем, что он не усмотрел в моих взглядах и деятельности проявления того, что вызывало его несочувственный взгляд на наше судебное дело и суровое осуждение им некоторых сторон в деятельности служителей последнего. «Воскресение» послужило впоследствии выражением такого его взгляда. Со сдержанным негодованием передавал он мне эпизоды из его призыва в качестве присяжного заседателя в Тулу и свои наблюдения над различными эпизодами судоговорения и над отдельными лицами из судебного персонала и адвокатуры ⟨...⟩.

Мы виделись затем в 1898 году ⟨...⟩. В это время он писал свое сочинение об искусстве и ходил, между прочим, в театр присутствовать при репетиции. С непередаваемым юмором рассказывал он свои впечатления и описывал, как хористы поют какую-то чувствительную бессмыслицу, а ближайший руководитель уже вовсе не сентиментально на них покрикивает [15]. В день отъезда я заехал к нему проститься, но слуга сказал мне,

что Лев Николаевич уехал кататься на велосипеде и вернется лишь часа через два. Я не мог ожидать и думал, что в этот раз его больше не увижу. Но перед самым моим отъездом из гостиницы «Континенталь», на Театральной площади, к крыльцу подскакал всадник, и это оказался Толстой, которому уже было семьдесят лет 〈...〉.

Лишь в 1904 году, на пасхе, я снова посетил, и, может быть, уже в последний раз, Ясную Поляну 〈...〉.

Я нашел на этот раз Льва Николаевича физически сильно состарившимся, осунувшимся и похудевшим. Было очевидно, что предшествующие годы болезни оставили на нем глубокий след, но след, конечно, физический, а не духовный. В последнем отношении я заметил в нем только одну особенность против прежнего. Он стал еще мягче и снисходительнее к другим и строже к самому себе 〈...〉. Он весь был против пагубной войны [16], на которую высокомерная «волокита» нашей дипломатии и наша самонадеянная неподготовленность и презрение к урокам истории толкнули Японию с давно ею затаенным оскорблением своего национального чувства. Но его русское сердце сжималось с тоскою и тревогой по поводу результатов предстоящей бойни. При мне пришло известие о гибели Макарова [17], чрезвычайно его расстроившее. Он интересовался всеми телеграммами, ездил за ними сам в Тулу верхом и постоянно возвращался в разговорах к случившемуся. Дурная погода и весенний разлив мешали нам предпринимать прогулки, и он проводил большую часть дня дома, где все, кроме него, вставали довольно поздно. Мы же сходились утром вдвоем за чаем в восемь часов и подолгу беседовали вечером в его маленьком кабинете, куда он зазывал меня перед сном и где опять повторялись старые задушевные разговоры, как семнадцать лет назад, только на этот раз уже я сиживал около его постели. По вечерам он иногда читал вслух с удивительной простотой и в то же время выразительностью. Так, мне помнится особенно ярко чтение им рассказа Куприна «В казарме» [18]. Он признавал большой талант за этим писателем.

В эти памятные для меня дни он дал мне прочесть в рукописи три своих произведения: «Божеское и человеческое», «После бала» и «Хаджи-Мурат» и неоконченный трактат о Шекспире 〈...〉 [19].

Смена родных, приезд знакомых и разных иностранцев мешали мне насладиться Львом Николаевичем «всласть». Но тем не менее и на этот раз я увез из Ясной Поляны несколько художественных образов, мелькнувших в рассказах Толстого, и теплое воспоминание о наших беседах. Последние часто касались вопросов веры. В обсуждение их Лев Николаевич вносил особую задушевность. Видно было, что в том возрасте, в котором большинство склонных к мышлению людей обращается по отношению к интересовавшим их когда-то нравственным и религиозным вопросам в то, что Бисмарк называл «line beur-laubte leiche» *, Толстой живет полной жизнью. Его тревожат и волнуют эти вопросы, и он является «взыскующим града», пытливо вдумываясь в их наиболее приемлемое душою объяснение. Так, однажды вечером он сказал мне, что его интересует вопрос о том, возможно ли и мыслимо ли за гробом индивидуальное существование души или же она сольется со всем остальным миром и существование ее будет, так сказать, космическое. Я рассказал ему об одном своем приятеле, который твердо и горячо убежден, что душа сохранит или, вернее, выразит свою земную индивидуальность, воплотившись в какую-нибудь неведомую, но, конечно, более совершенную форму, причем для нее, как это бывает в сновидениях, не будет двух ограничительных в нашем земном бытии условий: времени и пространства. Утром на другой день Толстой сказал мне при первой нашей встрече, что много думал ночью о нашем разговоре и согласен со взглядом моего приятеля. «Да! — прибавил он. — За гробом будет индивидуальное существование, а не нирвана и не слияние с мировой душой».

«Меня интересует, — сказал он в другой раз, — как представляете вы себе наши отношения к Хозяину и считаете ли, что должно существовать возмездие в будущей жизни?» Я высказал ему свой взгляд на веру в бога как на непреложное убеждение в существовании вечного и неизбежного свидетеля всех наших мыслей, поступков и побуждений, благодаря чему человек никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает *один*. Это сознание вместе с мыслью о смерти и следующей за нею жизнью, в которой наступит ответственность,

* уволенный в отпуск труп (*нем.*).

должно руководить земною жизнью человека и связывать его с Хозяином. Не быть в этом отношении «рабом ленивым и лукавым» — нравственная задача человека. Ответственность и возмездие, конечно, не могут быть понимаемы в материальном смысле или в образах, созданных необходимостью подействовать на воображение. Как «царство божие внутрь нас есть», так и ад и рай внутрь нас... Мне думается, что наша душа, освобожденная от бренного футляра — тела, получит возможность великого по своему объему и глубине созерцания и увидит земную жизнь свою сразу во всем ее течении, как реку на ландкарте, со всеми ее извивами и разветвлениями. Пред лицом вечной правды и добра познает она свои умышленные заблуждения и сознательно причиненное зло, но увидит также и добрые струи, оплодотворившие прибрежную почву. И в этом будет ее радость, и в этом будет мзда, потому что сознание зла, которого нельзя уже исправить и заменить добром, есть тяжкое возмездие. «Как я рад, — сказал Толстой, — что вы *так* смотрите и что мы так сходимся во взгляде на будущую жизнь. Я всегда так рад, когда встречаю людей, не верящих в смерть как в уничтожение. Мне нравится и это изображение реки. Да, реки! Именно реки!» И между нами долго еще продолжалась одна из тех бесед, после которых жить становится легче и бодрее.

И в это мое посещение я мог снова убедиться в той благородной терпимости и деликатности, с которыми Лев Николаевич относится к чужим убеждениям и чувствам, даже когда они идут вразрез с его взглядом, но если только они искренни и не вредоносны сами по себе. Известен его взгляд на Христа и на многие коренные догматы, вытекающие из пророчеств и из творений евангелистов. Строго разграничивая этическое содержание Евангелия от исторического и учение Иисуса Христа от его жизни и личности и ставя его на первое место в ряду великих нравственных мыслителей, как завещавшего миру вековечный и непревзойденный закон кротости и человеколюбия, Толстой не может не встречать горячих и упорных возражений со стороны тех, кто считает, что невозможно выбирать из Евангелия лишь часть — этическое учение — и, восторженно воспринимая ее, одновременно отвергать все остальное и тем вырывать из сердца таинственные и пленительные образы, делающие из этого учения предмет не только

сочувствия, но и веры. Мне пришлось испытать, как мягко в обмене мнений об этом относится Лев Николаевич к тому, что он считает «заблуждением», и как тщательно избегает он того, что может оскорбить или уязвить религиозное чувство своего «совопросника». Мне казалось, что, даже считая свою точку зрения непоколебимою, он разделяет прекрасные слова Герцена о том, что есть целая пропасть между теоретическим отрицанием и практическим отречением — и что сердце плачет и не может расстаться, когда холодный рассудок уже постановил свой приговор...

С таким отношением к собеседнику идет как бы вразрез страстный и беспощадный подчас способ выражений, употребляемый, особенно в последние годы, Львом Николаевичем в своих произведениях, касающихся вопросов политики или религии. Но это объясняется тем, что, имея перед собою безличного, собирательного читателя, настроение и степень восприимчивости которого неизвестны, и притом не споря с ним, а лишь излагая свое мнение, он не имеет повода стесняться выбором выражений, заботясь лишь о том, чтоб возможно сильней и глубже высказать свою мысль. Притом он постоянно думает о смерти (это сквозит, а иногда и прямо выражено во многих письмах его ко мне), а частые тяжелые болезни заставляют его считать ее близкою. А между тем душа его не стареет, живет, горит любовью, волнуется справедливым гневом на то, что Христос имеет множество слуг и мало последователей, — жаждет и ищет правды и отвергает всякую условность и житейские компромиссы. Мера того, что накопляется в ней, что надо высказать, гораздо больше меры «судьбой отсчитанных дней», — приходится торопиться и страстным словом закрепить то, что еще хочется и можно успеть сказать перед уходом... Есть очень выразительная испанская поговорка: «Кричать устами своей раны (per la bocca de su herida)». Так иногда устами своей раны кричит этот изведавший, наблюдавший и душевно выстрадавший жизнь старец 〈...〉.

И в это наше свидание в Ясной Поляне я видел, как по-прежнему останавливали на себе вдумчивое внимание Льва Николаевича житейские картины, таившие в себе внутренний смысл или нравственное поучение, и как по-старому же блистал непроизвольным юмором его рассказ, когда он бывал в духе. Так, например, он вы-

сказал ряд глубоких мыслей о той жадной и близорукой погоне за суетным житейским счастьем, которое так часто, со справедливой безжалостностью, прерывается внезапно налетевшей смертью. Это было вызвано рассказом моим об одном петербургском сановнике, человеке в душе недурном и вовсе не злом, но который, снедаемый честолюбием, всю жизнь хитрил, лицедействовал, ломал свое сердце и совесть, напускал на себя желательную и угодную, по его мнению, суровость, стараясь выставить себя «опорою» в сфере своей деятельности, имевшей дело с живым и чувствующим материалом. Человек бедный и семейный, он долгое время не мог собраться со средствами, чтобы «построить» себе дорогой, вышитый золотом мундир, и откладывал для этого особые сбережения. Наконец мундир был готов, и его оставалось надеть на придворный бал или торжественный выход, чтобы, в горделивом сознании своего официального величия, проследовать между второстепенными сановниками и городскими дамами. Но ни бала, ни выхода в скором времени не предстояло, а между тем наступало лето, и он собственноручно, с величайшей осторожностью, уложил свой восьмисотрублевый мундир в ящик, посыпав его, оберегая от моли, нафталином. Осенью 26 ноября, ко дню Георгиевского праздника, он вынул мундир — предмет стольких вожделений,— и о, ужас! Все драгоценное золотое шитье оказалось черным от нафталина. Через полгода его служебно-акробатические упражнения прекратились навсегда. За бортом гроба, на высоком катафалке, виднелось восковое бритое лицо покойника, с длинным заострившимся носом и недоумевающею складкой тонких губ. Казалось, что ирония судьбы способна пойти еще дальше и, пожалуй, могла бы надоумить прислугу положить его в гроб именно в мундире с почерневшим шитьем. «Этот образ,— сказал мне Толстой,— говорит гораздо больше, чем длинные рассуждения, и этой мыслью следовало бы когда-нибудь воспользоваться» ⟨...⟩.

Таковы мои воспоминания о Л. Н. Толстом. В них не выражено главного, не поддающегося описанию: его влияния на душу собеседника, того внутреннего огня его, к которому можно приложить слова Пушкина: «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует» [20].

Тот, кто узнал его ближе, не может не молить судьбу продлить его жизнь. Она дорога для всех, кому дорого искание правды в жизни и кому свойственно то, что Пушкин называл «роптаньем вечным души», а Некрасов «святым беспокойством»...[21] Можно далеко не во всем с ним соглашаться и находить многое, им проповедуемое, практически недостижимым. Можно, в некоторых случаях, не иметь сил или уменья подняться до него, но важно, но успокоительно знать, что он есть, что он существует как живой выразитель волнующих ум и сердце дум, как нравственный судья движений человеческой мысли и совести, относительно которого почти наверное у каждого, вошедшего с ним в общение, в минуты колебаний, когда грозят кругом облепить житейские грязь и ложь, настойчиво и спасительно встает в душе вопрос: «А что скажет на это Лев Николаевич? А как он к этому отнесется?» ⟨...⟩

Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечает жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — и пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия...

Н. В. ДАВЫДОВ

ИЗ ПРОШЛОГО

⟨...⟩ Помню, что именно во время охоты с псковичами [1] и дорогою из засеки домой,— я ехал в санях вдвоем с Львом Николаевичем,— произошел у меня первый разговор с Львом Николаевичем на серьезные темы, разговор, быстро ставший интимным и как бы сблизивший нас ⟨...⟩. Лев Николаевич заинтересовался узнать — верую ли я в бога так, как этому учит православная церковь, интересуют ли меня религиозные вопросы, или я — подобно многим лицам из интеллигенции — равнодушен к этой стороне жизни. Я высказал Льву Николаевичу мои религиозные верования и отношение к церкви, а затем он сам заговорил о своих исканиях, сомнениях и колебаниях на этом пути, о том, что он еще недавно,— после долгого безразличия к вопросам веры,— пытался найти душевное удовлетворение и успокоение, следуя учению и правилам церкви; он в течение долгого времени не только посещал православные церковные службы, но строго держал посты, старался постигнуть значение затворнической жизни, для чего был в Оптиной пустыни и еще в каком-то монастыре, искал разрешения смущавших его вопросов в чтении Священного писания и творений отцов церкви и выдающихся православных богословов, обращался за разъяснениями к тульскому архиерею Никандру, но не нашел того, чего жаждала его душа, не нашел истины; вера его не только не окрепла, но совсем померкла.

В рассказанном мне Львом Николаевичем углублении его в культ православной церкви для ближайшего, собственным опытом, на деле, изучения его, сказалась присущая ему характерная черта, противоположная

тому, что зовется дилетантизмом, верхоглядством. Лев Николаевич, заинтересовавшись каким-либо вопросом, найдя вообще нужным почему-либо ознакомиться с ним, изучал этот вопрос со всех сторон, систематически, не жалея труда и времени, не щадя себя в тех случаях, когда такое изучение было почему-либо не легко для него. Так, заинтересовавшись вопросом о вегетарианстве, считая теоретически правильным воздержание от употребления в пищу «убоины», он не только ознакомился с существующей по этому предмету литературой и сам доискивался и находил подтверждение своего взгляда в Библии и в других книгах, но счел необходимым побывать на бойне, чтобы посмотреть, как производится массовое убийство быков, коров и телят, идущих затем в пищу горожанам, но уже неузнаваемыми, потерявшими отталкивающий вид кровавого теплого мяса. Мы отправились на тульскую бойню вместе с Львом Николаевичем, но, признаюсь, я не выдержал отвратительного зрелища, представившегося нам, и бежал, а Лев Николаевич остался, как ему ни было это противно, до конца денной убойной операции.

И так он поступал всегда: знакомясь с бытом арестантов и характером отдельных лиц из них, он подолгу пребывал в тюрьмах и исправительных отделениях, беседуя с «преступниками» всех категорий в Крапивне, Туле и Москве. В то время, когда им подготовлялось и писалось «Воскресение», Лев Николаевич посещал заседания суда, и раз, по его просьбе, я провел его в Тульский суд, где рассматривалось с присяжными заседателями дело по обвинению одного молодого тульского мещанина в покушении на убийство молоденькой проститутки. В качестве свидетелей по этому делу были вызваны и давали показания сама потерпевшая, товарки ее и хозяйка того дома, где знакомый «гость» ударил ножом в бок несчастную девушку. Присяжные признали мещанина виновным, но лишь в нанесении раны, хотя потерпевшая настаивала на том, что подсудимый хотел ее лишить жизни. По окончании заседания Лев Николаевич подошел к потерпевшей и стал ей говорить о том, что лучше бы она сделала, если бы простила своего обидчика, особенно теперь, когда он приговорен к тюрьме, что злоба к нему лишь тяжесть для нее самой. Но хорошие слова незнакомого странного старика не произвели на девицу надлежащего впечатления; она, кажется,

даже обиделась, приняв их за насмешку, и ответила Льву Николаевичу грубо, резко и именно со злобным тупым выражением.

Помню, что одно посещение Львом Николаевичем Крапивенской уездной тюрьмы, без взятия на то особого разрешения, дойдя до сведения губернской администрации, вызвало предложение смотрителю тюрьмы — старичку, не дерзнувшему не впустить Толстого в охраняемый им замок, выйти в отставку [2]. Предложение это не было, однако, приведено в исполнение, благодаря просьбам о помиловании Льва Николаевича и Софьи Андреевны, обращенным к тогдашнему тульскому губернатору Н. А. Зиновьеву, относившемуся с большим уважением к Льву Николаевичу, которого он иногда посещал, но не в качестве представителя наблюдающей власти, а в качестве знакомого ⟨...⟩.

Л. Н., бывая в Туле, куда он чаще всего приезжал, и зимой, верхом, а иногда приходил даже пешком, заходил обыкновенно к нам и, оставив на конюшне лошадь, отправлялся в город по делам,— в большинстве случаев хлопотать за кого-нибудь, попавшего в беду, или устраивая какое-нибудь нужное ему дело. Оставаясь у нас обедать, иногда неожиданно, Л. Н. не причинял тем хозяйственных забот, так как вегетарианская пища его была очень проста. Нередко, если я бывал свободен, мы отправлялись по городу вместе и заходили к служившему в начале восьмидесятых годов в Туле вице-губернатором князю Л. Д. Урусову, у которого тоже Л. Н. останавливался. Иногда Л. Н. привозил с собой то лицо, за которое он хлопотал, часто по судебному, уголовному или гражданскому делу — вроде вознаграждения за увечье, и тогда мы шли в суд или же я приглашал к себе кого-либо из местных поверенных, всегда охотно бравших на себя, притом бесплатно, ведение дел лиц, рекомендованных Л. Н. Помню, что я от имени Л. Н. всего чаще обращался к присяжному поверенному Гольденблату.

В иные приезды Л. Н. мы с ним отправлялись в исправительный приют для несовершеннолетних, открытый местным обществом, по моей инициативе, при материальном содействии тульского купца, ныне умершего, А. С. Баташова. Не сочувствуя суду и всякой судебной деятельности вообще, Л. Н. относился поэтому и к исправительному приюту, принимавшему сбившихся с нормального пути мальчиков по судебным приговорам,

скептически, с сомнением в пользе такого *принудительного* воспитания. Но, приходя в приют и заставая детей и подростков за работою,— зимой сапожной или столярной, а летом огородной, а то на дворе за играми в городки и т. п., причем мальчики являли достаточно веселый и довольный вид и охотно болтали, отвечая на вопросы, Л. Н. уступал впечатлению и соглашался со мною, что такой результат судебного дела — допустим ⟨...⟩.

Я ни разу не слыхал от Л. Н. озлобленного, презрительного или унижающего отзыва о ком-либо; высказывая иногда кому-либо осуждение, он спешил оговориться, что, быть может, он, Толстой, не прав. Чувство, сказывавшееся в отношении Л. Н. к людям, не имело ничего общего с тем, что зовется слащавостью, елейностью; в нем не проявлялось даже тени сентиментальности: Л. Н. на все в жизни, а в том числе и на людей в разнообразнейших проявлениях их личности, смотрел реально, не украшал их придуманными качествами и ясно видел все их слабости, недостатки и пороки. Чувство, о котором я говорю, не было и мягкосердечием в узком значении слова; я бы скорее всего назвал его «человечностью»; оно было присуще, так же как и жизнерадостность, самой природе Л. Н. и развивалось в нем, оставаясь органическим, путем мышления. Чувство, названное мною человечностью, горячее влечение прийти на помощь человеку, и близкому, и дальнему, помочь ему и в малом, и в большом, а в идеале в главном, т. е. в понимании и верном, обеспечивающем земное благополучие, направлении жизни, бывшее всегда в душе Л. Н.,— что совершенно явствует из первых же его произведений,— росло с годами и крепло, отражаясь даже на характере Л. Н., смягчая то резкое, что в нем было, умиротворяя его самого. Это поступательное движение души Л. Н. в направлении деятельной любви к человеку, примирения с ним и прощения зла, наносимого другим и себе лично, отражалось и на внешности Л. Н., особенно в выражении его глаз, которые в последние десятилетия жизни Л. Н., оставаясь проницательными, все больше и больше теряли выражение строгости, а полное мысли лицо его приобретало удивительную красоту, словно светясь лаской и доброжелательностью...

Характерной чертой Л. Н. была искренность, откровенность и простота в отношениях со всеми; он не скрывал своих мыслей, хотя бы они не только противоречили

взглядам его собеседников, но были им неприятны; в последние годы Л. Н. старался при этом смягчить в высказанном суждении или прямом ответе на данный вопрос то, что могло огорчить лицо, обратившееся к нему; таким он был и в переписке, которую вел со множеством лиц, отвечая на большинство получаемых писем. Взгляды свои и суждения Л. Н. высказывал нередко не только откровенно, но и с некоторого рода резкостью, особенно когда он оспаривал чье-либо мнение и опровергал известное положение. Энергично оспаривая все то, что, по мнению его, в жизни, верованиях и деятельности людей не только было не согласно с убеждениями его, но представлялось ему вредным, портящим жизнь людей лицемерным обманом, Л. Н. бывал резок и в литературных своих произведениях («Воскресение» и другие), и в словесных выступлениях. Но это свойство Л. Н. с годами теряло свою остроту; Л. Н. становилось неприятным резкостью, хотя бы совершенно правильного, суждения больно задевать чувства кого-либо, оскорблять его искренние верования, и Л. Н. становился в этом отношении — в отношении формы, способа выражения мысли — все мягче и терпимее. Терпимость, и очень широкая, была, впрочем, всегда свойственна Л. Н.,— он никогда не был сектантом, изувером <...>.

Вспоминаю такой случай: как-то давно, в холодную дождливую погоду, я перед вечером отправился из Тулы на тройке в Ясную и, выехав за город, встретил шедшую пешком с громадным узлом крестьянку; она взглянула на меня, и в ее глазах была видна такая теплая, горячая мольба о помощи, что я остановил тройку и спросил крестьянку, что с ней и о чем она просит. Женщина эта, совсем еще молодая, рассказала, что по вызову мужа, который устроился на каком-то заводе в Екатеринославской губернии, она из Самарской, кажется, губернии поехала к нему по железной дороге, но по ошибке взяла билет не туда, куда следовало, и, проездив все деньги, очутилась, наконец, в Туле, откуда решилась идти пешком, однако не знает дороги, идя совсем одна, боится каждого прохожего, да и просто не в силах идти. Крестьянка говорила несомненно правду и была очень жалка. Я посадил ее с собою в коляску и привез в Ясную Поляну, где, как я и ожидал, Толстые приняли в ней участие и, снабдив на другой день железнодорожным билетом до места назначения и небольшой суммой денег,

проводили ее на ближайшую станцию Московско-Курской дороги.

С просьбами о помощи обращались к Л. Н. местные и дальние крестьяне и крестьянки, попавшие так или иначе в беду: приговоренные в тюрьму или к другому наказанию, отыскивающие свои права, кем-либо нарушенные, мелкие служащие, потерявшие почему-либо место, родственники приговоренных судом, всего чаще административно к высылке или тюрьме за деяния, квалифицированные «политическими»; в том числе и за хранение или распространение недозволенных к печати сочинений Л. Н.; приходили молодые люди обоего пола, исключенные из гимназии, семинарии или высшего учебного заведения. Решительно обо всех, если только рассказ их не был явно вымышлен, Л. Н. принимался хлопотать: ехал, если нужно, в Тулу и там лично обращался к нужному в данном случае человеку или писал, прося разъяснения или помощи, многочисленным знакомым своим в Москве и Петербурге, к таким лицам, как покойный граф А. В. Олсуфьев, А. Ф. Кони, а из более молодых к М. А. Стаховичу, В. А. Маклакову. Часто, пока я жил в Туле, Л. Н. по такого рода делам обращался ко мне словесно, а иногда записками; такого рода письма я получал от Л. Н. и в Москве, когда я переехал туда. У меня сохранилось около шестидесяти подобных писем и записок, находящихся в настоящее время в толстовском музее в Москве. По иным из этих просьб, оказавшимися основательными, удавалось достигнуть положительных результатов. За последние годы участились случаи осуждения в тюрьму разных лиц за хранение и распространение недозволенных к печати статей Л. Н. Эти случаи чрезвычайно огорчали и волновали Л. Н., и известное его заявление о том, чтобы его самого приговорили в тюрьму, так как он, а не молодые люди, поверившие ему, единственный виновник появления на свет преследуемых сочинений,— было безусловно искренним, вымученным криком глубоко страдавшей человеколюбивой души его. Ему, конечно, было бы облегчением наложенное на него в виде наказания лишение свободы; этим он как бы искупал невольную вину свою пред людьми, пострадавшими за сочувствие его взглядам ⟨...⟩.

Как-то, приехав в Ясную Поляну, я узнал, что там находится достаточно странный человек, поражающий уже своей одеждой: на нем была только рубашка и панталоны;

в этом состояло и вообще все его имущество. Муж этот утверждал, что человеку надо всего только несколько квадратных аршин земли, достаточных для того, чтобы посеять на них рожь и, убрав, питаться ею, причем способ употребления ее в пищу должен быть простейший, а именно: надлежит рожь растереть в муку и, размочив ее, есть в сыром виде. Лично он так и поступал. Человек этот очень смущал семью Толстых, так как, отправившись к реке, сам стал мыть единственную свою рубашку, а пока она просыхала, гулял уже в совершенно естественном виде по берегу, на каковую картину натолкнулась Софья Андреевна. Этот чудак, а быть может, фанатик идеи «опрощения», как явился в Ясную Поляну из пространства, туда же вскоре и исчез ⟨...⟩.

Из случайных посетителей Ясной Поляны вспоминаю одну девицу из купеческой семьи, получившую внезапно очень крупное состояние по наследству[3]. Не зная, как лучше распорядиться свалившимся на нее богатством, но желая дать ему хорошее, общеполезное назначение, она приехала к Л. Н., прося его указать, как ей распорядиться деньгами. Л. Н. сказал ей, что в таких вопросах он несведущ, и отказал ей в определенном совете, одобрив ее желание истратить деньги не на себя лично. Были лица ⟨...⟩, которые приезжали, чтобы «спасти» Толстого силою своего красноречия, убедить отказаться от ереси, лишающей его в будущем благодати. Случаев, чтобы кто-либо приезжал в Ясную Поляну с тем, чтобы наговорить Л. Н. неприятностей и показать ему всю ту злобу, которую он в них возбудил, я лично не знаю, но подобных, прямо бранных, писем Л. Н. получал много. Между прочим, при мне раз он получил посылку, зашитый в коленкор ящичек, по вскрытию которого там оказалась веревка, в пояснении какового дара в приложенном письме, за полной подписью, значилось, что эта веревка посылается для того, чтобы Л. Н. на ней повесился. Так как в письме был и адрес написавшей его дамы, Л. Н. ответил ей, и притом очень мягко ⟨...⟩[4].

Мне пришлось дать толчок к созданию Л. Н. трех его драматических произведений, а именно «Власти тьмы», «Плодов просвещения» и «Живого трупа». В бытность мою прокурором в Туле меня поразило своей обстановкой одно крестьянское дело о детоубийстве, рассматривавшееся в окружном суде. Это было дело об убийстве новорожденного ребенка одной крестьянской девушки отцом

ребенка, состоявшим в свойстве с девушкой, проживавшей в одной семье и доме с ним. Особенность этого дела, кроме драматической обстановки самого убийства, составляло поведение убийцы, который сам, мучимый угрызением совести, заявил публично об учиненном им преступлении, а впоследствии жаждал суда и наказания, которым, хотя он был приговорен на каторгу, он остался доволен, видя в наказании искупление своего греха, находя в нем успокоение и возможность дальнейшей жизни. Я подробно ознакомил Л. Н. с обстоятельствами дела, которое, как я и ожидал, весьма заинтересовало его; он виделся в тюрьме с осужденным и затем, вскоре же, написал первое свое драматическое произведение, в котором несколько изменил обстановку дела, прибавив обстоятельство отравления первого мужа Марфы Колосковой, но выпустив имевшую на самом деле место сцену покушения на убийство «Никитою» (на самом деле Ефремом Колосковым) его дочери, девочки «Анютки» (на самом деле Евфимьи), в то время, когда он винился перед народом в убийстве, а девочка, очень его любившая, с плачем припала к нему. Он было изо всех сил ударил ее колом по голове, решив, что Анютку лучше убить, пока она чиста и невинна, и так как без него ей плохо будет житься в семье. К счастью, он не рассчитал удара, и кол скользнул лишь по голове девочки, причем, однако, она упала замертво *.

Помню, что несколько раньше или даже в то время, как Л. Н. писал «Власть тьмы», он говорил, что встретил на шоссе ехавшего куда-то старичка-крестьянина, с которым вступил в беседу, причем старик его очень пленил благодушием и видимой кротостью; крестьянин, между прочим, рассказал, что нашел выгодную работу — отходника.

Мысль о написании комедии «Плоды просвещения» явилась у Л. Н. во время первого по времени переезда семьи Толстых в Москву. Случилось это так: в восьмидесятых годах я, живя в Туле, приехал на несколько дней в Москву, где встретился с знакомым, обладавшим способностью вызывать так называемые спиритические явления, и он сообщил мне, что у жившего тогда в Москве,

* Для лиц, интересующихся этой драмой, я приложил к моим воспоминаниям составленные по делу обвинительный акт и судебный приговор[5]. (*Прим. Н. В. Давыдова.*)

в своем доме на Смоленском бульваре, Н. А. Львова (отца известного члена Государственной думы) предполагается спиритический сеанс. Зная от Л. Н., что ему очень хотелось бы когда-нибудь присутствовать на таком сеансе, чтобы воочию убедиться в вымышленности всего, что там бывает, я уговорил моего знакомого согласиться на присутствие на сеансе Л. Н.; такое же согласие дал Н. А. Львов, и я поспешил предупредить Л. Н., который очень обрадовался возможности проверить свое предположение и решил быть на сеансе. При этом Л. Н. говорил, что удивляется тому, как люди могут верить в реальность спиритических явлений; ведь это все равно, говорил он, что верить в то, что из моей трости, если я ее пососу, потечет молоко, чего никогда не было и быть не может ⟨...⟩.

Сеанс состоялся; на нем, кроме хозяина дома, медиума-любителя и меня, присутствовали еще П. Ф. Самарин и К. Ю. Милиоти. Но сеанс не удался; мы сели, как оно полагается, за круглый стол, в темной комнате, медиум задремал, и тут начались стуки в стол и появились было фосфорические огоньки, но очень скоро всякие явления прекратились; Самарин, ловя в темноте огоньки, столкнулся с чьей-то рукой, а вскоре медиум проснулся, и дело этим и ограничилось. Львов, очень интересовавшийся спиритизмом, допускал реальность спиритических явлений и показывал нам фотографии, снятые с явившейся во время сеанса фигуры и отпечаток в гипсе или воске кисти руки такой фигуры. На другой день после сеанса Л. Н. подтвердил мне свое мнение о том, что в спиритизме все или самообман, которому подвергаются и медиум, и участники сеанса, или просто обман, творимый профессионалами.

Следующую зиму Толстые проводили в Ясной Поляне, и, если не ошибаюсь, в ноябре старшие барышни объявили мне, что по просьбе их отец написал небольшую комедию на тему о спиритизме, план которой он набросал, кажется, тотчас же после неудачного сеанса у Львова и что он разрешает им устроить в Ясной, у них в доме, спектакль, поставить эту шуточную комедию ⟨...⟩.

Л. Н. дописывал последний роман свой «Воскресение» в Москве, но задумал, кажется, и начал его еще в Ясной. Тему этого романа дал А. Ф. Кони, состоявший с Л. Н. в дружеских отношениях. Описывая героя романа —

Нехлюдова, Л. Н., как я думал, руководствовался до известной степени личностями и течением жизни В. Г. Черткова и князя Хилкова, о судьбе которого, достаточно тяжелой вследствие властных воздействий на него, вызванных отказом его от крупного состояния, оставлением военной службы и «опрощением», Л. Н. очень печалился, стараясь помочь ему. Описывая суд над «Масловой», Л. Н. просил, — пересылая мне корректурные гранки, получавшиеся им из редакции «Нивы», издателю которой он продал в пользу переселявшихся с Кавказа в Канаду духоборцев, право на первое издание «Воскресения», — исправлять допущенные им в описании судебного процесса ошибки. Мне пришлось, тоже по просьбе Л. Н., написать имеющийся в романе отрывок кассационной жалобы, вопросы, резолюции и т. п. В общем Л. Н. соглашался с моими замечаниями, за исключением, впрочем, одного, очень существенного пункта, а именно, я советовал Л. Н., во избежание некоторой, как мне казалось, натянутости, не полной правдоподобности вердикта присяжных заседателей по делу Масловой, изложить их решение просто как обвинительное, отметив его кратко: «Да, виновна, но заслуживает снисхождения», мне казалось, что обвинительный приговор не был бы невероятен, так как улики против Масловой были достаточные, а прошлое ее, то прошлое, которое было известно присяжным, а не то действительное прошлое «Катюши», которое знали уже читатели, не говорило в ее пользу. Но, повторяю, Л. Н. не согласился со мной и оставил наличность допущенной присяжными формальной ошибки.

И в это время, да и раньше и позднее мне приходилось подолгу говорить с Л. Н. об уголовном суде и о допустимости его. Л. Н., как хорошо известно, во многих писаниях своих, и между прочим именно в «Воскресении», высказывался очень решительно против суда, доказывая отсутствие права у одного человека судить другого и применять к нему насилие, да еще соединенное с мучительством в виде лишения свободы в разных формах, каторги и даже смертной казни, ссылаясь также и на совершенную непрактичность судебных мер, которые, как доказывает опыт, не останавливают и даже не уменьшают преступности. Это положение Л. Н. развивал и в разговорах со мною о суде ⟨...⟩. Л. Н. признавал допустимость суда для гражданских дел и даже для уголовных, как исход из создавшегося вследствие какого-либо спора

пли столкновения трудного положения, вызывающего распри и недоразумения. Суд этот Л. Н. допускал в виде выборного («старики», «лучшие люди»), отнюдь не формального, помогающего лицам, обратившимся к нему, разобраться во взаимном споре, исправляющего учиненное зло и вознаграждающего потерпевшего или восстанавливающего его права, наконец, высказывающего истину в каждом данном случае, но отнюдь не применяющего такие меры, как насильственное лишение свободы, ссылка и т. п. ⟨...⟩.

Я часто спорил с Л. Н. и по поводу его мнений о непротивлении злу, указывая на то, что прирожденное нравственное чувство побуждает человека заступиться за ребенка, больного, вообще за беззащитное, слабое существо, если он видит учиняемое над ними насилие. Л. Н., отвечая мне, указывал, что он допускает в приведенном мною случае защиту слабого, но без насилия, или, в крайнем случае, в наименьшей его степени, ибо, в общем, насилие вызывает лишь отрицательные явления. Защищая, например, от побоев слабую женщину, я, быть может, убью насильника или причиню ему увечье, лишу его работоспособности и тем причиню большое зло многим лицам, которых тот содержал.

В период пребывания Л. Н. в Москве, кажется, в 1898 или 1899 году, я познакомил его с обстоятельствами судебного дела, давшего толчок к созданию им последнего большого драматического произведения, к сожалению, не законченного автором, — «Живого трупа» [6]. Обстоятельства этого оригинального дела достаточно известны, супруги, жившие заработком интеллигентных людей, в молодом еще возрасте разошлись, главным образом благодаря склонности мужа к злоупотреблению спиртными напитками, причем сына мать оставила при себе, а муж, проживая без семьи, опускался все больше и больше и наконец, потеряв должность, дававшую ему средства существования, очутился на «дне». В это время жену, нашедшую поддерживающий существование ее и сына заработок, полюбил ее сослуживец и, считая ее вдовой, предложил выйти за него замуж; она также разделяла чувства хорошего человека, предложившего стать его женой, но наличность мужа, хотя он и был на «дне», являлась препятствием к их браку. Они разыскали несчастного, он выразил полное согласие на развод и подал,

признавая свою вину, прошение о расторжении брака; но консистория отказала в разводе, и тогда госпожа придумала такой способ получения нужного ей вдовьего вида: муж написал ей письмо, в котором уведомлял, что он, отчаявшись в возможности исправить свою жизнь, решил кончить ее самоубийством; письмо это госпожа передала полиции, а вскоре на льду Москвы-реки была найдена одежда, а в ней паспорт, а затем из реки был извлечен чей-то труп, который был принят за тело; жене его был выдан вдовий вид, и она вышла замуж за своего сослуживца. Но в конце концов, благодаря какой-то оплошности, истина обнаружилась, супруги были отданы под суд судебной палаты с участием сословных представителей по обвинению ее в преступлении, предусмотренном 1554 ст. Уложения о наказаниях, а его в пособничестве к учинению этого преступления и приговорены Палатой к лишению особенных прав и ссылки на житье в Сибирь. Приговор этот был смягчен по представлению министра юстиции, вызванному ходатайством А. Ф. Кони, содержанием осужденных в тюрьме в течение года.

Передавая Л. Н. обстоятельства этого дела, с которым я познакомился в качестве председателя окружного суда, где г-жа N подвергалась освидетельствованию состояния ее психологического здоровья, я имел в виду, что его заинтересует драматичность положения несчастной г-жи N, получившаяся благодаря искусственно созданным людьми, усложняющим жизнь условиям, обрядам, формальностям, превратившим г-жу N — женщину, несомненно вполне порядочную, выдающуюся даже многими качествами, — в «преступницу» и разбившим во второй раз только что исправленную было ею жизнь. В деле являлось также интересным и то, что, по-видимому, все в нем участвующие лица — хорошие, добрые люди. Л. Н. действительно заинтересовался этим делом и тогда же, записав обстоятельства его, решил использовать этот материал для литературного произведения. Весьма вероятно, что в это именно время был Л. Н. набросан проект драмы, оставшейся, как я уже говорил, им не законченной.

Произошло, кроме того, следующее: в толстовский дом в Хамовническом переулке явился бедно одетый господин и настоятельно просил свидания с Л. Н. Его провели в комнату Л. Н., где он объявил, что он есть тот Труп, о

котором Л. Н. написал драму. Л. Н. подробно расспросил его о всей его жизни, долго убеждал перестать пить, обещал при этом условии найти ему платные занятия и при прощании взял с него слово, что он бросит вино. Кажется, в тот же день Л. Н. зашел ко мне и рассказал о неожиданном появлении у него г-на N и просил меня, положившись на данное ему слово, устроить ему какое-нибудь скромное место. Мне удалось удовлетворить желание Л. Н. Г-н N получил назначение на должность, оплачиваемую небольшим жалованьем, и на этой должности пробыл целый ряд лет до своей кончины, причем исполнил свое обещание и действительно больше не пил ⟨...⟩.

Как-то раз вечером я застал у Толстых (в Москве) Ф. И. Шаляпина[7], который спел несколько романсов, но пение его не особенно понравилось Л. Н.; он нашел его чересчур громким и искусственным, зато он одобрил игру балалаечников в оркестре Андреева (играли они русские песни), который нам с ним пришлось послушать у Софьи Николаевны Глебовой[8]. В этом же году я познакомился у Л. Н. с А. П. Чеховым, произведшим на меня удивительно приятное впечатление. Я и в Москве видался часто с Л. Н.; иногда вечером мы вместе гуляли, но вдвоем с ним оставаться приходилось реже, и вообще мне гораздо отраднее вспоминать и думать о Л. Н. в обстановке Ясной Поляны, особенно во время наших летних прогулок.

После окончательного переезда Толстых из Москвы в Ясную Поляну я продолжал видаться с Л. Н., ежегодно наезжая туда раза два, обычно летом и осенью. Около этого времени у Л. Н. стали довольно часто повторяться болезненные припадки, и, наконец, была решена поездка в Крым, где Л. Н. с Софьей Андреевной и младшей дочерью Александрой Львовной поселились на даче Паниной, в Кореизе. Я видался с Л. Н. и в Крыму и, хотя застал его слабым, и там немного гулял с ним ⟨...⟩.

Последний раз я виделся с Л. Н. летом 1910 года, месяца за три до его ухода из Ясной Поляны и последовавшей вскоре же кончины его. Л. Н. показался мне несколько постаревшим, более слабым, хотя мы и в этот мой приезд гуляли с ним в засеке, и я знаю, что он продолжал ходить и ездить довольно далеко верхом. Но умственной перемены я не заметил в Л. Н.; усилилось лишь

то, что замечалось с ним и прежде и о чем он сам часто говорил, ослабление памяти. Л. Н. говорил, что многое из пережитого совершенно ясно и живо сохранилось в его памяти, именно отдельные события и факты, чередующиеся в памяти как картины, но в общем прошлое, и именно даже недавнее прошлое, подернуто как бы туманом; Л. Н. добавил, что это состояние очень приятно, оно как бы изолирует его от реальной жизни, еще больше мирит со многим ⟨...⟩.

М. А. РЫБНИКОВА

ТОЛСТОЙ ДО ТОЛСТОВСКОГО МУЗЕЯ. ВОСПОМИНАНИЯ

Когда-то, в сущности совсем недавно, у нас в Москве слово «Толстой» значило нечто видимое и физическое, оно означало живого человека, ходившего по Москве, встречавшегося на Зубовском бульваре, на Пречистенке, на Волхонке. Его знали извозчики, городовые, студенты, гимназисты, почтальоны, рабочие Хамовнического района, ученики школы живописи. То есть узнавали его на улице, кланялись ему, безмолвно провожали его глазами, некоторые даже решались заговаривать с ним.

Вот идут по Зубовскому бульвару парами ученики Коммерческого училища (что было на Остоженке). С ними воспитатель Herr Wind, с выправкой солдата и с усами Вильгельма. Его предупреждающий голос: «Дети, Лев Николаевич идет». И вот, поравнявшись с Толстым, мальчики громко один за другим здороваются, пара за парой снимает фуражки, и слышатся звонкие голоса: «Здравствуйте, Лев Николаевич. Здравствуйте, Лев Николаевич».

И Лев Николаевич отвечает им, слегка дотрагиваясь до шапки и убыстряя шаги.

Ходил он быстро и легко. Короткое пальто оставляло на виду его ноги, сильные, упругие и неутомимые. Бывало, идешь из школы вверх по Пречистенке, домой на Зубовский бульвар, а навстречу он, Толстой. Не теперешний Толстой, а тогдашний, когда на той же Пречистенке не было еще Толстовского музея. Так вот навстречу он.

Было это в конце 90-х годов, но я не могу сказать, что я встречала семидесятилетнего старика — так он был

стремителен и легок. Идет с кем-то вдвоем, говорит резко, жестикулируя одной рукой, другой отталкивается от тротуара палкой.

Мне всего двенадцать — тринадцать лет. Я узнаю его издали и замедляю шаги. Поклониться? Нет, я не смею этого сделать; я почти останавливаюсь и не спускаю с него глаз. Гляжу со страхом, с замиранием сердца. Вижу эти сверлящие глаза, этот режущий взгляд, серые нависшие брови, чувствую его неудержимость и стремительность, и мне жутко. Едва поспевает за ним и тот студент, что идет рядом, — быть может, кто-то из сыновей его. Я сторонюсь; они быстро проходят.

Встречала я его часто, все больше в этом коротком пальто и в фетровой шляпочке. И он был таким всегда для тогдашних москвичей, которые все его знали, хоть и не все ему, к счастью, кланялись. Но вот однажды, в первый день рождества, иду я по Волхонке около дома, где помещается сейчас Энциклопедия. Распахивается дверь, и выходит Толстой. Опять эти глаза, сердитые и взыскательные, но это как будто и не он: бобровая шапка с черным бархатным верхом, великолепная шуба с громадным бобровым воротником. Повернулся и пошел по направлению к Хамовникам. Движения были замедлены и смягчены шубой.

Так прошел однажды этот загадочный и остраненный [1] Толстой, — Толстой в бобровой шубе.

А к весне мы стали получать номер за номером «Ниву» с иллюстрациями Пастернака и с главами «Воскресения» [2], где узнавали эту нашу Москву, в которой мы жили бок о бок с семьей Толстых. Они жили на Девичьем Поле, а наша семья — на Зубовском бульваре.

Одна очень умная и зоркая женщина, увидавшая Толстого впервые, уже восьмидесятилетним, издали, не узнав его, прежде всего сказала себе: из военных. Такая была выправка, хлыст в руке, походка. Он приехал к Горбуновым верхом. Когда они приблизились вместе с Иваном Ивановичем [3], Лев Николаевич со старческой бесцеремонностью, указав пальцем, громко спросил про нового для него человека: «Кто это?» — и прошел мимо.

У Горбуновых уже все знали, что, едва войдя в дом, Лев Николаевич будет беспокоиться о лошади и собаке. И, действительно, едва присев, Лев Николаевич стал спрашивать и о лошади и о собаке. Собака, чудесная белая борзая, была впущена в дом.

Горбунов познакомил Льва Николаевича с мужем этой дамы [4], который только что побывал на Валааме и который начал Льву Николаевичу рассказывать о монастыре и монахах. Лев Николаевич подсаживается, слушает, смотрит и спрашивает. В жадном внимании, он буквально впился в собеседника. Все присутствующие молчат, предоставив ему засыпать расспросами рассказчика.

«Едемте вместе туда на будущий год». — «Хорошо, Лев Николаевич, но вы подумайте, пустят ли вас монахи» [5].

Разговор переходит на эту тему. Серьезно обсуждается вопрос о поездке. Забыт и дом, и лошадь, и собака. Проходит час и другой. Является человек из Ясной: Софья Андреевна беспокоится. Лев Николаевич, не оборачиваясь, вертит раздраженно хлыстом: дескать, — отстань, не мешай говорить.

Однако через несколько минут встает, выходит, вскакивает на лошадь и стремительно исчезает вместе с борзой. В другой раз едет та же дама в шарабане с детьми, навстречу он: верхом и с той же белой борзой. Не глядя на нее, не задерживая лошадь, он кричит громко: «А Ефим-то помер у кабака на большой дороге», — проносится и исчезает.

Живя в Ясной, я слышала от племянницы Льва Николаевича Елены Сергеевны Денисенко кое-какие рассказы. Она помнит, например, как нельзя было пройти по яснополянскому кабинету во время писания «Хаджи-Мурата»: весь пол был завален книгами, документами, журналами. Буквально негде было ступить.

Елена Сергеевна помнит, как читал Лев Николаевич в яснополянской зале ту главу «Воскресения», где описывается богослужение в тюрьме. Слушали все домашние. Сидела тут и Софья Андреевна с работой, была и Татьяна Львовна. Татьяну Львовну он всегда особенно любил. Он дружил с нею, дорожил ее мнением. Она всегда резко и определенно высказывалась, и он выслушивал ее. Когда он прочел эту главу, Татьяна Львовна начала говорить ему, волнуясь и возмущаясь:

— Папá, ты испортил этой главой весь роман, ты должен выбросить ее. Это ужасно, то, что ты написал.

Софья Андреевна сидит с своей работой молча. Она считает излишним высказываться [6].

Лев Николаевич выслушивает дочь. Улыбается и отвечает раздумчиво и медленно:

— Да, может быть, ты и права. Но все-таки я оставлю так, как это написано.

Я помню, как-то уезжала я из Ясной с детьми рано утром. (Это еще один рассказ Елены Сергеевны.) И он велел мне прийти проститься с ним. Было 6 часов утра. Я вошла к нему в кабинет, он уже сидит за столом и пишет. Подхожу к нему, чтобы поцеловать его, а он вдруг встает быстро: «Погоди, Леночка, я вытрусь». Идет к полотенцу, быстро вытирает усы и бороду и прощается со мной.

Он только что умылся, но так торопился перейти из спальни в кабинет к работе, что не успел даже вытереть лица.

И. М. ВИНОГРАДОВ

ИЗ ЗАПИСОК НАДЗИРАТЕЛЯ БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ

Был холодный ветреный вечер в конце ноября 1897 года[1]. Окончив служебные занятия в канцелярии, я шел к себе на квартиру, находившуюся близ тюрьмы. Около дома встретился мне высокий, несколько сутуловатый старик в полушубке и нахлобученной шапке. Поравнявшись со мной, он пристально взглянул на меня и остановил вопросом: «Вы здешний?»

— То есть как здешний? — спросил я, удивленный, в свою очередь.

— Я хотел узнать, вы не смотритель тюрьмы?

— Да, я надзиратель тюрьмы, — ответил я и хотел идти дальше.

— Вот мне и нужно поговорить с вами, — задерживал меня незнакомец. — Не можете ли вы дать мне некоторые сведения о жизни заключенных в тюрьме?

Меня крайне удивило это желание незнакомца, и я довольно неохотно отвечал, что не могу давать никаких справок и сообщать что-либо о жизни заключенных. Все это строго запрещено.

— Но мне нужны такие сведения, — продолжал задерживать меня незнакомец, — которые не будут касаться ни тюремных порядков, ни тюремного начальства.

Я стал вглядываться в стоявшего предо мной человека. Лицо его показалось мне знакомым, я где-то встречал его. И вдруг я припомнил, что видел портрет его в печати.

— Вы писатель? — говорю я.

— Да, я — Толстой.

Узнав, что со мной разговаривает граф Толстой, я пригласил его зайти ко мне. Он сразу согласился. Придя в комнату, граф разделся. Я придвинул для него кресло к столу, на котором стоял уже самовар, и предложил ему стакан чаю, но Лев Николаевич отказался.

— Мне нужны некоторые сведения для моего романа «Воскресение», — заговорил Лев Николаевич. — Мне нужно знать, имеют ли политические арестованные общение с уголовными.

— Нет, политические с уголовными никогда вместе не бывают.

— Не видятся ли они хотя при свиданиях? — спросил Лев Николаевич.

— Никогда. Политические арестанты содержатся в башнях (одиночек тогда еще в тюрьме не было), и свидания для них разрешаются исключительно только в конторе тюрьмы. Для уголовных же арестантов свидания разрешаются в посетительских комнатах [2].

— То, что вы мне сообщаете, заставляет меня изменить план романа,—сказал Лев Николаевич. Затем, помолчав немного, он спросил, в чем заключается моя служба.

Я рассказал, что работы у меня много: приходится одевать всех арестантов перед отправкой их в путь, если нет у них собственной одежды. Я обязан быть при приеме и отправке всех партий, — что, помимо обычного десяти-двенадцатичасового дня работы, заставляет меня работать еще несколько лишних часов. Домой прихожу до такой степени усталым, что нет сил не только что почитать, но даже газету просмотреть.

Лев Николаевич просидел у меня около часу и старался уяснить все подробности об отправке ссыльных из Москвы, остановках на этапах и ночлегах, питании в пути, о конвойной команде и отношении ее к арестантам, особенно об отношениях к женщинам, не терпят ли они каких оскорблений от команды.

Собравшись уходить, Лев Николаевич пригласил меня побывать у него и оставил свой адрес. На другой день я отправился к нему в Хамовники. На мой звонок открыл дверь слуга и пошел доложить графине. Вскоре вышла в переднюю Софья Андреевна. Я сказал ей, кто я, и что пришел по приглашению Льва Николаевича. Выслушав меня, Софья Андреевна велела слуге проводить меня наверх к Льву Николаевичу. Я пошел вслед за слугой по лестнице в мезонин.

Услыхав наши шаги, Лев Николаевич вышел из комнаты и, узнав меня, привел в свой кабинет. Это была небольшая комната, в которой стоял диван, кресла и стулья, обтянутые темно-зеленой клеенкой. Посреди комнаты стоял большой стол, а другой стол, за которым работал Лев Николаевич, стоял у окна. Комната показалась мне мрачной, особенно вечером, когда я пришел. На столе горели стеариновые свечи, но они слабо освещали комнату. Лев Николаевич посадил меня за средний стол, а с своего стола взял листы корректур и положил их передо мной, говоря:

— Вы читайте корректурные листы и говорите мне, что не сходится у меня с тюремными порядками вашей тюрьмы, а я буду записывать.

Он сел и положил перед собой лист бумаги. Я стал читать корректурные листы, в которых было описание тюрьмы, и говорил, где что было написано неверно, а Лев Николаевич записывал на своем листе [3].

Неправильностей было, однако, немного. Так, Лев Николаевич неверно описал форменную одежду надзирательницы в женском отделении, а также неверно описал одежду надзирателей; было несколько мелких неверностей о содержании арестантов. Чтение корректур Лев Николаевич часто прерывал, спрашивая меня о разных обстоятельствах тюремной жизни. Интересовался знать, по каким причинам пересыльные арестанты подолгу задерживаются в тюрьмах, расспрашивал меня подробно, как совершается отправка арестантов весной во время разлива рек, не затопляет ли где вода тюрем во время половодья. Часто возвращался к вопросу, не могут ли каким-либо путем политические иметь сообщение с уголовными.

— Мне очень хотелось бы,— говорил Лев Николаевич, — написать в романе сцену, где Маслова, находясь в тюрьме, могла бы завести знакомство с политическими арестантами. Теперь же мне придется изменить план романа и знакомство Масловой с политическими перенести на путь их в Сибирь.

Я три вечера ходил к Льву Николаевичу читать корректурные листы, но в последний раз Лев Николаевич не присутствовал при чтении корректур, а заходил временами и всегда задавал какой-нибудь вопрос о жизни арестантов в тюрьме.

Так, он интересовался подробно характерами арестантов, их поведением, религиозностью 〈...〉 Я рассказывал

Льву Николаевичу о разных типах арестантов, о совершаемых ими преступлениях и взаимных отношениях друг к другу. Потом попросил Льва Николаевича, чтобы он объяснил мне свое учение о непротивлении злу.

— Это не мое учение,— отвечал Лев Николаевич,— этому учил сам бог.

— Как же смотреть на преступника, совершившего преступление? — спросил я.

— В прежние времена,— отвечал Лев Николаевич,— если человек, совершивший преступление, считался вредным для общества, то такой человек, преступник, уничтожался. Но то были времена дикие, эти времена теперь прошли. Грубые нравы сгладились, люди вообще стали мягче, гуманнее. В настоящее время человека-преступника не уничтожают, да и не должно его уничтожать, а нужно такого человека жалеть, нужно, по возможности, облегчать его участь, каков бы он ни был. И для ваших преступников нужны не тюрьмы и не ссылка в Сибирь, а участливое к ним отношение.

— Много лет я имею общение с арестантами,— говорю я Льву Николаевичу,— и на основании своих наблюдений и разговоров с ними я тоже пришел к убеждению, что ссылка в Сибирь не только не нужна, но вредна.

— Как это странно,— сказал Лев Николаевич,— что вы и я пришли к одному убеждению по вопросу о ссылке. Почему вы считаете ссылку вредной?

— Большинство из ссылаемых в Сибирь обрекается на медленную, но верную смерть. Еще семейным, хотя и с большим трудом, но все же удается устроиться в Сибири. Вот только пока они дойдут до Сибири и смогут устроиться, то обычно у них погибают от болезней все малые дети. Для одиноких, в особенности для бродяг и для так называемых «общественников», т. е. ссылаемых в Сибирь по приговорам сельских обществ, без суда, ссылка является прямо гибелью. Оторванные от родины, попавши в совершенно чуждую страну, не схожую ни по климату, ни по культуре с оставленной родиной, эти ссыльные не в силах бывают сжиться с новыми местными условиями и местным населением, известным под именем чалдонов. Чалдоны относятся к ссыльным с ненавистью и презрением. Нанимая ссыльных в работники, чалдоны их жестоко эксплуатируют. Попав в кабалу, ссыльные, в свою очередь, ненавидят чалдонов и при первом удобном случае бегут, становясь бродягами по тайге, или пробираются на

родину в Россию. В тайге большая часть их погибает от холода, голода, болезней и от пуль чалдонов. Те, которым удается добраться до родных мест, обычно скоро бывают узнаны, судятся, как беглые, и обратно возвращаются в Сибирь. Бродяжничество и хождение на родину является обычной болезнью ссыльных. Только самые крепкие и выносливые успевают побывать на родине, но все же в конце концов погибают после «хождения по хрустальному мосту», т. е. перехода зимой по льду через Байкал, или же замерзают, или их заносит пургой в пути, или погибают от болезней и истощения. Из семейных скорее других приспособляются к жизни в Сибири ремесленники.

Выслушав меня, Лев Николаевич задумался, но ничего не сказал.

Я вспомнил о переселенцах духоборах, которых сопровождал в Канаду сын Льва Николаевича, и спросил, получает ли он какие известия от Сергея Львовича.

— Переезд совершился благополучно [4],— отвечал Лев Николаевич.— Духоборы, вероятно, хорошо устроятся в Америке. Вера духоборов,— прибавил он,— ближе всего подходит к нравственному состоянию людей, ищущих бога.

Немного помолчав, Лев Николаевич произнес:

— Лет через 500 те верования, из-за которых духоборы должны были выселиться в Америку, будут господствующими у большинства христианских народов.

После моих посещений Лев Николаевич еще один раз приходил ко мне, чтобы дополнить некоторые места в описании тюрьмы в своем романе. Очень ему хотелось самому лично видеть арестантов в их обыденной жизни в тюремной обстановке, но я не мог оказать ему в этом никакого содействия.

С. И. БРОДОВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАЧАЛЬНИКА ТУЛЬСКОЙ ТЮРЬМЫ

В начале лета 1899 года Лев Николаевич Толстой в белой широкой рубашке, подпоясанной поясом, в широких синих деревенского тканья шароварах, в лаптях и желтой с широкими полями соломенной шляпе приехал верхом на небольшой лошадке в тульскую тюрьму.

Малолетний сын мой Иосиф играл в то время на дворе и, подойдя к Льву Николаевичу, сообщил ему, что я в городе и скоро вернусь. Лев Николаевич уселся на лавочке у входа в канцелярию тюрьмы и беседовал с моим сыном.

Вернувшись из города около трех часов дня, я застал Льва Николаевича и, подойдя к ним, спросил, чем могу быть полезным и не надоел ли мой сынишка.

Лев Николаевич, похвалив сына и мать его за умелое воспитание ребенка, сказал, что ему желательно было бы ознакомиться с порядком свиданий заключенных с посетителями.

Я сообщил Льву Николаевичу, что свидания бывают во все воскресные дни с десяти часов утра до четырех часов дня и, если он желает, то может обратиться к губернатору за разрешением осмотреть всю тюрьму, а если хочет, то я лично доложу о его желании губернатору и получу разрешение на допуск его для осмотра тюрьмы.

Лев Николаевич, немного призадумавшись, сказал: «Сомневаюсь» [1], а потом спросил: «А нет ли в числе служащих такого, который постоянно присутствует на свиданиях?» И, получив утвердительный ответ, просил меня прислать к нему в Ясную Поляну старого опытного надзирателя в праздничный день.

Я через несколько дней послал ему старого надзирателя Ивана Петровича Высоцкого, который постоянно присутствовал на свиданиях.

Высоцкий в Ясной Поляне пробыл двое суток и, вернувшись, доложил мне, что Лев Николаевич подробно расспрашивал его о комнате свиданий и о свиданиях заключенных и благодарит за присылку его.

Впоследствии, читая «Воскресение», я узнал комнату свиданий тульской тюрьмы.

Т. Л. СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

4 февраля 1898 г.

На днях приехала из Петербурга, где была по делам «Посредника» ⟨...⟩.

Видела Репина. Завтракала у него ⟨...⟩. Он все работает над своим «Искушением» [1], которое мы видели у него прошлой зимой и которое папа̀ советует ему бросить. Репин все просит папа̀ дать ему сюжет. Он приезжал с этим в Москву, потом писал мне об этом и еще несколько раз напоминал мне об этом, пока я была в Петербурге [2]. Вчера папа̀ говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицу. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом,— скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно, и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так вдвоем к виселице [3].

Обедали у Ярошенко. Он потерял голос, но в общем молодец. Видела у него портрет старика Шишкина, который умирает [4], и кратер Везувия [5].

Прожила я в Петербурге неделю и собиралась уже ехать домой, как получила от папа̀ телеграмму следующего содержания: «В Петербург едут самарские молокане. Останься, помоги им» ⟨...⟩ [6]. День до приезда молокан я хотела употребить на приготовление путей для оказания помощи и стала соображать, куда мне направиться. Я знала, что государь получил письмо папа̀, в котором он подробно писал об отнятии детей у троих молокан [7], знала, что Кони сделал, что мог, для них в сенате [8], что Ухтом-

ский в своей газете напечатал письмо папа̀ об этом деле [9],— и знала, что никто на это ниоткуда не откликнулся. Стало быть, надо было искать иных путей. Так как дело, очевидно, зависело от Победоносцева, то я решила пойти прямо к нему ⟨...⟩.

Кони сказал мне, что если бы я спросила его совета, что делать,— то этого совета он не дал бы мне, но что посещение мое повредить делу не может. Он показал мне закон, по которому всякие родители, крещенные в православную веру и воспитывающие своих детей в другой вере, подвергаются заключению в тюрьму, причем дети у них отбираются. Потом он мне дал совет, через кого действовать, если я захочу подать прошение на высочайшее имя, и отпустил, не надеясь на успех. От него я поехала прямо в дом церковного ведомства на Литейной.

Войдя в переднюю, я сказала швейцару доложить Константину Петровичу, что графиня Толстая хочет его видеть. Швейцар спросил: «Татьяна Львовна?» Я сказала: «Да». — «Пожалуйте, они вас ждут». Я прошла в кабинет, в который тотчас же вошел и Победоносцев.

Он выше, чем я ожидала, бодрый и поворотливый. Он протянул мне руку, подвинул стул и спросил, чем может мне служить. Я поблагодарила его за то, что он меня принял, и сказала, что отец ко мне прислал молокан с поручением помочь им. Я ему рассказала их дело и откуда они.

— Ах да, да, я знаю,— сказал Победоносцев,— это самарский архиерей переусердствовал,— я сейчас напишу губернатору об этом. Знаю, знаю. Вы только скажите мне их имена, и я сейчас напишу.

И он вскочил и пошел торопливыми шагами к письменному столу. Я была так ошеломлена быстротой, с которой он согласился исполнить мою просьбу, что я совсем растерялась, тем более что у меня было с собой черновое прошение молокан, но имен их на нем не было. Я это ему сказала, прибавив, что я никак не ожидала такого быстрого результата своей просьбы, а надеялась только на то, что он посоветует мне, что мне предпринять. Тут я ему сказала, что крестьяне хотят подавать прошение на высочайшее имя, прочла его ему и спросила, советует ли он его все-таки подавать ⟨...⟩.

Прослушав это прошение, Победоносцев сказал, что незачем его подавать, что об этом деле довольно говорили и писали и что, во всяком случае, дело это придет к нему и решение его будет зависеть от него. Потом он сказал, что детям в монастырях так хорошо, что они и домой не хотят идти.

Я сказала, что это может быть, но что для родителей большое горе — лишение своих детей.

— Да, да, я понимаю. Это все архиерей самарский переусердствовал; у шестнадцати родителей отняты дети. У нас и закона такого нет.

А я только что видела этот закон у Кони и не удержалась, чтобы не сказать:

— Виновата, этот закон, кажется, существует, но, к счастью, не бывал применен.

— Да, да. Так вы пришлите мне имена молокан, и я напишу в Самару.

Я подумала, не надо ли еще что-нибудь спросить, и так как ничего больше не пришло в голову, я встала и простилась. Победоносцев проводил меня до лестницы, спросил, надолго ли я в Петербурге, у кого я остановилась, и наверху лестницы опять простился со мной. Вдруг, когда я уже сошла вниз и стала надевать шубу, он опять вышел и окликнул меня:

— Вас зовут?

— Татьяной.

— По отчеству?

— Львовной.

— Так вы дочь Льва Николаевича Толстого?

— Да.

— Так вы знаменитая Татьяна?

Я расхохоталась и сказала, что до сих пор я этого не знала.

— Ну, до свиданья.

Я ушла и всю дорогу домой хохотала и придумывала, зачем он притворился, что не знал, с кем говорил, когда швейцар назвал меня по имени, когда я сказала, что отец прислал молокан, и он сам сказал, что о них столько было говорено и писано [10].

Кони, который на другой день утром пришел ко мне, объяснил это тем, что если бы Победоносцев признал меня за дочь Толстого, то ему было бы неловко не сказать мне о нем ничего, и тогда ему пришлось бы сказать о том, что он знает о письме папа̀ к царю и о том, что это дело

давно в сенате, и пришлось бы дать объяснение, почему до сих пор ни от кого нет ответа. А так, разговаривая с незнакомой барышней, ему было удобнее сразу покончить это дело. Может быть, он даже был рад тому, что я обратилась прямо к нему и дала ему этим возможность сразу прекратить дело ⟨...⟩.

8 марта 1898 г.

Папа́ получил от молокан письмо, что детей им вернули.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

И. А. БУНИН

ИЗ КНИГИ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТОЛСТОГО»

До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы:

«Астапово, 7 ноября. В 6 часов 5 минут утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался».

Газетный лист был в траурной раме. Посреди его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юнкера «в белой папашке с опустившимся пожелтевшим курпеем, в белой, грязной, с широкими складками черкеске» и с винтовкой в руке ⟨...⟩ [1].

Многообразие этого человека всегда удивляло мир. Но вот тот образ, что вспомнился мне 7 ноября четверть века тому назад,— этот кавказский юнкер с его мыслями и чувствами среди «дикой, до безобразия богатой растительности» над Тереком, среди «бездны зверей и птиц», наполняющих эту растительность, и несметных комаров в воздухе, каждый из которых был будто бы «такой же особенный от всех», как и сам юнкер ото всего прочего: не основной ли это образ? Юнкер, думая о своей «особенности», с радостью терял чувство ее: «Ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же олень, которые живут теперь возле него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет...» Это стремление к потере «особенности» и тайная радость потери

ее — основная толстовская черта. «Слова умирающих особенно значительны». И, умирая, он, величайший из великих, говорил: «На свете много Львов, а вы думаете об одном Льве Толстом!» [2] Разве это не то же, что чувствовал и говорил себе кавказский юнкер про свою «особенность»? 〈...〉

Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:

— Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, «способностью перевоплощаться», и особенно живой и особенно образной (чувственной) «памятью». Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

— Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть его особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия 〈...〉.

Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтений его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир» —

один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец (в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя) говорил:

— Я его немного знал. Во время Севастопольской кампании встречал...

И я смотрел на него во все глаза: живого Толстого видел!

В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? «Что вам угодно, молодой человек?» — спросят меня в Ясной Поляне. И что я отвечу тогда?

Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно приказал оседлать своего верхового «киргиза» и поскакал в Ефремов,— уездный город Тульской губернии,— в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но, доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь мучился от смены решений — ехать, не ехать,— скитался ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой.

Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, «доброй» жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем,— конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого,— полтавские были типичны за некоторыми исключениями, это был совершенно несносный народ ⟨...⟩. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня

ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково,— принадлежащего известному толстовцу князю Хилкову,— а затем в Москву, к самому Толстому [3].

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй жизни». Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор,— завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу»,— и убежал. Вернулся же домой очень поздно

и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что он не раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники...

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом,— сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать,

открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает,— ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор,— кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня,— меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом,— быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил?

Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его

старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут... [4]

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... [5] Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице... [6]

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем [7]. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться был толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника»,— московского толстовского издательства,— завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина» ⟨...⟩ [8].

Бросив торговлю (в которой я так запутал счеты, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».

Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро) и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:

— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?

Он в таких случаях только смущенно улыбался:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка хмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым, сумасшедшим взглядом за очками, другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого, худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:

— Перестаньте смеяться!

Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он сдвинул брови:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться, а уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите,— ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидал низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда,— «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету! [9]

Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязанное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на

старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

Не помню, в каком именно году видел я его в этот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь? Я ответил:

— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

— Ах да, да, прекрасно знаю это!

— Да и нечего писать,— прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он.— Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так,— сказал он твердо.

Так видел я его последний раз. Часто потом говорил себе: непременно надо хоть однажды увидать еще, ведь, того гляди, это станет невозможно,— и все не решался искать новой встречи. Все думал: зачем я ему? Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал: ехать, увидать его еще раз, хоть в гробу! — но удержало какое-то необъяснимое чувство: нет, этого не надо ⟨...⟩.

В. Г. КОРОЛЕНКО

ВЕЛИКИЙ ПИЛИГРИМ

Три встречи с Л. Н. Толстым

Я видел Льва Николаевича Толстого только три раза в жизни. В первый раз это было в 1886 году. Второй — в 1902 и в последний — за три месяца до его смерти. Значит, я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой — великий художник, автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» — превратился в анархиста, проповедника новой веры и непротивления; потом я видел его на распутье, когда, казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедовал: от анархизма и от непротивления. Наконец, в третий раз я говорил с великим искателем у самого конца его жизненного пути и опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное... Так, по этой дороге вечных сомнений и неустанного движения вперед он неожиданно шагнул в неизвестность, которую всю жизнь старался разгадать и связать с земной жизнью неразрывною связью.

Эти три свидания стоят в моей памяти живо и ярко, как будто они происходили совсем недавно. А между тем их разделяют промежутки в пятнадцать и в семь лет. И когда я оглядываюсь на них, то впечатление у меня такое, как будто на длинном пути, загроможденном всякого рода жизненными впечатлениями: яркими и тусклыми, крупными и мелкими, важными и неважными,— три раза весь этот житейский туман раздвигается, и на расчищенном месте является яркий образ крупного, замечательного человека... Человека, идущего куда-то бодро и без устали. Каждый раз впечатление другое: точно это три разных снимка, и только в конце они сливаются в один образ великой человеческой личности ⟨...⟩.

В 1885 году я вернулся из Якутской области, поселился в Нижнем Новгороде, начал писать и нередко бывал в Москве. Здесь, между прочим, жила госпожа Дмоховская, мать одного из каторжан, умершего в 1881 году в сибирской тюрьме. Дочь ее была невестой другого каторжанина, К—а. Во время своей остановки в Иркутске я узнал обоих, а с Дмоховским даже сблизился перед его смертью. Узнав об этом, бедная мать, знавшая мою жену, захотела увидеть меня, и мы оба с женой стали от времени до времени заходить к ней. У нее часто бывал и Толстой.

Однажды она сказала мне, что говорила Толстому о знакомстве со мной. В моей ссыльной карьере была, между прочим, одна черта, которая, пожалуй, могла подать повод к сближению с толстовским исповеданием[1]. Толстой очень заинтересовался и сказал Дмоховской:

— Мне кажется, что я знаю господина Короленко. Если бы он захотел прийти ко мне, чтобы разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад был бы его увидеть и поговорить с ним.

Я тогда уже писал, но еще не был писателем в настоящем значении этого слова, то есть человеком с преобладающим интересом наблюдения. Конечно, я рад был бы повидать Толстого, но, узнав, зачем он зовет меня и чего ждет от моего появления, я как-то оробел, почувствовал обострение присущей мне застенчивости и решил не идти, так как мне казалось, что самым своим приходом я уже солгу. Относиться к Толстому, как к предмету наблюдения, я не смел; и в то же время у меня не было сомнений такого рода, за разрешением которых я мог бы искренно обратиться к нему. Я мог бы пойти только за тем, чтобы спорить. Я никогда не был террористом, но необходимость противления казалась мне до такой степени очевидной, ясной, обязательной, что я не мог бы равнодушно слушать противное. И в то же время преклонение перед художником мешало мне даже представить себе, что я стану с ним спорить ⟨...⟩.

И я решил, что не пойду к великому художнику, отрицающему искусство, мыслителю, отрицающему науку, искателю истины, успокоившемуся на узкой формуле полухристианского квиетизма. «Если уж Евангелие, — ходила по Москве чья-то фраза, — то я предпочел бы Евангелие от Иоанна Евангелию от Толстого».

Так прошло несколько месяцев. Однажды, приехав в Москву, я застал литературный кружок, группировавшийся около Гольцева и «Русской мысли», занятым идеей какого-то сборника по какому-то особому случаю. Сборник должен был напоминать о чем-то и отчасти носить характер протеста. Составилась редакция, в которую вошел Гольцев, кажется, В. С. Пругавин, Н. Н. Златовратский и я. В одном из собраний было решено пригласить к участию в сборнике Л. Н. Толстого, и задачу эту возложили на меня и на Н. Н. Златовратского.

Теперь у меня была, значит, определенная цель, и опасение солгать самым своим появлением у Толстого устранялось. Я решил идти.

Под вечер, если не ошибаюсь, ранней осенью [2] оба мы с Н. Н. Златовратским отправились в Хамовники, и я с невольным волнением поднялся по приглашению доложившего о нас камердинера по лестнице на второй этаж. Мой спутник, кажется, тоже сильно волновался. Н. Н. Златовратский еще недавно напечатал в «Русской мысли» полуаллегорический рассказ «Мои видения», в котором рисовал фигуру «великого мудрого старца», разрешающего все сомнения. Весь рассказ, который велся от лица человека, вышедшего из народа, был проникнут горьким раскаянием и жгучим недовольством: сын народа проклинал культуру, к которой приобщился, и как будто шел навстречу толстовскому отрицанию просвещения. Мне слышалось в этом очерке толстовское влияние, и оно казалось расслабляющим и нездоровым.

Я плохо помню теперь расположение комнат в Хамовниках, где я был только один раз. Может быть, это потому, что сразу же я обратил все внимание на высокого человека с седеющей бородой, который стоял на верхней площадке лестницы, окруженный группой людей. Прямо перед ним стоял невысокий, слегка сгорбленный худощавый человек, лысый, с двумя седыми буклями на висках. У него были круглые глаза, нос с горбинкой. Приятное белое лицо имело выражение ясное, а круглые глаза глядели как-то по-голубиному. Когда мы приблизились к ним, большой бородатый человек в блузе поздоровался с Златовратским (они уже были знакомы) и потом, когда я, в свою очередь, назвал себя, взял мою руку и, удержав ее в своей, продолжал или, вернее,

закончил свою речь, обращенную к человеку с седыми буклями:

— Да, да... Я действительно нашел истину. И она все мне объясняет: большое и малое... и все детали. Вот... (он слегка притянул к себе мою руку), это вот пришел Короленко... Он был в Сибири...и...

Он сообщил ту подробность моих ссыльных скитаний, которая должна была казаться ему особенно близкой и родственной.

— И теперь вот он пришел ко мне. И я знаю, зачем он пришел, и что ему нужно, и что он хочет у меня спросить.

Я почувствовал, что густо краснею. Вышло все-таки, что я не избег того, чего хотел избежать, и мой приход все-таки оказался некоторой ложью. Как теперь сказать этому подавляющему меня одним своим видом огромному человеку, автору «Войны и мира», что он совершенно ошибается, что в моей душе совсем нет того, что он в ней прочитал, и что я пришел лишь по чужому поручению, по делу сборника, которому едва ли даже придется увидеть свет?

— Ну, пойдем ко мне, — сказал Толстой, меняя тон и слегка взяв меня за руку. Все направились в его кабинет.

— Счастливый вы человек, Владимир Галактионович, — говорил Толстой на ходу и, заметив мой удивленный и вопросительный взгляд, пояснил: — Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у бога, чтобы дал и мне пострадать за мои убеждения, — нет, не дает этого счастья [3].

Кабинет Толстого представлял сравнительно просторную, но невысокую комнату, в которую пришлось, помнится, подняться по двум или трем ступенькам. Мне невольно пришло в голову, не поднят ли пол этой комнаты нарочно, чтобы сделать ее несколько ниже других?.. Не помню теперь ее меблировки, помню только, что всюду виднелись книги, бумаги, а в одном месте лежала сапожная колодка. Теперь эта комната была тесно набита людьми ⟨...⟩.

В кабинете на стенах и на стульях висели и лежали листы из альбома иллюстраций Ге к небольшим рассказам Толстого. Показывая их, Толстой восхищался рисунком, говорил, что они совершенно точно выражают его замыслы, и потом сказал:

— Хочу вот найти издателя для двух альбомов. Сначала один подороже, для богатых людей. Старик вот без штанов ходит. Надо старику на штаны собрать. Потом издадим подешевле, для народа...

В это время в другом конце комнаты закипел спор. Орлов и О⟨змидо⟩в спорили с Златовратским.

— Да, литература — та же проституция! — кричал он так же страстно, как вчера, когда объявлял себя богом. — Все вы не лучше этих несчастных падших женщин. Задушевные мысли, лучшие чувства своей души вы выносите на рынок...

— Да! Я с этим совершенно согласен, — вставил О⟨змидо⟩в. — Это именно проституция... Святыню души продавать за деньги... С точки зрения учения Льва Николаевича...

Златовратский возражал, но его возражения вызывали только новые потоки обличений... Глаза Орлова метали молнии.

— Раз став на эту дорогу, конечно... — говорил он язвительно, — дойдешь до того, что станешь описывать, как некий Остап играет на глупой бандуре...

Я понял, что это кинуто по моему адресу[4], и мне стало интересно выяснить на этот вопрос взгляд Толстого.

— Позвольте два слова, — сказал я, подходя к группе. — Вы считаете, значит, постыдным получать плату за литературную работу?

— Да, именно постыдно! — крикнул Орлов резко, а О⟨змидо⟩в тоном человека, развертывающего хорошо усвоенную формулу, прибавил:

— Если писатель искренен, — значит, он не оценивает на вес металла свои чувства и мысли... Если он ремесленник, — тогда, конечно, нечего и говорить. С точки зрения истинного христианина, то есть с той точки зрения, которую устанавливает Лев Николаевич в своих новейших произведениях...

— Позвольте, однако, — сказал я с недоумением, — ведь вот мы только что слышали, что Лев Николаевич проектирует издать альбом Николая Николаевича[5] и продавать его за деньги...

— Это совсем другое дело, — сказал О⟨змидо⟩в.

— Почему же? Разве картина художника, проводящая задушевные идеи, которые он тоже разделяет, не выражает его лучших чувств и мыслей?

О⟨змидо⟩в не сдался. Он начал говорить что-то бойко, докторально, закругленно, и все, что он говорил, невыносимо резало ухо. Чувствовалась готовность вести диалектический спор на какую угодно тему, какое-то холодное и неискреннее резонерство. Было заметно, что всем становится неловко. Заметил это, очевидно, и Лев Николаевич. Среди громкой тирады О⟨змидов⟩а раздался вдруг его тихий голос:

— Нет... Это не то... Я думаю, что Короленко прав...

Разговор принял другое направление ⟨...⟩.

РАЗГОВОР С ТОЛСТЫМ
МАКСИМАЛИЗМ
И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

В 1902 году мне пришлось побывать в Крыму [1], и я не упустил случая посетить Толстого, который лежал тогда больной в Гаспре. Чехов и Елпатьевский, оба писатели и оба врачи, часто посещали Толстого и рассказывали много любопытного об его настроении ⟨...⟩.

Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора [2]. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина [3]. Произошло покушение на Лауница [4]. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их головы. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно, в свою очередь, начинало заражать Толстого. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой:

— И, наверное, опять промахнулся.

Я привез ему много свежих известий [5]. Я был в Петербурге во время убийства Сипягина и рассказал, между прочим, отзыв одного встреченного мною сектанта — простого человека:

— Оно, конечно, — убивать грех... Но и осуждать этого человека мы не можем.

— Почему же это? — спросил я.

— Да ты, верно, читал в газете, что он подал министру бумагу в запечатанном пакете?

— Ну, так что же?

— А мы не можем знать, что в ней написано... Министру, брат, легко так обидеть человека, что и не замолишь этой обиды. Нет уж, видно, не нам судить: бог их рассудит.

Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он сказал:

— Да, это правда... Я вот тоже понимаю, что как будто и есть за что осудить террористов... Ну, вы мои взгляды знаете... И все-таки...

Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависших бровей, и он сказал:

— И все-таки не могу не сказать: это целесообразно.

Я был к этому отчасти подготовлен. В письме, которое Толстой послал Николаю II, уже заметна была перемена настроения: советы, которые он дает Николаю II, проникнуты уже не отвлеченным христианским анархизмом, а известной государственностью и необходимостью уступок движению. Но все-таки я удивился этому полуодобрению террористических убийств, казалось бы, чуждых Толстому [6]. Когда же я перешел к рассказам о «грабижке» [7], то Толстой сказал уже с видимым полным одобрением:

— И молодцы!..

Я спросил:

— С какой точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?

— Мужик борется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?

Я думал иначе и попытался изложить свою точку зрения. Я никогда не был ни террористом, ни непротивленцем. На все явления общественной жизни я привык смотреть не только с точки зрения целей, к которым стремятся те или другие общественные партии, но и с точки зрения тех средств, которые они считают пригодными для их достижения. Очень часто самые благие конечные намерения приводят общество к противополож-

ным результатам, тогда как правильные средства дают порой больше, чем от них первоначально ожидалось. Это точка зрения, прямо противоположная максимализму, который считается только с конечными целями. А Толстой рассуждал именно как максималист. Справедливо и нравственно, чтобы земля принадлежала трудящимся. Народ выразил этот взгляд, а какими средствами, для Толстого (непротивленца, отрицающего даже физическую защиту!) — все равно. У него была вера старых народников: у народа готова идея нормального общественного уклада 〈...〉. И я знал, что этой таинственной готовой мудрости нельзя найти ни в одном классе. Крестьянин умеет пахать землю, но в земельном вопросе, в широком смысле, разбирается не лучше, а хуже, чем многие из тех, которые не умеют провести борозду плугом. Я уже упоминал, как в Свияжском уезде, Казанской губернии, два огромных крестьянских общества шли друг на друга войной из-за земли. Дело дошло до вмешательства войск, и вожаки враждующих обществ были приговорены к смертной казни. Значит, у этих крестьян не нашлось общего начала, которое помогло бы им прийти к миролюбивому решению вопроса о земле даже друг с другом... Во время «грабижки» в качестве такого общего начала являлось крепостное прошлое. Более нуждающиеся крестьяне устранялись от раздела лишь потому, что они не были крепостными данного помещика. Можно ли с такими узкими и темными взглядами на земельный вопрос разрешить удовлетворительно эту самую запутанную и сложную задачу нашей жизни? Не ясно ли, что только государство с общегосударственной возвышенной точки зрения, при напряжении всенародного ума и всенародной мысли, может решить задачу широко и справедливо? Конечно, для этого нужно государство преобразованное. Из-за этого преобразования теперь идет борьба и льется кровь〈...〉.

Все это я постарался по возможности кратко изложить теперь перед больным великим писателем, в душе которого все злобы и противоречия нашей жизни сплелись в самый больной узел. Он слушал внимательно. Когда я кончил, он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами. Потом глаза опять раскрылись. Он вдумчиво посмотрел на меня и сказал:

— Вы, пожалуй, правы.

На этом мы в тот раз и расстались 〈...〉.

ИЗ ПИСЬМА К Т. А. БОГДАНОВИЧ

6 августа 1910 г.

⟨...⟩ Доехал до Тулы. Хотел бросить это письмецо в ящик, а потом подумал, — что лучше сделать это завтра, «после Толстого». Поезд, с которым я сюда приехал, сворачивает на Челябинск. Зато готов отойти «дачный». На нем до Козловой-Засеки. Оттуда, кажется, придется идти пешком. Говорят, недалеко.

Продолжаю, сидя на груде камней между Засекой и Ясной Поляной. Сзади на возвышении видны здания станции в лесу. Впереди — широкая просека, в конце ее — на небольшой горочке Ясная Поляна. Тепло, сумрачно, хочет моросить. У меня странное чувство: ощущение тихого сумеречного заката, полного спокойной печали. Должно быть — ассоциация с закатом Толстого. Едет мужик на плохой клячонке. Плетется старик с седой бородой, в стиле Толстого. Я подумал: не он ли? Нет. Какие-то двое юношей, один с аппаратом. Пожалуй, тоже пилигримы, как и я. Трое мужиков, — впрочем, в пиджаках, — с сетями и коробами на плечах. Идут ловить птицу. Спрашиваю дорогу в усадьбу Толстого. — А вот, скоро ворота направо. Там еще написано, чтобы сторонним лицам ни отнюдь не ходить. — Проходят. Я царапаю эти строчки. Моросит. Над лесом трещит сухой короткий гром. Пожалуй, вымочит. Не обещаю вам систематического interview, но набросаю по нескольку отрывочных строчек, вот так, где попало под дождем, в усадьбе Толстого, в поезде на обратном пути.

Продолжаю уже в постели, в Ясной Поляне, после обеда и вечера, проведенного с Толстым. Встретили меня очень радушно.

— Господин Короленко — вас ждали, — сказал лакей в серой ливрее, когда я, мокрый и грязный, вошел в переднюю. Застал я, кроме Льва Николаевича и Софьи Андреевны, еще дочь Александру Львовну (младшую) ⟨...⟩ потом невестку (вторую жену Андрея Львовича) и еще какую-то добродушную молодую женщину (кажется, подругу Александры Львовны) [1] и, наконец, — Льва Львовича, который меня довольно радушно устроил на ночлег рядом с собой.

Софья Андреевна встретила меня первая из семьи [2] и, усадив в гостиной, сразу высыпала мне, почти незнакомому ей человеку, несколько довольно неожиданных откровенностей. Видно, что семья эта привыкла жить под стеклянным колпаком. Приехал посетитель и скажет: ну, как вы тут живете около великого человека? не угодно ли рассказать?.. Впрочем, чувствуется и еще что-то. Не секрет, что в семье далеко от единомыслия. Сам Толстой... Я его видел больного в Гаспре в 1903 году [3–4], и теперь приятно поражен: держится бодро (спина слегка погнулась, плечи сузились), лицо старчески здоровое, речь живая. Не вещает, а говорит хорошо и просто. Меня принял с какой-то для меня даже неожиданной душевной лаской. Раз, играя в шахматы с Булгаковым (юноша секретарь), — вдруг повернулся и стал смотреть на меня. Я подошел, думая, что он хочет что-то сказать. — Нет, ничего, ничего. Это я так... радуюсь, что вас вижу у себя. — Разговоров сейчас передавать не стану; это постараюсь восстановить на досуге. Очень хочется спать. Скажу только, что Сергеенко прав: чувствуются сильные литературно-художественные интересы. Говорит, между прочим, что считает создание типов одной из важнейших задач художественной литературы. У него в голове бродят типы, которые ему кажутся интересными, — «но все равно, уже не успею сделать». Поэтому относится к ним просто созерцательно ⟨...⟩ [5].

7 августа.

Опять в поезде, уже из Тулы. Утром встал часов около шести и вышел пройтись по мокрым аллеям. Здесь меня встретил доктор и друг дома, Душан Петрович [6], словенец из Венгрии, — фигура очень приятная и располагающая. Осторожно и тактично он ввел меня в «злобы дня» данной семейной ситуации, и многое, что вчера говорила мне Софья Андреевна, — стало вдруг понятно... [7] Потом из боковой аллеи довольно быстро вышел Толстой и сказал: — Ну, я вас ищу. Пойдем вдвоем. Англичане говорят: настоящую компанию составляют двое. — Мы бродили часа полтора по росе между мокрыми соснами и елями. Говорили о науке и религии [8]. Вчера Софья Андреевна сказала мне, что противоречия и возражения его раздражают. Поэтому сначала я держался очень осторожно, но потом мне стало обидно за

Толстого и показалось, что он вовсе не нуждается в таком «бережении». Толстой выслушивал внимательно. Кое-что, видимо, отметил про себя, но затем в конце все-таки свернул, как мне показалось, в сторону неожиданным диалектическим приемом. Затем мы пошли пить чай, а потом с Александрой Львовной мы поехали к Чертковым [9] ⟨...⟩.

После этого с Толстым мы наедине не оставались, а после завтрака он пошел пешком вперед по дороге в Тулу. Булгаков поехал ранее верхом с другой лошадью в поводу; я нагнал Льва Николаевича в коляске, и мы проехали версты три вместе, пока не нагнали Булгакова с лошадьми. Пошел густой дождь. Толстой живо сел в седло, надев на себя нечто вроде азяма, и две верховые фигуры скоро скрылись на шоссе, среди густого дождя. А я поднял верх, и коляска быстро покатила меня в Тулу. Впечатление, которое я увожу на этот раз, — огромное и прекрасное ⟨...⟩.

P. S. Пример толстовской диалектики. Речь идет о знании. Я говорю: познание мира изменяет понятие о боге. Бог — зажигающий фонарики для земли, — одно. Бог — создавший в каждом этом огоньке мир и установивший законы этого мироздания, — уже другой. Кто изменил это представление — Галилеи, смотревшие в телескопы с целью *познания*, чистого и бескорыстного, то есть научного. На это Толстой, сначала как будто немного приостановившийся, — потом говорит: «Как это мы все забываем старика Канта. Ведь этих миров в сущности нет. Что же изменилось? — «Наше *представление* и изменилось, Лев Николаевич»... На вопрос, — думает ли он, что нет ничего, *соответствующего* нашим представлениям, — Толстой не ответил. — О личностях и учреждениях говорить не привелось. Времени было досадно мало ⟨...⟩.

Посылаю это письмецо заказным. Так не хотелось бы, чтоб оно потерялось. Пусть оно бессвязно и поверхностно, но в его складочках, кроме капель дождя, столько непосредственных ощущений и — живых воспоминаний и чувств, к ним примешивавшихся.

В. А. ПОССЕ

ТОЛСТОЙ

Первым властителем моих дум был Достоевский, вторым Л. Н. Толстой. «Толстовцем» я никогда не был, но влияние Толстого на меня было очень сильное. Его жизнь вторглась в мою жизнь. Задолго до того, как я увидел его, как я в первый раз пожал его руку, он уже стоял передо мной, как человек. Человек, и человек мне близкий, выделялся и в художнике, и в мыслителе ⟨...⟩.

Первый раз я увидел Толстого в 1895 году. Толстому ⟨...⟩ пришлись по душе мои очерки «На холере» [1], и друзья Льва Николаевича говорили мне, что он был бы рад лично познакомиться со мною. Но я, зная, как много отнимают у Толстого драгоценного времени назойливые посетители, долго не решался поехать к нему. Подтолкнула меня просьба составителей адреса молодому царю Николаю II, адреса, в котором русские литераторы просили царя дать русскому народу свободу слова, совести и собраний и созвать народных представителей [2].

Составителям адреса желательно было, чтобы под ним была подпись великого писателя земли русской. Мне поручалось просить об этом Толстого.

Мне очень не нравился адрес, не нравилась и самая идея подачи адреса царю, но я все же согласился исполнить это поручение уже по одному тому, что мне было крайне интересно узнать, как отнесется Толстой к затее радикальных литераторов ⟨...⟩.

Толстой жил в Москве, в Хамовническом переулке. Кто-то из прохожих указал мне его особняк. Я подошел. Как раз в этот момент из дверей вышел Лев Николае-

вич. Я его тотчас узнал, хотя видел раньше только его портреты и фотографии 〈...〉. Приподняв шляпу, я подошел к Льву Николаевичу. Он был в серой блузе и мягкой серой шляпе. Ниже ростом, чем я его представлял по портретам. Немного сутуловатый. Лицо, окаймленное седой бородой, прорезано резкими, глубокими линиями. Большой широкий нос между буграми верхних челюстей. Мягкое очертание старческого беззубого рта. Из глубоких орбит с нависшими густыми бровями, как из пещер, смотрели и пронизывали меня стальные глаза. Пронизывали сурово и вопросительно. Я назвал свою фамилию. Суровое выражение слетело и сменилось приветливо-ласковым.

— Очень, очень рад вас видеть 〈...〉.

Говоря это, Лев Николаевич держал в своей руке мою руку, не торопясь прервать первое дружеское рукопожатие.

— Пойдемте, побеседуем! — И он повел меня в свой кабинет.

Мы беседовали довольно долго, но, странное дело, я совершенно не помню, о чем мы говорили. Был я очень взволнован, и, вероятно, вследствие этого было ослаблено укрепление (фиксация) впечатлений мыслительных.

Помню только, что просьба о подписании адреса царю была Льву Николаевичу неприятна. Читать при мне адрес он не захотел и попросил прийти на другой день за ответом.

И во второй раз встретил меня Лев Николаевич так же приветливо, как и накануне. Но адрес подписать решительно отказался.

— Такого адреса я подписать не могу, — сказал мне Лев Николаевич, — хуже написать было трудно. Вы им этого не говорите, не обижайте их. Но так писать несчастному молодому человеку не годится.

Они ему пишут, что он все может, что он может теми или другими законами и распоряжениями осчастливить свой народ. Это значит — обманывать и себя и его. Он ничего не может. Так ему и следует написать: «Ты ничего не можешь сделать, пока ты царь. Единственное, что можешь сделать для народа и для себя лично — это отказаться от престола, перестать быть царем». Они пишут: нормально ли, что голос народа не доходит до царя? Это и есть самое нормальное. Нет, адреса я подписать не могу. Пусть на меня не обижаются. Я, может

быть, напишу Николаю письмо и скажу в нем то, что думаю [3].

Лев Николаевич пригласил меня с ним позавтракать. Во время завтрака завязалась оживленная беседа. Заинтересовался моим мировоззрением, в связи с этим речь зашла о марксизме.

— Меня вот все упрекают, — сказал Лев Николаевич, — что я пишу о том, как лучше устроить жизнь, не зная экономической науки, не зная, что сказал и что открыл Карл Маркс. Ошибаются. Я внимательно прочел «Капитал» Маркса и готов сдать по нему экзамен. Но ничего нового я у него не нашел. Неприятно поражает, что он самые простые вещи говорит запутанно, мудреными словами.

Но, конечно, не «запутанность» изложения отталкивала Толстого от Маркса, а отсутствие «религиозного жизнепонимания».

Лев Николаевич стал говорить о значении истинной религии и единственном законе, для всех обязательном, о «законе любви»〈...〉.

Весной 1900 года мы вместе с Горьким были в Москве [4]. Я написал Льву Николаевичу письмо, не позволит ли он приехать к нему вместе с моим другом, молодым писателем Алексеем Максимовичем Пешковым, пишущим под псевдонимом «М. Горький»?

В ответ я получил письмо от дочери Льва Николаевича, Марии Львовны, которая сообщала, что Лев Николаевич болен, но все же, узнав, что мы с Горьким в Москве лишь проездом, просит нас приехать к нему.

Нас очень радушно встретила семья Льва Николаевича во главе с Софьей Андреевной. Лев Николаевич лежал у себя в спальне, но, узнав о нашем приезде, поднялся и пришел в столовую. Помню, на сгорбленные плечи его был накинут большой шерстяной платок. Показался он мне еще меньше ростом, чем раньше, и сильно постаревшим. Рука его была бледная и горячая. Осторожно пожимая ее, я спросил:

— Ну, как себя чувствуете, Лев Николаевич?

— Хорошо, хорошо, — сказал он тихим и усталым голосом, — все ближе к смерти, это хорошо; пора уж.

Но не прошло и получаса, как Лев Николаевич сбросил с себя и усталость и хворь, оживился и оживил всех присутствующих.

Говорил о политике, о литературе, о религии. Лев Николаевич подсмеивался над собой, что никак не может равнодушно относиться к известиям о войне англичан с бурами и невольно радуется победам буров [5], хотя знает, что это нехорошо и грешно, так как буры, подобно англичанам, занимаются массовым убийством.

Потом Лев Николаевич прочел какую-то небольшую рукопись о буддизме и попутно указывал, что сущность буддизма совпадает с сущностью христианства и учение Будды даже выше учения Христа.

Горького Лев Николаевич несколько раз просверлил своими пытливыми светлыми глазами и затем стал смотреть на него с ласковой усмешкой.

Горький ему, видимо, очень понравился, но он успел заметить, что Горький писатель уже захваленный, и потому поднес ему небольшую горькую пилюлю.

Что Горький Льву Николаевичу понравился, я заметил в тот момент, когда Горький чиркнул спичкой, чтобы закурить папироску, и вдруг остановился, заметив на стене надпись: «Просьба здесь не курить».

— Закурить захотелось? Ничего, не обращайте внимания на надпись. Кури, коли хочется.

Особенно характерно было это прорвавшееся «кури» вместо «курите». И Горький закурил. Ободренный простотой Льва Николаевича, он спросил:

— Читали вы, Лев Николаевич, моего «Фому Гордеева»? [6]

И тут-то получил горькую пилюлю.

— Начал читать, но кончить не мог. Не одолел. Больно скучно у вас выдумано. А все выдумано. Ничего такого не было и быть не может.

— Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдумано.

— Нет, все выдумано. Простите меня, но не нравится. Вот есть у вас рассказ «Ярмарка в Голтве» [7]. Этот мне очень понравился. Просто, правдиво. Его и два раза прочесть можно.

Горький был озадачен.

«Фоме Гордееву», как своему первому крупному произведению, он придавал большое значение. Сценку же «Ярмарка в Голтве» считал совершенным пустяком.

Но, с другой стороны, совершенно понятно, что Толстой, желая указать на необходимость правдивости в творчестве и простоты в изложении, из всех очерков Горького выделил «Ярмарку в Голтве».

В ней отразилась сама жизнь.

Читателя охватывает атмосфера украинской ярмарки, он заражается настроением «чоловіков», их ленивым юмором и тяжеловесной веселостью.

И не только «чоловікі»... Цыган, еврей, ярославец — все, как живые. Живая, яркая картина, полная воздуха и зноя...

«Ярмарка в Голтве» напомнила Толстому Гоголя с его удивительным юмором.

— Куда только девался наш юмор и как мало его у современных писателей. Был он у Чехова, но в последних произведениях его уже нет юмора. А юмор — большая сила. Ничто так не сближает людей, как хороший безобидный смех. А в сближении людей главная задача искусства.

— Вот у вас в журнале, — обратился ко мне Лев Николаевич, — появился, видимо молодой писатель, Чириков, я его раньше не встречал. У него пробивается настоящий гоголевский юмор. С большим удовольствием прочел его рассказ «В лощине меж гор» [8].

— Ну, это просто анекдот, — вставил Горький.

— Что же, что анекдот?! — возразил Толстой. — Вот «Коляска» Гоголя тоже анекдот, а между тем ее, пожалуй, будут и тогда читать, когда нас с вами забудут.

Из рассказов, помещенных в «Жизни» за 1899 год, более всего Толстому понравился рассказ Н. Николаевича «Отслужил» [9]. Он указывал на него, как на вещь образцовую.

— Вот как надо писать! — говорил он. — Бесхитростно, но правдиво, жизненно, значительно.

При мне Толстой дал уже сильно потрепанную декабрьскую книжку «Жизни» за 1899 год рабочему, пришедшему за разъяснением какого-то наболевшего вопроса, и просил непременно прочитать рассказ «Отслужил» [10].

Автор рассказа, подписанного псевдонимом (Л. Николаевич), молодой вышневолоцкий рабочий Мельницкий. Это, если не ошибаюсь, его первое и последнее произведение. Оно было передано мне Вересаевым.

Помещая этот простой и правдивый рассказ из рабочей жизни, я был уверен, что на него обратит внимание Толстой. Я надеялся, что на него обратят внимание и литературные критики.

Относительно Толстого я не ошибся, но из критиков никто не заметил рассказа.

Не оттого ли, что это совсем простой, безыскусственный рассказ о жизни рабочего, износившегося за тридцатипятилетнюю фабричную работу и отставленного за негодностью?

Смысл рассказа в трогательной совестливости рабочего человека, которому и на старости лет стыдно жить без работы.

Возвращаясь к беседе Толстого с Горьким, вспоминаю, что Лев Николаевич спросил Алексея Максимовича, долго ли тот думает пробыть в Москве?

— Хотелось бы поскорее уехать, да вот еще заставляют читать на литературном вечере.

— Что, разве Алексей Максимович особенно хорошо читает вслух? — спросил с улыбкой Толстой, обращаясь ко мне.

— Нет, не особенно.

— Так зачем же вы выступаете публично? Напоказ, что ли? — обратился Толстой к Горькому.

— Да мне и самому не хочется, да вот молодежь пристает...

— Ах, молодежь, молодежь! — сказал Толстой. — Хороша она, когда не думает о том, что она «молодежь», что она что-то особенное.

В деревнях бывают такие девки, которые вечно носятся со своей девственностью, стараясь выставить ее напоказ.

— «Я девственница, я девственница!» (Толстой здесь употребил вместо «девственница» деревенское выражение, которое считается нецензурным.)

— Грош цена такой девственности. Девственность девушки хороша, когда она о ней не думает и даже не знает...

Так и с молодежью...

Нет, кто бы ни просил, а выставлять себя напоказ не надо.

Мне вот только раз пришлось выставить себя напоказ, да и то невольно.

Был здесь в Москве съезд врачей и естествоиспытателей. Пошел я с К. А. Тимирязевым послушать. А он и приведи меня прямо на эстраду. Публика увидела и начала хлопать в ладоши. Сильно хлопали.

Климент Аркадьевич шепчет мне:

— Кланяйтесь, Лев Николаевич. Это вам аплодируют.

Но тут уже я запротестовал:

— Чем я перед ними провинился, чтобы кланяться? [11].

На Горького первая встреча с Толстым произвела не особенно хорошее впечатление.

— Ну, как тебе понравился Толстой? — спросил я Горького, когда мы ехали из Хамовнического переулка.

— Да как тебе сказать?.. Финляндия какая-то. Ни родное, ни чужое, да и холодно.

Но Толстому Горький понравился.

— В нем есть что-то мужицкое, — говорил Толстой, а это у него высшая похвала.

На другой день после первого знакомства Горького с Толстым я снова был в Хамовниках, на этот раз один.

— Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля, — сказал мне Толстой. — Я не сказал ему главного. За ним всегда останется крупная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Достоевский показал ее в преступнике, а Горький — в босяке. Жаль только, что он много выдумывает. Я говорю, разумеется, не о фабуле. Фабулу можно выдумывать. Я говорю о выдумке психологической. Допустим, вы пишете роман и рассказываете в нем, что ваш герой отправился на Северный полюс и, встретив там свою возлюбленную, обвенчался с ней. Выдумка вполне допустимая. Но если вы описываете душевное состояние приговоренного к смертной казни и заставите его думать и чувствовать так, как он при данных условиях не может, то это будет выдумка недопустимая, выдумка вредная.

В дальнейшей беседе о творчестве Горького я упомянул о силе его изобразительной способности при описании природы.

Но Толстой со мной не согласился.

— Нет, описывать природу Горький не умеет. «Море смеялось», «небо плакало» и так далее — все это ни к чему. Не следует смешивать явления природы с проявлениями человеческой души.

— Но ведь именно это смешение, — возразил я, — и лежит в основе всей народной поэзии.

Толстой на минуту задумался, но затем решительно сказал:

— Тогда это было нужно, а теперь не нужно.

Здесь Толстой почему-то вспомнил Николая Успенского.

— Николай Успенский, — сказал Толстой, — писал просто и художественно. Был он несравненно талантливее, чем Глеб Успенский, а теперь почему-то совсем забыт [12].

Беседа перешла на иностранных писателей.

Я спросил Льва Николаевича, как он относится к творчеству Ибсена, которого я очень высоко ценил и высоко ценю до сих пор.

— Не нравится он мне, — сказал Толстой. — Пишет не просто, туманно, загадками, которые сам, вероятно, не сможет разгадать. Прочел я недавно его «Морскую женщину» [13]. Ничего не понял. Какой-то соблазнитель с океанами вместо глаз...

Вот Гюи де Мопассан — это другое дело. У него все просто, ясно, сильно. Большой талант!

— Но у Мопассана, — заметил я, — есть рассказы, в которых эротизм сбивается на порнографию. Они не должны бы вам нравиться.

— Верно, верно. Но знаете... — Тут Толстой минуту помолчал и потом вдумчиво сказал:

— У настоящего таланта два плеча: одно плечо — этика, другое — эстетика. И если этика слишком подымается, то эстетика опустится, и талант будет кривобокий.

Осенью того же года мы с Горьким поехали в Ясную Поляну [14].

В вагоне вместе с нами тоже к Толстому ехал со своею дочерью директор одного из московских банков Дунаев, считавший себя толстовцем. Рано утром мы вышли на станции Засека, от которой до Ясной Поляны версты четыре. Директор банка спросил, высланы ли за ним лошади из Ясной Поляны, и остался очень недоволен, получив отрицательный ответ.

В это время к Дунаеву подскочил какой-то живой и плотный старичок в высоких сапогах, тоже направляющийся в Ясную Поляну, и заявил, что он быстро добежит до Ясной Поляны, и скажет, чтобы выслали лошадей. Дунаев с дочерью остались ждать лошадей, а мы, вслед за услужливым старичком, пошли пешком.

Дорога была грязная, ноги наши вязли, но утро было хорошее; шли мы весело ⟨...⟩.

В яснополянском доме нас встретила Софья Андреевна и после первых же приветствий рассказала, что летом была получена телеграмма «Иду к вам. Горький».

— Никакой телеграммы я не посылал, — сказал Горький. — Очевидно, ее послал какой-то жулик.

— Какая досада, — заметила Софья Андреевна, — еще за доставку пришлось заплатить рубль тридцать пять копеек.

Вскоре пришел и Лев Николаевич, бодрый, веселый, помолодевший. Встретил он нас приветливо, радостно, но тоже упомянул о телеграмме и о том, что за доставку ее пришлось уплатить ⟨...⟩.

Вскоре приехали в коляске Дунаевы.

Директор банка в присутствии Льва Николаевича сразу превратился в опростившегося толстовца. Не курил, хотя в вагоне курил усиленно, не ел мясного, кажется, даже костюм переменил, а тон разговора переменил наверное.

Горький все время недружелюбно щупал своими глазами опростившегося директора банка.

— Заметил ты, — говорил он мне после обеда, — как благоговейно и самоотверженно жевал директор морковку и картошку, отказавшись от индейки?

Дунаев заметил недружелюбное отношение Горького и, когда мы поздно вечером ждали на Засеке поезда на Москву, подошел к Алексею Максимовичу и, с наслаждением закуривая папироску, стал рассказывать, как ему удалось спасти и направить на честный путь какую-то шансонетную певичку, с которой он познакомился в известном московском шантане, у «Омона».

— Думаю, — заключил елейным голосом свой рассказ Дунаев, — что это маленькое хорошее дело мне зачтется, что оно покроет часть моих прегрешений.

— Я полагаю, что на том свете для вас подготовлена тропическая температура, — сказал глухо и сурово Горький, покручивя правый ус.

— То есть как тропическая? — спросил Дунаев, не сразу поняв, что Горький направляет его в ад.

— Да так, очень просто: тропическая, и баста.

Вообще, Горький в этот день был не в духе. Яснополянская обстановка ему не нравилась.

Это чувствовал Лев Николаевич, которому, видимо, Горький нравился все больше и больше.

Горький сидел хмурый в кресле. Толстой подошел к нему, похлопал по плечу и с доброй улыбкой спросил:

— Не любите вы меня, Алексей Максимович?

— Не люблю, Лев Николаевич, — полушутя, полусерьезно ответил Горький.

Не скрыл Горький от Толстого и своего отрицательного отношения к «Воскресению», отметив, правда, что справедливое, а потому и доброжелательное отношение Толстого к «государственным преступникам» должно иметь огромное общественное значение.

За Горьким в Ясной Поляне все «ухаживали». Софья Андреевна свое хорошее отношение к нему отметила тем, что сняла его, и сняла очень удачно, вместе с Львом Николаевичем, в яснополянском парке, под «деревом бедных» [15].

У меня было настроение хорошее, радостное, хотя за мной никто не «ухаживал». Обрадовало меня, между прочим, то, что Лев Николаевич ⟨...⟩ очень похвалил политические обозрения Вильде, не зная, что это мой псевдоним.

Но хорошо и весело мне было главным образом потому, что хорош, весел и бодр был Лев Николаевич.

Во время прогулки он ловко перепрыгивал через канавы, перелезал через изгороди, и я с трудом за ним поспевал.

За обедом он руководил беседой, которая вращалась преимущественно около китайского вопроса. Толстой говорил, что китайский народ не менее даровит, чем так называемые культурные народы Запада. Он указывал, что из среды китайского народа вышли величайшие мудрецы, у которых многому должны бы научиться такие философы, как Владимир Соловьев.

— Вы хорошо сделали, хотя и очень огорчили меня этим, — сказал он, обратившись ко мне, — что привели в одном из своих обозрений стихотворение Владимира Соловьева, восхваляющее императора Вильгельма:

Перед пастию дракона
Крест и меч одно [16].

Ведь это прямо ужас! И Соловьев, приравнивающий меч Вильгельма к кресту Христа, считает себя не только философом, но и верующим христианином.

После обеда Лев Николаевич изящно и неутомимо играл с Александрой Львовной в волан.

Весело было смотреть на него!

Такими, вероятно, будут старцы (а не старики) будущего идеального строя.

Как лучи от солнца, шли от него во все стороны лучи любви и привета. Они грели и добрых и злых, и правых и виноватых, и близких и дальних.

Простившись с радушными хозяевами, поздно вечером мы вместе с другими гостями поехали на длинной линейке, запряженной парой рысаков, на Засеку. Впереди скакал верховой с пылающим факелом, освещающий нам дорогу. И у меня было такое чувство, как будто мы ехали из усадьбы графов Ростовых еще в те давние времена, когда хохотунья Наташа заливалась серебристым смехом, когда хорошенькая Соня наряжалась гусаром и жженой пробкой делала себе усы, когда жив был еще бедный вояка Петя...

В июле 1909 года я поехал в Ясную Поляну, чтобы повидаться и побеседовать с Львом Николаевичем 〈...〉[17-18].

Девять лет не видел я Толстого.

За это время тяжелых болезней и тяжелых потрясений он, конечно, изменился, но дряхлым его никак нельзя было назвать.

Какая тут дряхлость, когда он ежедневно по нескольку часов работал, отвечал на массу получаемых писем, беседовал с посетителями, гулял, ездил верхом!

На красивой караковой лошадке, весело перебирающей ногами и задорно подымающей кверху голову, Лев Николаевич выглядел молодцом, «настоящим джигитом».

Его верховой посадке, его уменью «срастись с лошадью» мог бы позавидовать иной молодой наездник.

Старость замечалась лишь при прогулках пешком. Не было прежней ловкости в походке, и не мог он перепрыгивать через канавы и изгороди, как делал лет десять тому назад.

Душа Льва Николаевича изменилась больше, чем его тело. Стал он мягче, терпимее. Взгляд его глаз уже не пронизывал, в нем была какая-то скорбь, часто показывались слезы. Особенно скорбно было выражение его лица, когда он читал письмо двух заключенных в арестантские роты за отказ от военной службы.

Арестованные писали, что чувствуют себя бодрыми и живется им не слишком плохо, только вот вши заедают[19].

— Их, вот, вши заедают, а я на балконе кофе со сливками пью, — сказал Лев Николаевич, прочитав письма, и на глазах появились слезы.

— Сидели вы в тюрьме? — спросил он меня.

— Сидел, — ответил я. — Да это не особенно худо.

— Худо ли?! — живо подхватил Лев Николаевич. — Вот чего мне не хватает, тюрьмы. Как было бы хорошо, если бы вместо этих молодых людей посадили бы в тюрьму меня, в тюрьму настоящую, тюрьму хорошую, сырую, темную, вшивую!

—Не думаете ли вы, — спросил я Льва Николаевича, — что близится время общественного пробуждения к более разумной жизни?

— Не знаю, не знаю, — сказал Лев Николаевич с печальной задумчивостью. — Я этого сказать не могу. Если трудно предвидеть перемену в отдельном человеке, то насколько труднее предвидеть в целом обществе 〈...〉.

Он собирался поехать в Стокгольм на конгресс друзей всеобщего мира, чтоб и там сказать, как просто создать всеобщее братство, раз навсегда отказавшись от всяких вооружений 〈...〉.

Беседа захватила вопрос о социализме. Кто-то упомянул о Плеханове.

— Простите, — сказал Лев Николаевич, — я знаю, что я сейчас себя осрамлю в ваших глазах, так как выявлю невероятное невежество. Скажите, кто такой Плеханов, о котором вы упоминаете как о личности всем известной? Я об нем ничего не знаю.

Вероятно, Лев Николаевич слыхал о Плеханове и знал раньше, кто он такой, но забыл 〈...〉.

По просьбе Льва Николаевича я рассказал, какую роль в революционном движении играл Плеханов, и, между прочим, упомянул о борьбе между большевиками и меньшевиками.

Мой рассказ очень заинтересовал Льва Николаевича, и он несколько раз задумчиво повторил:

— Очень интересно, очень интересно. Одна и та же программа, одни и те же цели, бывшие товарищи — и такая ожесточенная вражда! Ну, а с кадетами они враждуют?

— Да, враждуют.

— А как кадеты относятся к нам, к людям наших взглядов? — спросил Лев Николаевич, обратившись к своему секретарю Н. Н. Гусеву.

— Неопределенно, — ответил Николай Николаевич.

— Да, да, — сказал, улыбаясь, Лев Николаевич. — Социалисты к нам относятся враждебно, а кадеты — снисходительно.

Во время той же обеденной беседы кто-то заговорил о памятнике Гоголю работы Андреева, только что поставленном на Арбатской площади в Москве. Одни хвалили, другие хаяли, а Лев Николаевич заметил только, что памятник должен гармонировать с той площадью, где он поставлен, и теми зданиями, которые его окружают [20].

Вероятно, по ассоциации с этим разговором Лев Николаевич после обеда сказал Гусеву, что он просил бы своих друзей протестовать против постановки памятника ему, Толстому, если после его смерти у кого-нибудь появится такая мысль.

Сказал он также, что боится, как бы Гинцбург не стал его уговаривать позировать. Ему позировка перед художниками и скульпторами чрезвычайно тягостна, но и отказывать в просьбе тяжело.

Гусев сказал об этом Гинцбургу, и тот не просил Толстого позировать, но все же втихомолку сделал набросок карандашом в то время, как Лев Николаевич читал вслух статью из «Русского богатства» о крестьянском банке [21].

В этой статье, кстати сказать, доказывалось, что крестьянский банк приносит деревенской бедноте больше вреда, чем пользы, и статья эта очень понравилась Толстому ⟨...⟩.

Очень сочувственно отнесся Лев Николаевич ко всему тому, что я говорил о всеобщей забастовке рабочих, солдат, плательщиков налогов, как средстве борьбы с государственным насилием. Особенно полюбилась ему мысль о бойкоте водки, который мог бы подрезать один из главных источников государственного дохода.

В спасительности «единой подати» Генри Джорджа Лев Николаевич начал уже сомневаться [22]. Но с тем большим ударением говорил он, что первым условием правильного устройства народной жизни является уничтожение частной собственности на землю.

— Было бы лучше всего, — добавил он, — если бы вообще исчезла всякая собственность. У меня в последнее время постоянно вертится в голове фраза Прудона: «Lapropriété c'est levol» (собственность — это воровство).

Из революционеров Лев Николаевич особенно интересовался П. А. Кропоткиным.

— Прочел я, — говорил он, — недавно его книгу о французских тюрьмах [23]. Умная, поучительная книга, прекрасно выявляющая лицемерие республиканской власти. Очень хотелось бы мне лично познакомиться с Петром Алексеевичем Кропоткиным, но, видно, не придется, как не пришлось мне познакомиться с Федором Михайловичем Достоевским. Чем больше я живу, тем сильнее чувствую, как близок мне по духу Достоевский, несмотря на то, что наши взгляды на государство и церковь кажутся прямо противоположными.

Достоевский, Кропоткин, я, вы и все другие, ищущие истины, стоим на периферии круга, а истина в середине. Разными путями приближаемся мы к ней.

Зашла речь о христианстве. Меня поразило, что Лев Николаевич с какой-то особенной резкостью стал нападать на христиан всех толков.

— Не следует называть себя христианином, — говорил он, — потому, что нет никакой особой христианской истины. Нет ничего в христианском учении, чего бы не было в других религиях, особенно в буддизме; кроме того, так называемые христианские истины мы можем найти более углубленными и лучше выраженными у древних мудрецов, особенно у мудрецов китайских.

— Пора перестать, — продолжал Лев Николаевич, — ссылаться и на Евангелие, в котором много противоречий и много нелепых суеверий.

Я указал в ответ на эти слова, что Евангелие ценно не поучением Христа, а трогательно, просто, потому и художественно, рассказанной историей жизни и страданий человека, поверившего в силу любви.

Но Лев Николаевич продолжал нападать на христианство и Евангелие.

— Страшно подумать, — говорил он, — сколько совершено злодеяний, убийств и обманов именем Христа и на основе Евангелия.

Тогда я припомнил где-то сказанные слова Льва Николаевича, что церковное христианство является предохранительной прививкой против восприятия евангельских истин, как дифтерийная сыворотка предохраняет от заболевания дифтеритом [24].

— Нет, вы ошибаетесь, вы приписываете мне то, чего я не говорил. Неужели я мог так хорошо сказать? А сказано хорошо! — И лицо Льва Николаевича озарилось лукаво-радостной улыбкой.

Надо заметить, что Лев Николаевич в последние годы своей жизни часто не узнавал себя, то есть не признавал за свое то, что было им раньше написано.

Незадолго до моего приезда Н. Н. Гусев читал Льву Николаевичу вслух мою статью в «Слове» о «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева. В этой статье я писал, что Андреев не мог правдиво передать настроение осужденных к смертной казни, что он это настроение выдумал. И в противовес этой выдумке я привел правдивый «рассказ Кириллова» о повешении двух политических из «Воскресения» Толстого.

Когда Гусев прочитывал выписки из «Воскресения», Лев Николаевич подумал, что это выписки из «Рассказа о семи повешенных», и заметил:

— Нет, Поссе не прав, Андреев здесь написал очень правдиво. Так и следует писать.

— Лев Николаевич, но ведь это писал не Андреев, это взято из вашего «Воскресения».

Лев Николаевич добродушно рассмеялся.

В связи с критикой христианства Лев Николаевич затронул вопрос о безнравственности самой идеи возмездия.

Эта идея возмездия делала для него совершенно неприемлемым и учение теософов[25].

— В мире нет виноватых, — сказал он, видимо, забыв, что это слова шекспировского Лира.

— Если у меня хватит еще сил, то я на эту тему напишу рассказ, а может быть, и целый роман.

И затем, по какой-то ассоциации мыслей и впечатлений, заговорил о стражнике, присланном по просьбе Софьи Андреевны для охраны Ясной Поляны.

Присутствие стражника, видимо, очень мучило Льва Николаевича.

— Подошел я к стражнику, — рассказывал Лев Николаевич,— и спрашиваю его: «Чего это у тебя сбоку висит? Нож, что ли?»

— Какой нож? Это не нож, а тесак.

— Что же ты им будешь делать? Хлеб резать?

— Какой там хлеб?!

— Ну, так мужика, который тебя хлебом кормит.

— Ну что ж, и буду резать мужика.

— Ведь сам ты тоже мужик. Как же тебе не совестно резать своего брата мужика?

— Хоть совестно, а резать буду, потому такова моя должность.

— Зачем же ты пошел на такую должность?

— А затем, что вся цена мне в месяц шестнадцать целковых, а платят мне тридцать два целковых, потому и пошел на эту должность.

— Ответ стражника, — с усмешкой заметил Толстой, — объяснил мне много непонятных вещей в жизни. Взять хотя бы Столыпина. Я хорошо знал его отца и его когда-то качал на коленях [26]. Может быть, и ему совестно вешать, а вешает, потому что такова его должность. А на эту должность пошел, потому что красная цена ему даже не шестнадцать целковых, а, может, ломаный грош, получает же он — тысяч восемьдесят в год.

И таковы все эти порядочные люди, из так называемого высшего общества. Милы, любезны, учтивы, пока дело не коснется должности, а по должности — звери и палачи. Таков, например, был известный шеф жандармов Мезенцев [27], убитый за свои зверства революционерами. А вне должности был премилый и добродушный человек; я его хорошо знал.

Прощаясь, мы обнялись и расцеловались с Львом Николаевичем.

— Прощайте, дорогой мой, — сказал Лев Николаевич, — может быть, в этой жизни мы больше с вами не встретимся ⟨...⟩.

ПОЛЬ БУАЙЕ

ТРИ ДНЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

29 июля 1901 г.

Я нахожусь в конце высокой березовой аллеи; направляюсь к площадке, окружающей дом, на которой в хорошую погоду происходят семейные трапезы, и вдруг вижу перед собой Толстого. Он поднялся с шезлонга, на котором лежал, — и вот он передо мною; он стоит, слегка опираясь на трость, протягивает мне руку, поздравляет с благополучным прибытием и сам представляет меня своей дочери Марии Львовне, с которой я еще не был знаком, своему зятю, князю Оболенскому, доктору, который лечил его с самого начала болезни, а теперь, вполне успокоившись, собирался вернуться в Москву.

Лев Николаевич похудел; черты лица его заострились; морщины, бороздящие лоб, стали глубже, спина сгорбилась, плечи, побежденные приступами удушья, как будто немного сузились [1]. Но в целом его фигура не изменилась: походка осталась такой же легкой, удивительно мягкой и четкой; в руках с тонкими запястьями ни малейшей дрожи; глаза, «маленькие бесцветные глаза, глубокие и подвижные», по-прежнему смотрят на вас прямо из-под густых, почти белых бровей; пожалуй, только голос — менее полный, менее уверенный — выдает семидесятитрехлетний возраст этого гиганта. Да, это человек, выздоравливающий после тяжелой болезни, но никак не старик...

Я еще не успел расспросить его о новостях, как он уже начал говорить о Франции, о наиболее видных пи-

сателях, о недавно появившихся французских произведениях. «Мне присылают много книг, — говорит он, — может быть, из числа тех, которые плохо распродаются. Я ищу шедевр и не нахожу его».

30 июля 1901 г. Вечером за чаем.

«Поговорим о вашей современной литературе, — говорит мне Толстой. — Мне в ней не все понятно. Очень часто она кажется мне лишенной специфически французских качеств, жара убежденности, пылких рассуждений, ясности.

Ваши великие мастера восемнадцатого века — Вольтер, Дидро, Руссо — написали столько сильных страниц, прекрасных, *полезных для всякого, моральных!* Что такое после них ваши нынешние «философы»? Да, я знаю, они «кудесники молодежи»; конечно, они полны добрых намерений, и все, что они говорят, даже правдиво, но правдиво слишком банально; это банальные истины, которые уже много раз читаны, это мораль и социология, предназначенные для буржуа, не говоря уж о том, что у них нет ни малейшего таланта. Право же, я с большим интересом читаю сочинения социалистов [2], особенно анархистов; можно с ними соглашаться или не соглашаться, но то, что они говорят, имеет, по крайней мере, то достоинство, что до них этого не было сказано.

Не удовлетворяют меня и ваши романисты. Какое мне дело до всех этих ничтожных рассказов о скучающих дамах, о господах, которые сами не знают, любят они или нет? Вы пишете к тому же слишком много романов! Ведь это так просто — написать роман! Надо бы предоставить эту забаву министрам в отставке... Недавно мне рассказывали об одном очень милом молодом человеке, который, говорят, неплохо играет на виолончели; и вот он вздумал написать роман, большой роман для одного из ваших «молодых» журналов. А роман вышел из рук вон плохой. Другой лет пятнадцать тому назад начал двумя томами хороших критических работ; но и ему захотелось писать романы! Неужели не нашлось никого, кто бы сказал ему, что это не его дело?..

Я хотел бы также поговорить с вами о ваших поэтах. Но что вам сказать о них? Я ничего не понимаю. Иметь Виктора Гюго, Мюссе, Ламартина и восхищаться теперешними! Нет, я ничего не понимаю, ничего!»

И Толстой возвращается к великим французским мастерам XIX века — Стендалю, Бальзаку, Флоберу.

«Да, то были настоящие мастера. Я восхищаюсь также Золя, Золя, автором первых романов, Золя до «Доктора Паскаля»;[3] Тургенев очень ценил его и был прав[4]. Додэ я люблю меньше. Гонкуры? Я довольно плохо знаю их романы; но я читал их «Дневник»: он выше всяких похвал. Постойте, в прошлом году в «Ревю бланш» я прочел очень хороший роман: «Дневник горничной» Октава Мирбо. Это известный писатель, говорите вы. Я его не знал. Да, его роман очень хорош и представляет подлинно человеческий интерес. Мне запомнилось первое падение этой бедной девушки в Бретани; сцена описана прекрасно.

Но пусть мне не говорят об эволюции романа, о том, что Стендаль объясняет Бальзака, а Бальзак, в свою очередь, объясняет Флобера. Все это — выдумки критики. Я очень люблю ваших французских критиков, только их я и читаю; но это не значит, что даже самые общеизвестные среди них не отстали на добрых сорок лет во всем, что касается вопросов религиозных и социальных, хотя их эссе написаны красиво, и я читаю их с удовольствием. Этому не мешает то, что я не разделяю их мыслей о преемственности Стендаль — Бальзак — Флобер. Гении не происходят один от другого: гений всегда рождается независимым».

Затем с удивительной искренностью, придающей столько обаяния его разговору, он продолжал:

«Что касается меня, я знаю, чем обязан другим; знаю об этом и говорю; и прежде всего я обязан двоим — Руссо и Стендалю. Руссо не отдавали должного; не ценили благородства его мыслей, порицали его на все лады. Я прочел всего Руссо, да, все двадцать томов, включая «Музыкальный словарь».

Я не только восхищался им; я боготворил его: в пятнадцать лет я носил на груди медальон с его портретом, как образок. Многое из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам[5].

Стендаль? Я хочу видеть в нем лишь автора «Пармской обители»[6] и «Красного и черного»; это два несравненных шедевра. Я обязан ему более, чем кто-либо: я обязан ему тем, что понял войну. Перечитайте в «Пармской обители» рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него так описал войну, то есть такой, какой она бывает

на самом деле? Помните, как Фабриций едет по полю битвы, абсолютно ничего не понимая, и как ловко гусары снимают его с коня, с его прекрасного «генеральского коня». Впоследствии на Кавказе мой брат, ставший офицером раньше меня, подтверждал правдивость этих описаний Стендаля; он обожал войну, но не принадлежал к числу наивных людей, верящих в Аркольский мост [7]. «Все это, — говорил он мне, — театральность, а на войне театральности нет». Вскоре в Крыму я получил полную возможность убедиться во всем этом собственными глазами. Но, повторяю, во всем том, что я знаю о войне, мой первый учитель — Стендаль».

Так говорит человек, написавший «Войну и мир»!

31 июля 1901 г.

Несколько часов спустя я рассказывал Толстому о своем визите к его бывшему ученику, и когда я заговорил о том, какое удовольствие я получил, слушая его (Тараса) [8] живописный и смачный язык, богатый образами, с четким синтаксисом, Толстой ответил: «Да, эти люди тоже мастера. Прежде, разговаривая с ними или со странниками, которые с котомкой за плечами ходят по нашим деревням, я заботливо отмечал все их выражения, которые слышал впервые, часто забытые нашим современным литературным языком, но всегда хранящиеся в глухих углах России. Чтобы написать «Власть тьмы», я широко использовал свои записные книжки, и поэтому немало слов в моей драме нуждается в объяснении даже для русского читателя».

Потом, возвращаясь к сказанному:

«Да, гений языка живет в этих людях, а также и у старых писателей нашего русского средневековья, о которых вы мне вчера говорили, у безвестных зачастую авторов наших «Житий святых». Я много занимался «Житиями святых», особенно «Прологами». Да вот в вашей комнате, на полках слева вы можете найти старое издание «Прологов»; откройте его, и вы найдете заметки, сделанные моей рукой».

В самом деле, накануне мы беседовали о русской литературе, в частности о древнем периоде этой литературы, которую очень удобно, но и очень несправедливо исчислять только от Пушкина. И мы долго говорили о «Житиях святых», не о тех, которые являются простыми

переводами с греческого, но о тех, которые как живой родник забили именно там, где жили их наивные герои, и о «Житии» протопопа Аввакума [9], этом шедевре, вызвавшем восторженный отклик Тургенева, когда текст жития, находившийся в течение двух веков под запретом, был опубликован Николаем Тихонравовым.

И из того, что сказал мне Толстой, следовало, что в писателях своей страны, старых и новых, а также и в наших писателях он выше всего ставит искренность мысли, а затем искренность выражения.

Именно к искренности — вот к чему всегда возвращаешься в беседах с Толстым, и о нем тоже можно будет сказать со временем veritatem dilexit*. Малейшее подозрение в неискренности, даже в области стиля, вызывает у него недоверие или негодование. Вопреки свидетельству о подлинности, выданному «Слову о полку Игореве» почти единодушно наиболее известными русскими филологами, он считает это произведение апокрифом — и это мнение не должно огорчить моего уважаемого учителя, г-на Луи Леже; Толстой восхищается, как и следовало ожидать, удивительным талантом Щедрина, но не прощает ему «выдуманных словечек» и сугубо индивидуальных выражений [10], ибо выражения эти, будучи нужными их создателю, остаются для читателя мертвым звуком.

---

* правду сказал (*лат.*).

СКИТАЛЕЦ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ВСТРЕЧИ

I

Мне вспоминается яркий солнечный апрель в Крыму, каменистый берег моря в Олеизе, вечный, неугомонный гул прибоя, а на берегу деревянная дача «Нюра» — вычурной архитектуры, вся белая, веселая, кокетливая.

Темно-синей пеленой колыхалось могучее море, освещенное весенним радостным солнцем, кое-где качались надутые ветром паруса рыбацких лодок; иногда вдали на горизонте медленно проплывал черный грузовой пароход.

Это была весна 1902 года.

На даче «Нюра» жил тогда Горький, на рассвете своей славы: вся читательская Россия, жаждавшая обновления и предчувствовавшая близость революции, думала, что у Горького в кармане лежит путь в обетованную страну, текущую млеком и медом, к заветному острову свободы, со всеми угодьями и землями, со всеми благополучными и воздушно-хрустальными замками.

Все обещало конец тогдашним невзгодам: весеннее небо, весеннее море, теплом веющий южный ветер и весна в сердце.

Шумно и весело было у Горького на «Нюре», наехали гости, приехал Шаляпин.

И когда, наконец, все они схлынули, из гостей остались только двое: Шаляпин и я, приехавший поправлять здоровье, расстроенное тюрьмой.

Тогда Горький сказал Шаляпину:

— А не сходить ли нам сейчас к Толстому?

Оказалось, что Толстой жил тогда в Гаспре, в десяти минутах ходьбы от «Нюры».

— Пойдем! — согласился Шаляпин.

Я попросил их взять меня с собою. Горький, не раз бывавший у Толстого в Ясной Поляне, стал меня отговаривать.

— Не советую! — сказал он.— Неприятно вам будет! Я вот про себя скажу: ведь какой ни на есть, а все-таки я — писатель, но, когда говоришь с Толстым, черт знает отчего, чувствуешь себя каким-то мальчишкой, ей-богу! Не человек говорит, гора говорит!

Шаляпин заступился за меня. Они посоветовались, поспорили и, наконец, решили взять меня с собой в путешествие к Человеку-Горе.

Мы отправились к нему прямиком по тропинке, через какую-то рощу, перелезали через изгороди, карабкались на гору, и, наконец, минуя Кореиз, вылезли прямо к сумрачному замку из темного камня, выстроенному в средневековом, рыцарском стиле. Кругом него был большой запущенный парк, широкий зеленый луг с клумбами цветов — и ни души.

II

Пока шли, Горький рассказывал, что Толстой оправляется теперь от только что перенесенной им тяжелой болезни, кажется, воспаления легких.

Хвалил Софью Андреевну.

— Это правильно она говорит: если бы не она, так он бы десять раз себе Голгофу устроил! Умная баба. Я ей говорю в прошлый раз: «Вот — его отлучили от церкви, в случае если помрет, без попов хоронить придется!» Так она даже кулаком по столу пристукнула, говорит: «Вот увидите, митрополит хоронить будет! Митрополит!»

— Да, с большим характером женщина!

Увы! Через восемь лет после этих слов Толстой устроил-таки себе Голгофу, и не «спасла» его Софья Андреевна, и не хоронил митрополит.

Алексей Максимович рассказывал содержание повести «О⟨тец⟩ Сергий», только что написанной тогда, которую

Толстой читал ему по рукописи [1]. Говорил о том, какой удивительный рассказчик Толстой в живой беседе.

— Он как-то лепит руками из воздуха, как скульптор, и вот видишь перед собой все эти лица и фигуры, как живые! Лепит, лепит, создает все из воздуха, вызывает к жизни из ничего, а потом дунет — и все исчезло! Колдун! В прошлый раз как-то рассказал мне содержание одной новой повести какого-то молодого, неизвестного автора, напечатанной в одном плохоньком журнальчике: ведь он все читает, ничего не упустит! Ну, братец ты мой, так рассказал, что у меня глаза на лоб вылезли. «Батюшки, думаю, новый талантище появился, а я и прозевал!» Пришел домой, отыскал эту повесть, прочел,— только в затылке почесал: конечно, ерунда! Бездарность безнадежная, ничего и похожего-то нет на то, что рассказал Толстой! Ах, если бы тот мог написать так, как этот пересказал им написанное!

Мы взобрались на парадное крыльцо и позвонили.

Огромная дубовая дверь тотчас же отворилась.

Имена Горького и Шаляпина оказали быстрое действие: нас пропустили в зал.

Минут через пять вышла Софья Андреевна. Она в то время производила впечатление бодрой, моложавой женщины. Приняла нас приветливо и завела салонный разговор.

Потом сказала:

— Вы, вероятно, хотите видеть Льва Николаевича? Я уж ему говорила о вас: он очень извиняется, что не может принять вас, и очень сожалеет об этом, но слаб после болезни, ему вредно говорить.

Тут один за другим стали выходить остальные члены многочисленной семьи Толстого: сыновья, дочери и внуки. Мне даже надоело без конца вставать со стула и знакомиться,— так их было много!

III

По внешности, манерам и порядкам в доме чувствовалось, что семья Толстого отнюдь не «толстовцы». Это была обыкновенная, традиционная стародворянская семья, со всеми свойственными таким семьям сословными понятиями и предрассудками. Мне показалось при одном взгляде на них, что Толстой в мужичьей рубахе со всем

миром своих идей должен быть одинок в собственной семье, но что это одиночество, может быть, нужно ему.

Впоследствии я водил дружбу с его сыновьями — Сергеем и Ильей, в особенности с последним, из которого получился «до некоторой степени литератор».

Илья, по наружности похожий на отца, унаследовал от него более других братьев литературную жилку,— но, увы, в очень слабой степени.

Помню, в беседах со мной он всегда проклинал свое происхождение от знаменитого отца; по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию.

Может быть, и правда.

Разговор графини с Горьким и Шаляпиным был незначительный, условно-салонный, я с нетерпением ждал момента, когда они подымутся уходить.

Высидев десять минут, мы поспешили уйти.

Опять спустились к морю, вниз, по той же тропинке. Горький и Шаляпин шли впереди меня, рядом. Последний, по своему обыкновению, острил и балагурил, а Горький насупился и молчал.

Внизу шумело вечернее море.

Тени гор уже простирали над ним свою тихую вечернюю печаль. В Олеизе и Кореизе, двух смежных татарских деревушках, кое-где зажигались тусклые огоньки.

На другой день уехал Шаляпин, а недели через две поднялся в отъезд и Горький.

IV

Я нашел себе комнату в Кореизе, у татарского муллы. Домик его, стоявший в полугоре, ближе к верхнему шоссе, чем к морю, был в два этажа, обычной восточной архитектуры; внизу жил мулла со своей семьей, а верх, состоявший из нескольких отдельных комнат с общей длинной террасой, покрашенной в синюю краску, приспособлен был для сдачи «под приезжих».

Но в начале весны в Крыму приезжих мало, и я был единственным обитателем верхнего этажа. Жил в полном одиночестве и наслаждался этим одиночеством.

С террасы открывался великолепный вид на море. Кругом цвели розы.

Крымская весна была в полном разгаре. Было так много солнца, воздуха и зелени, что каждый день казался торжественным праздником. Каждое утро, напившись чаю, я отправлялся на берег моря купаться. Потом некоторое время гулял по берегу и целыми часами сидел на скале, созерцая море.

Это занятие мне особенно нравилось.

Так проходило мое время день за днем.

Охота видеть Толстого у меня после неудачи совершенно пропала, даже как-то самая мысль об этом ни разу не приходила в голову.

Его тогдашний домашний врач, Никитин, частенько заходил ко мне, чтобы идти вместе купаться, и приносил мне свежие книжки журналов.

Мало-помалу мы подружились с этим симпатичным юношей, каким он тогда был: по внешности Никитин походил больше на студента последних курсов, чем на врача.

Прочитанные книги я ему относил сам, так как в графском замке у него была крохотная комнатка в нижнем этаже, с отдельным ходом, в которую можно было заходить, не встречаясь ни с прислугой, ни с членами семьи графа. Поэтому я ходил к нему запросто, как и он ко мне.

В одно ярко-солнечное, золотистое утро мы с ним сидели в его комнате и весело о чем-то рассуждали. Потом он вышел взять книги для передачи мне.

Через минуту возвратился и сказал улыбаясь:

— Лев Николаевич зовет вас! Идите!

Я испугался.

Посмотреть на великого Льва из-за чужих спин, не вступая с ним в разговор, я желал когда-то, но теперь идти к нему самостоятельно и, следовательно, разговаривать — было страшно.

— Зовет? Зачем? Кто ему сказал, что я здесь?

— Я сказал! Ну, он и просит вас на террасу, говорит, что давно желал с вами познакомиться.

Я был ошеломлен: великий Толстой желает познакомиться со мной, молодым тогда, начинающим беллетристом, только что выпустившим первую книжку!

— Послушайте,— в нерешительности протестовал я,— но ведь вы помните, что в прошлый раз...

Никитин улыбнулся лукавой улыбкой.

— Это была хитрость Софьи Андреевны: она ему даже и не сказала ничего о вашем визите!

— Ну да, он был тогда очень болен!

— Болен-то он и теперь... поправляется медленно... не в этом причина, а уж это тактика Софьи Андреевны: чтобы чувствовали. А про вас-то я ему сам сказал, да вы еще пока что и не очень знамениты! Хе-хе! Ну, нечего время тянуть, пойдемте, я вас к нему проведу!

V

Долго рассуждать было некогда. Никитин взял меня под руку и потащил в знакомый уже мне зал, затем в смежную комнату, откуда в раскрытое окно виднелась залитая солнцем и обвитая зеленью большая терраса, выходившая в сад.

— Дверь закрыта во избежание сквозняка, лезьте в окно! — скомандовал врач.

Я полез в окно.

Толстой лежал в передвижном кресле-колясочке, в той позе, как он снят в этом виде на портретах того времени: покоящаяся на подушке седая голова с проникновенным, сурово-добрым взглядом из-под густых бровей и бессильно лежащие поверх одеяла изможденные, стариковские руки.

Я заметил, что руки эти были небольшие, узкие, с длинными пальцами, «аристократические».

И лицо его, изможденное от болезни и старости, выражало доброту и величавость. Вдруг я почувствовал себя маленьким-маленьким, пятилетним мальчиком, на глаза почему-то навернулись слезы, щеки мои вспыхнули, и мне захотелось припасть к его руке, поцеловать ее и сказать: «Дедушка, милый дедушка!»

Он подал мне эту руку, сухую, морщинистую, стариковскую, и сказал слабым, болезненным, старческим голосом:

— Здравствуйте! Садитесь вот тут, около меня! Так вот какой вы... молодой!

Он как бы с завистью окинул меня взглядом.

— Высокий какой! Все вы, что ли, там такие, на Волге? Ведь вы волжанин, кажется?

— Да.

— Из крестьян?

— Да.

— Из какого села?

Я сказал. Толстой спросил, есть ли там сектанты. Я ответил, что мое родное село наполовину старообрядческое, а сектантов там нет и что, впрочем, сельскую жизнь я оставил в шестнадцатилетнем возрасте.

— Почему же оставили? Не надо было землю оставлять!

Я отвечал, что мой отец безземельный крестьянин, деревенский столяр, и что стремление учиться и к писательству склонность были у меня с детства.

— Так! Так! Я читал вашу книгу: хорошо, очень хорошо! Вот это, где там у вас мужики в кабаке рукавицами хлопают, — это хорошо! [2]

VI

И Толстой стал говорить мне о мужиках.

Странно говорил он о них.

Говорил с такой любовью, как будто бы они были муравьями и ползали у него на ладони, а он рассматривал их, следил за их работой, беготней, как они двигают головками, шевелят усиками, думают, строят что-то, радовался и как бы приговаривал: «Я их очень люблю! Посмотрите, какие они умные, какие хорошие, как правильна их жизнь! Вот так и нужно жить, как они!»

Казалось, он не замечал, что смотрит на них свысока. Всю жизнь свою стремясь умалиться и опроститься, великан ума, вероятно, на весь человеческий род не мог смотреть иначе, как с высоты своего роста. Может быть, этот досадный рост был даже мучением и несчастьем его жизни: печи клал, землю пахал, а муравьем, при всем желании, так и не мог сделаться.

Насколько же легче и проще быть муравьем! Мне показалось даже, что от Толстого так и ускользнуло в мужике что-то главное, самое интересное, что ему хотелось рассмотреть, но так и не довелось.

Мне думалось, что мужики все-таки лучше знают друг друга, чем знает их Толстой. Я удивился, как он не может знать о них чего-то самого простого, обыкновенного, что знают все обыкновенные люди.

Казалось, что Толстой не видал мужиков, по крайней мере, лет сорок и уже не известно ему было, о чем они думают.

Мужика он неизменно представлял себе пашущим землю. О том же, что мужики давно хотят быть не только мужиками, но еще и людьми, что надоело быть трудолюбивыми муравьями, божьими пчелками, то есть работать на кого-то неработающего и тысячу лет попусту хлопать в рукавицы; что там, в многомиллионном их улье, происходит какое-то необыкновенное движение, которое скоро — это и тогда чувствовалось — может разрешиться величайшим потрясением, об этом Толстой как будто не то что не знал, но был твердо убежден, что ничему этому быть не следует ⟨...⟩ [3].

VII

Я не ручаюсь, верно ли я понял его в краткой, торопливой беседе, тем более что я умышленно не возражал ему, желая как можно более услышать от него. Но у меня навсегда осталось впечатление от Толстого, как от говорящей горы, не сознающей своих размеров. «Безмерный»,— сказал кто-то о Толстом, и это слово удивительно определяет его во всех отношениях: «безмерный», огромный, не знавший наших мер и границ, наших «нельзя» и «невозможно», свысока смотревший даже в смирении своем.

Казалось мне, что и меня он тоже, чтобы лучше слышать и видеть, бережно и осторожно посадил на ладонь и, чтобы я не пугался, похвалил мою книжку, словно мальчишку по головке погладил.

И казалось еще, что его интересовали писатели «из мужиков», впервые в ту пору пришедшие в русскую литературу, и, видимо, хотелось ему, чтобы это были хорошие писатели.

Обильный золотой свет торжественного солнца, пробиваясь сквозь густую зелень свежих весенних листьев, обвивавших террасу, нежными лучами освещал его львиную голову и замечательные руки. Он был до головы закрыт толстым и широким пледом, и мне казалось, что я говорю с одной только необычайной, сказочной головой, возвышающейся «превыше всех церквей».

Слушая рассказ головы, я смотрел на ее величавое лицо с большим лбом и седою бородой, с добрыми, хит-

рыми морщинками около глубоких глаз, и перестал бояться Льва.

Напрасно говорили мне о его «пронзительных» глазах, они на этот раз были только «проникновенными», от которых, пожалуй, нельзя прятать мыслей, и очень добрыми.

Возможно, что в иные моменты эти глаза могли быть невыносимыми для смертных, как глаза Моисея.

«Хитрый ты, хитрый дедушка! — думал я.— Учишь непротивлению, а между тем на самом-то деле сам-то ты всегда противился, как никто!»

Не знаю, прочел ли он во мне эти мысли, но как раз в этот момент пристально посмотрел на меня и чуть-чуть улыбнулся, как бы спрятав улыбку в свою седую, библейскую бороду.

На прощание Толстой подарил мне свой портрет, на котором при мне же с трудом написал дрожащей от слабости рукой ласковую надпись.

Портрет этот не сохранился у меня: отобрали при обыске жандармы.

А. И. КУПРИН

О ТОМ, КАК Я ВИДЕЛ ТОЛСТОГО НА ПАРОХОДЕ «СВ. НИКОЛАЙ»

(Читано 12 октября 1908 г. на вечере имени Толстого, в Тенишевской зале)

Не так давно я имел счастие говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят — шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит бог его дни), будут так же глядеть, как на чудо. И потому я считаю не лишним рассказать о том, как весной 1905 года [1] я видел Толстого.

Сергей Яковлевич Елпатьевский предупредил меня, что завтра утром Толстой уезжает из Ялты. Ясно помню чудесное утро, веселый ветер, море — беспокойное, сверкающее — и пароход «Святой Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. Он приехал в двуконном экипаже с поднятым верхом. Коляска остановилась. И вот из коляски показалась старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-старчески, вышел он. На нем было коротковатое драповое пальто, высокие сапоги, подержанная шляпа котелком. И этот костюм, вместе с седыми иззелена волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное впечатление. Он был похож на старого еврея, из тех, которые так часто встречаются на юго-западе России.

Меня ему представили [2]. Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я был очень растерян в

эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого значения. Помню пожатие его большой, холодной, негнущейся, старческой руки. Помню поразившую меня неожиданность: вместо громадного маститого старца, вроде микельанджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий, тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека. Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе.

Здесь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской прическе за Максима Горького, и вся пароходная толпа хлынула за ним. В это время Толстой, как будто даже обрадовавшись минутной свободе, прошел на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потертые дьяконы, и я видел чудесное зрелище: перед ним с почтением расступались люди, не имевшие о нем никакого представления. Он шел как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет царь славы» [3]. И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери, старинной, убежденной москвички, о том, как Толстой идет где-то по одному из московских переулков, зимним погожим вечером, и как все идущие навстречу снимают перед ним шляпы и шапки, в знак добровольного преклонения. И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека,— это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная власть.

Потом прошло еще пять минут. Приехали новые знакомые Льва Николаевича, и я увидел нового Толстого,— Толстого, который чуть-чуть кокетничал. Ему вдруг сделалось тридцать лет: твердый голос, ясный взгляд, светские манеры. С большим вкусом и очень выдержанно рассказывал он следующий анекдот:

— Вы знаете, я на днях был болен. Приехала какая-то депутация, кажется из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, они представлялись мне,

проходя перед окном... и вот... Может, вы помните у меня, в «Плодах просвещения», толстую барыню? Может быть, читали? Так вот она подходит и говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» Я уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я спрашиваю: «Что же вам особенно понравилось?» Молчит. Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», «Детство и Отрочество»... Она краснеет, растерянно бегает глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: «Ах да... Детство отрока... Военный мир... и другие...»

В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидал нового Толстого, выдержанного, корректного европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным английским произношением.

Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти—пятнадцати минут. Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим.

Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей — это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. Что человек, создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Ваську Денисова, и старого мерина Холстомера, и суку Милку, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и казаков вместе с очаровательным дядей Ерошкой, от которого так уютно пахло немножко кровью, немножко табаком и чихирем, — что этот многообразный человек таинственною властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться, — есть истинный, радостно признанный властитель. И что власть его — подобная творческой власти бога — останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет на свете.

Вот приблизительно и все, что я успел продумать и перечувствовать между вторым и третьим звонком, пока отваливал от ялтинской пристани тяжелый, неуклюжий грузовой пароход «Св. Николай».

Вспоминаю еще одну маленькую, смешную и трогательную подробность.

Когда я сбегал со сходен, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне человек.

Я спросил:

— А вы знаете, кого вы везете?

И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул:

— Конечно, Толстого!

И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково понятное на всех долготах и широтах земного шара.

Конечно, Льва Толстого!

От всей полноты любящей и благодарной души желаю ему многих лет здоровой, прекрасной жизни. Пусть, как добрый хозяин, взрастивший роскошный сад на пользу и радость всему человечеству, будет он долго-долго на своем царственном закате созерцать золотые плоды — труды рук своих.

В. В. ВЕРЕСАЕВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Все — огромные, как снеговые горы, и, как горы эти, такие же далекие и недоступные, такие же неподвижные, окутанные дымкою сверхчеловеческого величия. Среди них — такой же, как они, Лев Толстой. И странно было подумать, что он еще жив, что где-то тут, на земле, за столько-то верст, он, как и все мы, ходит, движется, дышит, меняется, говорит еще не записанные слова, продолжает незаконченную свою биографию, что его еще возможно увидеть, говорить с ним.

Конечно, этого ужасно хотелось — увидеть его, говорить с ним. Но явиться к нему, как тысячи назойливых, ненужных ему посетителей, пройти перед ним серым пятнышком в веренице серых безличностей — ни за что! С молодым самолюбием думалось: поехал бы я к нему только в том случае, если бы он сам захотел со мною познакомиться.

В 1902 году, высланный Сипягиным из Петербурга, я жил в родной Туле [1]. С год назад вышли в свет мои «Записки врача» и шумели на всю Россию и заграницу [2]. Весною я собрался ехать за границу, уже выправил заграничный паспорт. Вдруг получаю письмо.

Адрес: Татьяне Львовне Сухотиной.
Имение «Гаспра», гр. Паниной.
Почт. ст. Кореиз, Таврическ. губ.

Милостивый государь, мне пришло в голову обратиться к Вам с просьбой, которую Вы, может быть, будете в состоянии и пожелаете исполнить.

Вы, вероятно, знаете, как долго и тяжело болеет мой отец. До сих пор он совершенно беспомощен и без посторонней помо-

щи не может повернуться на кровати. Сердце его в таком плохом состоянии, что оставлять его без врачебной помощи и надзора — невозможно. Поэтому мы ищем к нему постоянного врача, который бы наблюдал за ним и оказывал бы медицинскую помощь, если она нужна.

Не знаете ли кого-нибудь, кто бы взял на себя эту обязанность? Мы предлагаем 100 р. в месяц, полное содержание и дорогу в Крым. Если нам посчастливится свезти отца в Ясную Поляну (на что мы имеем теперь полную надежду), то врач должен будет переехать с ним и жить при нем в Ясной Поляне. Конечно, все путешествие на наш счет.

Не говорю о том, как важно для нас, чтобы врач был симпатичным, хорошим человеком. Моему отцу так трудно принимать чьи бы то ни было услуги и так тяжело ему будет то, что для него будет жить врач, что если этот врач не будет тактичным человеком, эта тяжесть для отца увеличится.

Простите, что, не зная Вашего имени и отчества, не пишу его на адресе и в обращении к Вам. Если кто-нибудь попадется Вам, будьте добры ответить мне по здешнему адресу.

Если Вам это интересно, то могу Вам сказать, что отец очень восхищался вашими писаниями и находит в Вас много таланта.

Т. Сухотина, урожд. Толстая.

Радость, гордость и ужас охватили меня, когда я прочел это письмо. Нетрудно было понять, что тут в деликатной форме приглашали меня самого: при огромном круге знакомств Толстых странно им было обращаться за рекомендациями ко мне, совершенно незнакомому им человеку; очевидно, я, как автор «Записок врача», казался им почему-то наиболее подходящим для ухода за больным отцом. Если же даже все это было и не так, то все-таки после этого письма я имел полное право предложить свои услуги.

Целую неделю я провел в жесточайших колебаниях. Жить бок о бок с Толстым, постоянно видеть его в интимной, домашней обстановке — не показным, а настоящим, увидеть то, что так редко удается видеть людям,— что такое великий человек в подлинной своей жизни. Конечно, буду записывать все, что увижу и услышу,— но не в коленопреклоненной позе, не иконописуя пророка или гения, а смотря свободными глазами, не боясь отмечать ни темных, ни смешных сторон. Как мало таких записей о великих людях, как они скучны, как благолепно и безжизненно-велики в своих биографиях и в воспоминаниях учеников своих и поклонников!

Это так. Но была другая сторона. Врач я был молодой, всего несколько лет со студенческой скамьи, не уве-

ренный в себе, без достаточной опытности. Как при этих условиях взять на себя ответственность за такую драгоценную жизнь! Недосмотришь, не учуешь значения того или другого симптома,— и смерть Льва Толстого ляжет на твою совесть!.. Дело еще более осложнялось тем, что я был автором «Записок врача». Известно отрицательное отношение Толстого к медицине с ее стремлением «бороться» с природою, исправлять ее, с неверностью ее методов и немощностью ее средств. Мои «Записки»,— по крайней мере до известной степени, как раз утверждали такую точку зрения 〈...〉.

В конце концов я оборвал свои колебания, уехал за границу и из Милана написал Татьяне Львовне, что не решаюсь взять на себя ответственность за такую дорогую для меня и для всех жизнь, как жизнь Льва Николаевича [3].

В течение следующего 1902/3 года, в Туле, Лев Павлович Никифоров, чудесный старик, добрый знакомый Толстого, проездом из Ясной Поляны в Москву несколько раз передавал мне приглашение Льва Николаевича посетить его. Но очень было страшно, и я долго не решался. Наконец, в августе 1903 года набрался духу.

Отправились мы втроем: тульский либеральный земец Г., один знакомый земский врач и я. Выехали мы из Тулы на ямской тройке, часов в одиннадцать утра. На лицах моих спутников я читал то же чувство, какое было у меня в душе,— какое-то почти религиозное смятение, ужас и радость. Чем ближе к Ясной Поляне, тем бледнее и взволнованнее становились наши лица, тем оживленнее мы сами.

Г. рассказывал про свою беседу в Туле с одним подгородным мужиком из соседней с Ясною Поляною деревни. «Видывали вы Толстого?» — «Как же, сколько раз».— «Ну, что он, каков?» — «Ничего. Сурьезный такой старик. Встренешься с ним на дороге, поговорит с тобою, а потом руку этак вытянет ладошкой вперед: «Отойди от меня, я — граф!»

Мы нервно хохотали. Тарантас свернул с Киевского шоссе и покатил по проселку. Вдалеке по полям быстро шел какой-то человек с двумя детьми. Вот — известные по снимкам две башенки при въезде в яснополянскую усадьбу. Мы покатили по длинной березовой аллее.

— Господа! Приедем мы, а он нам вдруг: «Отойдите от меня, я — граф!»

Среди деревьев мелькнул дом, тарантас подкатил к крыльцу. Вышла Софья Андреевна, радушная и любезная, со следами большой былой красоты. Мы прошли на нижнюю террасу, где в это время пили кофе. Были тут дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, сын Лев Львович, домашний доктор,— кажется, Никитин,— еще несколько человек взрослых и детей.

Софья Андреевна спросила:

— А вы не встретили по дороге Льва Николаевича? Он пошел гулять как раз в ту сторону.

— Мы видели, кто-то шел по полям с двумя детьми.

— Ну да, это он с внуками шел.

Напились кофе. Софья Андреевна повела нас в сад. Между прочим, сообщила в разговоре, что у нее есть большая, написанная ею повесть [4].

— Будете ее печатать?

Софья Андреевна улыбнулась и развела белыми руками.

— Разве можно печататься жене Льва Толстого! Отдала рукопись в Румянцевский музей, пусть после моей смерти делают, что хотят.

Воротились на террасу. Кто-то сообщил:

— Лев Николаевич пришел с прогулки.

Сердце екнуло. Вскоре другое сообщение:

— Пошел отдыхать.

Через час с небольшим:

— Встал. Сейчас придет сюда.

Сердце забилось сильнее, чем в ученические годы перед самым страшным экзаменом, тяжело стало дышать. Послышались быстрые легкие шаги. На террасу из внутренних дверей вошел Лев Николаевич. Первое, что меня поразило,— что он такой маленький. Мне он представлялся высоким и широкоплечим. Невысокий, очень сухонький старичок, с подавшимися вперед плечами, с быстрыми, молодыми движениями, несмотря на перенесенную недавно тяжелую болезнь. Он поздоровался с нами и сел. Мне еще бросились в глаза его поразительной красоты старческие руки.

И вот, как будто в эти руки он уверенно взял вожжи — привычным жестом опытного ездока — и повел разговор — легко, просто, незаметно втягивая всех в беседу. Заговорил со мною о моих «Записках» [5], потом обратился к приехавшему с нами земскому врачу:

— Вы, наверно, во многом не согласны с Викентием Викентьевичем? (И откуда он уже успел узнать мое имя-отчество?)

Врач накуксился и вызывающе ответил из угла:

— Не согласен.

Не было ничего похожего на прием посетителей. Как будто все мы были его добрыми знакомыми. Спросил каждого, как его зовут, и потом все время называл по имени-отчеству и ни разу не сбился. Слушал всех внимательно и с интересом, и у каждого из нас было впечатление, что мы ему интересны сами по себе. Очаровывающее соединение светской воспитанности с сознательным отношением к каждому человеку, как к брату. Но, мне кажется, было тут еще что-то,— как будто он и вправду чувствовал к нам живой интерес. И почему было не чувствовать интереса к любому встречному ему, такому жадному к жизни во всех ее проявлениях, от далекой звезды до ползущей по земле букашки? Мне вспомнились слова Паскаля: «Чем разумнее человек, тем более находит он вокруг себя интересных людей. Люди ограниченные не замечают разницы между людьми» ⟨...⟩.

Позвали обедать. Мы поднялись во второй этаж. На лестнице, когда подымались, Толстой спросил меня:

— Вы женаты?

— Да.

— Дети есть?

— Нет.

Толстой потемнел.

— А давно женаты?

— Шесть лет.

Он замолчал, но глаза его взглянули сурово, и я почувствовал,— он сразу, резко, переменил свое отношение ко мне. По-прежнему был вежлив и мягок, но то теплое, что до того было в глазах, исчезло ⟨...⟩.

Он спросил меня, почему я живу в Туле. Я ответил, что выслан министром внутренних дел из Петербурга. Толстой вздохнул и с завистью сказал:

— Меня ни разу не высылали, я ни разу не сидел в тюрьме,— я не имел этого счастья.

После обеда Лев Николаевич предложил нам пройтись. Было ясно и солнечно, в колеях обсохшей дороги кое-где блестела вода от вчерашнего дождя. Лев Николаевич шел своей легкой походкой, ветерок шевелил его длин-

ную серебряную бороду. Он говорил о необходимости нравственного усовершенствования, о высшем счастье, которое дает человеку любовь.

Я сказал:

— Но если нет у человека в душе этой любви? Он может сознавать умом, что в такой любви — высшее счастье, но нет у него ее, нет непосредственного, живого ее ощущения. Это величайший трагизм, какой может знать человек.

Толстой в недоумении пожал плечами.

— Не понимаю вас. Если человек понял, что счастье — в любви, то он и будет жить в любви. Если я стою в темной комнате и вижу в соседней комнате свет и мне нужен свет,— то как же я не пойду туда, где свет?

— Лев Николаевич, на ваших же всех героях видно, что это не так просто. Оленин, Левин, Нехлюдов очень ясно видят, где свет, однако не в силах пойти к нему.

Но Толстой только разводил руками. Видно было, что он искренне хочет понять этот самый «трагизм», выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.

— Простите меня, не понимаю!

А я не мог понять, как же этого не может понять именно Толстой: в чем же трагедия всех рисуемых им искателей, как не в том, что они оказываются неспособными жить «в добре», твердо убедившись умом, что счастье — только в добре?

Между прочим, я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой девушкой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтоб удержать от падения в могилу свою подругу,— все равно обреченную жизнью. Хрупкое свое здоровье, любимое дело, самые дорогие свои привязанности,— все она отдала безоглядно, даже не спрашивая себя, стоит ли дело таких жертв. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого: ведь он так настойчиво учит, что истинная любовь не знает и не хочет знать о результатах своей деятельности; ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил умирающую от голода тигрицу с детенышами.

И вдруг,— вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Он повел плечами и тихо воскликнул:

— Бог знает, что такое!

Я был в полном недоумении. Но одно мне стало ясно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице,— он почувствовал бы в этом только величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землей.

Само же слово «трагизм», видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась едкая насмешка.

— Трагизм...Бывало, Тургенев приедет и тоже все: «траги-изм, траги-изм»...

И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя, и шевельнулся странный, нелепый вопрос: да полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм? Не «притворство» ли все это?

Потом Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге «Essai de la philosophie optimiste» * [6]. С негодованием и насмешкою он говорил о книге, о «невежестве», проявляемом в ней Мечниковым.

— Он, профессор Мечников, хочет... исправить природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно! У китайцев есть слово «шу». Это значит — *уважение*. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а просто уважение,— уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колеях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни? ⟨...⟩

Воротившись домой, пили чай. В углу залы были большой круглый стол, на нем лампа с очень большим абажуром,— этот уголок не раз был зарисован художниками. Перешли в этот уголок. Софья Андреевна раскладывала пасьянс... Спутник наш, земец Г., сходил в прихожую и преподнес Толстому полный комплект вышедших номеров журнала «Освобождение», в то время начавшего издаваться за границей под редакцией П. Б. Струве.

Толстой сказал:

— А, это очень интересно. Спасибо! Обязательно прочту.

Он перелистывал журнал, а Г. говорил о его программе и задачах.

---

* «Этюды оптимизма» (*франц.*).

— Политическая свобода! — Толстой пренебрежительно махнул рукою.— Это совершенно неважно и ненужно. Важно нравственное усовершенствование, важна любовь,— вот что создает братские отношения между людьми, а не свобода.

Г. стал снисходительно возражать:

— Но согласитесь, Лев Николаевич,— политическая свобода нужна,— ну, хоть бы даже для того, чтоб проповедовать ту любовь, о которой вы говорите.

И почтительно-свысока, тем же снисходительным тоном, каким взрослые люди говорят с очень милым, но малопонятливым ребенком, Г. стал излагать Толстому прописные истины о благах политической свободы. Как это было глупо! Неужели же он думал, что Толстой не слышал этих возражений и что его можно убедить такою банальщиною! И тон, этот отвратительный, самодовольно-снисходительный тон... И вдруг,— вдруг мой либеральный земец превратился в воздух, в ничто. Как будто он испарился из комнаты,— Толстой перестал его видеть и перевел разговор на другое.

О том, о другом поднималась еще беседа,— Толстой упорно сводил всякую на необходимость нравственного усовершенствования и любви к людям. В креслах, вытянув ноги и медленно играя пальцами, сидел сын Толстого, Лев Львович. Рыжий, с очень маленькой головкой. На скучающем лице его было написано: «Вам все это внове, а мне все это уж так надоело! Так надоело!..»

Лицо Льва Николаевича побледнело, рот полуоткрылся, видно было, что он устал. Мы поднялись и стали прощаться.

Тарантас наш катил в темно-синей августовской ночи, под яркими звездами. На душе было смутно: отдельные впечатления от Толстого не складывались в определенное целое. Вспоминался мне знаменитый репинский портрет Толстого, где он стоит босой, засунув руки за пояс, с таким кротким, «непротивленческим» лицом. Чувствовалось мне, как этот портрет фальшив и тенденциозен [7]. Ничего в Толстом не было от Христа, от Франциска Ассизского, от князя Мышкина, от репинского портрета. Эта походка, эти быстрые легкие движения, маленькие глаза под густыми бровями, вспыхивающие таким молодым задором и такою едкою насмешкою. И это его отношение к подвигу самоотверженной девушки. Вспомнились слова Наташи Ростовой о самоотверженной Соне: «Иму-

щим дается, а у неимущих отнимается. Она — неимущий. В ней нет, может быть, эгоизма,— я не знаю, но у ней отнимается, и все отнялось..» И это упорное сведение всякого разговора на необходимость нравственного усовершенствования и серая скука, торчащая из этих разговоров ⟨...⟩.

Однако — странное дело! Проходило время, вновь и вновь перечитывал я произведения Толстого, вновь и вновь припоминался он мне таким, каким я его видел,— и совсем по-иному, не по-прежнему, начинал я воспринимать его творчество; какое-нибудь мелкое, как будто совсем незначащее личное впечатление вдруг ярким и неожиданным светом освещало целую сторону его творчества.

Случилось то же, что, бывает, случается в очень тихую и сильно морозную погоду. Вечер, мутная, морозная мгла, в которой ничего не разберешь. Пройдет ночь, утром выйдешь — и в ясном, солнечном воздухе стоит голый вчера сад, одетый алмазным инеем, в новой, особенной, цельной красоте. И эта красота есть тихо осевшая вчерашняя мгла.

Чтобы уж все о Толстом.

Весною 1907 года я возвращался из-за границы и от Варшавы ехал в одном купе с господином, который оказался М. С. Сухотиным, зятем Толстого ⟨...⟩. Мы много, конечно, говорили о Толстом. Я в то время писал свою книгу о Достоевском и Льве Толстом «Живая жизнь». Между прочим, я сообщил Сухотину, как понимаю значение эпиграфа к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». В романе мы видим отражение глубочайшей душевной сущности Толстого,— его непоколебимую веру в то, что жизнь по существу своему светла и радостна, что она твердою рукою ведет человека к счастью и гармонии и что человек сам виноват, если не следует ее призывам. В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостным может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила,— она сама это чувствует,— вырывает ее из уродливой ее жизни и бросает навстречу новой любви. Если бы

Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась, испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала любовницею, как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может потерпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны. И здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда: если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в его душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготованных ему жизнью,— то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа,— и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит: «Мне отмщение, и аз воздам».

У Сухотина загорелись глаза.

— Это оригинально. Интересно бы рассказать Льву Николаевичу, — как бы он отнесся к такому объяснению.

— Михаил Сергеевич! Ловлю вас на слове. Очень вас прошу — расскажите и потом напишите мне. Я, конечно, не сомневаюсь, что сам Толстой смотрит на эпиграф не так, но все-таки страшно интересно узнать его мнение.

Сухотин замялся, стал говорить, что Лев Николаевич неохотно беседует о художественных своих произведениях, но в конце концов обещал поговорить и написать мне.

Через месяц я, действительно, получил от него письмо:

Ясная Поляна, 23 мая 1907 г.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Не подумайте, что я забыл спросить Л. Н. по поводу эпиграфа к Анне Карениной. Я просто не находил случая его спросить, так как я Вам передавал, Л. Н. не любит говорить о своих произведениях беллетристических. Лишь на днях я выбрал удобный момент и спросил его по поводу «Мне отмщение, и аз

воздам» К сожалению, из его ответа оказалось, что прав я, а не Вы. Говорю, к *сожалению*, так как Ваше понимание этого эпиграфа мне гораздо более нравится понимания Л. Н. и по-моему и Л. Н. Ваше объяснение более понравилось его собственного. По крайней мере, когда на его вопрос я объяснил ему причину моего желания знать, как он понимает этот эпиграф, он сказал: «Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить».

Очень рад, что мог исполнить Ваше желание.

Искренне Вас уважающий

Мих. Сухотин.

Н. Е. ФЕЛЬТЕН

ВОСПОМИНАНИЯ

Я проснулся однажды, в январе 1903 г., с неожиданным решением — так дольше я жить не могу, еду в Ясную Поляну. Решение это, конечно, созревало в течение нескольких лет.

Поездка к Толстому в Ясную Поляну в те времена была не простым делом.

Припоминаю, что Куприн, уже известным писателем, и Леонид Андреев в разное время приезжали в Ясную Поляну, собирались туда в течение нескольких лет и бродили вокруг да около, доходили до въезда в яснополянский парк и возвращались на станцию [1]. Куприн, несмотря на свое страстное желание, так и не решился посетить Толстого.

Я приехал однажды прямо из Ясной Поляны к Леониду Андрееву, жившему тогда на Петроградской стороне, и спрашивал его:

— Почему же вы, Леонид Николаевич, не приехали в Ясную Поляну? Вас там ждали. Ведь вам ответили на вашу телеграмму, что ждут вас. Почему вы не приехали? [2]

Это произвело странное впечатление. Он забегал по комнате.

— Почему не приехал? Почему не приехал? Почем я знаю, почему я не приехал. Разве так просто приехать к Толстому?

— Да, но вы же послали телеграмму.

— Телеграмму послать одно, а к Толстому приехать — другое. Да, здесь сидя, я решил: поеду к Толстому, а как пришел этот день — и не решился. Разве просто поехать к Толстому? ⟨...⟩

Я это вспоминаю только для того, чтобы напомнить ту душевную атмосферу, в которой мы, современники Толстого, жили. А мне тем более не просто было решиться на это после того, как я получил от него последнее письмо [3], и если бы не цензура, запрещавшая печатать даже сведения о его здоровье, и если бы не непреодолимое желание взглянуть на него хотя бы только для того, чтобы убедиться, что он жив,— я бы, может быть, на это никогда не решился.

Однажды в скором поезде я разговорился с молодым человеком, служащим какого-то галстучного магазина. Этот юноша, узнав, что я видел Толстого (это было несколько лет спустя), умолял меня дать ему свой автограф. Ему было приятно иметь автограф человека, который лично видел Толстого и руку которого пожимал «великий писатель земли русской».

Вот, приблизительно, и мое отношение к Толстому было тогда таким же...

Приехал я на станцию Козлова-Засека рано утром и долго блуждал по снегу, пока не дошел до Ясной Поляны. «Дорога прямая, дружок»,— говорили мне все встречные. А сделав несколько шагов, я натыкался на две дороги и не знал, идти ли направо или налево. Так ведь всегда бывает. Для людей местных, знающих дорогу хорошо, кажется, что она одна.

Когда я через несколько часов блужданий, после двух бессонных ночей, добрался, наконец, до дверей яснополянского дома, я узнал, что Толстой болен, серьезно болен, и к нему никто не допускается. Впрочем, мне предложили раздеться и отдохнуть ⟨...⟩.

В комнате с низким потолком весело потрескивала старинная печка. Как и в других помещичьих домах, в Ясной Поляне не все комнаты отапливались ежедневно. Когда я утром вошел в эту комнату, в ней сперва было довольно холодно...

Маленькая комната быстро нагревалась. Надвигались зимние сумерки. В окно заглядывали опушенные снегом деревья яснополянского парка. Лампу еще не зажигали.

Я боялся шевельнуться, как бы прислушиваясь не то к моменту, который вот-вот должен был наступить, не то к той музыке, которая была в душе. Совсем незаметно я заснул.

Проснулся я от незнакомого голоса. В комнату вошла дочь Льва Николаевича и проговорила:

— А Лев Николаевич уже два раза вас спрашивал, но я боялась вас будить.

Несмотря на всю христианскую кротость, в которой я тогда находился, я готов был убить ее. Подумайте: Лев Николаевич два раза меня спрашивал, а она боялась меня разбудить!..

Я ни слова не ответил ей, и она повела меня наверх.

Мы прошли через знаменитую столовую Ясной Поляны, большую комнату. У лампы сидели какие-то люди, может быть, они здоровались со мной, но я прошел, не видя их. Если идешь на солнце, ничего кругом не видишь. Я не помню даже, вошел ли я один в спальню, встретил ли меня кто-нибудь там.

Маленькая лампа под абажуром стояла в отдаленном углу, очевидно, чтобы не беспокоить больного.

Я подошел, пожал протянутую мне большую горячую руку. Высокий, изрезанный крупными морщинами лоб, к которому прилипли от жара волосы, и только сверкающие в темноте глаза. Голос был очень слаб.

Я и без того слышу плохо, а тут в полутьме, со сна, в страшном волнении я больше слышал душой, чем ушами.

Я приехал к нему для того, чтобы разрешить наивный и юношеский вопрос: стоит ли мне жить, какой смысл жизни, а если жить, то как жить?

Вот, думал я, простое разрешение мучившего меня вопроса — он посмотрит и сразу увидит, выйдет из меня что-нибудь, будет ли смысл в моей жизни или нуль.

А еще другой практической вопрос — отбывать воинскую повинность, служить ненавистному правительству или нет, отказаться? А отказаться — значит идти на каторгу.

— Советовать я ничего не могу. Надо поступать по своей совести. Доведите себя до той точки, когда не будет никакого вопроса. Если есть вопрос, надо служить. Я не могу зарезать курицу и не буду сомневаться, надо ее резать или нет. Доведите себя до такой точки, когда не будет уже никакого вопроса.

Он говорил с перерывами, как бы задыхаясь.

— Вот вы много читаете. Читали ли вы книгу Иосифа Мадзини «Об обязанностях человека?» [4]

Я ответил отрицательно.

— Ну, конечно, ее никто не знает. Интеллигенция не знает таких книг, — сказал он с оттенком горечи. — Я вам

подарю эту книгу. Прочтите ее несколько раз. Это был замечательный человек, сподвижник Гарибальди и философ. Пишите. Поговорите с моим другом [5]. Я очень слаб. Я не могу.

Он протянул меня к себе и поцеловал 〈...〉.

За всю мою жизнь мне не приходилось встречать более внимательного слушателя, чем был Толстой. Это было поразительное явление. Старик, великий писатель, стоящий на пороге смерти, напряженно занятый глубочайшими проблемами жизни, получавший ежедневно громадное количество писем со всех точек земного шара, живущий в Ясной Поляне, которая была как бы узловой станцией всего мира, пропускавшей через себя бесчисленное количество посетителей, человек, занятый исключительно творческой работой, словом, Лев Толстой — обладал неиссякаемым источником внимания 〈...〉.

В следующий раз я поехал в Ясную Поляну с старшим сыном Сергеенко Алешей [6].

Мы приехали ранней весной утром. Распорядок дня Толстого нам был хорошо известен по рассказам отца — Сергеенки. Мы знали, что утро свято оберегается Софьей Андреевной от посетителей, что утром Лев Николаевич работает. Но оказалось, что Софья Андреевна в Москве и от установленного порядка ничего не осталось. Лев Николаевич почти тотчас же вышел к нам.

Я хотел было напомнить ему о себе, но он перебил меня:

— Как же, помню. Вы были у меня, когда я был болен. Ну как ваш слух теперь? Вы так же плохо слышите? Как здоровье вашей матушки? Она была больна.

Он как бы щеголял своей памятью, памятью Толстого.

Как он мог запомнить меня, какого-то случайного молодого человека, приехавшего раз неожиданно, зимой, во время его болезни, и бывшего у него в спальне в течение каких-нибудь десяти минут?

— Что случилось? Почему вы ко мне приехали?

Мы стали, перебивая один другого, рассказывать.

— Я хочу начать новую жизнь!

Это было основание у Алеши. Но зачем приехал я?

Лев Николаевич сперва поговорил с нами обоими, а потом с каждым порознь.

— Что тяжело жить дома, хочется уехать? — И вдруг он нам, мальчикам, стал говорить о себе.— А вы думаете, мне легко жить дома? Разве я ухожу? Это так просто — взять да уйти, но так нельзя делать. Милый юноша, вернитесь домой, помиритесь с отцом и, когда у вас не будет никакого зла в душе, если вы не перемените свое решение, тогда уйдите, тогда попробуйте построить свою жизнь, но не оттого, что вы рассердились. У каждого свой крест, который он должен нести. Вот я свой несу тридцать лет и стараюсь не роптать.

Когда он беседовал со мной, он сам говорил очень мало, заставляя меня рассказать со всеми подробностями о моей жизни.

— Сколько лет учительнице? — вдруг огорошил он меня вопросом.— Она красивая? Вы были к ней неравнодушны? Расскажите подробно, что вы делали у Сергеенко. Зачем он вас пригласил к себе?

— Он пишет вашу подробную биографию, всю иллюстрированную ⟨...⟩. Это очень подробная биография. Там все есть. Там даже есть описание, как вы в баню ходите.

— Что же, тоже с иллюстрациями? — с улыбкой спросил Лев Николаевич [7].

— Зачем он это делает? — как бы про себя проговорил он.— Кому это нужно? Ну, я понимаю жизнь Сократа, это всем интересно. (Очевидно, он вспомнил незадолго до этого напечатанную драму «Сократ» того же Сергеенко.) Ну что же поучительного, как я живу, как я в баню хожу? Что же, по-вашему, это интересно?

Я затруднялся ответить.

— А впрочем, нет! — как будто одернул себя Лев Николаевич.— Впрочем, я его понимаю. У него большая семья. Сколько детей? девять? Да, девять человек. Да, ему не легко. Но притом он интересуется этим. Нет, я его понимаю. А самостоятельное художественное творчество не легкое дело. Вот, например, я сейчас пишу рассказ «За что?», в нем не больше печатного листа. Это из времен Польского восстания [8]. Но вот посмотрите, сколько я прочел по этому вопросу,— он мне показал на кучу книг. — Больше ста книг. Но чувствую, что не хватает, надо еще столько же прочесть. А рассказ маленький. Вот что значит художественное творчество. Вы отсюда едете в Петербург. Не поможете ли вы мне? В письме

трудно все написать. Зайдите, пожалуйста, в Публичную библиотеку. Там есть такой директор — Владимир Васильевич Стасов[9]. Знаете, старик такой? Зайдите, пожалуйста, к нему, кланяйтесь от меня. Он вам обрадуется. Он очень молодежь любит и к ней хорошо относится. Расскажите ему, что были здесь. Расскажите, о чем я пишу и что я у него прошу помощи — не может ли он прислать все, что у него есть о Польском восстании? Но меня интересуют главным образом мемуары, дневники того времени, рисующие быт, обстановку, словом, всё, что там у них есть. И скажите, что я аккуратно верну. Можете сделать? Вы мне сделаете этим большую услугу ⟨...⟩.

Лев Николаевич собирался на прогулку. Как-то удивительно просто и уютно, по-семейному чувствовали мы себя с ним, как будто всегда жили там. И он все понимал.

Ему надо было переобуться. Я умоляюще посмотрел на него, и он понял — позволил мне снять с него какие-то простые, мягкие вроде кавказских, сапоги и надел валенки.

— Да что я помню еще про вас? — сказал он мне, одеваясь.— Вы и море, что общего?

Я напомнил ему.

— Да, да. Вы очень любите море. Ну, мы потом еще поговорим с вами.

Я помог ему надеть медвежью шубу, тоже какую-то особенную, потом затянул пояс и раньше его выскочил на двор.

— Сейчас подведут лошадь,— заботливо сказал доктор.— Отсюда вам будет видно, как он будет садиться.

Лошадь встала на дыбы, почти поднимая конюха.

Не привыкший к такому зрелищу, я недоумевал, как же старик будет садиться?

Но старик маленькими шажками спокойно подошел. Конюх поддержал стремя, и я не уловил того момента, как Лев Николаевич оказался в седле. Конюх отскочил в сторону. Лошадь сразу рванула вперед и пошла крупной рысью. Посадка всадника была настолько уверенной, что он и лошадь казались одним целым. Всякое беспокойство тотчас же исчезло ⟨...⟩.

Мы сидим на веранде, такой знакомой по снимкам, на перилах которой вырезаны примитивные петушки по рисункам художника Касаткина[10], читаем жгучие, гневные слова Толстого (первый вариант статьи «Единое на

потребу»)[11], дающего такую яркую характеристику русских царей.

— Нет, пересядьте лучше сюда,— говорит тот же бесконечно заботливый доктор[12],— отсюда вы раньше увидите его.

Опушенные снегом ветви деревьев и кустов. Сугробы снега. Ярко-синие тени. Мне опять казалось это какой-то прекрасной декорацией. Глаза разбегались.

И вдруг из-за деревьев, как подлинный лесной царь, показался всадник. Серебряная борода развевалась по обе стороны. Лошадь неслась во весь опор. Комья снега вылетали из-под копыт чудного коня.

Поравнявшись с нами, всадник вдруг остановился, подъехал вплотную и, низко склонившись с седла, рассмотрел, что мы делаем. Узнав, что мы читаем, он проговорил:

— Нет, нет. Это еще не готово. Над этим еще надо поработать.

Я опять поспешил в переднюю, уютную, с низким потолком, с ходящими под ногами досками пола, помог ему раздеться, и он, видимо, устав от прогулки, молча прошел к себе отдохнуть.

Должно быть, зрительные впечатления у меня доминируют, потому что вечер я всегда хуже помню; или, может быть, тут сказывается усталость от впечатлений.

Только помню, что во время обеда, когда подали какое-то красивое блюдо, он, как бы извиняясь за эту роскошь, сказал:

— Что это такое? Это уже не еда, какая-то шапка Владимира Мономаха. Ах, это, наверное, по случаю гостей...

Я прошел в кабинет Льва Николаевича и попросил его расписаться на маленькой любительской фотографии.

— Где же тут написать. Ведь тут нет места.

Я показал:

— Вот здесь внизу.

— Да, но жалко, придется испортить ноги лошади. Может быть, лучше на обороте?

— Нет, уж лучше здесь, Лев Николаевич.

Он опять пожалел ноги лошади. Сказался старый любитель лошади.

— А что же написать?

— Да что хотите, ну просто вашу фамилию.

Он подписал 〈...〉.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Однажды в сумерки Владимир Григорьевич Чертков ⟨...⟩ сжалился надо мной и сказал:

— А что, Николай Евгеньевич, не хочешь ли ты повидать сегодня Льва Николаевича? Я сейчас собираюсь туда. Хочешь поедем со мной? [13]

Он сказал это так же просто, как дети, когда звали меня в лес погулять. А я от охватившего меня внезапно волнения, едва владея языком, что-то пробормотал ему.

Выпал снежок, и мы поехали на маленьких саночках, которые, не торопясь, вытягивала лошадь. Ехали молча. Чертков, вероятно, обдумывал те дела, которые у него были в папке и о которых он должен был говорить с Толстым. А я думал о сумерках, которыми была окутана Ясная Поляна, о поздней осени и, конечно, о своих фантазиях. Вдруг сейчас из-за деревьев мы встретим волшебного всадника. Конечно, ничего подобного быть не могло, но взволнованная фантазия — что с ней поделаешь! ⟨...⟩

— Лев Николаевич один в зале. Софьи Андреевны нет, она в Москве, — конфиденциально сообщил в передней всегда ровный слуга Илья Васильевич [14] своему старому знакомому, Владимиру Григорьевичу.

В большой зале были уже глубокие сумерки. Горела только одна лампа на дальнем краю стола. Лев Николаевич один ходил взад и вперед, как будто что-то шепча про себя. Одна рука была засунута за пояс, а в другой он держал маленькую французскую книжку.

Он приветливо встретил нас и, к моему удивлению, тотчас же узнал меня, несмотря на то, что со времени последнего нашего свидания с ним, мне казалось, прошло несколько лет. Прошло, вероятно, года два, но время для меня измерялось количеством переживаний, а переживаний было очень много. Последний раз я был у него в самый острый, казалось, период «обновления» страны, когда все кипело вокруг, во время всяких «свобод». И потому, вероятно, под влиянием нахлынувших воспоминаний и сравнений с тогдашним положением России Лев Николаевич, здороваясь со мной, сказал:

— Да, вот так обновление!.. Какая разница с тем, что было!.. — Грустная нотка звучала в его голосе.

И, обратившись к Черткову, он произнес какую-то французскую фразу, которую я не расслышал. Затем со свойственной ему любезностью, без всякого напряжения

своей чудовищной памяти, стал припоминать все, что знал обо мне и о моих родных. Я не мог не выразить своего удивления. Но он остановил меня.

— Нет, нет, совсем слабеть начал. Память уже совсем слабая. Да, что-то я помню о вас... Вот почему-то вода, вы и вода, что общего?

— Да я просто море очень люблю.

— Да, да, конечно. Ну вот видите. У вас матушка больна, как ее здоровье? Вы сидели в тюрьме? сколько, где, как? Расскажите подробно. Рассказывайте, пожалуйста.

Я рассказал ему кое-как, торопясь и путаясь, про судебного следователя, посадившего меня в тюрьму по обвинению в издании сочинений Толстого. Лицо Льва Николаевича приняло страдальческое выражение.

— Надо будет написать ему письмо. Как вы думаете, Владимир Григорьевич? Заявление о моей виновности, чтобы он привлек меня. Почему они меня не трогают? Это ужасно, ужасно! ⟨...⟩ Так сколько вы сидели? Это очень тяжело... И этот следователь, и повестки, и все...

— Мне приходит в голову,— продолжал он, обращаясь к Черткову,— что мне надо написать о моей виновности, как я сделал в деле с этим... как его? — я еще написал жандармским властям... как же его? Вы только что хвалили мою память.

Я подсказал ему:

— Гусев [15].

— Вот, вот... Я напишу, а вы завтра поправьте, если что не так.

Я запротестовал: зачем поправлять?

— Да нет, я теперь все путаю, забываю все, кроме главного. Я сейчас напишу это письмо.

И он сейчас же ушел к себе в кабинет, а через несколько минут вернулся и подал мне бумагу.

— Вот прочтите и исправьте, если что не так.

— Зачем же исправлять? (Как-то страшно было всякий раз думать об исправлении руки Толстого.)

— Нет, как же, ведь это делается заявление, оно касается вас и меня. Ведь по-настоящему судить надо меня, и это так ужасно, что они этого не понимают или не хотят понять!.. На этот раз надо поступить как-то умнее. Посоветуйтесь с вашим защитником. Он это знает.

— Они это, вероятно, положат под сукно,— вставил Владимир Григорьевич ⟨...⟩.

В руке у Льва Николаевича с заложенной пальцем страницей была все та же маленькая книжка, с которой он нас встретил.

— Я вот сейчас прочитал статьи Виктора Гюго против смертной казни. Так сильно, горячо написаны!.. Вот это истинный талант!..[16] А этот нынешний, Андреев, он хочет удивить, хочет напугать меня, а мне не страшно. Он меня не заражает, потому что сам не заражен, огонь у него не настоящий... А у Гюго другое, настоящее... Еще я читаю сейчас Кравчинского, очень интересно...[17] Приходится много читать революционного.

Лев Николаевич писал в это время повесть из жизни революционеров — «Нет в мире виноватых»[18]. Разговор зашел о смертной казни, о Столыпине. Я рассказал о знакомом генерале, защитнике смертной казни. Лев Николаевич так и встрепенулся, так и вцепился в меня.

— Ну, ну, и что же он говорит? Сядьте, пожалуйста, удобнее, спокойнее. Вы сосредоточьтесь, вспомните, пожалуйста, все его доводы. Это так интересно. Ну, ну, и что же он говорит? Что они могут сказать? Я не могу себе представить. Вспомните, пожалуйста.

Я передал ему вкратце доводы генерала. Лев Николаевич разочарованно откинулся на спинку кресла.

— Да, да, но только это слабо и старо. Я думал, что-нибудь новое. А что вы ему ответили? А я все роюсь, все ищу о защитниках смертной казни что-нибудь существенное, и ничего не могу найти. Знаете, я был бы так рад, если бы ко мне приехал какой-нибудь сильный, убежденный сторонник смертной казни. Ведь это так ужасно, так нелепо!.. Ну, что могут сказать все эти Столыпины, что они могут сказать?.. Так что еще говорил ваш генерал? Может быть, вы забыли какой-нибудь главный его довод, что-нибудь оригинальное? Нет? Жаль, жаль, если забыли.

И во весь этот вечер и на следующий день он нет-нет и вернется опять к этой же теме и спросит, не припомнил ли я какой-нибудь довод за смертную казнь. Видимо, этот вопрос его страшно интересовал. Говоря о смертной казни, об ужасах подавления революции, Лев Николаевич сильно волновался; поэтому я воспользовался удобным моментом, чтобы перевести разговор на более спокойный предмет, и спросил об его здоровье.

— Ничего, хорошо. Сегодня спал пять часов, потому хорошо себя чувствую. А если больше сплю, то нехорошо, вяло.

Принесли письма. Целую пачку. Лев Николаевич попросил меня читать ему вслух.

— Вот сегодня будет у меня настоящий секретарь,— обратился он шутливо к Черткову,— «генеральский». Так — как вы говорите? Он заставляет вас читать возможно быстрее, без всякого выражения, только чтобы побольше прочитать?.. Владимир Григорьевич, вы знаете, какая у него работа? Он должен читать вслух «Новое время» одному старому слепому генералу. Вот бы мне такую службу! — как бы с завистью произнес Лев Николаевич.— Ну, а на сегодняшний вечер уж вы будьте моим секретарем...

Первое письмо, большое и серьезное, было от какой-то дамы, просившей Льва Николаевича вступиться за ее мужа, приговоренного очень жестоко за участие в железнодорожной забастовке. В письме было много юридических подробностей. Дело должно было перейти в Сенат, и помощь требовалась немедленная, чтобы хотя несколько отклонить или задержать меч «правосудия».

Лев Николаевич, видимо, очень заинтересовался письмом и перерывал чтение своим многозначительным «хм, хм», и тотчас же стал обсуждать с Чертковым, что они могут сделать для несчастной жены и ее мужа. Переговорив, решили написать свояку Льва Николаевича, сенатору Кузминскому.

— Он хотя и не любит этого, но ничего...

И тотчас же ушел в свой кабинет писать это письмо.

А я ушел к Душану Петровичу Маковицкому, где мне дали читать копировальную книгу писем Толстого к разным лицам. Каких только писем тут не было и к кому только они не писались? В эти ужасные годы особенно много места уделялось в них жертвам контрреволюции. Видно было, как его великая душа горела любовью к людям и как он старался помочь, насколько можно, всем обращавшимся к нему, как к последней инстанции ⟨...⟩.

Б. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

I

Сентябрь 1903 г.

Нежная осенняя погода. Деревья молчат, и в воздухе плавает «бабье лето».

В этот прозрачный, спокойный день я видел самого умного и самого чуткого человека и много с ним говорил, гораздо больше, чем ожидал...

Я сидел в яснополянской столовой, когда вдруг, слева от меня, отворились обе половинки дверей, и на кресле вкатили самого Льва Николаевича.

Потом я узнал, что 29-го августа, на другой день после своего семидесятипятилетия, он поехал верхом; нужно было перебраться через какой-то небольшой овраг или ручей. Чтобы лошади было легче, Лев Николаевич спешился и перевел ее под уздцы, но когда снова захотел сесть, лошадь наступила ему на ногу. Опасного ничего не было, но ходить и гулять нельзя было, а это для него большая беда ⟨...⟩.

Вкатили и придвинули к столу — прямо против меня — кресло. Седая голова и белая борода. Блестящие, не стариковские глаза вопросительно остановились на мне. Я встал, подошел и назвал свою фамилию. Он подал руку, сухую, теплую и, уже не спрашивая, а улыбаясь необыкновенными глазами, сказал мне, как литератору, несколько приятных слов.

Ему подали завтрак. Он начал пить и есть, быстро двигая нижней челюстью. Поставив чашку, Л. Н. стал под-

робно расспрашивать меня о здоровье Чехова, которого я видел перед этим. Бодрость и живость речи Льва Николаевича удивили меня не меньше, чем память и глаза. После завтрака он сказал:

— Мы с вами сегодня еще будем видеться. Мне очень интересно с вами поговорить, ведь вы служите в таком страшном месте, как военно-морской суд?

— Да, я секретарь суда.

Льва Николаевича опять увезли обратно в кабинет. После чая я ушел в парк...

Необыкновенно приятно было от сознания, что я в Ясной Поляне и не на юбилее, а сегодня, когда внимание Льва Николаевича никем и ничем не утомлено.

II

Комната, которую указали для меня, была прежним кабинетом Льва Николаевича. Здесь находится часть Яснополянской библиотеки. На полках много старых книг. Все больше по теологии: несколько библий, евангелий... Отдельно патерики, послания апостолов, требники, жития святых...

На письменном столе лежало несколько листов белой бумаги. Я сел и начал записывать мои впечатления.

Наверху ударил колокол к завтраку. Я опять пошел в столовую и застал здесь всех бывших утром и графиню Софью Андреевну. Когда я подошел к ней, Лев Николаевич громко назвал мое имя, отчество и фамилию...

Кушанья были вегетарианские, но отдельно стояла телятина для детей и вообще для желающих.

Лев Николаевич перестал шевелить челюстью, поднял голову и сказал:

— Вот сегодня такую массу писем получил, но из них только два интересных. И эти два написаны совсем безграмотно: «Толстову»... Был еще пакет с какими-то церковнославянскими книжками и с адресом, напечатанным на пишущей машине, который начинался словами: «заблудшей овце»... И зачем такое писать?.. — Он улыбнулся.

Завтрак продолжался довольно долго. Я очень обрадовался, когда, наконец, остался вдвоем со Львом Николаевичем. Он начал расспрашивать меня о бытовой стороне военно-морского суда и о приговорах. Особенно интересовало Льва Николаевича дело о матросе-сектанте, очень

мягком, исполнительном человеке, обвинявшемся в совращении в свою веру товарищей.

Узнав, что этот матрос оправдан и уже в запасе, он сказал:

— Ну, слава богу!

Я добавил, что за всю мою службу с 1897 года у нас не было ни одного смертного приговора, но все-таки это дело мне не по сердцу и мое горячее желание поскорее уйти в отставку. Лев Николаевич погладил меня по руке и радостно произнес:

— Да, да... И чем скорее, тем лучше. Ведь никому и ничем не поможете, а сами испортитесь... Ну, а как вы относитесь к евреям?

— В юности, и даже позже, я был убежден, что это особая порода людей, способных делать одно только зло всем неевреям. Теперь же я думаю, что среди них добрых и злых не больше и не меньше, чем и во всех других нациях. И вообще я различаю людей не по принадлежности их к какой-либо расе, а по их поступкам...

— Ну, конечно, конечно...

Затем я рассказал ему, что в Москве был на Хитровом рынке и видел, чем питаются босяки — форменной отравой: тухлыми яйцами, разлагающимися селедочными головками, гнилыми яблоками и вареным мясом, в котором кишат белые черви. Я выразил мысль, что хорошо бы написать статью, в которой убедить общество, что допускать публичную продажу такой мерзости, по меньшей мере, бессердечно. Ответ Льва Николаевича меня удивил.

— Туда их привело не одно горе, а, в большинстве случаев, еще и пьянство и разврат. Нельзя же развратничать и за это потом жить спокойно и хорошо. Если бы кто-нибудь заболел дурной болезнью и затем, благодаря деньгам, скоро выздоровел, это было бы несправедливо... Не признаю я и так называемых домов трудолюбия: это не помощь, а суррогат помощи. По-моему, такие филантропы, как, например, доктор Гааз, о котором писал Кони [1], не принесли пользы человечеству.

Разговор перешел на развращенность высших классов общества. Лев Николаевич с грустью покачал головой и произнес:

— Я без отвращения и до сих пор не могу вспомнить своей холостой жизни и вообще молодости. Это ужас что такое было! И все оттого, что живем мы и питаемся не нормально. Отсюда и половые излишества. Ехал я как-то

с одним крестьянином, холостым и молодым,— так чуть бороденка показалась, — и спросил его, как он живет *без этого*? — «А про это и думать некогда»,— ответил парень. Главное же, что у нас с юношеских лет вбито понятие, будто без этого жить трудно и нездорово. Это неправда. Без этого можно прожить. Надо только на каждую женщину смотреть, как мы смотрим на мать или сестру. И никаких животных побуждений такой человек не почувствует...

III

Главное чувство, которое я испытал, беседуя со Львом Николаевичем, было сладкое сознание, что с этим человеком можно говорить только совершенно искренно; что всякое желание показаться Толстому хуже или лучше, чем есть, не привело бы ни к чему, кроме стыда. Казалось, что Л. Н. только посмотрит и уже узнает, кто перед ним и зачем пришел такой человек.

Заговорили о значении рецензий и критических статей о художественных произведениях.

— Теперь я решительно ничего не читаю о себе и думаю, что каждому писателю нужно как можно меньше придавать значения своему писательству.

Я вспомнил, что даже на Чехова — не придававшего значения критическим статьям — все-таки производили тяжелое впечатление рассуждения о его творчестве людей, может быть, и очень хороших и очень полезных, но лишенных художественного чутья.

При имени Чехова Лев Николаевич оживился.

— Чехов!.. Чехов — это Пушкин в прозе [2]. Вот, как в стихах Пушкина каждый может найти что-нибудь такое, что пережил и сам, так и в рассказах Чехова, хоть в каком-нибудь из них, читатель непременно увидит себя и свои мысли... Некоторые вещи Чехова положительно замечательны. Вы знаете, я выбрал все, особенно понравившиеся мне, его рассказы и перечитываю всегда с огромным удовольствием. А вот пьесы его совсем не нравятся мне... [3]

— Позвольте, Лев Николаевич, ведь читать пьесу и смотреть ее на сцене, это не одно и то же. Мне кажется, если бы вы увидели какую-нибудь пьесу Чехова в исполнении московского художественного театра...

— Видел. Был на «Дяде Ване» и, вообразите, не досидел.

Это было единственным, что из его слов осталось для меня непонятным. Не помню, по какому поводу, но разговор перешел на духовенство. Выражение лица Льва Николаевича стало как будто грустным, и он сказал:

— Среди священников есть много хороших людей, очень хороших. Вообще хорошие люди есть во всяком, решительно во всяком сословии. А какая масса прекрасных людей среди военных, хотя они и служат такому ужасному делу, как война...

Вошла графиня Софья Андреевна, и разговор прекратился.

Я спустился в нижний этаж и старался как можно точнее записать все услышанное от Льва Николаевича.

IV

Стало вечереть. Слуги начали накрывать обеденный стол и стучать ножами. Я вышел на воздух и долго гулял по яснополянскому парку. Теплынь. Тишь. Хорошо!

Вспомнилась гимназия и та греческая фраза о Сократе, которую мы переводили в пятом классе: «И обвиняется он еще в том, что развращает юношество и не чтит отечественных богов».

Меня поразила параллель, которую можно было провести между Толстым и Сократом. И тот и другой обвинялись не в том, что отрицают существование божества, а в том, что понимают бога не на точном основании законов отечества.

И пришло в голову, что через несколько столетий другие гимназисты будут проходить по истории о Толстом так же, как мы учили о Сократе.

Когда стемнело, я вернулся к дому и сел на крылечке. Догорало небо. Пахло цветами. Не хотелось двигаться с места.

Раздался колокол на обед.

К столу опять вывезли Льва Николаевича. По дороге он успел дать щелчок в спину своей дочери Татьяне Львовне. Она шутливо вскрикнула:

— Не драться!..

За обедом, как и за завтраком, пили из кувшина чудесный квас. Весело и просто идет общий разговор. После

сладкого еще долго не расходятся. Софья Андреевна говорит о женах писателей.

Подали дыню, фрукты и чай. Лев Николаевич опять уехал в кабинет.

Князь Н. Л. Оболенский (муж Марии Львовны) дал мне тетрадку с бланкированными страницами, на которых были помещены приблизительно следующие вопросы: 1) какой ваш главный порок, 2) к какому из пороков вы относитесь наиболее снисходительно, 3) какой ваш любимый автор? и т. д. Всех вопросов было около двадцати, последний: «искренно ли вы ответили на каждый вопрос?» Имена и фамилии отвечающих писать на бланке не требовалось. Я посмотрел предыдущие уже заполненные листки. На всех, без исключения, против вопроса — «кто ваш любимый автор», было написано: «Л. Н. Толстой». Я написал: «Антон Павлович Чехов».

Татьяна Львовна полулежала на диване, Мария Львовна, Александра Львовна и В. Кузминская сгруппировались в углу и что-то напевали. Князь Н. Л. Оболенский сидел и раскачивался в кресле-качалке. Я заполнял свой листок возле круглого стола. Хотелось быть вполне искренним. Наконец, я закончил свои ответы и задумался обо всем том, что сегодня слышал от Льва Николаевича.

V

До знакомства с Толстым мне не раз приходилось встречать весьма образованных и неглупых людей, которые считали Толстого сектантом, фанатиком, навязывающим свои идеи всем и каждому. И мне стало теперь жаль этих людей. Для меня было слишком ясно, что Лев Николаевич ничьей воли никогда не мог насиловать. После каждой фразы его проницательные глаза как будто говорили: «Я так думаю, но может быть, я и ошибаюсь».

Я предвидел, что многие из моих знакомых будут спрашивать, какое я вынес впечатление из Ясной Поляны. И я решил всем отвечать по совести, приблизительно так: просто и легко возле него. Видит он каждого насквозь. Более склонен прощать, чем обвинять. Его идеал — чтобы люди как можно меньше портили друг другу жизнь... Чтобы чуткие влияли на тупых и нечутких. Нет для него ни правых, ни левых, а есть только сердечные и бессердечные. Первых он любит, о вторых со-

жалеет. К себе относится строго. Его жизненный опыт огромен, в нем как будто сконцентрировалось все лучшее из целого ряда эпох и поколений. Не понимать нравственного богатства, исходящего из его слов, могут только или весьма ограниченные люди, или очень завистливые. Вся суть его мыслей сводится к формуле: чтобы делать хорошее, нужно самому стремиться стать хорошим.

Так я понял Л. Н. Толстого.

VI

— Ну-с, на все вопросы ответили? — спросил князь Оболенский.

— На все...

— За это можете съесть кусочек дыни,— шутливо добавил он.

Лакей принес снизу две гитары. Мария Львовна и Александра Львовна взяли их и начали настраивать.

Окна были отворены, и видно было усыпанное золотым песком звезд, темное, как синий бархат, небо.

Мария Львовна опустила голову и, чуть раскачиваясь, начала под аккомпанемент гитары:

Ночи безумные...

Ее голос слился с голосом сестры:

Ночи бессонные...

Никогда и нигде пение этого романса не производило на меня такого впечатления...

Пауза. Затем два голоса снова слились и продолжали:

Пусть даже вре-мя
Ру-кой бес-по-щад-ною...

Бесшумно отворилась дверь кабинета, и кто-то вывез на кресле Льва Николаевича. Он склонил голову и, видимо, заслушался. Лампа из кабинета освещала часть его серебряной бороды.

Все же лечу к вам
Памятью жадною...

Это было самое красивое место. Когда кончили пение, Лев Николаевич поднял голову и сказал:

— Как хорошо, как хорошо!..

— Споем: «Эх, пошел, да распошел»? — сказала Александра Львовна.

— Споем...

Начали перестраивать гитары, и опять раздалась песня:

Как со вечера пороша,
Со полуночи метель...
И эх, пошел, да распошел...

Темп припева был быстрый и красивый. Хотелось в ритм с ним двигаться.

«Вероятно, так пела Наташа Ростова»,— думаю я. И когда струны прозвенели в последний раз, стало жалко и захотелось еще раз услышать пропетую песнь.

Но надо было ехать. До отхода поезда оставался час с лишним. Я подошел ко Льву Николаевичу и попросил его фотографию.

— Вы рулем когда-нибудь правили? — спросил он.

— Правил.

— Так вот передним колесом моего кресла нужно править, как рулем. Будьте добры, отвезите меня в кабинет.

Я осторожно повез его, боясь зацепить за стул или за дверь.

— Ну, теперь подвезите меня к столу. Так. Теперь дайте мне, вон там лежит, пакет.

Я подал. Лев Николаевич вынул из него несколько своих портретов в виде отлично сделанных открыток.

— Которую хотите?

— Вот вы сейчас в кресле и здесь в кресле. Пожалуйста, эту.

— Ну, хорошо. Теперь дайте мне перо...

И он надписал. Я поблагодарил и заволновался от мысли, что через несколько минут уеду и больше не скоро, а может, и никогда уже не увижу его.

— Ну, прощайте!

Лев Николаевич задержал мою руку в своей сухой и теплой руке.

— Постойте... Что я вам хотел сказать еще? Да... индивидуальность у писателя? Индивидуальность — это искренность. Если будете искренним, тогда всегда будете и индивидуальным... Да, искренность... И чем скорее выйдете в отставку, тем будет лучше. Ну, до свидания!..

Через десять минут я уже сидел в двухместном шарабанчике. Было темно и тепло. Пахло экипажной кожей и лошадью.

Полетели...

— А не опрокинешь? — спросил я сидящего со мной рядом парня.

— Зачем?.. Лошадь, она видит...

Прогремели через мостик, выехали из ворот и свернули влево, к шоссе...

И тогда мне казалось, и теперь кажется, что если я проживу на свете еще долго и увижу еще много хорошего, все-таки день в Ясной Поляне будет одним из самых памятных дней в моей жизни.

ЛУИ МОРОТ

ДУША ЭПОХИ

В последних числах февраля 1905 года, прибыв в Россию, я имел счастье познакомиться с Толстым и беседовать с ним... [1]

Приехал я в Ясную Поляну в одиннадцатом часу утра.

Сани остановились около небольшого крыльца. Наконец-то!

Но я чувствую, что меня охватывает волнение, какого я еще никогда не испытывал ⟨...⟩ меня зовут наверх. Мы поднимаемся, проходим через огромную столовую и входим в рабочий кабинет писателя.

Вот и Толстой!

Я жму ему руку и всматриваюсь в его черты.

С длинной седой бородою он напоминал скорее крестьянина, нежели знатного барина. Но чистота и порядок в одежде (темная блуза и белая рубаха) устраняют мысль о крестьянстве. Ввалившиеся глаза на загорелом лице говорят о глубоких думах и пребывании на воздухе.

По временам в глазах Толстого вспыхивал огонь, но не прежний огонь «Казаков», а огонь христианской любви.

В рабочем кабинете Толстого, около письменного стола,— портрет Генри Джорджа, пророка Калифорнии, автора книги «Прогресс и бедность». Эта книга посвящена Толстому [2].

Толстой принял меня очень приветливо и сейчас же начал расспрашивать об Испании:

— Много ли у вас социалистов и кто они? Сколько анархистов? В каких газетах и журналах они пишут? Поддерживает ли ваша газета нужды рабочих? и т. п.

Я посильно отвечал на эти вопросы ⟨...⟩.

Ссылаясь на Испанию, которую он знает по истории, Толстой говорит, что душу испанского народа можно найти в произведениях испанских писателей.

— Интересует меня Испания, — говорил он, — и в ее современном виде. Главный и жгучий вопрос Испании, как и везде,— земельный...

Толстой прерывает речь и предлагает мне разделить его скромный завтрак.

Он продолжает говорить, а я с благоговейным чувством слушаю его.

— Все, что относится к аграрному движению,— говорит он,— все, что заключается в социальном вопросе, составляет мое занятие в России и за границей. Европа меня интересует не своими политическими организациями, не партиями, не революцией, которая может вспыхнуть из-за политического принципа, но всем тем, что относится к земельному вопросу, потому что земля должна принадлежать всем и никому. Из всех событий, которые произошли в Испании за последние годы, более всего поразили меня безответная жизнь крестьян Хереса и возникшее восстание с «Черной рукой» [3]. Вот те всемирные вопросы, которые смывают границы и являют действительность Востока и Запада. И что бы ни сделала власть парламента или деспотизма, земельная проблема останется всегда во всей своей жгучести ⟨...⟩.

Социализм Международного общества рабочих, имеющего главой Бакунина [4], увлекающегося в безумных мечтах за борьбу против власти, за голосование при выборах, за присутствие при обработке гражданских законов, которые ведь чем более будут внушены социалистам, тем долговечнее закрепят социал-буржуазную организацию ⟨...⟩ Нет, нет, все эти политические и эволюционные процессы прав, голосований и выборов будут иметь только один результат — приручить и закабалить наибольшую часть рабочих, лишив их когтей и зубов. Социализм, господствующий теперь, есть только ближайший пост к революции, окруженный во время битвы неприятельским войском — буржуазией.

Толстой одушевляется и возвышает голос.

— Каждое столетие имеет свою проблему в истории человечества. Девятнадцатый век разрешил вопрос о рабстве, уничтожив это зло, существовавшее в России, Аме-

рике, Африке и не исчезнувшее в некоторых местностях и до сих пор. Теперешний век должен разрешить вопрос о земельном рабстве. В 1902 году я писал царю[5], что в каждый период человеческой жизни есть ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни. Пятьдесят лет тому назад такой ближайшей ступенью было уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними,— т. е. то, что называется рабочим вопросом ⟨...⟩. В России, где огромная часть населения живет на земле и находится в полной зависимости от крупных землевладельцев, освобождение рабочих, очевидно, не может быть достигнуто переходом фабрик и заводов в общее пользование. Для русского народа такое освобождение может быть достигнуто только уничтожением земельной собственности и признанием земли общим достоянием,— тем самым, что уже с давних пор составляет задушевное желание русского народа ⟨...⟩.

— Великая реформа уничтожения частного владения землей имеет в нашей, русской истории глубокие традиции. О чем всегда говорит крестьянский «мир»? Как возникла община? Все эти идеи существуют у нас с первых же страниц нашей истории... А разве самые лучшие эпохи процветания не только в России, но и во всей Европе, не совпадали с коллективным владением землей?.. Да и какая может быть другая история человечества, кроме борьбы за землю? Народ процветал или приходил в упадок, смотря по тому, кто управлял землей, одно или несколько лиц. «Демократия» — ложь и «республика» — фарс, если существуют родовые имения и частная земельная собственность. Почему существовал феодализм? От каких причин происходили все войны, начиная от древней Индии, Ассирии, Карфагена, Рима и других и кончая трансваальской и русско-японской войной? Из-за земли и ради земли, превращающей человека в волка... Россия приготовлена более, чем какая другая страна, к социальной реформе... Я знаю, что многие, смотрящие на историю человечества, как на размещение симметричных фигур, не согласятся с моими взглядами. Говорят: «Необходимо следовать примерам Франции и Англии развитием парламентаризма»...

Но как будто причина социального зла устранена во Франции или в Соединенных Штатах, хотя там управляет

не один, а множество... И ваша прекрасная страна — Испания — должна будет оплакивать еще долгие годы свои гражданские мечты, похороненные на Антильских и Филиппинских островах [6]. Сколько жертв и ради чего? Говорят, что теперешние войны не те, какими были раньше. Но изменились только формы зла, а не само зло. И лавровый венок по-прежнему есть в то же время и терновый венец для народа-победителя. Мы, русские, в войне с Японией [7] потеряли очень много, как и испанцы. Но разве японцы приобрели благо и свободу? Увеличилась ли сумма счастья в Японии после ее победы? Не думаю. И ошибка Японии есть та же самая, что и ошибка Германии или Соединенных Штатов. Ошибка состоит в достижении цели — насилием. И конец этой ошибки будет одинаковый с концом всех стран, живших насилиями.

Толстой делает перерыв и приглашает меня сопровождать его на прогулке. Мы садимся в экипаж. Он правит лошадью и знакомит меня с живописными окрестностями Ясной Поляны. После некоторого молчания он говорит, как бы продолжая прерванную речь:

— Насилие еще никогда не разрешило ни одной серьезной проблемы и не подвинуло человечества ни на один шаг вперед. Террор существует в России годами. Но разве он хоть немного уменьшил нужду рабочих и число кнутов, гуляющих по спине народа? Единственное спасение человечества — в идее братства. Путь прогресса один и тот же для всех народов ⟨...⟩.

Толстой делает паузу. Лицо его обвеяно грустью. Через минуту он заговорил тихо и сосредоточенно, точно на исповеди:

— Совершенного человека еще нет. Его надо создавать... И развитие форм общежития может быть достигнуто только развитием человека. Я, говорящий вам против войны, на которую я смотрю, как на ужасное бедствие, я почти рыдал при известии о сдаче Порт-Артура ⟨...⟩.

Стало вечереть. Мы вернулись в Ясную Поляну. Было морозно. Но я не чувствовал холода, как бы согретый близостью с Толстым... Надо было уезжать. Когда мы прощались, Толстой поцеловал меня, я — ему руку!..

Слава же ему — мудрецу и сеятелю доброго семени, из которого вырастает правда по всей земле. И, чествуя его, как душу нашей эпохи, мы способствуем его великой миссии, подавая надежду обездоленным: час освобождения приближается ⟨...⟩.

ТОКУТОМИ РОКА

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Тихое летнее утро в России!

Солнце стоит высоко, но оно не сияет ярко, а светит сонным блеском; дальний лес окутан дымкой. Все поле — словно сплошное море белой росы. Откуда-то доносится пение петухов. Людей не видно. Еду в полудремоте, покачиваясь в телеге. Вдалеке за ржаным полем — церковь, выкрашенная в голубой цвет. В одном часе езды от станции — небольшая деревня. Это Ясная Поляна. По обеим сторонам тянутся низкие домики, крытые соломой и дранкой. На широкой улице растет трава. Залаяли собаки. Босоногие деревенские мальчишки стояли и глазели на нас. Телега спустилась с холма, на котором расположилась деревня, и мы въехали в ворота. К ним примыкает большая сторожка с высокой зеленой крышей. В сторожке было пусто, ворота, по-видимому, всегда открыты. Налево — пруд в четыре тё [1]. Метров сто дорога идет вверх, обрамленная густо растущими зелеными березами, кедрами и липами. Среди этой зелени высится двухэтажный дом с белыми стенами и зеленой крышей; к северу от дома — роща; деревья растут и с других сторон дома, обращенного фасадом на восток.

Некоторое время наша телега ехала под яблоневыми ветками, согнувшимися от тяжести зреющих плодов, затем остановилась у входа в дом с западной стороны. Я расплатился с кучером, и телега уехала. Долго стоял я на одном месте. Кругом ни души, в доме тишина. Взглянул на часы — седьмой час...

...Вдруг мне показалось, что кто-то приближается. С трудом подняв отяжелевшие веки, я увидел, что рядом стоит какой-то старик. Я подумал: «Это садовник пришел убирать в саду»,— и в то же мгновение увидел лицо, которое нельзя было не узнать. Но не успел я вскочить, как старик быстро произнес: «Господин Токутоми?» — и, улыбаясь беззубым ртом по-детски милой улыбкой, протянул мне руку.

— А-а, вы Толстой? — воскликнул я, поспешно беря его руку.

Рука была большая и теплая.

— Вы, наверно, не получили моего ответного письма? — сказал он.

— Ваш ответ? Нет, я приехал, не получив вашего ответа. А вы получили мое письмо, посланное из Порт-Саида? — спросил я.

— Получил и прочитал. Прежде чем написать вам ответ, я долго думал. Простите! — тут Толстой, похлопывая меня по руке, сказал: — Я не мог поверить вашему письму, потому что оно слишком лестно для меня. Поэтому я долго размышлял над ответом. Но вы мне писали правду?

— Конечно, правду. И именно поэтому, простите меня за откровенность, мне захотелось хоть раз посетить вас. Как ваше здоровье, Учитель?

— Не совсем хорошо. Я знаю, что мне до смерти недалеко. Все страшатся смерти, но смерть — избавление, так что бояться нечего...

Я глядел на его лицо: оно было красноватого оттенка. Дымчато-белые усы и борода, чуть влажные глаза, беззубый рот. Он выглядел старше, чем я думал. А ведь ему уже было семьдесят восемь лет.

Разговаривая, мы отошли от скамейки, где встретились. Лев Николаевич шел впереди, а я следом за ним. Мы спустились по тропинке к другому, маленькому пруду и пошли вдоль берега.

На Толстом была серовато-белая фланелевая блуза, подпоясанная черным кожаным поясом, широкая белая шляпа. И весь он, с палкой в руке, был в точности такой, каким я его видел на фотографиях и каким я его себе представлял.

Лев Николаевич расспрашивал меня о моем старшем брате, который десять лет назад навестил его [2], затем спрашивал о Фукаи [3]. После этого мы заговорили о нем самом. Он рассказал:

— Пусть мне осталось недолго жить, но я буду работать до последнего мгновения. Сейчас я работаю над произведением о взаимоотношениях правительства и народа. Рукопись уже наполовину закончена [4].

Меня он расспрашивал о современном политическом положении Японии, о соотношении между сельским хозяйством, промышленностью и торговлей.

— Сила страны — в тружениках, которые сами возделывают землю, не пользуясь чужим трудом,— так излагал он мне свои взгляды.— А что, в Японии крестьянские сыновья тоже продают свою землю и уходят в город учиться? — спросил он меня.

Когда я утвердительно кивнул головой, он повернулся ко мне и сказал:

— А почему бы вам не пожить жизнью сельского труженика?

— Я очень люблю крестьянский труд, сейчас у меня нет ни клочка земли, но все же я намерен вести полукрестьянскую жизнь.

Мы повернули от пруда и пошли к дому по тропинке, еле заметной в траве. Трава была расцвечена белыми, желтыми, красными цветами лютика, ветряницы, дикой гвоздики.

Поблизости какой-то старик только что закончил точить косу. Лев Николаевич обменялся с ним двумя-тремя словами, бросил палку, взял у деда косу и принялся косить траву. Я тоже взял косу и неумелой рукой попробовал косить — взмахнул косой раза два-три.

Чуть подальше под деревом, на скамейке, двое детей лет шести — восьми играли под присмотром няни. Это были внуки Толстого. Он поцеловал каждого.

— Мое почтение,— сказал я по-русски и пожал им ручки.

— Мое почтение! Очень хорошо! Очень хорошо! — улыбаясь, сказал Толстой.

Незаметно мы вышли на площадку около дома. Земля здесь была посыпана белым песком. Две-три клумбы, и на них красивые цветы сверкали на солнце яркими красками. Под ветками клена в тени стоял длинный стол, накрытый белой скатертью. На столе шумел серебряный самовар, расставлена была посуда, сливки, хлеб, тут же лежала только что полученная почта. Здесь Лев Николаевич представил меня какому-то господину лет пятидесяти, с лысеющей головой. Я заметил, что он тоже был подпоясан

черным кожаным поясом. Это был Маковицкий, доктор, родом с австрийской границы [5]. Во время войны он работал в военном полевом лазарете, затем долгое время жил в семье Толстого.

После просмотра почты Лев Николаевич протянул мне небольшую книгу в желтом переплете.

— Как жаль, что вы не умеете читать по-русски! Это очень интересная книга, написана она крестьянином Бондаревым, ее название «Труд» [6].

Эта книга была переведена на английский язык, но сейчас у меня в руках было русское издание с предисловием Толстого.

— А разве она не запрещена в России? — спросил я.

— Была запрещена, но сейчас разрешили,— сказал Толстой. Потом, показав мне на домик, стоявший среди берез, добавил: — Живите вот в этом флигеле и ни о чем не беспокойтесь.— Пожав мне руку, Толстой ушел к себе, чтобы поработать до обеда...

КУПАНИЕ В ВОРОНКЕ

После завтрака я ушел к себе во флигель. Неожиданно, распахнув дверь, вошел Толстой.

— А, книги... Какие у вас книги?

Я показал ему разложенные у меня на столе книги. Тут лежали Библия, «Четверокнижие» [7] в карманном издании, стихи Байрона, сборник «Горная хижина» [8], путеводитель по Палестине. Толстой раскрыл «Четверокнижие» и спросил:

— Что это такое?

— Мэн-цзы [9].

— Мэн-цзы, Мэн-цзы... Я больше люблю Мо-цзы [10], чем Мэн-цзы. Приходится пожалеть, что Мэн-цзы недостаточно глубоко познал подлинный смысл учения Конфуция и оспаривал Мо-цзы. Вы любите купаться? Я сейчас хочу пойти. Нет, не в пруду. Тут поблизости есть река, сейчас там строят плотину, нужно немного подальше пройти. Идемте?

Лев Николаевич стоял с полотенцем, повязанным вокруг пояса. Я быстро переоделся в летнее кимоно и пошел за ним. Мы отправились к яблоневому саду мимо того берега пруда, где мы впервые встретились. Я еле поспевал за ним. Стараясь не задеть за колючую изгородь, мы

пролезли через отверстие и разговаривали при этом обо всем, что приходило в голову.

В овраге за деревней Ясная Поляна нам встретились два странника, обутых в опорки, с палками в руке и котомками за плечами. Толстой остановил их, немного поговорил, затем вытащил из-за пазухи кошелек и дал этим совершенно незнакомым людям немного денег.

Мы поднялись на холм и, идя по дороге, вошли в глубь густого зеленого леса. Я шел позади Толстого.

— Учитель, мне хочется вас кое о чем спросить. Вы молитесь?

— Да, каждое утро. Я написал книгу: «Разум, вера и молитва» [11]. Да, я каждое утро молюсь.

Беседа перешла на тему о духовной жизни Японии.

— Япония в духовном смысле находится в периоде исканий, — сказал я. — Тяжело и грустно, что бывают войны, но война как-то настраивает людей на серьезный лад. Люди находятся на грани жизни и смерти и вновь обретают свою подлинную сущность. К примеру, все, кто участвовал в последней войне, начиная с Того [12], кто испытал бедствия войны, хотя и не стали истинными христианами, не все же стали более верующими, серьезными людьми.

Толстой обернулся, блеснув глазами.

— Нет, я думаю иначе. Даже если такие люди, как Того, и стали верующими людьми, то все же их вера не глубока, разум они считают решающим, но он не может схватить сущность вещей.

Затем, повернувшись ко мне, добавил:

— У Конфуция есть такое изречение: «В словах нужно быть осторожным. Одним словом выражается мудрость или глупость твоя».

Выходит, что он меня назвал глупцом. Хотя я в то время посетовал на него за это, но в глубине души сейчас знаю, что он был прав.

Разговор зашел о современном положении России, о Думе.

Толстой сказал:

— Дума ни к чему, разве вопрос только в том, чтобы передать власть из одних рук в другие? Главное, чтобы не признавать никакой власти.

Я заметил:

— Корень всех бедствий — любовь к деньгам.

Толстой ответил:

— Любить деньги значит любить власть.

Разговор снова перешел на другую тему и коснулся воинской повинности и мира. Я сказал:

— Путь к миру лежит не через Гаагскую конференцию; единственно правильный путь указывает секта духоборов [13]. Если бы все встали на этот путь, не обошлось бы, конечно, без жертв, но они послужили бы благой цели.

— Да, это так. Однако будет плохо, если кто-нибудь из них открыто возьмется за оружие. Любовь в каждом человеке должна быть настолько велика, чтобы она не позволила взять оружие в руки. И в самом деле, кто может подчиниться, если скажут: отрежь голову младенцу? Любовь к ребенку не позволит этого сделать. А при чем тут жертвы?

Этими словами Толстой помог мне избавиться от старого заблуждения. В самом деле, заранее подсчитывать выгоду или убытки от своих поступков, предугадывать результаты, рассчитывать действенность жертв — дело людей, считающих себя мудрецами; простые же люди, ищущие истину, именно потому и ратуют за нее, что она у них в душе, и они не могут поступить иначе.

В это время на дорогу вышла босоногая старуха. Она шла то впереди, то позади Толстого, разговаривая с ним. Вдруг у нее из глаз полились крупные слезы. Толстой успокоил ее, и они расстались.

— Кто это? — спросил я.

— Вы читали, наверно, о народной школе в Ясной Поляне? Муж этой женщины, мой большой друг, работал в этой школе учителем, недавно он умер, она и плакала, вспомнив о нем [14].

Вскоре лес кончился, и мы вышли на широкую дорогу. Невдалеке нас поджидала повозка, на облучке которой сидела женщина. Это приехала Александра [15], чтобы подвезти отца. Продолжая разговаривать, мы сели в повозку, Александра заняла место кучера и, помахивая кнутом, стала мастерски править лошадью. Толстой, улыбаясь, сказал:

— Россия и Япония сели в одну повозку, женщина правит лошадью. «Как это необычно»,— подумают посторонние.

Немного спустя повозка выехала к реке — один берег ее порос лесом, другой был открытый — и остановилась... Мы вышли из повозки и спустились вниз по склону,

заросшему белыми, красными, желтыми и голубыми цветами. Когда мы достигли берега, двое детей поздоровались с нами, затем мы все вместе пошли к реке. Река шириной не более шести-семи кэн [16] текла спокойно меж извилистых берегов; вода в ней была мутноватая. На берегу стояла купальня; рядом сидели женщины. Нужно было найти другое место, и мы снова сели в повозку. Вскоре мы приехали в безлюдное место и сошли на берег. Толстой прежде всего прощупал палкой дно, затем мы разделись. У Льва Николаевича была совершенно гладкая кожа, у меня же мохнатая, поросшая волосами. Мы бросились в воду. В тени деревьев вода была прохладной; нырнув, я встал на дно — оно было каменистое. Хотя я давно не плавал, но поплыл саженками. Лев Николаевич посмотрел, как я плыву, и спокойно поплыл точно так же. Когда уже пора было выходить, он шутливо сказал:

— Японцы и русские даже плавают одинаково, а вот европейцы не плавают саженками, плавают вот так,— и он поплыл на манер черепахи.

Я слыхал, что река Воронка впадает в реку Упу, которая, в свою очередь, впадает в Оку — приток Волги. О Воронке упоминается в романе «Анна Каренина». Я думаю, что это название взято отсюда...

Мы снова сели в повозку, выехали на шоссе Москва — Тула и повернули домой. На обочине дороги среди деревьев стояли красивые дачи, наверно, московских богачей. Дорогу чинили; несколько пожилых мужиков сидели на обочине и разбивали булыжник. Толстой, взглянув на них, сказал:

— Социализм нужен вот для таких людей...

СЕНОКОС

После обеда все женщины, за исключением хозяйки дома, жены Льва и Юлии, пошли на сенокос. Даже жена повара, недавно оправившаяся от болезни, пошла помогать. Меня тоже пригласили. Мария и Александра, шедшие с нами, — одна в красном, другая в синем платке, — походили на крестьянских девушек.

Когда мы вышли, я увидел двух деревенских девочек, стоявших у входа, они принесли дикую малину, которую собрали в лесу. Хозяйка дома купила у них ягоды.

Обернувшись ко мне, Мария сказала:

— Разве вас не удивляет, что они так бедны, а мы богаты?

Мы пересекли яблоневый сад и вошли в лес; в траве цвели маки, подорожники и еще три-четыре вида цветов. И яблоневый сад, и этот лес, и поле — все входило в имение Толстого. Лес, сады, пастбища, поля составляли более шестисот тё, один только яблоневый сад раскинулся на шестьдесят тё.

Поляна у опушки леса была сплошь покрыта скошенной травой, на середине росло несколько белых берез. Обе дочери Толстого, жена повара с сыном и школьная подруга Александры принялись ворошить скошенную траву — кто руками, кто косовищем. Пришедший вместе со всеми князь Оболенский сел в тени берез, обхватив колени руками. Мимо проехал верхом на лошади Лев Львович. Улыбаясь, он сказал:

— Очень хорошо, очень хорошо.

Все это напомнило мне сцену сенокоса в романе «Анна Каренина». Я тоже из любопытства, посмеиваясь над собой, принялся работать, стараясь не отставать. Пока я, покрытый потом, усердно ворошил сено, облако закрыло солнце и послышался отдаленный гром.

— Э, сейчас будет ливень, скорее, скорее сгребайте траву.

Мы стали сгребать уже просохшую траву и укладывать в две копны; косы только мешали и били по спине. Некогда было даже обтирать струившийся пот. Наконец я выпрямился, тяжело перевел дыхание; холодный ветерок обдавал, как струя прохладной воды. В лесу стало темно, березы тревожно шумели. Над верхушками деревьев неслась на восток фиолетовая туча, прогромыхал гром. На лицо упала первая капля, другая...

Мария, слабая здоровьем, первая почувствовала усталость и оставила работу. За ней ушли все, кроме кухарки с сыном и Александры. Я вконец выбился из сил, но продолжал работать: перетаскивал и складывал траву в копны. Пока мы сгребали траву, грозовая туча пронеслась дальше к востоку — дождя не было. Мне стало очень радостно, когда жена повара от всей души поблагодарила меня за помощь.

Мы вышли на поросшую травой межу, видневшуюся среди ржаного поля. Здесь цвели васильки, колокольчики, белая кашка и красный чертополох. На холме, расположенном напротив, поспевала рожь, а вдали, на другом

холме, вздымавшемся, как гребень волны, рос густой зеленый лес. После дождя, который прошел стороной, ярко светило солнце, необозримый простор открывался вокруг. То там, то здесь виднелись дома. Я дышал полной грудью.

Яблоневый сад, который сторожил старик крестьянин, не был огорожен забором, только кое-где в один ряд провисала натянутая проволока. Рядом с усадьбой рос лес, посаженный перекрестными рядами, но сам дом стоял в лесу, к которому примыкало поле. В этот лес могли свободно ходить все, кому хотелось погулять, и даже охотники. Мне приятно было узнать, что летом в густой траве здесь не водится змей.

Подойдя к дому, я увидел двух нищих, стоявших у входа. Как раз в это время вышел Толстой, немного поговорил с ними и, как и в прошлый раз, вытащил кошелек и дал им денег.

ВЕЧЕР НА БАЛКОНЕ

Вчера вечером Толстой показал мне танка [17], сложенную его величеством императором Мэйдзи [18] и опубликованную в журнале в английском переводе.

Им нет от нас пощады,
Им, ненавидящим наш край,
Но, смерть неся врагам,
Их силе и отваге
Ты должное отдать не забывай.

Он спросил меня:

— Как можно объяснить это несоответствие между словами императора и его действиями?

В ответ я прочитал еще две танка императора:

Все дети на войне.
Нет никого.
Остался лишь старик,
И он один
Хранит поля и горы.

Среди листвы, и нежной, и зеленой,
Проглядывает небо в дымке голубой.
О небо! Как желаю я,
Чтоб сердце сравнилось
В чистоте с тобой.

После этого беседа перешла на поэзию. Я рассказал, что в Японии, кроме таких песен, есть еще так называе-

мые хокку [19], в которых семнадцатью слогами можно выразить и глубокую идею, и тонкий смысл.

— Интересно, прочитайте.

— Я прочту вам короткие стихотворения, выражающие глубокую мысль.— Отступив немного в сторону, я, к удивлению Толстого, стал на память читать многие танка и хокку. Каждое из этих стихотворений имело свое содержание, но я странным образом не мог в эту минуту вспомнить ни одного, где бы выражалась глубокая возвышенная идея.

Вернувшись к себе, я пожалел, что напрасно пытался удивить Толстого глубиной мысли нашей поэзии, лучше было бы расспросить его о его мыслях и почтительно слушать.

Сегодня, когда вошел Илья, только что вернувшийся с косьбы, я спросил его, может ли Лев Николаевич еще раз поговорить со мной. Илья провел меня на второй этаж. Мы прошли через залу, в которой висело множество картин, через кабинет Толстого и вышли на балкон. Балкон находился рядом с комнатами Льва Николаевича и его жены. Он был открытым и выходил на восток. На перилах балкона шириной в два сун [20] стояли в ряд три глиняных горшка. Лев Николаевич в это время поливал растения водой. В одном горшке из мандаринового семечка уже пророс стебелек с двумя листочками, в другом — оболочка семечка еще только лопнула и торчал изогнутый росточек, а в третьем — в земле лежало белое, едва лишь набухшее семя. Толстой показал на них пальцем и с улыбкой сказал:

— Люблю смотреть на это. Жизнь, жизнь... Я вижу развитие жизни.

По моей просьбе из кабинета была принесена книга. Я стоял, опершись на стул. Дверь в кабинет была завешена тонкой металлической сеткой: Толстой не любил мух. «Привычки старшего брата Левина из «Анны Карениной» были на самом деле привычками самого Толстого»,— подумал я.

Толстой раскрыл немецкую книгу, в которой некоторые места были отчеркнуты им синим карандашом. Это были стихи немецкого поэта первой половины XVII века — монаха Ангелуса Силезиуса (подлинное имя которого — Вильгельм Бурш) [21].

— Очень интересно, послушайте! — Он стал читать некоторые двустишия, переводя их с немецкого на

английский язык. Несколько раз он звал графиню, которая шила на балконе при вечернем свете. Она пришла, захватив с собой шитье. Софья Андреевна слушала английские стихи, продолжая при этом шить. Она сказала, что немецкий знает лучше, чем французский и английский.

⟨...⟩ Беседа переключилась на древних и современных философов. Вошедший во время беседы Лев-сын сказал, что он любит Эмерсона.

Тут вошли два господина, один — лет пятидесяти; другой — тридцати. Это были знакомые, партнеры Толстого по шахматам [22]. Тотчас принесли шахматную доску, и Толстой стал с увлечением играть. Я отошел в сторону и тихо беседовал с графиней.

— Русские военнопленные,— сказала она,— все, как один, говорят, что японцы хорошо с ними обращались. Раненые очень благодарны за доброту и внимательность японских врачей и сестер. Военнопленные говорят: «Японцы хорошие...» Чувства людей повсюду одинаковы.— И в пояснение добавила: — Когда японские военнопленные были в России, они плакали при виде русских детей, вспоминая о своих. Смотревшие на них женщины-крестьянки тоже начинали плакать. Да и наши русские военнопленные в Японии тоже плакали при виде детей...

Разговор коснулся современного положения России.

— Взгляды моего мужа сейчас не в моде. Повсюду только и шумят: революция, революция. Бунтарский дух проник даже сюда, в яснополянскую деревню. Я просто боюсь, как бы и на наш дом не напали,— говорила она, и в ее словах звучали не шутливые нотки. Затем переменила тему разговора.

— Муж уже стар, так что весь дом на мне. А у меня уже слабое сердце. Времени свободного не бывает ни минутки.— Неожиданно она поднялась.— Это я на зиму сушу для мужа.— Она стала перебирать малину, чтоб не отсырела от вечерней росы; затем села и продолжала шить при слабом свете без очков, приблизив близорукие глаза к шитью.

Гости, не стесняясь, спросили графиню:

— Это правда, что ваша свадьба произошла точно так, как у Кити в «Анне Карениной»?

— Да, вы, вероятно, знаете, мне было тогда семнадцать лет, а мужу — тридцать четыре. Лев Николаевич, подружившись с моей матерью, часто посещал наш дом. Однажды он мне написал мелками одними заглавными

буквами, как это рассказывается в романе: «Вы юная, а я же не молод. Я боюсь, что не принесу вам счастья. Согласны ли вы стать моей женой?» Я все поняла и сразу же согласилась. Лев Николаевич был очень счастлив. Я ведь его тоже очень любила. Ну и хорошо, что согласилась...

Все засмеялись.

ДЕМОН В ДУШЕ

После обеда Толстой вошел раздосадованный, держа в руке хлыст.

— Сегодня не придется работать, как я хотел, поэтому поеду сейчас верхом купаться. Спросите дорогу у домашних и приходите к четырем часам.

Я вышел из флигеля.

Шагах в ста на юг от флигеля находится еще один большой двухэтажный дом с белыми стенами и зеленой крышей. Теперь в нем жила семья Льва-сына. Это, по-видимому, был тот самый дом, который я старался разглядеть из окна вагона в день приезда. За домом — открытое поле. Рядом у подножия холма — конюшня. Несколько мужчин, пожилых и молодых, готовили для Толстого к выезду верховую лошадь. Прямо, напротив, виднелась бедная деревушка — Ясная Поляна.

— Вы, наверное, знаете взгляды нашей семьи? — спросил Толстой, и лицо его помрачнело. Я давно знал, что он хочет поделить землю между крестьянами, но жена и дети против этого. Толстой не управляет имением и живет в этом доме как старый, пользующийся почетом нахлебник.

— Если я истинный христианин, значит я не должен иметь собственности. В последнее время я не получаю никакого дохода за свои произведения, но у меня есть несколько пьес, и за их исполнение театры присылают деньги. Мне говорят, что если я их не возьму, то их истратят на балет. Кроме того, мне до сих пор друзья с разных концов страны присылают деньги для бедных.

Таким образом я узнал источники дохода Толстого. Толстой, полуобъясняя, полуоправдываясь, продолжал:

— Меня часто осуждают за то, что моя жизнь не соответствует моим убеждениям. Но пусть осуждают, я должен это переносить как христианин...

Небо над деревней прояснилось, в разрывах темных туч показалась голубизна. Края туч отливали серебром, а стволы берез — бело-розовым блеском.

Взглянув на это, Толстой прошептал: «Ах, как красиво!»

Оседлав крупную, хорошо упитанную гнедую лошадь, конюх вывел ее, но она не давалась. Тогда один из конюхов легко вскочил в седло, проехал два-три круга, слез и предложил ее Толстому. Он вставил ногу в стремя, легко вскочил в седло и поехал по зеленой тропинке, помахивая хлыстом.

Позавчера Толстой купался, сейчас ехал верхом. Как радостно видеть его здоровым и бодрым, хотя сам он и говорит, что близок к смерти. Этот бунт, недоверие, гнев, чувствовавшиеся в его словах, набежали черной тенью и омрачили его душу. Как? Неужели Толстой может так роптать и жаловаться? А может быть, оправдываясь, он лукавит? Может быть, его опрощение — только прихоть аристократа? Да, он — Толстой, и в то же время — сын человеческий, привыкший мириться сопротиворечиями... Но вдруг, набегая, как черные грозовые облака, его душу омрачают чувства недоверия, бунта, недовольства и неудержимым потоком прорываются наружу. У человека с такой сильной индивидуальностью поневоле много странностей.

СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ

3 июля

Четвертый день живу я в этом доме. Жизнь здесь мне нравится. Вот один из летних дней в Ясной Поляне.

Несмотря на то, что в России летом светает рано, в доме Толстого спят до семи часов. Раньше всех встают дети — ежедневно рано утром они ходят на станцию Засека за почтой. На столе под кленом стоит самовар, чашки, горшок со сливками, хлеб и тарелки, прикрытые от мух салфеткой.

Во время завтрака каждый приходит, когда захочет, и уходит по своему усмотрению. Толстой с графиней к завтраку приходят редко. До полудня обычно Толстой занят важными делами.

Второй завтрак в двенадцать часов. В саду на суке огромного вяза висит небольшой колокол. Как только он

прозвучит, с разных концов собираются члены семьи. Лев Николаевич приходит не всегда, но хозяйка обязательно. Мужчины здороваются за руку, женщины целуются. Даже во время второго завтрака никто не прислуживает — все чувствуют себя совершенно свободно.

Время после завтрака используется для прогулок: кто садится на лошадь, кто на велосипед, одни идут купаться, другие — прогуливаются, сопровождаемые собаками.

Толстого по ночам мучает старческая бессонница; в ночь он просыпается по пять-шесть раз. Поэтому после второго завтрака, вернувшись с прогулки, он обычно час спит. Старый князь Болконский говорил, что сон перед обедом — золотой.

Колокол на обед звучит в пять или шесть часов. К столу собирается вся семья. Слуги прислуживают за столом во фраках. Обычно к обеду подается небольшая закуска. Лев Николаевич и остальные мужчины одеты просто, женщины к обеду тоже не переодеваются.

После обеда одни идут гулять, другие — играть в теннис.

Как только зажигаются огни, звуки колокола зовут к вечернему чаю. Собираются обычно на веранде. Подается чай, сладости, вишня, малина. Женщины приходят, захватив какое-нибудь рукоделие, мужчины — книги. Все непринужденно беседуют. Иногда беседа за чашкой чая затягивается до десяти часов, а иногда и позже. Так проводят время и при гостях, и без гостей. Пришедшим не отказывают в приеме, не задерживают и тех, кто захочет уйти: жизнь подобна течению воды или дуновению ветра. Всюду непринужденность, радушие и искренность. Отношение к гостям, к слугам, к деревенским жителям, друг к другу — естественное, без притворства и принуждения, любезное и сердечное.

— Как видите, мы живем просто,— сказала графиня.

— Можно только позавидовать такой жизни,— ответил я.

— Однако есть одно «но»,— произнесла Мария.

— Никакого «но»,— воскликнул я,— завидую жизни простой и естественной.

...Старик очень много работает. Вот и сегодня при нем были серебряные часы на короткой металлической цепочке и записная книжка с вложенным в нее карандашом. Эти две вещи и кошелек он всегда носит с собой.

— Читали вы письмо Эффенди? — спросил он меня.

— Читал. Нужно радоваться, что повсюду люди пробуждаются...

— Да, это очень радостно, очень радостно,— кивнул он с довольным выражением лица.

Я поздоровался с поджидавшей нас графиней и вслед за Толстым пошел в рощу, свернув с дороги. В роще росли молодые дубки и березы. Блики солнца и тени падали вперемежку, яркая июльская листва бросала зеленый отсвет на одежды.

— Я люблю гулять в этом лесу, — промолвил Толстой.

Через некоторое время разговор наш перешел на русских писателей.

— Кого из современных писателей-романистов вы больше всех цените? — спросил я.

— Достоевского. Читали вы Достоевского?

— Да, читал его роман «Преступление и наказание».

Толстой одобрительно кивнул головой и заметил:

— Очень хорошая книга.

— А как вы относитесь к Тургеневу? — спросил я.

— Тургенев пишет красиво, но он неглубок.

— А Гончаров?

— Этот тоже.

— А как вы относитесь к Горькому, Мережковскому, Чехову?

— У Горького талант есть, но нет образования, а у Мережковского есть знания, но нет таланта. А вот Чехов — это большой талант. У всех троих, к несчастью, нет проникновенного взгляда на человеческую жизнь,— и затем добавил: — Чем читать Мережковского, лучше почитайте Аксакова и Хомякова. Это крупные писатели — русофилы. Но, по Аксакову, будущность России основывается на трех принципах — самодержавии, православии и народности. Это значит уже слишком далеко зайти в патриотизме.

Тема разговора переменилась. Мы стали говорить о произведениях Толстого.

— Какое свое произведение вы любите больше всего?

Подумав, Толстой ответил:

— Роман «Война и мир».

— Это, наверное, потому, что в основу взята подлинная история России?

— Конечно. И все-таки там есть слишком уж патриотичные места.

Мы уже вышли из рощицы, прошли лес и вышли на тропинку, ведущую к дому, когда наша беседа переключилась на европейских писателей. Толстой неожиданно остановился и заговорил:

— Вы тоже писатель. Послушайте мои слова. Не говорите того, о чем вы можете не сказать.— Он взял палку, начертил на земле круг, провел по направлению к кругу две-три лучеобразные линии и продолжал: — В каждой истине можно найти точку. Вы посмотрите на человека с одной стороны, затем с другой. Если у вас есть наблюдения, еще не открытые никем, если есть своя точка зрения — хорошо, если нет — тогда лучше молчите. Иначе, что бы вы ни говорили, о чем бы вы ни писали — будете ростом с самого себя.— И Толстой руками изобразил карлика.— Свет, может быть, и будет вас хвалить, по истине это не принесет никакой пользы. Говоря так,— добавил он,— я имею в виду самого себя. Меня хвалили за мои старые произведения, но теперь я вижу, что это только клочки бумаги. Я верю, что мои теперешние религиозные, философские и общественные труды не совсем бесполезны.

Мы уже подошли к флигелю, и на этом драгоценный для меня разговор закончился.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

4 июля

Сегодня Сухотины — отец и сын — уехали. Я тоже собрался завтра уезжать. Послезавтра свадьба старшего сына, так что оставаться здесь мне больше неудобно. В первое время по приезде я подумывал о том, чтобы снять комнату в деревне Ясная Поляна и, если позволят обстоятельства, прожить, по крайней мере, все лето. Но теперь это уже лишнее: увидеть Толстого, обменяться с ним хотя бы одним словом — этого уже достаточно. «У каждого человека своя дорога к небу», мой путь теперь лежит в родной край.

Передавая пожелание Толстого, Мария сказала, чтобы я ни о чем не беспокоился и оставался. Графиня также добавила:

— Дочь еще не прислала телеграммы, так что побудьте еще немного.

Услышав о моем твердом решении уехать, вошедший в этот момент Толстой спросил:

— Почему вы так быстро уезжаете?

— Даже если б я прожил здесь десять лет, это время не показалось бы долгим, но и пять дней — это немало. Если б я последовал своему желанию, то навсегда остался бы в этом доме. Однако я не могу не ехать. Я должен решить свои задачи и приложить к этому все силы. Я должен выполнить до конца свой долг. До сих пор я только мечтал, но не жил по-настоящему, а теперь, возвратившись домой, я начну деятельную жизнь. Если мне понадобится ваше наставление, я напишу вам письмо. Не откажите мне в слове поучения.

Толстой промолчал, ничего не сказав в ответ.

БАЛКОН И КАБИНЕТ

Солнце садилось. Каждая минута моего пребывания здесь была для меня драгоценна. Толстой выглядел очень усталым, и я подумал, что еще больше утомлю его своим посещением. Я уложил свои вещи и вышел. Из дома доносились звуки фортепьяно. Должно быть, дочь Александра играла отцу. Я долго ходил взад и вперед по двору; наконец вышел Толстой и пригласил меня на балкон. Там на стуле лежала раскрытая английская книга. Это была книга о Бирме. Мы стали говорить о переводах «Анны Карениной» и «Воскресения» на японский язык. Я рассказал Толстому о переводе на японский язык его произведений, написанных после его «второго рождения», начиная с «Моей веры» [23], затем я сообщил ему о возникшем в Японии движении «Самоотверженная любовь» [24]. Толстой, в свою очередь, рассказывал о пробуждении персов, которые подвергаются гонениям, и расспрашивал меня о жизни христиан в Японии. Толстой считает, что пантеизм не должен быть отброшен. Он взял в руки русскую книгу.

— Эта книга составлена мною [25]. Здесь собраны золотые слова, которые нужно помнить постоянно. Каждому дню — свое поучение. Посмотрите! Здесь есть изречения из Евангелия, из Герберта Спенсера; кое-где я изложил и свои взгляды. Каждое утро я читаю это и молча обдумываю. Это как бы моя молитва. Послушайте! Ваш день рождения двадцать пятого октября? К сожа-

лению, издана только первая часть этой книги, которая кончается тридцатым июня.

— Я приехал в ваш дом тридцатого июня, поэтому я хотел бы послушать, какое поучение относится к этому дню.

Толстой кивнул головой, полистал страницы и прочел некоторые записи...

...На балконе солнце уже померкло, и в кабинете было темно. Толстой спросил меня о моих планах на будущее. Затем, сказав, что он подготовит для меня рекомендательные письма, зажег небольшую зеленую лампу и сел писать. С разрешения хозяина я остался в кабинете. Я огляделся. В кабинете площадью в десять татами стояли два почерневших стола, из них один из красного дерева, два стула, в углу — обитая черной кожей софа. На стене небольшая книжная полка. Среди книг, лежащих в беспорядке на столе, виднеются буддийские сочинения и «Психология социализма». На стенах много портретов; на одной из них висит составленная из пяти отдельных частей картина «Сикстинская мадонна». Некрашеный пол... Сюда, в это уединение, жена привезла ослабевшего после болезни Толстого, чтобы жить вместе на покое. Тихий, удобный кабинет!

Я взглянул в лицо Толстого при свете лампы. На макушке волосы поредели, пепельно-белые волосы, склоненный над столом лоб в глубоких морщинах, широкие густые брови насуплены. Тяжело переводя дыхание, он скрипел гусиным пером [26]. Подумать только, в будущем году ему исполнится восемьдесят лет [27]. С годами он, великий провидец, все больше стареет, а у него внутри пламя все разгорается. Мне захотелось, чтобы люди в почтении склонились перед ним, чтобы они, как и я, пролили слезы благоговения.

Толстой закончил писать рекомендательные письма для меня: одно — в Санкт-Петербург [28], два других — в Москву [29], и положил перо. Затем он взял в руку лампу, поднял повыше и стал пояснять мне каждую из висящих на стене картин. Здесь висел портрет Генри Джорджа, портрет умершего несколько лет назад старшего брата Толстого [30], портрет покойного Гаррисона — первого проповедника идей непротивления в США. Этот портрет был прислан Толстому сыном Гаррисона. Под портретом висел написанный масляными красками портрет какого-то

мужика с веселым выражением на лице. Я спросил Льва Николаевича о нем.

— Это мужик, который не прочел ни одной книги, но отличался глубиною мудрости. Зовут его... к вечеру память у меня ослабевает... не вспомню...

Вероятно, он был из крестьян типа Бондарева и Сютаева [31].

— Вы, наверное, любите Рафаэля, раз повесили «Мадонну»?

— Нет. Это мне подарила моя старшая сестра. Она сейчас в монастыре [32]. На мой взгляд, это все неверно,— ответил Толстой и засмеялся.

Наш разговор от Рафаэля перешел на статью Толстого «Что такое искусство?».

— Вы, наверное, и сейчас придерживаетесь тех же взглядов?

— Да.

— Настоящее искусство должно взывать к лучшим чувствам человека...

Толстой, не дав закончить, прервал мою фразу:

— Да, обычно так и понимают.— Он погасил лампу, и мы еще некоторое время сидели на балконе при вечерних сумерках.

Я от всей души поблагодарил Толстого за гостеприимство и извинился, что, не зная языка его родины, затруднял глупыми вопросами на ломаном английском языке. Пожав его руку, я сказал:

— Учитель, берегите себя. Вы как-то сказали, что смерть — избавление, но я прошу, не торопите час этого избавления. Вы сказали, что пока живы — будете работать до последнего мгновения, но, Учитель, берегите свое сердце. В Японии, которая была врагом России, в стране, люди которой проливали русскую кровь, появились люди, следующие вашему учению, и повсюду появится еще больше таких людей. Вы осветили путь для всего мира. Позавчера вы сказали, что вам двадцать восемь лет, тогда такие, как я, всего лишь младенцы или еще только сейчас нарождаются. Жизнь развивается. Я буду молиться за ваше здоровье и благополучие, чтобы вы указали вашим учением дорогу к свету.

Толстой крепко пожал мне руку. Ответа его я не записал.

Т. А. КУЗМИНСКАЯ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
ОСЕНЬЮ 1907 г.

Осенью, в самом конце сентября [1], я ездила в Ясную Поляну и пробыла там около месяца.

Каждый год у меня является непреодолимое желание видеть мою сестру Софью Андреевну и мужа ее гр. Льва Николаевича и пожить с ними одной жизнью, как бывало в прежние годы, когда после замужества сестры я ездила туда 16-летней девочкой на лето и оставалась у них до поздней осени ⟨...⟩.

Мы подъезжали к проспекту, к старой березовой аллее у въезда которой стоят две старинные белые башни. Сквозь безлиственные деревья светились освещенные окна залы. Через пять минут мы круто повернули вправо и подкатили к крыльцу дома. Меньшая дочь сестры, молодая девушка, Александра Львовна Толстая, единственная из семьи оставшаяся при родителях, встретила меня на подъезде со словами:

— Тетенька, милая, наконец-то ты собралась к нам!

Я радостно здоровалась с ней, когда услышала легкую походку сестры моей ⟨...⟩.

— Пойдем наверх, Левочка еще не лег и ожидает тебя,— сказала сестра.

Освободившись от своих бесконечных теплых вещей, мы пошли наверх.

В зале я увидела Льва Николаевича, как всегда, одетого в серую фланелевую блузу. Вид его был свежее и здоровее, чем год назад, когда я видела его в последний раз, и это приятно поразило меня.

— Здравствуй, Таня, как хорошо, что ты приехала к нам! — ласково сказал он, здороваясь со мною.

Всякий раз, как вижу его после долгой разлуки, я испытываю какое-то особенное чувство, вероятно, похожее на то, которое испытывает путник после утомительного знойного перехода, добравшись, наконец, до свежего источника.

Мы сели за большой чайный стол. Разговор шел обычный, как бывает, когда долго не видишься. Все нашла я по-прежнему в этой светлой большой зале. По стенам висят фамильные портреты, написанные масляными красками, в углу залы стоит большой стол с диванчиком и креслами вокруг. Сколько посетителей и гостей самых разнородных видела эта зала и сколько интересного говорилось за этим столом!

Вдоль стены стоит рояль, и в конце его — большое вольтеровское кресло, на котором иногда вечером сидит Лев Николаевич, а по утрам это кресло служит местом игр для маленьких детей, внуков и внучек.

К удовольствию своему я узнала, что у них гостит старшая замужняя дочь их, Татьяна Львовна Сухотина, с семьей своей, и что она живет внизу, но видеться с ней я не могла, так как ее маленькая дочь была нездорова, и она рано легла спать. Я очень люблю ее, сердечную и милую тезку свою! 〈...〉

На другое утро, в 10 часов, когда я еще не выходила из своей комнаты 〈...〉 кто-то постучался ко мне, я окликнула. Дверь сильно распахнулась, и в дверях я увидела Татьяну Львовну.

— Тетенька! — громко воскликнула она, подбегая ко мне.

В одно мгновенье, как бывало, она обхватила меня сильными руками, перекрутила в воздухе и поставила на пол. Я только успела вскрикнуть от неожиданности, как мы уже, смеясь, обнимали друг друга после двухлетней разлуки. И опять я увидела милую оживленную Таню, которая своей увлекательной веселостью напоминала отца, — ту, которую привыкла любить с первого дня ее рождения, когда мне самой было всего восемнадцать лет.

— Таня, да ты ничуть не изменилась после рождения твоей девочки! — говорила я. — Поведи меня в детскую, я хочу видеть, какая у тебя дочь.

— Пойдем, тетенька, мы живем внизу,— сказала Таня,— я тебе покажу ее, да она не совсем здорова 〈...〉.

Прелестный двухлетний ребенок сидел в высоком креслице. Девочка поразила меня сходством с матерью. Она удивила меня тем, что нисколько не боялась посторонних. Я поняла, что маленькая Таня была центром внимания всей семьи 〈...〉.

Обежав наскоро сад, мы шли домой. Я взглянула наверх и увидела Льва Николаевича, он сидел на балконе. Этот узкий длинный балкон выходил из его кабинета в сад. Мы издали поздоровались с ним; он спросил, отдохнула ли я с дороги.

— А каково утро? — прибавил он 〈...〉.

В два часа он завтракает один и потом идет на длинную прогулку или уезжает верхом. После прогулки он отдыхает. Днем его вообще мало видно, но зато обед и вечер он всегда проводит с нами.

После завтрака мы пошли в лес. В елочках, в молодой посадке, которую сажали сами Лев Николаевич и сестра, я надеялась найти рыжики, но сестра говорила, что они уже отошли. В лесу была тишина; мы вспугнули вальдшнепа,— он показался мне таким крупным, и взмах его крыльев был удивительно красив.

Когда мы вернулись домой к дневному чаю, мы застали одного из меньших сыновей, Андрея Толстого, приехавшего из своего имения за 15 верст; к тому же времени возвратился из Тулы Михаил Сергеевич Сухотин.

В Ясную Поляну ежедневно кто-нибудь приезжает и уезжает, и всегда кто-нибудь гостит. Оживление в доме обыкновенно большое.

После чая, по моей просьбе, мы сели читать вслух записки — «Воспоминания», которые пишет моя сестра о своей жизни [2]. Это со временем будет одно из самых оригинальных произведений. Вся жизнь с детства правдиво описана ею. Мне в особенности было интересно слушать ее. И в иных местах «Воспоминаний» у меня щекотало в горле и хотелось плакать.

Вернулся домой и Лев Николаевич и рассказал нам, как он ездил верхом и как на шоссе напали на него две собаки. Он отмахнулся арапником, лошадь испугалась и понесла, он с трудом, сильно запыхавшись, удержал ее, и сестра говорила, как вредит это его сердцу. И зачем он только ездит один? Мы все ужасались, что могло бы быть.

Обедать мы сели, как обыкновенно, в шесть часов. Обед у Льва Николаевича всегда почти отдельный, вегетарианский, хотя у Толстых вообще очень редко подают мясо.

— Ну, Таня, расскажи мне что-нибудь хорошенькое! — с этими словами Лев Николаевич очень часто обращается ко мне, когда я приезжаю. Вообще же он всегда интересуется и внимательно слушает, когда кто-нибудь рассказывает.

Я рассказала, как дорогой в вагоне от Москвы до Тулы ехали со мной несколько молодых студентов и гимназистов. Речь шла о литературе. Они хвалили Горького и Андреева ⟨...⟩.

После обеда за кофеем обыкновенно все бывают в сборе у круглого стола в зале.

Сестра села работать, Лев Николаевич с Михаилом Сергеевичем Сухотиным играли в шахматы. И кто-то из нас начал читать, попеременно с другими, вслух «Мать» Горького. В иных местах, где говорилось об отношениях матери к сыну, Лев Николаевич говорил, что «фальшиво» ⟨...⟩.

К чаю снова мы все были в сборе.

Зашла речь о революции ⟨...⟩ У всякого было что-нибудь рассказать по этому поводу. Лев Николаевич слушал молча и внимательно.

— Без чего нельзя жить — это без религии,— заговорил он,— и ни у кого ее нет. Оттого и ужасы! Революция — это роды: духовное сознание пробуждается, новые взгляды родятся и зреют. Консерваторы думают, что можно жить по-старому, но старая Иверская не может продолжаться. Революционеры правы в том, что требуют перемены, и ошибаются в том, как менять старое и на что. Получаю письма с вопросами и сомнениями о православии и священниках. Пятьдесят лет назад этого не было. Вопросы религии, если они и есть у нас, то все-таки стоят ниже политических интересов, а уж если ниже, значит, их вовсе нет. Как я ни далеко стоял от революционеров, но помню, что когда-то в Вере Засулич[3-4] я видел что-то хорошее, но теперь ко всякому покушению на убийство, кроме отвращения, ничего не чувствую.

Еще много говорилось о теперешнем положении дел, и Лев Николаевич сказал, что он одного не посмеет сделать: это упрекать народ в том, что он во время революции стал безнравствен и зол.

— Мы сами виноваты в этом,— прибавил он ⟨...⟩.

Вскоре подали чай.

— Таня любит в винт играть. Сядемте,— сказал Лев Николаевич.

И мы сами тотчас же выдвинули ломберный стол, открыли его и вынули карты и сломанные мелки ⟨...⟩.

Лев Николаевич играет очень своеобразно, как он, впрочем, и все делает. Его игра носит особый отпечаток. Он играет весело, живо, с мастью от десятки настойчиво идет на высокую игру.

— Батюшки мои! Что я сделал,— говорит он, когда прикупка оказывается плохой и шлем с штрафом.

Мне доставляет большое удовольствие играть с ним. Как-то особенно оживленно и весело чувствуешь себя.

Во время винта я спросила его, пишет ли он «Круг чтения» для детей.

— Пишу, а для больших ты читала? [5]

— Нет, даже не знала, что вышли эти книги [6].

— Неужели? Надо тебе дать их,— и он пошел к себе и принес мне в подарок эти чудные три книги и сказал: — Ну, прочти вслух сейчас же, сегодняшний день.

Это было 30 сентября. Я прочла. Он взял у меня книгу и сказал:

— Как это хорошо! «Паскаль говорит: человек умирает один. Так же и должен жить человек. В том, что главное в жизни, человек всегда один, т. е. не с людьми, а с богом...» [7] Удивительно, как мало известна эта книга! Это лучшее, что я написал, — сказал Лев Николаевич.

— Нет, лучшее, что ты написал, это «Война и мир» и «Анна Каренина»,— сказала сестра моя.

Я была ему очень благодарна за этот чудесный подарок, и с тех пор ежедневно читаю эту книгу, и она помогает мне жить.

Наш карточный стол стоял рядом с чайным, вокруг которого сидели не играющие. Лев Николаевич налил себе стакан чаю, и мы весело продолжали играть в винт.

Когда Лев Николаевич выигрывает, он кладет выигрыш в ломберный стол, вместе с мелками, картами, и потом берет оттуда мелочь для нищих.

Когда я проснулась на другое утро, было уже поздно. Я отдернула портьеру окна, и солнечные лучи сразу как бы ворвались ко мне в комнату.

Мне захотелось скорее на воздух. Я оделась и пошла в сад, наскоро обежала все аллеи, вышла к большому пруду и оттуда домой.

Недалеко от крыльца, у старого дерева, сломанного бурей, уже стояло человека два-три. Вокруг дерева приделана скамейка для посетителей. Каждый день приходит по несколько человек, кто за милостыней, кто за советом. Мужики, бабы идут издалека, таким общим доверием и любовью пользуется Лев Николаевич. Когда он выходит, то говорит со всеми и всех выслушивает. Я иногда удивлялась его терпению.

Сестра ревностно оберегает часы его занятий и отдыха и в это время никого не пускает к нему ⟨...⟩.

За обедом зашла речь о Думе.

Я спросила Льва Николаевича, какого он мнения о третьей Думе.

— Ничего не выйдет из этого,— сказал он.— Дума дорогая игрушка. Цели у Думы никакой, и народу она не нужна. Она раздражает народ. Мужик один сказал мне: «У Думы земли просить, что у гуся овса».

Мы все засмеялись.

— Ты говоришь, Дума ни к чему,— сказала я,— а я думаю, обсудят законы, изменят некоторые — и будет лучше.

— Чтобы изменить законы,— отвечал Лев Николаевич,— не надо собирать тысячу разнокалиберных людей, а нужно одному кому-нибудь обсудить это дело. Пускай всякий у себя во дворе обдумает, как жить нравственно, тогда только и будет толк.

Обыкновенно в общих разговорах я всегда стараюсь вызвать суждение Льва Николаевича,— мне прямо доставляет наслаждение слушать его, и я часто противоречу ему для того, чтобы услышать его мнение. Издавна еще, смеясь, называлось это в Ясной Поляне:

«Тетенька подымает вопросы».

— «Удивительно, — сказал он, помолчав: — Дума — это подражание парламенту. Это уже старо и отжито. Надо разработать новые формы... Это все равно, как если бы ты из Парижа приехала в глухую провинцию, положим, в платье с узкими рукавами, а там только что надели широкие, и тебя поразила бы отсталость моды. В Париже все бросили эту моду, а в провинции только начинают ее. Так и с Думой.

Потом речь зашла о неосторожном распоряжении большою суммою казенных денег, и Лев Николаевич интересовался этим делом и говорил, что надо уметь выбирать людей и отличать умы:

— Ум, связанный с душевной чистотой, и ум — быстрое соображение. Вот англичане говорят про последний, что he has more brain, Than it is good for him. Это значит, что у него больше мозга, чем для него нужно. Это самые жалкие люди,— прибавил он.

Мы встали из-за стола. Лев Николаевич сел за шахматы. Я с Таней играли в китайский бильярд. Остальные сели за круглый стол. Принесли наверх маленькую Таню, и сестра моя возилась с ней и рисовала ей в тетрадь разнообразные детские истории в лицах ⟨...⟩.

Разговор перешел на воспитание детей; Лев Николаевич хвалил книгу Вецеля «Дом свободного ребенка». Он говорил, что чем свободнее воспитывают ребенка, тем лучше. Это приучает его к самостоятельности, и, к тому, еще надо дать ему полную свободу в выборе учения и воздействовать на него добром и любовью, а не строгостью и страхом.

Тут многие из нас восстали против свободного выбора учения и говорили, что большинство детей не захочет ничему учиться ⟨...⟩.

— Одно непонятно, что у нас детей учат всему, но только не нравственной жизни. Когда постигнет горе, начинают молиться, а настоящей нравственной жизни не знают,— говорил Лев Николаевич.— Молитва в простых, необразованных меня трогает... Я знал одну бабу красивую и распутную. Муж ее привязал ее за косу за хвост лошади и так приволок домой. Однажды, проходя ночью деревней, я увидел в окне избы огонь. Я взглянул и увидел эту самую бабу. Она стояла на коленях, крестилась и шептала что-то... Я стоял минут пятнадцать, и она все время не переставая молилась. И вера ее тронула меня ⟨...⟩.

4 октября было рождение Татьяны Львовны. Погода стояла по-прежнему чудная, и мы решили сделать большую прогулку.

Молодежь, под предводительством Михаила Сергеевича Сухотина пошла в Лимоновский лес, за три версты от дома. Татьяна Львовна осталась из-за нездоровья девочки, а я с сестрой через час после них выехали в тот же лес в тележке, наподобие корзинки ⟨...⟩.

Вдруг, к большому нашему удовольствию, мы увидели Льва Николаевича. Он ехал верхом на «Делире», англо-арабе гнедой масти.

Репин в своих записках очень картинно описал Льва Николаевича верхом и назвал его «Лесным царем». Это прозвище очень идет ему.

Я глядела на него, как он ехал в лесу, и думала: да, именно такую наружность и может и должен иметь лишь человек с таким исключительным внутренним содержанием, как он.

Он подъехал к нам, слез с лошади и пошел пешком. Саша повела лошадь в поводу.

— Удивительно красиво сегодня,— говорил он,— такой осени я не запомню. Я открыл новую, чудную дорогу, по которой мы вернемся домой, а прежде заедем к Саше в Телятинки.

Сестра слегка толкнула меня под локоть.

— Таня, не соглашайся ехать, — сказала она, — ты знаешь Левочкины дороги, мы непременно экипаж сломаем.

Признаюсь, что мне очень хотелось ехать по новой дороге, и я молчала. Но сестра энергично протестовала.

Через полчаса мы прошли лес и вышли на опушку его. По другой стороне дороги шли маленькие кустики. Лев Николаевич сел на лошадь и поехал верхом.

— Я сейчас из этих кустов выгоню на тебя зайца. Помнишь, как мы охотились с тобой? — сказал он мне.

— Еще бы не помнить! Помню тоже, что ты всегда хотел ехать в Телятинки, а я за Засеку. И как раз за Засекой мы затравили восемь зайцев, и Соня была с нами, и с лорнетом, сидя на лошади, подозрила одного, чуть ли не наехала на него,— говорила я 〈...〉.

После обеда Лев Николаевич, по обыкновению, сел играть в шахматы с Михаилом Сергеевичем, я раскладывала с Сашей «кабалу» (род пасьянса); сестра с Таней ушли вниз в детскую.

Вечером, когда снова все собрались в зал, Сергей Толстой, по моей просьбе, играл чудные вещи Грига, Шопена и еще многое другое. Своей игрой он доставил нам всем большое удовольствие. Он играет умело и с большим пониманием, и выбор его много лучше современных

музыкантов. Потом он заиграл «Ночь» Рубинштейна. Лев Николаевич говорил, что он это очень любит.

— Заигранная вещь,— сказал Сергей Толстой.

— Оттого и заиграна, что так музыкальна,— заметила я.

За вечерним круглым столом стало еще оживленнее, так как и Татьяна Львовна сидела по вечерам с нами с тех пор, как ее ребенку стало легче.

Как сейчас помню, зашла речь о том, какая должна быть женщина и на что она больше способна.

Всех задел этот вопрос, и все мы заговорили разом. Большинство стояло за самостоятельность женщины, выставляли ее способность к самоотверженпю, отсутствие эгоизма, говорили, что на женщину возложено все важное и трудное — родить и выхаживать детей и проч. — говорилось все, что говорится в этих случаях про женщин.

Лев Николаевич молча, с улыбкой слушал нас.

Вот сейчас скажет про женщин что-нибудь такое, с чем никто из нас не согласится,— думала я,— глядя на его улыбку, и уже заранее радовалась, что услышу его мнение.

Так и вышло.

— Удивительно,— сказал он,— как это женщина не понимает, какой надо быть? Идеал женщины — это Душечка Чехова [8–9].

Лев Николаевич как-то читал нам «Душечку» вслух, и тип ее был нам известен.

— Как талантливо описал Чехов «Душечку» с ее обилием любви к антрепренеру Кукину, ветеринару и гимназистику! — смеясь, продолжал Лев Николаевич.

— Стало быть, по-твоему, самое лучшее обезличить себя? — спросила я.— Душечка три раза меняла мужей, и с каждым новым мужем у нее образовывались новые вкусы и новые взгляды.

— Когда муж и жена одних воззрений, то какую силу они собою представляют! — сказал Лев Николаевич.

— А когда жена умнее мужа, практичнее и более приспособлена к жизни, чем муж? — спросила кн. Оболенская [10].— Тогда как быть?

— Женщина, хотя иногда и умнее и развитее мужа, но все-таки лучше, если она идет с мужем заодно, —

сказал Лев Николаевич.— «Душечка» — это прелесть, это одна из лучших вещей Чехова.

— Я думаю, что сам Чехов не хотел изобразить в Душечке идеал женщины, а просто описал такой тип, вероятно, встретив его в жизни своей,— заметила я.

Нам, женщинам, не понравилось мнение Льва Николаевича. Мы все восстали против него 〈...〉.

Разошлись в этот вечер довольно рано, но сестра моя, кн. Оболенская и я,— мы еще долго продолжали беседу у меня в комнате. Лев Николаевич, в халате, тоже заглянул к нам:

— Что это вы не ложитесь? — спросил он с удивлением.

— Все не наговоримся,— ответила я,— и спать не хочется.

Стоя в дверях, он поговорил с нами и ушел спать. Спать в Ясной Поляне — это значит терять время! Так всегда казалось мне. И когда я уходила вечером в свою комнату, у меня было такое чувство, как будто в одиночестве я должна была разобраться и справляться с этим наплывом и обилием разнообразных, пережитых впечатлений в течение дня 〈...〉.

Прошло несколько дней. Погода испортилась. Было пасмурно и накрапывал дождь. Мы сидели дома, по своим комнатам, и изредка кто-нибудь из нас выходил в сад подышать свежим воздухом. Лев Николаевич, несмотря на дождь, не изменил своей привычке и ездил верхом. Как-то раз за вечерним чаем зашла речь о войне. Трудно найти в Ясной Поляне кого-нибудь, кто стоял бы за войну. Сестра моя, так же как и Лев Николаевич, ужасается войны.

Кто-то сказал о возможности будущей войны.

— Не понимаю, как может быть война,— говорил Лев Николаевич.— Надо быть долгим путем развращенным, чтобы понять войну и участвовать в ней.

— А если придут и завоюют нас?

— Тогда надо признаться, что мы не христиане, больше ничего. Японцы наивно, откровенно воюют, а мы фарисейски. Нам Христос не позволяет, а вера японцев позволяет им воевать.

Лев Николаевич уходил в кабинет, когда я ему сказала что-то в защиту войны.

Он остановился и сказал:

— Я боюсь говорить о нехристианстве войны, чтобы это не выходило пошло. Даже думаю, что не нужно говорить о том, что война есть дурное дело, потому что,— извини меня,— это так же дурно и неприлично, как если бы мы стали говорить об изменениях публичного дома. Если мы говорим об этом, значит, мы еще не уверены, что война дурное дело.

— Мне-то в особенности надо ненавидеть и бояться войны,— сказала я,— после того, что пережил мой сын.

Лев Николаевич стал расспрашивать меня, и я рассказала, как он был в отряде Рожественского на крейсере «Нахимов» и участвовал в Цусимском бою [11]. Я припоминала все ужасы сражения, про которые слышала, припоминала и гибель «Нахимова»,— и рассказала про спасение сына и других офицеров.

— Ах, боже мой, как же это я раньше ничего не слышал от тебя? — участливо говорил Лев Николаевич ⟨...⟩.

— Нельзя себе представить того нравственного зла, которое производит война! — сказал Лев Николаевич.— Я получил письмо от одного Иконникова[12] (он отказался от воинской повинности и сидит уже три года в тюрьме), чудесное письмо!

И Лев Николаевич пошел в кабинет и принес это письмо, которое дал читать Бирюкову, а сам сел возле него. Я помню лишь некоторые места этого письма. Этот человек писал сначала о своей жизни, как в тюрьме его заели насекомые, потом об обращении с ним начальства (сравнительно хорошем), затем передавал свой разговор с солдатами.

— Землячок,— говорили они ему,— ты напрасно это затеял и мучаешься,— отслужил бы срок, да и домой.

А он говорил им, что не мучается, что ему радостно и что он готов терпеть еще и еще наказание, лишь бы жить по-божьему. В конце письма он писал: «Я знаю одно только, что никогда не буду питать злобы на тех людей, которые думают, что мучают меня, и что не тюрьма меня победила, а я победил тюрьму».

Я взглянула на Льва Николаевича — и увидела, что глаза его были полны слез, и сам он был взволнован. Он молча ушел в кабинет. Через несколько минут он снова вернулся. Выражение лица его было серьезно и спокойно, руки его, по обыкновению, были засунуты за ремянный пояс, он остановился и сказал:

— Когда я сомневаюсь, как надо жить, то при виде таких людей у меня сомнений уже не остается! Они поддерживают меня. Они настоящие люди, которые нас двигают вперед!

— Ну, генеральша,— пойдем в винт играть! — вдруг, смеясь, обратился он ко мне.

У него всегда бывали эти резкие переходы от грустного к шутке, чтобы скрыть свое волнение,— и как сердечны и симпатичны бывали эти переходы! ⟨...⟩

Погода опять поправилась, и мы поехали кататься в Засеку. Мы ехали в двух экипажах. Дорога в лесу была плохая и затрудняла нашу езду, но зато мы проезжали удивительно красивые места. Лев Николаевич встретил нас на полдороге, сошел с лошади, и мы немного прошлись, так как очень озябли.

— Вот эти два мальчика, которые стерегут на лугу лошадей,— говорил Лев Николаевич, указывая вдаль,— просили у меня сейчас книжек почитать. Дай им, пожалуйста, Саша,— обратился он к дочери.

У Льва Николаевича всегда в запасе очень много маленьких книжек издания «Посредник» ⟨...⟩.

Вечером, по обыкновению, мы сидели все в зале. Лев Николаевич играл в шахматы с Михаилом Сергеевичем. Мы разговаривали о будущем,— что кого ожидает.

— Надо жить только настоящей минутой,— сказал Лев Николаевич.— Это в моей власти, будущее же в руках не моих, а божьих. Вот сейчас слово, которое я скажу, зависит от меня: сесть, встать, рассердиться — все в моей власти; мысль принадлежит мне.

— А вот я на днях прочла как раз обратное,— что человек живет только прошедшим и будущим, а редко интересует его настоящее, — сказала кн. Оболенская.

— Да, оттого у нас и идет все так плохо,— ответил Лев Николаевич.

Потом заговорили о том, когда ребенок начинает жить сознательно и что идет вперед: физическое или нравственное развитие. Не помню, что говорилось нами по этому поводу, но Лев Николаевич сказал:

— Человек родится с одинаковым развитием тела и души. Затем моральное растет и опережает физическое. И чем больше человек развит духовно, тем менее чувствует он свое тело.

— И в этом, конечно, большое счастье,— сказал кто-то из окружающих.

Желая навести разговор на свою любимую тему,— о бессмертии души, — и уже столько раз затрагивая этот вопрос со Львом Николаевичем, я снова стала подходить к нему.

— А, ты опять за старое! — сказал он, смеясь.

— Не могу успокоиться,— мысли о том, что будет с нами после смерти и что такое смерть, постоянно занимают меня, и теперь более, чем когда-либо.

— Мы, как тень Наполеона,— сказал Лев Николаевич,— видела ты рисунок: «Между двумя деревьями Наполеон»? Его нет, а это тень, очертание его стволами двух деревьев. Так и тело наше есть иллюзия. И смерть отделяет нас от этой оболочки. Оболочка уничтожается, и остается одна душа, она бессмертна. Вот как представляется мне наша жизнь.

— И ты веришь в это? — спросила я.

— Еще бы, всей душой,— спокойно и убежденно ответил он.— Без веры и мира душевного нельзя существовать.

Никто не поддерживает во мне так сильно религиозное чувство, как Лев Николаевич. Если оно ослабевает временно, то в общении с ним оно снова растет. Искренность его убеждений передается и заражает.

Заложив руки за пояс, он ходил по зале, мы со старшей дочерью его сидели у самовара.

— Так куда же девается душа наша? — спросила я.

— Этого я не знаю. Таких слов нет, чтобы передать это. Мир бесконечен, — сказал он. — Уже давно предназначена всякому своя жизнь. Все уже известно. И что будет с маленькой твоей Таней, когда она будет старухой,— обратился он к дочери,— все предопределено. Нам дано счастье смотреть в крошечное окошечко на этот мир и принимать в нем участие, может быть, одно мгновение. Мы определяем жизнь нашу временем и пространством, но там ни времени, ни пространства нет, и это мы только так определяем, потому иначе не умеем и не можем. Будет ли это окошечко заменено другим или сольемся мы со «всем целым» — этого нам не дано знать.

— Но зачем же мы посланы сюда? Какая цель? — спросила я.

— Исполнять волю божью,— у каждого из нас это важное дело.

И Лев Николаевич повторил слова, написанные им в книжке «Круг чтения»: «Если я точно сердцем говорю:

«Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе», то есть как во временной жизни, так и в вечной, то мне не нужно никаких ни утверждений, ни доказательств бессмертия. Живи той частью твоей души, которая сознает себя бессмертной, которая не боится смерти. Эта часть души есть любовь».

Когда его слушаешь, то хочешь вот сейчас так начать жить, так чувствовать и понимать, как он, а вместе с тем,— как нелегко дается эта премудрость в нашем «аду», как назвал землю покойный Николай Николаевич Страхов, и как тревожно и нелегко живется на земле!

Это была наша последняя беседа. Приближался срок моего отъезда ‹...›.

Н. Н. ГУСЕВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ЧЕЛОВЕК

Я впервые посетил Толстого в Ясной Поляне в 1903 году, а с сентября 1907 года по август 1909 года мне пришлось быть не только свидетелем, но в некоторой степени и помощником в его работе — я был его литературным секретарем.

Льву Николаевичу в это время было уже семьдесят девять лет. Физический труд, который он так любил,— пахота, косьба, как это изображено на превосходных картинах Репина и Пастернака, длинные пешеходные путешествия из Москвы в Ясную Поляну (двести километров) остались уже далеко позади. В эту пору жизни два главных дела сосредоточивали на себе внимание Толстого: писательство и личные и письменные отношения с людьми.

Моя первая беседа с Толстым продолжалась около часа. Лев Николаевич подробно ответил на все мои вопросы, причем манера его беседовать была такова, что, отвечая на заданный ему вопрос, он затрагивал и смежные области, чтобы сделать свою аргументацию еще более убедительной ⟨...⟩ [1].

Самой замечательной чертой лица Толстого были его удивительные глаза. Выражение его глаз было чрезвычайно разнообразно. То они глядели спокойно, сосредоточенно, когда он в разговоре излагал какую-нибудь мысль, его поразившую; то принимали скорбное, страдальческое выражение, когда он рассказывал о вопиющей нищете местных крестьян; то загорались негодованием и возмущением, когда он слышал об ужасающих правительственных жестокостях; то озарялись ласковой улыбкой, когда он видел ребенка или своего старого друга,

пришедшего его навестить; то выражали восторг и умиление, когда он узнавал о каком-либо поступке деятельной любви и самоотречения. Когда Толстой видел кого-либо в первый раз, он как бы просверливал этого человека своим проницательным взглядом, как бы стараясь прощупать все, что скрыто в его душе хорошего и плохого. Известный русский артист К. С. Станиславский после первой встречи с Толстым рассказывал, что он «чувствовал себя простреленным от взглядов Толстого» ⟨...⟩.

Одежда Толстого была всегда одинакова — блуза, подпоясанная ремнем; зимой — темная, летом — белая, парусиновая. Эти блузы шили Толстому его жена и деревенская портниха. В одежде Толстой любил опрятность и чистоту, но не щегольство и элегантность.

В 1907—1909 годах, когда я имел счастье жить в Ясной Поляне и помогать великому Толстому в его работах, Лев Николаевич вставал обычно около восьми часов и, умывшись, шел на прогулку. Эта утренняя его прогулка длилась обыкновенно недолго, от получаса до часа. Гулял он почти всегда один, и эти утренние часы уединенного общения с природой служили для него вместе с тем временем, когда он усиленно сосредоточивался в самом себе для того, чтобы в течение всего последующего дня держаться на уровне духовной высоты как в сношениях со всеми людьми, родными и чужими, с которыми приходилось ему сталкиваться, так и во время его собственной напряженной творческой деятельности. Это напряжение духовных сил и сосредоточение в самом себе он называл «молитвой».

Вернувшись с прогулки, а иногда даже едва выйдя из дома, Лев Николаевич обыкновенно видел вблизи дома несколько бедняков, прохожих, «административно высланных», шествовавших к месту своего назначения или возвращавшихся на родину, отбывших срок, или профессиональных попрошаек, местных или тульских,— и оделял их мелкой монетой. Иногда эти прохожие, «административно ссыльные», рассказывали ему скорбную повесть своей жизни, которая тяжелым камнем ложилась на его сердце.

Проходя через столовую, Лев Николаевич забирал с собой разобранную мною его почту: письма, книги, рукописи, а из газет обыкновенно только ту одну, которую он читал в это время. Сначала при мне такой газетой было «Новое время», затем Лев Николаевич сменил его на «Русь» [2], в которой находил два достоинства: газета эта печатала на верху первой страницы сведения о количестве смертных казней и приговоров за день, а также перечень выдающихся событий за минувший день. Затем летом 1908 года Лев Николаевич стал читать «Слово» и др.

Придя к себе в кабинет, Лев Николаевич садился за кофе и тут же начинал читать письма. У него была манера читать их с конца, а не с начала; он говорил, что обычно в конце пишется самое важное. На конверте каждого письма Толстой делал пометы. Иные он откладывал, имея в виду ответить на них позднее; на других писал: «Н. Н. ответить», что означало, что он поручил ответить мне; на некоторых надписывал: «Б. О.» (без ответа). Это были такие письма, которые не казались Толстому достаточно серьезными. Иногда Толстой писал на конвертах не только «Б. о.», но прибавлял еще две другие буквы: «Глг.», что в общей сложности означало: «Без ответа, глупое».

Прочитав письма, Лев Николаевич нажимал на хвост металлической черепахи, стоявшей на его письменном столе, и раздавался звонок. Я уже знал: это означает, что Лев Николаевич намерен продиктовать мне ответы на письма. Я немедленно приходил с карандашом и бумагой. Лев Николаевич в этих случаях не любил ждать,— не из деспотизма, а потому, что чувствовал потребность быстрее запечатлеть на бумаге те мысли, которые уже сложились в его голове в ответ на прочитанные им письма.

Я садился против Льва Николаевича, ни одним звуком не нарушая течение его мыслей, записывал то, что он говорил. Я знаю стенографию, и Льву Николаевичу не приходилось меня дожидаться,— напротив, иногда я его ждал, так как он диктовал медленно, глубоко обдумывая каждое слово, и не механически, а с соответствующей интонацией, как будто его корреспондент находится здесь, около него, и он лично в беседе с ним дает ответ на его вопросы 〈...〉.

Иногда после прогулки, а иногда перед прогулкой, но непременно каждое утро Лев Николаевич прочитывал

очередной день из им самим составленных его любимых книг: «Круг чтения» и «На каждый день», содержащих мысли мудрецов всех времен и народов о главнейших вопросах жизни [3]. И, покончив со всеми этими делами, Лев Николаевич принимался за работу.

Во время работы он нуждался в абсолютной тишине: затворял двое дверей, которые вели из его кабинета в столовую, и чрезвычайно редко выходил из своего кабинета по какому-нибудь делу. За два года жизни моей в Ясной Поляне я почти не помню таких случаев. Никто не входил к нему во время его занятий, за исключением Софьи Андреевны, которая поздно ложилась и поздно вставала и около двенадцати часов, выходя в столовую к кофе, обыкновенно, шурша платьями, заходила к мужу поздороваться.

Метод работы Толстого над своими произведениями известен: он состоял в бесчисленных исправлениях и переработках написанного. Он считал совершенно справедливым изречение Бюффона: «Гений — это терпение». Он понимал это изречение в том смысле, что писатель не должен выпускать из рук свое произведение, пока не вложит в него все, что может.

Мне пришлось быть очевидцем случая исключительной, даже у Толстого, его требовательности к себе в этом отношении. В 1907 году он начал писать предисловие к составленному им сборнику изречений мудрецов «На каждый день»; в этом предисловии он хотел систематически изложить все свое религиозно-нравственное миросозерцание. Над этой работой, которая в печатном виде заняла четыре страницы, Толстой с перерывами работал три года и переделал ее сто пять раз!

Толстой не допускал для себя никаких дней отдыха. Самые большие церковные праздники — рождество, пасху — он проводил так же, как все остальные дни года,— в труде. Не занимался он только тогда, когда чувствовал себя нездоровым; но и в эти дни он утром не выходил из своего кабинета, а читал или обдумывал то, над чем ему предстояло работать.

Эта напряженная утренняя работа продолжалась у Толстого часа четыре, пять — смотря по состоянию здоровья.

Окончив работу, Толстой выходил к завтраку. Стол его был строго вегетарианский; он не ел ни мяса, ни рыбы. Ел Толстой вообще очень немного. Завтрак его состоял

обыкновенно из одного яйца всмятку, которое он распускал в небольшом стаканчике, куда крошил несколько кусочков белого хлеба; потом съедал небольшую порцию гречневой каши.

Не раз приходилось мне наблюдать Льва Николаевича во время его завтрака. Я замечал на его лице следы еще не закончившейся творческой деятельности. Он ел, быстро пережевывая пищу, казалось, совершенно равнодушный к тому, что ему приходилось отправлять в рот, а глаза были устремлены куда-то вдаль, как будто он всматривался во что-то, что он один только видел и чего никто другой не видал.

Во время завтрака Толстого уже дожидались посетители, приезжавшие с разных концов страны, чтобы побеседовать с ним по волновавшим их вопросам или получить от него моральную поддержку. Бывали среди них и такие, которые откровенно объявляли, что цель их приезда — только посмотреть на Толстого. В таких случаях он добродушно говаривал:

— Смотрите: у меня обыкновенное лицо, два глаза и посередине нос...

Часто приходили к Толстому и местные крестьяне посоветоваться о своих нуждах. Железная дорога или шахта не платит рабочему за увечье, земский начальник вынес несправедливый приговор, соседний помещик не отдает крестьянам в аренду землю, которая им до зарезу нужна,— со всем этим люди шли к Толстому, зная, что он всегда их внимательно выслушает и даст разумный совет. При этом происходили иногда комические сцены ⟨...⟩.

После своего завтрака, выйдя наружу (дело было летом), Толстой увидел невдалеке группу крестьян. Не успел он еще своей быстрой походкой подойти к ним, как все трое — бух ему в ноги. А Лев Николаевич терпеть не мог раболепства. Подходит к ним и говорит:

— Ну, встаньте, расскажите, какое у вас дело.

Мужики продолжают стоять на коленях. Лев Николаевич начинает уже волноваться, ему неприятен вид такого унижения. Он говорит:

— Ну, встаньте, для чего вы так унижаетесь? Я такой же человек.

Мужики все так же стоят на коленях. Тогда Лев Николаевич, не долго думая, сам становится перед ними на колени. И так, в глубоком молчании, они стоят друг против друга минуты две. Наконец, Лев Николаевич

обращается к самому старому из мужиков и спрашивает:

— Можно мне встать?

Мужик конфузливо отвечает:

— Мы вас не становили, ваше сиятельство.

— Ну, и я вас не становил,— говорит Лев Николаевич.— Давайте вместе встанем и будем разговаривать как люди.

Позавтракав и поговорив с посетителями, Лев Николаевич отправлялся пешком или верхом на прогулку 〈...〉.

Ездил он обыкновенно по ближним лесам, носящим историческое название «Засека» (в давние времена жители, предполагая нападение неприятелей, «засекали» лес и сваливали его в огромные завалы, чтобы остановить нашествие врага). В то время леса, окружающие Ясную Поляну, принадлежали лесному ведомству, которое запрещало не только рубить лес, но даже собирать ветки, и леса носили почти девственный характер. В густой чаще столетние деревья сплетались своими вершинами; на полянах вырастала трава выше человеческого роста; под ногами непрерывно попадались стволы огромных упавших деревьев. В эту-то чащу и пробирался Толстой для своих прогулок.

«Засека» играла большую роль в творчестве Толстого, который большую часть своей жизни провел в Ясной Поляне. (Еще будучи мальчиком, он один-единственный раз в своей жизни провел лето в Москве; во всю остальную свою жизнь он ни разу не проводил лето в городе). В первый период своей жизни Лев Николаевич часто по целым дням блуждал по «Засеке» с ружьем и собакой, и во время этого блуждания рои самых разнообразных замыслов и художественных образов кружились в его голове. В последний период жизни, уже без собаки и ружья, а на своем любимом Делире или просто пешком исхаживал он «Засеку» по всем направлениям, так же, как и раньше, в общении с природой, обдумывая свои художественные произведения, статьи, письма, отдельные мысли и пр. Иногда, сидя на лошади, он вынимал из кармана записную книжку и, останавливая лошадь, а иногда и на ходу, записывал те мысли и образы, которые внезапно появлялись перед его творческим взором. По возвраще-

нии домой он пользовался этими записями для своих работ.

В Толстом было очень сильно чувство жизни и чувство природы. Он любил всякую перемену в природе — наступление осени, зимы и особенно весны, и делился своими впечатлениями и наблюдениями с окружающими. Его радовало разбухание почек на деревьях, наливание ржи; он любил собирать цветы, рвал их даже верхом, нагибаясь с лошади. Принесет букет, полюбуется его красотой и запахом, поставит к себе на письменный стол или в столовую, иногда кому-нибудь подарит.

Во время своих пеших прогулок Толстой часто отправлялся на Тульское шоссе, пролегающее невдалеке от Ясной Поляны. Здесь он встречался с местными крестьянами, ехавшими в Тулу или обратно, с которыми он любил разговаривать. Толстой знал всех крестьян Ясной Поляны за несколько поколений. Часто, встречая во время своей прогулки какого-нибудь яснополянского ребенка — мальчика или девочку,— он по чертам лица узнавал, из какой он семьи.

Лев Николаевич всячески старался, где можно, помогать крестьянской нужде. Один яснополянский крестьянин рассказывал:

— Зима стояла холодная. Дров совсем не было. Что делать? Вот раз дождался я ночи. Ночь выпала морозная, лунная. Запряг я свою клячонку, перекрестился перед образом святой богородицы, взял топор, задними воротами пробрался в околицу и — в графский лес. Выбрал местечко погуще, остановился и стал прислушиваться. Ничего, везде тихо. Постоял еще так минут с пяток, потом залез на березу и стал сухие ветки срубать. Нарубил хворосту, сложил его в сани и только взялся за вожжи, слышу сзади меня шорох. Оглянулся, да и остолбенел: передо мной сам барин, граф Лев Николаевич, в валенках, в полушубке старом. Смотрит на меня как-то странно. Стою я, как истукан, и не знаю, что и сказать ему. А он постоял, подошел ко мне, говорит: «Дай сюда топор»,— да и давай еще дрова рубить. Живо нарубил, сложил на воз, перевязал веревкой, ударил кнутом по кляче и говорит: «Удирай скорее, пока мой управляющий тебя не увидал».

В другой раз, возвратясь с прогулки по Тульскому шоссе, Лев Николаевич рассказал нам:

— Проезжал мимо мужиков, которые разбивают кам-

ни. Какая трудная работа! Встают в четыре, работают до одиннадцати; с одиннадцати до двух — отдых, а затем опять с молотком — от двух и до темноты. Очень трудная работа. Они рассказывали, что спать не могут: руки, ноги болят... Вот папиросы набивать,— продолжал с возмущением Толстой,— есть машина, а чтобы камни разбивать,— такой машины нет. А ведь чего проще? Мне кажется, я бы сам мог придумать такую машину: молоток, который ходил бы сверху вниз и разбивал...

Ни непогода, ни легкое нездоровье не удерживали Толстого от утренней прогулки, она отменялась только в случаях серьезного недомоганья. Если же Лев Николаевич не выходил из дома по причине нездоровья, он старался наверстать это прогулкой по комнатам. Возвратившись с прогулки, Лев Николаевич, обыкновенно очень усталый, ложился спать на час или полтора.

Обед подавался часов в шесть или в начале седьмого. Лев Николаевич обычно опаздывал к обеду и являлся тогда, когда первое блюдо было уже съедено. Я не замечал, чтобы у него были какие-нибудь излюбленные блюда; никогда я не слышал также от него разговоров о еде. Казалось, он был совершенно равнодушен к тому, что стояло на столе, что ему приходилось отправлять в рот. Никогда не видел я также с его стороны какого-нибудь нарушения вегетарианского режима. Обед его состоял из супа, мучных или молочных блюд и третьего — сладкого, летом — ягод. Вино к обеду не подавалось; только изредка, когда Толстой чувствовал себя нездоровым, он выпивал небольшую рюмку крепкого вина — мадеры или портвейна. За обедом всегда были интересные разговоры; часто Толстой рассказывал о своих впечатлениях во время прогулки или высказывал свои суждения по тем или другим вопросам.

Умственные интересы Толстого были очень разнообразны; он всегда был очень любознателен. При мне он с большим интересом прослушал лекцию об Индии с диапозитивами, которую прочла для него в Ясной Поляне путешественница А. А. Корсини. Стоило ему на прогулке увидеть большой, не совсем обычной формы муравейник, как, возвратясь с прогулки, он брал энциклопедический словарь и читал в нем статью о муравьях.

Библиотека Ясной Поляны насчитывает около двадцати трех тысяч томов по всем отраслям знания и литературы. Собирать эту библиотеку начали еще дед и отец Толстого. Многие книги снабжены пометками Толстого. Мы найдем здесь много материалов, служивших для Толстого источниками для его знаменитой эпопеи «Война и мир», для неоконченного романа из эпохи Петра I и для повести «Хаджи-Мурат». Следует, однако, сказать, что Толстой не был библиофилом и не берег своих книг, а охотно давал их читать всем желающим. Вследствие этого многие книги, о которых мы определенно знаем, что Толстой их читал с карандашом в руках, в настоящее время уже отсутствуют в библиотеке Ясной Поляны.

Толстой любил читать вслух как свои новые произведения, так и старые и новые произведения других авторов. Про свои произведения он говорил:

— Я люблю читать вслух те свои сочинения, о которых хочу составить себе представление, какое впечатление они производят на других. Переношусь в слушателей, замечаю, ясно ли им, следят ли они, не скучно ли им.

Толстой всегда приглашал всех критиковать его новые произведения, охотно выслушивал замечания и, если признавал их справедливыми, сейчас же исправлял написанное ⟨...⟩.

Вечерами Лев Николаевич уже не работал так напряженно, как днем. Он или, сидя у себя в кабинете, читал, или писал письма, или же участвовал в общих разговорах в столовой, если бывал кто-либо из приезжих родственников или гостей. Совершенно понятно, почему так много людей желало бывать у Толстого: видеть и слышать его — это давало больше, чем только читать его сочинения. Толстой был идеальным собеседником: он умел хорошо слушать. При разговоре он не проявлял неудовольствия в лице, не морщился и не жестикулировал, говорил тихо и большей частью спокойно, не повышая голоса. Когда Толстому приходилось разговаривать с людьми, которые были ему тяжелы, он старался, преодолевая себя, быть с ними особенно приветливым. Я употреблял все усилия для того, чтобы запомнить его слова и потом записать их. Это было нелегко. Язык Льва Николаевича был очень своеобразный; это не был шаблонный, литературный,

газетный или журнальный язык, но это не был и обычный разговорный язык. Лев Николаевич всегда выражал свои мысли кратко, сильно, точно и художественно. Превосходный знаток и большой поклонник русского языка, он прямо страдал, слыша, как в разговорах некоторые его собеседники портили великий русский язык 〈...〉.

Беседа шла всегда совершенно непринужденно; Лев Николаевич не выносил в разговорах ничего искусственного, нарочитого и сам никогда не выступал в роли учителя, сурового моралиста. Мнения свои он высказывал всегда определенно и просто, не стеснялся высказывать свое несогласие с собеседником иногда даже в резких выражениях, если суждения говорившего казались ему чересчур дики. В Ясной Поляне сходились люди самых противоположных взглядов на жизнь — от рабочего-революционера до представителей консервативных кругов. Толстой был со всеми одинаков в обращении, ни для кого не менял своей манеры обхождения и разговора, всякому старался сделать и сказать приятное, но со всем жаром несомненно убежденного человека горячо отстаивал в разговоре с кем бы то ни было то, что он считал истиной, не боясь испортить свои отношения с человеком и не боясь говорить то, что шло совершенно вразрез с общепринятыми мнениями.

Но нельзя сказать, чтобы Лев Николаевич всегда предпочитал или всегда старался вызвать непременно «умные» разговоры. На большинстве его портретов и фотографий на вас глядит суровое, иногда скорбное лицо; но в общении с людьми Лев Николаевич не всегда был таков. Он любил шутки, любил смех, охотно слушал веселые безобидные рассказы и сам смеялся тихим, но заразительным смехом.

Последние годы своей жизни Лев Николаевич почти безвыездно провел в Ясной Поляне, но он не вел жизнь уединенную, замкнутую, оторванную от всего мира. Он живо интересовался всеми важнейшими событиями русской и заграничной жизни и откликался на них в своих статьях и письмах, в вечерних беседах. В иные вечера в Ясной Поляне бывала музыка — приезжали из Москвы выдающиеся пианисты и скрипачи. Музыка на Толстого оказывала сильнейшее действие и часто вызывала слезы.

Любил Лев Николаевич по вечерам играть и в шахматы. Это занятие давало отдохновение его вечно напряженно работавшей голове.

В десятом часу подавался чай, к которому Лев Николаевич всегда выходил, если в первую часть вечера и не был в столовой. Расходились обыкновенно около одиннадцати часов, редко позже. Лев Николаевич со всеми прощался, каждому из посторонних подавал руку. Рукопожатие его было особенное,— он как-то задерживал в своей руке руку другого, смотря в то же время ему в глаза с особенным дружелюбным чувством. Ясно было, что он действительно хотел и старался вызвать и усилить в себе искреннее доброжелательное отношение к каждому человеку, с которым сводила его жизнь.

М. С. СУХОТИН

ИЗ ЗАПИСЕЙ В ДНЕВНИКЕ 1907

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

10 января. С. А. мне читала свои записки [1], которые она довела до 1878 г. Меня интересовали 1876—1877 гг., как те года, в которые совершился этот удивительный перелом в душе Л. Н., и он из неверующего сделался ревностным православным. К сожалению, переход этот совершился вне наблюдения С. А., и она отмечает это как факт, не будучи в силах дать ему какое-либо психологическое объяснение. Поразительно, что в 1876 г. Л. Н. в письме к гр. А⟨лександре⟩ А⟨ндреевне⟩ Толстой пишет: «Ведь я и брат Сергей ни во что не верим» [2], а вслед за тем к концу года он уже бегает на шоссе (где он вообще привык собирать многое для себя интересное), заговаривает со странниками и нищими и умиляется пред их верой православной. В 1877 г. он уже ходит ко всем службам и соблюдает даже середу и пятницу.

Жаль, что нет нигде следов этого странного, ничем не объяснимого переворота в душе Л. Н., так как даже дневника своего он в то время не вел.

Я ему рассказал, как неполно С. А. описала эту эпоху его жизни. Он подумал и сказал: «Да, пожалуй, и трудно было бы полнее и последовательнее описать: мне и самому это представляется чем-то необъяснимым, каким-то скачком, чем-то, что нельзя ничем наполнить».

16 января. А ведь поправляется Л. Н. и удивляет врачей тем, как у него по-юношески легко и быстро рассасывается бронхит. Был доктор Никитин и признал, что теперь нечего больше опасаться ⟨...⟩.

24 января. ⟨...⟩ Л. Н. опровергнул все мои прогностики: стал снова ездить верхом, и следов болезни как не бывало. Странный человек. Вчера в «Новом времени» (от 21 января) был фельетон Меньшикова «Две России», который он прочел. Он пришел в такой восторг и умиление, что весь вечер не мог без слез говорить об этом и тут же написал Меньшикову письмо с благодарностями и объятиями. И все почему? Да потому, что Меньшиков тепло и прочувствованно заговорил о святой Руси по поводу картины Нестерова ⟨...⟩ [3].

25 января. Вчера писал о необыкновенной бодрости Л. Н., а сегодня снова он жалуется и киснет. Говорит, что чувствует стеснение в груди, что смерть близка и т. п. Надел на себя песочного цвета халат (верный признак его недомогания), на голову тюбетейку и даже на утреннюю прогулку не вышел. Вчера вечером Л. Н. снова заговорил о святой Руси. При этом он говорил о том обожении ⟨?⟩, которое охватывает душу человека и которое важно само по себе, независимо от того предмета, к которому оно стремится ⟨...⟩.

1 февраля. Много народа ходит ко Л. Н.; много особенно левых и сознательных, но все каких-то не вполне ясных и определенных. Но вот на днях наконец-то явился один вполне определенный анархист-экспроприатор [4]. Так и рекомендовался. Его определенность привела к тому, что он был почтен не пятиминутной беседой на крыльце, а отдельной получасовой аудиенцией в бывшей библиотеке. Маленький, тщедушный, молодой, с белокурой бородкой, которую он нервно пощипывал, неопределенного образования и общественного положения, он явился ко Л. Н. с желанием получить от него некоторую сумму денег на «анархические дела». Л. Н., конечно, отказал. Анархист, конечно, настаивал, что Л. Н. *должен* дать. Он защищал законность экспроприации, доказывал, что все это деньги народа, а что потому ничего дурного нет отнимать у богачей деньги народа и передавать на дело народа. Л. Н. вынес впечатление, что это один из многих загипнотизированных настоящей революцией людей, которые даже понять не могут, чтó им говорят. Когда Л. Н. заговорил о боге, анархист ответил то, что уже многие сознательные отвечали Л. Н.: «У всякого свой бог». Очевидно, это стоит в каком-нибудь катехизисе «сознательных». Когда Л. Н. допытывался, что же будет, когда анархисты все разрушат существующее, анархист ответил:

«Да как-нибудь устроится».— «Почему же вы думаете, что все тогда будет хорошо?» — «Да уж наверно хорошо». Слушая об этом из уст Л. Н., я подумал, что уверенность Л. Н., что яснополянские мужики тоже что-то хорошо устроят, когда уничтожатся все власти, ведь одинаково основывается только на том, что Л⟨ьв⟩у Н⟨иколаевич⟩у этого хочется и так представляется ⟨...⟩.

3 февраля. Сейчас заходил к нам во флигель Л. Н., вернувшийся с прогулки верхом. Говорит мне: «⟨...⟩ Сегодня ночью все думал, как выбраться нам из этого ужасного положения, в котором вся страна находится. И понял, наконец, что мы переживаем Смутное время, такое же Смутное время, как тогда, когда выбрали Михаила Федоровича[5]. Наше теперешнее Смутное время началось японской войной, и что тут ни делай, какие Думы ни выбирай, каких министров ни назначай, смута все будет продолжаться, и никакое правительство страны не успокоит» ⟨...⟩.

16 февраля. Л. Н. вчера запер двери в кабинет и стал говорить со мною по секрету. Оказывается, по поводу отношений детей ко мне и к нему. Спросил, не завидуют ли мне мои дети? Затем стал говорить, что, кроме сына Миши, все его сыновья имеют к нему дурное чувство зависти. Я ему доказывал, что если такое чувство у кого и есть, так только у Левы, который имеет основание испытывать jalousie de métier*[6], прочие же, напротив того, должны иметь поползновение хвастать своим знаменитым отцом и украшать свое ничтожество его именем. Но Л. Н. стоял на своем.

Были какие-то молодые «темные»[7] Дмитриев и Картушин. Л. Н. говорил им, до чего трудно предвидеть то, во что выльется современное движение, и очень удачно воспроизвел то, что должен был рисовать себе француз в начале революции. Он мог допустить возможность самых необыкновенных комбинаций, но уж никак не появление на императорском троне какого-то офицера корсиканца, который станет властителем и республиканцев, и роялистов[8]. А нас, может быть, ожидает и еще что-нибудь почуднее.

Были еще толстовцы — Леонтьев, Гастев. Давно не бывало такого наплыва толстовцев.

---

* профессиональную зависть *(франц.)*.

Л. Н. снова на сердце жалуется. Часто смотрит на портрет Маши и твердит: «Скоро к тебе приду» ⟨...⟩ [9].

20 февраля. ⟨...⟩ Муромцев всегда считался либералом и в своем профессорско-адвокатском кружке умным человеком. Но не того о нем мнения был и есть Л. Н. Он всегда говаривал, когда по какому-либо случаю при нем упоминали о Муромцеве: «Да ведь это совершенный дурак». То же самое он говаривал и о другом ученом, игравшем тоже значительную роль в Государственной думе, о М. М. Ковалевском ⟨...⟩ [10].

3 марта. ⟨...⟩. Л. Н. до сих пор повторяет, что ему чрезвычайно жалко, что я ему не буду рассказывать о Думе. Из моих рассказов он все ясно видит, что там делается, а из описания газет ничего не видит ⟨...⟩.

7 марта. Вчера были здесь Андрюша и Миша [11]. Андрюша рассказывал, как он на днях проезжал с Толмачевым на паре с отлетом мимо патронного завода в то время, как выходили оттуда рабочие, и какими ругательствами и проклятиями их провожали. Л. Н. заметил, что время такое, «проснулся» рабочий человек ⟨...⟩.

9 марта. Были здесь А. М. Бодянский, П. Л. Успенский, П. А. Мазаев. Приезжали говорить по поводу газеты, издаваемой Бодянским, христианской газеты ⟨...⟩ [12]. Л. Н. очень бодр. Сделал 20 верст верхом и был весь вечер свеж и не утомлен.

10 марта. Тут возбудился некоторый конфликт между крестьянами и господами. У Толстых живет домашний врач Д. П. Маковицкий, словак, чистый толстовец, весь преданный Л. Н. и чувствующий к нему даже чересчур преувеличенное обожание. Этот доктор как истый толстовец, конечно, очень рьяно и самоотверженно лечит русских баб и мужиков. Целый день он в разъездах, никому не отказывает в помощи и в отвратительную погоду, и по невылазной грязи спешит туда, куда его зовут. В самой деревне Ясная Поляна Саша Толстая устроила приемный пункт ⟨...⟩. На днях появилось в господском доме анонимное письмо от крестьян Ясной Поляны с заявлением, что они не желают, чтобы у них в деревне был прием больных ввиду возможности занесения заразы и ввиду небрежного к ним отношения врача, причем они просят графиню уничтожить у них этот пункт. Л. Н. объясняет это завистью мужиков к той вдове, хозяйке избы, которая за помещение у нее пункта получает 13 р. в месяц,

а кроме того, объясняет тем чувством враждебности к господам, которое вызывает желание заявить: нам вы не нужны, и без вас обойдемся. Достойно замечания, что по поводу этого письма Л. Н. высказал такие мысли, которые стоят в явном противоречии со всем тем, что он проповедовал еще так недавно. Он говорил вообще об возмутительном отношении мужиков к своим же односельчанам, об их злобе и зависти. Так, грумантовские мужики стали преследовать двух своих односельчан за то, что они будто бы своими новыми постройками мешают прогонять скот на выгон, а в сущности просто из чувства зависти к их благосостоянию. Преследуя их настойчиво через всякие инстанции суда, они добились-таки того, что эти прекрасные каменные постройки придется их владельцам сломать и перенести. В Ясной Поляне один мужик поставил прекрасную каменную постройку и при этом захватил $1/2$ аршина общественной земли. Общество настаивает на том, чтобы он сломал свою стройку.

«Если дать этим людям возможность испробовать на себе разные анархические мечтания, — говорил Л. Н., — то они начнут кипеть в котле такой взаимной ненависти и злобы, что скоро сами будут просить дать им в правители хоть какого-нибудь Николая I». И это говорил Л. Н., который 14 месяцев тому назад на этом же самом месте говорил Щербаку [13] совершенно противоположное и затем сердился на Колю Оболенского [14] за его недоверие к спасительным добродетелям русского мужика ⟨...⟩.

Л. Н., высказав свои мысли о мужиках, рассказал о том, как он утром был в Ясенках в почтовой конторе и разговорился с начальником конторы. Этот человек оказался то, что называется «левее кадетов». Как его Л. Н. ни направлял на запросы души, тот настойчиво возвращался к своим надеждам революционного переустройства всего государства. И эта настойчивая надежда имеет своим источником неудержимую уверенность начальника конторы, что он, начальник, слишком мало получает жалованья, что прибавить ему необходимо и что ему, конечно, прибавят левые, когда восторжествуют над Столыпиным⟨...⟩.

13 марта. Софья Андреевна мне читала свои записки 1879—1880—1881 гг. Много интересного, но, так сказать, наружно интересного. Самого интересного, хода

внутреннего перелома Л. Н., С. А. касается мало <...>. Интересен у С. А. рассказ, как в 80 г. весной приезжал в Ясную Поляну Тургенев. Пошли вечером на тягу Тургенев, Л. Н. и С. А. С. А. стала вместе с Тургеневым и вдруг задала ему вопрос: «И. С., почему вы больше ничего не пишете?» — «На это я вот что могу сказать вам, — отвечал Тургенев. — Бывало, когда я писал, меня всегда в это время трясла любовная лихорадка. Без этого я писать не мог. Ну, а теперь я стар, влюбляться больше не могу, значит, и писать больше не могу»[15]. Это, по-моему, очень характерно. Это показывает, сколько личного, своего заветного вкладывает даже такой высокоталантливый писатель, как Тургенев, во все, что он пишет. Читателю представляется, что Тургенев все это выдумывает, и так хорошо, похоже выдумывает, а он вместо этого все им описываемое переживает тут же, «кровию сердца пишет эти строки».

Конечно, это не общее правило. Тот же Фет, дряхлым, задыхающимся от кашля и мокроты старцем, писал многие свои юные, полные любви и беззаботной радости стихотворения. Когда я у него раз спросил: «Как это вы, Афанасий Афанасьевич, можете теперь в такую скверную погоду, сидя больным, на унылой Плющихе, создавать такие радостные, молодые строфы?» — Фет, сердито откашливаясь, пробормотал: «по памяти». Видно, память была у него мощная, что могла пронести через столько лет скучной прозы с Марьей Петровной, скряжнических расчетов, консервативных негодований и т. п. такие ненадтреснувшие звуки, такие неотрепанные чувства!

21 марта. Сегодня Л. Н. начал мне читать из присылаемого ему японского журнала одну статейку, написанную по-английски. Вслушиваюсь — что-то знакомое: девушка пред открытой дверью, там мрак, неизвестность, голос предупреждает, девушка настаивает, переступает, «безумная.... святая...». Да ведь это Тургенева! Л. Н. удивляется и ужасается. Я доказываю. «Мерзавец!» произносит Л. Н. и в волнении уходит[16]. Чрез несколько минут опять появляется и говорит на ту тему, как это его особенно взволновало как писателя, как он знает это чувство у писателя подлаживаться ко всему тому, что служит популярности, и сколько непоправимого вреда может сделать писатель даже вот такой неболь-

шой вещицей, как эта. «Да, но этим особенно страдал Тургенев, — замечаю я, — этой трусостью, этим подлаживанием под молодежь, этим виляньем». — «Да, да, конечно, но и не один Тургенев этим страдал. Все мы этим страдаем» ⟨...⟩.

1 мая. Ясная Поляна. От Вены до Москвы я ехал с В. В. Смидовичем (Вересаевым), возвращавшимся из Капри, куда он ездил навестить М. Горького и Л. Андреева ⟨...⟩. Вересаев мне долго развивал свою мысль, как следует понимать эпиграф в «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам». Оригинально. Мстит природа, основной закон которой так глубоко был нарушен Анной Карениной дважды. В первый раз в ее брачной жизни с Карениным, когда она отдавалась одной стороне брачной жизни — материнству, причем другая сторона, страсть, была вполне атрофирована, и в другой раз, когда во время своей связи с Вронским она была исключительно любовница. Вересаев говорил, что если Л. Н. не согласится с его взглядом, то он не поверит и Л⟨ьву⟩ Н⟨иколаевич⟩у, а будет думать, что Л. Н. может быть и бессознательно, но руководствовался при выборе эпиграфа той же идеей, что и он, Вересаев. Оставил даже мне свой адрес, чтобы я выспросил Л. Н. и написал ему, что скажет автор «Анны Карениной» ⟨...⟩.

21 мая. Вчера я спросил Л. Н., что он хотел сказать, выставив в «Анне Карениной» эпиграф — «Мне отмщение, и Аз воздам»? ⟨...⟩ Когда я ему передал, как Вересаев понимает этот эпиграф, Л. Н. сказал: «Остроумно, очень остроумно, но я хотел сказать просто, что за преступление следует наказание свыше».

Надо будет Вересаеву написать, как он о том просил [17].

14 июля. ⟨Кочеты⟩ Вчера вернулся из Ясной, куда ездил на два дня с Таней ⟨...⟩ [18]. Л. Н. был и тих и приятен. Даже после того, как Николаев прочел слащавую и в псевдонародном тоне написанную Наживиной статью о Г. Джордже [19], Л. Н. сдержанно и миролюбиво спорил со мной, доказывая, что хотя Наживина написала плохую статью, но Г. Джордж удивительно мудр и что его проект и применим и целителен для России.

Читал записки Софьи Андреевны — 1884 г. Ссоры, разлад семейный, озлобление с обеих сторон. Поразительно одно письмо Л. Н. в тоне покаянном, где он ви-

нится в том, что случается ему «гримасничать добродетелью» [20].

Л. Н., между прочим, рассказал мне, что Паскаль где-то говорит, что если бы мы каждую ночь видели продолжение сна предшествовавшей ночи, то скоро могли бы спутаться в том, где действительность и где сон [21]. Это очень тонкое замечание.

Л. Н. несколько полевел. Вероятно, это под влиянием его Иоанна, т. е. В. Г. Черткова, поселившегося по соседству с Ясной.

22 сентября. ⟨...⟩ Л. Н. мне наговорил много приятного по поводу моей корреспонденции из Новосиля с описанием ограбления Б. Н. Г., которую до сих пор «Голос Москвы» не печатает. Л. Н. очень ахал. «Ведь это написано интересно, ярко, художественно. Ведь в этих газетах ничего подобного нет. А они, печатая всякую дрянь, вашей вещи все не печатают! Удивительно» ⟨...⟩ [22].

1 октября. Я опять приехал в Ясную на побывку дня на четыре ⟨...⟩. Нашел тут тетку жены Т. А. Кузминскую, которая вносит много жизни и веселья. К сожалению, не застал здесь Репина, уехавшего накануне со своим «другом» г-жой Нордман [23]. Сделал Репин портрет Л. Н. с С. А., который, по-моему, его кисти не достоин. Очень неудачное произведение. Л. Н. изображает из себя какого-то добренького, пьяненького, выжившего из ума, но слащаво умилительного старичка с наивными, широко раскрытыми глазами и сложенными в виде сердечка губками. Рядом сидит С. А., очень моложавая, — умильно на него глядя и подпирая пальцем щеку как будто его внимательно слушает. Л. Н. мне тихонько сказал: «45 лет все жду этого, чтобы С. А. меня слушала, и не могу этого добиться. Да и вообще, к чему это сочетание? Я и Репину об этом сказал» ⟨...⟩ [24].

Трудно теперь положение Л. Н. в Ясной. С тех пор, как ясенские ребята обстреливали при нападении ночью на капусту сторожей и затем приезжал по этому делу сам губернатор, ясенская усадьба взята под охрану полиции. Помещены два стражника, из которых один всегда спит в передней. Стражники делают объезды ночью вместе с экономическими объездчиками, ловят порубщиков, производят обыски, словом, исполняют назначение полиции и наводят страх на округу. Ко Л. Н. нет-нет да и приходят мужики с просьбами и жалобами. Часто встречается Л. Н. со стражником, который, вытягиваясь

пред ним, молодецки отхватывает: «Здравия желаю, ваше сиятельство». С. А. при своей несдержанности и бестактности по нескольку раз в день бередит его рану, рассказывая о подвигах стражников и о пользе их пребывания в Ясной. Надо понять, как горячо и убежденно этот человек четверть столетия проповедовал на весь мир не только ненужность власти и необходимость непротивления, но и практическую легкость обращения человека при каких угодно условиях жизни в христианского анархиста. И вдруг на старости не только подвергнуться правительственной охране, но и не иметь возможности стряхнуть ее с себя! ⟨...⟩

16 октября. Т. А. Кузминская при мне стала расспрашивать Л. Н. о том, как, по его мнению, мы будем на том свете относиться ко встрече с близкими нам людьми. Л. Н. улыбнулся и сказал: «Да ведь там друг друга мы не узна́ем». — Почему ты так в этом уверен?» — спросила она. «Да по той причине, что ведь мы сейчас, тут, на этом свете, никого же не узнаём, а я думаю, что мы все жили раньше».

С год тому назад какой-то Гончаров из Подольска прислал Л. Н. ругательное письмо. О Гончарове Л. Н. и позабыл совсем, но вот на днях пришла из Подольска телеграмма, подписанная — Гончаров: «Ждите гостя». Через несколько дней новая из Москвы: «Ждите. Гончаров». Очевидно, какую-нибудь пакость хотят сделать Л. Н. И вот все эти дни семья в волнении. Стражники тоже начеку. Но Л. Н. совсем не трусит и все так же спокойно и без всяких предосторожностей выходит к тем, которые его хотят видеть. Вообще я должен сказать, что мужество — одно из основных свойств Л. Н., и это я часто наблюдаю в разных более или менее мелких случаях его повседневной жизни.

24 октября. ⟨...⟩. Удивляюсь, что еще раньше митинги, устраиваемые Чертковым, не были прекращены. На этих митингах Чертков, очевидно, проповедовал много такого, что не могло быть терпимо никакой властью, а нашей полицейской и тем паче. Даже из уст Л. Н. вырвалось замечание, очень ценное для характеристики деятельности Черткова. А именно, Л. Н., огорченный арестом Гусева[25] и ставя этот арест в связь с деятельностью Черткова, заметил: «Очень мне понятно, что Чертков, жизнь которого во многом так не согласуется

с тем, что он проповедует, слишком преувеличивал и пересаливал эту свою облюбованную им деятельность проповедования своих идей народу: усиливая свою проповедь, Чертков как бы держит в тени другие слабые стороны своей жизни».

Л. Н. проговорил это быстро и как бы про себя, но я так запомнил и так понял его слова, на которые обратили внимание и бывшие тут секретарша Ю. И. Игумнова и кн. Е. В. Оболенская [26]. А перед этим как раз было получено из Англии письмо от Черткова, который, описывая свое путешествие, извиняется болезненностью своей жены и еще какими-то и того менее основательными причинами в том, что он проехался по Европе на Luxus-zug'е, что обошлось чуть ли не в 1000 руб. ⟨...⟩.

Начавшиеся и на Л. Н. нападки после его неудачного заявления о неимении собственности особенно разгорелись именно из-за того, что в своей частной будничной жизни он, Л. Н., пользуется постоянно тем благосостоянием, которое приобретается на деньги его же жены, а деньги ей переданы тем же Л. Н. Это ему пишут и в письмах, это и я ему сказал, когда он меня попросил ему объяснить, за что же его, собственно, ругают после напечатания этого злосчастного письма. Я ему рассказал тот анекдот, который о нем давно уже ходил, а именно, как он ехал когда-то по железной дороге и к нему в вагоне подошла какая-то девица из «кофточек» и у них начался следующий разговор:

Девица. Позвольте вас спросить: вы Л. Н. Т.?

Л. Н. Да, я Толстой.

Девица. Ах, как я счастлива, что вас встретила. Я давно хотела вас увидеть и спросить у вас некоторые пояснения о деньгах, которые вы ругаете и необходимость которых отрицаете.

Л. Н. Что же вам хочется знать?

Девица. Вот вы говорите, что деньги не нужны. Ну, а на какие же деньги вы взяли билет, по которому едете?

Л. Н. Мне жена дала.

Девица. Ну, а вот говорят, вы сапоги шьете. Откуда же вы берете деньги, чтобы покупать товар, из которого вы шьете сапоги?

Л. Н. Мне жена дает.

В это время сидевший в углу какой-то офицер воскликнул:

— Однако вы все это ловко придумали!

Так вот я и старался объяснить Л. Н., что хотя этот анекдот, весьма возможно, и выдуманный, но что в обществе, интересующемся не только его писаниями, но и его домашней жизнью, всегда существовало раздражительное к нему отношение за то, что его слова часто расходятся с его делами.

Помню, что его семейный enfant terrible *, сын его Лева, задумал как-то написать роман под названием «Слова и дела», в котором он хотел бичевать своего отца и выставить ему в пример своего тестя, известного шведского доктора Вестерлунда, у которого будто бы дела никогда не расходятся со словами.

Что публика судит о Л. Н. так, как она судит, это понятно. Но что родной сын так же судит, это непонятно и, во всяком случае, доказывает поверхностный взгляд сына [27]. Тот же, кто внимательно и вдумчиво относился ко Л. Н., неминуемо должен вынести то впечатление, что этот человек за последние 20—25 лет вынес на своих плечах громадную внутреннюю работу, и та перестройка, которая была им произведена в его внутренней жизни, должна была потребовать такого огромного духовного напряжения, которое уже одно вполне объясняет оставшиеся непеределанными части его многострадальной души.

27 октября. ⟨...⟩Теперь снова Л. Н. увлекся деревенскими ребятами, но обучает их не только этике и религии, а и географии. Для этого пишет сам, готовясь к урокам, какие-то статейки. Спрашивал меня, нет ли чего подходящего. Я указал на «Ясную Поляну», для которой им же самим написано несколько статеек нужного для него содержания [28]. Он перечел и остался недоволен. «Ах, как глупо и плохо писал Лев Толстой, — заметил он, — плохо по изложению и глупо по содержанию. Там даже и патриотические чувства воспеваются».— «Да не только там, но и в позднейших произведениях Льва Толстого, — сказал я, — воспеваются патриотические чувства и в более определенной форме». — « Например?» — «Да, например, в «Войне и мире».

* ужасный ребенок (*франц.*).

Там есть фраза: «Счастлив тот народ, который, не рассуждая и не сомневаясь, берет первую попавшуюся дубину и гвоздит ею по голове того, кто вздумал забраться к нему»[29]. — «Да неужели так и сказано?» — «Помнится, что так». — «Аха-ха», — заахал Л. Н., спускаясь с лестницы, чтобы отправиться на свою ежедневную прогулку верхом.

31 октября. Читал нам громко Л. Н. один рассказ Наживина «Мой учитель», навеянный теософическими верованиями индусов[30]. Там меня поразила одна фраза: «Если человек замурует себя в подземелье и умрет там, полный действительно великой мыслью, то мысль эта пройдет чрез гранитную толщу подземелья и в конце концов охватит все человечество». По окончании чтения, когда Л. Н. стал восхищаться мудростью описанного индуса, я спросил его, неужели он, Л. Н., согласен с вышеприведенным положением. На что Л. Н. ответил:

— Раз все могущество и вся сила в духовном, то материальное не может препятствовать проявлению этого духовного.

Я. Да ведь это мистицизм.

Л. Н. Называйте как хотите.

Я. Но все-таки материальное вы признаете необходимым для проявления духовного?

Л. Н. Может быть, это покажется парадоксальным, но я этой необходимости признать не могу〈...〉.

1 ноября. Я всегда избегаю столкновений со Л. Н., но сегодня между нами вышло то, что мой покойный сосед Картавцев называл dos à dos*. «И такое у них вышло dos à dos». Началось с того, что Л. Н. собрался ехать в Тулу к губернатору с ходатайством об освобождении Гусева из заключения. Я старался его отговорить, доказывая, что он с глупым и грубым губернатором может всегда наскочить на неприятность и что всякие ходатайства ни к чему не приведут, так как никакое правительство не потерпит революционной пропаганды, а Гусев, конечно, революционер, если он проповедовал то, что пишет в своей книге «Наша революция» его патрон, поставивший его тут, В. Г. Чертков[31]. Вот что и взволновало и рассердило Л. Н., так как он все это время доказывал, что правительство по глупости только

* Фигура в танце, когда танцующие поворачиваются друг к другу спиной (*франц.*).

преследует Черткова и лиц ему подобных, которые борются с революционерами и стараются их образумить. А это, в сущности, совсем, совсем не так. В книжке Черткова проводится та мысль, что средства, употребляемые револю⟨ционерами⟩, не только дурны, но и бесцельны, так как против бомб и браунингов правительство всегда может успешно бороться всякими имеющимися у него в руках средствами насилия, а что самыми успешными мерами для свержения правительства может то служить, что рекомендуется толстовцами: отказ от военной и иной службы, неуплата податей, словом, пассивное сопротивление. Таким образом, Чертков ничуть не борется с революцией, а борется лишь с теми средствами, которые употребляются революционерами и которые, по мнению Черткова, не могут достигнуть той цели, которую, очевидно, желает достигнуть и Чертков, т. е. свержения правительства. Это все равно, как если бы меня хотели выжить из этого дома насильники и применили бы пальбу, приступ, взрывы, а тут явились бы милые люди, желающие спасти свою душу, но и меня вместе с тем выгнать, и стали бы учить: «Да бросьте вы свои приёмы, а слушайтесь нас: возьмем его измором; если не допускать к нему пищи, то, поверьте, он сам соберет свои пожитки и уберется куда-нибудь». Спрашивается, должен ли был бы я считать этих вторых за своих друзей или за своих врагов? Л. Н. все старался доказать, что я становлюсь на неправильную точку зрения, что следует смотреть на Черткова как на проповедника истинного христианства и что когда деятельность правительства не согласна с христианством, то правительство не имеет права бороться против обличений. Но ясно, что эти рассуждения страдают именно индивидуализмом, именно пристрастностью, личным, сектантским отошением к Черткову.

Поездка Л. Н. кончилась более благоприятно, нежели я думал: он не застал губернатора в Туле, а виделся лишь с умным и заискивающим вице-губернатором Лопухиным, который вряд ли что сделает, но наобещал много.

На днях уехал Д. А. Олсуфьев. Приятный человек, скромный, а главное, совершенно простой и ничего из себя не старающийся изобразить. При нем был получен ответ от П. А. Столыпина на письмо Л. Н. по поводу Г. Джорджа ⟨...⟩ [32]. Несмотря на решительное отрицание спасительности Г. Джорджа, ответ Столыпина понра-

вился Л. Н. Но мне не понравилось, как Л. Н. старался пред Олсуфьевым представить Г. Джорджа не в его настоящем виде, а в виде какого-то умеренного государственного человека, стоящего более чем кто-либо за земельную *собственность*. Мои возражения по этому поводу Л. Н. старался ослабить тем, что я очень мало знаком с Г. Джорджем⟨...⟩.

1908

23 января. Л. Н. не раз передавал один рассказ Тургенева, который, странно, что нигде не встречается в его сочинениях. Едет Тургенев по шоссе в Тулу на ямщике. Обгоняют они телегу. Баба правит. Сзади сидит пьяный мужик. Все лицо у него разбито, опухло и в синяках. Мужик хнычет. Ямщик, обгоняя мужика, повернулся к Тургеневу и, показывая кнутом на побитую физиономию, с некоторой гордостью произнес: «руцкая работа»⟨...⟩.

26 января. ⟨...⟩ Получил интересное письмо из Ясной Поляны от Ю. Г. Игумновой. В Ясную приехал из Англии Чертков. Несмотря на неудачу проповеди Гусева, Чертков не унывает и желает продолжать пропаганду. Для сего он ставит на место Гусева какого-то молодого человека Плюснина[33]. «По словам Черткова, — пишет Ю. И., — дело организовано так, что как только Плюснин будет арестован, на его место приедет кандидат, а когда арестуют кандидата, то приедет еще кандидат и т. д.». Организация неплохая, но только не могу я ей симпатизировать. Богатый Чертков платит бедным молодым людям 50 р. в месяц и посылает их на бой с правительством, рискуя сам, во всяком случае, менее, чем его наемники. Правительство, конечно, не может поступать иначе, как арестовывать этих чертковских condotieri, так как их проповедь заключается главным образом в том, что не следует податей платить и в солдаты идти⟨...⟩.

4—6 марта.⟨...⟩Я помню, как еще в 1876 г. я имел столкновение со Л. Н. ⟨...⟩ Это было летом, кажется, в августе, и я встретился с ним в Черемошне, у его большого друга Д. А. Дьякова, моего дяди и соседа. При мне Л. Н. стал высказывать те же мысли относительно сербской войны, общего энтузиазма и стремления идти

в добровольцы, которые он вложил в уста Левина. Завязался спор. Я не помню хорошо, как я ему возражал; очевидно, я повторял слова тогдашних руководителей общественного мнения, Достоевского, Аксакова, Каткова. Спор разгорался все более и более.

Вдруг Л. Н. закричал петухом и убежал в сад. Потом я узнал, что когда он в споре кричит петухом (что-то Суворова напоминает), это значит, что он находит, что его противник говорит такие глупости, на которые не стоит возражать человеческим языком. Через некоторое время Л. Н. вернулся из сада успокоенный и очень мило и ласково просил у меня прощенья за то, что погорячился⟨...⟩.

31 марта. Умер мой дядя (муж сестры моей матери) А. М. Жемчужников⟨...⟩. Он был поэт, Л. Н. не признавал в нем никакого поэтического дара и даже самого примитивного понимания поэзии. Он считал, что все, что пишет Жемчужников, это рифмованная скучная и никому не нужная проза [34]. Но я думаю, что Л. Н. тут, как с ним часто бывает, слишком строг и требователен. Л. Н. признает всего пять поэтов — Пушкина, Лермонтова, Баратынского (за его «Смерть»), Фета и Тютчева⟨...⟩.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

12 апреля. С месяц тому назад со Л. Н. был обморок и затем временная потеря памяти. Сегодня за обедом это повторилось, хотя не было полного обморочного состояния. Он дурно ночь провел от мучившей его изжоги, с утра чувствовал себя нехорошо, лег спать днем, крепко спал, встал, пошел пред обедом пройтиться. К обеду пришел, запоздав немного, и сначала принимал участие в разговоре. Спросил у меня, что я знаю о причинах прилива и отлива в океане. Затем, когда я начал говорить об «Jeanne d'Arc» Anatole France, спросил меня, как на нее смотрит автор, как ее понимает [35]. Потом разговор перешел на приволжских болгар. Мой шурин Лева спросил меня, что я про них знаю. Я стал рассказывать о болгарах. Затем говорил я о каменной и бронзовой эпохе, но тут уж Л. Н. никакого участия в разговоре не принимал. Вдруг сидевшая с ним рядом С. А. встала, подошла к Душану Петровичу и сказала ему: «Посмотрите, что со Л. Н., ему что-то плохо». Все обратили внимание на Л. Н. Он сидел бледный, с посиневшим но-

сом и, видимо, плохо понимал, что кругом него говорилось. Д. П. стал уговаривать его прилечь. Л. Н. воспротивился: «Да что вы, со мной ничего, я просто очень крепко спал, так крепко, что, когда проснулся, все забыл; тут был брат Митенька (умерший тому назад лет 50), не знаю, во сне или в действительности». Все взволновались и не знали, что делать. Л. Н. пытливо и напряженно стал поглядывать кругом. Потом он ласково посмотрел на сидевшую с ним рядом и испугавшуюся Таню и потрепал ее по плечу. «Ничего, ничего, все так и должно быть»,— проговорил он. Бледность все увеличивалась. С. А. все настойчивее его уговаривала встать и уйти. Л. Н. ел машинально и, вероятно, старался сохранить умственное равновесие. Он внимательно поглядывал на сотрапезников, на лицах которых были ясно видны смущение и тревога. Он, очевидно, путался, старался понять, кто и откуда явился, и проверял ясность своего понимания. «Ты куда едешь?» — обратился он к Леве. «В Петербург». — «С женой?» — «Как с женой? Дора ведь в Петербурге». — «Ах да, да». — «А это Анночка сидит?» [36] — «Да, это я, дедушка». — «Да когда же ты приехала?» — «Я уж тут с неделю, дедушка». — «Вот как!» — «А я действительно очень странно себя чувствую, — проговорил Л. Н., — очень странно». Голос его был тонкий, жалкий, слышалась беспомощность и смущенность. Обед пришел к концу. Л. Н. легко и без усилий встал. Д. П. подскочил и хотел взять его под руку. «Да нет, нет, что вы, я ведь ничего», — сказал Л. Н., уклоняясь от услуги Д. П., и прошел в кабинет, где его уложили на диван〈...〉.

13 апреля.〈...〉 Сегодня утром проснулся бодрый и свежий. Вышел в халате, горячо поговорил о поэзии, признавая эту отрасль литературы самой низкой, так как великий дар — слово — дан человеку для духовного общения, а поэт мысль калечит, втискивая ее в тесные формы ритма и рифмы. Даже такой великий поэт, как Пушкин, который как будто не сочинял стихов, а говорил стихами, почти так же, как мы говорим прозой, даже такой мастер и тот ведь, конечно, сидел, трудился, перечеркивал, подбирая рифмы, и невольно наносил ущерб мысли в угоду ни на что не нужной форме. «Но ведь не всегда же поэтическая форма вредна для мысли, — заметил я, — иногда она служит, наоборот, и более яркому пониманию мысли, к лучшему запоминанию

того, что описывает поэт, будь то красота природы или движение человеческой души». — «Ах нет, нет, — перебил меня Л. Н., — для меня наоборот: переложи стихи на прозу, я лучше пойму и более оценю то, что хотел сказать поэт».

Можно не соглашаться со взглядами Л. Н. на поэзию, но нельзя сказать, чтобы эти рассуждения служили доказательством ослабления умственной деятельности. О вчерашнем Л. Н. говорит как о чем-то, оставившем в его голове чрезвычайно смутные воспоминания.

14 апреля. Вчера — Пасха⟨...⟩. Сам Л. Н. не преминул пустить несколько ядовитых замечаний по поводу воскресения. «Помимо невозможности воскресения с физической точки зрения, как можно допустить, чтобы Христос воскрес только для того, чтобы сказать несколько глупостей, половить рыбу и затем исчезнуть?!»⟨...⟩

А 26 лет тому назад я помню, что я зашел к Толстым, жившим тогда еще в Денежном пер., в первый день Пасхи с визитом. В зале со мной встретился Л. Н. Я заколебался, как его приветствовать. Но все-таки я произнес «Христос воскрес» и двинулся к нему, чтобы его поцеловать. Он остановил меня рукой: «Милого Мишу Сухотина с удовольствием поцелую, но при чем тут Христос, не понимаю, а еще менее того понимаю, как он мог воскреснуть». И затем ласково меня поцеловал.

26 апреля.⟨...⟩ В Ясной нашел Л. Н. снова в прекрасном и бодром виде. Все переправляет свою последнюю статью[37], которой очень доволен, но которая, помоему, есть повторение уже не раз высказанного, но написана она более слабо и более спутанно, нежели предшествовавшие ей статьи. В этой статье особенно заметно, насколько Л. Н. полевел за это время. Например, Л. Н. в ней говорит, что и правительство и революционеры поступают дурно, но что революционерам простительнее, так как их злые деяния смягчает тот риск, которому они подвергаются. Совершенно то же самое говорится в статье, писанной с год тому назад к правительству и революционерам[38], с тою разницею, что тогда Л. Н. извинял более правительство, так как оно действует по инерции, и его представители свои взгляды унаследовали от своих предшественников. Ждет Л. Н. своего любимца Черткова, который снимает под себя три дачи на Засеке, пока его palazzo в 30 комнат будет строиться в Телятинках ⟨...⟩.

9 июля. Вчера приехал с Таней на два дня в Ясную. Л. Н. меня поразил своим бодрым видом. Головой тоже очень свеж, и никакого прежде замечавшегося утомления и угнетенности как не бывало. Прочел здесь его коротенькое письмо к священнику Соловьеву[39] (законоучителю Лицея цесаревича Николая), написанное в ответ на длинное письмо священника, выражавшего свою благодарность, что Л. Н. отказался от юбилея, который, конечно, во многих возбудил бы вражду и негодование против юбиляра〈...〉.

23 августа. Л. Н. действительно возвращается к жизни, на короткое, вероятно, время, но возвращается. Очень, очень он мягок и трогателен. Он и раньше часто напускал на себя мягкость, но всегда чувствовалось, что это результат внутренней работы, напряженной перестройки своего нутра, победы над своей природой. Поэтому в этой мягкости всегда чувствовалась некоторая деланность, и сквозь эту мягкость нет-нет, а прорывалась старая властность, старая гордость, старая требовательность. Теперь этого нет. Очевидно, как à forse de forger on devient forgeron *, так постепенно по мере работы над собой не только получаешь внешный окрас вырабатываемых качеств, но эти качества в конце концов во всей своей полноте просасываются на самое дно души и вытесняют своих антиподов.

Не говорит Л. Н. больше о смерти, не старается больше убедить окружающих, что он смерти не боится. И это хороший признак. Это признак того, что он действительно победил всякий страх смерти и ему незачем больше убеждать в этом ни себя, ни других[40].

Но живучесть его изумительна. Он ведь был еще несколько дней тому назад очень плох. Кроме закупорки вены на ноге, большая слабость, перебои, ослабление сердечной деятельности, начало какого-то процесса в легких, и даже начало отека (sic!) легких, все это было весьма угрожающе, и все это прошло и проходит 〈...〉.

Л. Н. очень интересно рассуждал на тему о сновидениях. По его мнению, во время сна могут действовать все стороны человеческого духа, кроме одной: совести. Человек может и мыслить (сам Л. Н. иногда сочинял во сне, а затем, проснувшись, записывал им сочиненное), и соображать, и любить, и радоваться, но только не мо-

---

* привычка ковать делает кузнецом (*франц.*).

жет делать одного: чувствовать нравственную ответственность за свои поступки ⟨...⟩.

28 августа. Приехав сюда, в Ясную, после полудня, мы попали в самый разгар юбилея:[41] подарки, письма, телеграммы, сыновья (кроме Левы) с женами, несколько толстовцев, гостей чужих немного. Общий тон более семейный и мало политический, показной, что очень приятно. По случаю слабости юбиляра никого к нему из чужих не пускали, исключение сделано было для Mr. Right, привезшего адрес от 700 английских литераторов[42]. Нехорошо было то, что никто не подумал о тех людях, которые большею частью пешком шли к дому из Тулы или со станции и ни с чем, даже без ласкового слова, возвращались назад[43]. Юбиляр мне очень понравился своей особенной простотой и ласковостью. К обеду его вывезли в кресле. Он сидел за отдельным столом. Когда подали шампанское, он просил к нему не подходить с поздравлениями, а сам произнес маленькое приветствие, в котором выразил радость, что всех нас видит. Нас за столом было 22 человека, и всё почти одни родные. Вечер Л. Н. провел, играя в шахматы и беседуя с нами. Рано лег спать. Когда он уже лежал в постели, я вошел к нему, чтобы проститься с ним, так как я на другой день утром уезжал в Кочеты. Я нагнулся к нему, чтобы с ним поцеловаться, и сказал: «Еще раз от души поздравляю вас».— «С чем?» — спросил Л. Н. «С хорошо прожитой жизнью», — ответил я и поцеловал его руку, чего прежде никогда не делал. Л. Н. прослезился и произнес: «Да, да, я знаю, что вы меня любите». Я тоже заплакал и вышел из спальни ⟨...⟩.

23 октября. Л. Н. ездил с Сашей и со мной гулять, заезжали к Черткову. Л. Н. остался недоволен великолепием дома Черткова. Вернулся огорченным и вечером говорил: «К чему все это, эта роскошь, эти ванны, весь этот первый сорт? Я непременно все это ему выскажу. Я ведь никогда до сих пор внутри не был и не осматривал подробно этого дома» ⟨...⟩.

18 ноября. Вчера приехал из Петербурга Лев Львович, так называемый Тигр Тигрович. Л. Н. был болен⟨...⟩ Мы у него сидели вечер, и был очень интересный разговор между отцом и сыном. Л. Л. говорил о том, как ему хочется начать какое-либо крупное дело, например, издание газеты, и этим делом наполнить свою жизнь.

Л. Н. Это значит учить других, как жить и что делать. Я все время с недоумением гляжу кругом себя и вижу, что, начиная со Столыпина, который считает, что он призван устраивать жизнь других, и кончая последним революционером, все о других заботятся и что-то все исправляют и чему-то учат, тогда как у каждого человека есть громадное дело, данное ему богом, заниматься своей собственной душой. Это дело всецело должно наполнить жизнь человека; и очищать свою душу от той грязи и мерзости, что наросла на ней, это самое важное дело жизни; и все время, отведенное нам, должно уходить на это дело.

Л. Л. Однако ты сам учишь же людей?

Л. Н. Я отвечаю на те вопросы, с которыми ко мне обращаются. А если и поддаюсь этому желанию учить других, то поступаю дурно.

Л. Л. Но ведь так хочется оставить что-либо после себя, создать что-либо.

Л. Н. Этому искушению поддаваться не следует.

Л. Л. Но ведь ты же создал «Войну и мир», и это создание останется после тебя?

На этот аргумент ad hominen Л. Н. ничего не ответил.

Л. Л. перевел разговор на заграницу.

Л. Н. Вот вы все: и Дунаев, и Митя Олсуфьев, и ты — все восторгаетесь заграницей и хулите Россию. Спора нет, там порядку больше, а у нас его нет. Но зато там под наружным порядком мертвечина, а у нас под нашей неурядицей жизнь кипит, слышишь и понимаешь, что там внизу под нами что-то подымается, что-то растет ⟨...⟩.

С. А. (*из другой комнаты*). Это у тебя, Левочка, в душе жизнь кипит, тебе и кажется, что всюду кипит, а, в сущности, ничего, кроме мертвечины, в России и нет.

Говорил Л. Н. и о том, как в современных людях исчезает смирение, то смирение, которое не есть, в сущности, добродетель, но без которого немыслима никакая добродетель ⟨...⟩.

И. Ф. НАЖИВИН

О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ

(Из личных впечатлений)

В суровый осенний вечер — 1-го сентября 1901 г. — я впервые подъезжал к белевшим башням у въезда в яснополянский парк. Мысль, что еще несколько минут, и я увижу Л. Н. Толстого, дорогого мне еще со школьной скамьи учителя, приводила меня в такое смущение, что я готов был сказать ямщику, чтобы он повернул обратно ⟨...⟩.

Но достаточно было несколько минут, проведенных со Львом Николаевичем, чтобы почувствовать себя хорошо и тепло.

Только что оправившийся от тяжелой болезни, Л. Н. казался сильно похудевшим и усталым [1]. И мне трудно передать мое первое впечатление: я ждал встретить что-то необыкновенное... а предо мною был сухонький, сгорбленный, седой старичок, с беззубым, шамкающим ртом. Особенно это старческое шамканье поразило меня...

Он заговорил о своей болезни, о близости смерти... А на лице его была ясная-ясная улыбка.

— Вот сегодня, на прогулке, — сказал он, — чувствую вдруг, что мне нехорошо, что сердце как будто останавливается... Это у меня теперь бывает. Присел на повалившуюся березу, сижу. «Вот, вот она», — думаю. И сперва жутко стало. А потом хорошо и легко. Но это была еще не смерть, а только предупреждение. Смерти я не зову, — сказал он потом, — но и не бегу от нее. Христианин не должен и не может бояться смерти, — этого перехода от временного к вечному.

Я спросил Льва Николаевича, над чем он в данное время работает. Он ответил:

— Только что кончил небольшую статью о положении рабочего народа 〈...〉 [2].

Во время беседы Льву Николаевичу принесли большую пачку писем. Тут были письма с разных концов мира. Было и несколько иностранных газет, замазанных цензурной краской. Лев Николаевич усмехнулся:

— Как замазали!.. Видно, боятся, чтобы я не испортился...

Среди писем было одно от молодого болгарина, отказавшегося, из христианских убеждений, от военной службы. На неправильном русском языке он сообщил о своем пребывании в тюрьме (он и писал из тюремной больницы), о своих душевных страданиях в связи с страданиями, которые вызвал его поступок в семье: болезнь матери, умственное расстройство отца и пр. Но, несмотря на все это, он остался верен требованию своей совести и заканчивал письмо теплыми словами по адресу Льва Николаевича.

— А вот письмо от одного врача — профессора,— сказал с улыбкой Л. Н. — Он убеждает меня, что бессмертие — это вздор и что наша душа в конце концов представляет лишь химическую формулу. H_2O... или как там? Он советует мне, чтобы поправиться, есть устрицы, цыплят, пить мадеру и т. д. Вкусные все вещи! 〈...〉

В кругу семьи я видел Льва Николаевича и веселым, и сильно расстроенным (как после ужасного 9-го января), и нездоровым, но всегда, неизменно, в его обращении со всеми была ласка, теплота и терпимость.

Всегда ясно чувствовались два совершенно различных мира: мир богатой великосветской семьи и мир мудреца-христианина. Но через пропасть, разделяющую эти два мира, перекинут золотой мост любви. Только раз, помню, Лев Николаевич во время оживленного разговора о Генри Джордже, волнуясь, заметил одному из спорщиков:

— Чем больше человек говорит, тем меньше он знает, и наоборот.

Но тут же, сейчас быстро спохватившись, Лев Николаевич притих. И когда общий разговор перешел на другой предмет, тихонько, со своей милой улыбкой, сказал:

— Вот видите, и прорвался. И поневоле вспомнишь Паскаля, который носил всегда пояс с гвоздями: как только почувствует, что идет не туда, прижмет его локтем, гвозди уколят тело, и боль сейчас же отрезвит и напомнит, что надо делать...[3]

И весь вечер после этого Лев Николаевич был со всеми особенно кроток и ласков.

Но как ни кротко сносит Лев Николаевич тяжесть богатой обстановки, все же иногда он выражает тоску по иной жизни.

— Вот сегодня,— рассказывал он, — встретил на шоссе одного странника. — Немножко разве помоложе меня. Был в Киеве, теперь идет к Серафиму Саровскому, а там думает к Тихону Задонскому пройти. Кормится тем, что подадут ради Христа, иногда работает. И видно, что на душе у него спокойно, светло, хорошо, — это редко теперь бывает, теперь все недовольны, все набаловались жаловаться. Идем с ним по дороге, разговариваем, и я думаю: ведь вот живет же человек. Чем же я-то хуже его?

И на глазах Льва Николаевича заблестели слезы.

В другой раз Лев Николаевич за общим обедом рассказывал, как однажды зашел к нему в Москве сын известного Сютаева, тверского крестьянина, имевшего, по словам самого Льва Николаевича, большое на него влияние.

После беседы сын Сютаева стал собираться домой...

— А было уже поздно,— говорит Лев Николаевич.— Я оставляю его ночевать, но он жмется и отказывается.— Что такое? Почему? — «Да, признаться,— говорит,— Лев Николаевич, в бане давно не был. Очень вошь замучила».— Ну, вот,— говорю,— пустяки какие. Оставайся. Я очень буду рад, если в моем доме рабочая вошь заведется ⟨...⟩.

Был однажды Лев Николаевич на вокзале в Туле.

Подлетает курьерский поезд. Из вагона 1-го класса выскакивает какой-то господин и торопливо бежит к буфету. Через секунду на площадке показывается молодая женщина и кричит: «Жорж, Жорж!..» Но Жорж исчез.

— Дедушка, сбегай, пожалуйста, вороти того госпо-

дина,— обращается встревоженная дама ко Льву Николаевичу, — я тебе на чай дам.

Лев Николаевич нашел Жоржа и привел его к даме. Та подала пятачок за труд.

В это время послышались голоса:

— Смотрите, смотрите: — Толстой!

— Где, где Толстой? — спрашивает дама.

Ей показывают на Льва Николаевича. Она соскакивает с площадки и подбегает к нему.

— Ради бога, граф, простите. Мне так совестно... Пожалуйста, простите...

И сконфуженная дама просит возвратить ей пятачок.

— Э, нет, пятачка я не отдам, — говорит весело Лев Николаевич.— Я его заработал...

Раздается третий звонок И растерянная вконец барыня исчезает в вагоне...

В марте 1907 года мне пришлось присутствовать на занятиях Льва Николаевича с крестьянскими детьми. Занятия эти состояли в том, что он рассказывал детям из Евангелий, а потом заставлял их пересказывать. Главная цель этих занятий была — составление «Круга чтения» в применении к детям [4]. Об этих своих занятиях Лев Николаевич иногда не мог говорить без слез и часто повторял:

— Дети приходят заниматься, и я учусь с ними...

На одном из таких уроков и посчастливилось присутствовать мне. Чтобы не смущать детей, мы — я и домашний доктор Ясной Поляны, Д. П. Маковицкий, — сидели тихонько в соседней комнате, дверь которой Лев Николаевич оставил нарочно полуоткрытой. Поговорив о Евангелии, Лев Николаевич, как-то к слову, начал рассказывать детям легенду:

— Жил в старину в пустыне один отшельник и проводил все свое время в молитве. И пошел он раз к своему наставнику, еще более благочестивому отшельнику, и спросил его, что он мог бы еще сделать, чтобы заслужить перед богом. И послал его наставник в соседнюю деревню, к мужикам, которые всегда приносили пищу ему.

— Поди к ним, — сказал старец, — поживи с ними денек: может быть, и научишься у них чему-нибудь...

Пошел отшельник в деревню, к мужикам, — видит, встал со сна мужик, пробормотал: «Господи!» и скорее за работу. И так проработал мужик до вечера, а вечером, вернувшись с поля, опять только пробормотал: «Господи!» и скорее спать.

И вернулся отшельник к старцу и говорит:

— Нечему у них поучиться. Они и бога-то всего два раза в день вспомнили, утром да вечером...

Взял тогда старец чашу, налил ее до самых краев маслом и подал отшельнику.

— На, — говорит, — возьми эту чашу и за день обойди с ней вокруг деревни, да так, чтобы ни одной капли не пролить...

Взял отшельник чашу, ушел и вечером воротился.

— Ну, хорошо... — сказал старец. — Теперь скажи мне, сколько раз за день ты о боге вспомнил?

— Ни одного...— смутившись, отвечал отшельник.— Я все на чашу глядел, пролить боялся...

— Ну, вот видишь,— сказал старец. (Голос Льва Николаевича осекся и задрожал.) — Ну, вот видишь: ты только о чаше думал, и то бога ни разу не вспомнил, а он, мужик-то, и себя кормит, и семью, да еще и нас с тобою в придачу, он два раза бога вспомнил...

И растроганный Лев Николаевич с трудом договорил последние слова, вернее: их договорили дети, эти маленькие мужики, сумевшие воспринять легенду с особенной душевной чуткостью...

Из посещений «Ясной» особенно помнится мне одно, бывшее вскоре после 9 января 1905 г.

Мы с женой и одним художником-народником застали Льва Николаевича одного за завтраком. На столе стояла печеная картошка, печеная репа и размазня из гречневой крупы.

Он уже слышал о том, что произошло в Петербурге, и был, видимо, очень расстроен слышанным. Со мной было письмо от одного из свидетелей петербургских событий. Я прочел это письмо Льву Николаевичу и рассказал, что слышал по этому поводу ⟨...⟩.

Вдруг у Льва Николаевича задрожали губы, и впалые старческие глаза налились слезами. Горечь и страдание овладели им[5] ⟨...⟩.

Однажды после завтрака Л. Н. пригласил нас с собою на свою обычную прогулку...

Мы ходили часа два по живописным лесистым и холмистым окрестностям Ясной Поляны. В конце прогулки Лев Николаевич подверг меня экзамену.

— А ну, бывший охотник,— проговорил он, вдруг останавливаясь среди леса,—где наш дом?

Мое внимание было, разумеется, поглощено тем, что говорил Лев Николаевич, дороги я совсем не заметил и сказал, что не знаю, где дом.

— Ну, какой же вы охотник? Посмотрите, сообразите.

Я посмотрел, сообразил и, ко всеобщему смеху, указал как раз в противоположную сторону.

Когда мы пошли, я сказал Льву Николаевичу, что, ставши вегетарианцем и бросив охоту, я никогда больше не испытывал того чувства жизни заодно с природой, какое испытывал раньше на охоте, никогда уже не видал жизни природы так близко и так подробно.

—Да, да,— проговорил Лев Николаевич.— Но я потом снова нашел эту связь, когда начал работать на земле: пахать, сеять, косить. А вот это, смотрите, колодезь Кудеяра, — сказал он, указывая в сторону от дороги на небольшой ключ. А там дальше заметны еще следы как бы земляных укреплений, где будто бы жил Кудеяр...

Мы остановились и замолчали. Кругом — неподвижный, весь в снегу лес и бесконечная зимняя тишина. И среди этой тишины было слышно лишь, как Кудеяров ключ слагал свою гармонию из хрустально-чистых звуков...

— Я часто прохожу здесь один, и всякий раз остановишься и послушаешь... — тихо проговорил Лев Николаевич.

И невольно в воображении возникла картина: снежная, лесная пустыня, небо, тишина. И среди всего этого — одинокая фигура Льва Николаевича, чутко прислушивающегося к дыханию природы и, под прелестно хрустальные звуки ключа, сливающегося с ней в одно ⟨...⟩.

Вечером, по обыкновению, собирались в большой столовой. После общего разговора речь как-то перешла на давно минувшее. Лев Николаевич сказал:

— Это было под Севастополем во время Крымской войны. С четвертого бастиона, где я находился, меня

назначили зачем-то командиром горной полубатареи[6]. Забрал я свои пушки и поехал. Место было от боя удаленное и совсем безопасное. Расстановили пушки на горе. Смотрю, впереди растет великолепный, толщиной в обхват, орех. Нам он не мешал нисколько, тем более что мне было совершенно ясно, что стрелять отсюда мы никогда не будем, но... надо же было показать свою власть. «Руби!»... И орех срубили... До сих пор не могу я забыть этого ореха.

И Лев Николаевич задумался 〈...〉.

Однажды мне пришлось попасть в Ясную Поляну в угнетенном состоянии духа, и, не поднимаясь наверх, я послал Льву Николаевичу записку, что мне очень хотелось бы поговорить с ним наедине.

Через несколько мгновений послышались знакомые торопливые шаги, и наверху лестницы показался Лев Николаевич.

— И. Ф., что такое? С вами случилось что-нибудь?

— Нет, особенно ничего не случилось. Только хотелось поговорить с вами, — отвечал я, поднимаясь к нему навстречу.

— Ну, слава богу, слава богу!.. Здравствуйте... Ну, идемте, идемте. Вот сюда, ко мне.

И в душе у меня сразу посветлело.

За стеной слышалась музыка: графиня Софья Андреевна играла с кем-то в четыре руки одну из симфоний Бетховена... А в небольшой, полуосвещенной комнате Лев Николаевич тихо и вдумчиво говорил о высочайших проблемах человеческой жизни...

Беседа касалась тех черных, иногда только пугающих, а иногда страшных низах человеческой природы, тех низах, где до поры до времени лежит скрытым всякий грех... И откуда, как отвратительные гады, ползут темные желания.

— В таких случаях, — сказал я, — стараюсь как можно скорее и как можно ярче вспомнить о смерти.

— Да, это хорошо, — проговорил Лев Николаевич, — но, наблюдая, вы скоро заметите, что одно и то же оружие в борьбе скоро притупляется, и нужно найти дру-

гое, переменить его. Я иногда в таких случаях вспоминаю, что я человек, послан на землю богом по делу: и как же, тебя послали с великим поручением, а ты позволяешь себе унижать и себя, и порученное тебе дело?

Через некоторое время речь перешла на любовь к людям, и Лев Николаевич сказал:

— 〈...〉 Любить дальних, «человечество», «народ», — не хитрое дело! Нет, ты ближних, ближних твоих сумей полюбить, тех, с которыми ты встречаешься каждый день, которые раздражают тебя и причиняют тебе огорчения. Вот их-то полюби и прости им все. Это очень трудно. Чуть только позабудешься — глядишь, и уже сбился с дороги. На днях иду по парку, думаю. Смотрю, идет за мной какая-то баба и что-то просит. А мне как раз пришла в голову ценная для работы мысль. «Ну, что тебе нужно? Что тебе нужно?» — говорю нетерпеливо бабе. «Что ты пристала?»... Но хорошо, что на этот раз вовремя спохватился и поправился. А то бывает или не спохватишься совсем, или спохватишься, да поздно. Вот тоже недавно еду верхом по шоссе и думаю. И чувствую, что что-то словно мешает, что-то как будто не так. Что не так? Остановился, припомнил. Оказалось, «не так» то, что несколько минут назад я проехал мимо знакомого мне нищего-калеки, которому всегда подаю. А тут в задумчивости только поклонился ему рассеянно. Повернул лошадь, поскакал. Но его уж не было. И я, может быть, упустил дело, несравненно более важное, чем все мои писания. Писания это так, пустяки, а тут живой человек... В сношениях с людьми надо постоянное строгое внимание к себе; чуть ослабеешь, и уже ошибся, уже согрешил... Надо делать доброе и не только не ждать себе никаких похвал за это, но, напротив, быть готовым к тому, что тебя будут поносить, гнать и презирать» 〈...〉.

«Это всегда так было и так должно быть, а то ты добро делаешь, да еще чтобы тебя все хвалили — это уж очень много, — улыбнулся Лев Николаевич. — И очень хорошо делать так нарочно, чтобы твое добро не встречало одобрения, как тот человек, который, притворяясь юродивым дурачком, делал вид, что сердится на нищих, и кидал в них серебряными рублями. Они подбирали его рубли и смеялись над его глупостью. Так и нам надо делать 〈...〉.

Весною 1907 г. мне пришлось переехать с моею семьею в Тульскую губ. на хутор, принадлежащий дочери Льва Николаевича, Т. Л. Сухотиной, отстоящий верстах в 4-х от Ясной Поляны. Здесь мы и поселились в соседстве с милой старушкой Марией Александровной Шмидт. Это редкой души существо. Родом она из местной помещичьей семьи. Была классной дамой, но некоторые писания Льва Николаевича произвели в ней полный духовный переворот. Она бросила свою обеспеченную жизнь и перешла на землю, начавши действительно в поте лица добывать хлеб свой [7].

Здесь, на хуторе, она живет в крохотной избенке, крытой соломой, и кормится от своих двух коров и небольшого огорода. Летом здесь живут близкие люди на даче, но с осени до весны старушка живет лишь в обществе своей работницы и несчастной Шавочки, собаки с отмороженными передними лапами, которая так привязана к своей хозяйке, что когда та уезжает иногда в Ясную Поляну, Шавочка отказывается от еды и все время лежит на дороге, глядя в ту сторону, откуда должна появиться Мария Александровна.

Необходимо сказать, что окрестные крестьяне, находящиеся под пагубным влиянием города и дешевых заработков от дачников, — в огромном большинстве совершенно не понимают ни Марии Александровны, ни ее миссии. И эта трудовая, суровая, высоко честная и полная лишений жизнь нисколько не тяготит старушку.

— Ах, душенька, как хорошо! Прямо рай здесь, — часто повторяет она.

Лев Николаевич относится к Марии Александровне с глубокой душевной приязнью и часто навещает старушку. И трогательны бывают их встречи!

— Ну, что, умираем, Марья Александровна? — поздоровавшись, но не выпуская ее руки, с мягкой улыбкой, дружески говорит Лев Николаевич.

— Умираем, душенька Лев Николаевич! — так же радостно отвечает старушка.

— Что ж, хорошо?

— Хорошо, Лев Николаевич!..

И оба, старенькие, радостные, смеются тихим, счастливым смехом.

— Вот, посмотрите, какой мне подарок привез сегодня Лев Николаевич, — с улыбкой говорит раз Мария Александровна, проводив дорогого гостя и показывая

нам темную, вязаную кофту. — Говорит: «Вам холодно, Мария Александровна, а у меня их две, вот я вам одну и привез. Совсем новая...» А она вся заштопана да перештопана, — смеется старушка,— должно быть, не ту ему дали ⟨...⟩.

Редкую неделю не заглядывал к нам на хутор Лев Николаевич. То верхом приедет, то пешком придет, посидит немного, поговорит и домой.

— Вот сегодня какой случай со мною был, — рассказывает он однажды, сидя в крохотной избенке Марии Александровны.— Приходят ко мне сегодня утром две бабы. Мужья у них на войне, нужда, дети. Коровы ни у той, ни у другой нет. Расспросил я их, дал им кое-что, а насчет коровы говорю: «На днях сам приеду, посмотрю». Но только они простились и ушли, как является один мужик, который хорошо знает обеих. Расспрашиваю — он все подтверждает: коровы нет ни у той, ни у другой, но у одной восемь человек детей, а у другой трое. Я попросил его тотчас воротить ту, у которой восемь человек детей, чтобы дать ей 30 рублей... Недавно группа каких-то русских, живущих в Шанхае, прислала мне для помощи семьям, пострадавшим от войны, около 400 руб., из которых осталось как раз 30 рублей. Я наказал ему воротить только одну бабу. «А то, думаю, будут эти косые взгляды, неудовольствие, жадность разыграется». А он недослышал, должно быть, и воротил обеих. Очень неприятно было. Но делать нечего. Дал я одной 30 рублей, а другой говорю, что больше пока нету, что пусть она не завидует, и вдруг... (Голос Л. Н. оборвался и глаза наполнились слезами), и вдруг та, другая, не получившая, говорит: «Вот и слава богу!.. И хорошо... зачем завидовать. Что ты? Ей нужнее... А когда у ней будет, она и моим ребятишкам молочка даст... Слава богу...» Надо знать их жизнь, чтобы понять, что значит это!

И глубоко растроганный и умиленный Лев Николаевич умолк.

И всякий раз, когда он заглядывал к нам, в Овсянниково,— он приносил с собою какой-нибудь луч.

Прощаясь однажды с нами, он взглянул на нашу девятимесячную девочку, которая вследствие нашей уединенной жизни очень дичилась людей. Но, встретившись

с глазами Льва Николаевича, она весело раскрыла свой беззубый рот и, вероятно, в избытке удовольствия, потянула ноги ко рту.

— А я вот уж так не могу, — сказал он, весело обращаясь к нашей дочери.

И, выйдя, Л. Н. легко вскочил, несмотря на свои 78 лет, в седло и, сопровождаемый нашими приветствиями, быстрой рысью скрылся из вида.

Последний раз мне пришлось быть в Ясной Поляне в марте 1908 г. Лев Николаевич перед этим перенес тяжелую болезнь и, хотя последние сведения о его здоровье были успокоительны, но я нашел его значительно изменившимся. По утрам он еще бывал и свеж, и бодр. Он чувствовал себя некрепко и не скрывал, что физически ему плохо и что у него слабеет память [8]. Однажды он говорил по этому поводу:

— Я забываю все, что мне не нужно помнить, но очень хорошо помню то, чего не надо забывать. Ах, как хорошо!

И временами чудилось, что он уже не совсем наш, а отошел от нас в своей духовной сосредоточенности. И тоскливо сжималось сердце 〈...〉.

Возникал разговор и о готовящемся чествовании Льва Николаевича по случаю его 80-летия. Юбилей этот был неприятен ему.

— Раньше, бывало, если мелькнет где: «Л. Н. Т.», остановишься и прочтешь, — сказал Лев Николаевич.— Теперь как только увидишь: «Л. Н. Т.», скорее прочь 〈...〉.

Льву Николаевичу подали визитную карточку какого-то иностранного посетителя с фамилией на «эс». Одни решили, что грек, другие, что португалец или испанец. Лев Николаевич ушел и, поговорив с посетителем около получаса, возвратился и рассказал нам, что это не португалец и не грек, а немец из остзейских провинций, что у него опасная болезнь сердца и что доктора предсказывают ему скорую смерть.

— Он приезжал спросить меня, — сказал Л. Н., — как лучше употребить ему небольшой остаток жизни. Я рассказал ему притчу о яблоне. Она как-то мало заметна в Евангелии среди других притч, но смысл ее глубок. Садовник пришел к хозяину сада и говорит, что одна из яблонь не дает плода и что поэтому ее надо срубить и

сжечь. Хозяин отвечал, что надо подождать еще год и еще, а тогда можно будет и срубить, если она не принесет яблоков. Каждый день нашей жизни — это только отсрочка, данная нам хозяином. И мы должны торопиться, чтобы принести плоды...

И Лев Николаевич умолк. Но через некоторое время опять заговорил:

— Да, между прочим, еще он рассказывал, что проф. Виндельбандт — он у него слушал философию — профессор Виндельбандт, как только, бывало, начнет цитировать Канта, так и заплачет... Как это хорошо!..

— Надо бы популяризировать Канта, — заметил один из присутствующих. — Так он мало доступен.

— Да, да, — с оживлением сказал Лев Николаевич. — Это было бы очень, очень хорошо, хотя язык у Канта совершенно невозможный... Очень умный молодой человек [9], — проговорил Лев Николаевич, возвращаясь к посетителю, — жаль только, что он... пишет.

— В последнее время почти нет уж людей, которые не писали бы, — сказал один из гостей.

— Да, да, это ужасно... — подхватил Лев Николаевич. — Я думаю, что, если бы общественное мнение смотрело на людей, получающих деньги за писательство, с презрением, какая масса писателей, какая масса пошлости и глупости исчезла бы!.. Исчезли бы газеты... А почему это вы тут смеялись, когда я вошел?

Льву Николаевичу вкратце рассказали содержание письма одного духобора, который описывал, как канадские духоборы, посетив образцовую свинятню, увидели там индейцев, певших за известную плату исключительно для удовольствия свиней, отчего последние лучше жирели.

— Да, как же, знаю... читал, — сказал, засмеявшись, Лев Николаевич. — Совсем как у нас: наши композиторы, пианисты и проч. — все это наши индейцы. А мы — откормленные свиньи, слушаем их и жиреем.

И долго еще и заразительно смеялся Л. Н. над «индейцами» и «свиньями» ⟨...⟩.

Заканчивая эти отрывки из воспоминаний о Льве Николаевиче, невольно вспоминается один случай, неизгладимо запечатлевшийся в моей памяти.

Однажды зимою, направляясь к станции, Лев Николаевич, увидел на снегу около дороги непристойные надписи.

Он зачеркнул непристойности концом палки и написал на снегу слова из апостола Иоанна о любви к ближним.

И как прекрасна должна быть картина: великий старец, склонившийся к земле и вычерчивающий на снегу для прохожих святые, вечные слова:

«Любите, братья, друг друга!»

И. К. ПАРХОМЕНКО

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Вернувшись⟨...⟩ в Петербург, я задумал создать галерею писательских портретов, — писатели мою затею встретили одобрительно и позировать стали охотно [1]. И когда в моей мастерской набралось уже более двадцати их изображений, я написал Толстому, что хочу приехать в Ясную Поляну, чтобы изобразить и его. Толстой тотчас же мне ответил: «Милости просим. Лев Толстой. 10 июля 1909».

Одновременно пришло письмо и от Софьи Андреевны: «Лев Николаевич получил ваше письмо и сказал мне, что будет отвечать вам; по-видимому, он ничего не имеет против вашего посещения, и мой совет приезжать сейчас же, так как он здоров, а что еще будет в сентябре— неизвестно». Я писал, что хотел бы приехать в сентябре.

Разумеется, я, как только получил эти письма, сейчас же и собрался: взял шкатулку с красками, складной мольберт, два подрамника с натянутым на них загрунтованным полотном и 19 июля (по старому стилю) утром приехал в Ясную Поляну. Меня встретил молодой, русоголовый, с небольшой подстриженной бородкой, с бледным, но оживленным лицом, одетый в простую синюю рубаху, подвязанную поясом, Николай Николаевич Гусев — секретарь Льва Николаевича. Он сейчас же отвел меня в приготовленную для меня комнату и затем, после нескольких слов на мои расспросы о Льве Николаевиче, пригласил меня на веранду пить чай.

Погода стояла прекрасная. Вокруг дома благоухали цветы, высились зеленые деревья.

Через час, приблизительно, вышла Софья Андреевна, и от нее я узнал, что Лев Николаевич чувствует себя хорошо (то же самое и Гусев говорил) и, вероятно, охотно будет позировать. Это мне было приятно, так как недели за три до этого я заезжал (проездом) в Ясную Поляну и говорил с Софьей Андреевной — в присутствии находившегося тогда в Ясной Поляне Льва Львовича — о своем желании написать портрет Льва Николаевича. Лев Львович решительно заявил, что его отец позировать мне не станет.

— Почему?

— Да потому, что он и Репину уже лет пять как отказывает в этом. Самое большее, что он, по-моему, может вам позволить, так это только на него посмотреть и написать его по памяти.

Лев Николаевич тогда гостил в Кочетах у Татьяны Львовны. Но когда он, по возвращению домой, получил мое письмо, он отнесся к моему желанию иначе, чем предрекал его сын.

Сообщив мне, что здоровье у Льва Николаевича прекрасное, Софья Андреевна поделилась со мной своей тревогой по поводу намерения Льва Николаевича поехать в Стокгольм на конгресс мира [2–3].

— Не знаю, как его от этого и отговорить,— печалилась она. — Ведь плыть туда надо от Либавы, так как в Петербурге теперь холера и требуется от всех, кто едет в Швецию через Петербург, чтобы они выдержали на судне девятидневный карантин. Главное, чего я боюсь, так это качки: Лев Николаевич ее не перенесет, — ему ведь уже восемьдесят два года [4], не такой молодой, как вы. Вам уже сколько? — спросила она, окинув меня взором.

— Как раз сегодня ровно тридцать девять: я родился (по старому стилю) девятнадцатого июля семидесятого года.

— Вот как!.. Поздравляю вас с днем рождения!

И она крепко пожала мне руку.

В начале одиннадцатого часа, когда приблизилось время завтрака, большая столовая яснополянского дома стала наполняться: пришли гостившие в Ясной Поляне Денисенко Иван Васильевич (председатель гражданской Новочеркасской судебной палаты) и жена его, Елена Сергеевна (племянница Льва Николаевича) со своими детьми — очень миленькой дочуркой лет десяти — одиннадцати и не по летам высоким двенадцатилетним сыном,

затем Николай Николаевич Гусев, доктор Душан Петрович Маковицкий, Софья Андреевна и компаньонка Александры Львовны — Варвара Михайловна Феокритова (Александра Львовна чувствовала себя нехорошо и оставалась в своей комнате), и, наконец, Лев Николаевич — живой, бодрый, с едва уловимой доброжелательной улыбкой на губах, одетый в светлую фланелевую блузу, перетянутую ремнем. По портретам, какие мне приходилось видеть и в музеях, и в печати, я представлял себе его иным — суровым, большого роста и вообще не похожим на обыкновенных смертных, — на самом деле я увидел самого обыкновенного старика русского типа, с густыми, нависшими бровями над остро глядящими голубыми глазами, с некоторой барской осанкой в поступи и манере держать свою прямую и крепкую фигуру. После обычных слов приветствий Лев Николаевич заговорил о моей галерее и поинтересовался, кто уже написан. Я назвал человек пятнадцать, и Лев Николаевич почти о каждом из них спрашивал, что и в каком духе он написан.

— И сколько уже их в вашей галерее теперь?

— Больше двадцати.

— А сколько войдет еще?

— Еще, вероятно, человек шестьдесят — семьдесят.

Мне показалось, что у Льва Николаевича слегка шевельнулись брови.

— А Короленко у вас будет?

— Как же — непременно.

— Он нужен... Это хороший писатель. Его непременно напишите. Его и Куприна. Жаль, что Чехова не успели написать.

Немного помолчав, Лев Николаевич вдруг спросил:

— Когда начнете меня?

— Могу хоть и сейчас.

— Ах, как бы я желала,— вырвалось у Софьи Андреевны, — чтобы хоть вам удался Лев Николаевич, а то ни один его портрет не удовлетворяет нас вполне. У одного только Крамского похоже, но он слишком давний, молодых лет, да еще хорош Репина, что сидит за столом и пишет, подложив под себя ногу [5].

Лев Николаевич, пока Софья Андреевна это говорила, не сводил с меня глаз; он, очевидно, ждал, что я на ее слова отвечу. А что я мог ответить?

К концу завтрака прислуживавший за столом лакей доложил, что явилась группа каких-то экскурсантов и просит Льва Николаевича их принять.

— Откуда они? — спросил Лев Николаевич.

— Из Москвы: ученики каких-то мастерских.

— Хорошо. Я сейчас выйду.

У дома оказалась целая группа молодежи, человек тридцать с лишним. Загорелые, обветренные лица их были полны молодого задора и дышали чем-то затаенным, готовым сейчас же вырваться наружу и удивить.

При появлении Льва Николаевича все экскурсанты сняли шапки и тесно скучились возле него у самого крыльца.

— Вы откуда? — обратился к ним Лев Николаевич бодрым голосом, в котором одновременно звучали и глубокая нежная ласка, какой он, вероятно, всегда встречал впервые к нему обращавшихся людей, и некоторая суховатая сдержанность, естественная, когда еще не знаешь, с кем имеешь дело.

Они ответили.

И сейчас же началась беседа, производившая вначале впечатление, будто два-три вожака экскурсантов задались целью проэкзаменовать великого мыслителя и доказать ему, что они в своих взглядах, иначе, чем у Толстого, обращенных на вещи, стоят на более верной точке зрения, чем он, хоть он и великан по сравнению с ними, простыми, молодыми рабочими. А один из них почему-то упорно вертел свою речь на слове: протоплазма, произнося его бесчисленное множество раз во всех видах и падежах.

— Да вы мне о протоплазме не говорите, — оборвал его Лев Николаевич с неудовольствием, — а говорите о деле, о нужном, о том, что нам с вами ближе всего.

Мало-помалу после этих слов беседа приобрела ровный и толковый характер, и преобладающим голосом в ней, а затем и совсем доминирующим оказался в конце концов голос Льва Николаевича. Понемногу молодые, взъерошенные, беспокойные и задорные вначале лица юношей под конец умилились и приняли хороший и привлекательный вид. Чувствовалось, что они Толстым прониклись.

— Лев Николаевич, — произнес вдруг один из них нерешительным, смущенным тоном, когда беседа пришла к концу, — нам бы хотелось сняться вместе с вами, — разрешите нам это. У нас и фотографический аппарат имеется.

Лёв Николаевич улыбнулся и тотчас же согласился. Но аппарат у них оказался маленький и не совсем исправный, Софья Андреевна предложила свой.

В размещении группы, по приглашению Льва Николаевича, и мне, как художнику, пришлось принять участие.

Снявшись с экскурсантами и снабдив их своими книгами, Лев Николаевич пожелал им счастливого пути и поднялся к себе в кабинет, бросив мне мимоходом с улыбкой, как бы полушутя:

— Пользуйтесь случаем, пишите, пока я свободен...

Лев Николаевич сел.

— Так? — осведомился, повернув лицо к свету.

Я ответил утвердительно.

— Ну, в добрый час! — пожелал он.

И я начал. Кисти одна за другой забегали по полотну ⟨...⟩.

— Без контура?! — вырвалось вдруг у Льва Николаевича удивление, когда на чистом полотне появились в хаотическом беспорядке разнообразные мазки красок.

— Да, я всегда так пишу.

— Во-от вы какой! Это для меня ново. До сих пор я думал, что без контура нельзя. По крайней мере, сколько мне приходилось видеть, все пишут с контуром. Вот и Крамской, и Репин, и Ге, — прежде чем взяться за краски, рисовали углем или карандашом контур, и, сколько помню, все они возились над ним довольно долго. Может быть, ваш парижский Жан-Поль Лоран научил вас писать без контура? — Но мне пришлось сказать, что и маститый Жан-Поль Лоран пишет с контуром.

— Жан-Поль Лоран, — проговорил Лев Николаевич как бы про себя. — Какой он умный, содержательный художник!.. Я его когда-то знал лично[6].

— Мне он об этом говорил, — вспомнил я. Затем мы разговорились о Ге.

— Как живописец, он мне меньше нравится, чем как человек, — признался Лев Николаевич. — Это был удивительный энтузиаст, это был гениальный ребенок — искренний, порывистый, нежный. И вам нужно быть довольным, что вы своими первыми шагами в изучении искусства обязаны ему.

Просидев на первый раз минут двадцать, Лев Николаевич поднялся и сказал, что уйдет на время к себе. Мимоходом он взглянул на полотно.

— Кажется, начало хорошее, — был его первый отзыв.

Следующий сеанс состоялся за два часа до обеда и длился также минут двадцать. Но в это время работа значительно подвинулась вперед.

Во время второго сеанса Денисенко сидел неподалеку от Льва Николаевича и читал вслух книжку, — не помню автора, — об ужасах тюремной жизни[7]. Лев Николаевич слушал с большим вниманием, и на его лице то и дело появлялось выражение сострадания и скорби, а когда в чтении встречалось о чем-нибудь хорошем, трогательном, у Льва Николаевича появлялась улыбка удовольствия и на его глазах выступали слезы.

Я этим пользовался: я изучал все эти изменения его лица и старался запечатлеть их на полотне.

За обедом Лев Николаевич рассказал о постигшем его в этот день случае, который мог бы кончиться очень печально. Совершая обычную свою предобеденную верховую прогулку, на этот раз Лев Николаевич взял с собой и внука — сына Денисенко — и отправился с ним в лес. Долго они ездили там по неведомым тропинкам — знакомых дорог Лев Николаевич не любил, — наконец, они заметили, что они сбились, потеряли дорогу и едут по лесу неизвестно куда. На минуту приостановились, потом опять поехали, поворачивая лошадей то в одну, то в другую сторону, и выехали на полотно железной дороги, на невысокую насыпь. Поехали по ней. Но чем дальше они ехали, тем насыпь поднималась все выше и выше. Сделав по ней версты две, Лев Николаевич вдруг подумал: «А что, если поезд»? От этого у него заколотилось сердце. Действительно, мог идти поезд, и им бы некуда было свернуть: насыпь тянулась высокая, с обеих сторон крутая. А поезд, судя по времени, вот-вот должен бы быть.

Софья Андреевна укоризненно качала головой, а Елена Сергеевна тянула к себе сына.

После обеда, посмотрев еще раз на мое полотно, Лев Николаевич ушел на обычный свой послеобеденный отдых. Он унес с собой и только что полученную почту: целый ворох писем, газет и книг.

Вечером же, когда мы все собрались в столовой, он вышел к нам с десятком писем и с каким-то свертком в руках.

— Получил письмо от художника Яна Стыки. Это известный художник? — обратился Лев Николаевич ко мне.

— Да. Это — польский. Он написал большую панораму «Голгофа», — ответил я.

— Пишет, что посылает мне снимок со своей картины, на которой изобразил меня. А вот и самый снимок [8].

Мы принялись его рассматривать. Между Львом Николаевичем и изображенным на снимке белоголовым стариком не было сходства никакого. Сюжет тоже никого не удовлетворил ⟨...⟩.

На следующий день Софья Андреевна оставалась в постели, у нее оказалась температура около тридцати восьми. Лев Николаевич ходил в этот день угрюмым, молчаливым. Но позировать сел, и все время глаза его были полны внутренней напряженной работы ⟨...⟩.

В этот день Лев Николаевич позировал три раза и, видимо, был доволен, как я его изобразил. Он с любопытством подходил к полотну и простаивал перед ним несколько минут, каждый раз произнося по моему адресу волновавшие меня одобрения.

К обеду и Софья Андреевна вышла. Она тоже осталась довольна начатой работой.

Между прочим, она сказала:

— На вашу долю выпало писать самого знаменитого Толстого. Когда его писал Крамской, он был менее знаменит, чем теперь; то же самое, когда его писали потом Ге, Репин, Пастернак.

Обедать, однако, нам пришлось в этот день без Льва Николаевича и Софьи Андреевны: оба они отказались. Софья Андреевна ушла к Льву Николаевичу в кабинет, по-видимому, говорить все о том же намерении Льва Николаевича ехать в Стокгольм.

Час спустя я видел ее около дома, у цветов; она ходила возле клумб и собирала для Льва Николаевича букет. На мой вопрос, лучше ли ее здоровье, она с грустной улыбкой ответила:

— Нет, мне плохо, но я бодрюсь, держу себя, чтобы не беспокоить Левушку. Мне его здоровье дороже всего. Я все волнуюсь из-за этого Стокгольма. Я не могу допустить этой поездки, и он стоит на своем, хочет ехать. Ах, не перенесет он ее... [9]

Видя, что Софья Андреевна начинает волноваться, я поспешил перевести разговор на другую тему:

— Меня очень интересует, — заговорил я, — действительно ли Каренин написан, как некоторые утверждают, с Победоносцева?

— Нет, это только так думают. Лев Николаевич, когда писал «Анну Каренину», еще не знал Победоносцева до такой степени, чтобы мог взять его для романа. Но я его знала, еще будучи молоденькой девочкой. А когда вышла за Льва Николаевича замуж, Победоносцев мне вскоре сказал: «Мне жаль вас, графиня: вы так неудачно вышли замуж. Я должен сознаться, что ваш муж на ложной дороге и, кроме того, — он даже не умен».

Понемногу Софья Андреевна перешла в своих воспоминаниях к Тургеневу, Гончарову, Лескову и Фету.

— С последним я вела обширную переписку. У меня хранятся целые папки его писем. Ах, минувшие времена, как много они унесли хороших людей!

Затем она заговорила о Леониде Андрееве, Арцыбашеве, Зинаиде Гиппиус, — и ни о ком из них не сказала ни одного слова одобрения.

Вернувшись в дом, я встретился с Михаилом Львовичем. Этот младший сын великого писателя понравился мне своим простовато-добродушным лицом, сильно напоминающим портреты его отца в молодости. Из разговоров с ним я не без удивления узнал, что Михаил Львович был добровольцем на русско-японской войне и сражался там.

— А как же отец, — вырвалось у меня невольно.— Неужели он не мог вас удержать?

— Отец мне сказал, что понимает меня, что он, будучи на моем месте, поступил бы так же, как я.

— Да, и я вас понимаю и, будучи на вашем месте, поступил бы так же, как и вы. Но ведь «будучи на вашем месте», то есть с вашим мировоззрением, с вашим пониманием вещей. А будучи на своем месте, он, конечно, не поступил бы так, как вы. И не пошел бы, как вы, в земские начальники.

— В свое время он был и офицером и мировым посредником, — заметил Михаил Львович ⟨...⟩ [10].

На следующий день, утром, — это уже, значит, на третий день моего пребывания в Ясной Поляне, — Лев Николаевич вышел из своего кабинета и, отыскав меня внизу, в библиотечной комнате, сказал, что готов позировать.

Наверху нас ждал с недочитанной книгой о тюремных ужасах Денисенко. Он тотчас же, как только Лев Николаевич уселся и я взялся за палитру, принялся читать. В этот раз грустное выражение глаз Льва Николаевича было еще грустней, чем накануне, и я колебался: подо-

ждать ли, когда оно пройдет, сменится более радостным, или взять таким, как есть и как оно, может быть, для лица Льва Николаевича наиболее характерно. Но долго останавливаться над этим не пришлось, так как понемногу я стал входить в работу и скоро забыл обо всем, видел только формы, краски и спешил их изобразить на полотне.

Днем, около половины четвертого часа, я встретился со Львом Николаевичем в саду. Он, по-видимому, возвращался с прогулки — на этот раз пешком. Увидев меня, он приветливо мне улыбнулся и протянул руку.

Первые его слова были о портрете, затем о Крамском, о том, как давно Крамской его писал и какие оставил о себе хорошие воспоминания.

Неподалеку от дома, при взгляде на его белые стены, испещренные темными пятнами окон, мне захотелось спросить, в которой из комнат этого дома Лев Николаевич родился.

— Ни в которой, — ответил он.

— Как... А Софья Андреевна говорила, что вы родились на том кожаном диване, который стоит у вас в кабинете, и, кроме того, я где-то об этом читал.

— Да, на том диване. Но он тогда стоял вон там, — Лев Николаевич поднял палку и указал на вершины старых высоких лип. — Вот там я родился.

Видя мое недоумение, Лев Николаевич засмеялся и пояснил:

— Здесь, на этом месте когда-то стоял большой дом. Он еще цел, но далеко отсюда. И та комната в нем, в которой я родился, находилась как раз в том месте, куда я вам показал [11].

— Теперь понятно, — произнес я. — А то я сначала думал, что вы шутите.

— На свете все понятно, — сказал Лев Николаевич и затем, после некоторой паузы, когда мы подходим к дому, добавил полувопросительно: — Немного поработаем?

Минут через пять он вошел в столовую, где я уже ждал его, сидя за мольбертом.

— Вот что, Иван Кириллович, — положил он мне руку на плечо. — Не будет ли вам удобно писать меня в кабинете? Освещение там такое же... Мне сейчас не хотелось бы сидеть здесь.

Я сказал, что мне все равно, где писать, лишь бы находиться в одинаковых условиях света.

— Вот и отлично! Давайте, я вам помогу, — протянул

он было руку к мольберту с портретом. Но я поблагодарил его и в одну минуту сам перенес мольберт в кабинет. Лев Николаевич нашел все-таки чем помочь мне: вслед за мной он принес мою довольно увесистую шкатулку с красками и палитрой.

Когда мы сели, я заметил, что по лицу Льва Николаевича в этот раз пробегали какие-то радостные, еле уловимые вспышки.

— Вы сейчас, кажется, хорошо настроены, Лев Николаевич?

— Да, это верно... — Пошевелив немного губами (я забыл отметить, что Лев Николаевич, как все старики, довольно часто шевелил губами, точно что-то жевал), он добавил:

— Я ей уступил, сказал, что не поеду.

— Но ведь вам так хотелось ехать?

— Да, и оттого, что мне так хотелось ехать, а меня просили этого не делать и я наконец уступил, мне теперь и радостно, что сумел уступить ‹...› [12].

Во всем доме царила тишина, лишь изредка чуть доносилось отдаленное постукивание пишущей машинки. Это Александра Львовна и Варвара Михайловна Феокритова перепечатывали в нижнем этаже сочинения Льва Николаевича ‹...›.

К концу сеанса, длившегося на этот раз минут сорок, Лев Николаевич опять коснулся моей галереи и тут же сообщил, что недавно получил от Леонида Андреева письмо, на которое ответил своим письмом, так как желал высказать ему то, что считал нужным и полезным для него [13].

— А вот другой писатель, тоже из этой плеяды, он, кажется, в вашей галерее имеется, — Лев Николаевич назвал фамилию, — так тот в дни революции прислал мне чуть не требование идти к революционерам и помогать им воевать с правительством [14]. Я ему ничего не ответил.

— Вы, Лев Николаевич, советуя мне написать Короленко, упомянули рядом и Куприна...

— Да, да. Я его считаю хорошим писателем: у него есть на это данные. Жаль только, что он напечатал свою «Яму», совсем нехудожественную и ненужную вещь. Когда увидите его, скажите ему это.

— Он еще не приезжал к вам?

— Нет, но мне было бы приятно его видеть [15], Поговорите с ним...

— А признайтесь, Лев Николаевич, вам очень надоедают эти посещения?

— Не все: случаются приятные, для обеих сторон полезные, имеющие смысл. Но, вообще, я хотел бы так устроиться, чтобы не люди ко мне, а я мог приходить к ним и приносить им то, что им от меня нужно, и брать у них то, что мне нужно от них, но так, чтоб это было хорошо ⟨...⟩.

Александра Львовна ушла к Софье Андреевне и вернулась с просьбой позволить ей снести портрет к матери.

Не знаю, насколько хорошо могла Софья Андреевна разглядеть портрет в полутемной комнате и лежа в постели, но она нашла его удачным, — так, по крайней мере, передала мне Александра Львовна, — единственное, над чем она посоветовала мне еще немного поработать, это — губы.

Я сказал об этом Льву Николаевичу, и мы опять на несколько минут присели к мольберту. Когда после этого портрет был еще раз показан Софье Андреевне, а затем вручен мне с сообщением, что теперь губы одобрены, я перенес его в свою комнату и там запаковал ⟨...⟩ [16].

Б. С. ТРОЯНОВСКИЙ

У ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

С 1904 года[1] делом моей жизни стала пропаганда замечательного старинного русского музыкального инструмента, незаслуженно забытого и считавшегося инструментом «низшего сорта». Этот инструмент — балалайка.

Пропагандируя музыку русского народа, я объездил со своей балалайкой не только всю Россию, но побывал в Берлине, в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, везде пользуясь успехом[2].

Обо мне услыхал Лев Николаевич Толстой. В мае 1909 года он написал мне[3], приглашая погостить к себе в Ясную Поляну. Я приехал. Несколько дней Лев Николаевич не отпускал меня и каждый вечер слушал мою игру. Особенно нравились ему в переложении для балалайки русские народные песни[4].

Однажды во время перерыва Лев Николаевич вышел к себе в кабинет, а в это время Софья Андреевна попросила меня сыграть «Соловья» Алябьева, который ей и Льву Николаевичу особенно нравился. Возвратясь в столовую, Лев Николаевич сказал:

— Я буквально слышал нежный женский голос! Когда слушаешь балалайку издали, получается полная иллюзия пения. Удары пальцев по струнам, слышные здесь вблизи, на расстоянии совершенно исчезают, и издали слышится только один чистый певучий звук.

Я рассказывал Льву Николаевичу о том предубеждении, с которым отнеслись к балалайке музыканты: большинство вовсе не признает ее музыкальным инструментом. Толстой ответил:

— Это именно и хорошо, что вы работаете на той почве, которая никем еще не разработана, и что ваше искусство — совершенно самобытное, своеобразное[5].

На прощание Лев Николаевич подарил мне свой портрет с надписью: «Борису Сергеевичу Трояновскому как выражение благодарности за большое, давно неиспытанное удовольствие, доставленное мне его самобытно-талантливой игрой. Лев Толстой, 6 июня 1909 г.».

Перед моим отъездом Софья Андреевна Толстая пожелала сфотографировать меня со Львом Николаевичем для своего альбома. Снимок получился удачный.

Поблагодарив гостеприимных хозяев, я уехал из Ясной Поляны, на всю жизнь сохранив благодарные, теплые воспоминания о гениальном писателе ⟨...⟩.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ЗА ПОЛГОДА ДО СМЕРТИ

Важен день, когда впервые увидишь человека, да когда этот первый раз по воле судьбы останется и единственным: налагает свою печать природа.

И Лев Николаевич Толстой, которого я видел один и единственный раз, навсегда останется для меня в ореоле чудесного апрельского дня, в весеннем сиянии солнца, в ласковых перекатах и благодушном погромыхивании апрельского грома. Пусть он сам знал и осени дождливые и зимы: для меня, случайного человека, он явился весною и весною с последним взглядом ушел.

Конечно, я боялся его, —а дорога от Тулы длинная, и бояться пришлось долго. Конечно, я не доверял ни ему, ни себе, и вообще ничему не верил: был в полном расстройстве. И, уж конечно, не обрадовался я, когда показались знаменитые яснополянские белые столбы, хотя от самых ворот начал фальшиво улыбаться: ведь из-за любого дерева мог показаться он.

И все это нелепое прошло сразу, положительно сразу, при первом же взгляде, при первых же звуках разговора и привета. Я говорю «звуках», потому что слов первых я все-таки не расслыхал. И оттого ли, что так хорош был весенний день и так хорош был сам Лев Николаевич, — я ничего дурного не заметил ни в людях, ни в отношениях, ни единой дурной черточки. Пробыл я сутки и за сутки много беседовал и с Львом Николаевичем, и с Софьей Андреевной, и с другими, и все люди показались мне прекрасными: такими я вижу их и до сих пор и буду видеть всегда.

Всего шесть месяцев отделяло Льва Николаевича от смерти, и уже было, значит, то, что привело его к страшному решению покинуть дом и семью, но я решительно ничего не заметил. И наоборот: многое в словах Софьи

Андреевны и в ее обращении с мужем тронуло меня своей искренной любовностью, дало ложную уверенность в том, что последние дни Льва Николаевича проходят в покое и радости[1]. Не допускаю и мысли, чтобы здесь с чьей-нибудь стороны был сознательный или бессознательный, привычный с посторонними, обман; объясняю же я свою ошибку тем, что было в ихней жизни две правды, и одну из этих правд я и видел. Другой же правды не знает никто, кроме них, и никто теперь не узнает...[2]

Но что другие... Смотрел я больше всего на Льва Николаевича, и его больше всего помню, и вот каким его увидел.

Ни суровости, которая во всех его писаниях и портретах, ни жесткой остроты черт, ни каменной твердости наваленных одна на другую гранитных глыб, ни титанической властности, подчиняющей себе и всю жизнь и всех людей, — ничего этого не было. Когда-то оно было, когда-то именно оно и составляло Льва Толстого, но теперь оно ушло вместе с годами и силой. С правильностью почти математической завершая круг своей жизни, пришел он к мягкости необычайной, к чистоте и беззлобию совсем детскому.

Эта мягкость была настолько необыкновенна, что не только виделась, а как бы и осязалась. Мягкие седые волосы, нематериальные, как сияние, мягкий стариковский голос, мягкая улыбка и взгляд. И идет он так мягко, что не слышно шагов, и одет он в какую-то особенно мягкую фланелевую блузу, и шапочка у него мягкая... Мне пришлось после дождя, промочившего мою шляпу, некоторое время погулять в этой шапочке: и положительно было такое чувство, будто и у меня от шапочки волосы стали седые и мягкие.

И я думал все время: «Где еще в мире можно встретить такого благостного старца? И чем стали бы мир и жизнь, если бы не было в нем такого старца?» Извиняюсь за личное свое, но без него при таком воспоминании никак не обойдешься: не печаль, и не страх близкой всем нам смерти, и не сомнения в смысле нашей человеческой жизни ощутил я от соседства с великим старцем, а весеннюю небывалую радость. Вдруг погасли сомнения, и легким почувствовалось бремя жизни, оттягивающее плечи; и то, что казалось в жизни неразрешимым, запутанным и страшным — стало просто, легко и разрешимо.

Вот мы идем весенним лесом, и напрасно стараюсь я не утомить Льва Николаевича быстротою: он шагает бы-

стрее и легче меня и разговаривает на ходу без одышки. Уже и дуб зазеленел, в низинах мокро по-весеннему, выдавливается вода под ногою — Лев Николаевич легко прыгает по кочкам и бугоркам, ловко идет по краю, не обходит и широкую канавку. Я кружусь без дороги, а для него тут все родное и знакомое; вот пересекаем поляну с весенними цветами, и, смотря вниз, тихо и как бы для себя, он произносит стихотворение Фета о весне; о цветах и о радостях весенних.

Заходит гроза: слева еще солнце, а справа небо между листвой черно, и погромыхивает гром; впрочем, не сердито. Но ведь он же промокнет, а как сказать? Хлынул дождь, и опять неразрешимая задача: идти шагом — он промокнет до нитки; бежать — но он едва ли может бегать? Оказывается, может: бежит впереди меня, поспешает к чему-то в листве белеющему. Какой-то каменный флигель, старинное каменное крыльцо с навесом: там и укрываемся у старой запертой, нежилой двери, а дождь кругом струнно и весело гудит, и откуда-то беззаботно светит солнце.

Льву Николаевичу весело, что удалось промокнуть, он улыбается, живет [3]. По аллее идет пестрая в красных цветах баба, сарафан задрала на голову и бессмысленно улыбается круглым без выражения лицом.

— Дурочка! — коротко поясняет Лев Николаевич и весело зовет: — К нам иди, Палаша, у нас сухо.

Теперь нас трое у запертой двери; теснимся; Лев Николаевич оживленно и весело спрашивает:

— Попортила наряд, Палаша? Хороший у тебя наряд.

— Намокла! — туго ворочая губы и все так же улыбается круглое лицо.

— Высохнешь, не бойся.

А от недалекого дома уже бегут со всяким платьем: послала на выручку Софья Андреевна, и сама беспокойно ждет у дверей, под редкими уже каплями дальше пошедшего дождя.

Вот обед. Лев Николаевич против меня, и сперва мне неловко видеть, как стариковски, старательно и молчаливо жует он беззубыми деснами; но он так правдив и прост в этой стариковской своей беспомощности и старательности, что всякая неловкость проходит. Окна открыты. С бубенцами и колокольчиками, разгульно подъезжает кто-то пьяный, и сын Льва Николаевича идет узнать, можно ли его принять. К сожалению, нельзя: пьян.

— Совсем пьян? — спрашивает с недоверием Лев Николаевич.

— Совсем. С ним товарищ, так тот еще пьянее.

— Скажи ему, чтобы трезвый приехал.

— Я уж говорил, да он говорит, что трезвый не может: боится.

Так же разгульно отчаливают бубенцы и колокольчики: уехал. Старательно жует Лев Николаевич, но уже видно, что он в раздумье — подводит итог посетителю-неудачнику. Останавливается и говорит как бы для себя:

— Люблю пьяниц.

Прозвучало это так хорошо, что здесь трудно передать.

Вот сумерки. Открыто окно в парк, и там еще светлеет, а в большой комнате неясный и тихий сумрак, и люди темнеют живыми, мало подвижными, задумчивыми пятнами. У окна — Лев Николаевич: темный силуэт головы с светлыми бликами на выпуклостях лица, светлая блуза; и чувствуется, как весь он охвачен свежим и душистым воздухом вечера, дышит им глубоко и приятно. И, глядя на него, говорит Софья Андреевна с простотою долгой жизни:

— Левушка намного старше меня. Умрет он — что я тогда буду делать?

Не знаю, слыхал ли он эти слова.

Вот вечерний чай. Лев Николаевич читает вслух, волнуясь, статью Жбанкова о самоубийствах[4]. Кажется, так — я, каюсь, плохо слушал, был занят тем, что врубал в свою память его лицо. И многое заметил, чего не знал раньше по портретам, и особенно удивлялся его чудесному лбу: под светом лампы он выделялся с скульптурной четкостью. И наиболее поразило меня то, что брови были как бы во впадине, а над бровями начиналась мощная выпуклость лба, его светлый и просторный купол. И ничего другого в этот час я не видел, а пожалуй, и не слыхал, кроме этой огромной и загадочной, великой человеческой головы.

⟨...⟩ А вот и прощанье — тогда я не думал, что последнее, рассчитывал вскорости опять приехать. Но — вышло последнее. На мгновенье, которого нельзя ни сознать, ни запомнить в его глубине, приблизились ко мне и дали поцелуй его уста... и все ушло.

Возвращаясь в Тулу все под тем же весенним солнцем, я думал, что жизнь есть счастье.

Н. АЛЬМЕДИНГЕН

ДВА ДНЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В сырое, неприветливое утро, 24 октября 1910 г., по ухабистой дороге, в небольших домодельных розвальнях, я вновь подъезжала к Ясной Поляне. Дул пронизывающий ветер. Мелкие льдинки отскакивали из-под копыт быстро бежавшей лошади. Кругом было хмуро и тоскливо: бурая земля, которую внезапно наступившая оттепель обнажила из-под снега; кой-где на ней пятна сереющего снега; холмы, сменяемые неглубокими оврагами; очень черные леса и перелески; и надо всем — серое, холодное, скучное небо.

С глубоким волнением, к которому примешивалось и неприятное сознание, что я — один из тех бесчисленных посетителей, которые наводняют дом Толстых, а Льву Николаевичу и не нужны и беспокойны, подъезжала я к Ясной Поляне. А от сумрачного раннего утра, от пронизывающей сырости тоскливо делалось на сердце...

Вот и парк, который я помню таким прекрасным, а теперь такой неприветливый и угрюмый. Два белых столба у въезда в него, потом прямая аллея старых, развесистых берез вперемежку с молодыми елями, которые подсаживают на место гибнущих деревьев; дорога внезапно поворачивает направо — и передо мною дом, простой, некрасивый, белый под зеленой крышей. Крылечко низенькое, вроде узкого балкончика, зеленая входная дверь низка и почти убога 〈...〉.

Прошло довольно много времени. Я стояла у окна и смотрела на маленький двор, окруженный службами и низкой стеной; изредка по нему пробегала прислуга. Медленно капало с оголенных деревьев. В жарко натопленной

комнате даже не чувствовалась струя свежего воздуха из отворенной форточки.

В доме стояла та же тишина. Я осторожно открыла дверь на площадку лестницы и остановилась на пороге. И в ту же минуту, должно быть, от сквозняка, скрипнула другая дверь, наискосок, и чей-то глубокий мужской голос громко спросил:

— Софья Андреевна? Соня, ты?

Я догадалась, чей это голос, испугалась и захлопнула дверь.

Позже меня провели в залу. Она — вся белая, большая и очень светлая, чрезвычайно просто обставленная. Украшают ее только старинные портреты предков — а на стене напротив портреты Льва Николаевича и членов его семьи работы Репина, Серова, Крамского, Ге. На подзеркальниках двух старинных зеркал и на столе лежали журналы, на рояле — почта. Много цветов — бледных хризантем и левкоев — стояло на окнах, и в комнате пахло левкоем.

Дом ожил. После общего кофе в зале закипела работа в проходной комнате, примыкающей к комнатам Льва Николаевича и служащей кабинетом для его секретарей. Там разбирали почту, делали посылки для разных школ и библиотек, обращавшихся к Льву Николаевичу с просьбами о высылке книг, стучали ремингтоны. С другой стороны, шла обычная суетливая утренняя жизнь большого дома: по двору и по лестницам бегала прислуга, убирали со стола и вновь накрывали. Спокойствием веяло только от плотно запертой двери, ведущей из залы в проходную гостиную, за которой кабинет и спальня Льва Николаевича.

Как и в первый мой приезд, его не было с нами, а разговоры были почти только о нем. Но присутствие его неуловимо сказывалось во всем: и в кипучей деятельности всех домашних, и в этой плотно запертой двери, за которой такая таинственная тишина, и в особой заботливости, с какой Софья Андреевна торопила прислугу с завтраком, оглядывала стол, переставляла что-то у прибора по правую ее руку, пододвинула к нему соломенное кресло. Потом она ушла ненадолго и, вернувшись, сказала, что Лев Николаевич выйдет завтракать. Сердце у меня забилось ⟨...⟩.

Он вошел совсем не из той двери, как я думала, а с площадки лестницы. Послышались твердые, быстрые ша-

ги, и едва я успела обернуться на них — Лев Николаевич уже был в комнате. Он шел прямо на меня и, подойдя почти вплотную, остановился. «Здравствуйте», — сказал он, слегка и быстро склонившись всей фигурой, крепко пожал мне руку и, обойдя стол, сел напротив меня.

Пока он подходил и здоровался, я успела только заметить, что он меньше и бодрее, чем я думала, и что он совсем, совсем другой. Сказать я ничего не успела, да если бы и успела, не сказала. При первом взгляде на него я поняла, что, конечно, ничего говорить было не нужно.

Лев Николаевич вынул салфетку из кольца, придвинул отдельно для него поданный горшочек и стал выгребать из него что-то на тарелку. Эти несколько секунд я смотрела на него, не отрываясь.

Теперь он мне показался очень, очень старым, и в душе я почувствовала едва уловимое разочарование: в нем не было ничего великого, ничего необычайного. Болезненное, усталое лицо было изрыто глубокими морщинами, как-то еще подчеркивавшими некрасивость грубых черт; редкая седая борода лежала на синей рубашке, ворот которой был небрежно расстегнут и оголял морщинистую шею; очень сутулые плечи заставляли его казаться почти маленького роста; некрасиво и сурово выделялись выпуклые лобные кости и особенно нависшие седые, косматые брови; беззубый рот ввалился. Бросался в глаза нежный, белый цвет лица и больших, но показавшихся мне красивыми рук.

Но вот он поднял на меня глаза. Из-под суровых бровей они взглянули на меня, серовато-голубые, светлые, блестящие. И взгляд их был не суров, — напротив, необыкновенно глубок и необыкновенно мягок. Этот взгляд обдал меня теплом.

— Вы из Петербурга? Я слышал, издаете журналы? Ну, как же они идут у вас?

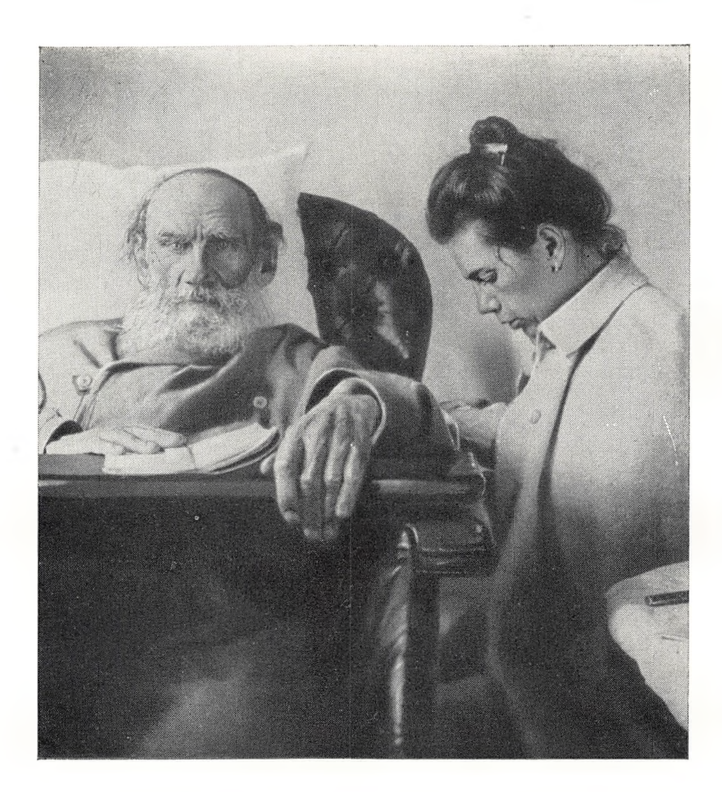
Он сказал это, прямо глядя на меня, и меня поразило соединение шамкающей, стариковской речи его беззубого рта и молодого звука мягкого и сильного голоса.

Я назвала цифры подписчиков.

— Ого, это много. А трудное, трудное это дело. Я занят как раз теперь мыслью о том, что нас одолевает это количество выпускаемых книг, мы завалены печатной бумагой. А как отыскать среди этого хорошее. Трудное, трудное ваше дело и ответственное.

Ясная Поляна. Въезд в усадьбу Л. Н. Толстого. 1908 г.
Фотография К. К. Буллы.

С. А. Толстая, Л. Н. Толстой, В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург.
1900 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



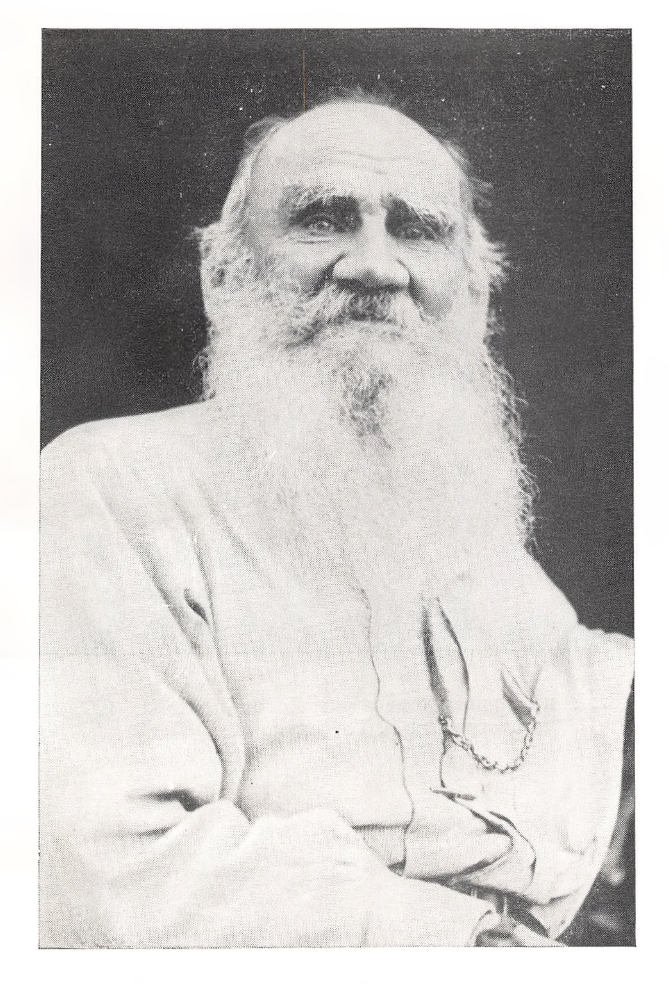
Л. Н. Толстой с дочерью Т. Л. Толстой-Сухотиной.
1902 г. Гаспра. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой в гостях у А. Б. Гольденвейзера в Телятинках. 1905 г.
Фотография В. Г. Черткова.

Л. Н. Толстой и А. Ф. Кони. 1904 г. Ясная Поляна.
Фотография С. А. Толстой.

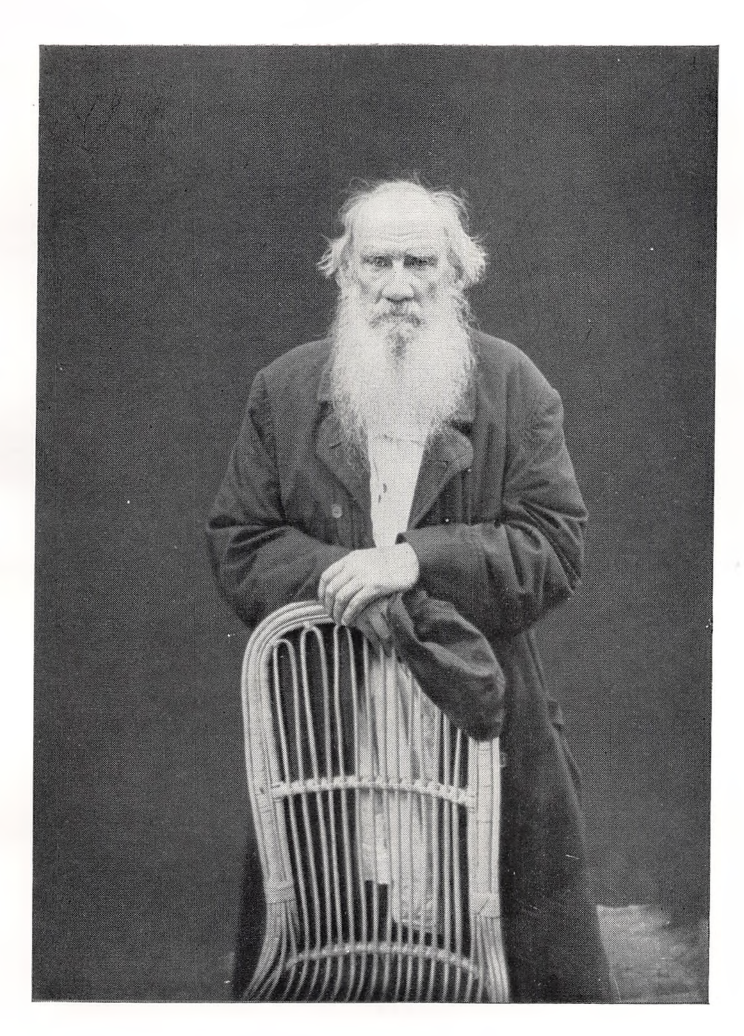
А. Б. Гольденвейзер и С. И. Танеев в зале яснополянского дома. 1906 г. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой. 1907 г. Ясенки.
Фотография В. Г. Черткова.



Л. Н. Толстой на окраине деревни Ясная Поляна. 1908 г.
Фотография В. Г. Черткова.



Л. Н. Толстой. 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография К. К. Буллы.

Л. Н. Толстой в яснополянском кабинете. 1908 г.
Фотография К. К. Буллы.

Л. Н. Толстой с Делиром. 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография К. К. Буллы.

Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 27 августа 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.

Л. Н. Толстой в день своего рождения 28 августа 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой с сестрой М. Н. Толстой. 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.

Л. Н. Толстой за работой. 1909 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова.



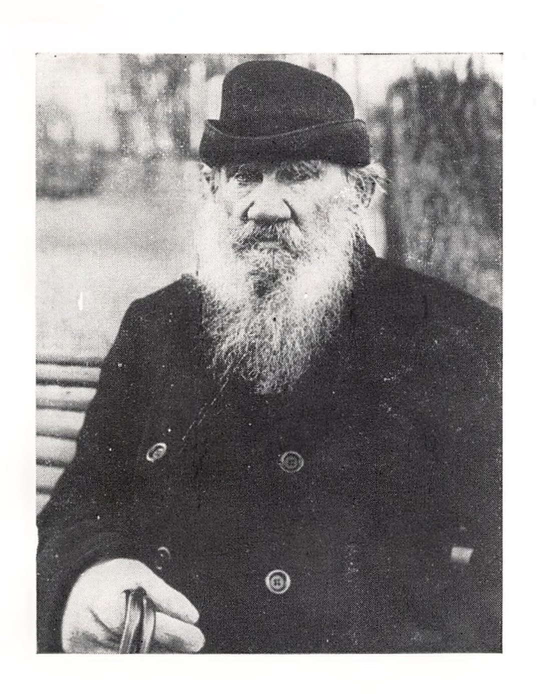
Л. Н. Толстой и Н. Н. Гусев в «ремингтонной». 1909 г.
Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.

Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий. 1909 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова.

Л. Н. Толстой в яснополянском парке. 1909 г. Фотография В. Г. Черткова.

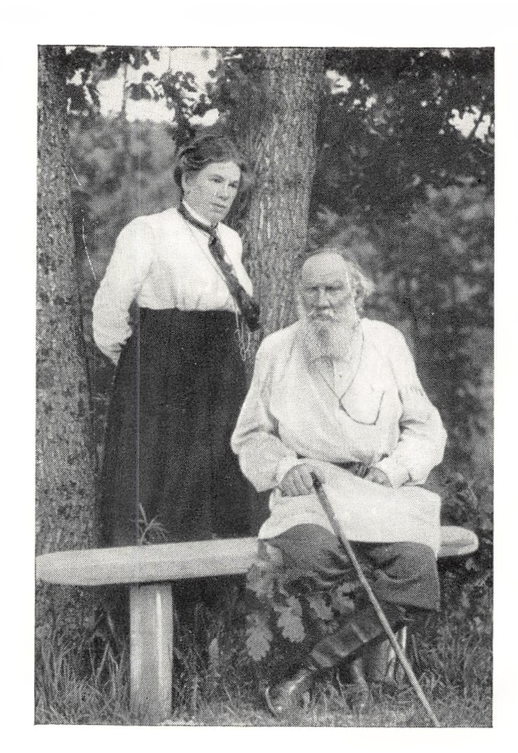


Л. Н. Толстой среди крестьян в Троицын день. 1909 г. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.



Л. Н. Толстой. 1909 г.
Ясная Поляна.
Фотография
Отто Ренара.

Л. Н. Толстой рассказывает сказку об огурце внукам Соне и Илюше. 1909 г. Крекшино.
Фотография
В. Г. Черткова.



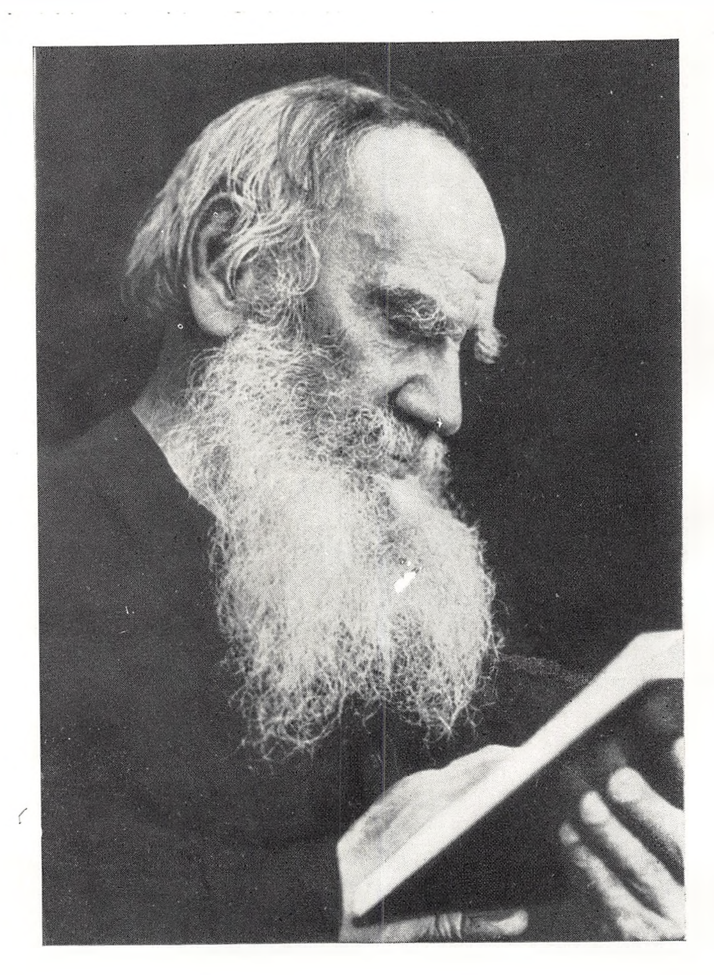
Л. Н. Толстой с дочерью Т. Л. Сухотиной. 1910 г. Затишье. Фотография В. Г. Черткова.

Л. Н. Толстой в группе друзей и знакомых. 1910 г. Мещерское. Фотография В. Г. Черткова.



Л. Н. Толстой и А. П. Чехов.
1901 г. Гаспра.
Фотография С. А. Толстой.

Л. Н. Толстой и А. М. Горький
в Ясной Поляне. 1900 г.
Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой. 1910 г. Кочеты.
Фотография В. Г. Черткова.

Он продолжал все так же прямо смотреть на меня, и я начинала понимать, почему он показался мне совсем другим, чем на портретах. Ни один портрет не мог бы передать ни взгляда, ни голоса, ни выражения его лица. Под этим пронзительным, но ласкающим взглядом таял мой страх.

— Вот вы издаете «Солнышко», — продолжал Лев Николаевич. — Предназначается оно для народа. А сколько стоит? Десять копеек книжечка? Это дорого. Вы не находите?

Я не успела опомниться, как уже отвечала ему что-то. Страх мой окончательно исчез, а из головы вылетели все готовые, с собой привезенные мысли о том, как я буду разговаривать с ним. Он говорил о вещах, которые были мне близки и дороги, и говорил со мной, как равный с равной, так что отвечать делалось просто и легко.

— Дорого это, — продолжал он. — Книжка для народа не должна стоить дороже одной-двух копеек. Но как издавать за эту цену? Ведь вот вам и так трудно, а «Посредник» свои копеечные издания продает в убыток. Да и вообще, раз только в дело примешивается денежный вопрос, оно портится. Да и всякое дело и всякие отношения.

Лев Николаевич замолчал и принялся за еду. И опять, когда он перестал смотреть на меня, меня поразили его глубокие морщины, болезненное и грустное выражение его лица. Поразило меня также, как некрасиво он ел: вероятно, ему было трудно жевать, и все мышцы лица принимали участие в этой работе. Все лицо у него двигалось, даже нижние веки и щеки как-то резко подымались и опускались около крупного носа. Но спустя несколько мгновений он положил вилку, поднял на меня глаза — и лицо его снова показалось мне прекрасным.

— Последние ночи я часто, когда не сплю, думаю над этим, — продолжал он прерванный разговор. — Чтение для детей и для юношества, особенно для крестьянских детей, — очень, очень важный и трудный вопрос. Если дано мне будет еще несколько месяцев жизни, займусь им опять.

Я сказала Льву Николаевичу, что четыре года тому назад, когда готовилась юбилейная книжка «Родника», мы просили его написать для нее несколько слов обращения к русскому юношеству.

— И что же я? Неужели не ответил вам? — быстро и заботливо спросил Лев Николаевич ⟨...⟩ [1].

Поднимаясь из-за стола, Лев Николаевич сказал:

— Софья Андреевна говорила мне, что вы привезли «Солнышко» в подарок для моей внучки. Дайте мне книжечку, я просмотрю, ну, хоть первую книжечку дайте. Только я строг.

Он улыбнулся — и мгновенный свет разлился по всему его лицу, глаза сверкнули немножко лукаво, и резкие черты приняли вдруг необыкновенно добродушное выражение. Он взял одну книжечку «Солнышка» и своей твердой походкой, слегка покачиваясь из стороны в сторону, скрылся за дверями гостиной.

Через полчаса с верхней площадки лестницы я смотрела, как Лев Николаевич снаряжался на прогулку. Теперь он совсем стал похож на мужика. Синий тулуп он туго перетянул ременным поясом. Меховая шапка была низко надвинута на лоб и подвязана башлыком; на руке висел кожаный хлыст. Едва он вышел на крыльцо, его обступило несколько человек крестьян, поджидавших его на дворе. Они заговорили все разом, а некоторые бабы упали в ноги. Лев Николаевич поднимал их, беспомощно поворачивался то к одному, то к другому, роздал им денег и, едва протолкавшись между ними, наконец, легко вскочил на свою черную лошадку. Доктор сел на другую, и они мелкой рысцой выехали со двора. А людей этих Александра Львовна отправила на кухню, чтобы их накормили и обогрели.

Софья Андреевна позвала меня гулять. Мы прошли через плодовый сад и пошли по так называемой «купальной» дороге, по которой летом ходят на речку купаться. Было совсем тихо и уже начинало смеркаться. Рыхлый, ноздреватый снег проваливался под ногами, моросил мелкий дождь ⟨...⟩.

Софья Андреевна замолчала и задумалась. Мы пошли дальше и скоро увидели двух всадников [2]. Они поднимались от берега речки на бугор, прямо по снегу, и смутно чернели вдалеке. Мы закричали им, и через несколько минут они подъехали к нам.

Лев Николаевич, очевидно, устал, а может быть, и на него влияла щемящая грусть умиравшего дня. Он совсем сгорбился, глаза его потухли и казались светлыми, почти белыми. Он на мгновенье попридержал лошадь и, рассеянно ответив на какой-то вопрос, поехал по направ-

лению к дому. Старым-старым показался он мне, больным и усталым, и жаль стало, зачем мы остановили его и, быть может, помешали тем важным думам, которые занимали его во время молчаливой прогулки по любимым его местам.

Через какие-нибудь два часа все вновь собрались в зале к обеду. Лев Николаевич опять вышел последним. Он был уже совсем другой — бодрый, свежий. Тотчас же начал он оживленный разговор, и о чем, о чем только не говорили: и о последних новинках литературы и театра, и о политических событиях, и о разных мелочах жизни. На все, о чем бы ни говорили, Лев Николаевич отзывался тотчас же и с увлечением. «Да что вы? Неужели? Удивительно интересно! Скажите, как любопытно!» — восклицал он постоянно. И начинало казаться, что действительно жизнь человеческая, во всех ее проявлениях — удивительно интересная вещь, если этот старый, старый человек, свои силы положивший на разрешение труднейших ее загадок, с таким неподдельным увлечением, с таким глубоким, жадным вниманием впитывает в себя все эти новости далеких больших городов.

Посидев часок с нами, Лев Николаевич ушел к себе, а скоро секретарь его передал мне книжечку «Солнышко», которую он взял утром для просмотра. Я машинально перевернула несколько страниц и вдруг вижу, что над каждой статьей стоит отметка карандашом: 2, 4, 3, а над всеми стихотворениями — 0 ⟨...⟩.

На следующее утро Софья Андреевна встретила меня словами:

— А Лев Николаевич сегодня рано пришел в залу, разыскал ваше «Солнышко» и куда-то ушел с ним. Должно быть, в школу. Хоть он и ничего не сказал вам вчера, но, значит, оно ему понравилось.

Лев Николаевич вспомнил о «Солнышке» — он, занятый такими важными думами, такой огромной работой! Это и обрадовало и поразило меня.

Но велико было мое изумление и волнение, когда скоро послышались знакомые шаги, и Лев Николаевич, только что вернувшийся с прогулки, против обыкновения, не прошел прямо к себе, а вошел в залу и подошел ко мне, утирая большим платком капли изморози на лице и на

бороде. Сердце у меня забилось: я уже не боялась говорить с ним, когда он незаметно для меня самой втягивал меня в разговор — но в первое мгновенье, каждый раз, когда он подходил ко мне, мне становилось страшно.

— Что же это вы у меня вчерашнюю книжечку стащили? — строго спросил Лев Николаевич, улыбаясь одними глазами.— Как она к вам попала?

— Ее передали мне после того, как вы ее просмотрели, Лев Николаевич.

— Да это недоразумение какое-то! — всполошился Лев Николаевич.— Я просто хотел, чтобы ее положили вместе с остальными в зале. Ах, какая досада!

Видно было, что Лев Николаевич искренно огорчен случившимся.

— Ведь отметки я для себя, вовсе не для вас ставил,— продолжал он.— Я всегда ставлю себе для памяти, когда читаю. А я-то искал эту книжечку! Знаете, я ведь остальные только что отнес в нашу школу. Я прямо оттуда сейчас.

Он подошел к столу, усадил меня, сам сел рядом в большое соломенное кресло и особенно ласково и значительно заговорил:

— Вы не думайте, что я судил вас строго. Знаю, что это страшно, страшно трудное дело. Люди думают, что ж тут такого: написал — и все. А между тем для детей, да еще крестьянских, писать всего труднее. Ведь они гораздо серьезнее и гораздо большего требуют, чем думает большинство взрослых. И давать им нужно или что-нибудь очень хорошее и глубокое, или просто веселый пустячок, анекдот какой-нибудь, который они будут весело вспоминать. А что над стихотворениями я ноль поставил — так стихов я совсем не признаю. Из всей нашей литературы признаю десятка два, не больше. Это пагубная страсть какая-то, что все пишут стихами. И не надо поддерживать в людях эту страсть: она не лучше, чем всякая другая...[3] А вы — как можно больше проверяйте ваш журнал на тех, для кого он предназначается. Читайте его вместе с детьми, заставляйте их пересказывать. Я сейчас просил учителя сегодня же прочесть с детьми хоть одну книжечку вашего «Солнышка». После завтрака поеду туда и поговорю с ними, посмотрю, как они поняли, что запомнили. Если хотите, соберитесь тоже.

— Еще бы не хотеть, Лев Николаевич!

— Да, я думаю, что это для вас и полезно и интересно

будет, — полувопросительно, полуутвердительно сказал Лев Николаевич.— Только надо экипаж велеть заложить, а то вам не дойти,— заботливо добавил он.— Такая грязь сегодня! Я через овраг едва шел, а когда вылезал из него, так руками себе помогал.

Боясь, что учеников распустят раньше, чем мы приедем, Лев Николаевич уехал тотчас после завтрака, а экипаж что-то долго закладывали. Когда мы подъезжали к маленькому домику, стоящему на краю деревни, я еще издали на крыльце с навесом увидала Льва Николаевича, который поджидал нас. Башлык его был накинут на плечи, и резкий ветер трепал его седую редкую бороду. Из-за его спины, в дверях, выглядывало несколько детских лиц.

— Вот, думал я вам удовольствие доставить, да не удалось,— встретил меня Лев Николаевич,— учитель не понял меня, не понял, что это так спешно, и не выбрал времени для чтения. Я роздал сейчас книжки одиннадцати лучшим ученикам. Поговорите с ними, посмотрите нашу школу, а я поеду.

Мы вошли в избу, а Лев Николаевич отправился на свою обычную прогулку.

Вернувшись, он опять, не заходя к себе, прошел в залу. Он весь искрился каким-то особенным оживлением; ни следа утомления от верховой прогулки после нескольких часов работы и утренней ходьбы по грязи и под дождем не было заметно на его свежем, улыбающемся лице. Глаза сияли.

— Что с нами сейчас было! — тотчас же начал он рассказывать, стоя, заложив руки за кожаный пояс.— Каких чудесных ребятишек мы встретили! Заехали мы с Душаном Петровичем далеко, дорога ужасная. Вдруг видим,— кучка детей столпилась. Подъезжаю — оказывается, из школы идут по домам, из дальних деревень. Окружили одного самого маленького. Говорят, он устал очень, а идти ему еще далеко. Я и говорю: «Полезай ко мне на лошадь, я тебя довезу». Славный такой мальчишка, маленький совсем. Душан Петрович слез с лошади и посадил его ко мне за спину. Так что ж вы думаете? Лошадь моя как затанцует — и ни с места! Пришлось мальчишку спустить на землю. Жаль! Какие славные ребята!

Лев Николаевич говорил все это с непередаваемой добротой и лаской. Видно было, что эта встреча произвела на него какое-то особенно хорошее впечатление.

За обедом он дочери опять повторил свой рассказ, с тем же жаром.

— Чудесные ребятки! — повторял он умиленно.— Да, для них надо и стоит работать.

Когда встали из-за стола, Лев Николаевич сделал несколько шагов по зале, повернулся к нам и засмеялся.

— Вот, когда пройдусь так после обеда, всегда вспоминаю один анекдот, — сказал он. — «После пищи́». Вы знаете? Ах, это очень забавно. Один человек приходит к знакомому и видит, тот ходит из угла в угол и пищит. «Что с тобой? — спрашивает пришедший. — Отчего ты пищишь?» — «Это мне такое лекарство прописано», — отвечает тот. «Так и на рецепте сказано: «два часа после принятия пищи». Нет, постойте, так не может быть, — перебил себя Лев Николаевич.— Наверное: «через два часа после принятия пищи». Нет, и так не выходит! Как же это было? Забыл!

Все наперерыв стали придумывать, но у нас ничего не вышло, и так мы и не добились, что же стояло на рецепте.

— Обычная история!— засмеялся Лев Николаевич.— А жаль — такой забавный анекдот. Ну, нечего делать...

Наступил вечер. На большом круглом столе в углу залы зажгли лампу под огромным белым абажуром. Лев Николаевич сыграл две партии в шахматы с приехавшим на несколько часов старшим сыном, потом перешел в свое любимое огромное, старинное кресло, с высокой спинкой, обитое старым розовым штофом и стоявшее у двери в гостиную. Софья Андреевна вполголоса разговаривала в другом конце комнаты с сыном. Остальные разошлись.

Тихо было в зале. Лев Николаевич сидел неподвижно, и казалось, что он задремал.

Через несколько часов мне надо было уезжать и было грустно. Я машинально перелистывала номер журнала, который лежал передо мной на столе, а сама смотрела в открытую дверь, сквозь которую был виден скромный кабинет Льва Николаевича и дальше, сквозь следующую дверь, его спальня. Мне видна была его кровать с портретом умершей дочери[4] над нею, а в кабинете — угол письменного стола и низенькая этажерка около него, заваленная книгами. Белые штукатуренные стены без обоев придавали обеим комнатам строгий вид.

Наконец я тихонько встала и пошла положить книжку на стол у окна, недалеко от кресла Льва Николаевича.

Вдруг он негромко окликнул меня. Я подошла и стала вплотную у его кресла. Он сидел все так же неподвижно, заложив ногу на ногу и опираясь локтями о ручки кресла. Он только голову повернул слегка в мою сторону, и мой взгляд встретился со спокойным и мягким взглядом его блестящих глаз.

— Что вы читали? — тихо спросил Лев Николаевич.

Он говорил медленно и часто дышал. Должно быть, ему было тяжело дышать.

Я назвала статью. Он сказал о ней несколько слов, а затем, все так же смотря прямо мне в глаза, продолжал:

— А я вот все думал о вашем деле. Трудное, трудное это дело. И какая ответственность! Главное, не забывайте об этом. Постоянно проверяйте себя, ищите лушего. Никогда не будьте довольны тем, чего добились.

Я сказала Льву Николаевичу, что отец мой, 27 лет издававший «Родник», ни разу, кажется, не был вполне доволен вышедшей книжкой [5].

— Вот это вы хорошо про него сказали,— подхватил Лев Николаевич.— Это очень хорошо. Так и должно быть. Только при таком отношении, таком постоянном искании лучшего, дело может совершенствоваться. А давать детям, особенно крестьянским, хорошую книгу — такое важное, нужное дело. Ужасен мрак невежества кругом. Вот, состарился я, скоро умру, а как оглянусь, подумаю о том хаосе, который царит в сердцах людей,— ужас меня берет.

Лев Николаевич помолчал, потом заговорил опять:

— Жаль, что вы приехали не летом. Тогда ребятишки свободны, занятий в школе нет, и мы бы позвали их к нам, почитали бы с ними «Солнышко», заставили бы их пересказывать. Вам бы и полезно и интересно было. О будущем лете я загадывать не могу — далеко. А пока, сколько сил хватит, послежу сам за «Солнышком», просмотрю его и за старые годы, поговорю с учителем, почитаю с детьми. Если будут у вас какие-нибудь сомнения или если услышите что-нибудь новенькое по этому вопросу — пишите мне. Всегда охотно по мере сил помогу вам, а за всякое сообщение благодарен буду.

С лестницы раздались голоса — это семья сходилась к чаю.

— Ну, желаю вам успеха в вашем деле,— сказал Лев Николаевич и встал.

Очарование беседы с глазу на глаз с ним было нарушено. Я не думала тогда, что вижу и слышу Льва Николаевича в последний раз, что через два дня он навсегда уйдет из Ясной Поляны, а через две недели его не станет. Но и тогда же его слова, которые он в этот тихий вечерний час говорил мне так просто, так ласково и в то же время так значительно, показались мне заветом, который он словно торопился дать мне, случайной посетительнице Ясной Поляны, причастной к делу, которое он считал очень трудным и очень важным, прежде чем отпустить меня назад ⟨...⟩.

Лакей внес кипящий самовар.

— Пойдемте чай пить, — сказал Лев Николаевич. — Еще у вас время есть до дороги.

И он подошел к накрытому столу.

— А что же груш дареных не подали? — воскликнул он.— Необходимо угостить ими, уж очень они хороши. Распорядись, Саша,— обратился он к дочери.

Когда принесли полную тарелку груш, он сам стал раздавать их, восхищаясь и всех заставляя восхищаться их нежным ароматом.

— Нет, вы попробуйте только,— уговаривал он.— Их нам недавно с Кавказа прислали. Удивительные!

Он не пил чая и, пока настаивалась для него сушеная земляника, медленно накладывал на тарелочку светлый сотовый мед. Но вдруг положил ложку и живо поднялся.

— Чуть не забыл, хотел я вам показать, какой список составил сегодня утром, — обратился он ко мне. — За эти дни я перечитал около восьмидесяти книжек из изданий «Посредника» и разделил их на несколько категорий.

Он пошел в кабинет и вернулся с большим листом бумаги. Через его плечо я заглянула в длинный список: он был уже аккуратно переписан на машинке. Лев Николаевич принялся читать его вслух, низко наклонившись над столом, так что борода его касалась скатерти. Книги были разделены им на лучшие, хорошие, посредственные и плохие[6]. Прочтя несколько названий, Лев Николаевич вдруг остановился и поднял глаза с уже знакомой мне, немного смущенной, немного лукавой усмешкой.

— А ведь должен покаяться,— *свои* все в лучшие поместил! — сказал он и покачал головой, как бы извиняясь за эту нескромность. Потом принялся читать дальше.

После чая он попросил сына играть[7], а сам сел на кожаную кушетку напротив рояля. В большой зале стоял полумрак, и с противоположного ее конца мне плохо было видно выражение его лица. Он почти лежал, протянув ноги на короткой кушетке, сложив руки на коленях и не двигаясь.

Во всей его фигуре чувствовалось напряженное внимание, и только когда пьеса кончалась, он слегка поворачивал голову и говорил тихо и выразительно:

— Прекрасно, прекрасно! Как хорошо! Еще что-нибудь сыграй.

Прозвучала его любимая вещь — «Ночь» Рубинштейна, потом романс Грига, несколько народных песен.

— Как хорошо! — повторял Лев Николаевич.

Часы пробили одиннадцать. Лев Николаевич быстро поднялся.

— Ну, — пошутил он, — повторю чьи-то слова: «Со времени изобретения железных дорог хозяева не должны задерживать дорогих гостей слишком долго»... Еще опоздаете на поезд...

Лошади давно были поданы. Надо было уезжать.

Когда я подошла к Льву Николаевичу проститься, он крепко пожал мою руку своей худой, но сильной рукой.

— Прощайте, — сказал он. — Помните же наш уговор. Буду ждать ваших сообщений, и вы от меня ждите.

С верхней ступеньки лестницы я в последний раз оглянулась на него. Он стоял посреди комнаты, около обеденного стола, и горевшие на нем свечи освещали его морщинистое лицо, голую шею и сутулые плечи; руки, как всегда, были засунуты за пояс, а из-под суровых бровей ласково смотрели мне вслед его незабываемые глаза.

Густой, непроглядный мрак охватил меня со всех сторон, едва лошади со двора свернули на главную аллею. Через несколько минут они вновь завернули — это мы выехали из парка на дорогу. Тут тьма была такая же. Падал мокрый, тотчас же таявший снег, и невыносимо подбрасывало на ухабах размытой дороги. Впереди, на некотором расстоянии, скакал верховой в неуклюжем армяке, с факелом в руках, и под красным отблеском факела причудливо, на мгновение, выскакивали из мрака кусты, овраги, деревья — и опять пропадали во мраке ⟨...⟩.

Д. П. МАКОВИЦКИЙ

УХОД ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

Лев Николаевич давно (в 1881, 1896 гг.) [1] собирался уйти из дома от барской жизни. При мне — в прошлом 1909 году. Тогда Лев Николаевич собирался за границу и несколько раз спрашивал меня и бежавших за границу и вернувшихся в Россию беглых матросов, рабочих и других проходивших через границу о том, как перебирались через границу, — как пробираются без паспорта. Об этом самом узнать на границе просил и меня, когда я в 1909 году ездил домой в Словацию.

О том, что хочет уйти из дома, Лев Николаевич говорил мне (и думаю, что всегда и Александре Львовне [2]) этим летом, в другой половине сентября, в начале октября, когда верхами ездили. Около 10 октября Лев Николаевич мне сказал, что хочет взять с собой Илью Васильевича [3]. Тут я предложил себя, и Лев Николаевич сказал: «Пусть Саша решит». Дней шесть и три до ухода опять говорил, что уйдет. Дней шесть до ухода решил было следующим утром уехать, но поздно вечером отменил. Эти последние разы всегда намеревался уехать утром, тайком, к дочери Татьяне Львовне в Кочеты 〈...〉.

Двадцать восьмого октября утром в три часа Лев Николаевич в халате, в туфлях на босые ноги, со свечой разбудил меня, лицо страдающее, взволнованное и решительное, сказал мне:

— Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать, самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно.

Сказав это, Лев Николаевич ушел к себе наверх.

Я, во-первых, уложил свои вещи, а потом пошел наверх ко Льву Николаевичу, с ним встретился за дверями моей комнаты. Опять шел со свечой, уже одетый.

— Я вас ожидал, — сказал мне Лев Николаевич.

Слышно было в голосе, что я ему был нужен и опоздал. Лев Николаевич пошел будить Александру Львовну, а я поспешил в его кабинет укладывать его вещи.

Белье и некоторые вещи сам себе приготовил. Скоро Лев Николаевич вернулся. Он ни ночью покоя не имеет, не выспится. Нервен. Пощупал ему пульс. Пульс — 100. Может что приключиться. Пришла Александра Львовна. Лев Николаевич и ее попросил помочь ему укладывать вещи, особенно рукописи.

Лев Николаевич был уже одет, и было уже написано письмо Софье Андреевне.

Лев Николаевич, поговорив с Александрой Львовной, рассказал ей, что его побудило сейчас уезжать и куда поедет; предположил — в Шамордино; если в другое место, то уведомит ее телеграммой на имя Черткова с подписью Т. Николаев. Лев Николаевич скоро вернулся наверх. Вещей, которые брал с собой Лев Николаевич, оказалось столько, что нужен был его большой чемодан, который Лев Николаевич не хотел брать, боясь разбудить Софью Андреевну. Между спальнями Льва Николаевича и Софьи Андреевны было три двери, которые Софья Андреевна на ночь отворяла, чтобы лучше слышать Льва Николаевича из своей комнаты. Все эти двери Лев Николаевич закрыл, чемодан без шума достал, вскоре за ним пришла Александра Львовна, и ей Лев Николаевич отдал спрятать рукописи.

Лев Николаевич был встревожен, непокоен. Искал еще некоторые нужные ему вещи: записные книжки, перо, книгу П. П. Николаева, какую он как раз читал: «Понятие о боге» [4] и др. Вскоре сошел вниз и, переговорив с Александрой Львовной, ушел, торопясь, в кучерскую, которая была в некотором расстоянии от дома, будить кучера закладывать лошадей. Еще не было пяти утра. Ночь была темная, и Лев Николаевич заблудился, свернул с дорожки через яблочный сад, потерял шапку. Долго ее искал с электрическим фонарем и не нашел. И так без шапки дошел до кучерской, разбудил Адриана Павловича [5].

Когда мы кончили укладывать вещи, оказалось их очень много: большой дорожный чемодан и еще большая

связка — плед, пальто, корзинка. Александра Львовна, Варвара Михайловна [6] и я, мы понесли их на конюшню, чтобы там садиться и ехать, а не от дома — из боязни разбудить Софью Андреевну.

Было сыро, грязно, мы едва несли тяжелые вещи. На полдороге встретили Льва Николаевича с фонариком. Он рассказал, как потерял шапку; у меня в кармане была другая его шапка. Дошли по грязи до каретного сарая, где кучер кончал запрягать; Лев Николаевич вернулся — помогал ему, Лев Николаевич торопил с отъездом. Уложили вещи. Лев Николаевич накинул на ватную поддевку армяк, простился с Александрой Львовной, Варварой Михайловной, и мы поехали на станцию Щекино. Кучер, по случаю грязи, предложил конюху с фонарем ехать впереди прямо на шоссе, но Лев Николаевич предпочел через деревню.

В некоторых избах уже светился огонь, топились печи. На верхнем конце деревни у Фили [7] равязались поводья. Остановились. Я сошел с пролетки, отыскал конец повода и подал ему, и тут посмотрел, накрыты ли у Льва Николаевича ноги. Лев Николаевич почти закричал на меня; тут вышли мужики из изб. Выехав из деревни на большак, Лев Николаевич, до сих пор молчавший, грустный, взволнованный, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны, и рассказал о толчке, побудившем его уехать: Софья Андреевна опять входила в его комнату, — что не мог заснуть, что решил уехать, боясь нанести ей оскорбление, что было бы ему невыносимо *.

Потом Лев Николаевич предложил вопрос: куда ехать? «Куда бы подальше уехать?» Я предложил в Бессарабию к московскому рабочему Гусарову [8], который там живет с семьей на земле, там же Александри [9]. «Только туда долго ехать, — прибавил я, — не из-за расстояния, а из-за медленного хода поезда и сообщения». Лев Николаевич ничего не ответил. Лев Николаевич Гусарова и его семью хорошо знает и любит.

По пути в Щекино голова у Льва Николаевича озябла, я надел ему вторую шапку поверх первой.

Лев Николаевич вспомнил, что в «Утренней звезде» [10] есть его письмо к священнику с ответом священника.

---

* Пропуск в подлиннике.

Удивлялся, как это напечатали, — смело. Было бы хорошо оттуда перепечатать в газеты *.

Решили, что на станции Щекино я узнаю поезда и есть ли сообщение в Козельск. Лев Николаевич сказал, что поедет в Горбачево во втором, а дальше в третьем классе, и предложил уехать на Тулу и оттуда вернуться [11].

Приехав в Щекино, оказалось до отъезда поезда в Тулу двадцать минут, в Горбачево — полтора часа. Лев Николаевич вошел первым на станцию, я с вещами после, и он прямо спросил буфетчика: есть ли сообщение в Горбачеве на Козельск. То же самое спросил и в канцелярии дежурного. Лев Николаевич позабыл не выдавать, куда едем. Лев Николаевич потом еще спрашивал, когда еще идет поезд на Тулу, и предлагал нам в него сесть. Лев Николаевич, во-первых, хотел скрыть следы, но ведь в Туле его узнают и на обратном пути через Засеку, Щекино много узнают, что в поезде едет Толстой, а во-вторых, не хотелось долго ждать в Щекино, на станции, боясь, что может настигнуть его Софья Андреевна. Я отсоветовал ехать в Тулу, так как не успеем пересесть в Туле. Я купил билеты в Горбачево. Думал брать на другую станцию, но было неприятно лгать, да и казалось бесцельным, потому что предполагал, что удержать втайне местопребывание Льва Николаевича не удастся. Я перекладывал вещи, писал Булгакову 〈...〉 вернул свое пальто, так как оказалось их много у Льва Николаевича, — я еще не знал, что уезжаем из Ясной навсегда, я думал — только на несколько недель. Когда подали сигнал, что поезд подходит, Лев Николаевич был в четырехстах шагах от вокзала, гуляя с мальчиком учеником. Я побежал ему сказать и предупредить, чтобы он не спешил, что поезд будет стоять четыре минуты. Лев Николаевич сказал:

— Мы вместе с мальчиком поедем.

Лев Николаевич сел в отдельном купе в середине вагона второго класса. Вынув подушку, я устроил Льва Николаевича, чтобы он прилег.

Когда Лев Николаевич уселся в вагоне и поезд тронулся, он чувствовал себя наверно обеспеченным, что Софья Андреевна не настигнет его, радостно сказал, как

---

* Исполнено. (*Прим. Д. П. Маковицкого.*)

ему хорошо. Я ушел. Лев Николаевич оставался сидеть. Когда я через полтора часа заглянул в купе, Лев Николаевич сидел. Спросил «Круг чтения» почитать. Его не оказалось, и было «На каждый день» [12].

Лев Николаевич был молчалив, говорил мало, о чем — не помню, и был очень утомлен. Тревожна и утомительна была вчерашняя поездка наша верхом с Львом Николаевичем. Вчера, перед отъездом нашим я ⟨говорил⟩ с дожидавшимися его двумя бабами, которые пришли просить на погорелое место или на бедность, когда он вышел, подавали ему удостоверения из волостной, но он, будучи чем-то расстроен, не поговорил и не подал им ничего, что почти никогда не делал, по крайней мере, я не помню. Попали на просеку в молодом лесу, почти параллельно с Лихвинской дорогой, по эту сторону ее. Приехали к глубокому оврагу с очень крутыми краями. На замерзнувшей той земле лежал тонкий слой снега, было скользко. Я посоветовал Льву Николаевичу слезть с лошади, он послушал, что так редко бывает. Овраг был очень крутой, и я хотел провести каждую лошадь отдельно, но, боясь, что пока я буду проводить первую, Лев Николаевич не взялся бы за другую (Лев Николаевич не любил, когда ему служили), я взял повода обеих лошадей сразу, один в правую, другой в левую руку, растянув руки, чтобы лошади были дальше от меня, — если которая поскользнется, не сбила бы меня с ног. Так спустился и так перепрыгнул ручей. Тут Лев Николаевич тревожно вскрикнул, боясь, что какая-нибудь лошадь наскочит мне на ноги, потом с взмахом поднялся на другую сторону оврага. Тут долго ждал. Лев Николаевич, засучив за пояс полы свитки, придерживаясь осторожно за стволы деревьев и ветки кустов, спускался. Сошел к ручейку и сидя спустился, переполз по льду и на четвереньках выполз на берег, потом, подошедши к крутому подъему, хватаясь за ветки, поднимался, отдыхая подолгу, очень задыхался. Я отвернулся, чтобы Лев Николаевич не торопился. Желал ему помочь, но боялся его беспокоить, наверно отказал бы. Когда вышел и подошел к лошади, тяжело дыша, я попросил Льва Николаевича отдышаться, сейчас не садиться, но Лев Николаевич сейчас же сел, перевалился сильно вперед (чего он никогда не делал, он удивительно стройно садился) и поехал. В этот день проехали около шестнадцати верст, как и всегда шестнадцать — восемнадцать с тех пор, как вернулись из Кочетов — от 24 сен-

тября. Раньше Лев Николаевич делал концы одиннадцать — четырнадцать верст, а в последнее время больше. Мне казалось, что, с одной стороны, он наслаждался красивой осенью, с другой — желал быть дольше на свободе вне дома. И Лев Николаевич уезжал из дома утомленным, невыспавшимся. Кроме того, он был последние четыре месяца в напряженном, нервном состоянии. Чаша терпеливого страдания переполнялась часто.

Когда я через полтора часа вошел в купе, Лев Николаевич сидел; он немного спал. Я согрел кофе, и выпили вместе. После Лев Николаевич сказал:

— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

Прошлые раза, когда Лев Николаевич ездил в Кочеты, он в вагоне диктовал или записывал. Этот раз нет, сидел задумавшись〈...〉.

Доехали до Горбачева, Лев Николаевич еще в пролетке сказал, что от Горбачева поедем в третьем классе. Перенесли вещи на «Сухиничи — Козельск». Оказался поезд товарный, смешанный, с одним вагоном третьего класса, который был переполнен, и больше чем половина пассажиров курили. Некоторые, не находя места, с билетами третьего класса переходили в вагоны-теплушки.

— Как хорошо, свободно, — сказал Лев Николаевич, усаживаясь в вагоне.

Жалею, что я тогда ушел, не поговорив со Львом Николаевичем. Я не знал, что он уезжает навсегда, я не знал о письме, какое он оставил Софье Андреевне [13]. Я думаю, что Лев Николаевич уезжает на месяц от Софьи Андреевны в такое место, куда она за ним не поедет, пока в Шамордино[14], где не скоро отыщут его, а оттуда —дальше. Знай я, что он совсем уезжает, я настаивал бы на поездке в Бессарабию или за границу.

Скрыться надолго нельзя было, но мы хотели два-три дня выгадать, чтобы Софья Андреевна не настигла нас, пока не выедем за границу и там опять в глухое место, куда Софья Андреевна не поедет.

Вещи внесли в вагон, и Лев Николаевич сел посередине вагона. Я, не сказав ему ничего, боясь, что он не согласится, пошел хлопотать, чтобы из-за переполненности пассажиров прицепили бы еще один вагон третьего класса. Я попал к начальнику вокзала Московско-Курской железной дороги, сказав ему, что вагон переполнен,

надо прицепить другой, что среди едущих находится Лев Николаевич Толстой. Тот меня направил к начальнику Смоленского вокзала. Найдя этого, повторил ему просьбу; он указал мне на дежурного, я сейчас попросил, чтобы он помог мне найти его, что начальник охотно сделал. Долго не удавалось найти дежурного, он был внутри вагона и глядел на Льва Николаевича, которого публика узнала. Он опять не был тот правый[15], он отыскал второго дежурного, тоже в вагоне, глядевшего на Льва Николаевича. Я ему повторил просьбу. Он как-то неохотно и нерешительно сказал железнодорожному рабочему, чтобы он сказал обер-кондуктору распорядиться прицепить другой вагон третьего класса. Надо было действовать без ведома Льва Николаевича, а то я боялся, он не захочет ради себя утруждать прицеплять вагон.

Через минут шесть паровоз провез вагон нашего поезда. Обер-кондуктор, вошедши контролировать билеты, объявил публике, что будет прицеплять другой вагон, все разместятся, а то многие стояли в вагоне и на площадках. Но раздался второй звонок, и через полминуты третий, и вагон не прицепили. Я побежал к дежурному. Ответил, что лишнего вагона нет. Поезд тронулся; от кондуктора я узнал, что тот вагон, который было повезли для прицепки, нужен для перевозки станционных школьников.

Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне впервые пришлось ехать по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить лицо об угол приподнятой спинки, который как раз был против середины двери; его надо обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота; воздух пропитан табаком.

Я хотел подостлать Льву Николаевичу плед под сиденье, — Лев Николаевич не позволил. Он в эту поездку особенно неохотно принимал услуги, которыми раньше пользовался, считая за домашний обиход.

Лев Николаевич вскоре вышел на переднюю площадку, я за ним и просил его перейти на заднюю. Лев Николаевич вернулся, теплее оделся в меховое пальто, в меховую шапку, зимние глубокие калоши и пошел на заднюю площадку, но тут стояло пять курильщиков, и Лев Николаевич опять вернулся на переднюю, где

стояло только трое: баба с ребенком и мужик. Лев Николаевич приподнял воротник, оперся на свою палку с раскладным сиденьем и сел. Мороз мог быть один-два градуса. Через минут десять я приходил к нему спросить, не войдет ли в вагон, а то встречный ветер от движения поезда. Лев Николаевич отвечал, что он ему не мешает, как на верховой езде. Лев Николаевич там просидел на палочке три четверти часа. Потом прилег на скамейку. Но еле лег, нахлынула толпа новых пассажиров, и остались стоять в продольном проходе, — как раз против Льва Николаевича женщина с детьми. Лев Николаевич спустил ноги, хотел им дать место. И больше не лег и оставшиеся четыре часа просидел и простоял опять на передней площадке.

Я ходил в теплушку, но в них было грязно и сквозной ветер; окна, двери с обеих сторон теплушки открыты настежь. Как в них могут возить женщин и детей! Сколько их, особенно тех, которые сидят в задней половине, поплатятся здоровьем и жизнью. Очень убыточное учреждение. Следовало бы отменить.

Лев Николаевич рассказал мне, что ⟨есть⟩ село Монаенки, откуда женщины «монанки» артелями все работы делают. И живут более нравственно, чем деревенские, так как артели стыдятся.

Лев Николаевич разговорился с крестьянином пятидесяти лет, напротив него сидящим, из Дудинщины, о его семье, хозяйстве, извозе, которым он занимается. Лев Николаевич спрашивал подробности этой работы *, сказал мне про него. Мужик бойкий, смело говорил про водку, чья она [16], как у них производили экзекуцию за то, что лес рубили «до своей межи», и потом вышло так, что была признана эта «их межа», рассказывал с сердцем на барина Б. Тут вмешался в разговор землемер и изложил историю экзекуции иначе, и о Б. говорил, что он был добрый человек. Мужик стоял на своем и смело отвергал землемера. Но этот тоже не уступал.

— Мы больше работаем вас, мужиков.

Лев Николаевич. — Это нельзя сравнить.

Потом, когда землемер стал оправдывать экзекуцию, выделение из общины, Лев Николаевич вступил с ним в разговор, сказав, что не надо крестьян принуждать и соблазнять выделяться из общин.

---

* Пропуск в оригинале.

Мужик громко одобрял и поддакивал Льву Николаевичу, землемер оспаривал. Потом землемер сказал Льву Николаевичу:

— Я знал вашего братца Сергея Николаевича.

Лев Николаевич вступил с ним в разговор. Оказалось, что землемер был либеральных, научных взглядов, начитанный, умный, умеющий и любящий спорить из-за красного словца.

Землемер, когда спорил с крестьянином, все время защищал помещика. Когда же спорил с Львом Николаевичем, хотел отстаивать свои взгляды и, чтобы отстоять их, из-за спора спорил и готов был спорить бесконечно, а не из-за того, чтобы узнать правду в разговоре. Не было заметно, чтобы он хотел услышать более правильный взгляд Льва Николаевича и внять ему. (Такое было мое впечатление; может быть, я ошибался.)

Он перевел разговор с «единого налога», по Генри Джорджу, и насилия на Дарвина, на образование. Лев Николаевич сказал:

— Я не верю в бога, который сотворил мир, а который живет в сознании людей.

Лев Николаевич объяснил ему верную точку, с которой надо смотреть на эти вопросы, а потом, когда крестьянин перестал одобрять речи Льва Николаевича, громко прерывать его и разговаривать с соседями и когда в вагоне все затихли и прислушивались, Лев Николаевич, отвечая землемеру, стал говорить, излагать для всех. Лев Николаевич был возбужден, привстал и так продолжал разговор, завладев вниманием всех в вагоне. Публика с обоих концов вагона подошла к среднему отделению, обступила и очень внимательно и тихо прислушивалась. Были крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты, два еврея, одна гимназистка [17], которая сначала прислушивалась и записывала, потом сама вступила в разговор в защиту науки, возражая Льву Николаевичу *.

Лев Николаевич горячился. Как ни тихи были слушатели, все-таки надо было напрягать голос. Я несколько раз хотел его попросить перестать, но некогда было вставить слова, возражения ему так и сыпались. Говорили больше часа.

---

* Пропуск в оригинале.

Лев Николаевич просил открыть дверь вагона, потом, одевшись, вышел на площадку. Землемер и гимназистка пошли за ним с новыми возражениями: гимназистка — за полезность науки, указывая Льву Николаевичу на электрический фонарик, которым он себе посветил, ища рукавицу на полу вагона. Тут мы подъехали к Белеву, и они слезли.

Лев Николаевич тоже слез, пошел в буфет второго класса, где пообедал. Тут буфетчик и сидящая за столом компания, очевидно, местных интеллигентов, узнали его. Буфетчик и «человек» (помощник буфетчика) внимательно, добродушно к нему отнеслись. Дверь с железным краем (с железной планкой) из буфета в кассу третьего класса страшно хлопала, Лев Николаевич за каждым, кто проходил в дверь и она должна была хлопнуть, страдальчески напрягал мышцы лица, готовясь точно принять удар, и покряхтывал.

Вернувшись в вагон, Лев Николаевич уселся на свое место, против крестьянина-дудинца, стал расспрашивать про дорогу в Оптину пустынь и в Шамордино и про расстояние. Крестьянин, узнав, что Лев Николаевич едет в Оптину пустынь, сказал:

— А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

Лев Николаевич ответил ему доброй улыбкой.

Рабочий назади вагона стал бойко играть на гармошке и подпевать. Пропел несколько песен. Лев Николаевич с удовольствием слушал и похваливал ⟨...⟩.

Потом Лев Николаевич пожаловался на усталость, устал сидеть. Поезд очень медленно шел, сто пять верст — шесть часов двадцать пять минут. (Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Льва Николаевича.)

В четыре часа пятьдесят минут доехали до Козельска. Лев Николаевич вышел первым. Когда я с носильщиком снес вещи на вокзал, Лев Николаевич пришел сказать, что уже подрядил извозчиков в Оптину пустынь, и повел нас, сам взяв одну корзинку, снес на бричку, нанятую под вещи. Поехали с ямщиком Федором Ильичом Новиковым на паре в пролетке, за нами другой ямщик с вещами. Дорога грязная. Проехав город, ямщики стали совещаться, ехать ли дорогой или лугами. Дорога была ужасная, неровная, и ямщики взяли с нее вле-

во, через луга города Козельска; несколько раз приходилось проезжать канавы. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков. Лошади шли шагом. На одном месте ямщик стегнул лошадей, они рванули, страшно тряхнуло, Лев Николаевич застонал. Это проехали мы через глубочайшую канаву на дорогу и тут же на мост. Потом въехали на ограду, за которой монастырские земли, дорога тоже тяжелая, да еще все время приходилось нагибаться, сторониться от ветвей лозин очень низких, вследствие того, что выгонки старых обрубают. Ветви эти со стороны дороги обрезывать — дня два работы в год (или проложить новую, более короткую, прямую дорогу).

Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь ямщика, какие старцы есть, и сказал мне, что пойдет к ним. Лев Николаевич спрашивал ямщика, в какой гостинице остановиться; он посоветовал у о. Михайла, там чисто.

Долго ждали, пока дозвались парома. Лев Николаевич поговорил несколько слов с паромщиком-монахом и заметил мне, что он из крестьян. Гостиник о. Михаил с рыжими, почти красными волосами, бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал:

— Как здесь хорошо!

И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне [18]. В телеграмме сообщил, что здоров, ночует в Оптиной пустыни, и адрес: Подборки, Шамордино, и подписался — Т. Николаев. Адресовал: Черткову Саше. Сам вынес ее ямщику Федору, прося отправить, и подрядил его одного на завтра в Шамордино (нас свезти). Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь поставить самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число? В десять часов лег. Не желая нарушать привычку Льва Николаевича спать одному в комнате, я сказал Льву Николаевичу, что пойду спать в другую комнату напротив в коридоре.

У Льва Николаевича вид не был особенно усталый. Теперь вечером, пиша, больше обыкновенного торопился. Но зато днем не дорожил временем, как обыкновенно. Это мне бросилось в глаза. Весь день мысли не

записывал. И в следующие два дня не дорожил временем (то есть не пользовался им для работы в той мере, как дома привык). Еще поразило меня, что не позволил себе помочь (дома неохотно принимал услуги, но сегодня и следующие дни куда неохотнее и совсем нет). Говорил, что утром пойдет погулять и к старцу зайдет. Говорил, что здесь (в Шамордино) жила Александра Ильинична[19] и что ездил к ней несколько раз. Искал подставку для снимания сапог — не оказалось. Я попросил позволить снять ему сапоги.

— Я хочу сам себе служить, а вы выскакиваете.

И сам с трудом снял сапоги. Еще сказал: чем менее бы служили ему, тем проще жить. Добавил:

— Хочу до крайности ввести простоту. И бережливость в расходовании денег.

Лев Николаевич всегда старался платить за все настоящую цену, что трудно определять, не любил недоплачивать и переплачивать. Ночь была беспокойная сначала от кошек, которые бегали по коридору, прыгали по мебели, стоявшей как раз у стены, за которой спал Лев Николаевич. Потом выходила в коридор выть женщина, у которой сегодня умер брат, монах-лавочник. Она же рано утром вошла к Льву Николаевичу просить поместить ее малюток и припала к ногам Льва Николаевича, что Льву Николаевичу всегда было тяжело.

Из комнаты вышел в седьмом часу утра 29 октября. В коридоре встретил А. П. Сергеенко, приехавшего рассказать о Софье Андреевне, как отнеслась она к уходу Льва Николаевича, о том, что предполагают, где Лев Николаевич находится, разузнав на железной дороге, куда брали билеты, что по распоряжению губернатора будет полиция, сыщики следить за дальнейшим путем Льва Николаевича, что прибегнут к губернатору, и по его распоряжению Льва Николаевича разыскивала полиция.

Потом Лев Николаевич стал диктовать Сергеенко статью против «Смертной казни». Чуковский[20] затеял ряд *, просил Льва Николаевича ответ. *Действительное средство*. Заключительные слова этой последней статьи Льва Николаевича такие: «И потому, если мы точно хотим уничтожить заблуждение смертной казни, и главное, если имеем то знание, которое уничтожает это за-

* Пропуск в оригинале.

блуждение, то давайте же будем, несмотря ни на какие угрозы, лишения и страдания, сообщать людям эти знания, потому что это единственное действительное средство борьбы».

К А. П. Сергеенко Лев Николаевич был очень внимателен.

А. П. Сергеенко спросил:

— Монастырская обстановка вам не противна?

— Напротив, приятна, — ответил Лев Николаевич.

На вопрос: как спал? Лев Николаевич ответил:

— Плохо, нервы возбуждены.

В Оптиной пустыни Лев Николаевич был очень спокоен и не был против там остаться. Алексею Петровичу он сказал, что к старцам не пойдет. Оставив Алексею Петровичу переписать статью и записать данные о вдове-просительнице и вручить ей письмо Льва Николаевича к его родне, которую просил помочь ей [21], Лев Николаевич пошел гулять. Когда выходил из комнаты, сказал:

— Как хорошо, что не надо прятать, ничего замыкать.

Лев Николаевич ходил гулять к скиту. Подошел к его юго-западному углу, прошел вдоль его южной стены (мне так сказал рабочий, слышавший от товарищей) и пошел в лес.

Вернувшись, продолжал разговаривать с А. П. Сергеенко и потом пил кофе. Потом написал письмо Александре Львовне [22], кажется, и Черткову [23] и, может быть, еще кому-нибудь писал, я в это время ездил в город Козельск. В двенадцатом часу Лев Николаевич опять ушел к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до св. ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился до св. ворот, потом пошел и завернул за башню к скиту. О⟨тец⟩ Пахом стоял у ворот своей гостиницы, он услышал, что Лев Николаевич в Оптиной пустыни, вышел, чтобы его увидать. О⟨тец⟩ Пахом метелкой подметал; увидев Льва Николаевича, догадался, что это он. Он ему поклонился. Лев Николаевич ответил ему поклоном и подошел к нему, спросил его:

— Это что за здание?

— Гостиница.

— Как будто я тут останавливался. Кто гостиник?

— Я, отец Пахом грешный. А это вы, ваше сиятельство?

— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к о⟨тцу⟩ Иосифу, старцу, я боюсь его беспокоить, говорят, он болен.

— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.

— Где вы раньше служили? — Лев Николаевич догадался, что он из солдат, простой, неграмотный монах.

Он назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.

— А, знаю, — сказал Лев Николаевич. — До свидания, брат. Извините, что так называю; я теперь всех так называю. Мы все братья у одного царя.

В руках у него была палка с раскладным сиденьем, и он отправился к о. Иосифу.

Рассказывал о. Пахом это все так проникновенно, — видно, что этот разговор со Львом Николаевичем доставил ему большое удовольствие. Рассказывал, что Лев Николаевич говорил с ним так ласково и сердечно и произвел на него сильное впечатление⟨...⟩.

Лев Николаевич подошел к скиту. Пришел к св. воротам, повернул вправо в лес.

Вернувшись, вошел ко мне и сказал, где гулял.

— К старцам сам не пойду. Если бы они сами позвали, пошел бы.

У Льва Николаевича видно было сильное желание побеседовать со старцами. Вторую прогулку Лев Николаевич утром два раза никогда не гулял; я объясняю себе намерением посетить их. Лев Николаевич в это же утро сказал знакомому монаху о. Василию, что приехал отдохнуть в Оптину, а не удастся, так где-нибудь в другом месте пожить. А на следующий день сказал сестре Марии Николаевне, монахине, что он остался бы в скиту в Оптиной жить и послушание нес бы самое трудное, только бы не заставляли его в церковь ходить.

По-моему, Лев Николаевич желал видеть отшельников-старцев не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о боге, о душе, об отшельничестве, видеть их жизнь и узнать условия, на каких можно жить при монастыре. (О каком-нибудь искании выхода из своего положения отлученности от церкви, как предполагали церковники, не могло быть и речи.)

В час пообедали; Льву Николаевичу показались очень вкусны монастырские щи, хорошо сваренная гречневая

каша с подсолнечным маслом, очень много ее съел. Когда Лев Николаевич уходил, зашел к о. Михаилу в комнатку.

— Что я вам должен?

— По усердию.

— Трех рублей довольно?

— Да мне дорого, что такой человек, как вы, посетили нас. Дайте мне вашу карточку.

— Да какой же человек — отверженный. Карточки у меня нет, я вам пришлю.

— Прошу вас, распишитесь.

И Лев Николаевич расписался в книге посетителей, заметив: «благодарит за прием».

В три часа выехали в Шамордино. Лев Николаевич вперед пешком, это у него обычай такой был, когда уезжал, где гостил, уходил... *

---

* На этих словах рукопись прерывается.

С. Л. ТОЛСТОЙ

В АСТАПОВЕ [1]

Отец, сестра Саша, ее подруга В. М. Феокритова, Д. П. Маковицкий, В. Г. Чертков и А. П. Сергеенко помещались в домике начальника станции Ивана Ивановича Озолина. Домик состоял из четырех небольших комнат, маленькой передней и кухни.

Когда я вошел, то все, кроме отца, сидели в первой комнате вокруг стола. Отец лежал в третьей комнате. В первой и второй комнатах в этот день еще помещались Озолины, то есть эти комнаты были полны их вещами, но к вечеру они уже перебрались в очень тесное помещение сторожа в том же доме. За чаем Душан Петрович и Саша рассказывали о своем путешествии в Шамардино и оттуда в Астапово. Из Козельска билеты были взяты до Двориков (около Волова), а в Волове — до Батайска, за Ростовом. Это было сделано, чтобы замести следы. Точно страус, прячущий свою голову. В вагоне обсуждался вопрос, куда ехать. Решено было ехать в Новочеркасск к Денисенкам, а оттуда или поехать на Кавказ и там поселиться, или, пожив у Денисенок в Новочеркасске и достав заграничные паспорта Саше, Душану Петровичу и Варваре Михайловне, поехать в Болгарию. Отец надеялся, что его пропустят через границу без паспорта.

Все мы смотрели на будущее хотя и с тревогой, но и с надеждой. Доктора нашли воспаление обоих легких, главным образом левого легкого. Вечером температура была высокая, около 39 °. Но пульс, говорили врачи, был не плох.

Мне рассказали, что отец спрашивал врачей, можно ли ему будет встать дня через два. Ему ответили, что

едва ли можно будет и через две недели. Тогда он огорчился, повернулся к стене и ничего не сказал. Саша дала мне письма отца, которые он написал мне, сестре Тане и ей.

Саша, Душан Петрович и я раздумывали, пойти ли мне к отцу или нет. Ведь он все еще думал, что никому из нас не известно, где он. Увидав меня, он мог взволноваться. Душан Петрович настойчиво советовал мне пойти, и я с ним согласился. Часов в десять я пошел к отцу. Он лежал в забытьи. Я постоял в комнате. Тут еще оставались некоторые озолинские вещи, ненужные для больного. На простом деревянном столе стояли лекарства. Горела небольшая керосиновая лампа с абажуром.

Душан Петрович сказал: «Лев Николаевич, здесь Сергей Львович». Отец открыл глаза и посмотрел на меня удивленным и беспокойным взглядом. Я поцеловал его руку (чего мы обыкновенно не делали). Он спросил меня:

— Сережа? Как ты узнал? Как ты нас нашел?

Я сказал, тут же выдумавши: «Проезжая через Горбачево, я встретил кондуктора, который ехал с вами, он мне сказал, где вы». Это было только отчасти правдой: я спрашивал кондуктора, не знает ли он, где отец, уже получив телеграмму о том, что он в Астапове. Кондуктор мне это подтвердил. Тогда отец спросил меня:

— А как кондуктор тебя узнал? Он разве знал, кто ты?

Я сказал: «Да, меня знают многие кондуктора Курской дороги».

После этого разговора он опять закрыл глаза и уже ничего не говорил. Судя по голосу, я не нашел, что он в очень плохом состоянии.

На другой день Саша мне передала слова отца: «Сережа-то каков? Как он нас нашел! Я ему очень рад, он мне очень приятен. Он мне руку поцеловал!» И он всхлипнул [2].

Около 12 часов ночи пришел поезд, заказанный матерью в Туле. С ним приехали мать, братья Илья, Андрей и Миша, сестра Таня, доктор Растегаев, фельдшерица Скоробогатова, В. Н. Философов и доктор Семеновский, подсевший на поезд в Данкове. В эту ночь никто к отцу не пошел.

3 ноября утром сестра Таня пошла к отцу. Она написала об этом своему мужу следующее: «Он ⟨отец⟩ позвал меня, так как ему проговорились, что я приехала. Ему принесли его подушечку, и тогда он спросил, откуда она. Святой Душан не мог солгать и сказал, что я ее привезла. Про мама́ и братьев ему не сказали. Он начал с того, что слабым, прерывающимся голосом с передыханием сказал: «Как ты нарядна и авантажна». Я сказала, что знаю его плохой вкус, и посмеялась. Потом он стал расспрашивать про мама́. Этого я больше всего боялась, потому что боялась сказать, что она здесь, а прямо солгать ему, я чувствовала, что у меня не хватит сил. К счастью, он так поставил вопрос, что мне не пришлось сказать ему прямой лжи.

— С кем она осталась?

— С Андреем и Мишей.

— И Мишей?

— Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь.

— И Андрей?

— Да, и Андрей. Они очень милы, младшие мальчики, очень замучились, бедняжки, стараются всячески успокоить мать.

— Ну, расскажи, что она делает? Чем занимается?

— Папенька, может быть, тебе лучше не говорить: ты взволнуешься.

Тогда он очень энергично меня перебил, но все-таки слезящимся, прерывающимся голосом сказал:

— Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого? — И стал дальше расспрашивать, кто с ней, хорош ли доктор. Я сказала, что нет и что мы с ним расстались, а очень хорошая фельдшерица, которая служила три с половиной года у С. С. Корсакова и, значит, к таким больным привыкла [3].

— А полюбила она ее?

— Да.

— Ну дальше. Ест она?

— Да, ест и теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой.

— Получила она мое письмо? [4]

— Да.

— И как же она отнеслась к нему?

— Ее, главное, успокоила выписка из письма твоего

к Черткову, в котором ты пишешь, что не отказываешься вернуться к ней под условием ее успокоения.

— Вы с Сережей получили мое письмо?

— Да, папенька, но мне жалко, что ты не обратился к младшим братьям. Они так хорошо отнеслись ко всему.

— Да ведь я писал всем, писал: «Дети» [5].

В то же утро (3 ноября) приехали из Москвы наш друг доктор Д. В. Никитин, А. Б. Гольденвейзер и Ив. Ив. Горбунов. Я провел все утро в вагоне с матерью, сестрой и братьями. На общем совете мы решили всячески удерживать мать от свидания с отцом, пока он сам ее не позовет. Главной причиной этого решения была боязнь, что их свидание может быть для него губительно. Братья также решили не ходить к отцу, так как, если бы они пошли, невозможно было бы удержать мать.

Мы решили так: прежде всего будем исполнять волю отца, — затем — предписания врачей, затем — наше решение. И главное, будем действовать единодушно. Мать скрепя сердце согласилась с нами, говоря, что она не хочет быть причиной смерти отца. Мы, однако, не очень ей верили, боялись, что она все-таки пойдет к нему, и решили следить за ней. Трудно себе представить, что произошло бы, если бы она пошла к отцу〈...〉.

В озолинский дом я попал только днем. Вход в этот дом был обставлен трудностями. Сперва надо было постучать в окно; кто-нибудь отворял форточку, и через нее шел разговор. У двери же, почти безотлучно, находился Алеша Сергеенко и впускал только избранных; лишь изредка его сменял кто-нибудь другой.

Когда я вошел к отцу, он спал или, скорее, лежал в забытьи 〈...〉

Когда отец очнулся, он торопливо спросил меня:

— Сережа, ты сегодня уезжаешь?

Я сказал, что еще не уезжаю.

— Уезжай, уезжай, непременно уезжай.

Мне кажется, что он надеялся скоро выздороветь и велел мне уезжать, чтобы я не помешал ему ехать дальше. Впрочем, он говорил это в полузабытьи.

К вечеру отец очень утомился, и в самом деле было от чего утомиться. В этот день он взволновался, окончательно убедившись в том, что его местопребывание всем известно. Еще более его взволновал разговор с Таней. Затем ему читали газеты. Он говорил с Гольденвей-

зером и Горбуновым; в последний раз писал свой дневник; наконец Чертков читал ему последние полученные на его имя письма.

4 ноября утром, когда у отца никого не было, кроме Черткова и меня, он сказал: «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться...» Потом Чертков ушел, и я довольно долго оставался один с отцом. В это время я невольно подслушал, как отец сознавал, что умирает. Он лежал с закрытыми глазами и изредка выговаривал отдельные слова из занимавших его мыслей, что он нередко делал, будучи здоров, когда думал о чем-нибудь, его волнующем. Он говорил: «Плохо дело, плохо твое дело...» И затем: «Прекрасно, прекрасно». Потом он вдруг открыл глаза и, глядя вверх, громко сказал: «Маша! Маша!»

У меня дрожь пробежала по спине. Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка (Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года).

Вскоре после этого я ушел обедать и вернулся часов в пять.

Саша давала ему пить. Он говорил: «Не хочу теперь, не мешайте мне». Он, вероятно, продолжал думать о смерти.

В тот же день отец продиктовал Саше следующую телеграмму: «Телеграфируйте сыновьям, чтобы удержали мать от приезда, потому что мое сердце так слабо, что свидание будет губительно, хотя здоровье лучше» [6]. Эта телеграмма была передана матери тут же в Астапове, в вагон, где она жила.

5 ноября. Утром я сидел у отца вместе с Сашей. Потом пришла Таня. Он все говорил: «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять... Это так просто... Почему вы не хотите это сделать». И он, видимо, мучился и раздражался оттого, что не может объяснить, что надо понять и сделать. Мы так и не поняли, что он хотел сказать [7].

Вечером отец стал медленно водить руками по груди, притягивать и отпускать одеяло — словом, делать то, что называется, по-народному, «прибираться» или «обираться». А иногда он быстро водил рукой по простыне, как будто писал.

6-го утром приехали Усов и Щуровский. Я не пошел с ними к отцу. Таня мне сказала, что утром отец

говорил: «Вот конец и ничего...», потом он привстал и сказал: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, — а вы смо́трите на одного Льва».

Мне приходилось во все эти дни бывать в трех местах — в озолинском домике, в вагоне, где помещались мать и остальная семья, и на вокзале, где приходилось питаться. В вагоне тяжело было видеть мою мать, переносившую ужасные муки. Она понимала, хотя, может быть, не сознавалась самой себе, что послужила последним толчком для отъезда отца, последствием чего была его болезнь; она знала, что он не хочет ее видеть, и чувствовала свою беспомощность и непоправимость совершившегося.

На тесном астаповском вокзале, вокруг большого стола и стойки, постоянно толпились корреспонденты разных газет — человек двенадцать. Они пили водку, громко разговаривали и постоянно нас расспрашивали. Тут же были жандармы и сыщики, и по вокзалу и платформе гулял о. Варсонофий, настоятель Оптиной пустыни, с тайным поручением причастить Льва Толстого [8]. Он как будто ждал, что его позовут. Такова была атмосфера астаповского вокзала. Это, однако, совсем не относится к железнодорожным служащим. Они были в высшей степени предупредительны и деликатны ⟨...⟩.

Во время моего пребывания в Астапове я несколько раз писал и телеграфировал моей жене Марье Николаевне, остававшейся в Москве, о болезни отца и о настроении матери.

3 ноября я телеграфировал жене, чтобы она купила и выслала в Астапово хорошую кровать с матрацем для отца, что она немедленно же и сделала. Кровать скоро дошла, и отца переложили на нее.

6 ноября я писал жене:

«Милая Маша, я тебе не телеграфирую, потому что из газет, особенно из «Русских ведомостей», ты все узнаешь подробнее. Если будет очень плохо, я тебе телеграфирую. Теперь дело несколько лучше, но далеко не хорошо: пульс до 140 и дыханье до 46, теперь немного только оправились. Но я еще надеюсь, что отец и на этот раз выскочит.

Мама все время под наблюдением сестры — Елены Павловны Скоробогатовой, очень почтенной женщины, к

которой мама относится очень хорошо. К второй сестре мама относится враждебно.

Мама стала спокойнее, но взгляды и мысли ее не изменились. Тот же эгоизм и постоянная мысль только о себе. Она постоянно говорит и любит говорить на вокзале, где все корреспонденты ее жадно слушают, а мы сидим как на иголках. Отсюда вся та грязь, которая появилась в газетах.

Мама покоряется, но только по необходимости, нам, всем ее детям.

Мы действуем все единодушно и решительно. Мы не пускаем ее к отцу и не пустим, пока отец ее не позовет и врачи скажут, что это не опасно для него. Теперь врачи говорят, что это невозможно. Ее же мы уверяем, и это она сама понимает, что свиданье с ней убьет его.

Ручаться за то, что она вырвалась бы к нему — нельзя было бы, если бы не строгий надзор. Но сторожа у нас хорошие.

Отец три дня тому назад продиктовал Саше телеграмму матери, в которой просит ее не приезжать. (Он думал, а может быть, и сейчас думает, что она в Ясной.) Потому что «свидание с ней при моем больном сердце могло бы быть для меня губительно».

С тех пор он про нее не спрашивал и только в бреду при Тане сказал: «На Соню много падает» [9]. Таня спросила его, не хочет ли он ее видеть. Он промолчал.

Меня он узнавал каждый раз. В первый раз удивился, что я его нашел, и расспрашивал, как я его нашел.

Раз в бреду он мне сказал:

— Сережа! Ты меня презираешь, но я не плох, я совсем не плох!〈...〉.

Около часа дня, когда я вошел к отцу, в комнате находился один только Никитин. Усов и Щуровский уже окончили свой диагноз и ушли. Отец лежал в забытьи и часто дышал. Я со страхом насчитал около 50 дыханий в минуту. Дмитрий Васильевич впрыснул камфару и стал давать вдыхать кислород. Однако отец долго не оправлялся, лицо посинело, нос заострился, дыхание оставалось очень частым. Мне казалось: вот сейчас конец. Я потерял всякую надежду на выздоровление. Это был сердечный припадок, вызвавший сильный цианоз. Кислород и впрыскивание камфары в конце концов подействовали, и понемногу сердце справилось.

Снова в озолинский домик я пришел после десяти часов. Отец метался, громко и глубоко стонал, старался привстать на постели. Раз, присев, он сказал: «Боюсь, что умираю». В другой раз отхаркнул мокроту, сделал гримасу и сказал: «Ах, гадко». Раза два он говорил: «Тяжело». Дыхание, как я считал, было более 50 в минуту. Не помню, когда именно он сказал: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое». Тяжелое, даже скажу, ужасное впечатление на меня произвели его слова, которые он сказал громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати: «Удирать, надо удирать».

Вскоре после этих слов он увидел меня, хотя я стоял поодаль и в полутьме (в комнате горела только одна свеча за головой отца), и позвал: «Сережа». Я кинулся к кровати и стал на колени, чтобы лучше слышать, что он скажет. Он сказал целую фразу, но я ничего не разобрал. Душан Петрович потом говорил мне, что он слышал следующие слова, которые тут же или вскоре записал: «Истина... люблю много... все они...» [10] Я поцеловал его руку и в смущении отошел.

К 12 часам он стал метаться, дыхание было частое и громкое, появилось хрипение, икота участилась. Усов предложил впрыснуть морфий.

Я сидел в углу около стеклянной двери, против кровати, в ногах отца; Чертков сидел у изголовья; врачи тихо входили и выходили. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Там сидели несколько человек: сестры Таня и Саша, Варвара Михайловна, И. И. Горбунов, А. Б. Гольденвейзер и другие. Потом пришли братья. Я впал в какое-то мучительное оцепенение. В комнате была полутьма, горела одна свеча, было тихо, только из соседней комнаты слышался сдавленный шепот, изредка кто-нибудь входил или выходил, слышалось только это тяжелое, равномерное дыхание.

Около двух часов, по предложению Усова, позвали мою мать. Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить «Прости меня» и еще что-то, чего я не расслышал.

Около трех часов отец стал двигаться и стонать. Но пульса уже почти не было, и сознание к нему уже не вернулось. Врачи сделали впрыскивание раствора. Душан Петрович подошел к нему и предложил ему пить.

Отец открыл глаза и выпил. Кто-то поднес к его глазам свечу, он поморщился и отвернулся. Через полчаса пульс стал еще хуже. Врачи решили опять дать ему пить. Душан Петрович подошел к нему и сказал торжественным тоном: «Овлажните свои уста, Лев Николаевич». Отец сделал глоток. Было около пяти часов утра. После этого жизнь в нем проявлялась только в дыхании, но и оно скоро стало реже и не так громко. Вдруг оно остановилось. Щуровский и Усов сказали: «Первая остановка». Затем была вторая остановка... еще несколько вздохов, опять остановка и негромкий последний хрип.

Минут за десять до кончины моя мать опять подошла к отцу, стала на колени у кровати, что-то тихо говорила. Услыхать ее, конечно, он уже не мог.

Несколько секунд после последнего вздоха продолжалась полная тишина. Ее нарушил кто-то из врачей словами: «Три четверти шестого». Душан Петрович первый подошел к кровати отца и закрыл ему глаза. Не помню, кто и что говорил и когда именно все ушли, кроме Никитина, Маковицкого и меня. Мы раздели покойного, Никитин и Душан Петрович обмыли его и опять одели в серую блузу. Тело мне показалось и сильным и гораздо моложе своих лет. Отец так мало времени болел, что не успел еще похудеть. Выражение лица было спокойное и сосредоточенное.

В. Я. БРЮСОВ

НА ПОХОРОНАХ ТОЛСТОГО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

I

Было часов 7 вечера, когда мы выехали за Серпуховскую заставу. Мы ехали на автомобиле, я и Ив. Ив. Попов [1], как делегаты московского Литературно-художественного кружка; [2] с нами ехал сын И. И. Попова, студент.

За заставой сначала — предместье с низенькими домами, потом черная, ночная даль с квадратными силуэтами фабрик на горизонте, похожих на шахматные доски, разрисованные огнями.

Разговор, конечно, не отходит от имени Толстого...

Ив. Ив. рассказывает мне о личных своих сношениях с Толстым. Живя в Сибири, Ив. Ив. имел случай оказать услугу некоторым ссыльным, о которых Толстой заботился. Позднее Ив. Ив. был в Ясной Поляне, гулял с Толстым, ездил с ним вместе верхом.

Я не могу на рассказы Ив. Ив. ответить тем же: мне не представилось в жизни случая лично познакомиться с Толстым.

Как москвич, я хорошо знал его величавую фигуру, которую, бывало, можно было часто встречать среди прохожих на Арбате. Походкой неспешной, но, кажется, очень быстро проходил Толстой среди суетливой толпы, из которой многие на него оборачивались. Глаза великого старца остро смотрели из-под нависших бровей: каждому казалось, что именно его Толстой оглядывает особенно проницательным взглядом.

Когда я был студентом, многие из моих сотоварищей «ходили к Толстому», чтобы спросить у него, «как жить», а на деле просто чтобы посмотреть на него. Мне такое лицемерие — может быть, и простительное — представлялось недопустимым. Если бы я действительно готов был начать жизнь так, как мне укажет Толстой, я бы тоже пошел к нему, — но только прикрывать таким предлогом свое любопытство я не хотел.

Позже я много слышал о Толстом от лиц, которые по разным причинам стояли более или менее близко к его дому. Один мой товарищ два года жил в семье Толстого гувернером его младших детей [3]. Другой, занимавшийся биографией Фета, был приглашен Толстым в Ясную Поляну, где имел возможность познакомиться с архивом Толстого [4]. Потом слышал я интимные рассказы от многих других лиц, бывавших в Ясной Поляне, в том числе очень любопытные от А. Добролюбова [5] и Мережковских... [6]

Всеми этими рассказами делюсь с своим спутником.

Будущие поколения узнают о Толстом многое, чего не знаем мы. Но как они будут завидовать всем, кто имел возможность его видеть, с ним говорить, сколько-нибудь приблизиться к великому человеку, и даже тем, кто, подобно мне, мог собирать сведения о Толстом от знавших его лично! Теперь, когда Толстого нет, мы начинаем понимать, как много значило — быть его современником!

Проезжаем Подольск.

Быстро мелькают улицы уездного городка. Снова поля, черные дали, звездное небо.

Прислонившись к углам каретки, мы дремлем.

Вдруг, открыв глаза, я вижу сквозь переднее окно, что наш автомобиль стремительно летит прямо на опущенный шлагбаум.

Вскакиваю, кричу. Проносятся в мыслях воспоминания о всех крушениях автомобилей, о которых приходилось читать. Кажется, миг — и все будет кончено.

Шофер, однако, успевает дать задний ход. Автомобиль, по инерции, продолжает лететь и ударяется в столб. Мы падаем один на другого...

Поднявшись, не без удовольствия видим, что мы целы. Разных незначительных ушибов считать не приходится.

Выбираемся на волю.

Унылая местность. Полотно железной дороги. Какие-то голые деревца. Пустая дорога, уходящая в пустую даль.

Шоферы хлопочут около автомобиля. Он явно изломан и дальше везти не может.

После я читал, что одна курсистка, когда ей не оказалось места в «делегатском» поезде, в котором отправлялись университетские депутации на похороны Толстого, разрыдалась. Мы тоже готовы были плакать. Проклинали себя, что предпочли железной дороге автомобиль. В полном отчаянии спрашивали друг друга, неужели нам суждено день похорон Толстого провести где-то в поле, в чужой деревне...

Горько попрекаем шоферов, хотя и понимаем, что это бесполезно. Те дают нам совет телеграфировать в Москву и вытребовать другую машину. Но где найти телеграф, который принял бы от нас телеграмму, в этот ночной час?

После военного совета, который держим в избушке сторожа, нанимаем телегу и тащимся в ближайшее село — Лопасню. Автомобиль тянется за нами, так как шоферы надеются починить его в кузнице.

В Лопасне наше появление обращает внимание. Хотя уже поздно и огни везде погашены, попадаются на улице запоздалые гуляки (день полупраздничный — Михаила-архангела). Вокруг автомобиля собирается кучка любопытных, в картузах и в шляпах. Является кузнец, нельзя сказать, чтобы трезвый. Подходит местный батюшка с молодой попадьей.

Батюшка дает дельный совет: идти на почту, где есть телефон на Серпухов и Москву. Идем.

Почта охраняется стражниками. Нас предупреждают, что охранители имеют право стрелять во всех подходящих слишком близко. Вступаем в военные переговоры.

— Ну, ладно! Один из вас, кто потолковее, пусть войдет, — объявляют нам.

Наиболее толковым мы признаем шофера и отправляем его. Через несколько минут он возвращается с радостной вестью: к 3 часам будет новый автомобиль.

Ночь, спящая деревня, лают собаки, изредка ругаются пьяные прохожие. Надо где-нибудь переждать 3—4 часа до прихода новой «машины».

Снова обращаемся к батюшке. Догадался ли он, куда мы едем, или по другой причине, но на этот

раз он отвечает нам весьма сухо... Стучимся в деревенскую гостиницу с «номерами», — не пускают. — Почему? У нас с собой паспорта. — Нельзя.

Делать нечего, идем в кузницу, в тесную, грязную, избу. Там кое-как, частью за самоваром, частью на сундуке коротаем остаток ночи...

В 3 часа утра меня будит радостный голос Ив. Ив.: «Идет!»

Действительно, идет автомобиль. И не один, а целый ряд их. Сначала наш, потом другой, из которого здороваются с нами знакомые, дальше третий... Кто-то говорит, что в самом заднем едет городской голова Н. И. Гучков. Потом это сообщение оказалось неверным: у Н. И. Гучкова нашлись в Москве дела более важные.

Кузнец радушно прощается с нами:

— Доброго пути, господа! Не посетуйте на мою бедность. Я тоже последователь графа Толстого: имущества не имею.

Уже светает. Лежит снег. Холодно.

Быстро летим по направлению к Туле. За поздним временем решаем не заезжать в Засеку, но, умывшись и оправившись на вокзале в Туле, ехать прямо в Ясную Поляну.

II

Остановив автомобиль на шоссе, мы идем к Ясной Поляне пешком.

Ив. Ив. объясняет мне топографию местности. Вот фруктовый сад, насаженный Толстым. Вот беседочка, где он любил сидеть. Там вдалеке Афонина роща, около которой будет его могила. А вот два знаменитых столба, — въезд в Ясную Поляну, — столь знакомые всем по личным воспоминаниям или по бесчисленным фотографиям.

Красивая холмистая местность. Чисто русский вид. На косогоре деревня, с виду — бедная, избы, крытые соломой.

Поднимаемся вверх по глинистой дороге. Вот и яснополянский дом, двухэтажный, простой, с балконом, балясник которого украшен наивно вырезанными фигурами птиц и зверей. Типическая барская усадьба. Перед террасой «дерево бедных» [7]. Все так знакомо, словно сам бывал здесь много раз.

В стороне — здание старой школы, потом службы, конюшни... Все производит впечатление большой запущенности...

Прибывших уже довольно много: студенты, курсистки; фотографы. Всюду, в парке и на поляне перед воротами, конные стражники и казаки.

Ив. Ив. начинает хлопотать, внушает студентам, что именно они должны поддерживать порядок. Я отхожу к стороне. Слышу, как кто-то расспрашивает местного мужика. Все знакомые речи, те же, что и в Москве: восторженно говорят о графе и осуждают графиню.

Постепенно прибывают все новые и новые лица. Беру под свое покровительство какого-то французского журналиста, которого не хотели пропустить. Встречаю знакомых. Впервые узнаю о тех препятствиях, которые, по распоряжению из Петербурга, чинились отъезжающим из Москвы на Курском вокзале...

Но вот раздается издали пение.

— Несут!

Все всколыхнулись, замерли, ждут.

Шествие приближается. Впереди крестьяне несут транспарант с надписью: «Лев Николаевич, память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». За ними один маленький венок. Дальше, на руках, несут простой желтый дубовый гроб, без покрова... Еще дальше три телеги с венками, ленты которых жалостно волочатся по грязи.

Шествие вступает в ворота, медленно подымается по дороге. Все идут молча, и не хочется говорить. Какой-то юркий юноша забежал вперед, наставил свой кодак, машет руками и кричит шествию:

— Минуточку! минуточку! постойте.

Несущие гроб невольно приостанавливаются.

— Не будет вам ни минуты! — брезгливо бросает один из распорядителей...

Но со всех сторон, из-за деревьев и с деревьев, направлены на шествие фотографические аппараты.

У самого дома давка. Все рвутся во что бы то ни стало ближе к гробу. Один из сыновей Толстого, с балкона, просит успокоиться и дать семье полчаса времени — провести наедине с покойным. После тело будет выставлено, и все будут иметь возможность проститься с прахом Толстого.

Все стихает. Образуется длинная цепь-очередь, как живая лента, извивающаяся от балкона дома по парку. И вообще на протяжении всего исторического дня «господа» и «мужики» просто и естественно сливались в одно целое.

Мне не хочется стоять в очереди, я брожу по парку, всматриваюсь в лица, думаю.

Как мало собралось здесь! Вероятно, не больше 3—4 тысяч! Для всей России, для похорон Толстого это — цифра ничтожнейшая.

Но ведь было сделано все, что только можно, чтобы лишить похороны Толстого их всероссийского значения.

Прежде всего за трое суток, прошедших со дня смерти Толстого, из дальних местностей не было физической возможности попасть в Ясную Поляну. Правда, Толстой сам завещал похоронить себя как можно скорее. Но ведь еще он просил не класть венков на его гроб: эту последнюю его просьбу решили не уважить и предоставить всем «свободу поступков». Почему же так охотно поторопились с погребением?

Потом из Москвы запрещено было отправлять экстренные поезда. Тысячи желающих остались на вокзале. И об этом воспрещении экстренных поездов было объявлено лишь вечером, так что не пришлось воспользоваться обходными путями, по Рязанской и по Брестской дороге...

Собственно, прибыть могли только жители окрестных деревень, Тулы да небольшая горсть москвичей. Мне, как исконному москвичу, громадное большинство приехавших знакомы. Каждую минуту приходится пожимать руку...

Все, конечно, говорят о Толстом... Начинаешь разговор с каждым не без смутной боязни: как бы он неосторожным выражением, «не тем» словом, не нарушил сложившегося здесь строя чувств. Но, должно быть, всем, в этот день, хочется одних и тех же слов, и все, что я слышу, естественно сливается с моими мыслями.

Н. Е. Эфрос рассказывает мне о пяти днях, пережитых им на станции Астапово [8]. Маленький мирок, окруживший домик, где умирал Толстой, жил в исключительном напряжении всех чувств. Все сознавали, что биение пульса там, на маленькой станции, отзывалось во всем мире. Темные слухи, возникавшие неизвестно откуда, волновали и пугали. Тяжелая распря двух пар-

тий, боровшихся у постели умирающего, делала положение еще более мучительным.

Ко мне с Ив. Ив. подходят распорядители студенческого санитарного отряда и просят совета, как быть. Они с утра на своем посту, ничего не ели и страшно утомлены. Советуем им, оставив небольшую группу, идти отдохнуть. Порядок все время — образцовый, поддерживается сам собой, и надобности в сколько-нибудь деятельной медицинской помощи не предвидится.

Вступаем также в переговоры с начальниками полицейских и казацких отрядов и убеждаем их предоставить охрану порядка самой толпе. Получаем согласие держаться в стороне, пока порядок ничем не нарушен.

Прихрамывая (он повредил себе ногу), проходит кн. А. И. Сумбатов-Южин; он возложил на гроб Толстого серебряный венок от Императорских театров...

III

Половина третьего.

Надо спешить, если я хочу проститься с Толстым.

Мы становимся с Ив. Ив. в очередь одни из последних. Проходим через переднюю, уставленную шкапами с книгами. Вот комната, откуда все вынесено, кроме стоящего в нише бюста брата Л. Н. Толстого — Николая.

В открытом гробу лежит Толстой. Он кажется маленьким и худым. На лице то сочетание кротости и спокойствия, которое свойственно большинству отошедших из этого мира. Говорят, Толстой сильно изменился.

Нельзя замедлить в этой комнате ни минуты... А так хочется остановиться, всмотреться, вдуматься... Это — Толстой, это — человек, который магической силой своего слова, своей мысли, своей воли властвовал над душой своего века. Это — выразитель дум и сомнений не одного поколения, не одной страны, даже не одной культуры, но всего человечества нашего времени. Здесь он лежит, свершив свой подвиг и завещав людям еще много столетий вникать в брошенные им слова, вскрывать их тайный смысл, на который он успел лишь намекнуть...

— Господа, проходите, проходите! не задерживайтесь!

Мы вышли в сад. После этих мгновений, проведенных пред лицом Толстого, словно что-то изменилось

в душе. Не хочется думать о тех мелочах, которые занимали две минуты тому назад.

Старушка крестьянка плачет, утирая глаза передником. Она только что шла в очереди вместе с нами.

— Вы здешние?

— Здешние, мы яснополянские.

— Что, изменился покойный?

— Он и при жизни-то, последние годы, такой был. Худенький да маленький. В чем душа держалась. Износил он тело-то свое, здесь на земле. А там ему оно не понадобится...

Затворяются двери дома. Готовятся к выносу. Толпа вновь собирается у балкона.

Над головами толпы вырастают аппараты синематографистов.

Снова растворяются двери, и тихо, медленно выносят гроб. Его несут сыновья Толстого.

Кто-то начинает:

— *Вечная память.*

Подхватывают все, даже те, кто не поет никогда. Хочется слить свой голос с общим хором, с хором *всех*. В эту минуту веришь, что этот хор — вся Россия.

— На колени!

Все опускаются на колени перед гробом Толстого.

И только щелкают затворы кодаков и медленно вертятся ручки синематографических аппаратов. Жаловаться ли на это? — Завтра, в тысячах снимков этот миг будет повторен перед глазами всех запоздавших, всех обделенных, всех тех, кто не мог здесь присутствовать.

Мне говорили потом, что моя фигура вышла на снимке особенно отчетливо [9]. Не знаю, — сам я не захотел смотреть механического повторения того, что видел в действительности, в жизни. Во всяком случае, в свое время, в торжественную минуту похорон, работы синематографистов меня скорее раздражали.

Начинается новое шествие — к могиле.

Идем медленно, внутри цепи, образованной студентами и курсистками.

Тотчас за гробом идет семья покойного. В простенькой шубке с серым воротником, покрытая черным платком, скорбная, поникшая — графиня Софья Андреевна. Ее ведут под руки.

Одно лицо среди идущих обращает мое внимание. Это — Озолин, начальник станции Астапово, уступивший свой домик больному Толстому. Простое, открытое, доброе лицо; лысина, черная борода.

Какое сочетание случайностей сделало именно эту маленькую станцию, ничем не отличающуюся от сотен и тысяч других станций российских железных дорог, местом, где разыгралась последняя сцена великой трагедии: жизни Льва Толстого! Какое сочетание случайностей этого простого, милого человека, начальника железнодорожной станции Озолина, сделало историческим лицом, имени которого не хочется забыть! Он отныне будет памятен всему миру, как, хотя бы, тот бедный рыбак, в лодке которого когда-то Юлий Цезарь хотел переехать через Адриатическое море!

Шествие движется с пением «Вечная память»... Идти трудно, ноги спотыкаются в замерзших колеях глинистой земли. Но все же хочется не спускать глаз с простого, желтого гроба; хочется удержать его в памяти своих глаз, словно этим можно как-то приблизиться к тому, чей прах покоится в этой дубовой домовине...

Вдоль Афониной рощи подходим к «Графскому заказу», месту, давно избранному Толстым для своего последнего приюта.

Небольшой холм, на котором разрослось семь или восемь не старых дубков. Слева — дорога и деревья рощи. Справа — овраг и небольшой откос. Видны дали, поросшие кустами и деревьями. Простор и стройное спокойствие линий...

Русское сердце знает красоту такого вида. Это — красота родная, наша. Об этой красоте хочется сказать словами поэта, что ее

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный...

Толстой был для всего мира. Его слова раздавались и для англичанина, и для француза, и для японца, и для бурята... Ему было близко все человечество. Но любил он, непобедимой любовью, свою Россию. Ее душу понимал он, как никто; красоту ее природы изображал с совершенством недостижимым. И как хорошо, что могила его — в русском лесу, под родными деревьями, и что ее холм так сливается с родной, дорогой ему картиной...

Распорядители машут руками. Студенты употребляют все усилия, чтобы сдержать толпу. Любопытные унизали все деревья, висят на высоте, уцепившись за ветки.

— *Вечная память!*

Молодые голоса наполняют строгим, молитвенным напевом чистый осенний воздух.

Снова все опускаются на колени.

Остаются стоять только несколько полицейских.

В лесу, за деревьями, выжидательно, держится отряд казаков с винтовками в руках.

Гроб опускают в могилу, вырытую в мерзлой земле местными крестьянами.

Было заранее условлено, что речей произноситься не будет. Что можно сказать перед могилой Толстого? Каждый слишком живо чувствует перед ней свое ничтожество.

Мы с Ив. Ив. Поповым отходим в сторону. Великое событие свершилось. Состоялись «народные похороны», как удачно назвал кто-то это погребение [10]. Нужды нет, что «народу» в сколько-нибудь значительном количестве не дали присутствовать на погребении. Все, кто мог явиться, чувствовали себя представителями всей России, сознавали, что на них лежит ответственность за то, как пройдет этот день. Это безмолвное сознание таинственно объединяло всю толпу, заставляло всех, и «интеллигентов» и «простых», относиться ко всему происходившему с величайшим благоговением.

Все свершилось просто, но было в этой простоте что-то более сильное, чем волнения и шум многотысячных толп на иных погребениях. Словно кто-то подсказал всем, как надо себя вести в эти часы, и похороны Толстого, в лесу, в уголку «Графского заказа», в присутствии всего 3—3½ тысяч человек, были достойны Толстого... Или вернее: были достойны России...

Три часа. Надо спешить.

Когда мы уходили, кто-то начал говорить на могиле. Мелькнуло в душе досадное чувство на то, что нарушено соглашение. Потом мы узнали, что это — Сулержицкий говорил о том, почему для могилы Толстого избрано именно это место. После Сулержицкого сказал несколько слов еще один из присутствующих, — слов не плохих, но все же излишних...

Через несколько минут мы уже были в автомобиле. Началось обратное путешествие. Быстро темнело.

За Тулой начали встречаться автомобили лиц, опоздавших на похороны. Где-то под Серпуховом встретился автомобиль ректора Московского университета А. А. Мануйлова. В темноте, среди черных полей, мы обменялись несколькими словами, сообщили ему, что видели. Опять замелькали поля, и деревни, и шахматные доски фабрик. Великий день кончился.

А. М. ГОРЬКИЙ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький

ЗАМЕТКИ

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие

руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Лев Николаевич всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина [1], воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Лев Николаевич. — Твердишь, как попугай, одно слово свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь, — что будет? В философском смысле — бездонная

пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свобод от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому, что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!».

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в двенадцатом веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в двенадцатом веке».

VI

— Меньшинство нуждается в боге, потому что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет.

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души *.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, [1a] а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О Буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

---

* Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы. (*Прим. А. М. Горького.*)

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Лев Николаевич ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге,— о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon» *. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя

* по-своему (*франц.*).

противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любит...»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средине века,— бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет [2], —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет,— ох, да-ой да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже?— спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Лев Николаевич поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий.

Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда — еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»;[3] он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело,— все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно,— не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно,— афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

— Незаконченная мысль,— сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами.— Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его...[3а] Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу— значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая—раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

Антон Павлович смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Лев Николаевич, глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он

произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения его речь была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за ..., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого

давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлибкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правда ли — странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но перед ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел —

добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Лев Николаевич.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Лев Николаевич сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, — если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по

поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Льва Николаевича об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Лев Николаевич говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

— Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст уйдем не драны». И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова,— сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... «Толк-от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как, по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, Алексей Максимович?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По... Лопатой, а? По самой по... И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом.

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша

встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти — им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым [4], когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?» [5]

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты» [5а]. Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе, — гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» [6],— Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил, как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на все. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер — ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена Андрея Львовича и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок, — оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна

за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота кровельного железа. Лев Николаевич сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго постукивая пальцем по колену.

— Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и всё в этом роде, так он был пьяница, — калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно! Даже, если вы и придумали, — очень хорошо! Страшно.

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними при-

поднимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем.

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп, а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве... — задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы па субботу страстной недели...

и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

— Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают не свойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино.

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, — ах, боже мой! Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо! [7]

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом перед атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татарином казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр [8], рассказал попутно смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыканты, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону:

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и — не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту:

— Шумят, пишут, а — умру, и — через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился ра-

достью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том, что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

ПИСЬМО

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого» [9]. И вот, — еще не разъединенный мысленно с Вами, — вновь пишу.

Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло,— уж вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги,— мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек,— человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему,— но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотрази-

мой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», — он все знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей 〈...〉 В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать [10].

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 1905 году [11], — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его [12].

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни 〈...〉

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уве-

рен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит,— даже и в дневнике своем,— молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас» [13], ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтобы верить в чудо, но, с другой стороны,— он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого» [14], он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина — не нужна», и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь.

— Если человек научился думать,— про что бы он ни думал,— он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и

устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего»,— засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас,— он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось [15], а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но — далее, по поводу Шестова:

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки,— он-то откуда знает, льзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки,— пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли,— недоверчиво сказал Лев Николаевич. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за

тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой,— с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И все оттого, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их,— и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского,— люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди: неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!»

Увы, это так, надолго — так! И не могло, и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все скованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Лев Николаевич примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка, ее можно понять как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это неважно. Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам Евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что Евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «Войне и мире» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого,— так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что

душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел,— мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу,— лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, они видели все насквозь,— и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды, — и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями,— накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почувствовалось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пу-

стоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать ему думать. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу,— никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли я его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку немного в этом, но все-таки — здравствуйте!»

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...»

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ,— тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Ну-ну,— баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Лев Николаевич хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков [15а], и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает учение Лао-тце [16], а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать перед ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически [16а], но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти, — рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал! — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это и стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял Антона Павловича за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо Антона Павловича взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды Антон Павлович шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Льва Николаевича была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, — когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю

я на него, и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Льва Николаевича среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Лев Николаевич, конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Лев Николаевич наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, — в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однаж-

ды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, — это было в Хамовниках [17] — усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно, и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, — это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят — вы очень начитанный, — правда? Что, Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали, — смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, — представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной [18]. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукой любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

> Грибы сошли, но крепко пахнет
> В оврагах сыростью грибной... [19]

— очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Лев Николаевич подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, этаким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить али еще рано? Лев Николаевич вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот-вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли! Надо позвать кучера...

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Лев Николаевич вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так удрал...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Лев Николаевич. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в красном вине, вооруженный огромным холщевым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Льва Николаевича слезы: это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» [20] очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ — согласен, помните, каков у него Поль Астье? [21]

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось — и думаю, я не ошибаюсь — Лев Николаевич не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом, — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы.— Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете — у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун [22].

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон — это хуже Костомарова, надо читать Момсена, — очень надоедный, но — солидно все.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною, — «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер,

ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Льва Николаевича, — он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, —там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, — историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Лев Николаевич!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь,

возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я, как-то в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, все ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и все кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимает, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да, — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь, — ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять— шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шепотом:

— Да, да, — ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, — ах, боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так... стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет, — нужно писать все, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и — все улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу,— сказал он.— Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы, — проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, — «ручьистее», говорят бабы... А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, — это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно, — я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже

бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Лев Николаевич. — Нет, не все. И неожиданно спросил меня, — точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Лев Николаевич.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек — богоподобен!»

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Булгаков	— В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. ГИХЛ, М., 1960.
ГБЛ	— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
ГМ	— «Голос минувшего».
ГМТ	— Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва).
Гольденвейзер, I, II	— А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Записи за пятнадцать лет, тт. I, II. М., 1922.
Горький	— М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, М., Гослитиздат, 1946—1956.
Гусев	— Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973.
Гусев, II	— Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957.
ДСТ III, IV	— «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». Издание М. и С. Сабашниковых, 1928—1929.
ИРЛИ	— Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).
ЛН	— «Литературное наследство».
Некрасов	— Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII, М., Гослитиздат, 1948—1953.

Переписка — Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., Гослитиздат, 1962.

ПСС — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (Юбилейное издание), тт. 1—90. М., Гослитиздат, 1928—1958.

С — «Современник».

Т. Л. Сухотина — Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1976.

С. Л. Толстой — С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула. 1975.

Тургенев — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Письма. Тт. I—XIII. М. — Л., «Наука», 1961—1968. Сочинения. Тт. I—XV, 1960—1968.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный Архив литературы и искусства (Москва).

Чехов — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. М., ГИХЛ, 1946—1951.

ЯЗ — Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, в. I и II, ред. Н. Н. Гусева. М., «Задруга», 1922—1923; «Литературное наследство», т. 90 (печатается).

«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?» ТЕАТР ТОЛСТОГО

А. В. ЖИРКЕВИЧ

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927) — военный юрист, поэт и беллетрист (печатался под псевдонимом «А. Нивин»).

В своем первом обращении к Толстому (в письме от 23 декабря 1887 г.) Жиркевич просил объяснить задачи общества борьбы против пьянства («Согласия против пьянства»), ибо сомневался в успехе дела, основанного исключительно на нравственных началах. Толстой ответил ему подробным письмом, в котором увлеченно развивал свою мысль именно о силе «нравственных истин» (*ПСС*, т. 64, с. 130—132).

В мае 1890 г. Жиркевич послал Толстому свою поэму «Картинки детства» с просьбой дать отзыв о ней; Толстой весьма критически отнесся к его поэтическим опытам, о чем откровенно написал автору (*ПСС*, т. 65, с. 120—121). На этом переписка прекратилась и возобновилась только в 1898 г., когда Жиркевич был следователем военно-окружного суда в г. Вильне. Он тяготился своей службой, болезненно переживал время разгула военно-полевых судов, вполне разделяя точку зрения Толстого: «Это, в сущности, не суды, а произвол и палачество»,— записывает Жиркевич в дневнике 3 октября 1906 г. Военный юрист, он пытался в ряде случаев облегчить участь осужденных на смертную казнь. Получив назначение на должность военного судьи Виленского военного округа, Жиркевич в 1908 г. подал в отставку в знак протеста против «заведомо подлых смертных приговоров» (Дневник Жиркевича, 1 ноября 1908 г.— *ГМТ*).

Жиркевич бывал у Толстого в Ясной Поляне в 1890 г., 1892, 1897 и 1903 гг. (см.: *ЛН*, т. 37—38, с. 420, а также: *ГБЛ*, ф. 101, оп. 4817, ед. хр. 44, л. 23). Он внимательно следил за эволюцией взглядов Толстого, «гениального чудака конца XIX века» (там же, л. 28), но отрицательно относился к его учению, в особенности же к «толстовцам» (*ГБЛ*, ф. 101, оп. 4817, ед. хр. 44, л. 16, 28). См., например, рассказ «Около великого» (А. Нивин. Рассказы. СПб., 1900).

В последний раз Жиркевич встретился с Толстым в ноябре 1903 г. и был поражен его духовной энергией. «Вот кто полон юношеского задора, огня и надежд. Просто на него любуешься»,— писал он А. М. Жемчужникову 12 апреля 1904 г. (*ГБЛ*, ф. 101, оп. 4817, ед. хр. 44, л. 51). Чрезвычайно бережно относясь ко всему, что было связано с именем Толстого, Жиркевич записал в 1898 г. воспоминания его сослуживца Одаховского о севастопольском периоде жизни Толстого (см. т. 1 наст. изд.).

Во время встреч с Толстым Жиркевич вел подробные и довольно точные записи их бесед. Ценность их в том, что они передают остроту суждений Толстого о природе искусства, о злободневных вопросах общественной жизни России. Эти записи и легли в основу настоящих воспоминаний.

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

(Стр. 7)

По тексту: *ЛН*, т. 37—38, с. 421—439.

[1] Здесь высказаны идеи, впоследствии развитые Толстым в его эстетической теории о трех условиях, которым должны отвечать произведения истинного искусства (содержание, форма, искренность). Он постоянно повторяет их именно в той последовательности, в какой они зафиксированы Жиркевичем. См. «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова» (1894); см. также главы IX и XV трактата «Что такое искусство?» (1898).

[2] См. дневниковую запись от 21 января 1890 г. о единстве совершенной художественной формы и мысли: «Странное дело эта забота о совершенстве формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе» (*ПСС*, т. 51, с. 13).

[3] Толстой писал Жиркевичу 30 июня 1890 г.: «Я сказал, что у вас нет, по-моему, *того, что называется* талантом, я этим хотел сказать, что у вас нет в этой книге того блеску, образности, которые считаются необходимыми для писателя и называются та-

лантом, но который я не считаю нужным для писателя. Для писателя, по-моему, нужна только искренность и серьезность отношения к своему предмету» (*ПСС*, т. 65, с. 120—121).

[4] Максим Белинский — псевдоним И. И. Ясинского.

[5] Пятидесятилетие литературной деятельности А. А. Фета отмечалось 28 января 1889 г.

[6] Об этом посещении В. Г. Короленко и Н. Н. Златовратским Хамовников в феврале 1886 г. см. в воспоминаниях В. Г. Короленко, с. 241—244.

[7] Скептическое отношение писателя к современной литературной критике отразилось в дневниковых записях от 7 и 14 февраля 1891 г.: «Дело критики — толковать творения больших писателей, главное — выделять, из большого количества написанной всеми нами дребедени выделять — лучшее. И вместо этого что ж они делают? Вымучат из себя, а то большей частью из плохого, но популярного писателя выудят плоскую мыслишку и начинают на эту мыслишку, коверкая, извращая писателей, нанизывать их мысли. Так что под их руками большие писатели делаются маленькими, глубокие — мелкими и мудрые глупыми. Это называется критика» (*ПСС*, т. 52, с. 8).

[8] Толстой имеет в виду свое письмо к Жиркевичу от 30 июня 1890 г.: «Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя» (*ПСС*, т. 65, с. 120). Он еще раз подчеркнет эту мысль в следующем же письме к Жиркевичу от 28 июля 1890 г. (там же, с. 132).

[9] Несмотря на критику Толстого, Жиркевич в 1900 г. сам представил «Картинки детства» (второе, исправленное издание) в Академию наук на соискание Пушкинской премии (*ГБЛ*, ф. 101, оп. 4817, ед. хр. 44, л. 44).

[10] В последний год жизни Толстой вновь повторит эту мысль: «Я думал о писателях, я знаю трех из них — Пушкин, Гоголь и Достоевский, для которых существовали нравственные вопросы. Пушкин не дожил, но у него была такая серьезность отношения. Лермонтов умер молодым, но у него были нравственные требования (*ЯЗ*, 14 января 1910 г.).

[11] Толстой имеет в виду «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, произведение, которое он по-своему ценил (см. его письмо к Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г., см. также в т. 1 коммент. 15 на с. 578. В извлечениях (и в обработке А. И. Орлова и Толстого) Переписка Гоголя была издана «Посредником» в книге: «Н. В. Гоголь. 1809—1852» (М., 1888).

[12] Этот тезис Толстого об ограниченных возможностях стихотворной формы часто им повторялся. См. коммент. 7 к воспоминаниям Черткова.

[13] Аналогичный разбор Толстым строфы II (глава V) «Евгения Онегина» был записан С. А. Стахович (см. «Толстой и о Толстом. Новые материалы». М., 1924, с. 64).

[14] Первое впечатление Толстого о картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» было положительным, даже восторженным. Он видел ее на XIII Передвижной выставке в Москве в 1885 г. и писал Репину: «Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель. На словах многое сказал бы вам, но в письме не хочется умствовать» (*ПСС*, т. 63, с. 222—223). О Репине и Толстом см. в т. 1 наст. изд., с. 616.

[15] Картина И. Е. Репина «Крестный ход в дубовом лесу» (1883).

[16] Толстой особенно любил эту картину И. Н. Крамского («Христос в пустыне»). В письме к П. М. Третьякову 14 июля 1894 г. он утверждал: «Это лучший Христос, которого я знаю» (*ПСС*, т. 67, с. 175).

[17] За несколько дней до встречи с Жиркевичем Толстой записал в дневнике (15 декабря 1890 г.): «Благодаря цензуре вся наша литературная деятельность — праздное занятие. Единое, что нужно, что оправдывает это занятие ⟨литературой⟩, вырезается, откидывается... Вроде того, как если бы позволяли столяру строгать только так, чтоб не было стружек» (*ПСС*, т. 51, с. 112).

[18] Толстой имеет в виду картину Н. А. Ярошенко «Всюду жизнь», на которую обратил внимание еще в 1889 г. при осмотре Третьяковской галереи.

[19] Это один из характерных примеров «тенденциозных» трактовок Толстым произведений современного ему искусства. Портретная живопись Крамского и, в частности, созданные им портреты Толстого (см. т. 1 наст. изд., с. 557—559), бесспорно, принадлежит к высшим достижениям русской живописи конца XIX в.

[20] Неточность. Толстой вернулся из Бегичевки, где занимался организацией помощи голодающим, 13 сентября 1892 г. (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910.— М., 1960, с. 84).

[21] Речь идет о картине Н. Н. Ге «Распятие».

[22] Письмо А. Н. Апухтина опубликовано: *ЛН*, т. 37—38, с. 441—442.

[23] Под таким названием рассказ был помещен в 1892 г. в «Вестнике Европы». В сборнике рассказов, изданных Жиркеви-

чем в 1900 г., он, по совету А. П. Чехова, дал ему новое заглавие: «Розги». Рассказ показался Чехову рутинным по своим художественным приемам, но образ центрального героя был им одобрен (см. его письмо к Жиркевичу от 2 апреля 1895 г.).

24 В 1890—1893 гг. Толстой работал над трактатом «Царство божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Первоначально Толстой задумал писать предисловие к «Декларации чувств» Гаррисона (см. об этом в т. I, с. 597—598) и «Катехизису непротивления» А. Баллу, которое в процессе работы превратилось в трактат. Окончен в 1893 г.

25 Замысел этого романа не был осуществлен Толстым. Предполагается, что речь идет о черновых вариантах романа «Декабристы» (см.: *ЛН*, т. 37—38, с. 442).

26 В письме к А. М. Жемчужникову от 28 января 1893 г., то есть вскоре после описываемого посещения Ясной Поляны, Жиркевич делился своими воспоминаниями: «Легко ли Вам даются Ваши произведения? Толстой уверял меня, что переделывает свою прозу иногда по 20-ти и более раз» (*ГБЛ*, ф. 101, оп. 4817, ед. хр. 43, л. 26).

27 В 1891—1892 гг. Толстой одобрительно отзывался о рассказах И. Н. Потапенко — «Проклятая слава», «Поздно». С 1893 г. тон его отзывов резко меняется: он возмущен отсутствием четких нравственных позиций у автора. «Вся наша беллетристика всех этих Потапенок, — пишет он Н. С. Лескову 20 октября 1893 г. в связи с повестью Потапенко «Семейная история»,— положительно вредна. Когда они напишут что-нибудь не безнравственное, то это нечаянно» (*ПСС*, т. 66, с. 406).

28 Об отношении Толстого к Короленко см. в воспоминаниях В. Г. Короленко и коммент. к ним.

29 Неточно процитирована строка из строфы XXXII (гл. шестая) «Евгения Онегина»:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.

См. также коммент. 13.

30 Некрасов был одним из страстных пропагандистов творчества Тютчева. Он способствовал возрождению его популярности, опубликовав свою статью «Русские второстепенные поэты» («Современник», 1850, № 1), где стихотворения Тютчева рассматривались как «блестящие явления в области русской поэзии».

В 1854 г. в приложении к мартовской и майской книжкам «Современника» было помещено более ста стихотворений Тютчева. См. также коммент. 62, с. 532—533.

[31] Толстой имеет в виду трактат «Царство божие внутри вас».

[32] Этот рассказ включен в сборник рассказов Жиркевича (1900) под заглавием «Случай».

И. Я. ГИНЦБУРГ

Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1938) — известный скульптор, автор многих скульптурных изображений Толстого («Толстой на прогулке», «Толстой за чтением», «Толстой на пашне» и др.), выполненных в разнообразной технике и формах: жетоны, плакетки, барельефы, статуэтки, скульптура во весь рост, бюсты и т. п. Гинцбург впервые был принят в Ясной Поляне в 1891 г. С этого времени он частый гость Толстого, почти каждое свое посещение использовавший для напряженной работы.

Гинцбург — один из тех, кому посчастливилось быть непосредственным свидетелем творческого процесса Толстого. Позднее, принимаясь за воспоминания о великом русском физиологе И. П. Павлове (он также ему позировал), мемуарист провел параллель между ним и Толстым: «И тут и там процесс творчества меня восхищал и поражал» (*ЦГАЛИ*, ф. 733, оп. 1, ед. хр. 4).

В 1908 г. Гинцбург был участником комитета по подготовке чествования Толстого в связи с его 80-летием; он принимал деятельное участие в организации Толстовской выставки в 1909 г., открытой в залах Театрального клуба в Петербурге и положившей начало петербургскому Толстовскому музею. В 1911 г. его скульптурные произведения экспонировались на Толстовской выставке в Москве.

Над воспоминаниями о встречах с Толстым Гинцбург работал уже в начале 900-х годов. П. И. Бирюков писал ему 7 сентября 1906 г.: «Продолжаете ли Вы Ваши воспоминания? Там много хорошего» (*ЦГАЛИ*, ф. 773, оп. 1, ед. хр. 9).

Фрагменты воспоминаний Гинцбурга публиковались им в разное время и в разных изданиях. Печатая книгу воспоминаний («Из прошлого». Л., 1924) о людях, с которыми сталкивался на жизненном пути, он значительно переработал очерки, посвященные Толстому: «В Ясной Поляне», «Стасов у Л. Н. Толстого». Очерк «Радость жизни» печатался в книге впервые.

ИЗ ПРОШЛОГО

(Стр. 22)

По тексту книги: И. Я. Гинцбург. Из прошлого. Воспоминания, Л., Госиздат, 1924, с. 87—115.

[1] В. В. Стасов еще в 1887 г. обратился к Толстому с просьбой дать согласие позировать Гинцбургу. «В прошлом году,— писал он Толстому в феврале 1888 г.,— я просил позволения для *Элиаса Гинцбурга,* ученика и как бы *сына* и ученика Антокольского. Он тогда был еще в Академии художеств, но с тех пор он уже отправлен был за границу, теперь побывал в Париже, Лондоне, Голландии, Испании, Италии, везде смотрел и учился, и, надеюсь, не худо *поучился...* делать бюст с вас — он себе представляет необычайным счастьем, потому что боготворит вас, как и мы все тут» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. Л., «Прибой», 1929, с. 85—86). Толстой тогда отказался позировать, сославшись на занятость (см. письмо Т. Л. Толстой Стасову от 28 марта 1888 г.— там же, с. 88). Замысел Стасова осуществился лишь в 1891 г., когда благодаря повторным его настояниям и письму А. С. Суворина к С. А. Толстой было получено, наконец, согласие Толстого.

[2] Об истории знакомства Толстого с И. Н. Крамским см. т. 1 наст. изд., с. 233—235, 557—559.

[3] Гинцбург в этот свой приезд был в Ясной Поляне с 11 по 21 июля 1891 г.

[4] В Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля 1891 г. работал И. Е. Репин. Как и Гинцбург, он был приглашен в Ясную Поляну по настоянию Стасова. В письме к Н. А. Римскому-Корсакову от 21 июля 1891 г. Стасов сообщал: «Новость № 1. Еще новое мое пройдошничество удалось, и Репин написал в Ясной Поляне нашего беспредельно-бесценного *Льва* — в его рабочем кабинете пишущим... Новость № 2: удалось также и другое мое пройдошничество: был ко «Льву» допущен и там с величайшим радушием принят всем семейством мой маленький Гинцбург, и вылепил статуйку этого же *Льва* во весь рост (как 2 года назад — мою), сидячего. Все говорят — прекрасно, только я еще сам не видал. Статуйка *только что* отлита из гипса и еще не доехала до Петербурга» («Русская мысль», 1910, № 8, с. 145).

[5] В это первое свое посещение Ясной Поляны Гинцбург вылепил статуэтку Толстого, изображающую его сидящим («Толстой за работой») и бюст Толстого более чем в натуральную величину.

[6] См. коммент. 24. к воспоминаниям А. В. Жиркевича.

[7] Скульптурный портрет Гинцбурга, вылепленный Толстым, находится в Ленинграде, в Институте русской литературы (Пушкинский дом). Фотографический снимок портрета опубликован в *ЛН*, т. 37—38, с. 463.

[8] Гинцбург гостил в Ясной Поляне с 28 июля по 11 августа 1897 г. В этот приезд он вылепил статуэтку Толстого во весь рост с книгой в руках.

[9] Это посещение Толстого Гинцбургом и В. В. Стасовым относится к 11—14 сентября 1903 г. Гинцбург тогда работал над бюстом Толстого («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», М.—Л., 1928, с. 379).

[10] Об одном из таких эпизодов, относящихся к 1897 г., писал Б. А. Гольденвейзер: «Иногда в виде отдыха Гинцбург рассказывал и представлял комические сценки и рассказы, на что он великий мастер. Лев Николаевич при этом от души и по-детски смеялся» (Гольденвейзер, I, с. 11).

[11] Т. Л. Толстая вспоминала о Л. А. Сулержицком: «Благодаря своей острой наблюдательности Сулер умел удивительно хорошо подражать людям, животным, птицам и даже предметам. И так как его художественное чутье не допускало ничего банального, грубого и крикливого, то смотреть на него и слушать его было настоящим эстетическим наслаждением» (Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 301).

[12] Ошибочно названа дата: не середина августа 1904 г., а 3—6 сентября 1904 г.

[13] Речь идет о «Круге чтения», составлявшемся в 1904—1905 гг.

[14] В описываемое время Толстой работал над повестью «Хаджи-Мурат». Критический очерк «О Шекспире и о драме» писался им с сентября 1903 по январь 1904 г. «Хаджи-Мурат» при жизни Толстого опубликован не был. Очерк «О Шекспире и о драме» впервые появился в 1906 г. в «Русском слове»; отдельным изданием вышел в 1907 г.

[15] Отношение Толстого к творчеству Шекспира имеет длительную и сложную историю, исполненную сомнений, внутренней борьбы со своим исключительным, субъективным, но, как потом оказалось, устойчивым и неколебимым взглядом: «Несогласие мое с установившимся о Шекспире мнением не есть последствие случайного настроения, или легкомысленного отношения к предмету, а есть результат многократных, в продолжение многих лет упорных попыток согласования своего взгляда с установившимися на Шекспира взглядами всех образованных людей...» Толстой в течение пятидесяти лет упорно обращался к Шекспиру, читал и перечитывал его в оригинале и в лучших по тому времени пере-

водах; придирчиво изучал природу шекспировских характеров, драматических коллизий, и особенно — язык, языковую стихию созданий Шекспира. Неприятие его творчества сменялось временным «примирением». «Вчера вечером много говорил Левочка о Шекспире и очень им восхищался; признает в нем огромный драматический талант»,— записывает С. А. Толстая 15 февраля 1870 г. Но к этой записи вскоре последовало дополнение: «Хвала Шекспиру была кратковременна, в душе он его не любит...» В своей мемуарной книге о Толстом Бунин приводит любопытные воспоминания Е. М. Лопатиной: «Однажды он сказал про Шекспира: «Мои дети его совсем не понимают, всего замечательного, что есть в Шекспире, они не могут, конечно, понять, схватывают только мои бранные слова о нем» (И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1967, с. 85).

Первые «парадоксальные» высказывания Толстого о Шекспире относятся еще к середине 1850-х годов. Первоначально неприятие Шекспира было вызвано мятежным чувством протеста против непререкаемых авторитетов, общепризнанных истин; этим чувством «ниспровергателя» были продиктованы порой и резкие высказывания Толстого о творчестве Гете, Бетховена, Баха, Вагнера.

В конце жизни, у позднего Толстого, отрицание Шекспира сложилось в целую философскую систему, связанную с его общими взглядами в годы духовного перелома. Знаменитый критический этюд Толстого «О Шекспире и о драме» (1904) есть по существу прямое продолжение трактата «Что такое искусство?». В основу поэтики Толстой ставит прежде всего нравственный, этический критерий. Шекспир «не укладывался» в нравственное учение Толстого. Мысль, отмеченная мемуаристом, соотносится с одним из положений, высказанных в заключении VI главы, где содержание пьес Шекспира определяется Толстым как отражение «*пошлого миросозерцания,* считающего внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом людей, презирающего толпу, то есть рабочий класс, отрицающего всякие, не только религиозные, но и *гуманитарные стремления,* направленные к изменению существующего строя» (*ПСС*, т. 35, с. 258).

[16] Вероятно, имеется в виду статья Герцена «Августейшие путешественники» (1867), в которой описывалось свидание Николая I с австрийским императором Фердинандом I.

[17] В. В. Стасов, как и Толстой, был большим поклонником Герцена. В письме к Толстому от 31 мая 1896 г., собираясь прочесть ему при встрече главу задуманной книги («Разгром»), он писал: «Мне хотелось бы, чтоб в те $^1/_2$ часа *никого* не было в

комнате, кроме *двух человек*, а я им — докладчик. Эти 2 человека пусть будут: Толстой да Герцен. И это потому, что эти двое — самые для меня первые на нашей земле и на нашем времени...» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. Л., 1929, с. 170).

[18] Здесь допущена ошибка. Толстой читал не «Воскресение», опубликованное еще в 1899 г., а незавершенный рассказ «Божеское и человеческое», мысль о котором возникла во время работы над «Воскресением» (см.: В. А. Жданов. Последние книги Л. Н. Толстого. М., «Книга», 1971, с. 217). Сама же работа над рассказом продолжалась с 1903 по 1906 г.

[19] Описываемая встреча оказалась последней. Стасов собирался приехать в Ясную Поляну в конце 1905 г., но вынужден был отложить поездку. 10 (23) октября 1906 г. Стасов умер.

[20] Кладбище сельца Кочаки, в двух верстах от Ясной Поляны.

Л. Я. ГУРЕВИЧ

Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), писательница, переводчица, художественный и театральный критик. Ко времени знакомства с Толстым — издатель и редактор петербургского журнала «Северный вестник» (1870—1898).

Познакомилась с Толстым осенью 1892 г. и с тех пор переписывалась с ним и не раз посещала его. Толстой ценил издательскую и редакторскую деятельность Гуревич, охотно помогал редакции своими работами. На страницах «Северного вестника» печатался рассказ «Суратская кофейня», переложение рассказа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1892). В журнале были опубликованы статья «Неделание» (1893), «Предисловие к дневнику Амиеля» (1894), сказка «Карма» (1894), «Хозяин и работник» (1895). Толстой рекомендовал редакции «Северного вестника» просмотренные и одобренные им рукописи произведений других авторов, которые считал удачными и заслуживающими внимания (Ф. А. Страхова, С. А. Стахович, Ф. Ф. Тищенко и др.).

По настойчивой просьбе редактора журнала Толстой написал предисловие к русскому переводу статьи американского писателя и поэта Карпентера «Современная наука», опубликованное в «Северном вестнике» в 1898 г.

Гуревич — автор ряда статей о Толстом: «Художественные заветы Л. Н. Толстого» («Русская мысль», 1911, № 3, 4), «Живой

труп» в Художественном театре» («Всеобщий ежемесячник», 1911, № 11), «О посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого» («Русская мысль», 1911, № 12) и др.

Мемуаристка, наблюдавшая Толстого в период его работы над трактатом «Что такое искусство?» (опубликован в журн. «Вопросы философии и психологии», 1897, № 5; 1898, № 1), была одним из первых исследователей этого уникального труда. В своей книге «Литература и эстетика» (1912) она определила его значение как выдающегося вклада художника в философско-эстетическое истолкование природы искусства.

Теоретические искания писателя в области эстетики представляют огромный интерес. В сущности — это ключ к его собственному творчеству и к постижению общих законов художественного мышления. Эстетические взгляды Толстого привлекали внимание современников. Это сказалось в большинстве воспоминаний о Толстом. Нередко суждения, высказывания писателя об искусстве, выхваченные из контекста, звучат парадоксально, неожиданно. Но если в частностях, примерах, иллюстрациях своих идей Толстой бывал нарочито пристрастен, то в самих этих идеях, в поисках глубинных законов искусства он был на уровне своего творческого гения. Его трактат — одна из вершин эстетической мысли конца XIX — начала XX века. Это не только по-своему стройная, хотя и не бесспорная, эстетическая система, но и единственная в своем роде теория творчества и художественного восприятия. Толстой судит об искусстве с точки зрения своего непосредственного опыта. Он сделал свой труд художника и свое восприятие искусства слова, музыки, живописи объектом постоянных, порою мучительных наблюдений. Трактат «Что такое искусство?» исполнен глубоких выстраданных мыслей, иногда поразительно смелых, «разрушительных», резко противоречивых. Суть этого явления точно выразил Ромен Роллан, тонкий истолкователь и почитатель Толстого, заметив: «От гениального художника-творца никто не вправе требовать, чтобы он был беспристрастным критиком. Когда Вагнер или Толстой рассуждают о Бетховене или Шекспире, это не о них они говорят, а о самих себе,— о том, что они считают для себя идеалом» (Р. Роллан. Собр. соч. в 14-ти томах, т. 2. М., 1954, с. 301).

Воспоминания о Толстом написаны Гуревич в 1908 г., к восьмидесятилетию со дня его рождения и тогда же были опубликованы («Слово», 1908, № 547, 548, от 28 и 29 августа). Будучи весьма эрудированным человеком, обладающим солидным гуманитарным образованием, Л. Я. Гуревич в своих воспоминаниях сумела воссоздать атмосферу высокой духовности, которая царила

в доме Толстого. Мемуаристка с профессиональным умением передала суждения Толстого о современной русской литературе, западноевропейских писателях, русских художниках.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

(Стр. 41)

По тексту: Л. Гуревич. Литература и эстетика. М., «Русская мысль», 1912, с. 276—294.

[1] Гуревич впервые навестила Толстого в Ясной Поляне 27 августа 1892 г. по настоятельным советам Н. С. Лескова, с которым была близко знакома.

[2] По-видимому, Вл. С. Соловьев.

[3] В одном из рукописных набросков «Предисловия к роману В. фон Поленца «Крестьянин» (1901) содержится резкий отзыв Толстого о В. Л. Величко как поэте : «...им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и чего им надо стремиться достигнуть» (*ПСС*, т. 34, с. 530).

[4] По всей вероятности, в разговоре, свидетельницей которого была Гуревич, речь шла о том, что в начале августа 1892 г. Толстой обратился с письмами к И. Б. Файнерману и М. В. Алехину, решительно возражая против их предложения собраться всем единомышленникам Толстого в Ясной Поляне, чтобы обсудить дальнейшие жизненные планы. Толстой утверждал, что это единение было бы ложным («единение с десятками — разъединение с тысячами и миллионами»), что следует искать «наибольшие средства общения со всем большим миром всех людей» (см: *ПСС*, т. 66, с. 239—240, 241—242).

[5] «Темные»— словечко С. А. Толстой. Она определяла им многих посетителей Толстого, часто его единомышленников, но людей не светских. По всей вероятности, оно было заимствовано ею из колоритной речи Марии Михайловны, цыганки родом, жены С. Н. Толстого. Е. В. Оболенская-Толстая вспоминала: «Толстовцев она (Мария Михайловна) не любила, называла их темными и боялась их; и говорила про них: «темненькие, чудесненькие» (*ЦГАЛИ*, ф. 508, оп. 1., ед. хр. 264, л. 11).

[6] Армия спасения — религиозная и филантропическая организация, крайне реакционная по своим целям, пользовавшаяся широкой поддержкой финансового капитала. Иронический тон

Толстого связан с тем, что Армия спасения копировала в своей структуре армейские порядки (особая форма членов, составляющих «армию», делящуюся на «солдат», «офицеров», «генералов» и т. п.).

[7] В главе VI трактата «Царство божие внутри вас» Толстой поместил в собственном переводе большой отрывок из статьи Эжена Вогюэ: «A travers L'excposition. IX. Derniers remarques».— Revue des Deux Mondes», 1889, novembre. Об этой статье Вогюэ Толстой упоминал еще в дневниковой записи от 22 ноября 1889 г. (*ПСС*, т. 50, с. 181—182). Приведя пространную выписку из статьи Вогюэ в «Царстве божием внутри вас», Толстой заключал: «...люди, которые как Вогюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращеностью» (*ПСС*, с. 28, с. 129).

[8] Редактировал Толстой перевод извлечений из дневника Амиеля (перевод с французского М. Л. Толстой) не только в гранках (декабрь 1893 г.), но и в рукописи еще в феврале 1893 г.

[9-10] О романе Жоржа Дюморье «Трильби» (СПб., 1896) в дневнике Толстого 27 февраля 1896 г. высказано прямо противоположное мнение: «Читал «Трильби» — плохо» (*ПСС*, т. 53, с. 80).

[11] Отзывы Толстого о Золя не ограничивались одним лишь отрицанием. Он хорошо знал его произведения, особенно высоко ценил его роман «Земля»: «Есть недостатки, но только в этом романе в первый раз мы видим настоящего, реального французского крестьянина» (А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Воронеж, 1937, с. 161). В манере Золя ему не нравился оттенок «дидактики» (*ЛН*, т. 37—38, с. 550), а также наблюдавшееся иногда у писателя нарушение чувства художественной меры.

[12] Драма Ибсена «Кукольный дом» (1879). На немецкой и русской сцене за ней укрепилось название «Нора» (по имени героини пьесы). Толстой часто повторял, что он не понимает Ибсена, «сложности» его художественных приемов, говорил о недостаточной «выдержанности» характеров в ибсеновских пьесах (*ПСС*, т. 66, с. 45).

[13] Нотная запись вальса, сочиненного Толстым, сохранилась. См.: Гольденвейзер, I, с. 359—360.

[14] Автор мемуаров имеет в виду распространенное представление о неприятии Толстым творчества Бетховена, поводом для которого явились действительно резкие высказывания о композиторе (см., например, дневниковые записи 1896—1897 гг.; см. также т. 1 наст. изд., коммент. 3 на с. 561). Но также верно и другое:

Толстой любил произведения Бетховена, наслаждался его музыкой. В одном из писем 1857 г. он рассказывал: «Здесь никто, ни становой, ни бурмистр мне не мешают, сижу один, ветер воет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слезы умиления» (*ПСС,* т. 60, с. 222). В записи А. Б. Гольденвейзера о музыкальных произведениях, особенно любимых Толстым, список сочинений Бетховена — самый значительный по своему объему: он превышает перечень даже моцартовских вещей (А. Б. Гольденвейзер. Список музыкальных произведений, любимых Толстым.— *ЦГАЛИ,* ф. 122, оп. 1, ед. хр. 2015).

[15] См. коммент. 9 к воспоминаниям В. Ф. Лазурского.

[16] Картина Н. Н. Дубовского «Притихло» (1890).

[17] 28 августа 1892 г.

[18] Е. И. Попов. В первых числах сентября 1892 г. он еще жил в Ясной Поляне (*ПСС*, т. 66, с. 255).

В. Ф. ЛАЗУРСКИЙ

Лазурский Владимир Федорович (1869—1947) по окончании Московского университета был рекомендован проф. Н. И. Стороженко и приглашен С. А. Толстой летом 1894 г. в Ясную Поляну в качестве репетитора для занятий греческим и латинским языками с сыновьями Толстого, Андреем и Михаилом.

Лазурский вел тщательные, подробные записи своих бесед с Толстым. Бо́льшая часть этих записей относится к летним месяцам 1894 г., одна запись датирована декабрем того же года (Лазурский посетил Толстого в Москве, в Хамовниках), остальные сделаны на протяжении шести лет (1895—1900). Среди обширной мемуарной литературы о Толстом Дневник В. Ф. Лазурского занимает важное место. В записанных им суждениях писателя о литературе, музыке, живописи в целом ряде случаев предвосхищаются мысли, развитые в трактате «Что такое искусство?» (1898).

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 49)

Печатается по тексту: *ЛН*, т. 37—38, с. 444—503.

[1] В начале 90-х годов известный богослов, философ и поэт Вл. С. Соловьев прочитал доклад «О причинах упадка средневекового миросозерцания». Реакционная пресса усмотрела в реферате Соловьева сплошное глумление над православною цер-

ковью («Московские ведомости», 1891, № 291). Полемика, связанная с истолкованием христианства и православия, продолжалась до 1894 г. Толстой познакомился со статьей Соловьева «Конец спора», направленной против Л. Тихомирова и В. Розанова («Вестник Европы», 1894, № 7), и писал автору 7 августа 1894 г., советуя ему «раз навсегда отказаться от полемики» и беречь силы для более серьезных дел (*ПСС*, т. 67, с. 185). См. также т. 1 коммент. 2 на с. 566.

[2] «Вечерние огни. Неизданные стихотворения А. А. Фета». М., 1883—1891.

[3] Даже в период увлечения поэзией Фета у Толстого проскальзывали критические суждения о неясности его поэтических замыслов. В феврале 1875 г. он писал Фету, что стихотворение «Что ты, голубчик, задумчив сидишь...» «совершенно неясно как произведение слова» (*ПСС*, т. 62, с. 149); в 80-е годы Толстой более категорически формулирует свои наблюдения (в дневниковой записи от 7 февраля 1889 г.): «Фету противны стихи со смыслом» (*ПСС*, т. 50, с. 32—33). О Фете и Толстом см. т. 1 наст. изд., с. 526—527.

[4] Здесь допущена очевидная ошибка. «Нахлебники» не книжка, а рассказ Чехова (первая публикация: «Петербургская газета», 1886, № 246), который был включен в сборник рассказов «Невинные речи» (М., 1887), а несколько позднее — в «Пестрые рассказы» (СПб., 1891).

[5] См. прим. 8 к воспоминаниям Л. Я. Гуревич.

[6] В. А. Гольцев. А. П. Чехов (Опыт литературной характеристики).— «Русская мысль», 1894, № 5). В. А. Гольцев, в то время редактор журнала «Русская мысль», автор ряда работ о Чехове.

[7] Толстой в 50-х годах увлекался творчеством Гете, оставляя в письмах, дневниках той поры восторженные отзывы о его произведениях: «великое наслаждение», «восхитительно», «читал восхитительного Гете» (см. письмо к В. В. Арсеньевой от 23—24 ноября 1856 г. и дневниковые записи от 29 сентября 1856 г. и 7/19 июня 1857 г.). Однако с начала 70-х годов и в момент перестройки его миросозерцания тон отзывов меняется: Толстого не удовлетворяет «язычество» Гете, его преклонение перед античной эстетикой, искусством, драмой.

[8] Н. И. Стороженко — известный исследователь истории западноевропейской литературы. Основные работы Н. И. Стороженко были посвящены творчеству Шекспира и его эпохе.

[9] Картина Н. Н. Ге «Распятие» («Казнь Христа на кресте». 1892—1894). Толстой особенно высоко ценил это произведение своего давнего друга и единомышленника. См. воспоминания

Л. Гуревич, с. 46. Т. Л. Сухотина-Толстая была свидетельницей того большого душевного волнения, которое вызвала у Толстого первая встреча с картиной Н. Н. Ге (Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 286).

[10] Имеется в виду картина В. Д. Поленова «Христос и грешница» (1887). По словам А. Мошина, Толстой видел ее еще в мастерской художника (А. Мошин. Ясная Поляна и Васильевка. СПб., 1904).

[11] Ю. Николаев. И. С. Тургенев. Критический этюд. М., 1894.

[12] Рассказ И. С. Тургенева «Довольно. Отрывок из записок умершего художника» в момент появления в печати (1865 г.) вызвал отрицательные отзывы Толстого. Он увидел в произведении «субъективность, полную безжизненного страдания» (*ПСС*, т. 61, с. 109). Однако позднее, в 80-х годах, он изменил свой взгляд на это произведение, оказавшееся созвучным его собственным мыслям. В письме к С. А. Толстой от 30 сентября 1883 г. он советует ей: «Прочти, что за прелесть» (*ПСС*, т. 83, с. 397). «Гамлет и Дон-Кихот» — статья Тургенева (*С*, 1860, № 1). В дневниковой записи от 7 октября 1892 г. Толстой сближает оба произведения: «Тургеневское «Довольно» и «Гамлет и Дон-Кихот» — это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской. Хорошую можно составить статью» (*ПСС*, т. 52, с. 74). В 1905 г. Толстой еще раз вернется к тургеневской статье «Гамлет и Дон-Кихот» в дневниковой записи 18 марта: «Тургенев написал хорошую вещь: «Гамлет и Дон-Кихот» и в конце присоединил Горацио. А я думаю, что два главные характера, это — Дон-Кихот и Горацио, и Санхо Панса, и Душечка. Первые большею частью мужчины; вторые большею часть женщины» (*ПСС*, т. 55, с. 129).

[13] Толстой намеревался выступить с речью на вечере памяти И. С. Тургенева, устраиваемом Обществом любителей российской словесности, членом которого состоял с 1859 г. Однако начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов доложил министру внутренних дел, что выступление Толстого недопустимо, что он «может наговорить невероятные вещи». Последовало приказание ни в коем случае не допустить выступления Толстого и «под благовидным предлогом» объявить заседание Общества, посвященное памяти Тургенева, «отложенным на неопределенное время». Предполагаемый вечер так и не состоялся. Толстой отдавал себе отчет в том, что ему сознательно «помешали говорить» о Тургеневе (см. письмо к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г.).

[14] «Живые мощи» (1874) — рассказ из цикла «Записки охотника».

[15] «Новь» (1877) — последний роман Тургенева. Об оценке романа Толстым см. на с. 68.

[16] «Пунин и Бабурин» (1874), «Вешние воды» (1872) — повести Тургенева. Рассказ «Андрей Колосов» (1844) — первое прозаическое произведение Тургенева.

[17] В. И. Немирович-Данченко, в 80—90-е годы — беллетрист, драматург, отличавшийся исключительной плодовитостью, автор многочисленных забытых ныне романов и повестей.

[18] О Г. А. Мачтете, известном в свое время беллетристе народнического направления, Толстой был невысокого мнения. Лазурский в одной из своих записей подробно передает иронический отзыв Толстого о рассказе Мачтета «Пять тысяч» (см. с. 64).

[19] Толстой повторяет мысль, которая была высказана им о Тургеневе еще в 1877 г. в письме к А. Фету от 11—12 марта: «В чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета — это природа. Две-три черты, и пахнет» (*ПСС*, т. 62, с. 315).

[20] См. коммент. 17 к воспоминаниям Э. Моода.

[21] И. И. Янжул, профессор Московского университета, экономист. Толстой был знаком с ним с начала 80-х годов.

[22] Переводы из Бодлера и Метерлинка были включены Толстым в трактат «Что такое искусство?» (гл. X) и сопровождались резкой критикой французского декаданса.

[23] Этот отзыв не отражает истинного отношения Толстого к творчеству П. И. Чайковского. Вспоминая о музыкальном вечере в московской консерватории в декабре 1876 г., Толстой писал композитору: «Я наслаждался... Я полюбил ваш талант» (*ПСС*, т. 62, с. 297). Толстой плакал, слушая andante первого струнного квартета П. И. Чайковского («Дневник П. И. Чайковского». Госиздат, М.—Пг., 1923, с. 210—211).

[24] В. А. Берс — брат С. А. Толстой. Ср. дневниковую запись Толстого от 26 июня 1894 г.: «Пошел на песочные ямы. Там мужики, влезая в яму, работают с опасностью для жизни. За обедом сказал, что надо сделать карьер. Соня сначала говорит, что она не даст денег... После обеда пошел с Вячеславом, решил сделать карьер» (*ПСС*, т. 52, с. 123). Опасения Толстого оправдались. В мае 1905 г. в яме во время подкопа был засыпан песком и погиб яснополянский крестьянин С. В. Фоканов, бывший ученик Яснополянской школы. Толстой был потрясен этой смертью (*ПСС*, т. 55, с. 142, 507—508).

[25] Толстой находился под сильным впечатлением от статьи «Задачи современной критики» М. Арнольда, английского поэта, историка литературы и богослова. По рекомендации Толстого она печаталась в «Северном вестнике» (1895, № 5); в несколько сокра-

щенном виде была издана в 1902 г. «Посредником». В предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин» Толстой дважды говорит о статье М. Арнольда, отмечая истинное значение критики в жизни общества: ответить на «огромной важности вопрос: что читать из всего того, что написано?».

[26] Старший сын художника Н. Н. Ге, Николай Николаевич, «Колечка», как его называли в семье Толстых. В тот же день после беседы с Лазурским Толстой записал в дневнике (27 июня 1894 г.): «Разговор с Владимиром Федоровичем о критике. Вспомнил знаменитое Количкино изречение, что критика — это когда глупые говорят об умных» (*ПСС*, т. 52, с. 124).

[27] Имеется в виду стачка железнодорожников в Чикаго, организованная в июне 1894 г. Была жестоко подавлена полицейскими и военными силами.

[28] А. М. Кузминский, муж свояченицы Толстого Т. А. Берс-Кузминской.

[29] В 1894 г. через станцию Козлова-Засека проехал царский поезд, везший Александра III в Крым.

[30] Н. А. Зиновьев, тульский губернатор с 1887 по 1889 г.

[31] См. коммент. 8 к воспоминаниям М. Горького.

[32] Речь идет об убийстве 13/25 июня 1894 г. французского президента Сади Карно анархистом Санто Казерио.

[33] Стихотворение А. Фета «Летний вечер тих и ясен...» (1850).

[34] Это стойкое мнение Толстого об очерках и рассказах из народного быта Н. В. Успенского, печатавшихся в «Современнике» в 1858—1860 гг. См. также воспоминания В. А. Поссе, с. 257.

[35] Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». Жизнь и приключение Никанора Затрапезного» был закончен автором за несколько месяцев до его смерти. О чтении Толстым заключительных глав романа («Вестник Европы», 1889, № 3) сохранилась дневниковая запись от 4 апреля 1889 г.: «Читал Щедрина. И хорошо, да старо, нового нет. Мне точно жалко его, жалко пропавшую силу» (*ПСС*, т. 50, с. 62).

[36] Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист» (1884).

[37] Аналогичную мысль высказывал и И. С. Тургенев (Тургенев. Сочинения, т. XIV, с. 253). Переводы Салтыкова-Щедрина на иностранные языки осуществлялись начиная с 60-х годов XIX в.

[38] Этот эпизод есть в рассказе Мопассана «Маленькая Рок» (1885).

[39-40] Роман Эжена Сю «Парижские тайны» (1842—1843, русск. перевод — 1844).

[41] Толстой имел в виду 1845 г., когда он после летних каникул возвращался в Казанский университет. «Граф Монте-Кристо» (1844—1845) был в то время литературной новинкой.

[42] Роман «Отверженные» (1862) В. Гюго — одно из любимейших произведений Толстого. Первое упоминание о чтении «Отверженных» встречается в дневниковой записи 1863 г.: «Misérables» «сильно» (*ПСС*, т. 48, с. 52). Среди немногих книг, которые произвели на Толстого большое впечатление с 35 до 50 лет, только «Отверженные» определялись им по степени воздействия высшей оценкой «огромное» (*ПСС*, т. 66, с. 68). В ряду совершенных образцов «высшего искусства» нового времени Толстой называет «Отверженные» и в трактате «Что такое искусство?» (гл. XVI).

[43] Роман Э. Золя «Доктор Паскаль» (1893).

[44] Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (СПб., 1871) славянофильской ориентации. Отдельные ее фрагменты Толстой читал в июле 1894 г. в корректуре (при повторном ее издании).

[45] Михаил Львович Толстой.

[46] В «Русском обозрении» (1894, № 6) была напечатана статья Л. Тихомирова «Люди без собственного содержания».

[47] Письмо к Джону Кенворти (*ПСС*, т. 67, т. 165—168).

[48] Несколько позднее, 25 октября 1894 г., Толстой писал в благожелательном тоне о романе Г. Сенкевича: «Мы целый вечер — я читал — читали «Поланецких» с большим удовольствием. Прекрасный писатель, благородный, умный и описывающий жизнь, правда, одних образованных классов, во всей широте ее» (*ПСС*, т. 84, с. 228).

[49] О сильном впечатлении, оставленном чтением романа Г. Сенкевича «Без догмата», сохранились дневниковые записи Толстого от 18 и 20 марта 1894 г. См. также письмо Толстого к Г. Сенкевичу от 27 декабря 1907 г.

[50] Статья И. Е. Репина «Заметки художника (Письма из-за границы)». Репин резко критиковал французскую новейшую живопись.

[51] Н. Д. Фомина прислала Толстому роман Марселя Прево «Les demi-viërges» («Полудевы»). Толстой в ответе Фоминой (11 июля 1894 г.) отказался написать предисловие, находя роман безнравственным и «вредным, как всякое порнографическое сочинение». В дневниковой записи от 11 июля 1894 г. он называет книгу Марселя Прево «глупой, гадкой, мерзкой».

[52] В. Розанов. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. СПб., 1894.

[53] Некоторая неточность. В «Русских ведомостях» (1894, № 188, 10 июля) была напечатана лишь гл. 2 «Учителя словесности» с подзаголовком: «Рассказ». Гл. I под заглавием «Обыва-

тели» впервые появилась в газете «Новое время» (1889, № 4940, 28 ноября). Полностью «Учитель словесности» был опубликован только в 1894 г. в сборнике Чехова «Повести и рассказы» (М., 1894).

[54] Стихотворение «Эшафот» (из книги «Легенда веков») было опубликовано в «Северном вестнике» (1894, № 7).

[55] Толстой высоко ценил роман А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». См. коммент. 10 к воспоминаниям В. Г. Черткова.

[56] Толстой намеревался в 1875—1877 гг. открыть в Ясной Поляне курсы для народных учителей, учительскую «семинарию» (*ПСС*, т. 62, с. 302). Толстому действительно было предложено департаментом народного просвещения составить учебный план, таблицы распределения занятий и т. п. Задуманные Толстым курсы для учителей народных школ не были открыты.

[57] Татьяна Львовна Толстая.

[58] Картина В. Е. Маковского «Свидание» (1883).

[59] Картина В. М. Максимова «Семейный раздел» (1876).

[60] П. И. Мельников (псевдоним — Андрей Печерский).

[61] Об отношении Некрасова к поэзии Тютчева см. коммент. 30 к воспоминаниям А. В. Жиркевича.

[62] Инициатором подготовки к печати первого собрания стихотворений Ф. И. Тютчева был И. С. Тургенев. Он же выступил и редактором первого (1854) издания Тютчева См.: Д. Д. Благой. Тургенев — редактор Тютчева («Тургенев и его время», 1923, с. 144—145).

[63] Неодобрительный отзыв Толстого о «Грозе» появился уже вскоре после выхода в свет пьесы: «Гроза» Островского же есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех» (письмо к А. А. Фету от 23 февраля 1860 г.— *ПСС*, т. 60, с. 325).

[64] Герой пьесы Островского «Доходное место» (1857).

[65] Гончаров обвинил Тургенева в литературном плагиате, полагая, что писатель воспользовался идеями и образами «Обрыва», с содержанием которого его познакомил сам автор еще до публикации романа. Дело дошло до третейского суда, который не признал справедливой жалобу Гончарова. В 1875—1876 гг. Гончаров написал «Необыкновенную историю», где все романы, за исключением «Рудина» («Новь» еще не была опубликована), рассматривал как вариации на темы «Обрыва».

[66] См. об этом коммент. 32.

[67] Картина Н. Н. Ге «Распятие» (см. коммент. 9).

[68] Толстой писал П. М. Третьякову трижды, обращаясь с предложением приобрести картины умершего Н. Н. Ге (14 июня и два письма 14 и 15 июля 1894 г.).

[69] Повесть Толстого «Крейцерова соната».

[70] «Из переписки И С. Тургенева с семьею Аксаковых. Сорок лет тому назад. 1852—1857 гг.» («Вестник Европы», 1894, № 1, 2).

[71] См. коммент. 6.

[72] Толстой читал письма Аксаковых, цитируемые в статье: Л. Н. Майков. Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу (1851—1852 гг.) — «Русское обозрение», 1894, № 8.

[73] Толстой говорит о семействе Аксаковых. Отец — С. Т. Аксаков, известный писатель, автор любимых Толстым произведений — «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Его сыновья — К. С. и И. С. Аксаковы — идеологи славянофильства.

[74] «Фауст» — повесть И. С. Тургенева (*С*, 1856, № 10), в которой отразились некоторые биографические мотивы, связанные со знакомством и с увлечением Тургенева М. Н. Толстой, сестрой Л. Н. Толстого (Тургенев, Письма, т. III, с. 65). О трактовке Толстым концепций двух других произведений И. С. Тургенева: «Довольно» и «Гамлет и Дон-Кихот», см. коммент. 12.

[75] А. М. Новиков. В 1889—1881 гг. был учителем Андрея и Михаила Львовичей Толстых.

[76] То есть ученики В. Ф. Снегирева (1847—1916), гинеколога, профессора Московского университета, крупного русского ученого.

[77] П. Вейнберг. Жорж Занд (Глава из истории нового французского романа).— «Северный вестник», 1894, № 8—9.

[78] Ту же мысль высказал Толстой в беседе с Полем Буайе (см. с. 268).

[79] В «Записках А. О. Смирновой» приведены слова, якобы сказанные Пушкиным о Стендале: «Мне он представляется чрезвычайно буржуазным», «провинциальный офицер, чиновник в военном мундире» («Северный вестник», 1894, № 8, с. 204—206). В связи с высказанными сомнениями в достоверности «Записок» Л. Я. Гуревич вернулась к этой публикации, рассказав, как текст записок был получен ею («Русская литература XX века. 1890—1910», под ред. С. А. Венгерова, т. I. М., «Мир», с. 247—248).

[80] Отношение к творчеству Бальзака у Толстого было сложным. В 50-х годах (в письмах, дневниковых записях, черновых набросках) нередко встречаются резкие критические суждения. В 80-е годы тон оценок меняется: «Взял я с собой Бальзака и с удовольствием читаю в свободные минуты» (письмо к С. А. Толстой от 9 апреля 1882 г.). В конце 1885 г. в письме к В. Г. Черткову Толстой отмечает «реальность произведений французского романиста, исчезающую в неловких переводах» (*ПСС*, т. 83, с. 332; т. 85, с. 286).

[81] Мысль Толстого о Данте, как об «установленном критикой авторитете», наиболее полно высказана в трактате «Что такое искусство?» (гл. IV, XII, XVI). В ранней дневниковой записи (20 декабря 1896 г.) отражена та же мысль.

[82] В дневнике 1898 г. Толстой записал: «Читал Боккаччио. Начало господского безнравственного искусства» (запись 29 апреля.— *ПСС*, т. 53, с. 191—192). Ср. аналогичную мысль в трактате «Что такое искусство?» (*ПСС*, т. 30, с. 88).

[83] В. Л. Марков. Рабочий поезд.

[84] Г. Ольден. Женитьба Кабуса («Северный вестник», 1894, № 8).

[85—86] См. об этом отзыве Толстого о А. М. Скабичевском в записи Лазурского от 27 июля 1894 г.

[87] После смерти Александра III (20 октября 1894 г.) верноподданнические «Московские ведомости» провозгласили его «великим миротворцем», озабоченным более всего спокойствием и миром народов России и Европы. Вслед за этим в печати, русской и иностранной, появился ряд панегирических статей об Александре III.

[88] 30 ноября 1894 г. на лекции В. О. Ключевского, посвященной памяти умершего царя Александра III и восхвалению его «мудрой» политики, студентами университета была устроена демонстрация протеста, за которой последовали студенческие волнения. Выступление молодежи было сурово подавлено. Пятьдесят три студента были исключены из университета и отправлены в административную ссылку.

[89] В. О. Ключевский в 1893—1895 гг. читал сыну Александра III, вел. кн. Георгию Александровичу, курс русской истории.

[90] «Исследования о боярской думе» — магистерская диссертация «Боярская дума древней Руси» В. О. Ключевского, печатавшаяся в журнале «Русская мысль» в 1880—1881 гг.

[91] Под псевдонимом Ю. Николаев сотрудничал в «Московских ведомостях» Ю. Н. Говоруха-Отрок.

[92] См. коммент. 25 к настоящим воспоминаниям.

[93] О. И. Сенковский отличался особенной резкостью отзывов о творчестве Гоголя. «Библиотека для чтения» (журнал, издававшийся Сенковским) «в течение семнадцати или восемнадцати лет,— отмечал Н. Г. Чернышевский,— постоянно нападала на Гоголя». Н. А. Полевой, убежденный сторонник романтизма, благожелательно встретил ранние произведения Гоголя, но отрицал «Ревизора» и «Мертвые души», полагая, что в них Гоголь «устранился от истинного пути» (см.: Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья вторая).

[94] Статьи Волынского (псевдоним А. Л. Флексера), популярного в 90-е годы журналиста и критика.

[95] Толстой в свое время с увлечением читал Белинского. По словам А. В. Дружинина, он в 50-х годах с целью «понять все наше литературное движение, собирался перечитать все статьи Белинского («Тургенев и круг «Современника». «Academia», М.—Л., 1930, с. 202). В дневнике Толстого (1857) сохранились записи об этих чтениях: «Читал Белинского, и он начинает мне нравиться... прочел прелестную статью о Пушкине... Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина» (дневниковые записи 2, 3, 4 января 1857 г.— *ПСС*, т. 47, с. 108).

[96] Толстой смотрел «Короля Лира» в театре «Эрмитаж» в январе 1896 г. с участием итальянского трагика Эрнеста Росси.

[97] См. коммент. 7 к настоящим воспоминаниям.

[98] «Разбойники» Шиллера — одно из давних увлечений Толстого. Он относил драму к числу произведений, которые оказали на него «очень большое» влияние еще в юношеские годы (см. письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г.).

[99] Толстой не раз возвращался к этой мысли о пользе «цензуры» простого народа, имея в виду предельную ясность выражения художественных идей. «Поверка одна — доступность младенцам и простым людям — чтобы было понятно Ваничке и дворнику» (*ПСС*, т. 67, с. 253).

[100] Оперу Р. Вагнера «Зигфрид» Толстой слушал в Большом театре 18 апреля 1896 г. С ним была его дочь Т. Л. Толстая. См.: Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 226.

[101] Критической оценке оперной музыки Вагнера Толстой посвятил XII главу трактата «Что такое искусство?».

[102] Имеется в виду XXIV Передвижная выставка 1896 г.

[103] 19 апреля 1897 г. Толстой был на репетиции оперы А. Рубинштейна «Фераморс» в постановке учеников Московской консерватории (руководитель В. И. Сафонов). Под живым впечатлением этой репетиции (ее рабочих моментов) Толстой набросал краткое описание увиденного, которое ввел в гл. IX черновой редакции трактата «Что такое искусство?». Вскоре он вернулся к черновому наброску и, значительно расширив и переработав первоначальный вариант, включил его в первую главу трактата. (*ПСС*, т. 30, с. 28—30, 325, 526).

[104] Толстой видел эту картину в мастерской Репина в Петербурге 8 февраля 1897 г.

[105] Трактат «Что такое искусство?».

[106] Биография И. С. Никитина, составленная М. Ф. де Пуле, печаталась при собрании сочинений Никитина (1-е изд. Воронеж, 1869; 10-е изд.— 1904).

[107] Повесть Чехова «Мужики» была опубликована в журн. «Русская мысль» (1897, № 4) со значительными цензурными искажениями.

[108] Речь идет о главе XVI трактата «Что такое искусство?», где в качестве образцов высшего искусства названы Толстым произведения Шиллера, Гюго, Диккенса, Достоевского, Бичер-Стоу, Д. Эллиота. Драму Лессинга «Натан Мудрый» Толстой не упоминает, хотя в свое время он рекомендовал «Натана Мудрого» для издания в «Посреднике» (письмо к В. Г. Черткову от 19—21 января 1887 г.).

[109] П. И. Вейнберг. Генрих Гейне, его жизнь и литературная деятельность, изд. Ф. Павленкова, СПб., 1892.

[110] Трактат «Что такое искусство?» Толстого. Критике декадентского искусства Толстой целиком посвятил X главу трактата.

[111] Картина В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» (1899). Резкий отзыв Толстого об этой картине в марте 1899 г. слышал С. И. Танеев (*ДСТ III*, с. 273—274).

[112] Лазурский говорит о воспоминаниях немецкого биографа Толстого Р. Левенфельда («Русское обозрение», 1897, 10, с. 566). Перевод Толстого из осажденного Севастополя был поставлен в связь с появлением его рассказа «Севастополь в декабре месяце». Однако это сообщение к Николаю I относиться не может, так как рассказ был напечатан (*С*, 1855, № 6) уже после его смерти.

[113] Студенческие волнения 1899 г. в Петербургском университете начались в связи с обращением ректора университета В. И. Сергеевича к студентам, в котором он угрожал подвергнуть репрессиям участников «беспорядков» и замешанных в нарушении «законов». 8 февраля произошло столкновение студентов с конной полицией близ Румянцевского сквера. Затем волнения перебросились в Московский университет. Толстой живо интересовался событиями студенческого движения (см.: «Толстой и студенческое движение 1899 г. Сообщение К. Шохор-Троцкого».— *ЛН*, т. 37—38, с. 651—662).

[114] Работая над «Плодами просвещения», Толстой признавал вполне естественным этот творческий прием и сам пользовался им. Ср. воспоминания М. В. Лопатина.

[115] Известно и другое мнение Толстого о «Доходном месте». Услышав комедию в чтении, Толстой сообщал В. П. Боткину 29 января 1857 г.: «Комедия же Островского, по-моему, есть лучшее его произведение, та же мрачная глубина, которая слышится в «Банкруте», после него в первый раз слышится тут в мире взяточников-чиновников... Вся комедия — чудо» (*ПСС*, т. 60, с. 156). Ср. также дневниковую запись от 25 января 1857 г.: «Островского «Доходное место» лучшее его произведение и удов-

летворенная потребность выражения взяточного мира» (*ПСС*, т. 47, с.112).

[116] См. коммент. 63.

[117] Толстой вспоминает эпизоды из комедии А. Н. Островского «Горячее сердце» (действ. 3, явл. 2).

[118] Книга И. Эккермана «Разговоры с Гете в последние годы его жизни. 1822—1832» в переводе Д. В. Аверкиева вышла в 1891 г.

[119] В марте 1900 г. Толстой передал в газету «Северный курьер» первые главы статьи «Новое рабство». Статья была набрана и правилась Толстым в гранках, получив в окончательной редакции новое заглавие: «Рабство нашего времени». Статья в газете не была пропущена цензурой.

[120] С. Л. Толстой.

[121] Неверный вывод. Толстой с конца 40-х годов серьезно занимался музыкой; к 1850 г. относится его работа над статьей «Основные начала музыки и правила к изучению оной». Известен вальс его сочинения (см. коммент. 13 к воспоминаниям Л. Гуревич).

[122—123] Увлечение философией Конфуция (551—479 гг. до н. э.) возникло у Толстого значительно раньше. В письме к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. он называет его среди авторов, воздействие которых он испытал в период с пятидесяти до шестидесяти трех лет. Степень воздействия определена им как «очень большое». 14 ноября 1900 г. Толстой записал в дневнике: «Занимаюсь Конфуцием, и все другое кажется ничтожным» (*ПСС*, т. 54, с. 62).

[124] Буква — псевдоним И. Ф. Василевского, редактора юмористического журнала «Стрекоза», фельетониста «Русских ведомостей».

А. И. СУМБАТОВ

Сумбатов Александр Иванович, по сцене Южин (1857—1927) — выдающийся русский актер и драматург, теоретик театра, исповедовавший идеи реалистического искусства, опиравшийся в своих поисках на авторитет Толстого. «Когда невольно схватываешься за голову от пляски литературных макбетовских ведьм, — писал он в статье «Что дает Толстой театру», — и начинаешь проверять себя — не сошел ли ты с ума, не во сне ли мерещатся дикие, безобразные фигуры, которые сплошь да рядом лезут на тебя со страниц всевозможных сборников, — одна мысль о том, что жив Толстой, является тем же, чем бывает

пробуждение после мучительного кошмара» (кн. А. И. Сумбатов. Полн. собр. соч., т. I, с. 599).

С Толстым Сумбатов-Южин познакомился 28 ноября 1895 г. в Малом театре на генеральной репетиции пьесы Толстого «Власть тьмы». Второй раз они встретились в 1898 г. в московском доме Толстых и в третий раз — весной 1899 г. у Чехова.

Пути Сумбатова-Южина и Толстого нередко приходили в соприкосновение на почве общественной и литературной деятельности. Под письмом-протестом (май 1903 г.) к Кишиневскому губернатору по поводу разгула черносотенцев рядом с другими подписями стоят подписи Толстого и Сумбатова. В 1904 г. от имени членов Московского литературно-художественного кружка Сумбатов обратился к Толстому с просьбой дать несколько сеансов скульптору Н. А. Андрееву (автору памятника Гоголю). Сумбатов был секретарем организованного в марте 1908 г. Московского комитета по подготовке чествования Толстого по случаю его восьмидесятилетия. На юбилейном чествовании Южина (двадцатипятилетие театральной деятельности) ему был преподнесен адрес от Литературно-художественного кружка, первая подпись на котором принадлежала Толстому, и «Полное собрание сочинений гр. Л. Н. Толстого» с собственноручной надписью автора на первом томе.

Воспоминания писались в начале 900-х годов, и потому в них оказалась не отраженной последняя встреча Сумбатова-Южина с Толстым в Ясной Поляне в январе 1910 г. (*ДСТ IУ*, с. 31).

ТРИ ВСТРЕЧИ

(Стр. 91)

По тексту: А. И. Сумбатов. Собр. соч., т. IV, с. 597—604.

[1] Сумбатов ошибочно называет эту встречу первой (см. с. 536). Встреча же, о которой идет речь, судя по дальнейшему тексту мемуаров (упоминание о работе над «Хаджи-Муратом»), должна быть отнесена к январю 1898 г. (см. коммент. 2). 10 декабря 1897 г. С. А. Толстая отметила в дневнике: «Вчера были... В Малом театре. Шел «Джентльмен» князя Сумбатова» (*ДСТ III* с. 6). По всей вероятности, после этого спектакля Софья Андреевна и написала Сумбатову письмо, которое послужило поводом для визита к Толстым.

[2] Замысел «Хаджи-Мурата» возник у Толстого значительно раньше, летом 1896 г. С большими перерывами он продолжал

работу над повестью в 1896 и 1897 гг. В январе 1898 г., то есть в момент встречи с Сумбатовым, Толстой вновь принялся за нее.

[3] Статьей ошибочно назван трактат «Что такое искусство?». См. коммент. 110 к воспоминаниям В. Ф. Лазурского.

[4] Южин имеет в виду декадентское искусство, в особенности символизм, который он наблюдал, по его словам, «во всех его формах и градациях, в тысячах разных разветвлений, в руках сотен его адептов». Он утверждал, что спасение театра «и как самодовлеющего художественного целого, и как слуги своего народа — без различия народностей, и как образного синтеза жизни — в писателе (Толстом.— Н. Ф.), который дал ему всего две пьесы. Но не этими пьесами он близок и важен театру, а всем, *что он сам* из себя представляет, как искатель и как художник» (кн. А. И. Сумбатов. Полн. собр. соч., т. IV, с. 602, 604).

[5] Речь здесь идет о первой встрече. См. коммент. 1.

[6] Толстой был у Чехова 22 апреля 1899 г. Чехов писал М. О. Меньшикову 27 апреля 1899 г.: «Был у меня Л. Н. Толстой, но поговорить с ним не удалось, так как было у меня много всякого народу, в том числе два актера, глубоко убежденные, что выше театра нет ничего на свете» (А. П. Чехов, т. 18, с. 140).

[7] «Воскресение» было опубликовано в журн. «Нива» (1899, № 11—52) со множеством цензурных искажений и изъятий, уродующих текст. Исключались даже целые главы: XXXIX—XL (ч. I), посвященные богослужению в тюремной церкви и гл. XXVII (ч. II) — посещение Нехлюдовым Торопова.

[8] Чехов говорил о Московском Художественном общедоступном театре (ныне МХАТ им. А. М. Горького). История отказа Чехова дать Малому театру «Дядю Ваню» была такова. Сумбатов в мае 1897 г. (вскоре после выхода в свет пьесы) вел настойчивые переговоры с Чеховым, убеждая его передать «Дядю Ваню» Малому театру (Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., ГИХЛ, 1955, с. 472). Чеховым такое слово было дано, и он чувствовал себя связанным им. Малый театр предполагал поставить пьесу в сезон 1899-1900 гг. 20 февраля 1899 г. Чехов ответил согласием на просьбу режиссера Малого театра А. М. Кондратьева предоставить «Дядю Ваню» театру. Однако неожиданное препятствие возникло в связи с решением Петербургского отделения Театрально-литературного комитета, члены которого, профессора Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский и И. И. Иванов, в своем отзыве от 8 апреля 1899 г. потребовали от автора переработки пьесы и вторичного ее представления в комитет. Пьеса была возвращена Чехову, и он в апреле 1899 г. передал ее в Московский Художественный театр, отказавшись от исправлений и отклонив предложение управляющего

театрами и В. А. Теляковского обжаловать решение Театрально-литературного комитета. Первое представление «Дяди Вани» в Московском Художественном театре состоялось 26 октября 1899 г.

В. М. ЛОПАТИН

Лопатин Владимир Михайлович (1861—1935) — в 80-х годах юрист, товарищ прокурора, мировой судья, впоследствии — актер Московского Художественного театра (театральный псевдоним — Михайлов). Актерское дарование Лопатина раскрылось на любительской сцене: он зарекомендовал себя как прекрасный исполнитель «простонародных» ролей. «Моя деятельность, — вспоминал Лопатин, — была тесно связана с крестьянством и давала мне большой материал для наблюдений над окружающей средой» («Современный театр», 1928, № 37, с. 578). Когда в конце 80-х годов предполагалось поставить «Власть тьмы» в Туле на сцене дворянского собрания силами актеров-любителей, Акима должен быть играть, по словам Н. В. Давыдова, «великолепно исполнявший роли крестьян товарищ прокурора В. М. Лопатин» («Толстой. Памятники творчества и жизни». М., «Задруга», 1920, с. 38).

Познакомился с Толстым Лопатин в имении графа Олсуфьева в начале 80-х годов, еще до выступления в Ясной Поляне в «Плодах просвещения». Толстой-драматург внимательно присматривался к Лопатину-актеру. Анализируя игру Лопатина, Толстой решительно меняет свой взгляд, прежде резко отрицательный, на частый в художественной практике писателей-драматургов прием, когда роль пишется в расчете на сценические данные конкретного исполнителя, и сам строит по этому принципу работу над «Плодами просвещения» (см. коммент. 3).

ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 96)

По тексту: «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеенко. М., «Книга», 1909, с. 98—107.

[1] Работа над комедией «Плоды просвещения» (в первоначальной редакции — «Исхитрилась») началась в ноябре 1886 г. В 1889 г. Толстой возобновил работу, длившуюся с перерывами до декабря 1889 г.; в это время Т. Л. Толстая, заручившись согласием

отца, затевает подготовку домашнего спектакля в Ясной Поляне. Толстой создает новую редакцию пьесы в процессе репетиций.

[2] Об этом эпизоде вспоминает А. В. Цингер: «К предпоследней репетиции в Ясную приехал В. М. Лопатин, которого ждали для роли 3-го мужика. Его позы, жесты, реплики так и заиграли на фоне любительских стараний. После неподражаемо сказанного: «Земля малая... курицу, скажем, и ту выпустить некуда», репетиция остановилась от веселого смеха. Лев Николаевич был в восторге» (А. В. Цингер. У Толстых. — «Международный толстовский альманах», с. 379).

[3] А. М. Новиков, учитель детей Толстого, рассказывал об этой работе: «Кучка молодежи с упоением переписывала утром роли, вечером шли репетиции, и почти ежедневно после них Толстой снова собирал роли и снова переделывал пьесу. Пьеса создавалась прямо по исполнителям» (А. М. Новиков. Зима 1889—1890 годов в Ясной Поляне. — «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». М.—Л., 1928, с. 213).

[4] См. «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (*ПСС*, т. 30, с. 4).

[5] См. коммент. 15 к воспоминаниям И. Я. Гинцбурга.

[6—7] Спектакли были перенесены в Тулу, куда специально приезжали, чтобы посмотреть их, Южин, Медведева и другие деятели русской сцены. Позднее начали играть «Плоды просвещения» в Москве, в «Обществе искусства и литературы». Здесь Звездинцева играл Станиславский, 1-го мужика — Федотов, 2-го мужика — Лужский, 3-го — Лопатин («Современный театр», 1928, № 37, с. 578).

[8] Неточность. Гримировал Лопатина Л. О. Пастернак в своем московском доме. Он так вспоминал об этой затее молодежи с «ряжеными»: «Было придумано, что когда вечер будет в полном разгаре, явятся новые гости, замаскированные под самого Льва Николаевича и бывавших в доме знаменитых людей, друзей дома: А. Г. Рубинштейна, Репина, профессора Захарьина (известный московский врач). «Толстой» подойдет к настоящему Толстому, хозяину дома, «Антон Григорьевич» сядет за рояль, начнутся танцы... Лопатин должен был быть Львом Николаевичем. Загримировать его было легче, чем других, ибо строй его головы (как я знал по моим наброскам с него), череп, лоб очень напоминали Толстого, и с помощью грима получился изумительный «второй» Лев Николаевич. А когда Лопатин одел блузу Льва Николаевича, которую Татьяна Львовна втайне, скрыв от отца, дала ему,— эффект получился еще разительнее» (Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., «Советский художник», 1975, с. 184).

В. Н. ДАВЫДОВ

Давыдов Владимир Николаевич — театральный псевдоним Ивана Николаевича Горелова (1849—1925) — русский актер и режиссер.

В конце 80-х годов Давыдов впервые выступил, заручившись предварительным согласием Толстого, с публичным чтением сцен из «Власти тьмы» на вечере студентов Московского университета. До этого времени пьеса читалась лишь в узких влиятельных кругах, что должно было, по замыслу друзей Толстого, способствовать ее прохождению через цензуру. Чтение «Власти тьмы» профессиональным актером, к тому же пользовавшимся советами и замечаниями самого Толстого, вызвало энтузиазм слушателей.

В июле 1890 г. Давыдов, имевший большой успех среди великосветских любителей сценического искусства как режиссер, способный после немногих репетиций заставить играть дилетантов «не хуже заправских актеров», осуществил единственную в России постановку пьесы Толстого на домашней сцене силами актеров-любителей в присутствии избранной петербургской публики. Спектакль сразу же завоевал популярность, стал заметным общественным событием, вызвав одновременно резкое противодействие административных кругов и реакционной прессы.

Толстой при встрече с А. В. Приселковым, в доме которого была осуществлена постановка, тепло отозвался о спектакле, зная его по рассказам С. Л. Толстого и Т. А. Кузминской, присутствовавших на вечере. Т. А. Кузминская посещала также и репетиции пьесы и могла наблюдать работу Давыдова с актерами-любителями (см.: «Первая постановка «Власти тьмы» на любительской сцене в 1890 году (Из воспоминаний А. В. Приселкова)».— «Ежегодник императорских театров», 1909, вып. 1).

В 1895 г. Давыдов дал много «дельных советов» актерам при подготовке пьесы в Александринском театре (Из воспоминаний Н. С. Васильевой о первых постановках «Власти тьмы» и «Плодов просвещения» на сцене Александринского театра.— Ежегодник императорских театров, 1911, вып. 1, с. 22). В репертуаре самого Давыдова была роль Акима из «Власти тьмы».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКТЕРА

(Стр. 104)

По тексту: «Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко. М., 1909, с. 42—47.

[1] Драма «Власть тьмы» была написана Толстым в конце 1886 г. в сравнительно короткое время: в октябре началась работа, а в декабре Толстой уже правил корректуры. Впервые напечатана: Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Часть 12, М., 1886. Горячо встреченная русским обществом, пьеса в том же 1886 г. была запрещена для постановки на сцене, а в марте 1887 г. последовало еще более категорическое вторичное запрещение. Близившиеся к завершению репетиции в Александринском театре были прерваны. Этому решению, на долгие годы закрывшему доступ пьесе на русскую сцену, предшествовали ожесточенные нападки на новое произведение Толстого со стороны официальных и церковных кругов. Особенно зловещую роль в этой травле автора «Власти тьмы» сыграл обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев (см.: Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, с. 243—244; Письма Победоносцева к Александру III, т. 2. М., 1926, с. 130—134). Впервые «Власть тьмы» была поставлена в 1880 г. на сцене «Théâtre libre» в Париже, на русской же профессиональной сцене — лишь в 1895 г.

[2] Давыдов перешел из императорского (Александринского) театра (где он играл с 1880 г.) в частный театр Ф. А. Корша в Москве в 1886 г.

[3] Давыдов делился с Н. С. Васильевой своими впечатлениями о чтении Толстым сцены разговора Митирча и Анютки: «Но как ярко, как образно прочитал он ее!!! Я был в неописуемом восторге. Так читал только Островский» (Из воспоминаний Н. С. Васильевой о первых постановках «Власти тьмы» и «Плодов просвещения» на сцене Александринского театра. — «Ежегодник императорских театров», 1911, вып. 1, с. 22).

В. Н. РЫЖОВА

Рыжова Варвара Николаевна (1871 — 1963) — одна из замечательных представительниц знаменитой династии русских актеров Малого театра Бороздиных-Музиль-Рыжовых.

В первый свой театральный сезон (1893—1894 гг.) Рыжова выступала довольно часто, но на незначительных «выходных» ролях и в водевилях. Роль Акулины, сыгранная ею в 1895 г. в

драме Толстого «Власть тьмы», была, по сути дела, первой серьезной работой молодой актрисы. Пресса единодушно отметила в этом спектакле роль, сыгранную Рыжовой. Ее имя упоминалось наряду с именами О. О. и М. П. Садовских. Кроме них троих, утверждал критик «Московских ведомостей», «на сцене никто не был похож на мужиков и баб, никто не говорил настоящим народным говором». Рыжовой довелось услышать от самого Толстого отзыв о ее Акулине: «Эта девушка как будто взята из нашей Ясной Поляны» (С. Дурылин. Варвара Николаевна Рыжова. М.—Л., «Искусство», 1945, с. 26). Рыжова и позднее обращалась к драматургии Толстого: ею сыграны кухарка в «Плодах просвещения» и Матрена во «Власти тьмы».

ТОЛСТОЙ В МАЛОМ ТЕАТРЕ

(Стр. 107)

По тексту: «Современный театр», 1928, № 37.

[1] О подробностях цензурных преследований «Власти тьмы» см. коммент. 1 к воспоминаниям В. Н. Давыдова. Антрепренеру А. А. Черепанову удалось уже в октябре 1895 г. поставить пьесу на сцене московского театра «Скоморох», где она была сыграна более ста раз подряд; на тридцать шестом представлении присутствовал Толстой.

[2] 4 ноября 1895 г. к Толстому приезжали режиссер Малого театра С. А. Черневский и художник-декоратор К. Ф. Вальц для получения авторских указаний о постановке пьесы. Тогда же они обратились к Толстому с просьбой прочесть пьесу труппе театра.

[3] 28 ноября 1895 г. Толстой присутствовал на генеральной репетиции «Власти тьмы» в Малом театре. В записной книжке он сделал ряд замечаний о постановке пьесы и игре актеров (*ПСС*, т. 53, с. 268—269, см. также коммент. 6 к воспоминаниям К. С. Станиславского).

[4] Драма «Живой труп» в то время существовала только в замысле. Ср. дневниковую запись 1897 г.: «Вчера... целый день складывалась драма-комедия «Труп» (*ПСС*, т. 53, с. 172). Толстой усиленно работал над пьесой в 1900 г., затем не раз возвращался к мысли о драме, но она так и осталась незаконченной. Впервые опубликована: «Русское слово», 1911, 23 сентября.

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

Станиславский Константин Сергеевич (1863—1938) познакомился с Толстым в 1893 г. К этому времени за плечами у него был уже значительный творческий опыт. Выступив впервые на домашней сцене в 1877 г. робким дилетантом, Станиславский уже в 80-х годах приобретает широкую популярность в театральных кругах.

Первой крупной самостоятельной режиссерской работой Станиславского (1891 г.) были «Плоды просвещения» Толстого. Молодой режиссер сделал акцент на «мужицкой» теме комедии, пьеса отвечала тем идеалам, которые несколько позднее были положены Станиславским в основу творческих целей нового театра: «Осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые, эстетические минуты среди той тьмы, которая окутала их. Мы стремимся создать первый разумный, нравственный общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь» (К. С. Станиславский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М., 1958, с. 175). В начале 900-х годов Станиславский поставил «Власть тьмы» (1902) и, совместно с Немировичем-Данченко, «Живой труп» (1911). В «Живом трупе» он создал образ князя Абрезкова. Толстой следил за деятельностью Московского Художественного театра, его интересовала интерпретация пьес Чехова, которые он, как известно, не любил. С одним из спектаклей, в котором принимал участие Станиславский в качестве режиссера и актера, связана творческая история драмы Толстого «Живой труп». Посмотрев 27 января 1900 г. в постановке Московского Художественного театра «Дядю Ваню» (Станиславский играл Астрова), Толстой под свежим впечатлением от спектакля принялся после долгого перерыва за работу над своим давним замыслом — пьесой «Живой труп», вступая, по сути дела, в своеобразную полемику с драматургией Чехова и ее истолкователями. Одиннадцать лет спустя пьеса была поставлена на сцене театра, возглавляемого Станиславским, и прошла с большим успехом. Свое знакомство с Толстым в 1893 г. и более поздние встречи с ним Станиславский описал в книге «Моя жизнь в искусстве».

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Стр. 110)

По тексту: К. С. Станиславский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М., «Искусство», 1954, с. 139—144.

[1] Знакомство Станиславского с Толстым состоялось 31 октября 1893 г.

[2] Пьеса А. Н. Островского «Последняя жертва» была написана в 1877 г. («Отеч. зап.», 1878, № 1). Со времени первого представления в Малом театре (8 ноября 1877 г.) «Последняя жертва» — одна из репертуарных пьес Островского.

[3] Весной 1890 г., после постановки «Плодов просвещения» любительской труппой в придворном театре в Царском Селе, был издан циркуляр Главного управления по делам печати, запрещающий постановку комедии повсюду, кроме любительских спектаклей (Ф. Раскольников. Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга.— «Красная новь», 1928, № 11, с. 139—142). В конце января 1891 г. Станиславский отправил письмо Толстому с приглашением от Общества искусства и литературы посетить спектакль. 8 февраля 1891 г. состоялось первое представление комедии на сцене Немецкого клуба в Москве силами членов Общества искусства и литературы под руководством Станиславского (К. С. Станиславский. Художественные записи. 1877—1892, «Искусство», М.—Л., 1939, с. 114—115). Спектакль был разрешен как любительский. Ввиду большого успеха был повторен несколько раз. Позднее, после снятия запрета для сцен императорских театров, «Плоды просвещения» были поставлены в конце сентября 1891 г. в Александринском театре в Петербурге и в декабре того же года на сцене Малого театра в Москве.

[4] См. коммент. 1 к воспоминаниям В. Н. Давыдова.

[5] В декабре 1886 г., уже после того, как драма «Власть тьмы» была отдана в печать, Толстой написал новый вариант последних явлений четвертого действия. Им, по замыслу Толстого, можно было заменять сцены убийства ребенка (в первоначальном тексте 12—16 явления того же действия). В декабре 1886 г. Толстой писал М. Г. Савиной, в бенефис которой предполагалось поставить «Власть тьмы» в Александринском театре: «Боюсь, что она покажется петербургской публике и вам слишком грубою. Четвертый акт с того места, где отчеркнуто красным карандашом, много изменен» (*ПСС*, т. 63, с. 455).

[6] Толстой посещал репетиции «Власти тьмы» в Малом театре в 1895 г. В дневнике 7 декабря 1895 г. он записал: «...был в театре на репетициях «Власти тьмы». Искусство, как началось с игры, так и продолжает быть игрушкой и преступной игрушкой взрослых...» (*ПСС*, т. 53, с. 72).

[7] Речь идет о статье «Христианство и патриотизм», которая писалась в 1893—1894 гг.

[8] Общий знакомый Станиславского и Толстого, присутствовавший при этой сцене,— Л. Сулержицкий. Ср. воспоминания М. Горького, наст. том, с. 482.

М. Ф. МЕЙЕНДОРФ

Мейендорф Мария Федоровна — племянница старого и близкого знакомого Толстого А. В. Олсуфьева, владельца имения Никольское-Горушки-Обольяниново, где любил бывать писатель.

Об авторе воспоминаний, в то время молодой девушке, сохранились весьма благожелательные отзывы Толстого. Так, пересылая с Мейендорф Н. Н. Страхову рукопись «Хозяина и работника», Толстой замечал в сопроводительном письме: «Письмо это вам перешлет или передаст очень милая девушка, баронесса Майндорф, с которой я провел несколько дней у Олсуфьевых, у которых я жил и живу еще теперь» (*ПСС*, т. 68, с. 15).

Выразительную характеристику Мейендорф в период, о котором идет речь, находим в письме Т. Л. Толстой (январь 1895 г.), отправленном ею из имения Олсуфьевых в Ясную Поляну: «Здесь все говорят, что она гораздо больше чистой воды толстовка, чем я» (*ГМТ*). Воспоминания Мейендорф были написаны в 1930 г.

СТРАНИЧКА ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ

(Стр. 115)

По тексту: «Летописи государственного литературного музея», кн. 12. М., 1948, с. 369—372.

[1] Толстой гостил у Олсуфьевых с 1 по 18 января 1895 г. В это время он заканчивал рассказ «Хозяин и работник», начатый еще в сентябре 1894 г. Т. Л. Толстая сообщала Софье Андреевне в январе 1895 г.: «Папа́ бодр и здоров, кончает свою повесть» (*ГМТ*).

[2] Здесь верно схвачена мемуаристкой мысль, которая чрезвычайно волновала самого Толстого: о нежелательном истолковании и использовании некоторых его высказываний (в беседах, письмах, записках и т. п.), как своего рода незыблемых канонических истин, «самых важных авторитетов».

[3] Высказанная в образной форме мысль об ограниченной сфере влияния современного искусства связана с эстетической концепцией Толстого, с важнейшим в его учении тезисом о доступности искусства для самого широкого круга людей. Она не раз высказывалась им. Ср. гл. XXXIV статьи «Так что же нам делать?» (*ПСС*, т. 25, с. 357—358). См. также трактат «Что такое искусство?» (*ПСС*, т. 30, с. 183—184).

[4] Неточная цитата начала гл. I «Хозяина и работника».

[5] Очевидная неосведомленность мемуаристки. Рукопись «Хозяина и работника» далеко еще не была готова к печати. Интенсивная работа над текстом рассказа продолжалась в корректуре. Именно с целью продолжить работу Толстой переправил рукопись через Мейендорф Н. Н. Страхову, а не непосредственно в редакцию «Северного вестника» (см. письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 14 января 1895 г.). Но одновременно с «Северным вестником» рассказ печатался и в издательстве «Посредник», где в текст было дополнительно внесено еще 184 авторских исправления. Мейендорф писала 15 февраля 1895 г. Т. Л. Толстой: «Повесть твоего отца, судя по газетам, выйдет только в марте, но это не по моей вине: я в самый день приезда написала Страхову и на следующий день повесть была у него» (*ГМТ*).

В. Г. ЧЕРТКОВ

Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — один из ближайших друзей и единомышленников Толстого, издатель его сочинений — познакомился с ним в 1883 г. К этому времени Чертков, воспитанный в дворянской аристократической семье, блестящий конногвардейский офицер, резко переменил свой привычный образ жизни. Вскоре он стал соратником Толстого в делах издательства «Посредник».

Для двадцатипятилетнего общения с Толстым объем записей Черткова невелик. Сказались годы, проведенные за границей в изгнании за распространение запрещенных произведений писателя. К тому же долгое время Чертков не считал себя вправе записывать мысли Толстого, не полагаясь на точность их воспроизведения. И только выработав для себя некоторые стенографические приемы, он стал фиксировать беседы, отдельные высказывания Толстого. Таким образом, записи Черткова строго документальны. Они лишены субъективных оценок, какие нередко дают себя знать в его работах, посвященных биографии и творчеству Толстого. В них содержится немало положений, важных для понимания эстетической концепции Толстого; главное же — они нередко передают обстоятельства, в которых возникали эти размышления Толстого об искусстве, его импровизации «на ходу», самый процесс рождения его мысли.

По-видимому, записи не всегда расшифровывались Чертковым сразу же после встреч с Толстым, чем можно объяснять ряд хронологических и даже фактических неточностей.

ЗАПИСИ

(Стр. 119)

По тексту: *ЛН*, т. 37—38. М., 1939, с. 524—536.

[1] Эта мысль Толстого — повторение одного из центральных тезисов «Предисловия к сочинениям Гюи де Мопассана», над корректурами которого он работал в конце апреля 1894 г.: «...цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и от того производит иллюзию отражения жизни,— писал Толстой, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» (*ПСС*, т. 30, с. 18—19).

[2] Проблема взаимоотношений народного искусства (фольклора) и искусства и литературы для народа постоянно занимала Толстого, начиная с первых же шагов его творческой работы (см. дневниковую запись от апреля — мая 1851 г. — *ПСС*, т. 46, с. 71). Проблема эта поставлена в целом ряде его выступлений: «О языке народных книжек», «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», «Так что же нам делать?», «Что такое искусство?» и др.

[3] Имеются в виду «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, которые Толстой особо выделял в литературе XIX в., отмечая их новаторский характер и глубокое нравственное содержание. Первый его отзыв о Достоевском связан с «Записками из Мертвого дома» (письмо к А. А. Толстой от 22 февраля 1862 г. — *ПСС*, т. 60, с. 419). Высокую оценку этому созданию Достоевского дает Толстой и в дальнейшем: ср. письмо к Н. Н. Страхову от 26 сентября 1880 г., где «Записки из Мертвого дома» названы лучшей книгой «изо всей новой литературы, включая Пушкина» (*ПСС*, т. 63, с. 24). В трактате «Что такое искусство?» «Записки из Мертвого дома» отнесены к образцам высшего искусства, в 1904 г. два отрывка из «Записок» — «Орел» и «Смерть в госпитале» — были включены Толстым в «Круг чтения».

[4] Над статьей «О значении русской революции» Толстой работал с февраля по октябрь 1906 г.

[5] И. Ф. Наживин. В долине скорби. М., 1907. Мысль, записанная В. Г. Чертковым, зафиксирована также Н. Н. Гусевым, по записи от 18 января 1908 г. (Гусев. Два года с Толстым, с. 87). Как свидетельствует Маковицкий, Толстой говорил, что у автора книги нет «великого свойства истинного художника: чувства меры. Он преувеличивает, утрирует» (*ЯЗ*, 17 января 1908 г.).

[6] Статья Толстого «Любите друг друга (обращение к кружку молодежи)». Впервые опубликована в изд. «Посредник» (М., 1909). Летом 1907 г. Чертков, живя близ деревни Ясенки, устраивал у себя собрания местной крестьянской молодежи, к которой и обратился Толстой.

[7] Об этом более подробно Толстой писал С. В. Гаврилову (14 января 1908 г.): «Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой, есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцовальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды» (*ПСС*, т. 78, с. 20).

[8] Об этом адресе, преподнесенном Толстому от имени деятелей английской культуры в день его восьмидесятилетия, см. в воспоминаниях М. С. Сухотина, а также коммент. 42 к ним.

[9] В дневнике Толстого от 29 ноября 1908 г. есть запись: «Ночью видел во сне, что я отчасти пишу, сочиняю, отчасти переживаю драму Христа. Я — и Христос и воин. Помню, как надевал меч» (*ПСС*, т. 56, с. 158).

[10] В 1909 г. вдова А. И. Эртеля, предпринимая издание сочинений своего мужа, обратилась к Толстому с просьбой написать предисловие. Но Толстой написал предисловие только к роману А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (опубликовано в т. V Собр. соч. А. И. Эртеля. М., 1909). Автор предисловия особенно отмечал в романе «удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык» (*ПСС*, т. 37, с. 243). С романом А. И. Эртеля Толстой познакомился значительно раньше. В дневнике 1889 г. (запись от 28 сентября) содержится краткий отзыв о «Гардениных»: «Лег поздно, зачитался Гардениными. Прекрасно, широко, верно, благородно» (*ПСС*, т. 50, с. 149).

[11] Д. В. Чертков, сын В. Г. Черткова.

[12] «Ora pro nobis» — католический религиозный гимн («Молись за нас»).

[13] Толстой был большой любитель и знаток цыганской манеры исполнения русских народных песен и романсов. Эти его увлечения отразились в ряде произведений: замысел «Повести из цыганского быта» (1850), «Детство», «Два гусара», «Святочная ночь» и «Живой труп». Ср. также воспоминания С. Л. Толстого «Музыка в жизни моего отца» (С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1966, с. 396).

[14] Толстой читал рассказ Л. Андреева 1 января 1909 г. Мысли Толстого по поводу «Рассказа о семи повешенных» были записаны современниками (Гусев. Два года с Толстым, с. 227).

[15] Толстой ценил произведения А. Франса. Он включил в «Круг чтения» несколько его высказываний и, в своей переработке, рассказ «Уличный торговец» («Кренкебиль»).

[16] Ту же мысль о разных типах творчества и в том же сочетании имен Гюго и Л. Андреева Толстой повторил в беседе, участником которой был Фельтен. См. воспоминания Фельтена, с. 304.

[17] Это был Т. К. Фоканов (Гусев. Два года с Толстым, с. 243).

[18] «Свод мыслей» Толстого составлялся в течение ряда лет под редакцией Черткова. Опубликован не был.

[19] Памятник Гоголю (1909 г.) работы скульптора Н. А. Андреева. Ср. воспоминания об этом эпизоде в несколько иной редакции: А. Б. Гольденвейзер, I, с. 324. Осмотру памятника предшествовал разговор о нем в июле 1909 г. См. воспоминания В. А. Поссе, с. 262.

[20] «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова.

[21] Это одна из давних мыслей Толстого. В девнике 4 июля 1851 г. он записывает: «Мне кажется, что *описать* человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал».

[22] Неточная передача записи Толстого в дневнике 4 сентября 1909 г.: «Произведение искусства только тогда истинное произведение искусства, когда, воспринимая его, человеку кажется — не только кажется, но человек испытывает чувство радости о том, что он произвел такую прекрасную вещь. Особенно сильно это в музыке. Ни на чем, как на этом, не видно так главное значение искусства, значение объединения. «Я» художника сливается с «я» всех воспринимающих» (*ПСС*, т. 57, с. 132).

[23] В день отъезда из Москвы, 4 сентября, Толстой посетил магазин Циммермана, где слушал музыкальный аппарат «Mignon». Сильное впечатление на него произвели записи Падеревского, Грюнфельда и Гофмана. Магазин Циммермана прислал «Mignon» в Крекшино на все время пребывания там Толстого, и записи вновь прослушивались Толстым (Гольденвейзер, I, с. 322—323, 325).

[24] Из стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной...» (1857). А. Б. Гольденвейзер относит этот разговор к 1 сентября 1909 г. в Ясной Поляне. См.: Гольденвейзер, I, с. 315.

[25] Близкую мысль Толстой высказывал в беседе с А. Б. Гольденвейзером 1 сентября 1908 г., прослушав в его исполнении

Шопена: «Когда вы играли, я совершенно слился с этой музыкой, как будто это воспоминание о чем-то, — такое чувство, будто я сочинил эту музыку» (Гольденвейзер, I, с. 248).

[26] Толстой с 4 по 18 сентября гостил у В. Г. Черткова в Крекшино, куда приезжала на некоторое время и Софья Андреевна.

[27] Ошибка мемуариста. Строка из стихотворения не Тютчева, а Фета: «Осенняя роза» (1886). У Толстого не было этой путаницы имен. Ср.: Гольденвейзер, I, с. 319. Здесь разговор отнесен к 3 сентября 1909 г., то есть к моменту переезда Толстого из Ясной Поляны в Москву.

[28] Речь идет о музицировании в Крекшино, где составилось трио: скрипач Б. О. Сибор, виолончелист А. И. Могилевский и А. Б. Гольденвейзер: «После обеда мы играли трио g-dur Гайдна, c-moll Бетховена и Аренского... Особенно радовался он ⟨Толстой⟩ на веселый финал трио Гайдна, который просил повторить» (Гольденвейзер, I, с. 325).

[29] «Анатема» (1910) — пьеса Л. Н. Андреева. Весной 1910 г. (21—22 апреля) Л. Н. Андреев приезжал в Ясную Поляну и беседовал с Толстым (см.: Булгаков, с. 198—205).

[30] Поиски Толстым определения музыки велись давно. Одна из первых его записей по этому поводу оставлена в дневнике 1851 г. (29 ноября): «Музыка действует на способность воображать ваши чувства... но почему музыка есть подражение нашим чувствам, и какое сродство каждой перемены звука с каким-нибудь чувством? Нельзя сказать...» (*ПСС*, т. 46, с. 239). Анализ суждений Толстого о музыке см. в статье: Иосиф Эйгес. Воззрение Толстого на музыку.— В кн.: «Эстетика Льва Толстого», сб. статей под ред. П. Сакулина. М., 1929. Одно из определений музыки, данное Толстым («музыка — это стенограмма чувств»), современные музыканты находят особенно удачно выражающим сущность этого искусства. См.: Дм. Шостакович. Знать и любить музыку. Беседа с молодежью. «Молодая гвардия», М., 1958, с. 6.

[31] Драма финского единомышленника Толстого Арвида Ернефельта «Тит, разрушитель Иерусалима». 21 марта 1910 г. Толстой записал в дневнике: «Эрнефельт. Драма его — драма, мало мне интересная» (*ПСС*, т. 58, с. 28). В письме же к Черткову от 24 марта 1910 г. он сочувственно отозвался об этой пьесе: «Эрнефельта вновь очень полюбил и рад был, что драма его понравилась мне, и теперь чем больше думаю о ней, тем больше нравится» (*ПСС*, т. 89, с. 178).

М. В. НЕСТЕРОВ

Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), выдающийся русский живописец, оставивший яркий след в искусстве XIX—XX вв., был страстным почитателем творчества Толстого; особенно интересовали художника суждения Толстого об искусстве, его эстетические взгляды.

До личного знакомства с Толстым Нестеров часто встречался с людьми, близко знавшими писателя: с И. Е. Репиным (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2207), М. Горьким (М. Нестеров. Из писем. «Искусство», Л., 1968, с. 154), вел переписку с В. Г. Чертковым, «давним своим знакомцем» (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2924).

Нестеров дважды навещал Толстого в Ясной Поляне: в августе 1906 г. и в июне — июле 1907 г. Цель первого визита к Толстому была, по словам Нестерова, «очень определенной»: он намеревался написать этюд с Толстого, необходимый ему для будущей большой картины «На Руси» (в первоначальном замысле «Христиане»). Испрашивая у С. А. Толстой разрешение на приезд в Ясную Поляну, он писал ей в июне 1906 г. о том, что в композицию задуманной им картины среди людей, «по яркости христианского веропонимания примечательных, войдут и исторические личности, как гр. Лев Николаевич Толстой», и потому для него было бы «крайне драгоценно иметь хотя бы набросок, сделанный непосредственно с Льва Николаевича» (М. В. Нестеров. Давние дни. М., 1959, с. 284). Получив положительный ответ графини Толстой, Нестеров не без внутренней борьбы собирался в Ясную Поляну (М. В. Нестеров. Из писем, с. 176). Встреча с Толстым, однако, рассеяла все сомнения. Художнику был оказан радушный прием. Во второй приезд в Ясную Поляну Нестеров напряженно работал над портретом Толстого, одновременно обдумывая замысел «Христиан».

Толстой в восприятии Нестерова был ярчайшим явлением русской истории и культуры, глубоким выразителем русской народной души. Характерны в этом отношении поиски Нестеровым общей композиции картины «На Руси». В ранних ее эскизах Толстой становился как бы символически подчеркнутым ее центром.

В основу воспоминаний Нестерова были положены его письма к А. А. Турыгину, написанные по горячим следам событий в августе 1906 г. и в июле — августе 1907 г. При работе над книгой «Давние дни» они были значительно расширены.

ИЗ КНИГИ «ДАВНИЕ ДНИ»

(Стр. 130)

По тексту: М. В. Нестеров. Давние дни. М., «Искусство», 1959, с. 274—286.

[1] Нестеров приехал в Ясную Поляну 20 августа 1906 г.

[2] Французский писатель А. Леруа-Болье был у Толстого несколько раньше, 9 мая 1906 г.

[3] Во время встречи 11 августа 1906 г. между М. О. Меньшиковым и Толстым возник резкий спор по вопросам веры. Это была последняя поездка М. О. Меньшикова к Толстому.

[4] Творчество французского художника Жюля Бастьен-Лепажа — давнее увлечение Нестерова, считавшего его «первым и величайшим» из современных французских живописцев. «Каждая его вещь, — писал Нестеров летом 1889 г. о своих впечатлениях от посещений Лувра, — это событие, это целый том мудрости, добра и поэзии». Он и позднее не раз возвращался к раздумьям о Бастьен-Лепаже. Мысль, высказанная им в разговоре с Толстым, — почти дословное повторение его суждений, развитых еще в 1903 г. в письме к П. П. Перцову (М. В. Нестеров. Из писем, с. 33, 167).

[5] Нестеров остался в Ясной Поляне лишь на один день и вечером 23 августа был уже в Москве. В этот свой первый приезд к Толстому Нестеров сделал шесть карандашных набросков с него (фонды *ГМТ*).

[6] Толстой имел в виду своего брата, Николая Николаевича, особенно любимого им.

[7] Картина Нестерова «Юность Сергия Радонежского» (1892—1897).

[8] Ср. письмо к А. А. Турыгину от 24 августа 1906 г.: «В Толстом же нашел я громадную нравственную поддержку, которой мне недоставало последние годы» (М. В. Нестеров. Из писем, с. 178).

[9] Нестеров приехал в Ясную Поляну 23 июня 1907 г. В своем дневнике Толстой оставил краткое замечание (27 июня): «Живет Нестеров — приятный» (*ПСС*, т. 56, с. 41).

[10] В фондах Государственного музея Л. Н. Толстого хранятся два этюда Нестерова. Первый из них изображает большой пруд с видом на деревню Ясная Поляна (фон для будущего портрета Толстого); второй — этюдный набросок Д. П. Маковицкого (на том же фоне), позировавшего Нестерову в блузе Толстого.

[11] Речь идет о замысле картины «Христиане» (будущая «На Руси»).

[12] Об этом посещении Ясной Поляны детьми подробно писал П. А. Сергеенко (см.: П. А. Сергеенко. Толстой и дети. — В сб.: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1960, с. 289—291).

[13] Ошибка. Поездка в Киев была предпринята Толстым в июне 1879 г. Он нередко вспоминал о подробностях своего пребывания в Киево-Печерской лавре (*ЯЗ*, 13 августа 1905 г. и 29 июня 1907 г.).

[14] Толстой приехал в Оптину пустынь с Н. Н. Страховым глубокой ночью 26 июля 1877 г. Тогда же он увиделся и беседовал со старцем Амвросием. В Оптиной пустыни, у старца Амвросия, он был также 15 июля 1881 г., проделав путь пешком из Ясной Поляны с С. П. Арбузовым и Д. Ф. Виноградовым, и 27 февраля 1890 г.

[15] О Жозефе Бонна как о «знаменитом портретисте» Толстой говорил в беседе с Эженом Вогюэ (*ЯЗ*, 14 февраля 1905 г.).

[16] Разговор Толстого с Нестеровым состоялся 30 июня. Содержание его передано Д. П. Маковицким. За вечерним чаем Л. Н. говорил с М. В. Нестеровым о писании портретов. Заступался за Крамского и Бонна и высказывался против того способа писать «яркими красками в природе», какими пишет М. В. Нестеров. (*ЯЗ*, 30 июня 1907 г.).

[17] Портрет Толстого заканчивался Нестеровым в его киевской мастерской в сентябре — ноябре 1907 г. См. письма Нестерова о работе над портретом к В. Г. Черткову и А. А. Турыгину (М. В. Нестеров. Из писем, с. 184, 186).

[18] Имелась в виду книга: Romain Rolland. Vies des hommes illustres. La vie de Michel Ange. Paris, 1906. Отзывы об этой книге с критическими замечаниями Толстого приведены в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого (22, 24 августа 1906 г.).

[19] В письме к Нестерову от 10 октября 1907 г. С. А. Толстая писала: «Какой вы настоящий, вдохновенный художник! Как вы любите свое дело, и как волнуетесь, когда работаете! Еще бы не сочувствовать вам!» (М. В. Нестеров. Из писем, с. 397).

[20] Каргалык, во время пребывания там Нестерова, посетила группа студентов Киевского политехнического института для знакомства с хозяйством имения.

П. А. СЕРГЕЕНКО

Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930) — близкий знакомый Толстого, литератор. Впервые встретился с Толстым в начале 90-х годов и впоследствии часто бывал у него, нередко выполняя

разносторонние обязанности секретаря. Сергеенко брал на себя хлопоты в редакциях, принимал участие в общественной деятельности писателя (помощь духоборам в 1898 г., голодающим в 1899 г.). Толстой находил в нем внимательного и благодарного слушателя-биографа, бережно сохранившего его рассказы.

Многие из этих устных рассказов использованы в книгах Сергеенко: «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», «Л. Толстой» (1910) и др.

Книга Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» выдержала три издания (1898, 1903, 1908). Второе издание, дополненное, было подвергнуто авторской правке, в третье введен новый очерк «Толстой и дети». Книга Сергеенко знакомила читателей с материалами биографии Толстого, с описаниями его окружения и его семьи, уклада жизни, особенностей его работы над своими произведениями и т. п. В круге этих разнообразных тем значительное внимание было уделено размышлениям Толстого об искусстве, о путях его развития, о законах творчества, которые писатель открывал для себя, анализируя произведения разных мастеров: музыкантов, живописцев, скульпторов. Записи Сергеенко, порою очень точно фиксирующие мысли Толстого, нередко отражают существенные положения его эстетической концепции.

КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ

(Стр. 137)

По тексту книги: П. Сергеенко. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., Изд. И. Д. Сытина, 1908, с. 3—149.

[1] Первая встреча Сергеенко с Толстым состоялась в 1892 г.

[2] Толстой познакомился с Герценом в Лондоне в феврале 1861 г., во время своей поездки за границу. Они, по словам Толстого, виделись тогда «почти каждый день, и были разговоры всякие и интересные» (*ПСС*, т. 75, с. 71). См. письма Толстого к Герцену от 20 марта, 26 марта и 9 апреля 1861 г. («Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, с. 454—459).

[3] Толстой неизменно высоко оценивал талант Герцена — прозаика и публициста. Еще до личной встречи с Герценом он писал о нем в дневнике 1860 г.: «Ширина, ловкость и доброта, изящество — русские». В 1888 г. он утверждал, что Герцен как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям» (*ПСС*, т. 86, с. 121); и позднее с воодушевлением говорил о нем как об «удивительном писателе»,

имеющем огромное влияние на общественное развитие: «Наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган» (*ПСС*, т. 64, с. 151). В письме к В. Г. Черткову от 8 августа 1899 г. Толстой, сетуя на медлительность откликов на текущие события, приводил в пример Герцена: «Нужно быстро и бойко, по-герценовски, по-журнальному, писать о современных событиях» (*ПСС*, т. 88, с. 179).

[4] См. коммент. 8 к воспоминаниям А. В. Жиркевича.

[5] Имеется в виду картина Н. Н. Ге «Что есть истина?» (1890). По требованию Святейшего синода она была снята с XVIII выставки передвижников. В письме к П. М. Третьякову Толстой утверждал, что картина Ге составляет эпоху «в христианском, то есть в нашем истинном искусстве» (*ПСС*, т. 65, с. 107).

[6] Мысль об отрицательном влиянии специальных художественных школ развивалась Толстым в трактате «Что такое искусство?» (*ПСС*, т. 30, с. 28).

[7] Подлинное искусство, по мысли Толстого, обладает особенностью, которая в высшей степени присуща народному искусству, а именно исключительной силой непосредственного эмоционального воздействия: «Эта простая музыка гораздо сильнее действует. Там, у композиторов, я должен делать усилия, чтобы понять, а эта сама входит в душу» (Гусев. Два года с Толстым, с. 213). Ср. также гл. XIV трактата «Что такое искусство?» (*ПСС*, т. 30, с. 144).

[8] «Зигфрид» — третья часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов» Р. Вагнера. Сергеенко ошибочно относит разговор об опере к 1892 г., так как Толстой впервые слышал «Зигфрида» 19 апреля 1896 г. в Большом театре в Москве (*ПСС*, т. 69, с. 82—83). Почти вся XIII глава трактата Толстого «Что такое искусство?» посвящена выдержанному в резких тонах критическому разбору оперы Р. Вагнера (*ПСС*, т. 30, с. 129—140). Толстой отрицает новаторство Вагнера, полагая, что в основе его приемов лежит «нелепая» «мистическая теория Шопенгауэра» и «еще более ложная система соединения всех искусств» (там же, с. 126). Ср. также: Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 226. В романе «Анна Каренина» толстовские мысли о музыке Вагнера высказывает Левин.

[9] Эта мысль — одно из центральных положений эстетики Толстого. Уже в черновой редакции «Детства» (1852) Толстой замечает: «Воображение — такая подвижная, легкая способность, что с ней надо обращаться очень осторожно. Один неудачный

намек, непонятный образ, и все очарование, произведенное сотнею прекрасных, верных описаний, разрушено. Автору выгоднее выпустить 10 прекрасных описаний, чем оставить один такой намек в своем сочинении» (*ПСС*, т. 1, с. 178).

[10] Поль Дерулед приезжал к Толстому в Ясную Поляну 15 июля 1886 г.

[11] Толстой был на представлении «Короля Лира» Шекспира в театре «Эрмитаж» в первой половине января 1896 г.

[12–13] Мысль об отрицательном воздействии некоторых элементов натурализма, привнесенных в театральные постановки пьесы, часто повторялась Толстым. Говоря об исполнении роли Анютки артисткой Егоровой, Толстой замечал: «Было что-то раздирательное. Это было слишком реально, слишком похоже на действительность». Она, видно, и сама перепугалась, когда кричала, и это оставляло неприятное впечатление» (Л. Гуревич. Литература и эстетика. М., 1912, с. 232).

[14] Толстой любил читать стихи Гейне на память в оригинале. Т. Л. Сухотина-Толстая записала в дневнике 1898 г.: «Папа̀ читает Гейне и вчера говорил одно стихотворение, которое выучил наизусть» (Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 233). «Lass die frommen Hipotesen...» («Брось свои иносказанья...». Перевод М. Михайлова) — из цикла: «Стихотворения 1853—1854 гг.».

[15] См. коммент. 98 к воспоминаниям В. Ф. Лазурского.

[16] Сочетание силы чувства с высоконравственным содержанием Толстой отмечал как характерную черту творчества Гюго. В трактате «Что такое искусство?» (гл. XVIII) он утверждал, что произведения Гюго способны передавать «чувства, влекущие к единению и братству людей» (*ПСС*, т. 30, с. 177).

[17] В беседе с Полем Буайе Толстой говорил, что в пятнадцать лет носил на шее медальон с портретом Руссо, как образок. См. воспоминания П. Буайе, с. 268.

[18] В письме к М. М. Ледерле в списке книг, произведших на него особенно сильное впечатление в возрасте от четырнадцати до двадцати лет, Толстой называет «Героя нашего времени», особенно выделяя «Тамань» (*ПСС*, т. 66, с. 67). В октябре 1910 г., незадолго перед уходом из Ясной Поляны, в письме к И. И. Горбунову-Посадову Толстой советует выбрать лучшие стихотворения Лермонтова как «образец совершенства» в этом роде художественного творчества (*ПСС*, т. 82, с. 207).

[19] В письме к Д. В. Григоровичу от 27 октября 1893 г. по случаю пятидесятилетия его литературной деятельности Толстой писал: «Вы мне дороги ⟨...⟩радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и — хочется сказать: нашего

учителя, — можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» (*ПСС*, т. 66, с. 409).

[20] Толстой имеет в виду «Записки охотника» Тургенева, особенно высоко ценимые им.

[21] Еще в 50-х годах при личных встречах Толстой проявлял, по словам Некрасова, «скрытое, но несомненное участие» к нему (Некрасов, т. X, с. 275). В 70-х годах Толстой пишет Некрасову о том, что с ним связано у него «много хороших молодых воспоминаний» (*ПСС*, т. 62, с. 110). Особенно ясно ощутил Толстой, насколько дорог был ему этот человек, узнав о смерти Некрасова, которая «поразила» его. «Мне жалко было его, — писал он Н. Н. Страхову 3 января 1878 г., — не как поэта, тем менее как руководителя общественного мнения, но как характер, который и не попытаюсь выразить словами, но понимаю совершенно и даже люблю не любовью, а любованием» (*ПСС*, т. 62, с. 369).

[22] Толстой слушал чтение «Рудина» в середине декабря 1855 г. О впечатлении «фальши», «придуманности» он говорил в июне 1894 г. в беседе, зафиксированной В. Ф. Лазурским, см. наст. том, с. 54.

[23] «Живые мощи» (1874) и «Бирюк» (1848) — рассказы из цикла «Записки охотника» И. С. Тургенева.

[24] Ошибка. Толстой приезжал к И. С. Тургеневу в Спасское не в 1860 г., а в марте 1861 г. и слушал чтение рукописи еще не законченного романа «Отцы и дети», работа над которым была завершена позднее, в июле 1861 г.

[25] Мысль о неровности романов Ф. М. Достоевского, о тщательной отделке автором первых частей (см. Записи М. Г. Черткова, с. 120) повторялась Толстым не раз. Говоря в 1883 г. о «Преступлении и наказании» как о лучшем из романов Достоевского, Толстой замечает: «Прочтите несколько глав с начала, и вы узнаете все последующее» (Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24—25 августа 1883 г.) — «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, с. 60). Позднее, уже в 90-х годах, он возвращается к этому наблюдению, имея в виду «Преступление и наказание» и роман «Идиот».

[26] См. коммент. 3 к воспоминаниям В. Г. Черткова.

[27] В письме к Чехову от 25 мая 1903 г. И. Л. Толстой сообщал о списке из тридцати его рассказов, составленном Толстым, где «Злоумышленник» (1885) отнесен к «первому сорту» *(ГБЛ)*.

[28] 14 января 1899 г. Толстой читал вслух «Душечку» и рассказ «По делам службы» (*ДСТ*, III, с. 109). О чтении Толстым «Душечки» и «По делам службы» свидетельствует И. И. Горбунов-

Посадов в письме А. П. Чехову от 24 января 1899 г.: «Лев Николаевич в восторге от нее ⟨«Душечки»⟩. Он все говорит, что это перл, что Чехов это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением» (Чехов, т. IX, с. 603).

[29] Толстой имеет в виду эпизод из истории Иосифа, отличающийся предельной краткостью изложения (Библия. Книга Бытия, гл. 39).

[30] Речь идет о трагическом происшествии, случившемся 6 января 1871 г., — о самоубийстве Анны Степановны Пироговой. Подробнее об этом см.: «Об отражении жизни в «Анне Карениной». Из воспоминаний С. Л. Толстого». — *ЛН*, т. 37—38, с. 567—568.

[31] О возникновении замысла «Крейцеровой сонаты» и работе Толстого над ним см. в статье Н. К. Гудзия «История писания и печатания «Крейцеровой сонаты» (*ПСС*, т. 27, с. 563—596). В. Н. Андреев-Бурлак посетил Толстого в Ясной Поляне 21 июня 1887 г. Тогда же он рассказал Толстому о случайной встрече в вагоне железной дороги с господином, который «сообщил ему свое несчастие от измены жены» (*ДСТ* III, с. 142, 160).

[32] Основой для будущего замысла повести «Крейцерова соната», по свидетельству самого Толстого, послужило письмо, полученное им от неизвестной женщины в феврале 1886 г. (*ПСС*, т. 27, с. 572—573).

[33] Увлечение А. Е. Мартыновым относится к юношеским годам Толстого. В 1845 г., будучи еще студентом Казанского университета, Толстой видел Мартынова в Казанском театре в роли Хлестакова (А. Стахович. Клочки воспоминаний. — «Толстовский ежегодник 1912 г.», с. 29). В пьесе А. А. Потехина «Чужое добро впрок не идет», которую Толстой смотрел в декабре 1856 г. на сцене Александринского театра, Мартынов исполнял роль Михайлы и вызвал восхищенный отклик Толстого (А. Стахович. Ук. соч., с. 31). Впоследствии Толстой говорил: «За всю свою жизнь я не видал актера выше Мартынова» (П. М. Пчельников. Из дневника. — «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеенко. М., 1909, с. 276).

[34] Случай, о котором вспоминал Толстой, произошел 22 декабря 1858 г. на медвежьей охоте. См. воспоминания А. А. Фета в т. 1 наст. изд., с. 81—82 и коммент. к ним. Это происшествие дало писателю материал для детского рассказа «Охота пуще неволи» (1872).

[35] По-видимому, стихотворение А. А. Фета «Как хорош чуть мерцающим утром...» (1857).

[36] Фет, увлеченный С. А. Толстой, посвятил ей несколько стихотворений: «Гр. С. А. Т — ой» («Когда так нежно расточала...»).

«К портрету графини С. А. Т-ой» («И вот портрет! и схоже и несхоже...»), «Ей же» («Я не у вас, я обделен...»), «Ты вся в огнях. Твоих зарниц...», «Графине С. А. Т-ой (во время моего 50-летнего юбилея)» («Пора! Во влаге кругосветной...»), «Графине С. А. Толстой» («Когда стопой слегка усталой...»).

ЭЛЬМЕР МООД

Моод Эльмер (Алексей Францевич) (1858—1938) — английский литератор, с 1874 по 1896 г. живший в России, — познакомился с Толстым в 1888 г. Перевел на английский язык трактат «Что такое искусство?» и ряд других произведений Толстого. Он автор многих статей, исследований, воспоминаний, книг о Толстом, в том числе двухтомной его биографии (1908—1910). Моод не был сторонником религиозно-нравственного учения Толстого и откровенно высказывал писателю свое мнение. Это, однако, не мешало Толстому с глубоким уважением относиться к нему, высоко ценить как прекрасного, по его словам, переводчика своих произведений, быть благодарным ему за деятельное участие в оказании помощи духоборам при переселении их из России в Канаду. Воспоминания Моода, написанные в 1900 г., характеризуют исключительно широкий круг интересов и раздумий Толстого, связанных с английской и американской литературой, классической и современной, а также с чтением работ, посвященных вопросам социологии, политэкономии, этики и т. п.

РАЗГОВОРЫ С ТОЛСТЫМ

(Стр. 153)

По тексту: «Tolstoy and his Problemes». Essays by Aylmer Maude. New-York, 1904. Перевод П. Палиевского («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. М., 1960, с. 433—441).

[1] Здесь очевидная хронологическая ошибка. Статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?» написана не в 1888 г., а несколько позднее. Замысел ее возник лишь в апреле 1890 г., общая редакция закончена в июне 1890 г., а окончательный текст статьи был опубликован в качестве предисловия к книге: П. С. Алексеев. О пьянстве. М., «Посредник», 1891.

[2] Статья, о которой идет речь (Tolks with Tolstoy»), впервые опубликована в 1900 г. в одном из английских журналов; впоследствии была включена в книгу Э. Моода: «Tolstoy and his Problemes». Essays by Aylmer Maude. London, Grand Richardc, 1901.

[3] Об отношении Толстого к творчеству Гюго-романиста см. в воспоминаниях В. Ф. Лазурского и В. Г. Черткова, с. 62, 124. Из романов Диккенса Толстой особенно высоко ценил «Давида Копперфильда», «Холодный дом», «Жизнь и приключения Николаса Никльби», «Оливера Твиста», «Крошку Дорит» и др. «Историю двух городов» и «Колокола» Толстой относил к разряду «высшего искусства» («Что такое искусство?», гл. XVI). В письме к Джемсу Лею от 21 января 1904 г. Толстой утверждал, что Диккенс является «крупнейшим писателем-романистом 19 столетия. Мысль, близкая высказанной в беседе с Э. Моодом, была развита Толстым в 1901 г. в «Предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин». Характерно, что в 1903 г. Толстой вновь ставит рядом имена Гюго и Диккенса, имея в виду «прекрасную форму и значительность содержания» их произведений (письмо к Генриху Ильгенштейну от 21 ноября 1903 г.).

[4] Толстой читал романы Гемфри Уорд «Роберт Эльсмер» и «Мисс Бретертон», «История Давида Грива». О первых двух романах он отзывался как о «хороших» книгах, написанных тонко и умно (дневниковая запись в январе 1889 г.; письмо к С. А. Толстой от 18 ноября 1892 г.— *ПСС,* т. 84, с. 174—175).

[5] Произведения Оливии Шрейнер, южноафриканской писательницы, пользовались успехом у русских читателей (большинство из них было переведено на русский язык). Моод говорит о сборнике ее аллегорических рассказов «The driams» (русск. пер.— «Грезы и сновидения», 1900) и о повести «Рядовой Питер Холкет» (русск. пер.— 1890), в которой Шрейнер выступила против хищнической политики британского империализма в годы, предшествовавшие англо-бурской войне. Повесть «Рядовой Питер Холкет» была опубликована также в изд. «Посредник».

[6] Об историческом романе Генриха Сенкевича «Quo vadis» («Камо грядеши», 1894—1896) Толстой отзывался неодобрительно, называя его «фальшивым» (см.: *ЯЗ,* 19 октября 1906 г.).

[7] О «The Leaves of Grass» («Листья и травы») У. Уитмена Толстой оставил следующее замечание, зафиксированное Д. П. Маковицким: «Поэт очень интересный; он философский поэт. Он был разбит параличом, и, несмотря на это, был жизнерадостен. Он очень мало известен в России» (*ЯЗ*, 12 декабря 1907 г.).

[8] Аналогичная мысль была высказана Толстым 21 июня 1900 г. в письме к Э. Гарнету по поводу его предложения выступить с обращением к американскому народу: «Я почувствовал, что если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я получил от его писателей, процветавших в пятидесятых годах. Я бы упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона,

Балу и Торо, не как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других имен назову: Чанинга, Уитиера, Лоцелла, Уота Уитмена — блестящую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе.

И мне хотелось бы спросить американский народ, почему он не обращает больше внимания на эти голоса (которых вряд ли можно заменить голосами Гульда, Рокфеллера и Карнеджи), и почему он не продолжает того хорошего дела, которое столь успешно ими начато» (*ПСС*, т. 72, с. 396—397).

[9] По-видимому, речь идет о статье М. Арнольда «Литература и догма». Арнольд выступал как поэт, литературный критик и писатель по религиозным вопросам и по проблемам педагогики. Как поэта его сравнивали с Теннисоном, Броунингом и Россети. Работы Арнольда по религиозным вопросам действительно не пользовались большим вниманием в Англии. См: В. П. Батуринский. Эйльмер Моод о Л. Н. Толстом.— «Минувшие годы», 1908, сентябрь, с. 97—98.

[10] См. коммент. 15 к воспоминаниям И. Я. Гинцбурга.

[11] «Review of Reviews»— английский ежемесячный журнал, пользовавшийся большой популярностью в Англии, издавался в Лондоне В. Стэдом. В журнале систематически публиковались подборки из английской, американской и европейской периодики. Отрицательный отзыв Толстого о журнале содержится в письме В. Г. Черткову от 11 марта 1897 г. Под впечатлением чтения журнала Толстой оставил следующее замечание в записной книжке 5 января 1907 года: «Читал «Review of Reviews», обзор всей жизни мира. Какие жалкие, обманные, лживые, дурные интересы!» (*ПСС*, т. 56, с. 178).

[12] Г. Торо, американский писатель и поэт, проповедовал идеи, близкие Толстому, о необходимости опрощения и физического труда. Поводом для создания очерка «Гражданское неповиновение» («Essay on Civil Disobedience») послужил Торо его арест за отказ от уплаты подушного налога. В переводе на русский язык очерк Торо был напечатан в 1898 г. в сборнике «Свободное слово» под ред. П. И. Бирюкова. Многие мысли Торо помещены в «Круге чтения» (1904—1908) Толстого и в «Пути жизни» (1910).

[13] В марте 1894 г. Толстой писал Д. Кенворти о его книге «Анатомия нищеты. Общедоступные чтения по экономике»: «С большим интересом прочел вашу «Анатомию нищеты» и, раньше чем получил ее от вас, я достал эту книгу у одного книгопродавца и дал перевести ее на русский язык» (*ПСС*, т. 67,

с. 62). В 1900 г. Толстой, по просьбе Кенворти, написал предисловие к третьему английскому изданию этой книги. Личная встреча с Кенворти в мае 1900 г. подтвердила первые отрадные впечатления. У него много очень хорошо и прекрасно выраженных им мыслей» (*ПСС*, т. 88, с. 196),— писал Толстой В. Г. Черткову.

[14] В. Джонстон. Шри Шанкара Ачария — индийский мудрец.— «Вопросы философии и психологии», 1897, январь — февраль. Толстой с большим одобрением отнесся к этой публикации, «превосходным» идеям индийского мудреца (*ПСС*, т. 70, с. 55); он утверждал, что в его писаниях содержится мысль «общая всем великим учителям» (*ПСС*, т. 88, с. 18). Статья эта с некоторыми сокращениями по указанию Толстого была перепечатана в изд. «Посредник». М., 1898.

[15] Д. Морлей (Морли), английский ученый и политический деятель, был известен в России как автор ряда историко-литературных трудов и критических опытов. В русских переводах появились его биографии Вольтера, Руссо, Дидро. Сочинение, отмеченное Толстым («On compromise», русск. пер., 2-е изд., М., 1896), представляло для него большой интерес; в этой работе развивались взгляды Морлея по вопросам этики.

[16] О книге Г. Аллена («The women, who did», 1895), героиня которой решается вступить в гражданский брак и в конце концов остается одна, отвергнутая своей средой, Толстой писал в мае 1897 г. В. Г. Черткову в связи с семейной драмой Д. А. Хилкова и его гражданской жены Ц. В. Винер (*ПСС*, т. 88, с. 25). Целый ряд изречений Аллена Гранта был включен Толстым в «Круг чтения».

[17] Толстой испытал большое влияние работ американского экономиста Г. Джорджа. В особенности он выделял его книгу «Прогресс и бедность» (1879), к которой не раз обращался, и изложенную в ней теорию «единого налога на землю». С установлением этого налога земля, по мысли Г. Джорджа, переставала быть источником дохода отдельных лиц, а земельная рента целиком переходила в распоряжение общества. В письме к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. он относил эту книгу к числу тех произведений, которые произвели на него «очень большое» впечатление в возрасте с пятидесяти до шестидесяти трех лет. Позднее, под влиянием событий революции 1905 г., Толстой подверг критике теорию Джорджа, полагая, что предложенные им меры не в состоянии остановить обнищания народных масс и изменить суть буржуазно-капиталистических отношений, основанных на их эксплуатации. См. воспоминания В. А. Поссе, с. 262.

[18] Об «Автобиографии» Джона Стюарта Милля Толстой писал в письме к Ч. Райту весной 1904 г.: «В автобиографиях часто, совершенно независимо от воли авторов, проявляются в высшей степени важные психологические данные. Такие, я помню, поразили меня в автобиографии Милля» (*ПСС*, т. 75, с. 82).

НА ГРАНИ ДВУХ СТОЛЕТИЙ. «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Л. О. ПАСТЕРНАК

Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) впервые встретился с Толстым весной 1893 г. Толстой между тем давно следил «за его талантом»; ему были известны картина Пастернака «Письмо с родины», его рисунки (Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975, с. 175).

Ко времени знакомства с Толстым Пастернак, художник большого дарования (с 1905 г.— академик петербургской Академии художеств), увлекался иллюстрацией, считая ее «серьезным и самостоятельным» родом художественного творчества. В альбоме иллюстраций к «Войне и миру», изданном журналом «Север» (1895), были воспроизведены четыре работы, выполненные Пастернаком. Толстой впоследствии с восторгом отзывался о них, заметив, что, когда писался роман «Война и мир», он «мечтал о таких иллюстрациях» (там же, с. 173).

Осенью 1898 г. Т. Л. Толстая передала Пастернаку приглашение Толстого приехать в Ясную Поляну для переговоров об иллюстрациях к роману «Воскресение». В ноябре того же года Пастернак привез в Ясную Поляну первые эскизы рисунков, которые Толстой нашел «прекрасными». Пастернак гостил в Ясной Поляне в 1901, 1903, 1909 гг. Художник создал серию портретов Толстого, зарисовок с него, сценок яснополянского быта, картину «Семья гр. Толстых в Ясной Поляне», иллюстрировал рассказ Толстого «Чем люди живы».

Публикуемый текст воспоминаний — лишь фрагмент обширных записей художника о его знакомстве с Толстым. Они не были завершены. Конспекты и бегло набросанные планы свидетельствуют о том, что Пастернак намеревался довести их до того драматического момента, когда, получив известие о смерти Толстого, он выехал в Астапово вместе с сыном Борисом (впоследствии известным советским поэтом), чтобы сделать последнюю зарисовку с Толстого —«На смертном одре».

КАК СОЗДАВАЛОСЬ «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Из моих воспоминаний о Толстом

(Стр. 165)

По тексту: *ЛН*, т. 37—38. М., 1939, с. 510—519.

[1] Речь идет о М. Горьком. Пастернак описывает эпизод своего свидания с Горьким в загородном пансионе-санатории в Целендорфе, где тогда жил писатель. См.: Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975, с. 144—145.

[2] Первая встреча с Толстым произошла 29 марта 1893 г., перед открытием XXI выставки Товарищества передвижников в залах Московского училища живописи. Толстому представил Пастернака К. А. Савицкий. Тогда же Толстой пригласил Пастернака в Хамовники.

[3] Этот цикл работ Пастернака, хранящихся в Государственном музее Л. Н. Толстого (Москва), включает 28 портретов Толстого, 8 портретов членов семьи Толстого и близких ему лиц, 5 иллюстраций к «Войне и миру», 44 иллюстрации к «Воскресению», 6 иллюстраций к рассказу «Чем люди живы».

[4] Пастернак приехал в Ясную Поляну 6 октября 1898 г. С. А. Толстая записала в дневнике: «Приехал художник Пастернак; его вызвал Л. Н. для иллюстраций к «Воскресению»... Живой, умный и образованный человек — этот Пастернак» (*ДСТ* III, с. 86).

[5] Весь доход от издания «Воскресения» шел в пользу духоборам, преследуемым царским правительством и переселяющимся в Канаду.

[6] К этому времени Толстой уже работал (с августа 1898 г. по январь 1899 г.) над четвертой редакцией «Воскресения».

[7] Во второй раз Пастернак посетил Ясную Поляну в середине ноября 1898 г. 19 ноября он уже вновь был в Москве (*ДСТ* III, с. 95).

[8] Начиная с 22 октября 1898 г. роман частями направлялся в журнал «Нива». Набранный текст подвергался в гранках усиленной авторской правке. Лишь с весны 1899 г. при продолжающейся работе автора над текстом началась публикация (с некоторыми перерывами) романа в «Ниве» (1899, № 11—58, с 13 марта по 25 декабря), редакция которой приобрела исключительное право первого печатания «Воскресения» в русских изданиях.

[9] Одновременно по гранкам «Нивы» роман печатался за границей: на русском языке в издании В. Г. Черткова и на немецком, французском и английском языках в различных периодических изданиях (см. об этом подробнее: Н. К. Гудзий и

Е. А. Маймин. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение».— В кн.: Л. Н. Толстой. Воскресение. Серия литературных памятников. М., «Наука», 1964, с. 538—544).

[10] Об экзекуции упоминается в гл. X—XVI (часть первая) «Воскресения». Рисунок Пастернака «После экзекуции» напечатан лишь во втором издании романа в 1900 г.

[11] Такой коллекции в Гос. музее Л. Н. Толстого нет. Несколько репродукций с рисунков с проставленными Толстым баллами было показано на Толстовской выставке в Историческом музее в Москве в 1911 г.

А. Ф. КОНИ

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — выдающийся русский судебный деятель и литератор, оставивший ряд ярких воспоминаний о людях, с которыми он сталкивался на жизненном пути. Среди его знакомых были Некрасов, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Стасов. Но самый глубокий след в жизни Кони, по собственному его признанию, оставило знакомство и многолетняя дружба с Толстым. Впервые посетив его в 1887 г., он затем часто бывал у Толстых в Москве, в Хамовниках, и в Ясной Поляне.

Ко времени знакомства с Толстым имя его было широко известно в общественных кругах; Кони занимал высокий пост обер-прокурора уголовного Кассационного департамента. Не раз он шел «против течения», помогая Толстому в его трудной борьбе в защиту гонимых царским правительством духоборов или людей, исповедующих его убеждения (Н. Е. Фельтен, М. М. Холевинская, М. П. Новиков и др.), добиваясь смягчения или отмены жестоких и несправедливых приговоров. «Я прикован к своему посту тяжелою работой... — писал Кони Толстому 29 июля 1895 г. — ибо не вижу рук, в которые мог бы передать дело, на котором можно наделать много зла» (А. Ф. Кони. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М., 1969, с. 129).

К «невыдуманным историям», почерпнутым Кони из своей судебной практики (он к тому же был и прекрасным рассказчиком), Толстой относился с особенным интересом: они содержали уникальные материалы — документальные свидетельства, в которых Толстой находил жизненные истоки для своих замыслов.

В 1907—1908 гг. Кони с увлечением работал над воспоминаниями о русских писателях. Толстой был знаком с его «отрывками из воспоминаний» (о Тургеневе, Достоевском, Некрасове, Апухтине и Писемском.— «Вестник Европы», 1908, № 5) и одобрительно отозвался о них в письме к С. А. Толстой от 16 мая

1908 г. Впервые воспоминания Кони о встречах с Толстым появились в ежемесячном литературном приложении к журналу «Нива» (1908, т. 3).

Кони не разделял религиозно-нравственных идей Толстого, нередко вступал с ним в полемику, доказывая, что непротивление злу может в ряде случаев становиться «содействием злу» (*ИРЛИ*, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 19, л. 8 об.). Однако он видел (и отразил в своих воспоминаниях), как проповедник любви и всепрощения оказывался на деле ярчайшим возбудителем общественного сознания, писателем, способным наносить неотразимые удары самодержавию. Наряду с толкованием этических, нравственных идей, которые проповедовал Толстой, его мыслей об искусстве, воспоминания Кони содержат сведения, важные для понимания творческого процесса Толстого (момент возникновения замысла и работа над романом «Воскресение»).

ИЗ КНИГИ «НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ»

(Стр. 173)

По тексту: А. Ф. Кони. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М., «Юридич. лит.», 1968, с. 454—501.

[1] Речь идет о 1902 г. В начале января болезнь Толстого, находившегося на излечении в Крыму, обострилась воспалением легких. Он был на краю смерти. Русские и зарубежные газеты извещали своих читателей о безнадежном состоянии писателя.

[2] Кони в описываемое время приезжал в Ясную Поляну по приглашению А. М. Кузминского.

[3] Имеется в виду дело В. Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и ранившей его. Суд присяжных поверенных под председательством Кони 11 апреля 1878 г. вынес ей оправдательный приговор. Кони подвергся ожесточенным нападкам со стороны властей и реакционной прессы.

[4] См. воспоминания П. А. Сергеенко, коммент. 21.

[5] См. об этом коммент. 13 и 14 к воспоминаниям М. В. Нестерова.

[6] В первый же день приезда в Ясную Поляну Кони записал свои впечатления о Толстом: «Все ходят какие-то свободные, бодрые и как будто осуществляют то, что сказал мне Л. Н.: человек обязан быть счастлив, как обязан быть чистоплотен: как он замечает, что он грязен — ему надо помыться, как чувствует, что несчастен — ему надо почиститься нравственно... и счастье придет само собою» (А. Ф. Кони, т. 6, с. 636).

[7] Эта мысль Толстого о трех непременных условиях истинного произведения искусства: содержание, форма («техника»), искренность («любовь к предмету») — одно из центральных положений его эстетики... В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» понятие искренности Толстой формулирует как «непритворное чувство любви или ненависти к тому, что изображает художник» (*ПСС*, т. 30, с. 4).

[8] Гл. 1 «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо.

[9] Речь идет о князе Д. А. Оболенском (см. об этом эпизоде в воспоминаниях В. И. Алексеева.— «Летописи Государственного литературного музея», кн. 12. М., 1948, с. 273).

[10] Вольная передача первой строфы стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845).

[11] Толстой писал П. И. Бирюкову под впечатлением встречи с Кони и беседы с ним: «Он очень любезный человек и обещал написать рассказ в «Посредник», от которого я жду многого, потому что сюжет прекрасный, и он очень даровит» (*ПСС*, т. 64, с. 56).

[12] Толстой обратился впервые со своей просьбой к Кони через П. И. Бирюкова, которому писал 12 апреля 1888 г.: «Спросите его... начал ли он писать обещанный рассказ для «Посредника», а если нет, то отдаст ли он мне тему этого рассказа. Очень хороша и нужна» (*ПСС*, т. 64, с. 162). Затем Толстой сам написал ему письмо о своем желании воспользоваться «историей ⟨Розалии⟩ Онни и ее соблазнителя» (там же, с. 172). Этот творческий замысел не переставал тревожить писателя. В мае 1888 г. Толстой сообщил жене: «Кони я спрашивал: написал ли он рассказ и передает ли мне сюжет. Прелестный сюжет, и хорошо бы, и хочется написать» (*ПСС*, т. 84, с. 48). В ответном письме от 1 июня 1888 г. Кони просил Толстого приняться за дело: «Взамен «разрешения», упоминаемого Вами, я обращаюсь к Вам с горячею просьбою не покидать этой мысли. Из-под Вашего пера эта история выльется в такой форме, что тронет самое зачерствелое сердце и заставит призадуматься самую бесшабашную голову» (А. Ф. Кони, т. 8, с. 105).

[13] Роман «Воскресение» был закончен в 1899 г. Но писать его начал Толстой не в 1888 г., а лишь в конце следующего года. Первый набросок был создан 26 декабря 1889 г. См. дневниковую запись от 27 декабря 1889 г.— *ППС*, т. 50, с. 194).

[14] По наблюдениям Г. Я. Галаган, в рукописи воспоминаний было указано точное имя: «Шидловская» (см.: А. Ф. Кони, т. 6, с. 638). Вера Александровна Шидловская — тетка С. А. Толстой по матери.

[15] Ошибка. Толстой присутствовал на репетиции оперы А. Г. Рубинштейна «Фераморс» значительно раньше, 13 апреля 1897 г. См. коммент. 103 к воспоминаниям В. Ф. Лазурского.

[16] Русско-японская война 1904—1905 гг.

[17] Адмирал С. О. Макаров погиб 31 марта 1904 г., когда броненосец «Петропавловск» подорвался на минах, поставленных японскими кораблями, и затонул. О Макарове Толстой писал в гл. XI статьи «Одумайтесь!», посвященной русско-японской войне.

[18] Имеется в виду рассказ А. И. Куприна «Ночная смена» (вошел в т. 1 «Рассказов» Куприна, изданных в 1903 г. книгоиздательством «Знание»).

[19] Здесь допущена ошибка. Критический очерк «О Шекспире и о драме» был закончен Толстым в 1903 г. В том же году завершен рассказ «После бала» (опубликованы позднее: в 1906 и в 1911 гг.). В описанное время Толстой продолжал работать над рассказом «Божеское и человеческое» и над «Хаджи-Муратом». Кони принял живейшее участие в обсуждении повести, сделав ряд замечаний относительно некоторых художественных деталей. Отвечая на письмо Кони от 21 апреля 1904 г., Толстой благодарил его: «Особенно тронула меня ваша заботливость о таких пустяках, как подробности одежд при Николае. Жена утверждает, что она помнит плюмажи в 50-х годах. Может быть, они оставались у генералов, а государь уже не носил их. Постараюсь при случае справиться по портретам Николая 50-х годов» (*ПСС*, т. 75, с. 96).

[20] Из стихотворения А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).

[21] Из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, глава IV (строфа IX) и из «Медвежьей охоты» Н. А. Некрасова.

Н. В. ДАВЫДОВ

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) — видный судебный деятель. Познакомился с Толстым в 1878 г. и с тех пор до конца жизни писателя находился с ним в дружеских отношениях. Весьма обширная переписка Толстого с Давыдовым освещает важную гражданственную сторону деятельности автора «Воскресения» — его постоянные хлопоты по делам лиц, обращавшихся к нему с просьбой о помощи. Толстой ходатайствует по множеству судебных дел, выступает в защиту тех, кто преследовался законом за распространение его сочинений.

Воспоминания о Толстом, включенные Давыдовым в его мемуарную книгу «Из прошлого» (1914), являются как бы своеобраз-

ным продолжением и развитием эпистолярных бесед, но уже на основе личных встреч.

Мемуарные страницы Н. Давыдова (наряду с воспоминаниями А. Ф. Кони) — один из важнейших документальных источников для воссоздания творческой истории романа «Воскресение», пьес Толстого — «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп».

Работая над «Воскресением», Толстой старался полнее и ближе изучить судебно-уголовную процедуру на всех ее стадиях, вплоть до приведения приговоров в исполнение. Благодаря влиятельному содействию Давыдова Толстой присутствовал на заседаниях суда, читал судебные протоколы, изучал быт тюрем, беседовал с подсудимыми и заключенными.

ИЗ ПРОШЛОГО

(Стр. 197)

По тексту: Н. В. Давыдов. Из прошлого. Изд. 2-е. М., 1914, с. 211—262.

[1] В 1878—1879 гг. были специально вызваны из Псковской губернии для зимней охоты опытные загонщики волков и лисиц.

[2] Вина смотрителя усугублялась еще и тем обстоятельством, что заключенный обвинялся в политическом преступлении.

[3] Е. С. Кузнецова, дочь ярославского купца-чаеторговца. В дневнике 29 августа 1890 г. Толстой записал: «Приехала девица Кузнецова, желающая употребить на дело свои 200 тысяч» (*ПСС*, т. 51, с. 84).

[4] «Посылка» была от О. А. Марковой, написавшей в сопроводительном письме: «Граф! ответ на Ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать сами, нетрудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи. Русская мать». В своем письме Маркова имела в виду заключение VI главы «Не могу молчать»: «...было бы лучше всего (так хорошо, что я не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю» (*ПСС*, т. 37, с. 95). Толстой ответил Марковой 3 сентября 1908 г. (там же, т. 51, с. 84). Обратный адрес оказался ложным. Маркову найти не удалось.

[5] Н. В. Давыдов. Из прошлого. Изд. 2-е. М., 1914, с. 267—272.

[6] По свидетельству А. Ф. Кони, дело супругов Гимер разби-

ралось в Московской судебной палате под председательством А. Н. Попова. Давыдов рассказал Толстому только «сущность дела», подробности см. в воспоминаниях А. Ф. Кони (А. Ф. Кони, т. 6, с. 506, 509).

[7] Ф. И. Шаляпин был у Толстого в Хамовниках 9 января 1900 г. Аккомпанировал ему С. В. Рахманинов.

[8] Концерт состоялся 7 декабря 1900 г.

М. А. РЫБНИКОВА

Рыбникова Мария Александровна (1885—1942), известный педагог-словесник, много внимания уделявшая вопросам изучения творчества Л. Н. Толстого в школе. Рыбникова была близко знакома с одним из верных сподвижников Толстого — И. И. Горбуновым-Посадовым и выполняла его литературные поручения, поддерживала дружеские отношения с племянницей Толстого Е. С. Денисенко. Воспоминания ее интересны целым рядом подробностей, рисующих Толстого по ее личным впечатлениям, а также сведениями, почерпнутыми из ближайшего окружения Толстого,— о его работе над «Воскресением», «Хаджи-Муратом», о его привычках, характере и т. п.

ТОЛСТОЙ ДО ТОЛСТОВСКОГО МУЗЕЯ. ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 211)

По тексту рукописи, хранящейся в *ЦГАЛИ,* ф. 508, оп. 1, ед. хр. 274.

[1] Рыбникова использует здесь распространенный в свое время литературоведческий термин (введенный В. Шкловским) — остранение.

[2] См. коммент. 8 к воспоминаниям Л. О. Пастернака.

[3] Имеется в виду И. И. Горбунов-Посадов, редактор и издатель «Посредника», близкий друг Толстого.

[4] Лицо это осталось неустановленным.

[5] Намек на отлучение Толстого от церкви определением Святейшего Всероссийского Синода от 20—22 февраля 1901 г. Постановление Синода, опубликованное 24 февраля 1901 г. в «Церковных ведомостях», мотивировалось «попечением о чадах православной церкви, об охранении их от губительного соблазна». Сообщалось, что «известный миру писатель», граф Толстой, «дерзко восстал на господа и на Христа его», «явно перед всеми отрекся»

от церкви православной, «посвятил свою литературную деятельность и данный ему от бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной». Текст постановления Синода, по замыслу его составителей, был направлен «к утверждению и вразумению заблуждающихся», но вызвал прямо противоположную реакцию: проявление горячего сочувствия к писателю, негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа. «Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адресы» (*ДСТ III*, с. 144).

[6] С. А. Толстая читала эту главу еще в корректурах, переписывая поправленные Толстым корректурные листы. 26 января 1899 г. она записала в дневнике: «Мне был противен умышленный цинизм в описании православной службы. Например, что «священник протянул народу золоченое изображение креста, на котором *вместо виселицы* был казнен Иисус Христос». Причастие он называет *окрошкой* в чашке. Все это задор, цинизм, грубое дразнение тех, кто в это верит, и мне это противно» (*ДСТ III*, 113).

И. М. ВИНОГРАДОВ

Виноградов Иван Михайлович — надзиратель Бутырской тюрьмы в Москве. Зимой 1899 г. Толстой встречался с И. М. Виноградовым. Писатель воспользовался его консультациями, исправляя в корректурах «Воскресения» неточности и ошибки, касающиеся тюремного быта, одежды арестантов, надзирателей, тюремного распорядка, режима и т. п.

Воспоминания И. М. Виноградова были сообщены редакции сб. «Толстой и о Толстом» (вып. 3, М., 1927) В. В. Корсаковым.

ИЗ ЗАПИСОК НАДЗИРАТЕЛЯ БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ

(Стр. 215)

По тексту: «Толстой и о Толстом. Новые материалы», вып. 3. М., изд. Толстовского музея, 1927, с. 48—53.

[1] Эта дата ошибочна. Знакомство Толстого с Виноградовым произошло не в ноябре 1897 г., а 16 января 1899 г., за день до первого визита надзирателя к Толстому. Виноградов был трижды у Толстого, что было отмечено С. А. Толстой в дневнике: «17 января. У Льва Николаевича... смотритель тюремного замка в Бу-

тырках, который дал ему очень много указаний по технической части тюремного дела, заключенных, их жизни и пр.— все это для «Воскресения». «18 января. Опять приходил тюремный смотритель для сведений по тюрьме, пересыльных и пр.». «19 января. Лев Николаевич бодр и разговаривает с тюремным надзирателем» (*ДСТ III*, с. 110).

[2] Толстому действительно пришлось совершить решительную переработку уже осуществленного замысла четвертой редакции романа. Знакомство Масловой с политическими перенесено ко времени ее следования в Сибирь. Все сцены, в которых описывались отношения Масловой с Марией Павловной в пересыльной тюрьме, были вычеркнуты Толстым (см.: Н. К. Гудзий и Е. А. Маймин. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение».— В кн.: Л. Н. Толстой. Воскресение. Серия литературных памятников. М., «Наука», 1964, с. 520). Танеев отметил в своем дневнике 15 марта 1899 г. эту важную подробность работы писателя над «Воскресением», основываясь на свидетельстве самого Толстого: «У меня в романе была сцена, где уголовная преступница встречается в тюрьме с политическими. Их разговор имел важные последствия для романа. От знающего человека узнал, что такой встречи в московской тюрьме произойти не могло. Я переделал все эти главы, потому что не могу писать, не имея под собой почвы...». 8 апреля 1899 г. Танеев записал: «Лев Николаевич в десятом часу поехал в пересыльную тюрьму смотреть, как поведут арестантов в кандалах. Он с ними сделает путь до Николаевского вокзала. Это нужно для его романа» (*ДСТ III*, с. 273—274).

[3] Запись замечаний Виноградова опубликована (*ПСС*, т. 33, с. 322—323).

[4] С. Л. Толстой сопровождал второй пароход с духоборами («Супериор»), на борту которого было 1989 переселенцев. В январе 1899 г. пароход благополучно прибыл в порт Галифакс (С. Л. Толстой. Мое участие в эмиграции духоборов в Канаду.— В кн.: С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1965, с. 217—218).

С. И. БРОДОВСКИЙ

Бродовский Сигизмунд Иосифович — в 1899 г. начальник тульской тюрьмы. В конце мая — начале июня 1899 г. Толстой приезжал к нему из Ясной Поляны, чтобы расспросить его о порядке свиданий заключенных с посетителями и об устройстве комнаты свидания,— сведения, которые были нужны ему в момент работы над «Воскресением».

Воспоминания написаны в 1926 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАЧАЛЬНИКА ТУЛЬСКОЙ ТЮРЬМЫ

(Стр. 220)

По тексту: «Толстой и о Толстом. Новые материалы», сборник третий. М., 1927, с. 53—54.

[1] Толстому уже однажды было отказано тульской администрацией в посещении местной тюрьмы. Ввиду этого он просил М. А. Стаховича, бывшего в то время орловским предводителем дворянства, устроить ему посещение орловской тюрьмы. Толстой ездил в Орел для осмотра тюрьмы 27 сентября 1898 г. (Н. Н. Гусев. Два года с Толстым, с. 88). В дневнике С. А. Толстой сохранилась запись от 28 сентября 1898 г.: «Он ⟨М. Стахович⟩ привез из Орла обратно Льва Николаевича, который ездил туда посмотреть тюрьму для своей повести». В той же записи фиксируется еще один факт, связанный с работой Толстого над романом: «Сегодня он все беседовал с странником, высланным за стачки, сидевшим в остроге четыре месяца. Л. Н. так и впился в его рассказы» (*ДСТ III*, с. 85).

Т. Л. СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ

Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864—1950) — старшая дочь Толстого; среди его домашних особенно близкий ему человек, в котором он неизменно находил сочувствие и поддержку своим идеям и своему образу жизни.

В родительском доме Татьяна Львовна прожила 35 лет, наблюдая все перипетии духовного роста Толстого. По ее словам, чувство любви и благоговения, которое она испытывала к отцу, никогда не покидало ее. Но она была не только любящей дочерью, но и подлинным сподвижником отца. Она участвовала в делах издательства «Посредник»; в 1891—1892 гг. вместе с отцом и его единомышленниками Татьяна Львовна организовывала помощь голодающим и оказалась под тайным надзором полиции, как человек, разделявший политические и религиозные взгляды своего отца и участвовавший в распространении его запрещенных произведений.

Толстой рано заметил в дочери склонность к живописи и способствовал тому, чтобы она получила профессиональное художественное образование. По настоянию Толстого, Татьяна Львовна поступила в Московскую школу живописи, ее учителем был И. Е. Репин, она пользовалась советами выдающихся художников — Н. Н. Ге, В. Г. Перова, Л. О. Пастернака, Н. А. Касатки-

на и др. Татьяна Львовна создала целую галерею портретов Толстого, множество характерных зарисовок яснополянского быта.

После Октябрьской революции Т. Л. Сухотина-Толстая посвятила себя пропаганде творческого наследия отца, а с 1928 г. стала директором Толстовского музея в Москве. С 1925 г. она выступала с чтением лекций о Толстом за границей. В 1928 г. Сухотина-Толстая опубликовала свои воспоминания: «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода» («Europe», 1928, № 67, 15 июля), объективно освещавшие последние годы жизни Толстого и остающиеся и поныне, наряду с мемуарами ее старшего брата С. Л. Толстого, наиболее правдивыми и глубоко волнующими документами, воскрешающими драматические события жизни, ухода и смерти великого писателя. Выполняя волю матери, ее дочь, Т. М. Альбертини, передала в дар Музею Л. Н. Толстого в Москве материалы зарубежного архива Татьяны Львовны.

ИЗ ДНЕВНИКА

(Стр. 222)

По тексту книги: Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, с. 228—233.

[1] Картина И. Е. Репина «Иди за мною, сатана» («Искушение Христа»). О критических замечаниях Толстого по поводу этой работы Репина см. подробнее: А. В. Цингер. У Толстых.— «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеенко. М., 1909, с. 395.

[2] С. А. Толстая записала в дневнике 8 января 1898 г.: «Вчера обедал у нас Репин, все просил Льва Николаевича задать ему тему для картины. Он говорил, что хотел бы свои последние силы в жизни употребить на хорошее произведение искусства, чтоб стоило того работать. Лев Николаевич еще ничего ему не посоветовал, но думает» (*ДСТ III*, с. 16). Мысль эта о теме для картины И. Е. Репина занимала Толстого. 21 января 1898 г. Толстой писал Черткову: «Он ⟨Репин⟩ очень и серьезно просит меня дать ему сюжет, и он исполнит его. И я вижу, что это серьезно, и все не нашел еще достойного сюжета и чувствую большую ответственность» (*ПСС*, т. 88, с. 75). И. Е. Репин обращался и к посредничеству Т. Л. Толстой: «Я все мечтаю, что Лев Николаевич однажды найдет мне желанную тему и через Ваше посредничество я получу ее и попробую свои силы»

(И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. М.— Л., «Искусство», 1949, с. 95).

[3] Картина, однако, так и не была создана И. Е. Репиным, сохранился лишь небольшой набросок к ней.

[4] И. И. Шишкин умер месяц спустя, 8 марта 1898 г. Портрет И. И. Шишкина был написан Н. А. Ярошенко в 1897 г.

[5] Имеется в виду картина Н. А. Ярошенко «Везувий» (1897).

[6] Неточный текст. Толстой телеграфировал дочери: «Молокане приезжают вторник Петербург хлопотать детях. Отложи отъезд помочь им». (*ПСС*, т. 70, с. 265). Речь шла о детях трех крестьян-сектантов — Чипилева, Болотина и Самошкина, которые были отняты у родителей и отданы в монастыри. Об этом произволе властей Толстой дважды писал царю: 10 мая и 19 сентября 1897 г. Первое письмо по назначению не дошло, второе было передано Николаю II.

[7] Прошение царю написано Толстым 25 января 1898 г. от имени молоканина Ф. И. Самошкина, у которого был отобран единственный пятилетний сын (*ПСС*, т. 70, с. 264).

[8] В письме к А. Ф. Кони от 25 января 1898 г. Толстой просил его похлопотать в сенате о возвращении родителям насильно отнятых детей. «Нельзя оставаться спокойным,— писал он,— когда на ваших глазах совершаются такие злодейства» (*ПСС*, т. 70, с. 265).

[9] Письмо, которое предполагалось опубликовать в редактируемой Э. Э. Ухтомским газете «С.-Петербургские ведомости», не было написано Толстым.

[10] Рассказ Т. Л. Толстой о приеме ее К. П. Победоносцевым нашел свое отражение в романе Толстого «Воскресение» (ч. 2, гл. XXVII) в сцене свидания Нехлюдова с Топоровым по делу сектантов.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

И. А. БУНИН

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) с детских лет был окружен атмосферой обостренного интереса к Толстому (его отец служил вместе с Толстым в Севастопольскую кампанию). В юности и в молодые годы у Бунина возникло и окрепло чувство страстного увлечения Толстым, его творчеством, его философией,

нравственными исканиями. Книга «Освобождение Толстого» (1937) — итог долгих раздумий Бунина над личностью великого писателя.

В восприятии Бунина Толстой — высшее проявление художественного гения, человек, обладающий поистине безграничной властью над душами людей. Слово Толстого Бунин уподобляет «древним священным книгам Индии, книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана». Да и сам Толстой рисуется Буниным нередко как некая стихийная могучая сила, соперничающая с самой природой. Слиться с этим миром природы, стать его частицей и вместе с тем выделиться из него, обособиться, возвыситься над ним своей человеческой духовностью — вот два противоборствующих начала, определяющих, по мысли Бунина, жизнь Толстого. «Экстаз свободы», изначально свойственный Толстому, истолковывается в широком философском, психологическом плане; Бунин преодолевает узость житейских, бытовых трактовок духовной драмы великого писателя.

Вместе с тем в концепции автора книги, безусловно, есть элемент субъективно-идеалистического истолкования Толстого, идущий от мироощущения и взглядов самого Бунина. «Освобождение Толстого», по Бунину, не только отказ от жизни с ее социальной несправедливостью, эгоизмом, суетностью, низменными стремлениями, которые не приемлет Толстой, но и спасение в вере.

Религиозно-нравственная концепция Бунина в известной мере преодолевается многогранным изображением «живого Толстого», а духовный подвиг его истолковывается именно как «человеческий подвиг».

Книга Бунина необычна по своей форме. Это сложная «мозаика», включающая в себя фрагменты из художественных произведений Толстого, его публицистики, религиозно-нравственных трактатов, из его дневников и писем, воспоминаний о нем современников и устных рассказов, переданных непосредственно Бунину и перед тем не появлявшихся в печати; на страницах книги ведется энергичная полемика автора с тенденциозными истолкователями философии, жизни и творчества Толстого (Д. С. Мережковским, В. А. Маклаковым, Алдановым.)

Собственно воспоминаниям Бунина о его встречах с Толстым уделено сравнительно небольшое по объему место (глава VI и начало VII), но это яркие страницы в мемуарной литературе о Толстом. Объективность изображения Толстого-человека, с его простотой и мудрым пониманием жизни, создающая как бы иллюзию его присутствия, согрета теплом лирического повествования, в котором чувствуется действительно любящая, безгранично преданная Толстому бунинская душа. Эти воспоминания стали

зерном будущей книги, над которой автор работал затем долгие годы, они были впервые включены им в последний том его Полного собрания сочинений (т. 1—6, изд. т-ва А. Ф. Маркс, П., 1915).

И. А. БУНИН

ИЗ КНИГИ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТОЛСТОГО»

(Стр. 229)

По тексту: И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1967, с. 7—165.

[1] Бунин вспоминает сцену охоты Оленина, героя повести Толстого «Казаки» (гл. XX).

[2] Неточно переданные слова, сказанные Толстым в бреду утром 6 ноября 1910 г.: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а — вы смотрите на одного Льва» (С. Л. Толстой. Очерки былого, с. 275).

[3] Бунин ко времени этой поездки, в середине января 1894 г., служил в библиотеке Губернской земской управы в Полтаве и сотрудничал в провинциальных газетах. А. А. Волкенштейн — земский врач в Полтаве, помогал Толстому в организации помощи голодающим.

[4] С. А. Толстая.

[5] Отвечая Бунину 23 февраля 1894 г. уже в Полтаву, Толстой писал ему: «Не ждите от жизни ничего: лучше того, что у вас есть теперь, и момента более серьезного и важного, чем тот, который вы теперь переживаете, не может быть, потому что он настоящий и один в вашей власти» (*ПСС*, т. 67, с. 48).

[6] В письме от 30 января 1894 г. Б. Н. Леонтьев сообщал Толстому: «Бунин рассказывал про всех московских друзей, но приехал очень огорченный, что так мало провел времени с вами,— вы были главная цель его поездки,— он вас очень любит и давно жаждал знакомства с вами. Он не может спокойно, без волнения говорить о вас...» (*ПСС*, т. 67, с. 49).

[7] Сохранилось два письма Толстого к Бунину: от 20 февраля 1893 г. (то есть до поездки в Москву) и от 23 февраля 1894 г. (см.: *ПСС*, т. 66, с. 297; т. 67, с. 48). См. коммент. 5.

[8] Бунин открыл книжный магазин в Полтаве зимой 1894 г.

[9] Рассказ Толстого «Хозяин и работник» был опубликован в мартовской книжке «Северного вестника» за 1895 г.

Младший сын Толстого, Ванечка (род. в марте 1888 г.), умер в двое суток от скарлатины в феврале 1895 г. В день похорон 26 февраля Толстой записал в дневнике «Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие» (*ПСС*, т. 53, с. 10). А 12 марта 1895 г. в дневнике появилась запись, близкая к мысли, высказанной Толстым Бунину: «Одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть» (*ПСС*, т. 53, с. 10).

В. Г. КОРОЛЕНКО

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) впервые встретился с Толстым в 1886 г. в Москве, в Хамовниках, вскоре после своего возвращения из ссылки и затем долгие годы с неизменным и пристальным вниманием следил за эволюцией творчества и миросозерцания Толстого.

Новая встреча произошла в мае 1902 г. в Крыму, во время болезни Толстого. Короленко сообщал Ф. Д. Батюшкову 28 мая 1902 г.: «Был у Толстого... очень интересно провели часа три. Удивительный старик. Тело умирает, а ум горит пламенем. Теперешний Толстой и Толстой, которого я видел 13 лет назад,— два разных человека. И между прочим от «непротивления» едва ли остались и следы» (В. Г. Короленко. Письма 1888—1921. Пг., 1922, с. 215).

Последнее свидание Короленко с Толстым состоялось 7 августа 1910 г. В письме к жене от 3 августа 1910 г. Короленко писал: «На днях (в субботу) был у меня Сергеенко и очень уговаривал, чтобы я заехал на день к Толстому. Говорил, что Толстой этого очень желает («Меня потянуло к Короленко, а он не едет»)...»

Короленко, с присущей ему скромностью, полагал, что при первой встрече с Толстым в 1886 г. он представлял для него интерес только как человек, в поступках которого писатель мог увидеть мотивы, близкие его собственным убеждениям. Между тем Толстой уже в эту пору обратил внимание именно на его творчество, отметив, например, рассказ «Море» (в позднейшей авторской переработке — «Мгновение») как прекрасное произведение. Этот интерес писателя к Короленко постоянен, но в особенности повышается он в последние годы жизни Толстого. 26—27 марта 1910 г. Толстой пишет Короленко по поводу его статьи «Бытовое явление (Заметки публициста о смертной казни)»: «Сейчас про-

слушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слезы, а рыдания... Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья» (*ПСС,* т. 81, с. 187). В августе 1910 г. появляются краткие дневниковые записи — последние занесенные Толстым в дневник впечатления о встрече с Короленко в Ясной Поляне.

Известие о смерти Толстого потрясло Короленко. 7 ноября 1910 г. он передал в газету «Речь» некролог Толстому («Умер»): «Легендарные титаны громоздили горы на горы. Толстой наяву двигал такими горами человеческого чувства, какие не под силу царям и завоевателям». В тот же день Короленко выехал в Ясную Поляну, но, как ни спешил, не успел проводить Толстого в последний путь. Он оставил в статье «9 ноября 1910 года» («Русские ведомости», 1910, № 263, 14 ноября) краткую, но выразительную по своим подробностям картину Ясной Поляны в первые дни после смерти Толстого. Эта статья, написанная в тоне мемуара, по сути дела, завершает развернутый цикл его выступлений о посещениях Толстого в разные годы. Короленко написал также ряд статей о Толстом: «Лев Николаевич Толстой» (1908), «Л. Н. Толстой» (1908), доклад «К десятилетию смерти Л. Н. Толстого» (1920).

Воспоминания о Толстом «Великий пилигрим» (с подзаголовком «Три встречи с Толстым») и «Разговор с Толстым» при жизни Короленко не были опубликованы. Первый из них Короленко задумал под впечатлением пережитого им в момент смерти Толстого. Работа, начатая в декабре 1910 г., не была доведена до конца, рассказ прерван на полуфразе. Впервые рукопись опубликована в журнале «Голос минувшего», 1922, № 2. Второй фрагмент как бы продолжает прерванный рассказ, а между тем он является частью очерков «Земли! Земли! (наблюдения, размышления, заметки)», написанных Короленко в 1917—1919 гг. и опубликованных тоже после его смерти («Голос минувшего», 1922, № 1 и 2). Наконец, третья встреча описана в развернутом письме Короленко к писательнице Т. А. Богданович от 6—7 августа 1910 г., то есть за четыре месяца до смерти Толстого, где в том же стиле «мыслей, воспоминаний, картин» он подробно передает свои впечатления о Толстом в последний год его жизни, обстоятельства встречи, содержание бесед и т. п. Этот рассказ, несмотря на некоторую его фрагментарность, дополняет первоначальный замысел («Три встречи») последним недостающим звеном.

ВЕЛИКИЙ ПИЛИГРИМ

Три встречи с Л. Н. Толстым

(Стр. 239)

По тексту: В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 124—136.

[1] Короленко имеет в виду свой отказ в 1881 г. от присяги Александру III, за что последовала новая ссылка из Перми в Восточную Сибирь через Красноярск, Иркутск, Якутск — в слободу Амга. Подробнее об этом см.: «История моего современника» (ч. 3, гл. IV).

[2] Ошибка, Короленко и Н. Н. Златовратский посетили Толстого не осенью, а в феврале 1886 г.

[3] Несколько иную редакцию этой фразы Толстого Короленко дал в 1908 г. в статье «Лев Николаевич Толстой. Статья первая». Он вспоминал тогда: «Около двадцати лет назад я, еще молодым человеком, только что вернувшись из отдаленной ссылки, в первый раз посетил Толстого, и первые его слова при этой встрече были: «Какой вы счастливый: вы пострадали за свои убеждения. Мне бог не посылает этого. *За* меня ссылают. *На* меня не обращают внимания» (В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. М., 1955, с. 115—116).

[4] По всей вероятности, намек на рассказ Короленко «Лес шумит», опубликованный незадолго перед тем в январском номере журн. «Русская мысль» за 1886 г. Изменено лишь имя героя, казака Опанаса.

[5] Н. Н. Ге иллюстрировал легенду Толстого «Чем люди живы». В 1886 г. альбом иллюстраций Ге вышел в свет при содействии Толстого в двух изданиях.

РАЗГОВОР С ТОЛСТЫМ
МАКСИМАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

(Стр. 244)

По тексту: В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 137—142.

[1] Короленко в мае 1902 г. приезжал в Крым для свидания с А. П. Чеховым по поводу «академического инцидента» (исключения в 1902 г. Горького из числа почетных академиков по разряду изящной словесности). Короленко и Чехов решили демонстративно отказаться от звания почетных академиков на спе-

циальном заседании, созыва которого добивался Короленко (см. письмо Короленко к Чехову от 29 апреля 1902 г.). Предполагаемое заседание не состоялось, свои заявления о выходе из Академии Короленко и Чехов отправили в разное время: Короленко 25 июня, а Чехов 25 августа 1902 г.

[2] Эта тема давно уже занимала Толстого (см. воспоминания Л. Гуревич и В. Лазурского с. 44, 58).

[3] Д. С. Сипягин (1853—1902), в то время министр внутренних дел, известный своей жестокостью, был убит 2 апреля 1902 г. С. В. Балмашовым, казненным в Шлиссельбургской крепости в мае того же года.

[4] Короленко упоминает о неудачном покушении на Лауница, совершенном в мае 1902 г. В. Ф. фон дер Лауниц (1855—1906), генерал, тамбовский губернатор, в начале 1906 г.— петербургский градоначальник, был убит 21 декабря 1906 г. эсером Кудрявцевым.

[5] Короленко приехал в Ялту 24 мая 1902 г., и вечером 25 мая он был уже в Гаспре, о чем Толстой сообщал в письме к М. Л. Оболенской от 26 мая 1902 г. (*ПСС*, т. 73, с. 249).

[6] Эта позиция Толстого, отмеченная Короленко, ясно высказалась в письме к великому князю Николаю Михайловичу от 5 апреля 1902 г. в связи с убийством Сипягина: «Вчера пришло известие об убийстве Сипягина. Событие это ужасно... но оно было неизбежно и обещает только еще худшие бедствия, если правительство не изменит совершенно свой курс» (*ПСС*, т. 73, с. 230).

[7] «Грабижкой» народ называл захваты зерна, инвентаря и другого имущества помещиков, производившиеся крестьянами во время аграрных волнений в 1902 г.

ИЗ ПИСЬМА К Т. А. БОГДАНОВИЧ

(Стр. 247)

По тексту: В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1956, с. 455—458.

[1] В. М. Феокритова.

[2] С. А. Толстая записала в дневнике 6 августа 1910 г.: «Днем пришел со станции «Засека» Владимир Галактионович Короленко и провел весь вечер, без конца рассказывая о самых интересных и разнообразных предметах: о разных сектантах, собирающихся у святого озера в Макарьевском уезде, о монастырях, о пытках, о тюрьмах; о первом знакомстве с Горьким, о картинах

Репина, и проч. и проч. Жаль, что нельзя записать. Говорит Короленко очень хорошо: содержательно и красноречиво» (*ДСТ IV*, с. 146).

[3–4] Здесь очевидная ошибка. Короленко виделся с Толстым и в мае 1902 г. См. коммент. 1 к гл. «Разговор с Толстым».

[5] Беседы Короленко с Толстым и в присутствии Толстого, в том числе и разговор о типическом, подробно переданы В. Ф. Булгаковым (Булгаков, с. 340—345). Он отмечает естественную, независимую манеру поведения Короленко: «Удивительно то, что Короленко в Ясной сумел удержаться на своей позиции литератора. Остался вполне самим собой и даже только самим собой. Обыкновенно Лев Николаевич всех вовлекает в сферу своих интересов, религиозных по преимуществу; между тем Короленко, кроме того, что сосредоточил общее внимание на своих бытовых рассказах и вообще разных «случаях» из своей жизни, но еще и ухитрился вызвать Льва Николаевича на чисто литературный разговор, что редко кому бы то ни было удается» (там же, с. 344).

[6] Д. П. Маковицкий.

[7] Короленко застал обитателей Ясной Поляны в состоянии напряженной борьбы, связанной с недавно подписанным Толстым (22 июля 1910 г.) завещанием, которое держалось в тайне от С. А. Толстой. По завещанию, произведения Толстого не должны были обратиться в «частную собственность» кого бы то ни было, а потому Толстой лишал свою семью прав на его литературное наследство (*ПСС*, т. 82, с. 228).

[8] Этот разговор с Короленко отражен в дневниковой записи Толстого 7 августа 1910 г.: «Беседа с Короленко. Умный и хороший человек, но весь под суеверием науки».

[9] Короленко был в Телятинках, имении В. Г. Черткова. А. Б. Гольденвейзер вспоминал о пребывании Короленко у Чертковых: «Потом мы втроем — Короленко, Чертков и я — пошли в отдельную маленькую комнату наверху и рассказали Короленко приблизительно все, что делается в Ясной, чтобы он знал правду об этой истории. Короленко был совершенно поражен тем, что он услышал (Гольденвейзер II, с. 214. Ср. также: Булгаков, с. 345).

В. А. ПОССЕ

Владимир Александрович Поссе (1864—1940) во время описываемых встреч с Толстым — фактический редактор «Жизни» (1897—1901), литературного, научного и политического журнала

демократического направления (с 1899 г.— органа «легальных марксистов»).

С Толстым Поссе познакомился в 1895 г. Поссе не был сторонником религиозно-нравственных концепций Толстого; в 1902 г. он вступил в резкую полемику с ним в докладе, прочитанном в Женеве («Граф Л. Н. Толстой и рабочий народ»), явившемся откликом на обращение Толстого к «Рабочему народу» и позднее изданном Поссе отдельной брошюрой (Женева, 1903). По словам Поссе, в его отношении к Толстому «не было преклонения», несмотря на глубокое чувство восхищения гениальным писателем.

Поссе оставил в своих воспоминаниях сведения о серьезном интересе Толстого к вопросам революционного движения, к формам организованной борьбы пролетариата за свои права, к идеям научного коммунизма.

Впервые воспоминания Поссе под заглавием «Встречи с Толстым» были опубликованы в «Новом журнале для всех», 1909, № 4, февраль, с. 79—91. В качестве одного из разделов под тем же заглавием они были включены в книгу: Г. И. Лебедев и В. А. Поссе. Жизнь Л. Н. Толстого. СПб., 1913. Подготавливая книгу мемуаров «Мой жизненный путь» (М.—Л., 1929), автор подверг значительной правке первую публикацию. Она была расширена: появился эпизод знакомства Поссе с Толстым в 1895 г., введен ряд новых подробностей: например, разговор о юморе Чехова, о творчестве Николая и Глеба Успенского.

ВСТРЕЧА С ТОЛСТЫМ

(Стр. 250)

По тексту: В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.—Л., «Земля и фабрика», 1929, с. 178—210.

[1] Очерки Поссе «На холере» были опубликованы в «Неделе», 1893, кн. 1—6 под инициалами «В. П.».

[2] Петиция к Николаю II была составлена в 1895 г. группой ученых и литераторов (Н. К. Михайловский, С. А. Венгеров, Н. И. Кареев, С. Н. Кривенко, А. М. Скабичевский и др.), в ней содержался совет царю принять «русскую литературу под сень закона... дабы русское печатное слово могло послужить славе, величию и благоденствию России». Петиция последствий не имела.

[3] Близкую мысль о необходимости отказа царя от власти Толстой высказывал в письме к Э. Кросби 24 ноября 1894 г. (*ПСС*, т. 67, с. 273). Ср. также незаконченный рассказ «Сон молодого царя» и статью «Бессмысленные мечтания» (там же, т. 31). Письмо к Николаю II было написано Толстым позднее (см. коммент. 5 на с. 598).

[4] Ошибка. Поссе вместе с Горьким посетил Толстого 13 января 1900 г. Это было начало знакомства Горького с Толстым.

[5] Речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 гг. К 1900 г. бурам удалось нанести ряд тяжелых поражений англичанам. Вполне вероятно, что обсуждаемые события были связаны с недавними победами буров (10 и 11 декабря 1899 г. под Стромбергом и у Магерсфонтейна). В начале 1900 г. наметился перелом в войне, благодаря громадной концентрации английских войск в сравнении с небольшой и к тому же слабо вооруженной армией буров.

[6] Повесть Горького «Фома Гордеев» была опубликована в журн. «Жизнь» в 1899 г. Отдельным изданием вышла в 1900 г.

[7] «Ярмарка в Голтве» — рассказ Горького, впервые опубликованный в «Нижегородском листке» (1897, № 196, 20 июля и № 210, 3 августа).

[8] Рассказ Е. Чирикова «В лощине меж гор» появился в журн. «Жизнь», 1899, № 10.

[9] Н. Николаевич — псевдоним Н. Н. Мельницкого, вышневолоцкого рабочего, рассказ которого «Отслужил» был опубликован в журн. «Жизнь», 1899, № 12.

[10] В середине января 1900 г. под впечатлением встречи с Толстым Горький писал украинскому писателю-рабочему А. Я. Шабленко: «Кстати уж, в декабрьской книге «Жизни» помещен рассказец «Отслужил» Николаевича. Автор — тоже рабочий — слесарь... Лев Толстой очень хвалит его рассказ» (Горький, т. 28, с. 115).

[11] Толстой присутствовал 11 января 1894 г. на съезде естествоиспытателей, где ему была устроена овация (А. В. Цингер. У Толстых.— «Международный толстовский альманах», с. 390—392).

[12] См. воспоминания В. Ф. Лазурского, с. 60.

[13] Пьеса «Женщина с моря» (1888) Г. Ибсена.

[14] 8 октября 1900 г.

[15] «Дерево бедных» — старый вяз, росший рядом с домом Толстого. На скамейке под этим деревом обычно каждое утро, в ожидании выхода Толстого, собирались нищие и странники. Колоколом, висящим на дереве, собирали семью и гостей к завтраку и к обеду.

[16] Неточное цитирование заключительных строк стихотворения В. Соловьева «Дракон (Зигфриду)» (1900), посвященного германскому императору Вильгельму II:

Но перед пастию дракона
Ты понял: крест и меч — одно.

См.: Владимир Соловьев. Стихотворения. Изд. 6-е, М., 1915, с. 212.

[17-18] В. А. Поссе был в Ясной Поляне 24 июля 1909 г. вместе с И. Я. Гинцбургом.

[19] Чтение этого письма оказало сильное впечатление на Толстого, которого мучило сознание невозможности «пострадать» за свои убеждения. См. коммент. 3 к воспоминаниям В. Г. Короленко (гл. «Великий пилигрим»).

[20] В начале сентября 1909 г. Толстой осмотрел памятник Гоголю работы Н. А. Андреева и высказал ряд своих замечаний. См. «Записи» В. Г. Черткова, с. 125.

[21] Статья «Крестьянский «Генрих Блок» П. И. Кореневского, служившего в Виленском отделении Крестьянского банка, напечатана в журн. «Русское богатство», 1909, № 6. Толстой в письме к автору статьи назвал ее «замечательной» (*ПСС*, т. 80, с. 39). После опубликования статьи Кореневский был уволен со службы в банке.

[22] Об отношении Толстого к теории Генри Джорджа см. коммент. 17 к воспоминаниям Э. Моода.

[23] П. А. Кропоткин «В русских и французских тюрьмах» (1906).

[24] Имеется в виду фрагмент статьи Толстого «Неужели это так надо?» (*ПСС*, т. 34, с. 234).

[25] Теософы — представители религиозно-мистического учения (теософия).

[26] А. Д. Столыпин — сослуживец Толстого по Севастопольской кампании, отец будущего премьер-министра П. А. Столыпина.

[27] В августе 1878 г. шеф жандармов Мезенцев был убит в Петербурге С. М. Кравчинским (Степняк).

ПОЛЬ БУАЙЕ

Буайе Поль (1864—1949) — известный французский славист, профессор, директор школы восточных языков в Париже. Познакомился с Толстым в сентябре 1895 г. и затем не раз посещал его. Являясь корреспондентом «Le Temps», Буайе опубликовал в ней ряд своих очерков о беседах с Толстым («Le Temps»,

27—28 августа 1901, 2 и 4 ноября 1902, 29 августа 1910). Толстой считал Буайе «хорошим знатоком» русского языка и переводчиком, охотно беседовал с ним о литературе, о политических вопросах, отмечая в последнем случае некоторую его ограниченность и «самоуверенность».

Публикуемые воспоминания Буайе относятся к 1901 г. и посвящены главным образом суждениям Толстого о французской и русской литературе. Лишь вскользь в этих беседах затрагивается тема, интересовавшая в эти годы Толстого и связанная с его критикой «претензий французских социалистов» оздоровить экономику и французское общество путем умеренных буржуазных реформ, о чем он подробно говорил с Буайе при встрече в 1902 г. в Ясной Поляне («Биржевые ведомости», 1902, № 291, 25 октября).

ТРИ ДНЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Стр. 266)

По тексту: Paul Boyer. Chez Tolstoi. Entretiens à Jasnaia Poliana. Paris, 1950, в переводе Н. Ржевской («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2. М., Гослитиздат, 1960, с. 152—158).

1 Толстой был тяжело болен с конца июня 1901 г. В начале болезни предполагался возможным смертельный исход (*ДСТ III*, с. 152—155).

2 В беседе с Буайе в сентябре 1902 г. Толстой вернется к этой теме. Он особенно интересовался речами и статьями Жана Жореса, отмечая его «талантливые» ораторские приемы, но вместе с тем и «находя забавными претензии социалистов провидеть будущее» и вывести страну из «страшного кризиса» (*ПСС*, т. 54, с. 493).

3 Роман Золя «Доктор Паскаль» опубликован в 1893 г. и в том же году появился в русском переводе. Это последний роман из серии романов «Ругон-Маккары».

4 Тургенев не только отдавал должное писательскому дару Золя, но и способствовал его большой популярности в России.

5 Толстой исключительно высоко ценил Жан-Жака Руссо как художника и мыслителя. В письме к Б. Бувье от 7 марта 1905 г. он сообщал: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на всю мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости».

[6] В письме к жене от 11 апреля 1887 г. Толстой называл «Пармскую обитель» «прекрасным романом» и говорил о том, что эта книга возбуждает в нем тягу к художественной работе.

[7] Толстой имеет в виду сражение у села Арколе в Северной Италии в ноябре 1896 г., где Наполеон, по официальной версии его историков, принял личное участие в захвате моста через реку Арколь, бросившись со знаменем в руках впереди атакующих. Толстовский скептицизм в отношении мнимого, как он полагал, подвига Наполеона особенно ярко высказался в период работы писателя над «Войной и миром». В дневнике 1865 г. Толстой записал: «На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя» (*ПСС*, т. 48, с. 60), а затем в рукописях развернул это краткое замечание в эпизод разговора старика Болконского с сыном и Пьером, где князь Андрей по просьбе отца повторяет рассказ о подробностях взятия моста (*ПСС*, т. 13, с. 618).

[8] Имеется в виду Тарас Карпович Фоканов (1852—1924), яснополянский крестьянин, ученик Яснополянской школы Толстого 60-х годов.

[9] «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим» (1672—1675) издано Н. Тихонравовым в 1861 г. Тургенев восхищался «живой московской речью» Аввакума.

[10] См. коммент. 37 к воспоминаниям В. Ф. Лазурского.

СКИТАЛЕЦ

Скиталец — псевдоним Петрова Степана Гавриловича (1869—1941), писателя-знаньевца, друга Горького. С Толстым Скиталец познакомился в конце мая 1902 г. Признавая несомненный талант Скитальца, Толстой не без горечи говорил о том, что у писателей молодого поколения еще не хватает мастерства и глубины мысли, чувства художественной меры. Горький передавал в письме к К. П. Пятницкому мнение Толстого о рассказе Скитальца «Сквозь строй»: «Талант, большой талант. Но — жаль! — слишком начитался русских журналов. И от этого его рассказ похож на корзину кухарки, возвращающейся с базара: апельсин лежит рядом с бараниной, лавровый лист с коробкой ваксы. Дичь, овощи, посуда — все перемешано и одно другим пропахло. А — талант!» (Горький, т. 28, с. 217). Это было сказано Толстым в начале января 1902 г. под впечатлением от только что прочитанного (Ср. дневник Толстого; *ПСС*, т. 54, с. 264).

Воспоминания Скитальца о Толстом («Встречи») были опубликованы в журн. «Красная новь», 1934, № 10, с. 148—152, но их предварительные наброски появились значительно раньше: «Как я видел Толстого».— «Пробуждение», 1911, № 10, с. 291—300 и др.

В воспоминаниях отражено то отношение их автора к Толстому, которое особенно ясно высказалось в статье «Старые слова, — взволнованном отклике Скитальца на смерть писателя: «Пророки и учители вовсе не были призваны говорить миру непременно новые слова, приносить новые истины... Толстой с дивной силой будил совесть своего века — и это одно уже делает его бесконечно нужным и бесконечно дорогим» (газета «Копейка», СПб., 1910, № 826, 6 ноября, с. 5).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ВСТРЕЧИ

(Стр. 271)

По тексту: Скиталец. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1955, с. 545—553.

[1] Неточная мысль. Повесть «Отец Сергий» осталась незавершенной. Толстой работал над ней с перерывами в 1890—1898 гг. Читал же он ее Горькому — в октябре 1900 г. Горький писал Чехову об этом чтении: «Когда он начал передавать содержание «Отца Сергия» — это было удивительно сильно, и я слушал рассказ, ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей. И смотрел на старика, как на водопад, как на стихийную творческую силищу. Изумительно велик этот человек, и поражает он живучестью своего духа, так поражает, что думаешь — подобный ему — невозможен. Но — и жесток он! В одном месте рассказа, где он с холодной яростью бога повалил в грязь своего Сергия, предварительно измучив его, — я чуть не заревел от жалости» (Горький, т. 28, с. 137—138).

[2] Толстой вспоминал рассказ Скитальца «Сквозь строй».

[3] Ошибочная мысль. В 1902 г. Толстой писал царю, предчувствуя надвигающийся революционный взрыв, который зреет в народе. См. коммент. 5 к воспоминаниям Луи Морота.

А. КУПРИН

Куприн Александр Иванович (1870—1938) познакомился с Толстым в 1902 г., когда имя его только еще начинало приобретать известность. Толстой сразу же почувствовал в его рассказах прекрасное знание действительности и незаурядный жизненный опыт.

Еще до непосредственной встречи в Крыму Куприна представил Толстому как талантливого молодого писателя Чехов, принимавший в нем большое участие. В январе 1902 г. Чехов сообщал Куприну, что его рассказ «В цирке» читал Толстой и что он ему «очень понравился» (А. П. Чехов, т. 19, с. 229). В феврале 1903 г. Куприн отправил Толстому сборник своих рассказов с сопроводительным письмом, в котором напоминал о встрече в Крыму (*ГМТ*). Ответа на письмо, однако, не последовало, на конверте осталась пометка Толстого: «б. о.» (без ответа). В 1907 г. Куприн горячо благодарил Толстого в письме к нему от 22 января за присланный ему его портрет. «Примите мои чувства глубокого почтения к Вам и восторга перед Вашим гением»,—заканчивал он свое письмо (*ГМТ*).

Люди, близко наблюдавшие Толстого и Куприна, находили много общего в самом характере их мировосприятия: «оба они были одарены особым чутьем к жизни» (Л. С. Врангель. Воспоминания о Куприне.— *ГБЛ*, ф. 392, карт. 1, ед. хр. 30, л. 2); Куприну была свойственна, по воспоминаниям современников, особенная, «нежная любовь к Толстому» (там же). Толстой, по собственным его признаниям и по многочисленным свидетельствам мемуаристов, охотно и часто читал Куприна, с воодушевлением отмечал особенно удачные произведения, «с теплотой и нежностью» говорил об их авторе. Из ранних вещей Куприна Толстой выделял «Поздний час», «Allez!», «Одиночество», «Ночная смена» и др., из более поздних — «В казарме», «Мирное житие», «Корь», «Гамбринус», «Поединок». Исключение в этих отзывах составляет повесть «Яма» (1909), в которой Толстой находил психологическую фальшь некоторых положений, излишний натурализм, неопределенность авторской позиции.

Куприн мечтал о новой встрече с Толстым. В июне 1909 г. он отправил в Ясную Поляну телеграмму на имя С. А. Толстой, напоминая о ее давнем приглашении («Провожая вас из Ялты, получил милостливое приглашение посетить Ясную Поляну») и испрашивая у нее разрешение на кратковременное свидание с писателем в середине июня (*ГМТ*). Но Толстой в это время собирался навестить дочь, Т. Л. Сухотину, и Куприна просили отложить визит до осени. Предполагаемая встреча так и не состоялась.

В последний год жизни Толстой особенно часто возвращался к мыслям о Куприне, с удовольствием беседовал о нем, перечитывал вслух понравившиеся произведения, говорил о его отличной технике: «Он пишет прекрасным языком. И очень образно. Он не упустит ничего, что бы выдвинуло предмет и произвело впечатление на читателя» (Булгаков, с. 298). Накануне драматиче-

ских событий ухода и смерти Толстого Куприн вновь берет в руки его книги: «Я на днях опять (в 100 раз) перечитал «Казаки» Толстого и нахожу, что вот она, истинная красота, меткость, величие, юмор, пафос...» (письмо к Ф. Д. Батюшкову от 8 октября 1910 г., *ИРЛИ*, ф. 20). А вскоре после смерти Толстого пишет Ф. Д. Батюшкову: «...Старик умер — это тяжело. Так я с ним верхом и не поездил. Но зато в тот самый момент... я как раз перечитывал «Казаки» и плакал от умиления и благодарности» (письмо Ф. Д. Батюшкову от 21 ноября 1910 г., *ИРЛИ*, ф. 20).

Воспоминания о встрече с Толстым были написаны в 1908 г. в связи с восьмидесятилетием со дня рождения Толстого. Куприн не вполне был доволен ими, но перерабатывать их не стал.

О ТОМ, КАК Я ВИДЕЛ ТОЛСТОГО НА ПАРОХОДЕ «СВ. НИКОЛАЙ»

(Читано 12 октября 1908 г. на вечере имени Толстого, в Тенишевской зале)

(Стр. 280)

По тексту: А. И. Куприн. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1958, с. 603—606.

[1] Куприн встретился с Толстым не в 1905 г., а 25 июня 1902 г., когда Толстой уезжал из Крыма, направляясь в Ясную Поляну.

[2] Представил Куприна Толстому С. Я. Елпатьевский. Спустя год Куприн напоминал Толстому в письме от 11 февраля 1903 г.: «В прошлом году, весной, когда Вы уезжали из Крыма, С. Я. Елпатьевский представил Вам меня на пароходе» (*ГМТ*).

[3] Куприн вспоминает центральную часть литургии, исполнявшейся в дни великого поста и долженствовавшей символически вызывать мысль о том, что сам бог входит в общение с верующими.

В. В. ВЕРЕСАЕВ

Вересаев В. В. — литературный псевдоним Викентия Викентьевича Смидовича (1867—1945) — один из талантливых русских писателей последнего десятилетия XIX — начала XX в. Широко образованный человек (он закончил Петербургский университет по филологическому отделению и Дерптский по медицинскому фа-

культету, серьезно занимался языками, переводами). Вересаев стал своеобразным летописцем судеб русской интеллигенции в переломный момент ее истории, в период краха народничества и нового подъема революционного движения («Без дороги», «Поветрие», «На повороте» и др.). Большую известность получили его рассказы из крестьянского быта, о которых положительно отзывались Толстой и Чехов.

Исключительную популярность Вересаев приобрел своими «Записками врача» (1900), выдержанными в блестящей публицистической манере. Правдивость этой книги, касавшейся острых проблем врачебного дела в России, врачебной этики, социальных вопросов и т. п., была отмечена В. И. Лениным в статье «Пророческие слова». Эту книгу Вересаева читал Толстой. Уже в «Записках врача» Вересаевым было высказано глубокое суждение о творчестве Толстого: одно из главных достоинств его как художника он увидел в «поразительно человечном и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц». Спустя несколько лет Вересаев обратился к замыслу книги, которую считал лучшим своим произведением и которую особенно любил,— к «Живой жизни» (1910). Второй том книги, посвященный творчеству Толстого, был озаглавлен: «Да здравствует весь мир! (О Льве Толстом)».

Сам Толстой открыл для себя произведения Вересаева задолго до непосредственной встречи с ним. М. И. Водовозова писала Вересаеву 22 июля 1901 г.: «Ваши рассказы ему очень понравились. Лев Николаевич говорит, что некоторые из них напоминают ему Тургенева, что в них столько чувства меры и красоты природы и видна искренность и глубоко чувствующая душа» (В. В. Вересаев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1. М., 1961, с. 463).

Интерес Толстого к Вересаеву подтверждается также письмом Т. Л. Сухотиной (см. с. 284—285), дневниками и записными книжками самого Толстого (*ПСС*, т. 54, с. 126, 265; т. 58, с. 51).

Встреча Вересаева с Толстым состоялась в Ясной Поляне 15 августа 1903 г. Воспоминания писались значительно позднее. Они были опубликованы впервые в связи с 15-летием со дня смерти Л. Толстого в журнале «Красная новь» (1925, № 48, 22 ноября) под названием «У Льва Толстого». Воспоминания отмечены тонкой наблюдательностью, свойственной Вересаеву, оригинальностью независимых, самостоятельных суждений о творчестве и личности Толстого.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

(Стр. 284)

По тексту: В. Вересаев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., «Правда», 1961, с. 423—433.

[1] Эта акция властей в отношении Вересаева имела свою предысторию. 4 марта 1901 г. произошла демонстрация на Казанской площади в Петербурге, жестоко разогнанная конной полицией, жандармерией и казаками (см. об этом подробнее: письмо Горького к Чехову от 21 марта 1901 г.; В. Вересаев. Невыдуманные рассказы о прошлом). Петербургские писатели подали министру внутренних дел заявление-протест против этой бесчеловечной акции. Среди других подписей была и подпись Вересаева. В апреле 1901 г. Вересаев был уволен из Боткинской больницы, а в июне ему было запрещено в течение двух лет жить в столичных городах, и он уезжает в Тулу под надзор полиции. Толстой по-своему откликнулся на это событие, отправив приветственный адрес, подписанный им, лицам, поставившим свое имя под петицией-протестом.

[2] «Записки врача» впервые опубликованы в журнале «Мир божий», 1901, № 1—5. «Записки врача»,— вспоминал Вересаев,— дали мне такую славу, которой я без них никогда бы не имел и которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные» (В. Вересаев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., 1961, с. 437).

[3] Чтобы смягчить свой отказ и объяснить задержку с ответом, Вересаев отправил следующее письмо Т. Л. Сухотиной, сознательно сместив реальные события и утверждая, что ее письмо было получено им за границей: «4 мая 1902 г. Милан. Милостивая государыня, Татьяна Львовна! Только на днях я получил Ваше письмо, писанное месяц назад и пересланное мне из Тулы женою. Не знаю, насколько вообще этот поздний ответ нужен,— вероятно, Вы уже нашли врача. Рекомендовать кого-нибудь подходящего я не могу. На меня произвело впечатление, что в Вашем письме Вы в деликатной форме приглашаете меня лично. (Простите, если эта догадка неверна.) Я был бы очень рад быть хоть чем-нибудь полезным Льву Николаевичу, но дело в том, что врач я очень плохой и в настоящее время почти совсем бросил практиковать; при таких условиях брать на себя ответственность за такую дорогую жизнь, как жизнь Льва Николаевича, было бы с моей стороны дерзостью, на которую я никак не могу решиться. Всегда готовый к услугам В. Смидович» (*ГМТ*).

[4] По всей вероятности, имеется в виду повесть С. А. Толстой «Песня без слов», над которой она работала в 1895—1900 гг. и в сюжете которой нашли свое отражение некоторые автобиографические мотивы, в частности отношение С. А. Толстой к И. С. Танееву (*ДСТ III*, с. 265—266).

[5] Речь идет о «Записках врача».

[6] Толстой говорил о книге И. И. Мечникова: «Etudes sur la nature Humaine», Paris, 1903 («Этюды о природе человека»). Он читал ее незадолго до встречи с Вересаевым, в апреле—мае 1903 г. и собирался писать о ней (*ПСС*, т. 54, с. 169). «Она очень интересна по своей ученой глупости»,— замечал он (*ПСС*, т. 74, с. 112). Позднее (22 октября 1904 г.) Толстой высказался более объективно: «Я много вынес из этой книги интересных сведений, так как Мечников несомненно большой ученый. Только удивительна в нем самодовольная ограниченность, с какой он убежден, что решил чуть ли не все вопросы, волнующие человека. Он так уверен, что счастье человека в его животном довольстве, что, называя старость злом (вследствие ограничения в ней физического наслаждения), даже и не понимает, что есть люди думающие и чувствующие совершенно наоборот. Да я дорожу своей старостью и не променяю ее ни на какие блага мира» (Гольденвейзер, I, с. 142).

[7] Следует отдать должное наблюдательности Вересаева. Вот что писал об этом портрете С. Л. Толстой: «Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что изображения Толстого 1891 года менее удачны, чем прежние портреты Репина. По-видимому, на него несколько повлияли новые течения в живописи, например, импрессионизм, и он стал дополнять действительность своим воображением» (С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1965, с. 355).

Н. Е. ФЕЛЬТЕН

Фельтен Николай Евгеньевич (1884—1940), журналист; вступил в переписку с Толстым в 1901 г.

Впервые Фельтен посетил Ясную Поляну в 1903 г., за что и был исключен из последнего класса коммерческого училища по обвинению в «политической неблагонадежности». В течение ряда лет он занимался распространением запрещенных произведений Толстого, был связан с В. Г. Чертковым, жившим в Англии; подвергался аресту за распространение нелегальной литературы и длительное время состоял под надзором полиции. Его операции по перевозке запрещенной литературы отличались редкой изоб-

ретательностью и дерзостью, сбивавшими с толку таможенников и полицейских.

В июле 1907 г. Фельтен, в то время ответственный редактор издательства «Обновление», был арестован за напечатание статьи Толстого «Не убий». Только благодаря вмешательству Толстого он был освобожден под залог. По просьбе Толстого в качестве защитника выступал пользовавшийся в то время большой известностью адвокат В. А. Маклаков. В деле Фельтена принимал участие, тоже по протекции Толстого, А. Ф. Кони. Грозивший Фельтену трехлетний срок заключения в крепости был сокращен до шести месяцев.

Воспоминания освещают три встречи с Толстым: в 1903, 1905—1906 и 1909 гг. Отрывки из воспоминаний публиковались Фельтеном в разное время, начиная с 1910 г. Позднее они были собраны им воедино и расположены в хронологическом порядке. Значительное место в воспоминаниях занимала переписка Фельтена с Толстым.

«ВОСПОМИНАНИЯ»

(Стр. 295)

По тексту: Летописи государственного Литературного музея, кн. 12. М., 1948, с. 468—519.

[1] Вымысел мемуариста.

[2] Имеется в виду телеграмма Л. Андреева, полученная в Ясной Поляне 7 сентября 1907 г. Толстой ответил согласием на приезд Андреева.

[3] К этому времени Фельтен получил от Толстого два письма, отправленных в декабре 1901 г. и в сентябре 1903 г. (*ПСС*, т. 73, с. 178—179; т. 74, с. 183—184).

[4] Разговор шел о Джузеппе Мадзини и о переводе его книги «Об обязанностях человека» (М., 1902). Толстой был увлечен сочинением Мадзини и рекомендовал его своим близким друзьям: «Знаете ли вы книжечку,— писал он В. Г. Черткову 4 января 1902 г.,— «Об обязанностях человека» Мадзини. Удивительно хорошо» (*ПСС*, т. 88, с. 255). Толстой в обращении к сыну Мадзини, Лючиано, называл его отца «философом и истинным пророком всех народов», (*ПСС*, т. 75, с. 233).

[5] По-видимому, П. А. Буланже.

[6] Фельтен и А. П. Сергеенко были в Ясной Поляне 5 апреля 1905 г,

[7] Речь идет о книге: Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 1828—1908 г. (Критико-биографическое исследование Н. Г. Молоствова и П. А. Сергеенко). Под ред. А. Л. Волынского. СПб., Изд. П. П. Сойкин, 1909—1910. Издание вышло в трех выпусках.

[8] Здесь очевидная хронологическая ошибка. По свидетельству Д. П. Маковицкого, разговор Толстого с Фельтеном о рассказе «За что?» происходил 15 марта 1906 г., то есть в другой приезд Фельтена в Ясную Поляну. Толстой работал над рассказом не в 1905, а с января по апрель 1906 г.

[9] В марте 1906 г. Толстой обратился с просьбой к В. В. Стасову прислать книги о польском восстании 1830 г. Его особенно интересовала точка зрения поляков, а не русских историков и мемуаристов, о чем он имел ясное представление. 14 апреля Стасов отправил Толстому семнадцать томов французских, немецких и польских книг («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, с. 396—397). Но к этому времени, видимо, Толстой, уже выяснил нужные ему сведения по другим источникам. Он вернул 2 мая 1906 г. книги Стасову, заметив, что «не воспользовался ими» (*ПСС*, т. 76, с. 157).

[10] Небольшое крыльцо и веранда двухэтажного дома Толстых в Ясной Поляне украшены балясинами — дощечками, на которых вырезаны лошадки, куколки, петушки — тонкая стилизация под народное искусство.

[11] В апреле 1905 г. Толстой усиленно работал над статьей «Единое на потребу». В конце апреля она уже была отправлена им в Англию к В. Г. Черткову для издания. Характеристика русских царей сохранена в опубликованном тексте: гл. II и VI (*ПСС*, т. 36, с. 169—170, 182).

[12] Д. П. Маковицкий.

[13] В феврале 1909 г. Фельтен приехал в имение В. Г. Черткова Телятинки в надежде встретить Толстого во время его частых приездов к Черткову.

[14] И. В. Сидорков — крестьянин деревни Перевлес Рязанской губ., с 1893 г. служивший у Толстых.

[15] Очевидная ошибка. Н. Н. Гусев, секретарь Толстого, был арестован и выслан 4 августа 1909 г., между тем как описываемый разговор происходил 27 февраля того же года. В этот день Толстой написал письмо московскому генерал-губернатору С. К. Гершельману, но по поводу ареста редактора газеты «Жизнь» Н. П. Лопатина, опубликовавшего заметку Толстого о смертной казни «Нет худа без добра» («Жизнь», 1909, 9 февраля).

[16] Протест против смертной казни — одна из постоянных тем творчества В. Гюго, вызвавшая к жизни блестящие образцы его

страстных, темпераментных выступлений по широкому кругу общественных, социальных, нравственных проблем: «Смертная казнь» (1848), «Речь на процессе Шарля Гюго» (1851), «Письмо лорду Пальмерстону» (1854), «Италия» (1856), «Джон Браун» (1859), «Женева и смертная казнь» (1863), «Столетие со дня смерти Вольтера» (1878) и др. Среди книг В. Гюго на французском языке в Яснополянской библиотеке (см. «Описание Яснополянской библиотеки на французском языке» (рукопись), с. 166—172) значится том избранных произведений В. Гюго, непосредственно связанных с данной темой: Hugo Viktor. Morceaux Choisis. La Peine de Mort. Paris. Société d'Editions Littéraires et Artistiques. Libraire Paul Ollendorff.

[17] С. М. Кравчинский (псевдоним — Степняк). Известно, что незадолго перед описываемой встречей в январе 1909 г. Толстой читал роман Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» (*ЯЗ*, 30 января).

[18] Повесть «Нет в мире виноватых» была начата Толстым в 1908 г. Весной 1909 г. он продолжал над ней работу. Замысел этот остался незавершенным.

Б. А. ЛАЗАРЕВСКИЙ

Лазаревский Борис Александрович (1871—1943), военный юрист, писатель.

Впервые посетил Ясную Поляну 2 сентября 1903 г.

Толстого заинтересовала личность Лазаревского прежде всего как военного юриста, служившего в военно-морском суде. Нравы и порядки в русской армии вызывали обостренное внимание писателя, что подтверждается и другими свидетельствами современников (см.: С. Гарин. Один день у Толстого.— *ЦГАЛИ*, ф. 508, оп. 1, ед. хр. 248, л. 2; см. также коммент. к воспоминаниям Жиркевича, с. 511).

В Лазаревском Толстой нашел интересного собеседника, большого почитателя Чехова. 8 сентября 1903 г. Толстой записал в дневнике: «О литературе. Толки о Чехове... Он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга...» (*ПСС*, т. 54, с. 191).

В основе воспоминаний Лазаревского — его дневниковые записи, сделанные непосредственно в Ясной Поляне. Свои мемуарные записки о Толстом Лазаревский включил также в статью «А. П. Чехов» (1905).

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Стр. 306)

По тексту, опубликованному в кн.: «Международный толстовский альманах». Сост. П. Сергеенко. М., 1909, с. 88—97.

[1] В Яснополянской библиотеке сохранилась книга А. Ф. Кони «Федор Петрович Гааз. Биографический очерк» (СПб, 1897) с дарственной надписью: «Дорогому Л. Н. Толстому от автора».

[2] В первоначальной дневниковой записи Лазаревского значилось: «Чехов — это маленький Пушкин» (*ЦГАЛИ*, ф. 278, оп. 1, ед. хр. 2, л. 19).

[3] Эту мысль Толстой часто повторял. Свое мнение о пьесах Чехова Толстой высказывал и самому их автору. См.: П. П. Гнедич. Из записной книжки. — «Международный толстовский альманах». М., 1909, с. 32. Неприятие драматургии Чехова связано с общей эстетической концепцией Толстого той поры, отрицавшей драматургию, как искусство, лишенное религиозно-нравственной основы. С этой точки зрения Толстой не щадил и своих пьес (см. ст. «О Шекспире и о драме», *ПСС*, т. 35, гл. VII, VIII).

ЛУИ МОРОТ

Морот Луи в качестве корреспондента испанской газеты «Fraldo di Madrid» посетил Толстого в феврале 1905 г. Испанский журналист приехал в Россию в связи с событиями «кровавого воскресения», вызвавшими возмущение прогрессивных кругов во всем мире.

Луи Морот снискал расположение Толстого, который увидел в нем человека большой эрудиции, «симпатичного и интересного» (*ЯЗ*, 10 февраля 1905 г.).

Спустя три года, в 1908 г., вспоминая о встрече с Толстым в Ясной Поляне, Луи Морот писал: «Недаром эта старинная усадьба Толстого называется Ясная Поляна, это вещее имя, это символ: ведь это оттуда, от великой души, от высокой мысли Толстого горит ясная радуга мира и любви, примирения — не только для России, но и для всего мира» (*ЦГАЛИ*, ф. 436, оп. 2, ед. хр. 94).

ДУША ЭПОХИ

(Стр. 315)

По тексту: «Международный толстовский альманах». Сост. П. Сергеенко, М., 1909, с. 154—160.

[1] Луи Морот посетил Ясную Поляну 10 февраля 1905 г.

[2] Толстой с одобрением отметил, что его собеседник хорошо знал работы Генри Джорджа (*ЯЗ*, 10 февраля 1905 г.).

[3] Тяжелое положение сельского населения Андалусии, усугубленное неурожаем 1881—1882 гг., вызвало крестьянские волнения, известные под названием движения «черной руки».

[4] Толстой имеет в виду I Интернационал (Международное товарищество рабочих). М. А. Бакунин не возглавлял I Интернационал, но, выступая против Маркса, ожесточенно боролся за влияние в Генеральном совете.

[5] Над письмом к Николаю II Толстой работал в декабре—январе 1901—1902 гг. Писатель обратился к царю с призывом уничтожить «гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды», отменить исключительные законы, которые «ставят рабочий народ в положение пария», ликвидировать частное землевладение. Письмо было переслано царю через великого князя Николая Михайловича.

[6] Толстой имеет в виду длительную войну Испании против освободительной борьбы на Кубе и Филиппинах и испано-американскую войну 1898 г. В этих войнах особенную жестокость проявил испанский и американский империализм в подавлении народно-освободительного движения.

[7] Русско-японская война 1904—1905 гг.

ТОКУТОМИ РОКА

Очерк «Пять дней в Ясной Поляне» принадлежит перу выдающегося японского писателя Кэндзиро Токутоми, известного под псевдонимом Токутоми Рока (1868—1927), и является главой из книги «Записки паломника», изданной в Японии в декабре 1906 г. Книга эта воспроизводит впечатления писателя от его поездки на Ближний Восток и в Россию в апреле — августе 1906 г.

Токутоми был одним из самых увлеченных последователей Толстого в Японии. Еще в юности познакомившись с произведениями Толстого, он воспринял не только некоторые реалисти-

ческие принципы художественного творчества русского писателя, но и его морально-этические воззрения.

Пережив в годы русско-японской войны духовный кризис, Токутоми испытывал острую потребность в общении с Толстым.

30 июня 1906 г. Токутоми приехал в Ясную Поляну и провел в обществе Толстого пять дней. Публикуемая глава, в которой излагаются его впечатления от пребывания в Ясной Поляне, основывается на записях, сделанных непосредственно на месте, и представляет собой почти протокольное описание всего того, что Токутоми видел и слышал в Ясной Поляне. Это придает его воспоминаниям исключительную достоверность. Воспоминания интересны описанием яснополянского быта и особенно изложением многочисленных высказываний Толстого о важных вопросах литературы, культуры и злободневных общественных проблемах.

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Стр. 320)

По тексту, опубликованному: *ЛН*, т. 75, кн. 2 («Толстой и зарубежный мир»), М., 1975, с. 170—202. Публикация и примечания А. И. Шифмана.

[1] Тё — мера длины и площади: длины — 109,09 метра; площади — примерно 1 гектар.

[2] Старший брат Токутоми — Иициро Токутоми (псевдоним Сохо), известный историк, публицист и общественный деятель, глава популярного в Японии издательства «Друг народа», посетил Ясную Поляну 26 сентября 1896 г. Впоследствии он неоднократно писал Толстому.

[3] Фукаи — японский журналист, сотрудник издательства «Друг народа», сопровождавший Иициро Токутоми в его поездке в Ясную Поляну.

[4] Статья «О значении русской революции».

[5] В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого сохранилось описание приезда Токутоми Рока в Ясную Поляну и запись рассказа Толстого о встрече с японским гостем (*ГМТ*).

[6] Книга Т. М. Бондарева «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство», изданная в июне 1906 г. «Посредником», с предисловием Толстого.

[7] «Четверокнижие» — вторая часть конфуцианского канона. В данном случае речь идет об издании «Четверокнижия» с комментариями Мэн-цзы (о котором см. ниже).

[8] «Горная хижина» — сборник стихотворений знаменитого японского поэта Сайгё (1118—1190).

[9] Мэн-цзы (372—289 гг. до н. э.) — древнекитайский философ, последователь Конфуция. В «Круг чтения» Толстой включил ряд его изречений.

[10] Мо-цзы (479—403 гг. до н. э.) — выдающийся древнекитайский мыслитель. Толстой пристально изучал философию Мо-цзы и собирался написать о нем статью. В 1909 г. он редактировал брошюру П. А. Буланже об учении Мо-цзы.

[11] Такой книги у Толстого нет. Возможно, что здесь имеется в виду издание письма Толстого к А. Г. Розен (ноябрь 1894 г.), выпущенное в 1895 г. в Женеве М. Элпидиным под заглавием «Письмо Л. Н. Толстого о разуме и религии».

[12] Того Хэйхатиро (1847—1934) — адмирал, командовавший японским флотом в бою при Цусиме.

[13] Токутоми подразумевает здесь отказ русских духоборов от службы в царской армии, за что они подвергались жестоким репрессиям.

[14] Бывший учитель Яснополянской школы Петр Васильевич Морозов (ум. в 1906 г.).

[15] Александра Львовна, младшая дочь Толстого.

[16] Кэн — мера длины, равна 1,81 метра.

[17] Танка — традиционный жанр японской поэзии — стихотворение в тридцать один слог из пяти строк.

[18] Мэйдзи — годы правления императора Муцухито (1868—1911).

[19] Хокку — традиционный жанр японской поэзии — стихотворение в семнадцать слогов из трех строк.

[20] Сун — мера длины, равная 3,03 сантиметра.

[21] Речь идет о книге: Angelus Silesius. Cherubinischer Wandersmann. Eingeleitet von Wilhelm Bölsche (Ангелус Силезиус. Херувимский странник. Подготовлено Вильгельмом Бёльше), Jena und Leipzig, 1905. Книга эта с многочисленными пометками и переводами Толстого сохранилась в Яснополянской библиотеке. Ангелус Силезиус — псевдоним немецкого поэта-моралиста Иоганна Шефлера (1624—1677). Токутоми ошибочно называет его Буршем. Ряд изречений из «Херувимского странника» включен Толстым в сборник «Круг чтения» («Мысли мудрых людей» и др.).

[22] Кто эти знакомые Толстого — установить не удалось.

[23] «В чем моя вера?»

[24] Идейное течение среди части японской интеллигенции, на которое сильное влияние оказало религиозно-нравственное учение Толстого. Приверженцы этого течения, к которому при-

мыкали многие видные японские деятели культуры, содействовали переводу и популяризации произведений Толстого в Японии.

[25] «Круг чтения».

[26] Ошибка: Толстой писал не гусиным, а металлическим пером.

[27] Восемьдесят лет исполнилось Толстому через два года, в 1908 г.

[28] Письмо было адресовано В. В. Стасову. Толстой писал: «Милый Владимир Васильевич. Я несчастливо рекомендовал вам индуса и каюсь в этом. Я не знал его. Но теперь позволяю рекомендовать вам японца Тукитоми, которого знаю и считаю очень хорошим человеком и очень деликатным. Если вы побеседуете с ним (он говорит по-английски) и рекомендуете его кому-нибудь, молодому человеку, чтобы пошапронировать его в Петербурге, то буду вам очень благодарен» (*ПСС*, т. 76, с. 162).

[29] Письма эти неизвестны.

[30] С. Н. Толстой умер в 1904 г.

[31] Речь идет о портрете В. К. Сютаева (1820—1892), который висел в яснополянском кабинете Толстого.

[32] У Толстого старшей сестры не было. В шамординском монастыре жила младшая сестра Толстого — Мария Николаевна. Репродукцию «Мадонны» Рафаэля подарила Толстому в 1857 г. его двоюродная тетка, придворная фрейлина А. А. Толстая.

Т. А. КУЗМИНСКАЯ

Кузминская Татьяна Андреевна, рожденная Берс (1846—1925) — свояченица Толстого, младшая сестра его жены. С юных лет она была горячо привязана к Толстому, подолгу гостила в Ясной Поляне, называя ее «милым своим вторым родительским домом». Незаурядный ум, артистичность, ярко выраженный темперамент Кузминской привлекали Толстого, который был ее верным «другом и советчиком». «Тип Танечки Берс» послужил прообразом Наташи Ростовой в романе «Война и мир» (*ПСС*, т. 61, с. 153).

Кузминская обладала бесспорным литературным дарованием. Современники знали ее как автора талантливых рассказов из народного быта, в которых отразились и яснополянские впечатления: «Бабья доля. Из народной жизни» («Вестник Европы», 1886, № 4); «Бешеный волк» (т а м ж е, № 6); «Сестра и я» (Се-

мейные вечера). Из жизни крепостной девочки» (СПб., 1911) и др.

С 1908 г. стали появляться воспоминания о Толстом Т. А. Кузминской: «Воспоминания о графе Л. Н. Толстом в шестидесятых годах», «В Ясной Поляне осенью 1907 года», «Мой последний приезд в Ясную Поляну» и др. Уже в преклонных годах, восстанавливая в памяти былое, Кузминская написала обширные воспоминания «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», работа над которыми была прервана ее смертью.

Настоящие воспоминания впервые опубликованы в «Иллюстрированных приложениях» к газ. «Новое время» (1908, № 11656, 11659); в том же году они были изданы отдельной книжкой. Воспоминания Т. А. Кузминской отличаются своей фактической и, что особенно важно, психологической достоверностью. Нужно было любить и понимать Толстого так, как Т. А. Кузминская, чтобы в какой-нибудь одной подробности увидеть и показать неповторимые черты его характера, его живого темперамента, его «заразительного» воздействия на окружающих. В то же время в мемуарных записках Кузминской сохраняется «чувство дистанции», постоянно живет сознание исключительности нравственного мира Толстого.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ ОСЕНЬЮ 1907 г.

(Стр. 339)

По тексту: Т. Кузминская. В Ясной Поляне осенью 1907 года. СПб., 1908.

[1] В записной книжке Толстого от 11 октября 1907 г. осталось краткое замечание: «Приехала Таня Кузминская. Всегда рад ей» (*ПСС*, т. 56, с. 215).

[2] Автобиография С. А. Толстой «Моя жизнь» (*ГМТ*).

[3–4] См. коммент. 3 к воспоминаниям А. Ф. Копи.

[5] Накануне приезда Кузминской Толстой пересматривал «Детский круг чтения» и «большой» «Круг чтения» (записная книжка, 27 августа 1907 г.).

[6] Первый том «Круга чтения» вышел в феврале 1906 г., второй том в виде двух полутомов: в июле и октябре 1906 г.

[7] Неточная цитата из «Круга чтения» (см.: *ПСС*, т. 42, с. 108). В чтение на 30 сентября Толстой включил из художественных произведений «Silentium!» Ф. Тютчева.

[8–9] Задолго перед этим разговором Толстой высказал ту же

мысль в послесловии к «Душечке» А. П. Чехова, которое было опубликовано в 1905 г. в «Круге чтения».

[10] Е. В. Оболенская. См. коммент. 26 к воспоминаниям М. С. Сухотина.

[11] Цусимское сражение произошло 14—15 мая 1905 г. между русской 2-й Тихоокеанской эскадрой под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского и японским флотом. Русская эскадра была разгромлена в этом бою.

[12] Рабочий железнодорожных мастерских в Полтаве А. И. Иконников за отказ от военной службы был присужден к четырем годам исправительных арестантских отделений. 10 октября Н. Н. Гусев читал Толстому вслух письмо Иконникова. «Призывался он в 1904 г. в Скопине. После отказа (от воинской службы) его арестовали, и с тех пор он сидит в разных крепостях и на гауптвахтах (Гусев. Два года с Толстым, с. 58).

Н. Н. ГУСЕВ

Гусев Николай Николаевич (1882—1967) — секретарь Толстого в 1907—1909 гг. Познакомился с Толстым в 1903 г. По приглашению В. Г. Черткова в 1907 г. поселился в Телятинках, недалеко от Ясной Поляны, с тем чтобы помочь Толстому осуществлять разнообразные и многочисленные секретарские обязанности: ответы на письма и стенографирование статей, переписка рукописей и т. п.; вскоре он переехал в Ясную Поляну, в дом Толстого. Здесь Гусев был арестован в 1909 г. по обвинению в распространении запрещенных произведений Толстого и сослан на два года в село Корепино Чердынского уезда Пермской губернии.

Толстой ценил работу и преданность Гусева и всегда «с любовью и уважением» (*ПСС*, т. 82, с. 155) думал о нем.

Н. Н. Гусеву принадлежат документальные биографические работы о Толстом: двухтомная «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» (1958—1960), четыре тома «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», освещающие жизненный и творческий путь писателя до 1886 г. Заметное место в мемуарной литературе о Толстом занимают воспоминания и дневник Гусева, объединенные в книге «Два года с Л. Н. Толстым», фрагменты из которых публикуются в настоящем издании.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ЧЕЛОВЕК

(Стр. 353)

По тексту: Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. Из Ясной Поляны в Чердынь. Отрывочные воспоминания. Лев Толстой — человек. М., 1973, с. 351—370.

[1] Подробно об этой встрече с Толстым см. в воспоминаниях Н. Н. Гусева «Первые посещения» (Гусев. Два года с Толстым, с. 41—43).

[2] 10 марта 1908 г. Толстой записал в дневнике: «Читаю газету «Русь». Ужасаюсь на казни» (*ПСС*, т. 56, с. 110). Особенно его потрясло сообщение о казни 8 мая в Херсоне двадцати крестьян, «осужденных военно-окружным судом за разбойное нападение на усадьбу землевладельца» («Русь», № 147, 9 мая 1908 г.). В дневнике Толстого 12 мая появилась запись: «Вчера мне было особенно мучительно, тяжело от известия о 20 повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать» (*ПСС*, т. 56, с. 117). Сохранившийся на десяти листах набросок без заглавия, вызванный этим газетным сообщением, один из первых вариантов будущей статьи Толстого «Не могу молчать!» (О состоянии Толстого после прочитанного им сообщения из Херсона подробно пишет Н. Н. Гусев, наблюдавший его в это время (см.: Гусев. Два года с Толстым, с. 156—157).

[3] «Круг чтения» — сборник коротких рассказов, легенд, афоризмов и изречений мыслителей и писателей (в том числе и самого Толстого), принадлежащих к различным историческим эпохам. Часть этих текстов представляет собой цитаты, которые Толстой нередко включал в «Круг чтения» в своей редакции. Первый из составленных Толстым сборников изречений носил заглавие «Мысли мудрых людей на каждый день» (1903). В переработанном и расширенном виде «Круг чтения» вышел в свет в двух томах в 1906 г. под заглавием «На каждый день». В 1910 г. Толстой снова переработал свои сборники изречений. Новое издание под заглавием «Путь жизни» вышло в свет в 1911 г.

М. С. СУХОТИН

Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914) — зять Толстого, муж его старшей дочери Татьяны Львовны.

Толстой ценил незаурядное литературное дарование Сухотина. Он доверял ему правку своих статей («Конец века»), охотно прислушивался к его мнению о своих собственных работах.

Депутат I Государственной думы, Сухотин имел возможность информировать Толстого о важных политических делах, о злободневных событиях русской современной жизни.

По своим взглядам Сухотин не принадлежал к последователям Толстого, но его дневниковые записи отмечены стремлением к известной объективности, острой наблюдательностью, достоверностью в изложении фактов, глубоким пониманием нравственного состояния Толстого, его напряженной духовной работы.

Публикуемые фрагменты из дневниковых записей Сухотина относятся к 1907—1908 гг. и отличаются широким охватом вопросов, тем, интересующих Толстого в эту пору.

Важной особенностью дневниковых записей Сухотина является то обстоятельство, что они рисуют Толстого в драматический период его духовного развития после событий первой русской революции. Мемуаристу удалось передать наиболее характерные моменты, когда религиозно-нравственная проповедь Толстого вступала в очевидное противоречие с русской действительностью начала XX в. да и с ним самим, с его непосредственной реакцией на жизнь, полную непримиримых социальных конфликтов.

ИЗ ЗАПИСЕЙ В ДНЕВНИКЕ

(Стр. 364)

По тексту, опубликованному: *ЛН*, т. 69, кн. 2. М., 1961, с. 190.

[1] Автобиография С. А. Толстой «Моя жизнь» (*ГМТ*).

[2] Такого письма к А. А. Толстой в 1876 г. не обнаружено. В письме к А. А. Толстой от 8—12 марта 1876 г. Толстой признается: «Хорошо вам, верующим, а нам труднее» (*ПСС*, т. 62, с. 256), а в следующем письме к ней же от 20—23 марта 1876 г. замечает: «Ничто так не отвращало и не отталкивало меня от религии, как когда меня старались обращать, объясняя мне религию. Чем больше объясняли, тем мне становилось темнее». И заключает: «Чтобы я мог поверить, мне кажется невозможно» (т а м ж е, с. 261). См. также письмо к А. А. Толстой от 15—17 апреля 1876 г. (т а м ж е, с. 266—267).

[3] Имеется в виду письмо Толстого к М. О. Меньшикову по поводу статьи: «Письма к ближним...». 1. Две России. 2. Упадок

церкви. 3. Сухое сердце» («Новое время», 1907, № 11085, 21 января. — *ПСС*, т. 77, с. 17).

[4] Об «анархисте-экспроприаторе» Толстой оставил запись в дневнике 2 февраля 1907 г., размышляя об устройстве жизни, которая «основывается на насилии и поддерживается насилием» (*ПСС*, т. 56, с. 9).

[5] Первый русский царь из династии Романовых, Михаил Федорович, был избран на престол Земским собором в 1613 г., после освобождения Москвы от польских интервентов.

[6] Л. Л. Толстой занимался писательской деятельностью. Чувство, о котором говорит Сухотин, действительно было свойственно Льву Львовичу. В дневнике 2 февраля 1907 г. Толстой записал: «Вчера было письмо от сына Льва... Удивительное и жалостливое дело — он страдает завистью ко мне, переходящей в ненависть» (*ПСС*, т. 56, с. 8).

[7] «Темные» — слово, бывшее в большом ходу в семействе Толстых. См. воспоминания Л. Гуревич, коммент. 5.

[8] Толстой говорил о Наполеоне Бонапарте, корсиканце по происхождению. Стремительная карьера Наполеона началась в 1793 г. с освобождения Тулона; в то время он служил в революционной армии в чине капитана. В мае 1804 г. был провозглашен императором Франции Наполеоном I.

[9] Мария Львовна, дочь Толстого. Умерла в 1906 г.

[10] С. А. Муромцев и М. М. Ковалевский — профессора Московского университета. Муромцев — председатель I Государственной думы; Ковалевский был депутатом I Государственной думы от Харьковской губернии.

[11] Андрей и Михаил Львовичи Толстые.

[12] Разговор, по-видимому, шел о газете «Народное слово», религиозно-нравственного содержания, издававшейся А. М. Бодянским.

[13] Речь идет о встрече Толстого с А. П. Щербаковым (Щербак), крестьянином, его последователем. В 1905 г. Щербаков принимал участие в крестьянском движении, выступал на Всероссийском крестьянском съезде в Москве (8 ноября 1905 г.) с призывом не работать на помещиков и купцов. В июле 1906 г. последний раз посетил Толстого.

[14] Н. Л. Оболенский, муж Марии Львовны Толстой.

[15] Разговор Софьи Андреевны с Тургеневым Сухотин приводит по памяти. Ср.: С. А. Толстая. Моя жизнь, ч. 3. С 1876 по осень 1881 г., гл. «Практические дела. Весна 1880 г. и приезд Тургенева», с. 621—622 (*ГМТ*).

[16] Стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Порог» (1878) опубликовано в 1883 г. в прокламации «Народной воли», выпущен-

ной в память писателя. Реакция Толстого на это стихотворение, которое он прочитал в японском журнале на английском языке «Review of Revolution», объясняется тем, что, по мнению Толстого, подобного рода произведения способны толкать молодежь на путь террора, бессмысленных убийств. Перед этой беседой Толстой прочитал в № 64 «Русских ведомостей» от 20 марта 1907 г. сообщение об убийстве в Москве городового, стоявшего на посту. Городовой был убит неизвестным молодым человеком, мчавшимся на лихаче мимо постового вместе с девушкой. Уходя от преследования, отстреливаясь, он ранил ночного сторожа и скрылся. Девушка была схвачена и назвалась гимназисткой 6-го класса одной из московских гимназий. Толстой в этот же день оставил в своей записной книжке замечание: «Убийство городового девицей и стихотворение в прозе Тургенева. Ужасно» (*ПСС*, т. 56, с. 188).

[17] Письмо Сухотина было опубликовано Вересаевым в воспоминаниях о Толстом; см. с. 293—294.

[18] Т. Л. Сухотина-Толстая.

[19] С. Д. Николаев, знаток и переводчик Генри Джорджа, знакомил Толстого с книгой А. Наживиной — «Генри Джордж». Изд. Н. Парамонова «Донская речь», Ростов-на-Дону.

[20] Письмо Толстого к Софье Андреевне от 26 октября 1884 г. (*ПСС*, т. 83, с. 441).

[21] Имеется в виду гл. VI «Мыслей» Паскаля. См. коммент. 3 к воспоминаниям И. Ф. Наживина.

[22] Сухотин в августе 1907 г. написал и отправил в редакцию газеты «Голос Москвы», а затем в «Русские ведомости» корреспонденцию об ограблении его соседа по имению кн. Б. Н. Голицына. Лишь в ноябре 1907 г. она была принята к печати «Московским еженедельником». Т. А. Кузминская вспоминала, как в сентябре 1907 г. «после обеда М. С. Сухотин очень картинно рассказал об ограблении князя Голицына» (Т. Кузминская. В Ясной Поляне осенью 1907 года. СПб., 1908, с. 37—38).

[23] И. Е. Репин со своей гражданской женой Н. Б. Нордман-Северовой гостил в Ясной Поляне с 21 по 29 сентября 1907 г.

[24] В дневнике 26 сентября 1907 г. Толстой отметил: «Репин пишет мой портрет — ненужный, скучный, и не хочется огорчить его» (*ПСС*, т. 56, с. 68). В откровенно иронических тонах Толстой высказался об этом портрете в письме к Т. А. Кузминской от 24 ноября 1907 г.

[25] 22 октября 1907 г. Гусев был подвергнут кратковремен-

ному аресту по обвинению в том, что на собраниях крестьянской молодежи «ругал царя» (подробнее об этом: Гусев. Два года с Толстым, с. 63—68). «Митинги, устраиваемые Чертковым, — собрания в доме В. Г. Черткова, на которых присутствовали крестьяне деревни Ясенки и где велись разговоры по религиозным и общественным вопросам. Об одном из таких собраний у Черткова с участием Толстого вспоминал Н. Н. Гусев (там же, с. 49—50).

[26] Ю. И. Игумнова, художница, жила в Ясной Поляне в качестве секретаря Толстого. Е. В. Оболенская, племянница Толстого, дочь М. Н. Толстой.

[27] Отношения между Толстым и Львом Львовичем были неровными. Одно время Лев Львович увлекался идеями отца и разделял его мировоззрение. Потом отошел от него и стал выступать против учения Толстого и его последователей в реакционной печати (см. письмо Горького к Л. Л. Толстому. — Горький, т. 28, с. 275—276). В черновом наброске, озаглавленном «Мой отец», это отношение к Толстому высказалось с особенной резкостью (*ИРЛИ,* ф. 303, ед. хр. 10). См. также коммент. 6.

[28] Речь идет о педагогических статьях Толстого, печатавшихся в журнале «Ясная Поляна» (издавался Толстым с января по декабрь 1862 г.). Здесь был опубликован ряд статей Толстого по общим вопросам образования и воспитания, а также посвященных разработке конкретных методик обучения. «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят» и др.).

[29] Сухотин передает по памяти заключительный фрагмент гл. 3 (т. 4, ч. 3) «Войны и мира».

[30] Здесь допущена ошибка. Толстой читал не рассказ И. Ф. Наживина, а речь, посвященную индийскому философу Рамакришне, написанную его учеником Свами Вивекананда. В переводе Наживина она была включена им в свою книгу «В долине скорби» (М., 1907, с. 183—204).

[31] Статья Черткова впервые была издана в России под заглавием «Наша революция» (1907) с послесловием Толстого.

[32] Ответ П. А. Столыпина от 20—23 октября 1907 г. Толстому см. в сб. «Лев Николаевич Толстой». М.—Л., 1928, с. 91—92.

[33] В. Г. Чертков предполагал в случае ареста Н. Н. Гусева предложить Толстому в качестве секретаря В. В. Плюснина. Гусев был арестован значительно позднее, в августе 1909 г.

[34] С А. М. Жемчужниковым Толстой был знаком еще в молодые годы и тогда уже составил себе представление о характере его поэтического дарования. В дневнике от 12 января 1857 г.

Толстой отметил: «Жемчужников... искра мала, пьет из других».

[35] «Жизнь Жанны д'Арк» (1908). В этом произведении Анатоль Франс был занят, по его словам, «поисками исторической правды».

[36] А. И. Толстая-Попова — внучка Толстого, дочь Ильи Львовича Толстого.

[37] В последних числах апреля 1908 г. Толстой работал над статьей «Всему бывает конец» (в заключительной редакции — «Закон насилия и закон любви»). Закончена статья в июле 1908 г.

[38] Аналогичные мысли были высказаны Толстым в статье «Не убий никого», над которой он работал с июля 1907 г. и до конца августа 1908 г.

[39] Ответ Толстого см.: *ПСС*, т. 78, с. 178—179.

[40] В начале августа 1908 г. Толстой чувствовал сильнейшее недомогание. 11 августа 1908 г., предполагая смертельный исход болезни («Тяжело, больно. Последние дни непрестающий жар, и плохо, с трудом переношу. Должно быть умираю»), Толстой продиктовал свои пожелания: «Хотя и пустяшное, но хочется сказать кое-что, что бы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уже не это, то непременно все народное, как-то: «Азбука», «Книги для чтения». Второе, хотя это и из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере есть повод выбрать то или другое место» (*ПСС*, т. 56, с. 143—144).

[41] 28 августа 1908 г. в скромной обстановке отмечалось 80-летие Толстого. Описание дня 28 августа 1908 г. в Ясной Поляне см.: *ДСТ III*, Гольденвейзер I, с. 242; Ю. О. Якубовский. Л. Н. Толстой и его друзья.— «Толстовский ежегодник 1913 г.», с. 42—46.

[42] Ч.-Т. Райт, библиотекарь и секретарь Лондонской национальной библиотеки, привез Толстому адрес, подписанный более чем 800 английскими писателями, художниками, артистами, музыкантами и общественными деятелями, среди подписавшихся: Б. Шоу, Уэллс, Муррей, Ирвинг, Дж. Мередит и пр. Райт находился в переписке с Толстым и несколько раз бывал в Ясной Поляне; впервые посетил Толстого в 1890 г.

[43] По всей вероятности, эти посетители, как и сам Сухотин, не были осведомлены о том, что накануне юбилея Толстого Софья Андреевна разослала в редакции газет письмо следующего

содержания: «Чтобы не доставлять лишнего беспокойства лицам, желавшим лично поздравить графа Льва Николаевича Толстого со днем его рождения 28 августа, считаю долгом сообщить, что последняя болезнь, осложнившаяся инфлюэнцией, от которой он и до сих пор принужден оставаться в постели, до такой степени изнурила его, что он лично никого решительно, даже самых близких, к сожалению, принять никак не может.

Графиня София Толстая. Ясная Поляна 20 августа 1908 г.».

И. Ф. НАЖИВИН

Наживин Иван Федорович (1874—1940) — писатель; некоторые из его произведений созданы под известным влиянием религиозно-нравственной проповеди Толстого: «В сумасшедшем доме» (1905), «Мене... тэкел... фарес» (1907), «В долине скорби» (1908) и др. После смерти Толстого он основал издательство «Зеленая палочка», выпускавшее книги о религиозных течениях и религиозных мыслителях. По сути же дела, Наживин был далек от идей Толстого: он был убежденным монархистом, сторонником аграрной реформы Столыпина, в которой не видел ничего «дурного», в то время как Толстой решительно отрицал ее как очевидный и подлый обман народа.

Значительную часть воспоминаний, напечатанных в разные годы, занимает публикация в их составе переписки Наживина с Толстым. Письма посвящались главным образом обсуждению вопросов веры, религиозно-нравственных идей, истолкованию христианских истин, смысла религиозных обрядов и т. п. Но и здесь (в своих комментариях к письмам) мемуарист пытается смягчить Толстого: бурную реакцию художника на антигуманные факты русской действительности Наживин умудряется трактовать как обычное проявление образа мыслей «смиренного», «святого» старца.

Однако мемуары Наживина представляют определенный интерес как ряд живых зарисовок сцен, эпизодов, в которых участвует Толстой. Выразительны и портреты людей из окружения Толстого, действительно близких по духу великому писателю — лишенных доктринерства, искусственности, фальши, так свойственных многим «толстовцам» и так сурово критикуемых самим Толстым.

О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ

(Из личных впечатлений)

(Стр. 384)

По тексту, опубликованному в кн.: «Международный толстовский альманах». Сост. П. Сергеенко. М., 1909, с. 161—185.

[1] Наживин посетил Толстого накануне его отъезда в Крым 5 сентября 1901 г.

[2] Толстой имел в виду статью «Единственное средство», законченную им в конце июля 1901 г.

[3] Из «Мыслей» Паскаля («Pensées de Pascal», Paris, 1850). Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке. Еще в 1876 г. Толстой писал о ней А. А. Толстой: «Какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю лучше жития» (*ПСС*, т. 62, с. 262). В феврале 1907 г. Толстой вновь вслух перечитывал «Мысли» Паскаля (*ЯЗ*).

[4] В марте 1907 г. Толстой работал над составлением «Детского круга чтения», а также «Детского закона божия». Вечерами Толстой проводил уроки с яснополянскими детьми.

[5] Толстой был потрясен известием о «кровавом воскресении» (9 января 1905 г. в Петербурге). Он с гневом и негодованием воспринял лживые правительственные сообщения (*ЯЗ*, 12 января, 23 февраля 1905 г.).

[6] Вероятно, Толстой вспоминал события мая 1855 г., когда, получив приказ сформировать горный взвод на реке Бельбеке, в 20 верстах от Севастополя, он 15 мая выехал на позицию.

[7] М. А. Шмидт — последовательница Толстого, близкий друг семьи Толстых. После знакомства с Толстым и его учением (1884) она оставила должность классной дамы в Московском Николаевском училище и переселилась сначала на Кавказ, арендовав небольшой участок около Сочи, а затем вновь вернулась в Россию и поселилась в деревне Овсянниково, где жила крестьянским трудом. Толстой переписывался с ней, часто навещал ее в Овсянникове. Подробнее о Шмидт и о ее отношении к Толстому см: Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 315—348.

[8] Весной 1908 г. у Толстого нередки были тяжелые обморочные состояния и частичная потеря памяти. См. об этом в воспоминаниях М. С. Сухотина, с. 379—380.

[9] Толстой высоко ценил личность Иммануила Канта, его философский дар, стремление постигнуть законы человеческого бытия (см. его письма Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г., 3 сентября 1892 г.). Он был хорошо знаком с его эстетической концепцией («Что такое искусство?», гл. 3, 4). Это отношение к

Канту сохранилось и в 900-х годах. «То ли дело Герцен, Диккенс, Кант», — пишет Толстой в октябре 1905 г. (*ПСС*, т. 76, с. 43), а в 1908 г. относит Канта к лучшим умам человечества, бившимся над разрешением «вопросов жизни».

И. К. ПАРХОМЕНКО

Пархоменко Иван Кириллович (1870—1940) художник, ученик Н. Н. Ге — близкого друга Толстого.

Закончив рисовальную школу в Киеве, затем Академию художеств в Петербурге, Пархоменко обосновался в Париже для усовершенствования своего художественного образования. Он практиковался в ателье знаменитого французского художника Жан-Поля Лоранса, который хорошо знал Н. Н. Ге и Толстого. По возвращении в Россию у него возник грандиозный замысел — создать две больших портретных галереи: одна должна была состоять из всех «ныне живущих, наиболее выдающихся русских писателей (поэтов, беллетристов и публицистов)», а другая — представлять крупнейших писателей мира. Пархоменко обратился к Толстому с просьбой разрешить написать его портрет и в своем письме привел слова Марка Твена: «Разве найдется на свете писатель, который не захотел бы быть в одной галерее с великим Львом Толстым?» (письмо Пархоменко к Толстому от 10 июля 1909 г. — *ГМТ*).

Пархоменко посетил Толстого в Ясной Поляне 19—21 июля 1909 г. и написал за это время его портрет, который сам Толстой нашел лучшим из всех существующих его живописных изображений. Покидая в 1912 г. на несколько лет Москву, Пархоменко сдал на хранение на склады Третьякова девяносто писательских портретов. Здесь и пропали бесследно двадцать шесть из них, среди которых оказался портрет Толстого. Вскоре после первого посещения Толстого Пархоменко собирался приехать еще раз, чтобы написать новый его портрет; в письмах художника излагались даже подробности того, как он хотел бы изобразить Льва Николаевича (письма Пархоменко к Толстому и С. А. Толстой от 3 августа и 16 сентября 1909 г. — *ГМТ*). Поездка эта, однако, так и не состоялась.

Воспоминания Пархоменко под заглавием «Три дня у Толстого» были опубликованы в «Сборнике воспоминаний о Л. Н. Толстом» (М., «Златоцвет», 1911, с. 135—157). В 1934 г. Пархоменко переработал текст воспоминаний, создав более развернутый их вариант и подвергнув значительной правке прежде публиковавшиеся фрагменты. Воспоминания написаны человеком,

испытавшим большое влияние Толстого, его творчества, его личности. Первое письмо Пархоменко к Толстому относится к апрелю 1900 г. (*ГМТ*), когда он впервые собирался приехать в Ясную Поляну с эскизами и этюдами своей проблемной картины «Как быть?». Он хотел услышать мнение Толстого о том, как воплотить в живописи злободневные вопросы действительности.

Содержание воспоминаний Пархоменко о Толстом выходит за пределы только художественных интересов. Они являются важным свидетельством общественной деятельности Толстого (приглашение писателя на Международный конгресс защитников мира в Швеции). В своих мемуарах Пархоменко схватывает с острой наблюдательностью художника и рисует новые типы посетителей Ясной Поляны — молодых фабричных рабочих, к которым с большим вниманием и симпатией относился Толстой.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

(Стр. 397)

По тексту рукописи: *ЦГАЛИ*, ф. 508, оп. I, ед. хр. 265.

[1] Пархоменко отличался исключительной быстротой работы и умением схватывать сходство. В Париже за 78 месяцев им было написано около 50 портретов художников и писателей разных стран. В Москве Пархоменко писал портреты Вересаева, Златовратского, Боборыкина (письмо к С. А. Толстой от 6 октября 1909 г. — *ГМТ*).

[2–3] Поездка Толстого в Стокгольм не состоялась. Присланный Толстым доклад не был прочитан (*ПСС*, т. 38, с. 119—125): «Умеренная и благонамеренная среда пацифистов, собравшихся на конгресс, была скандализирована «выходкой» Льва Николаевича, считавшего, что для того, чтобы люди не воевали, — не должно быть войска» (П. И. Бирюков, IV, с. 191).

[4] Ошибка мемуариста: Толстому в августе 1909 г. должен был исполниться 81 год.

[5] Крамской написал портрет Толстого в 1873 г.; репинский портрет, о котором идет речь, был создан позднее — в 1896 г.

[6] Жан-Поль Лоранс. В 1903 г. Толстой писал о том, что живописные работы Ж.-П. Лоранса «очень интересуют» его (*ПСС*, т. 74, с. 188). По словам И. Д. Гальперина-Каминского, Ж.-П. Ло-

ранс стремился в своей области искусства выразить общие с Толстым мысли.

[7] Читалась книга: А. М. Оссендовский. Людская пыль. Повесть. СПб., 1909; хранится в Яснополянской библиотеке.

[8] Речь идет о картине польского художника Яна Стыки, жившего в Париже, тема которой была названа им самим в письме к Толстому от 16 апреля 1909 г.: «Толстой за работой в саду, окруженный призраками тех бедствий, которые терзают мою родину». 27 июля 1909 г. Толстой ответил ему: «Получил репродукцию вашей прекрасной картины. Я любуюсь исполнением и благодарю вас за содержание» (*ПСС*, т. 80, с. 43).

[9] Спустя некоторое время Софья Андреевна, видимо, изменила свое решение. В письме к В. Г. Черткову от 2 августа 1909 г. Толстой сообщал: «К моему удивлению, мы как будто едем на конгресс. Софья Андреевна совсем собирается» (*ПСС*, т. 89, с. 134). Вследствие всеобщей забастовки в Швеции конгресс был отложен на 1910 г. Толстой высказывал предположение, что в этой отсрочке сыграло свою роль его намерение приехать на конгресс, нежелательное для президиума конгресса, в который входили деятели умеренных политических взглядов (*ЯЗ*, 6 августа 1909 г.).

[10] Деятельность Толстого в качестве мирового посредника (май 1861 — апрель 1862 г.) характеризовалась резкой антидворянской оппозицией. По словам самого Толстого, «дворянство возненавидело» его «всеми силами души». 12 декабря 1861 г. на дворянском съезде в Туле было подано ходатайство, подписанное всеми присутствовавшими на съезде дворянами Крапивенского уезда, об увольнении гр. Толстого от должности мирового посредника «ввиду отсутствия в помещиках доверия к гр. Толстому», который взыскивал с помещиков в пользу крестьян, отдавал помещичью рожь крестьянам, разрешал крестьянам травить помещичьи луга, рубить помещичий лес и т. п. Высказывались даже «опасения в отношении спокойствия крестьян в Крапивенском уезде». Произведенный с одобрения Александра II в июле 1862 г. в отсутствие писателя обыск в Ясной Поляне жандармским полковником Дурново вызвал, по словам Толстого, «стон восторга» среди помещиков. Сам Дурново доносил шефу жандармов о том, что Толстой «восстановил против себя помещиков, так как, будучи прежде посредником, он оказывал особенное пристрастие в пользу крестьян» (см. об этом: Н. Н. Гусев, II. Гл. II, VII, XII).

[11] Старый дом, где родился Толстой, был, по его поручению, продан на своз еще в 1854 г. и поставлен в селе Долгом в 18—19 верстах от Ясной Поляны. В декабре 1897 г. Толстой видел

дом, где прошло его детство, уже ветхим и заброшенным. В дневнике (6 декабря 1897 г.) осталась запись: «4-го ездил в Долгое. Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний» (*ПСС*, т. 53, с. 169). Нарисованный Толстым весной 1898 г. во время беседы с П. А. Сергеенко план старого дома хранится в Архиве ГМТ. См. также: П. А. Сергеенко. Как живет и работает Л. Н. Толстой. М., 1908, с. 109—110.

[12] Эта мысль записана Н. Н. Гусевым (Гусев. Два года с Толстым, с. 278).

[13] Толстой имел в виду свое письмо Л. Н. Андрееву от 2 сентября 1908 г. (см. коммент. к воспоминаниям Андреева).

[14] По всей вероятности, Е. Чириков, упрекавший Толстого за то, что он выступает противником политической борьбы (письмо Е. Чирикова к Толстому от 22 января 1905 г. — *ГМТ*).

[15] В 1911 г. этот портрет Толстого работы Пархоменко выставлялся временно в петербургском музее Толстого. Он воспроизводился на открытках, а также в «Летописях Государственного литературного музея», кн. 2. М., 1938.

Б. С. ТРОЯНОВСКИЙ

Трояновский Борис Сергеевич (1883—1951) — выдающийся русский виртуоз-балалаечник, композитор и педагог.

С 1904 г. Трояновский с неизменным успехом солировал в оркестре русских народных инструментов В. В. Андреева. Слава русских балалаечников особенно возросла во время гастролей 1908 г. за границей.

Толстой, живо интересовавшийся русской народной музыкой и прекрасный ее знаток, выразил желание познакомиться с Трояновским. В конце мая 1909 г. музыкант был приглашен в Ясную Поляну. В сопровождении своего постоянного аккомпаниатора Ф. К. Шольца он приехал в имение Толстого и провел там три дня (4—6 июня 1909 г.). Особенно яркое впечатление на Толстого произвело исполнение Трояновским русских народных песен. И впоследствии Толстой с восторгом слушал игру Трояновского в музыкальных записях (Б. С. Трояновский. История возрождения балалайки. — *ЦГАЛИ*, ф. 2445, оп. I, ед. хр. 8, л. 98).

У ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Стр. 408)

По тексту, опубликованному в газете «Смена», 1940, № 269, 20 ноября.

[1] Трояновский имеет в виду свое первое публичное выступление в Петербурге 23 декабря 1904 г. с оркестром Андреева (в зале Тенишевского училища), которое прошло с большим успехом и определило всю его дальнейшую судьбу.

[2] Маршруты гастрольных поездок Трояновского значительно шире. В 1908 г. он выступал в Берлине, в 1910 — в Лондоне, затем после окончания лондонских гастролей — в Париже, в театре Сары Бернар, и снова в Англии: Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Портсмут и др. В октябре 1910 г. «мужицкая» балалайка звучала в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Бостоне, Сан-Луи, Балтиморе, Филадельфии. В 1914 г. Трояновский выступал на международной выставке в Швеции, в 1915 г. — в Румынии.

[3] Письмо Толстого не сохранилось. Вполне вероятно, что Трояновский мог быть приглашен от имени Толстого.

[4] В дневнике Толстого от 5 и 6 июня 1909 г. остались записи: «Очень приятно играл вчера Трояновский»; «Опять вечером играл Трояновский» (*ПСС*, т. 57, с. 79).

[5] По убеждению Толстого, секрет успеха Трояновского заключался в подлинно народном характере его искусства: «Как хорошо, что Вы не учились музыке и не поступили в консерваторию, — говорил он Трояновскому после одной из сыгранных им песен. — Они бы испортили там ваш своеобразный талант» (*ЦГАЛИ*, ф. 2445, оп. 1, ед. хр. 8, л. 95). Трояновский выучился игре на балалайке у простого крестьянина и перенял все приемы народной исполнительской манеры.

Л. Н. АНДРЕЕВ

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) задолго до встречи с Толстым находился с ним в переписке. Известны три письма Андреева к Толстому и ответные письма Толстого к нему (1901, 1904, 1908 гг.).

Андреев с благоговением относился к писательскому гению и личности Толстого: «Выше Толстого я никого не знаю, каждое его произведение считаю образцом искусства и мерилом художественности», — писал он (Леонид Андреев. Повести и рас-

сказы в 2-х томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1971, с. 421).

Толстой пристально наблюдал за развитием таланта Андреева, читал его произведения по мере того, как они появлялись в печати, и многие из них «очень понравились» ему. «Говорил о тебе с Толстым не первый раз уже...— рассказывал Горький Андрееву. — Очень хвалил «Жили-были», «Большой шлем», «У окна»... много говорил похвального о чистоте языка и силе изображения» (*ЛН*, т. 72, с. 122). Для Толстого Андреев, с его громкой известностью в начале 90-х годов, представлял особенный интерес не просто как писатель, обладающий самобытным дарованием, но и как весьма характерное явление искусства переломной эпохи конца XIX — начала XX в.

В декабре 1901 г. Андреев прислал Толстому первый том своих рассказов (СПб., изд-во «Знание», 1901). «Надеюсь, — отвечал Толстой, — когда-нибудь увидаться с вами, и тогда, если вам это интересно, скажу более подробно о достоинствах ваших писаний и их недостатках. В письме это слишком трудно» (30 декабря 1901 г.— *ПСС,* т. 73, с. 174).

Однако в ближайшие годы свидание не состоялось. Причиной тому была литературная буря, разразившаяся после появления в свет рассказов Андреева — «В тумане» (1902) и особенно «Бездна» (1903), резкое выступление в печати С. А. Толстой, которая обвиняла автора в наслаждении и любовании «низостью явлений порочной человеческой жизни» и советовала «не читать, не прославлять, не раскупать... сочинений господ Андреевых» («Новое время», 1903, № 9673, 7 февраля. См. также письмо Андреева к Толстому от середины ноября 1904 г. — Переписка, с. 664—665).

Статья Толстого «Одумайтесь!» (1904), страстный его протест против войны дали повод Андрееву обратиться к Толстому с антимилитаристским рассказом «Красный смех», который он называл «самым... из родных». 16 ноября 1904 г. он отправил рукопись рассказа в Ясную Поляну, однако ответа не получил. Мнение Толстого об Андрееве к этому времени уже вполне определилось, и оно было сложным. Толстой не мог мириться с очевидным влиянием на Андреева декадентского искусства. Дисгармоничный, страшный, полуфантастический мир некоторых созданий Андреева отталкивал Толстого. Об этом свидетельствуют многочисленные его отзывы в дневниках, записных книжках, в статьях, беседах, наконец, в его замечаниях на полях в процессе чтения книг Андреева и их критики (см.: А. Е. Грузинский. Яснополянская библиотека. «Толстовский ежегодник 1912 г.», с. 141—142).

Встреча Андреева с Толстым состоялась лишь в апреле 1910 г. В дневнике Толстого от 21 и 22 апреля 1910 г. остались скупые записи, связанные с пребыванием Андреева в Ясной Поляне: «21 апреля. Приехал Андреев. Мало интересен, но приятное, доброе обращение. Мало серьезен. 22 апреля... Говорил с Андреевым. Нет серьезного отношения к жизни, а между тем поверхностно касается этих вопросов».

Кульминацией отношений Андреева и Толстого является, однако, не эта их первая и ставшая последней встреча, а письмо Андреева к Толстому от 18 августа 1908 г. и ответное письмо к нему из Ясной Поляны, отправленное в сентябре того же года. Письмо Андреева, написанное в связи с тем, что он хотел посвятить Толстому «Рассказ о семи повешенных», одно из самых исповедальных посланий писателя: «С глубокой болью писал я... свою боль приношу Вам, человеку, всю жизнь мою, с самых ранних лет, стоявшему надо мною, как воплощение совести и правды» («Реквием». Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930, с. 65). Толстому рассказ, однако, не понравился; он предпочел умолчать о нем, а свой ответ посвятил проблемам писательского мастерства. Среди рекомендаций Толстого было одно, которому он придавал первостепенное значение: это требование предельной достоверности произведений, умения доводить в них свою мысль до последней степени точности и ясности». Именно это, по всей вероятности, особенно хотелось подчеркнуть Толстому в непосредственном разговоре с Андреевым на второй день его приезда в Ясную Поляну 22 апреля 1910 г.: «... я чувствую, что я должен сказать ему прямо всю правду: что много пишет» (Булгаков, с. 201).

Воспоминания Андреева о Толстом складывались исподволь, постепенно, сначала в виде «устных рассказов» и интервью (В. Брусянин. Л. Н. Толстой и Л. Н. Андреев. — «Утро России». М., 1910, № 293, 6 ноября).

Принимаясь за очерк (уже осенью 1911 г.), Андреев подошел к своей задаче не как мемуарист, стремящийся к точной передаче фактов, а скорее как художник, пытающийся главным образом воссоздать пережитое им в момент встречи с Толстым, который был для него живым воплощением идеала. Подробности бесед с Толстым о Горьком, Ф. Сологубе, А. Куприне, об искусстве кинематографа, о творчестве самого Андреева см.: Булгаков, 198—205; *ЯЗ*, 21, 22 апреля; «Утро России», 6 ноября 1910; описание яснополянской обстановки, семейства Толстых — все это осталось за пределами воспоминаний.

Сохранился текст речи, с которой Андреев должен был выступить на вечере памяти Толстого в ноябре 1910 г. (Леонид

Андреев, т. 2, с. 422). В феврале 1911 г. в газете «Утро России» (№ 35) был опубликован очерк Андреева «Смерть Гулливера». И непроизнесенная речь, и «Смерть Гулливера», и воспоминания по своим мыслям, эмоциональному высокому строю очень близки между собой. «Смерть Гулливера» заканчивается торжественными строками, аллегорический смысл которых легко угадывается: «Навеки ушло из мира то огромное человеческое сердце, которое высоко стояло над страною и гулом биения своего наполняло дни и темные лилипутские ночи... Как некий верный страж, сторожило его благородное сердце и, отбивая звонкие удары, посылало на землю благоволение и мир... И ушло из мира огромное человеческое сердце. И наступила тишина...» (Леонид Андреев, т. 2, с. 172).

ЗА ПОЛГОДА ДО СМЕРТИ

(Стр. 410)

По тексту: Л. Н. Андреев. Полн. собр. соч. Изд. А. Ф. Маркса, 1913, т. 6, с. 302—304.

[1] Ко времени приезда Андреева обстановка в Ясной Поляне была напряженной. Толстой мучительно переживал разлад с той жизнью, которую он не принимал; вновь обострились и его отношения с С. А. Толстой. 12 апреля Толстой записал в дневнике: «Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной, голодной смерти... Мучительно стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали» (*ПСС*, т. 58, с. 37). 13 апреля: «И писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить с ней? Уйти?..» (*ПСС*, т. 58, с. 37).

[2] О сложных, драматических отношениях Толстого с С. А. Толстой в последние годы жизни писателя см. вступительную статью С. Л. Толстого в кн.: «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1910» (М., 1936, с. 5—24). Воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода. — В кн.: Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 369—426).

[3] Этот эпизод «с грозой» сопровождался характерным разговором, опущенным в окончательной редакции очерка. «Над лесом висела темно-синяя туча, и беспокойный ветер гнал ее к нам... Опасаясь за его ⟨Толстого⟩ здоровье, я сказал: «Не вернуться ли нам домой?..» Он улыбнулся, посмотрел на меня искоса и спросил: «Вы боитесь природы?» (В. Брусянин.

Л. Н. Толстой и Л. Н. Андреев. — «Утро России». М., 1910, № 293, 6 ноября).

[4] Толстой в день приезда Андреева читал вслух статью Д. Н. Жбанкова «Современные самоубийства» («Современный мир», 1910, № 3). 21 апреля Толстой записал в дневнике: «Вечер читал о самоубийствах. Очень сильное впечатление» (*ПСС*, т. 58, с. 41). В это же время Толстой работал над статьей («О безумии») по поводу самоубийств.

Н. А. АЛЬМЕДИНГЕН

Альмединген — Тумим Наталья Алексеевна (1883—1943) — соредактор, а с 1908 г. редактор детских и педагогических журналов, издававшихся в Петербурге («Родник», «Воспитание и обучение», «Солнышко»), — дважды была в Ясной Поляне: 14 сентября, выполняя просьбу Льва Львовича Толстого (*ДСТ IV*, с. 194—195), и 24—25 октября 1910 г. по письменному приглашению С. А. Толстой. Во второй свой приезд она познакомилась с Толстым. Высказывалось предположение, что Альмединген приезжала в сентябре для переговоров с Софьей Андреевной по поводу «предполагаемой покупки издательством «Просвещение» сочинений Льва Николаевича за миллион рублей» (Гольденвейзер, II, с. 322).

Воспоминания Альмединген представляют собой незаслуженно забытый мемуарный источник. Встреча с Толстым состоялась за два-три дня перед его уходом из Ясной Поляны (Альмединген провела более суток в яснополянском доме Толстых).

Визит Альмединген, профессионального литератора-педагога, вызвал живейший интерес у самого Толстого. Именно в эти дни он вновь обратился к тому, чем с увлечением занимался с первых же шагов своей творческой деятельности, — к вопросу о народном образовании, о книгах для народа, критически оценивая литературу, изданную «Посредником».

Воспоминания Альмединген писались и были опубликованы вскоре же после встречи с Толстым. Их точность в передаче фактов подтверждается документами, значительно позднее получившими известность, но которые, однако, были лишены той выразительности и той конкретности изображения, какое первые читатели находили в очерке талантливого литератора.

ДВА ДНЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Стр. 414)

По тексту, опубликованному в журнале «Родник», 1911, № 2, с. 141—162.

[1] В августе 1906 г. Альмедингеп обратилась к Толстому с просьбой дать статью в юбилейный (по случаю 25-летия) номер журнала «Родник»: хотя бы несколько слов, обращенных к юношеству, «несколько заветов ему». Толстой ответил 17 августа 1906 г. неопределенно: «Не могу обещать. Работы становится все больше и больше, а сил все меньше и меньше» (*ПСС*, т. 76, с. 186). Однако над обращением Толстой начал работать. В дневнике от 21 ноября 1906 г. осталось замечание: «Вчера написал для «Родника» «К юношам». Порядочно. Не поправлял еще (там же, с. 276). Обращение «К юношам» в окончательной редакции получило наименование «Верьте себе» и было впервые опубликовано в газете «Русское слово» от 28 декабря 1907 г. (№ 7).

[2] Толстого сопровождал В. Ф. Булгаков (*ДСТ IV*, с. 240—241).

[3] В этот же день, в письме к И. И. Горбунову-Посадову от 24 октября 1910 г., Толстой высказал предположение, что следовало бы для издания в «Посреднике» отобрать «самые лучшие стихотворения: Пушкина, Тютчева, Лермонтова, даже Державина. Если мания стихотворства так распространена, то пускай по крайней мере они имеют образец совершенства в этом роде» (*ПСС*, т. 82, с. 207).

[4] М. Л. Толстая.

[5] А. Н. Альмедингеп (1855—1908) — основатель и редактор детских журналов («Родник», «Воспитание и обучение», «Солнышко»), после его смерти издававшихся его дочерью.

[6] О классификации Толстым литературы для народа, изданной «Посредником», см.: *ПСС*, т. 82, с. 207—210; *ЯЗ*, 23 октября 1910 г.

[7] С. Л. Толстой (*ДСТ* IV, с. 242).

Д. П. МАКОВИЦКИЙ

Маковицкий Душан Петрович (1866—1921) жил у Толстых в 1904—1910 гг. в качестве домашнего врача; пользовался безраздельным доверием и сердечным расположением Толстого. Маковицкий оставил обширнейшие «Яснополянские записки», представляющие своеобразную летопись жизни и творчества Толстого за этот период.

Воспоминания яснополянского врача содержат драгоценные сведения об уходе Толстого из Ясной Поляны: Маковицкий был единственным постоянным спутником Толстого в течение первых трех дней: 28, 29 и 30 октября 1910 г.

УХОД ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

(Стр. 426)

По тексту: «Летописи Государственного Литературного музея», кн. 2. М., 1938, с. 451—460.

[1] Неточность. Попытки ухода из Ясной Поляны предпринимались Толстым в 1884 и 1897 гг.

[2] Александра Львовна Толстая.

[3] И. В. Сидорков. См. коммент. 14 к воспоминаниям Н. Е. Фельтена.

[4] П. П. Николаев. Понятие о боге как совершенной основе жизни, т. 1—2 (Женева, 1907, 1910).

[5] А. П. Елисеев — яснополянский крестьянин, в то время кучер у Толстых.

[6] Варвара Михайловна Феокритова.

[7] Деревенское прозвище Филиппа Петровича Борисова, яснополянского крестьянина, кучера у Толстых.

[8] Иван Гусаров — крестьянин, близкий Толстому по взглядам, жил в екатеринославской общине Н. А. Шейермана. Познакомился с Толстым 26 декабря 1907 г.

[9] Н. Н. Александри — единомышленник Толстого.

[10] В журнале «Утренняя звезда» в 1910 г. письмо Толстого к священнику не печаталось. В № 42 этого журнала (от 13 октября 1910 г.) было опубликовано письмо Толстого к К. А. Клишевскому от 8 февраля 1910 г. о догмате искупления.

[11] У Толстого явилась мысль поехать сначала в Тулу, а уже оттуда — в противоположном направлении в Горбачево, чтобы Софья Андреевна не смогла сразу последовать за ним.

[12] «На каждый день» — сборник изречений, подобранных в определенном порядке на каждый день года. Составлялся Толстым в 1907—1910 гг.

[13] См. коммент. 4 к воспоминаниям С. Л. Толстого.

[14] Толстой направлялся в Шамординский женский монастырь в Калужской губ., где жила его сестра, монахиня Мария Николаевна.

[15] Неправильность в употреблении русского языка, свойственная Маковицкому. Он хотел сказать, что найденный им де-

журный по станции не имел права дать необходимое распоряжение.

[16] Собеседник Толстого имел в виду «Казенную продажу пития», введенную Николаем II.

[17] Воспоминания гимназистки Т. Таманской о встрече с Толстым в вагоне железной дороги напечатаны в газете «Голос Москвы», 1910, № 266, 18 ноября, под заглавием «На пути в Козельск».

[18] См.: *ПСС*, т. 82, с. 215—216.

[19] Родная тетка Толстого (по отцу) А. И. Остен-Сакен.

[20] К. И. Чуковский обратился к Толстому с просьбой написать статью против смертной казни. В ответ на это обращение Толстой написал статью «Действительное средство» (впервые опубликована газетой «Речь», 1910, 13 ноября).

[21] Эта просительница — Д. Г. Окаемова. Толстой написал письмо жене своего старшего сына, Марии Николаевне Толстой, с просьбой помочь Окаемовой.

[22] См.: *ПСС*, т. 82, с. 218.

[23] Письмо к В. Г Черткову от 29 октября (*ПСС*, т. 89, с. 233).

С. Л. ТОЛСТОЙ

Между Толстым и его старшим сыном, Сергеем Львовичем (о нем см. в т. 1 наст. изд., с. 553—554), существовала духовная близость, особенно усилившаяся в момент драматических событий ухода писателя из Ясной Поляны.

С. Л. Толстой — первый из сыновей Толстого, кто приехал в Астапово и оставался с отцом до его кончины.

В АСТАПОВЕ

(Стр. 441)

По тексту: С. Л. Толстой. Очерки былого. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. Тула, 1966, с. 270—281.

[1] Известие о болезни отца застало С. Л. Толстого на пути в его имение Никольское-Вяземское; изменив маршрут, 2 ноября в 7 часов вечера он приехал в Астапово.

[2] В дневниковой записи Толстого от 3 ноября 1910 г. значилось: «В ночь приехал Сережа, очень тронул меня».

[3] На семейном совете детей после ухода Толстого было решено, принимая во внимание состояние С. А. Толстой, находи-

вшейся в сильнейшем нервном расстройстве, пригласить для наблюдения над нею врача-психиатра и опытную сиделку. Это были — П. И. Растегаев и сестра милосердия Б. И. Скоробогатова.

[4] 28 октября 1910 г., перед уходом из Ясной Поляны, Толстой оставил Софье Андреевне письмо следующего содержания: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства» (*ПСС*, т. 84, с. 404).

[5] Толстой точно воссоздает начало своего письма от 1 ноября 1910 г., написанного под его диктовку: «Милые мои дети, Сережа и Таня». Но дальнейшее содержание письма обращено было именно к Татьяне Львовне и к Сергею Львовичу (см.: *ПСС*, т. 82, с. 223).

[6] Неточное цитирование. Текст телеграммы, продиктованной Толстым 3 ноября 1910 г., был следующим: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мамà было бы для меня губительно» (*ПСС*, т. 82, с. 224).

[7] Это состояние, когда Толстой в бреду упорно пытался диктовать свои мысли и чувствовал, что его не понимают, и снова тосковал и метался, было характерно в момент обострения болезни. Об этом свидетельствовали В. Г. Чертков («О последних днях Л. Н. Толстого». М., 1911), Л. Л. Толстой («О последних днях Л. Н. Толстого». — *ИРЛИ*, ф. 303, оп. 11).

[8] Отец Варсонофий, игумен из Оптиной пустыни, прибыл в Астапово 5 ноября вечерним поездом в сопровождении иеромонаха Пантелеймона. Он сообщил жандармскому ротмистру Савицкому, что прибыл в Астапово по распоряжению Святейшего синода, чтобы подготовить примирение Толстого с православной церковью. О. Варсонофий привез с собой «святые дары», и если бы Толстой сказал одно слово «каюсь», то игумен, в силу своих полномочий, считал бы его отказавшимся от своего «лжеучения»

и напутствовал бы его перед смертью как православного («Красный архив», 1923, № 4, с. 351). Это была последняя попытка церковников создать версию о «раскаянии» Толстого. В этот же день на заседании совета министров 5 ноября «происходил... оживленный обмен мнений на тему о тяготеющем над гр. Л. Н. отлучении от церкви. В заседании выяснилось, что все члены кабинета, включая и обер-прокурора Синода Лукьянова, находят необходимым и своевременным снять отлучение с графа» («Биржевые ведомости», 1910, 6 ноября, № 12008). Газеты сообщали также, что Синоду нужна была формальность — встреча с Толстым духовного лица, «чтобы иметь повод отменить прежнее постановление» («Копейка», 1910, 158 (513), 6 ноября), что «Синод не будет настаивать на формальном отречении Л. Н. Толстого от своих заблуждений, а удовольствуется тем, что Л. Н. Толстой приобщится по православному обряду» («Новая столичная газета», 1910, № 214, 6 ноября). Однако попытки Варсонофия проникнуть к Толстому ради увещевания вернуться к церкви не увенчались успехом.

[9] Об этом эпизоде вспоминала Т. Л. Сухотина-Толстая: «Как-то раз, когда я около него дежурила, он позвал меня и сказал: «Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились». От волнения у меня перехватило дыхание. Я хотела, чтобы он повторил сказанное, чтобы убедиться, что я правильно поняла, о чем идет речь. «Что ты сказал, папа́? Какая со... сода?» И он повторил: «На Соню, на Соню многое падает». Я спросила: «Хочешь ты видеть ее, хочешь видеть Соню?» Но он уже потерял сознание» (Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 423).

[10] Т. Л. Сухотина-Толстая так восстановила эту последнюю фразу Толстого: «Сережа! Я люблю истину... Очень... люблю истину!» (Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 424).

В. Я. БРЮСОВ

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) не был лично знаком с Толстым. 20 января 1898 г. он отправил единственное свое письмо к нему по поводу трактата «Что такое искусство?». Брюсов утверждал, что среди предшественников писателя он должен занять первое место как автор книги «Chefs D'œwre», где были, по его словам, высказаны мысли, «буквально совпадающие» со взглядами Толстого на искусство. Брюсов предлагал Толстому сослаться на его труд, «сделав примечание ко второй половине статьи или к ее отдельному изданию, или, например, особым письмом в газетах» (*ГМТ)*. Претензии Брю-

сова, однако, не имели никаких оснований. Тезис, который он считал тождественным идеям Толстого, был следующим: «Наслаждение произведением искусства состоит в общении с душой художника и вызывается примирением в ней таких идей, которые обычно чужды друг другу» (Валерий Брюсов. «Chefs D'œwre». Сборник стихотворений. М., 1895, с. 7).

Толстой, решительно отрицавший литературу русского декаданса, находил некоторые стихи Брюсова сильными и поэтическими (Н. Н. Гусев. Два года с Толстым, с. 49, 336—337).

НА ПОХОРОНАХ ТОЛСТОГО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

(Стр. 450)

Печатается по тексту: В. Брюсов. Избранные сочинения в двух томах, т. 2. М., 1955, с. 525—534.

[1] И. И. Попов, близкий знакомый Толстого, журналист. В апреле 1887 г. Толстой пытался добиться свидания с ним в Бутырской тюрьме, куда тот был заключен по политическим мотивам. С 1894 по 1906 г. Попов жил на поселении в Иркутске, где редактировал газету «Восточное обозрение»; И. И. Попов переписывался с Толстым по делам ссыльных в Сибири, исполнял различные его поручения. Личная встреча его с писателем состоялась в 1903 г. О своем первом посещении Толстого и о поездке на его похороны Попов рассказал в очерке «Ясная Поляна» (сб. «Дорогие места». М., 1916).

[2] Московский Литературно-художественный клуб, основанный в 1898 г. С 1902 г. Брюсов был одним из членов дирекции клуба, а с 1908 г. — председатель дирекции.

[3] Имеется в виду университетский товарищ Брюсова А. А. Курсинский — поэт, сотрудник журналов «Весы», «Золотое руно». В 1895 г. был учителем сына Толстого, Михаила Львовича.

[4] Н. Н. Черногубов — московский коллекционер, составил ценное собрание, относящееся к жизни и творчеству А. А. Фета (см. его статьи: «Происхождение А. А. Фета». — «Русский архив», 1900, № 8; «К хронологии стихов Фета».— Сб. «Северные цветы», 1902). 7 июня 1900 г. Черногубов обратился к С. А. Толстой с просьбой ознакомиться с письмами Фета (*ГМТ*). В январе 1901 г. в связи с работой над биографией поэта посетил С. А. Толстую в Москве (*ДСТ III*, 137). Поездка Черногубова в Ясную Поляну состоялась в июне 1901 г. С. А. Толстая записала в

дневнике 6 июня: «Живет Черногубов, разбирает и переписывает письма Фета ко мне и Льву Николаевичу» (*ДСТ III*, 150). Черногубов делился с Брюсовым своими впечатлениями о Толстом, вынесенными из поездки в Ясную Поляну. (См.: Валерий Брюсов. Дневники. 1891—1910. М., 1927, с. 103—104).

[5] А. М. Добролюбов — один из ранних представителей русского декадентства, поэт-символист. В 1899 г. бросил Петербургский университет и начал вести странническую жизнь. Добролюбов стал основателем и проповедником новой веры, которая нашла немногочисленных приверженцев среди крестьян Самарской губернии и интеллигенции (см. о нем: А. Пругавин. Декадент-сектант. — «Русские ведомости», 1912, № 282 и 287; Андрей Белый. Начало века. М. — Л., ГИХЛ, 1933, с. 363—366). Был у Толстого 5—6 сентября 1903 г. и 21 июля 1906 г. Брюсов осенью 1903 г. отметил в своем дневнике, что Добролюбов по дороге из Самарской губернии в Петербург «заходил к Льву Толстому», «беседовал с ним два дня» (Валерий Брюсов. Дневники. 1891—1910. М., 1927, с. 133).

[6] З. Н. Гиппиус оставила воспоминания об этом посещении (вместе с Д. С. Мережковским) Толстого в Ясной Поляне. «Встреча наша, — писала она, — произошла поздно, в 1904 году, была почти мимолетной» (З. Н. Гиппиус. Живые лица. Прага, 1925, с. 160).

[7] См. коммент. 15 к воспоминаниям В. А. Поссе.

[8] Н. Е. Эфрос — журналист, театральный критик, находился на станции Астапово во время болезни Толстого в качестве корреспондента газет «Русские ведомости», «Речь» и «Одесские новости».

[9] В. Брюсов действительно появлялся в кадрах кинохроники, посвященной похоронам Толстого: «Черная лента траурной процессии посреди замерзшей земли. Люди сжаты, сдавлены друг другом — только лица одинаково тянутся вверх: увидеть. Белое, растерянное лицо Брюсова в толпе...» (Лев Аннинский. Лев Толстой и кинематограф. — «Советский экран», 1977, № 8, апрель, с.17).

[10] Это были первые такого размаха гражданские похороны в России. Рядовое духовенство по-своему откликнулось на них, выразив свой протест против решения Синода. Вскоре после похорон в Ясную Поляну «приехал неизвестный священник, который, заявившись к графине, сказал, что не может смириться с постановлением Священного синода об отлучении от церкви Толстого и желает совершить обряд погребения на могиле покойного. Графиня не протестовала, сразу же отправились на могилу, где совершили отпевание. В этот же час священник поки-

нул Ясную Поляну. Служители церкви старались узнать, кто был этот священник, но добиться ничего не могли» (Я. Г. Брюпер. Мое паломничество в Ясную Поляну. Воспоминания. — *ЦГАЛИ*, ф. 508, оп. 1, ед. хр. 245).

М. ГОРЬКИЙ

Впервые Горький (1868—1936) посетил Толстого в Москве, в Хамовниках, 13 января 1900 г. В дневнике от 16 января 1900 г. Толстой записал: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа» (*ПСС*, т. 54, с. 8). Спустя несколько дней после встречи Горький писал Толстому: «За все, что Вы сказали мне, спасибо Вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел Вас, и очень горжусь этим. Вообще я знал, что Вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно так хорошо Вы отнесетесь ко мне» (Горький, т. 28, с. 116). Толстой ответил 9 февраля 1900 г. «Я очень, очень был рад узнать Вас и рад, что полюбил Вас, — писал он 9 февраля 1900 г. — Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил — умнее) своей книги и бывают хуже. Мне ваше писание понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания. Вот какой делаю вам комплимент, достоинство которого, главное, в том, что он искренен» (*ПСС*, т. 72, с. 303).

В октябре того же года Горький побывал у Толстого в Ясной Поляне. Особенно часто он виделся с Толстым в Крыму, в Гаспре, во время болезни писателя.

Основой для воспоминаний о Толстом послужили главным образом записи, которые делались Горьким в Крыму в конце 1901 — начале 1902 г. Некоторое время Горький считал эти заметки потерянными, однако они сохранились у Е. Пешковой во время пребывания Горького за границей (1906—1913).

Горький не раз возвращался к замыслу воспоминаний о Толстом. Подготавливая воспоминания к печати, он присоединил к ним свое письмо к В. Г. Короленко, написанное в ноябре 1910 г., когда узнал об уходе Толстого из Ясной Поляны, а затем и о смерти его.

В 1919 г. Горький объединил тридцать шесть заметок о Толстом вместе с письмом к В. Г. Короленко в одной книжке, озаглавив ее «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» и снабдив предисловием (издательство З. И. Гржебина, Пг., 1919). До того как Воспоминания о Толстом появились в печати, Горький выступил с публичным чтением в так называемом «Музее города» (б. Аничков дворец). Александр Блок, присутствовавший на этом чтении, записал свое впечатление: «Это

было мудро, и всё вместе, с невольной паузой (от слез), — прекрасное, доброе,— увлажняет ожесточенную душу» (Горький, т. 16, с. 579). Два года спустя со вставками в заметках III, VI, XXI и XXXI они вышли в издательстве И. П. Ладыжникова (Берлин, 1921). В 1923 г. в журнале «Беседа» (№ 1, май — июнь) Горький опубликовал еще восемь (XXXII—XLIV) новых отрывков под заглавием «О Льве Толстом» (подробно о творческой истории воспоминаний см.: Горький, т. 16, с. 578—582). В очерке «В. И. Ленин» Горький свидетельствовал, что первое издание его воспоминаний было прочитано В. И. Лениным (Горький, т. 17. М., 1952, с. 38). По словам одного из современников, В. И. Ленин, прочитав «залпом» Воспоминания Горького, сказал: «Толстой у Горького как живой получился. Пожалуй, так честно и смело о Толстом никто и не писал» (Горький, т. 16, с. 583).

Воспоминания Горького замечательны в том отношении, что они обладают несомненными свойствами мемуарного документа, отличаясь бесспорной исторической достоверностью и в то же время наделены чертами художественного произведения, отражая своеобразие художественного видения писателя, его творческого осмысления действительности и личности Толстого. Крупнейшие писатели Запада— Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Томас Манн относили Воспоминания о Толстом к лучшим созданиям Горького (там же, с. 585).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

(Стр. 461)

По тексту: М. Горький. Собр. соч. в 25-ти томах, т. 16. М., 1973, с. 260—312.

[1] П. А. Кропоткин. Анархия, ее философия, ее идеалы. Женева, 1898.

[1a] Сказки Г.-Х. Андерсена в переводе Марко Вовчок впервые вышли в 1872 г.

[2] Заключительные строки стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом...» (1843).

[3] Речь идет о ранней утраченной редакции рассказа «Бык». Впервые опубликован в журн. «Колхозник» (1935, № 3).

[3a] Размышляя над трактатом «Изложение моей веры», Толстой записал 16 мая 1896 г.: «Жизнь есть желание блага... Сознание же желания блага есть желание блага всему существующему. Желание же блага всему существующему есть бог» (*ПСС*, т. 53, с. 87, 89).

[4] Позднышев — герой «Крейцеровой сонаты» (см. гл. XV).

[5] Цитата из рассказа Толстого «Поликушка».

[5а] Толстой имеет в виду слова одного из персонажей романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит», изобретателя Дойса: «Человек должен бороться за свою жизнь и защищать ее, пока хватит сил. Так же и изобретатель должен бороться за свое изобретение» (Чарльз Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 20. М., 1960, с. 248).

[6] Книга Л. А. Тихомирова «Почему я перестал быть революционером». К этому времени Л. А. Тихомиров (в 70—80-х годах член Исполнительного комитета партии «Народная воля» и редактор ее изданий) стал монархистом и редактировал «Московские ведомости».

[7] Свидетелем этого эпизода, передаваемого Горьким со слов Л. Сулержицкого, был К. С. Станиславский.

[8] Толстой имел в виду философский трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Однако у него есть и резко отрицательные суждения об этом труде, в частности, об истолковании немецким философом природы музыкального искусства. Писатель не принимал «мистической теории» Шопенгауэра, утверждающей, что «музыка есть выражение воли,— не отдельных проявлений воли на разных ступенях объективизации, а самой сущности ее». Толстой считал пагубным влияние этой теории на творчество композиторов («Что такое искусство?», гл. XII).

[9] Толстой покинул Ясную Поляну в ночь 27—28 октября 1910 г.

[10] Эта мысль повторяется в письме Горького к А. В. Амфитеатрову от 8 ноября 1910 г.: «...он, проповедник пассивного отношения к жизни, человек, воплотивший в огромной душе своей все недостатки нации» (Горький, т. 29, с. 139).

[11] Горький имел в виду статью Толстого «Об общественном движении в России» (1905), написанную в ответ на запросы зарубежных корреспондентов о происходящих в России событиях. Толстой писал, что политическая борьба способна задержать «истинный прогресс» и что единственным средством уничтожения всех зол является «внутреннее религиозно-нравственное совершенствование отдельных лиц» (*ПСС*, т. 36, с. 157). Тот факт, что Горький имел в виду именно это выступление Толстого, подтверждается и кратким замечанием в тексте его письма: «Я позволю себе назвать Ваше письмо в «Times» не только несправедливым и неразумным, но также и вредным» (Горький, т. 28, с. 360—361). Статья Толстого появилась в феврале 1905 г. в английской газете «Таймс». В русской прессе сообщение о ней и изложение ее содержания было опубликовано 2 марта 1905 г. в «Русских ведомостях» (№ 58).

[12] Горький написал Толстому письмо, находясь в Англии, в Эдинбурге, 5 марта 1905 г. Он передает лишь один из тезисов письма, который у него звучал еще более резко (см.: Горький, т. 28, с. 358). В этот же день Горький предложил К. П. Пятницкому напечатать письмо в одной из русских газет, но с одним условием: чтобы подлинник с подписью Горького был отправлен Толстому в Ясную Поляну. Письмо, однако, не было ни отправлено Толстому, ни опубликовано: Горький объяснял свое новое решение тем, что не захотел присоединять свой голос к выступлениям многочисленных критиков Толстого и отложил в сторону письмо, «когда его начала лягать всякая сволочь» (Горький, т. 28, с. 364).

[13] Горький имеет в виду случай, который произошел с Толстым осенью 1869 г. Он ехал в Пензенскую губернию с намерением купить имение и проездом ночевал в Арзамасе, в гостинице. Здесь он испытал то мучительно-тяжелое чувство, которое он потом называл «арзамасской тоской». Об этом он писал С. А. Толстой 4 сентября 1869 г. С. Л. Толстой высказывал предположение, что это был болезненный припадок (С. Л. Толстой. Очерки былого, с. 25). В середине 1880-х годов Толстой описал пережитое им состояние в незавершенном рассказе «Записки сумасшедшего».

[14] Л. Шестов. Добро в учении графа Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). СПб., 1900.

[15] Чехов вспоминал книгу Иоганна Эккермана, секретаря Гете: «Разговоры с Гете в последние годы его жизни. 1823—1832».

[16] Отношение Толстого к Некрасову было более сложным, см. коммент. 21 к воспоминаниям П. А. Сергеенко, см. также об этом в воспоминаниях А. Ф. Кони.

[17] Речь идет о посещении Толстого Горьким и В. Поссе 13 января 1900 г.

[18] Встреча состоялась 8 октября 1900 г. Но это было уже третье свидание с Толстым. Вторая встреча произошла в Хамовниках 11 февраля 1900 г.

[19] Строка из стихотворения И. А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...» (1898).

[20] Речь идет о книге В. В. Берви (псевдоним — Н. Флеровский) «Азбука социальных наук», изданной в 1871 г.

[21] Поль Астье — персонаж романа А. Додэ «Бессмертный» (1888).

[22] Неточно переданная мысль: Толстой высоко ценил Гюго (см. воспоминания В. Ф. Лазурского и коммент. 42 к ним, а также «Записи» В. Г. Черткова, с. 124).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ*

* В указатель включены личные имена и названия периодических изданий, встречающиеся в тексте воспоминаний; если эти имена и названия упоминаются во вступительной статье и комментариях, то номера страниц выделены курсивом. Номера томов обозначены римскими цифрами. Указатель составил Ю. Козловский.

СОДЕРЖАНИЕ

«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО...»
ТЕАТР ТОЛСТОГО

НА ГРАНИ ДВУХ СТОЛЕТИЙ
«ВОСКРЕСЕНИЕ»

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Т53 **Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников.** В 2-х томах. Т. 2. Сост., подготовка текста и коммент. Н. М. Фортунатова. М., «Худож. лит.», 1978. 671 с. (Серия лит. мемуаров).

Второй том объединяет воспоминания о Толстом, связанные с периодом, когда писателем создавались трактат «Что такое искусство?», пьесы «Плоды просвещения», «Власть тьмы», «Живой труп», роман «Воскресение». В книгу наряду с классическими мемуарами Бунина, Короленко, Горького вошли малоизвестные воспоминания — Н. В. Давыдова, М. А. Рыбниковой, М. С. Сухотина, Н. А. Альмединген.

Т $\frac{70202\text{-}385}{028(01)\text{-}78}$ 57-78 8Р1

Лев Николаевич
Толстой

В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

том II

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры *Т. Кузина* и *Л. Овчинникова*

ИБ № 803

Сдано в набор 17.03.78. Подписано в печать А00993 09,08,78. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «обыкновенная». Печать высокая. 35,28 усл. печ. л. 37,311 уч.-изд. л.+1 вкл. и альбом=38,072. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1030. Цена 2 р. 30 к. Цена в улучшенном оформлении с супер-обложкой 2 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29